

Аркадий и Борис Стругацкие

**ОТЯГОЩЕННЫЕ ЗЛОМ** с. 2

**ЭКСПЕДИЦИЯ В  
ПРЕИСПОЛНЮЮ** с. 125

**ПОВЕСТЬ О ДРУЖБЕ И  
НЕДРУЖБЕ** с. 276

**ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ** с. 309

## **ОТЯГОЩЕННЫЕ ЗЛОМ, ИЛИ СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ**

*Из десяти девять не знают отличия тьмы от света, истины от лжи, чести от бесчестья, свободы от рабства. Также не знают и пользы своей.*

### **Трифиллий, раскольник**

*Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх.*

### **Евангелие от Иоанна**

#### **Необходимые пояснения**

Две рукописи лежали передо мной, когда я принял окончательное решение писать эту книгу.

Решение мое само по себе никаких объяснений не требует. Сейчас, когда имя Георгия Анатольевича Носова всплыло из небытия, и даже не всплыло, а словно бы взорвалось вдруг, сделавшись в одночасье едва ли не первым в списке носителей идей нашего века; когда вокруг этого имени пошли наворачивать небылицы люди, никогда не говорившие с Учителем и даже никогда не видевшие его; когда некоторые из его учеников принялись суетливо и небескорыстно сооружать некий новейший миф вместо того, чтобы просто рассказать то, что было на самом деле, — сейчас полезность и своевременность моего решения представляются очевидными.

Иное дело — рукописи, составляющие книгу. Они, на мой взгляд, без всякого сомнения требуют определенных пояснений.

Происхождение первой рукописи вполне банально. Это мои заметки, черновики, наброски, кое-какие цитаты, записки, главным образом дневникового характера, для отчет-экзамена по теме «Учитель двадцать первого века». В связи с событиями того страшного лета отчет-экзамен мой так никогда и не был написан и сдан. Конечно, можно только поражаться самонадеянности того восторженного юнца, зеленого выпускника Ташлинского лицея, вообразившего себе, будто он способен вычленить и сформулировать основные принципы работы своего учителя, состыковать их с существующей теорией воспитания и создать таким образом совершенный портрет идеального педагога. Помнится, Георгий Анатольевич отнесся к моему замыслу с определенной долей скептицизма, однако отговаривать меня не стал и, более того, разрешил мне сопровождать его во всех его деловых хождениях, в том числе и за кулисы тогдашней ташлинской жизни.

И самонадеянный юнец ходил за своим учителем, иногда в компании с другими лицеистами (которых учитель отбирал по каким-то одному ему понятным соображениям), иногда же сопровождал учителя один. Он внимательно слушал, запоминал, записывал, делал для себя какие-то выводы, которых я теперь, к сожалению, уже не помню, пламенел какими-то чувствами, которые теперь тоже основательно подзабылись, а вечерами, вернувшись в лицей, с упорством и трудолюбием Нестора заносил на бумагу все, что наиболее поразило его и показалось наиболее важным для будущей работы.

Я основательно отредактировал эти записи. Кое-что мне пришлось расшифровать и

переписать заново. Много там было застенографировано, зашифровано кодом, который я теперь, конечно же, забыл. Некоторые места вообще оказалось невозможно прочесть. Разумеется, я полностью опустил целые страницы, носящие дневниково-интимный характер, страницы, касающиеся других людей и не касающиеся Георгия Анатольевича.

Теперь, когда я закончил книгу и не намерен более изменять в ней хоть слово, мне бывает грустно при мысли, что я, несомненно, засушил и обескровил забавного, трогательного, иногда жалкого юнца, явственно выглядывавшего ранее из-за строчек со своими мучительными возрастными проблемами, со своим гонором, удивительно сочетавшимся у него с робостью, со своими фантазмагорическими планами, великой жертвенностью и простодушным эгоизмом. В процессе работы я все это элиминировал беспощадно, ибо считал — и считал совершенно справедливо, — что незачем мне выпячивать себя в трагедии моего учителя. Все-таки книга эта прежде всего о нем и только потом уже — обо мне.

Это о первой рукописи.

Происхождение второй рукописи загадочно — столь же загадочно, как и ее содержание. Георгий Анатольевич вручил мне ее вскоре после того, как определилась тема моего отчет-экзамена. Он сказал, что эта рукопись может оказаться полезной для моей работы, во всяком случае, она способна вывести меня из плоскости обыденных размышлений. Этих слов его я тогда не понял, не понимаю я их и сейчас. Видимо, не так-то просто вывести меня из плоскости обыденных размышлений.

Помнится, Георгий Анатольевич рассказал мне, что рукопись эта была несколько лет назад обнаружена при сносе старого здания гостиницы-общежития Степной обсерватории, старейшего научного учреждения нашего региона. Рукопись содержалась в старинной картонной папке для бумаг, завернутой в старинный же полиэтиленовый мешок, схваченный наперекрест двумя тонкими черными резинками. Ни имени автора, ни названия на папке не значилось, были только две большие буквы синими чернилами: О и З.

Первое время я думал, что это цифры «ноль» и «три», и только много лет спустя сообразил сопоставить эти буквы с эпитафией на внутренней стороне клапана папки: «...у гностиков демиург — творческое начало, производящее материю, отягощенную злом». И тогда показалось мне, что «ОЗ» — это, скорее всего, аббревиатура: Отягощение Злом или Отягощенные Злом, — так свою рукопись назвал неведомый автор. (С тем же успехом, впрочем, можно допустить и то, что ОЗ — не буквы, а все-таки цифры. Тогда рукопись называется «ноль — три», а это телефон «Скорой помощи», — и странное название вдруг обретает особый и даже зловещий смысл.)

Формально автором следует считать Сергея Корнеевича Манохина, от имени которого и ведется повествование. С. К. Манохин — личность вполне историческая, астроном, доктор физматнаук, он действительно в конце прошлого века был сотрудником Степной обсерватории, причем довольно долгое время. Более того, понятие «звездных кладбищ», упоминаемое в рукописи, было на самом деле введено им. Он предсказал это редкое и своеобразное явление природы, и, насколько я понял, еще при его жизни оно было обнаружено в наблюдениях. Больше никаких заметных следов в науке он не оставил, во всяком случае, никаких данных подобного рода мне найти не удалось. И уж совсем никаких данных не удалось мне обнаружить о том, что

С. К. Манохин когда-либо баловался художественной литературой. Так что вопрос об авторстве «Отягощения Злом» и сейчас остается для меня открытым.

Читатель должен иметь в виду, что в рукописи «ОЗ» элементы гротесковой фантастики затейливо переплетены с совершенно реальными людьми и обстоятельствами. Ни у кого не вызовет сомнения, скажем, что Демиург — фигура совершенно фантастическая (наподобие булгаковского Воланда), но при этом упоминаемый в рукописи Карл Гаврилович Росляков действительно был директором Степной обсерватории, самым первым и самым знаменитым. Что же касается удивительной фигуры Агасфера Лукича, то этого человека я просто видел собственными глазами, причем при обстоятельствах трагических и незабываемых.

Проще всего было бы предположить, что автором рукописи «ОЗ» является сам Георгий Анатольевич. Однако принять это предположение не позволяет мне целый ряд обстоятельств.

Бумага, папка, технология машинописи, орфографические особенности текста — все это совершенно однозначно заставляет датировать рукопись восьмидесятыми годами прошлого века. В крайнем случае — девяностыми годами. То есть получается, что Георгию Анатольевичу, если бы это сочинение писал он, было тогда меньше лет, нежели мне, когда я его читал. Дьявольски маловероятно.

Далее, такая мистификация противоречила бы всему, что я знаю о Георгии Анатольевиче, — никак не укладывается она ни в его характер, ни в его отношение к своим ученикам.

Наконец, само содержание рукописи, выбранный автором герой. Зачем Георгию Анатольевичу понадобилось бы делать своим лирическим героем астронома? Георгий Анатольевич никогда не интересовался естественными науками. Разумеется, он был в курсе новейших представлений физики и той же астрономии, но не более, чем просто культурный, образованный человек. И уж совсем непонятно, зачем ему, при его деликатности, было брать героем астронома, реально существовавшего, да еще работавшего здесь же, в двух шагах от Ташлинска.

Нет, гипотеза эта при всем ее кажущемся правдоподобии не может быть принята за окончательную. А ведь я еще ничего не сказал (и говорить сейчас не намерен) о тех элементах сочинения, которые не объясняются вообще никакими рациональными гипотезами.

Боюсь, все дело в том, что я так и не сумел понять, какую же связь Георгий Анатольевич усматривал между моим отчет-экзаменом и рукописью «ОЗ», на какие именно мысли должна была вывести меня эта рукопись. Вполне допускаю, что, если бы мне удалось нащупать эту связь, если бы удалось мне выйти из плоскости неких представлений, я бы понял больше и в самой рукописи, и в загадке ее происхождения.

Может быть, кто-нибудь из читателей окажется удачливее и, прямо скажем, сообразительнее автора этой книги. Я же в заключение замечу только, что рукопись «ОЗ» помещена мною в книгу без каких-либо исправлений и пропусков. Я позволил себе лишь разбить ее на части в примерном соответствии с тем, как сам читал ее в то страшное лето (урывками, по ночам).

*Игорь В. Мытарин*

## Дневник. 10 июля (ночь на 11-е)

Только что вернулся из патруля. Левое ухо распухло, как оладья. А было так.

Мы уже попрощались. Иван с Сережкой пошли своей дорогой, а я — своей. И тут у ворот в Парк космонавтов я вижу, как трое «дикобразов» прижали своими мотоциклами двух парнишек, явных фловеров, к запертым воротам и, очевидно, намереваются учинить над ними какое-то хулиганское действие. Я по всем правилам науки издал воинственный клич матмеха и выступил на защиту Флоры, как будто она уже занесена в Красную книгу. Я и глазом моргнуть не успел, как «дикобразы» накидали мне по ушам. Говоря серьезно, все могло бы кончиться вовсе не забавно, если бы не подоспели Ванька с Серегой, услышавшие беспорядок за два квартала. «Дикобразы» моментально оседлали свою технику и были таковы. Но что характерно! Фловеры, за которых я пролил свою благородную кровь, оказались таковы в тот же миг, когда «дикобразы» обратили свое внимание от них на меня. Дерьмо.

А во время патрулирования мы говорили главным образом о «неедяках». Не помню, кто начал этот разговор и почему. Я рассказал ребятам, откуда появилось это слово — они представления об этом не имели.

*(Позднее примечание . Слово «неедяка» придумал и использовал в одном из своих рассказов писатель середины прошлого века Илья Варшавский. У него «неедяки» — всем довольные жители иной планеты, прогресс коей начался только после того, как пришельцы-земляне напустили на них блох.)*

Ваня Дроздов относится к нашим «неедякам» чрезвычайно просто. Для него они делятся на два типа. Первый — люмпены, бродяги, тунеядцы вонючие, хламидомонады, Флора сорная, бесполезная. Второй — философы неумытые, доморощенные, блудословы, диогены бочкотарные, неумехи безрукие, безмозглые и бездарные. Один тип другого стоит, и хорошо было бы первых пропереть с глаз долой куда-нибудь на болота (пусть там хоть медицинских пиявок кормят, что ли), а вторым дать в руки лопаты, чтобы рыли судоходный канал от нашей Ташлицы до Арала. Иван, будучи мастером-брынзолделом, чрезвычайно суров к людям, не имеющим профессии и не желающим ее иметь.

Впрочем, бескомпромиссное отношение его к «неедякам» носит характер скорее теоретический. У Сережки невеста из семьи «неедяк», и Иван на весь город объявляет с упрёком: «Танькин папан? Что ты мне про него болбочешь? Он же человек! А я про нищедухов тебе!» Тогда я рассказываю ему про дядю друга моего Мишеля. И снова: «Слушай, это же совсем другой обрат! Разве я тебе о таких толкую? У него же талант!»

Смех смехом, а в результате всего этого трепа у меня сформулировалась довольно любопытная классификация нынешних «неедяк».

Класс А. «Элита». Доморощенные философы, неудавшиеся художники, графоманы всех мастей, непризнанные изобретатели и так далее. Инвалиды творческого труда. Упорство, чтобы творить, есть. Таланта, чтобы творить, нет, и на этом они сломались. Между прочим, Мишкин дядя тоже, конечно, элита, но совсем в ином роде. Г. А. называет таких людей резонаторами и утверждает, что они — большая редкость. Некий странный взбрык развития цивилизации. Действительно, поскольку цивилизация порождает такое явление, как поэзия, должны, видимо, возникать

индивидуумы, приспособленные *только* к тому, чтобы потреблять эту поэзию. Они не способны производить ни материальные, ни духовные блага, они способны только потреблять духовное и резонировать. И вот это их резонирование оказывается чрезвычайно важным для творца, важнейшим элементом обратной связи для того, кто порождает духовное. (Странно, что дегустаторы чая, вина, кофе, сыра — уважаемые профессионалы, а дегустатор, скажем, живописи — не критик, не искусствовед, не болтун по поводу, а именно природный, интуитивный дегустатор — считается у нас тунеядцем. Впрочем, ничего странного здесь нет.)

Класс Б. Назовем их «воспитатели». Всю свою жизнь и все свое время они посвящают воспитанию своих детей и совершенствованию своей семьи вообще. Они почти не участвуют в процессе общественного производства, они замкнуты на свою ячейку, они отделены. Это раздражает. В том числе и меня. Однако я понимаю осторожность Г. А., когда он отказывается дать однозначную оценку этому явлению. Рискованный эксперимент, говорит он. Если бы это зависело только от меня, я бы, наверное, не разрешил его, говорит он. А теперь нам остается лишь ждать, что из этого получится, говорит он. Очевидно, что получиться может все, что угодно. Пока известны дети «неудач-воспитателей» и вполне удачные, и не совсем чтобы очень.

Класс В. «Отшельники». Желаящие слиться с природой. Руссо, Торо, все такое. «Жизнь в лесу». В этих людях нет ничего нового, они всегда были, просто сейчас их стало особенно много. Наверное потому, что туристическое оборудование сделалось дешево и общедоступно, в особенности списанное военно-походное снаряжение. Да и консервы для домашних животных распространились и стоят гроши.

И, наконец, класс Г. Г — оно и есть Г. (Зачеркнуто.) Люмпены. Флора. Полное отсутствие видимых талантов, полное равнодушие ко всему. Лень. Безволие. Максимум социальной энтропии. Дно.

Не знаю, куда отнести «дикообразов» с их мотоциклами и садизмом, а также «птеродактилей» с ихними дельтапланами и садизмом же. Какая-то разновидность технизированной Флоры. Полунеедыки, полууголовники.

Получившаяся классификация, я надеюсь, содержательна. Бурлящий энтузиазмом изобретатель вечного двигателя и полурастительный флюгер, который от лени готов ходить под себя, — что общего между ними? Отвечаю: чрезвычайно низкие личные потребности. Уровень потребностей у всех «неудач» настолько низок, что выводит их всех за пределы цивилизации, ибо они не участвуют во всеобщем процессе культивирования, удовлетворения и изобретения потребностей. Чеканная формулировка. Надо будет рассказать Г. А.

Кстати, нынче утром Г. А. вручил мне довольно солидную, музейного вида папку и сказал, что рекомендует ее мне как некую литературу к моему отчет-экзамену. Сто двадцать четыре нумерованные страницы. На обложке цифры: ноль — три. А может быть, буквы — О и З. Судя по всему, чей-то дневник. Какого-нибудь древленина. Читать нет ни малейшего желания, но, вручая, Г. А. был настолько многозначителен и настойчив, что читать придется. Буду читать каждый вечер перед сном. Страниц по десять.

Ну какое отношение к моему отчет-экзамену могут иметь такие строки: «Дом этот был сдан строителями под ключ поздней осенью — дожди сделались уже ледяными, а время от времени сыпало и снежной крупкой...»?

Ухо болит. Возьми велосипедную цепь. Туго обмотай изолентой в десять-пятнадцать слоев. Образовавшийся предмет хватай за любой конец, а другим бей. По уху.

«We must find a way... to make indifferent and lazy young people sincerely eager and curious — even with chemical stimulants if there is no better way»<sup>1</sup>.

По сути, это вопль отчаяния. Но как тут не завопить? Ведь, по сути, мы обязаны чуть ли не любой ценой создать человека с заданными свойствами. У Шкловского почти об этом сказано: «...если бы некто захотел создать условия для появления на Руси Пушкина, ему вряд ли пришло бы в голову выписывать дедушку из Африки».

### Рукопись «ОЗ» (1–3)

1. Дом этот был сдан строителями под ключ поздней осенью — дожди сделались уже ледяными, а время от времени сыпало и снежной крупкой. Странноват он был и, возможно, даже уникален вычурной своей и неудобоописуемой архитектурой. Был он целиком красного кирпича и тянулся вдоль Балканской улицы более чем на два квартала. Крыша была плоская, словно бы предназначенная для посадки воздушных кораблей будущего, фасад изукрашен провалами и изгибами сложной формы, прямоугольные тоннели висели над высоченными арками, — и для каких же, интересно, целей разрезали фасад узкие, до пятого этажа ниши? Неужто для неимоверно длинных и тощих статуй неких героев или страдальцев прошлого? И зачем понадобилось архитектору воздвигнуть на торцах удивительного дома совершенно крепостные башни, полукруглые и разной высоты?

Леса давно были уже разобраны и увезены, и стекла окон были вымыты и прозрачны, и новенькие двери в подъездах не вызывали никаких нареканий, и чисты были каменные ступени, ведущие к ним, — но все пространство от этих ступеней и до асфальта мостовой представляло собою сплошную грязь вперемешку со строительным мусором. Там можно было увидеть мокрые, частью измочаленные доски со страшными торчащими гвоздями и битые кирпичи, и треснувшие шлакоблоки со ржавой арматурой, и завитые неведомой силою в спирали водопроводные трубы, и забытые всеми секции батарей парового отопления, и какие-то расплюснутые ведра, а между одиннадцатым и двенадцатым подъездами пребывал, накренившись, некий гусеничный механизм, и мокрый ветер хлопал его полуоткрытой дверцей.

Дом был сдан под ключ, но жильцов в доме не было и в помине. Пусто было на лестничных пролетах, пусто, темно и тихо, и пахло краской и нежильем, и мертво стыли коробки лифтов, поднятые к самой крыше. Все двери всех подъездов казались плотно и надежно запертыми, да так оно, наверное, и было на самом деле, однако в дом войти было можно. В него входили. И, наверное, выходили тоже. Во всяком случае, на каменных ступеньках тринадцатого подъезда, ведущего в южную торцовую башню, обнаруживались грязные следы. На длинной крашеной ручке парадной двери криминалист без труда обнаружил бы отпечатки пальцев. Пыль на цементном полу вестибюля кое-где свернулась во множественные шарики, как будто некто, войдя с улицы, энергично отряхнул здесь свою промокшую под дождем шляпу.

И кто-то забыл, или бросил за ненадобностью, или потерял в панике ветхий полураскрытый чемоданчик на лестничной площадке четвертого этажа, и

высовывалось из чемоданчика вафельное полотенце сомнительной свежести. А на площадке восьмого этажа, в углу, у двери в квартиру номер пятьсот шестнадцать отсвечивали тускло две стреляные гильзы — то ли опять же потерянные здесь кем-то, а скорее всего, лежащие там, куда выбросило их отсечкой-отражателем. При этом дверь квартиры пятьсот шестнадцать, как и всех почти квартир этого дома, была плотно заперта и не открывалась с тех пор, как покинул эти места бригадир бригады отделочников. Или, скажем, бригадир бригады сантехников.

Открыта же была в этом доме одна-единственная квартира — почему-то без номера, а если считать по логике расположения, то квартира номер пятьсот двадцать семь, — трехкомнатная, по замыслу, квартира на двенадцатом, последнем, этаже южной торцовой башни.

В одной из комнат этой квартиры окно выходило на проспект Труда. Сама комната была оклеена дешевенькими, без претензий, обоями, торчали из середины потолка скрученные электропровода, паркетный пол, хотя и довольно гладкий, все-таки нуждался в циклевке, а в дальнем от окна углу стоял забытый строителями деревянный топчан, густо заляпанный известкой и масляной краской.

В этой комнате разговаривали. Двое.

Один стоял у окна и смотрел вниз, на грязевые пространства под серым морозящим небом. Он был огромного роста, и была на нем черная хламида, совершенно скрывавшая его телосложение. Нижний край ее свободно располагался на полу, а в плечах она круто задиралась вверх и в стороны наподобие кавказской бурки, но так энергично и круто, с таким сумрачным вызовом, что уже не о бурке думалось, — не бывает на свете таких бурок! — а о мощных крыльях, скрытых под черной материей. Впрочем, никаких крыльев, конечно, там у него не могло быть, да, наверное, и не было, просто такая одежда необычайного и непривычного фасона. И не была эта одежда более странна и непривычна, чем сам ее материал с чудящимися на нем муаровыми тенями: ни единой складки не угадывалось на поразительной хламиде, ни единой морщины, так что казалось временами, будто и не одежда это никакая, а мрачное место в пространстве, где ничего нет, даже света.

А на голове стоящего у окна был, несомненно, парик, белый, может быть, даже пудренный, с короткой, едва до плеч косицей, туго заплетенной черным шнурком.

— Какая тоска! — произнес он словно бы сквозь стиснутые зубы. — Смотришь — и кажется, что все здесь переменялось, а ведь на самом деле — все осталось как и прежде...

Его собеседник отозвался не сразу. Видимо, совсем не боясь испачкаться, он сидел на топчане, скрестив короткие, не достающие до пола ножки, и быстро проглядывал пухлый растрепанный блокнот, то и дело подхватывая и водворяя на место выпадающие странички. Маленький, толстенький, грязноватый человек неопределенного возраста, в сереньком обтерханном костюмчике: брюки дудочками, спустившиеся носки, тоже серые, и серые же от долгого употребления штиблеты, никогда не знавшие ни щетки, ни гуталина, ни суконки. И серенький скрученный галстук с узлом, как говорят англичане, под правым ухом.

Человечку этому было, наверное, жарко, пухлое лицо его было красно и покрыто мелкими бисеринками пота, влажные белесые волосенки прилипли к черепу, сквозь



них просвечивало розовое. Шляпу свою и пальтишко человечек снял, и они неопрятной, насквозь мокрой кучей валялись в уголке вместе с разбухшим обшарпанным портфелем времен первого нэпа. Совершенно обыкновенный человечек, не чета тому, что черной глыбой возвышался перед окном.

— Зато как *вы* изменились, Гончар! — откликнулся он, наконец. — Положительно, вас невозможно узнать! Да вас и не узнает никто...

Тот, что стоял у окна, хмыкнул. Дрогнула косичка. Колыхнулись крылья черной хламиды.

— Я говорю не об этом, — сказал он. — Вы не понимаете.

Серый человечек словно бы не слышал его. Он все листал да перелистывал свой блокнот. Необыкновенный был этот его блокнот: то один, то другой листочек вдруг озарялся изнутри ясным красным светом, а иногда даже схватывался по краям явственным огненным бордюрчиком, и даже дымок как будто взвивался, а потом фокусы эти мгновенно прекращались, и наступало облегчение, что и на этот раз толстые грязноватые пальцы серого человечка остались целы.

— Вы и не можете понять, — продолжал тот, что стоял у окна. — Все это время вы торчали здесь, и вам здесь все примелькалось... Я же смотрю свежим глазом. И я вижу: какие-то фундаментальные сущности остались неколебимы. Например, им по-прежнему неизвестно, для чего они существуют на свете. Как будто это тайна какая-то за семнадцатью замками!..

— За семью печатями, — поправил серый человечек рассеянно.

— Да. Конечно. За семью печатями... Вот, полюбуйтесь на них: прямиком, через грязь, цепляясь друг за друга, как больные... Да они же пьяны!

— О да, здесь это бывает, — произнес серый человечек, отвлекшись от своего занятия. Он заложил блокнот грязным пальцем и стал смотреть в спину стоявшего у окна, в гладкое черное пространство под косицей. — Последнее время меньше, но все-таки бывает. Вы привыкнете, Гефест, обещаю вам. Не капризничайте. Раньше вы не капризничали!

Тот, что стоял у окна, медленно повернул голову и глянул на серенького собеседника, и собеседник, как всегда, мгновенно вильнул глазами и, подавшись назад, набычился, словно в лицо ему пахнуло раскаленным жаром.

Ибо лик стоявшего у окна был таков, что привыкнуть к нему ни у кого не получалось. Он был аскетически худ, прорезан вдоль щек вертикальными морщинами, словно шрамами по сторонам узкого, как шрам, безгубого рта, искривленного то ли застарелым парезом, то ли жестоким страданием, а может быть, просто глубоким недовольством по поводу общего состояния дел. Еще хуже был цвет этого изможденного лика — зеленоватый, неживой, наводящий, впрочем, на мысль не о тлении, а скорее о яри-медянке, о неопрятных окислах на старой, давно не чищенной бронзе. И нос его, изуродованный какой-то кожной болезнью наподобие волчанки, походил на бракованную бронзовую отливку, кое-как приваренную к лику статуи.

Но всего страшнее были эти глаза под высоким безбровым лбом, огромные и выпуклые, как яблоки, блестящие, черные, испещренные по белкам кровавыми прожилками. Всегда, при всех обстоятельствах горели они одним и тем же

выражением — яростного бешеного напора пополам с отвращением. Взгляд этих глаз действовал как жестокий удар, от которого наступает звенящая полуобморочная тишина.

— Это не каприз, — произнес тот, что стоял у окна. — Я и раньше ненавидел пьяных — всех этих пожирателей мухоморов, мака, конопли... Может быть, мне с этого и надо было все тогда начинать, но ведь не хватило бы никакого времени!.. А теперь, я вижу, уже поздно... Вы заметили: вчерашний клиент явился навеселе! Ко мне! Сюда!

— Да им же страшно! — сказал серенький человек с укоризной. — Попробуйте же понять их, Ткач, они боятся вас!.. Даже я иногда боюсь вас...

— Хорошо, хорошо, мы уже говорили об этом... Все это я уже от вас слышал: человек разумный — это не всегда разумный человек... хомо сапиенс — это возможность думать, но не всегда способность думать... и так далее. Я не занимаюсь самоутешениями и вам не советую... Вот что: пусть у меня будет здесь помощник. Мне нужен помощник. Молодой, образованный, хорошо воспитанный человек. Мне нужен человек, который может встретить клиента, помочь ему одеть пальто...

— Надеть, — произнес серенький человек очень тихо, но стоявший у окна услышал его.

— Что?

— Надо говорить «надеть пальто».

— А я как сказал?

— Вы сказали «одеть».

— А надо?

— А надо — «надеть».

— Не ощущаю разницы, — высокомерно сказал тот, что стоял у окна.

— И тем не менее она существует.

— Хорошо. Тем более. Я же говорю: мне нужен образованный человек, в совершенстве знающий местный диалект.

— Нынешние молодые люди, Кузнец, плохо знают свой язык.

— И тем не менее мне нужен именно молодой человек. Мне будет неудобно командовать стариком, а я намерен именно командовать.

— Здесь никто ничего не делает даром, — намекнул серый человечек с цинической усмешкой. — Ни старики, ни молодые. Ни воспитанные, ни хамы. Ни образованные, ни игнорабусы... Разве что какой-нибудь восторженный пьяница, да и тот будет все время в ожидании, что ему вот-вот поднесут. Из уважения.

— Ну что ж. Никто не заставит его работать даром... Как вы болтливы, однако. Есть у вас кто-нибудь на примете?

— Вам повезло, Хнум. Есть у меня на примете подходящая особь. Сорок лет, кандидат физико-математических наук, воспитан в такой мере, что даже умеет пользоваться ножом и вилок, почти не пьет. А что же касается жизненного существа его, воображаемого отдельно от тела...

— Увольте! Увольте меня от ваших гешефтов! Скажите лучше, что он просит. Цена!

— Я в этом плохо разбираюсь, Ильмаринен. Гарантирую, впрочем, что просьба его вас позабавит. Другое дело — сумеете ли вы ее выполнить!

— Даже так?

— Именно так.

— И вы полагаете, что это лежит за пределами моих возможностей?

— А вы по-прежнему полагаете, будто можете все на свете?

Черно-красное яблоко глянуло на серенького поверх левого крыла, и человек вновь отпрянул и потупился.

— Укороти свой поганый язык, раб!

Наступила зловещая тишина, и только через несколько долгих секунд неукротенный серенький человек пробормотал:

— Ну зачем же так высокопарно, мой Птах? Зовите меня просто: Агасфер Лукич.

— Что еще за вздор, — с отвращением произнес стоявший у окна. — При чем здесь Агасфер?..

2. Действительно, при чем здесь Агасфер? Я специально смотрел: того звали Эспера-Диос (что означает «надейся на бога») и еще его звали Ботадеус (что означает «ударивший бога»). Это был какой-то древний склочный еврей, прославившийся в веках тем, что не позволил несчастному Иисусу из Назарета присесть и отдохнуть у своего порога, — у Агасферова порога, я имею в виду. За это бог, весьма щепетильный в вопросах этики, проклял его проклятием бессмертия, причем в сочетании с проклятием безостановочного бродяжничества. «Встань и иди!»

Так вот, начнем с того, что Агасфер Лукич никакой не еврей и даже не похож. Внешне он больше всего напоминает артиста Леонова (Евгения) в роли закоренелого холостяка, полностью лишённого женского ухода и пригляда, — в жизни не видел я таких засаленных пиджаков и таких заношенных сорочек. Далее, Агасфер Лукич, конечно, дьявольски непоседлив и подвижен (на то он и страховой агент, волка ноги кормят), однако спит он как все нормальные люди (плюс еще часок после обеда), и никакие мистические голоса не командуют ему, едва он заведет глаза: «Встань и иди!»

Я познакомился с ним в конце лета, когда, вернувшись с того злосчастного симпозиума в Ленинграде, обнаружил, что в номер ко мне подселили за время моего отсутствия некоего деятеля, совершенно постороннего и к обсерватории отношения не имеющего. Негодование мое, наложившееся на все те неприятности, которые я услышал в Ленинграде, выбило меня из обычной колеи до такой степени, что я унился до скандала. Я накричал на дежурную, ни в чем, разумеется, не повинную. Я сцепился по телефону с Сулопариным, обвинил его в коррупции и швырнул на полуслове трубку. Я бы и Карла моего Гаврилыча не пощадил, конечно, уж я бы объяснил ему, что быть директором обсерватории означает в первую очередь обеспечивать комфортные условия жизни для наблюдателей, — да, по счастью, оказался он в то время в Москве, в Академии наук. Я со стыдом вспоминаю сейчас тогдашнее свое поведение. Но уж очень это достало меня тогда: вхожу в номер — в свой, законный, раз и навсегда за мною закрепленный, — и вижу на столе своем чьи-то

безобразного вида носки, небрежно брошенные поверх моей рукописи...

Впрочем, как это часто случается в жизни, все оказалось вовсе не так уж страшно и беспросветно.

Агасфер Лукич проявил себя как человек чрезвычайно легкий и приятный в общении. Он был абсолютно безбиден, он ни на что не претендовал и со всем был согласен. Он тут же постирал свои носки. Он тут же угостил меня красной икрой из баночки. Он знал невероятное количество безукоризненно свежих и притом смешных анекдотов. Его истории из жизни никогда не оказывались скучными. И он умудрялся совсем не занимать места. Он был — и в то же время как будто и отсутствовал, он появлялся в поле моего внимания только тогда, когда я был не прочь его заметить. Он был на подхвате, так бы я выразился. Он всегда был на подхвате.

Но при всем при том было в нем кое-что, мягко выражаясь, загадочное. Он-то сам очень стремился не оставлять по себе впечатления загадочного, и, как правило, это ему превосходно удавалось: комический серенький человечек, отменно обходительный и совершенно безбидный. Но нет-нет, а мелькало вдруг в нем или рядом с ним что-то неуловимо странное, настораживающее что-то, загадочное и даже, черт побери, пугающее. Например, эта поразительная его записная книжка... или манера класть на ночь свое искусственное ухо в какой-то алхимический сосуд... или другая манера — бормотать что-то неразборчивое в отключенный телефон... но это ладно, это потом. И я уже не говорю про портфель его!

Первое, что удивляло, это — за какие такие невероятные заслуги ничтожного страхового агента подсаждают ко мне, к без пяти минут доктору, к человеку, прославившему эту обсерваторию... Да разве в науке здесь дело, — что нашему Суслопарину до науки? Ко мне, к личному другу директора, — подсаждают серенького страхагента! Милостивые государи мои! Наш заместитель по общим вопросам товарищ Суслопарин К. И. никогда и ничего не делает зря и ничего и никому не делает даром. Видимо, какую-то огромную, мало кому известную пользу можно, оказывается, извлечь из системы государственного страхования, и мы с вами, простые смертные, чего-то здесь недопонимаем, и недополучаем мы чего-то весьма значительного, опрометчиво проходя мимо заглядывающего нам в глаза скромного человека, жаждущего всучить нам договор из трех рублей в год... Загадка эта была сформулирована мною в первый же день знакомства с Агасфером Лукичом, но при прочих моих заботах и неприятностях того времени оставила меня в общем и целом равнодушным. Какое, в конце концов, мне дело до хитрых махинаций товарища Суслопарина?

Удивляло, конечно, почему он Агасфер. Хотелось все время спросить: при чем тут Агасфер? Что это за Лука такой нашелся, что назвал родного сына Агасфером? (Или, может, не родного все-таки? Тогда не так жалко, но все равно непонятно...) Да ведь не станешь же спрашивать малознакомого человека, откуда у него такое имя, а на облический вопрос о родителях Агасфер Лукич ответил мне: «О, мои родители — они были так давно...» — и тут же перевел разговор на другую тему.

Удивляла популярность Агасфера Лукича в Ташлинске. Когда я уезжал в Ленинград, никто здесь о нем и слыхом не слыхивал, а теперь, спустя всего две недели, не было, казалось, ни одного человека ни в обсерватории, ни даже в городе, чтобы в Агасфере Лукиче не был заинтересован. Даже совсем незнакомые мне люди

останавливали меня на улице (в магазине, на терренкуре, на автобусной остановке), чтобы справиться, как идут дела у Агасфера Лукича, и передать ему самые благие пожелания. Хуже того: после вороватых озираций по сторонам сообщалось что-нибудь вроде того, что договор-де можно бы и подписать, но только сумму страховки неплохо бы было удвоить. И странное дело! Когда я об этом Агасферу Лукичу сообщал, он всегда мгновенно понимал, о ком именно идет речь, словно заранее ждал эти приветы и эти предложения, и тут же из недр затерханного пиджачка появлялась знаменитая его записная книжка, и вываливающиеся страницы принимались порхать в его пальцах с такой скоростью, что казалось, будто они вот-вот загорятся от трения о воздух. И загорались ведь, я видел это собственными глазами, и не раз: загорались, горели и не сгорали...

Воистину, Агасфер Лукич, говорил я ему с опаской, воистину страховое дело в наши дни требует от своих адептов способностей вполне необычайных. На что он обычно отвечал мне со странным своим смешком: «А как же, батенька. Конкуренция! Нынешний страховой агент — это, знаете ли, человек высоко и широко образованный, это, батенька, дипломированный инженер или кандидат наук! Изощренность потребна, батенька, одной науки мало, надобно еще и искусство, а иначе того и гляди перехватят клиента, чихнуть со вкусом не успеешь!»

Наукой здесь и не пахло. Пахло мистикой. Преисподней здесь пахло, государи мои! Эта мысль приходила на ум всякому, кто хоть раз видел в действии портфель Агасфера Лукича. Портфель этот был таков, что с первого взгляда не производил какого-нибудь особенного впечатления: очень большой, очень старый портфель, битком набитый папками и какими-то бланками. Обычно он мирно стоял где-нибудь под рукой своего владельца и вел себя вполне добропорядочно, но только до тех пор, пока Агасферу Лукичу не подступала надобность что-нибудь в него поместить. То есть, когда Агасфер Лукич что-нибудь из этого портфеля доставал, портфель реагировал на это, как любой другой битком набитый портфель: он сыто изрыгал из недр своих лишние папки, рассыпал какие-то конверты, исписанные листы бумаги, какие-то диаграммы и графики, подсовывал в шарящую руку ненужное и прятал искомое. Однако же когда портфель открывали, чтобы втиснуть в него что-нибудь еще (будь то деловая бумага или целлофановый пакет с завтраком), вот тут можно было ожидать чего угодно: фонтанчика ледяной воды, клубов вонючего дыма, языка пламени какого-нибудь и даже небольшой молнии с громом. По моим наблюдениям, Агасфер Лукич и сам несколько остерегался своего портфеля в такие минуты.

Это о портфеле.

А теперь о телефоне. Агасферу Лукичу звонили довольно часто, и тогда он брал трубку, выслушивал и отвечал что-нибудь краткое, например, «Согласен» или, наоборот, «Не пойдет», а иногда даже просто «Угу», и сразу клал трубку, а если ловил при этом мой взгляд, то немедленно прижимал к груди короткопалую грязноватую лапку и безмолвно приносил извинения.

По своему же почину он прибегал к телефону редко, и выглядели такие его акции дешевым аттракциончиком. Извинительно улыбаясь, он выдергивал телефонную вилку из розетки, уносил освободившийся аппарат в свой угол и там, снявши трубку и отгораживаясь от меня плечом, принимался дудеть в нее что-то малоразборчивое, так что я схватывал только отдельные слова, иностранные какие-то слова, а может, и не просто слова, а имена собственные, очень меня в те времена интриговавшие.

Откровенно говоря, все это было не столько даже странно, сколько смешно. Меня разбирало, я хохотал, несмотря на владевшее мною тогда дурное настроение. Я полагал, что он меня таким образом развлекает, этот серенький потешный клоун, но однажды я случайно проснулся в необычную для меня рань и стал свидетелем того, как он разыгрывает эту свою телефонную пантомиму, полагая меня спящим. И оказалось тогда, что ничего смешного во всем этом нет. Страшно это было, до обморока страшно, а вовсе не смешно...

Я сижу сейчас на заляпанном известкой топчане в пустой комнате, оклеенной дешевенькими обоями, совершенно один, жду и трусливо посматриваю на дверь в Кабинет, и дверь эта, как всегда, распахнута настежь, а за нею, как всегда, космический мрак, и, как всегда, неохотно разгораются там и сразу же гаснут белесые огни.

Я пишу все это, потому что не знаю иного способа передать свое знание еще хоть кому-нибудь, пишу плохо, «темно и вяло», пишу сумбурно, ибо многое спуталось в моей бедной памяти, пораженной увиденным. Я раздавлен, унижен, растерян и потерян.

У нас есть чувство глубокого удовлетворения, есть чувство законного негодования, а вот с чувством собственного достоинства у нас давно уже напряженка. Поэтому, когда наш немудрящий опыт и наша многоопытная мудрость, столь же глубокая, как глубокая тарелка для супа, сталкиваются даже не с жутковатым Агасфером Лукичем или с его вполне жутким партнером (хозяином? творцом?), а просто хотя бы и с отпетым хамом или образцово-показательным подлецом, — мы, как правило, теряемся. Нам бы опереться тут на чувство собственного достоинства, раз уж недостает мудрости или хотя бы жизненного опыта, но собственного достоинства у нас нет, и мы становимся циничными, небрежными и грубо-ироничными. Так что пусть никто не удивляется тому ерническому тону, в котором пишу я обо всех этих моих обстоятельствах. Ничего забавного и занимательного в них нет. На самом деле мне страшно. И всегда было страшно. Я уж не помню, с какого момента. По-моему, с самого начала...

3. Приемная наша более всего напоминает мебельный склад. Югославский гарнитур «Архитектор» из тридцати семи предметов чудом втиснут на площадь в 18,58 квадратных метров. Здесь есть два трельяжа, чудовищная, невообразимая, необозримая кровать, на которой лежат двенадцать полумягких стульев, а могло бы валяться двенадцать десантников со своими девками. Имеют место и какие-то застекленные шкафы неизвестного назначения, и микроскопическая книжная стенка, уставленная муляжами книг, выполненными весьма реалистично. (Помнится, увидевши впервые золотыми буквами на корешках: Р. Киплинг, Петроний Арбитр, Эдгар Райс Берроуз, — я среагировал мгновенно и непроизвольно: «Все! Это я сопру, и будь что будет!») И каково же было разочарование мое, когда, выдернув вожделенный томик, обнаружил я в руках своих пустую картонную обложку, и вынырнувший у меня из-под локтя Агасфер Лукич произнес сочувственно: «Декорация, Сережа. Всего лишь декорация». Впрочем, со временем обнаружились у нас в Приемной и настоящие книги, множество книг. Однако все это были словари да энциклопедии, только словари, справочники, руководства и энциклопедии: «Словарь атеиста», «Техническая энциклопедия», «Медицинский справочник для фельдшеров», «Краткий словарь по эстетике», «Мифологический словарь», «Дипломатический

церемониал и протокол», «Справочник по экспертизе филателистических материалов», «Словарь ветров»... Видимо, подразумевалось, что я должен стать эрудитом. И я попытался им стать. Без особого, впрочем, успеха.)

Есть в Приемной два кресла лоснящейся коричневой кожи, одно для посетителей, а другое — непонятно для кого, ибо из самой середины его сиденья совершенно открыто и нагло торчит длинный стальной шип сантиметров двадцати, да такой острый, что озноб пробирает по коже за того беднягу, которому предназначено устроиться на нем.

Кроме этого шипа, есть в Приемной и другие предметы, не входящие в югославский гарнитур. Очень большие и разношенные полосатые тапочки выглядывают из-под кровати. В самом дальнем углу, куда я так до сих пор и не сумел добраться, торчком стоят толстые рулоны — то ли географических карт, то ли линолеума, то ли ковров, а быть может, и просто бумаги. Рядом с рулонами, загораживая половину окна, висит картина на античный сюжет: Сусанна и сладострастные старцы. Старцы там как старцы, и Сусанна, в общем-то, как Сусанна, но почему-то с большим пенисом, изображенным во всех анатомических подробностях. Рядом с этими подробностями морщинистые физиономии и масляные глазки старцев, и даже их рдеющие плечи приобретают совершенно особенное, не поддающееся описанию выражение.

И великое множество телевизоров. Число их и модели все время кем-то меняются, но никогда их не бывает меньше четырех. Включать и выключать их я не умею, они включаются и выключаются сами собой. И сами собой они наводятся на резкость, и сами собой устанавливают контрастность, и сами выбирают себе программу, и, надо сказать, странноватые, как правило, оказываются у них программы. Помню, однажды вдруг пошла передача из прозекторской. Точнее, художественный фильм из жизни патологоанатомов. Изумительное изображение, пиршество красок, показалось, даже запахами потянуло. Клиента, застигнутого этой передачей, мне пришлось спешно выволакивать в санузел, и все-таки он заблевал мне часть Приемной и весь коридор. (Помнится, он был начфином Н-ского стройбата и пришел выпрашивать для нашего советского рубля статуса свободно конвертируемой валюты.) Или, помнится, однажды «Джей-ви-си» битых полтора часа передавал в черно-белом варианте практические уроки, как восстанавливать и затачивать иголки для примуса. Это надо же, оказывается, и такие иголки еще существуют...

Телефоны. Их всегда три. Один стоит на моем столике — роскошный, с кнопочным управлением, с запоминающим устройством на двести пятьдесят шесть номеров, с маленьким встроенным экраном и с дисководом для гибких дисков. Он не работает. Второй телефон присобачен к филенке двери позади моего рабочего места. Это обыкновенный таксофон, можно бросить монетку и позвонить родным и близким, у кого они есть. Можно не звонить. Иногда он раздражается отвратительными квакающими звуками. Я снимаю трубку, и Демиург говорит мне что-нибудь, не предназначенное для ушей клиента. Как правило, это распоряжения из ресторанно-отельного репертуара. «Такому-то на обед полпорции селянки, да погорячее». Или: «Постельное белье в номерах опять сырое. Проследите». Или даже: «Сергей Корнеевич, не в службу, а в дружбу. Башка трещит, сил нет. У вас там, кажется, был пенталгин...» Тогда я извиняюсь перед клиентом и бегу отрабатывать свой хлеб. Смысла или хотя бы простой логики во всем этом я уже давно не ищу... Что

же касается третьего телефона, то это золотой предмет в стиле ретро, в сумраке он светится, и толку от него никакого, потому что стоит он на шкафу, перед которым расположено трюмо, перед которым, в свою очередь, стоят друг на друге две полированные тумбочки для постельного белья. Иногда этот золоченый мегатерий звонит. Звон у него нежный, мелодичный, он радует слух. Так что толку от него все же больше, чем от Сусанны.

Каждое утро я ползаю, карабкаюсь, протискиваюсь среди всего этого добра с пылесосом. Пылесос у нас замечательный. Собранную пыль он прессует в брикеты. Брикеты я сдаю под расписку Агасферу Лукичу, он составляет акт о списании и бросает эти брикеты в свой портфель. Расписку и акт я обязан вручать лично Демиургу. Совершенно не могу понять, откуда в Приемной набирается столько пыли. Ей-богу, каждые сутки граммов на двести брикетов...

Особенная пылица собирается почему-то в платяном шкафу. Есть в Приемной такой, вполне доступный, и в нем полно одежды. На все возрасты и на все вкусы. Там можно найти мужской костюм-тройку, совершенно новый, ни разу не надеванный. А рядом будет висеть мятый плащ-болонья с рукавом, испачканным уличной засохшей грязью, и в кармане плаща найдется смятая пачка «Примы» с единственной, да и то лопнувшей сигаретой. В шкафу можно обнаружить и школьную форменную курточку с заштопанными локтями, и великолепное мохнатое пальто с плеча какого-то современного барина, и полный кожаный женский костюм с отпечатками решетчатой садовой скамейки на задку и на спине, и целый кочан разноцветных мужских сорочек, нацепленных на одну распялку... А внизу, в слое старой и новой разрозненной обуви, я нашел вчера табель ученика пятого «А» класса 328-й школы Манохина Сергея с оценками за первую четверть 1958 года, с двойкой по истории и с двумя тройками — по рисованию и по физкультуре...

4. Вечером первого, как сейчас помню, августа (дело было еще в Ташлинске) меня остановил на терренкуре наш шофер Гриня. Отведя меня в сторонку, он...

### **Дневник. 12 июля**

...Это примерно в пятнадцати километрах от города.

На десятом километре северо-восточного шоссе надо свернуть налево на грунтовую дорогу. Дорога петляет между холмами и все время идет почти параллельно Ташлице, которая протекает здесь между высокими обрывистыми берегами белой и красной глины. Холмы округлые, выгоревшие, покрыты короткой жесткой колючей травкой. Пыль за машиной поднимается до самого неба. Километра через два после поворота слева от дороги открывается вид на древний скотомогильник. Огромная страшная гора лошадиных, бараньих, коровьих черепов, хребтов, лопаток, ребер, кости эти белые, как пыль, глазницы черные. Впечатляет. Г. А. говорит, что этому скотомогильнику лет сто, а может быть, и двести.

От скотомогильника по спидометру ровно три километра — и попадаешь в райский уголок. Это распадок между холмами, большие деревья, тень, прохлада, мягкая зеленая трава, кое-где выше пояса. Ташлица делает здесь излучину и разливается, образуя заводь. Гладкая черная вода, листья кувшинок, заросли камыша, синие стрекозы. Парадиз. Потерянный и возвращенный рай.

Впрочем, вид стойбища Флоры основательно портит это впечатление. Похоже, они



раздобыли где-то оболочку старого аэростата и набросили ее на верхушки молодых деревьев и высокого кустарника, так что получилось нечто вроде огромного неряшливого шатра неопределенного грязного цвета с потеками. Видимо, под этим шатром они всей толпой спасаются от дождей. Трава вокруг вытоптана и стала желтая. Неопишное количество мятых бумажек, оберток, рваных полиэтиленовых пакетов, окурков и пустых консервных банок и бутылок. Запахи. Мухи. Множество черных выгорелых пятен — кострища. Тошнит на это глядеть, честное слово.

Между кустами натянуты веревки. На веревках сушится тряпье: майки, юбки, пятнистые комбинезоны, подозрительные какие-то подштанники... На других веревках вялится рыба. Оказывается, в Ташлице довольно много рыбы, кто бы мог подумать! Несколько костров дымится, булькают закопченные котелки над огнем. Сорок тысяч лет до новой эры. А в отдалении, сцепившись рогами, теснится целое стадо мотоциклов.

Фловеры нашим прибытием заинтересовались, но пассивно. Кто сидел — остался сидеть, кто лежал — остался лежать, а прямоходящих или прямоходящих я не заметил там ни одного. Множество лиц повернулось в нашу сторону, множество рук поднялось, но не для приветствия, а чтобы прикрыть глаза от низкого солнца. Судя по движениям губ, последовал множественный обмен неслышными репликами. И только.

Павианий вольтер, вот на что это было похоже больше всего. Было их там сотни две особей. Г. А. рассказывал, что они собираются сюда каждое лето со всего Союза, живут недели по две и перебрывают в другие регионы, а на их место прибывают новые. Однако процентов десять составляют наши, местные, ташлинские. Главным образом школьники. Я искал знакомые лица, но не обнаружил ни одного.

Г. А. достал из багажника кошелку и направился наискосок через стойбище к самому населенному костру, расположенному в десятке метров от берега. Вокруг костра этого сидело человек пятнадцать, и, когда мы приблизились, народ раздвинулся и освободил нам место, всем троим. Г. А., усевшись, пробормотал: «Принимайте в компанию», — и принялся извлекать из кошелки продукты. Он неторопливо вынимал пакет за пакетом — крупу, консервные банки, леденцы, макароны, твердую колбасу — и, не глядя, передавал девице, сидевшей справа от него. Она брала, говорила: «Спасибо...» — и передавала дальше по кругу. Фловеры оживились, зашевелились. Огромный парень, сплошь заросший (от макушки до пупка) черным курчавым волосом, в десантном комбинезоне, спущенном до пояса, принявши очередной пакет, надорвал его, заглянул внутрь и высыпал содержимое — мелкую вермишель — в кипящий котелок. Фловеры шевелились, усаживались поудобнее, я ловил на себе одобрителные взгляды. Вокруг произносились слова, которые я большей частью не понимал. Это был какой-то совершенно незнакомый жаргон, ужасная смесь исковерканных русских, английских, немецких, японских слов, произносимых со странной интонацией, напомнившей мне китайскую речь, — какое-то слабое взвизгивание в конце каждой фразы. Я несколько раз повторил про себя: «Каждый человек — человек, пока он поступками своими не доказал обратного», — и посмотрел на Микаэля. У Микаэля моего был такой вид, будто его вот-вот вытошнит — прямо на спину Г. А. Я понял, почему Г. А. взял с собой именно его. Он брезглив, наш Майкл, а ведь он не имеет права быть брезгливым. Любовь и брезгливость несовместны.

Г. А. посоветовал покрошить в котелок колбасы. Наголо стриженная девица (с

грязноватым лицом и гигантским боа из кувшинок на голых плечах) послушно принялась крошить колбасу. Г. А. не посоветовал сыпать в котелок консервированные креветки, и банка креветок была отставлена. Поварская ложка была уже в руке у Г. А., он ворочал ею в котелке, зачерпывал, пробовал, подувши через губу, и все смотрели теперь на него и ждали его решений. Он сказал: «Соль», — и за солью сейчас же побежали. Он сказал: «Перец», — но перца во Флоре не оказалось.

Я честно наблюдал их, стараясь сформулировать для себя: что они такое? (Я не чувствовал себя учителем, я чувствовал себя этнографом, в крайнем случае, врачом.) Парни были как парни, девчонки — как девчонки. Да, некоторые из них были неумыты. Некоторые были грязны до неприятности. Но таких было немного. А в большинстве своем я видел молодые славные лица — никакой патологии, никаких чирьев, трахом и прочей парши, о которых столько толкуют флороненавистники, и, конечно же, все они разные, как и должно быть. И все-таки что-то общее есть у них. То ли в выражении лиц (очень бедная мимика, если приглядеться), то ли в выражении всего тела, если можно так говорить. Расслабленность движений почти нарочитая. Никто не положит предмет на землю — обязательно уронит, вяло разжавши пальцы. И не на то место, с которого взял, а на то место, которое поближе, словно сил уже не осталось протянуть руку...

И еще — непредсказуемость поступков. Я не взялся бы предсказывать их поступки, даже простейшие. Вот сидел-сидел, перекосившись набок, пришла пора хлебать из котелка, а он вдруг встал и лениво удалился — на другой конец стойбища — и там сел у другого костра. А на его место явился новый — длинный и тощий, как шест, в десантном комбинезоне, на широком ремне — фляга, на ногах — эти их знаменитые «корневища», огромные пуховые лапти, выкрашенные в зеленое. Пришел, уселся, отцепил флягу, полил свои корневища водицей и объявил, ни к кому не обращаясь: «Здесь врастаю». И стал, прищурясь, смотреть на Г. А.

Было ему лет двадцать пять, был он гладко выбрит и подстрижен вполне обыкновенно, в расстегнутом вороте комбинезона висела на безволосой груди какая-то эмблемка на цепочке. Живые ореховые глаза, большой рот уголками вверх и отличные белые зубы. Сразу было видно — это ихний предводитель. *Ну#180;си* . И ни в одном ухе не было у него этих чертовых музыкальных заглушек, *функов* , из-за которых они выглядят такими сонными и как бы не от мира сего. Этот был вполне от мира сего, невзирая на свой комбинезон, корневища и прочие вытребенки. И он явно знал Г. А. (Есть у меня подозрение, что и Г. А. его знает. Где-то они уже встречались и не слишком любят друг друга. Однако это все чистая интуиция. Мойша считает, что я все это выдумал.)

Тут почти голая девица, сидевшая слева от меня, тоненько рыгнула, отдулась, облизала ложку и произнесла с удовлетворением:

— *Побе#180;ги* — *да#180;сьта* .

(Мишель объяснил мне потом, что это значит. Это — по-русско-японски — «дать побеги». В прежние времена она сказала бы «словила кайф», а теперь вот — «дала побеги». Флора!)

Наевшись, они завозились, устраиваясь на переваривание. Кто-то закурил. Кто-то принялся шумно жевать *бетель* , пуская оранжевые слюни. Кто-то захрустел леденцами. Начался *зеленый шум* . Конечно, я не понимал и половины того, что

говорилось, но, по-моему, там и понимать особенно было нечего. Один вдруг заявляет: «Щекотно. Червяки по корням ползают». Другой тут же откликается: «Личинки совсем заели. Дятлов на них нет. И ведь не почешешься». Третий вступает: «Влаги мало. Сухо мне, кусты. Влаги бы мне побольше». И так далее без конца. И видно, что им это очень нравится. Всем без исключения. На лицах блаженные улыбки, и даже глаза блестят.

Потом вдруг поднялся один парень в пестрых плавках и в полосатой распашоночке, отошел на несколько шагов в сторону, выбрал площадку поровнее и принялся выламываться в медленном, почти ритуальном танце. Надо понимать, он плясал под свой функен, так что музыку слышал он один, а мы видели только ритм этой музыки. И нам это нравилось, и пока он танцевал, зеленый шум притих, все смотрели на танцора, а когда он устал, остановился, сел и лег, все как бы перевели дух, и моя соседка слева снова произнесла: «Побеги — дасьта».

Тем временем начало смеркаться, и луна объявилась над деревьями. Объявились комары. Над заводью возник туман и стал распространяться на прибрежные кусты. Вдруг взревели двигатели, вспыхнули фары, грянула в полную мощь огромная музыка, и дюжина всадников на мотоциклах умчалась прочь — перевалила через вершину ближнего холма, и снова стало тихо.

Какой-то парнишка по ту сторону костра (видимо, новичок, почти не знающий жаргона) принялся рассказывать про суд, который прошел вчера в городе. Трое *гомозяг* из спецтеха, которые целый год спокойно курочили автомашины и приторговывали запчастями, получили по году принудработ, поскольку руки у них золотые и все сверху донизу характеризуют их положительно. А фловера — Костик из Хабаровска, рыженький такой, без переднего зуба — засадили на месяц клозеты мыть задаром на «тридцатке», на мясокомбинате, за то, что два батона стяжал в булочной, когда фургон разгружал.

Флора помолчала, усваивая информацию. Кто-то пробормотал: «Круто здесь у них». Пошли вопросы. Как фамилия судьи, сколько заседателей? Почему не шесть? Как зовут? Кто возбудил дело? Парнишка почти ничего не знал. Он не знал даже, что в суде бывает адвокат. «Тихий ты, куст», — упрекнули его и оставили в покое.

Кто-то стал рассказывать про суд в Челябинске, но это уже был сплошной жаргон, я не понял даже, хороший там в Челябинске был суд или плохой. За что и кого судили, я тоже не понял. «Не суди, и не судим будешь», — почти пропел в сумраке женский голос. Слова эти прозвучали пронзительной, отчетливой, высшей правдой после шумовой неубедительности жаргона.

И тут заговорил нуси.

Это была проповедь. На прекрасном литературном языке. Если он и переходил на жаргон, то лишь для того, чтобы особо подчеркнуть, растолковать самым непонятливым какую-нибудь важную для него формулировку.

Он говорил о Флоре. Он говорил об особенном мире, где никто никому не мешает, где мир, в смысле Вселенная, сливается с миром, в смысле покоя и дружбы. Где нет принуждения, и никто ничем никому не обязан. Где никто никогда ни в чем не обвиняет. И поэтому счастлив, счастлив счастьем покоя.

Ты приходишь в этот мир, и мир обнимает тебя. Он обнимает тебя и принимает

тебя таким, какой ты есть. Если у тебя болит, Флора отберет у тебя эту боль. Если ты счастлив, Флора с благодарностью примет от тебя твое счастье. Что бы ни случилось с тобой, что бы ты ни натворил, Флора верит и знает, что ты прав. Флора никому не навязывает свое мнение, а ты свободен высказаться о чем угодно и когда угодно, и Флора выслушает тебя со вниманием. За пределами Флоры ты дичь среди охотников, здесь же ты ветвь дерева, лист куста, лепесток цветка, часть целого.

Он говорил о законах Флоры. Флора знает только один закон: не мешай. Однако, если ты хочешь быть счастливым по-настоящему, тебе надлежит следовать некоторым советам, добрым и мудрым. Никогда не желай многого. Все, что тебе на самом деле надо, подарит тебе Флора, остальное — лишнее. Чем большего ты хочешь, тем больше ты мешаешь другим, а значит, Флоре, а значит, себе. Говори только то, что думаешь. Делай только то, что хочешь делать. Единственное ограничение: не мешай. Если тебе не хочется говорить, молчи. Если не хочется делать, не делай ничего.

Пила сильнее, но прав всегда ствол.

Ты нашел бумажник? Берегись! Ты в большой опасности.

Хотеть можно только то, что тебе хотят дать.

Ты можешь взять. Но только то, что не нужно другим.

Всегда помни: мир прекрасен. Мир был прекрасен и будет прекрасен. Только не надо мешать ему.

(Г. А. сказал потом по этому поводу: «Стань тенью для зла, бедный сын Тумы, и страшный Ча не поймают тебя»). И спросил: «Откуда?»)

В самый разгар проповеди странные звуки привлекли мое внимание. Я взглянул сквозь дым и обмер. Тот самый бородатый-волосатый (обволощенный) принялся овладевать своей бритой соседкой.

Мне сделалось невыносимо стыдно. Я опустил глаза и не мог больше поднять их. Особенно мучительно было сознавать, что все это видят и Мишка, и Г. А. За флюеров мне тоже было стыдно, но их-то как раз все это совсем не шокировало. Я видел, как некоторые поглядывали на совокупляющуюся пару с любопытством и даже с одобрением.

«Внезапно из-за кустов раздалось странное стаккато, звук, который я до сих пор не слышал, ряд громких, отрывистых о-о-о ; первый звук о был подчеркнутый, с ударением и отделен от последующих отчетливой паузой. Звук повторялся вновь и вновь, и через две или три минуты я понял, что было его причиной. Ди Джи спаривался с самкой».

Вопрос: откуда? Ответ: Джордж Б. Шаллер «Год под знаком гориллы».

#### **Рукопись «ОЗ» (4)**

4. Вечером первого, как сейчас помню, августа (дело было еще в Ташлинске) меня остановил на терренкуре наш шофер Гриня. Отведя меня в сторонку, он с небрежностью, показавшейся мне несколько нарочитой, спросил:

— Как там у вас сейчас насчет субстанции?

— Где это — у нас? — осведомился я, пребывая в настроении злобно-ироническом.

— Ну, в Ленинграде, в Москве...

— Да как везде, — сказал я, продолжая оставаться в том же настроении. — Семнадцать тридцать пять. А повезет — так десять с маленьким.

— Ну да, ну да... — промямлил Гриня неопределенно. — Ну, а если, скажем, она особая?

— «Особая»?.. Да ее, по-моему, давно уж не выпускают.

— Да нет, я не про эту «Особую» тебя... — сказал Гриня нетерпеливо. — Я тебя спрашиваю: особая субстанция — как? Нематериальная, независимая от моего тела!

Я пригляделся к нему, но ничего такого не заметил. Вообще-то, Гриня, по моим наблюдениям, был человек непьющий и вполне положительный. Хозяин. Лучший садовый участок при обсерватории. С домиком. Все своими руками. Старый «Москвич» собрал себе своими руками... Он правильно оценил мой взгляд и несколько смутился.

— Да нет, это я так... — проговорил он уклончиво и вдруг принялся рассказывать, как заезжие гастролеры в прошлом году обманули мать его, старуху, выклянчивши у нее за пятерку дедовскую икону, коей цены нет и за которую любой музей отдал бы, не глядя, два стольника, самое малое.

Я слушал его с недоумением, а он вдруг, оборвав свой рассказ, предложил мне зайти к нему в «домишко» через два часа, чтобы «посвидетельствовать». Он, оказывается, хочет некую сделку совершить, и нужно ему, чтобы при том присутствовал надежный человек.

Не могу сказать, чтобы предложение это пришлось мне по вкусу, однако и отказаться я тоже не мог. Нас с Гриней связывают давние приятельские отношения, еще с тех времен, когда я был начальником, а он шофером экспедиции, занимавшейся в Туркестане поисками места для установки Большого Телескопа. Гриня мне многим был обязан, да и я ему кое-чем обязан был, ибо оба мы были грешны в молодости, Гриня — побольше, я — поменьше, но оба.

И вот спустя два часа, то есть поздним уже вечером, оказался я в Гринином «домишке», что прятался в зарослях каких-то экзотических кустов на его садовом участке. Снаружи стояла глубокая южная тьма, кричали цикады, пахло пряностями и цветами, а внутри под лампой с розовым абажуром за столом, покрытым старенькой, но чисто выстиранной скатертью, некогда роскошной, сидели мы втроем: Гриня (Григорий Григорьевич Быкин, водитель первого класса), я (Сергей Корнеевич Манохин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник) и Агасфер Лукич (Агасфер Лукич Прудков, агент Госстраха).

*ГРИНЯ* : осведомляется у Агасфера Лукича, не возражает ли тот против присутствия здесь вот этого вот свидетеля.

*АГАСФЕР ЛУКИЧ* : не только не возражает, но всячески приветствует, ибо знает, ценит и полностью доверяет.

*ГРИНЯ* : предлагает прямо приступить к делу, потому что мало ли что.

*АГАСФЕР ЛУКИЧ* : суетливо и хлопотливо извлекает из переполненного портфеля своего розовые бланки страховых свидетельств и принимается за работу.

*ГРИНЯ* (с некоторой тревогой): А это на кой хрен понадобилось?

*АГАСФЕР ЛУКИЧ* (не переставая бегать пером): А как же иначе, батенька? Без этого никак нельзя. Это, можно сказать, всему голова.

*ГРИНЯ*: с хмурым недоумением смотрит на Агасфера Лукича, затем лицо его вдруг проясняется, словно он что-то понял.

*Я*: не понимаю ничего, начинаю раздражаться, но пока молчу.

*АГАСФЕР ЛУКИЧ*: профессионально сияя, вручает Грине «Страховое свидетельство по страхованию от несчастных случаев».

*ГРИНЯ* (просматривает свидетельство и ухмыляется): Как раз трешник. Вот потом и вычтешь...

*АГАСФЕР ЛУКИЧ*: Само собой, само собой. Тут у меня все учтено. (Достает из портфеля и кладет перед Гринею большой лист плотной белой бумаги, исписанный от руки чрезвычайно красивым, каллиграфически красивым почерком с наклоном влево.)

*ГРИНЯ*: изнуряюще долго читает текст, шевеля губами, зверски наморщив при этом лоб.

*АГАСФЕР ЛУКИЧ*: приятно улыбается.

*Я*: не знаю, что и думать, испытываю самые неприятные, но решительно неясные подозрения.

*ГРИНЯ*: дочитав документ по второму разу, с большим сомнением мотает щеками.

*АГАСФЕР ЛУКИЧ*: Замечания? Дополнения?

*ГРИНЯ*: Не пойдет так. Не нравится. Тут у вас, например, сказано прямо... (читает вслух) «Передаю мою особую нематериальную субстанцию, независимую от моего тела...» Не пойдет. Насчет субстанции я справки навел, много неясного... Тем более — «особая».

*АГАСФЕР ЛУКИЧ*: Понял вас. Разумно.

*ГРИНЯ*: Во-вторых. Не передаю, а, скажем, отдаю в аренду...

*АГАСФЕР ЛУКИЧ*: На девяносто девять лет.

*ГРИНЯ*: Н-н-н... Ладно. Это еще туда-сюда... Тоже, между прочим, могли бы навстречу пойти... Ну, ладно. И главное! (Строго стучит ногтем по бумаге.) Прямо здесь должно быть сказано: трешками! Других не приму!

*АГАСФЕР ЛУКИЧ*: Момент! (Жестом фокусника выхватывает из портфеля и кладет перед Гринею новый роскошный лист, исписанный тем же каллиграфическим почерком.)

*ГРИНЯ*: подозрительно поглядев на Агасфера Лукича, вновь погружается в чтение.

*Я*: только диву даюсь, на какие ухищрения приходится идти нынешнему страхагенту ради трех рублей: я заметил уже, что первый каллиграфический лист словно растворился в воздухе, на скатерти его больше нет, и неприятные подозрения во мне укрепляются.

*ГРИНЯ* (прочитав, передает лист мне): «Ознакомься, Корнеич», — говорит он

озабоченно.

*Я* : ознакамливаюсь, и волосы мои встают дыбом.

## ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

Я, нижеподписавшийся Григорий Григорьевич Быкин, в присутствии свидетеля, названного мною Сергеем Корнеевичем Манохиным, отдаю предъявителю сего в аренду на 99 (девяносто девять) лет, считая с сего 1 августа 19.. года, свое религиозно-мифологическое представление, возникающее на основе олицетворения жизненных процессов моего организма, в обмен на 2999 (две тысячи девятьсот девяносто девять) казначейских билетов трехрублевого достоинства образца 1961 года. Каковая сумма должна оказаться в моем распоряжении в течение двадцати четырех часов с момента подписания мною данного акта.

Подпись.

Дата.

*Я* : в полном обалдении принимаюсь читать все сначала.

*ГРИНЯ* (*скворчит у меня над ухом* ): Религиозное... это... как его там... религиозное — это одно, не жалко... А субстанция — совсем другое дело, как ты считаешь, Корнейч?

*АГАСФЕР ЛУКИЧ* (*ласково вещает где-то на краю моего сознания* ): Очень разумно, очень здраво поступаете, Григорий Григорьевич.

*Я* (*как всегда, слетевши с рельсов повседневности, оказавшись в положении идиотском и абсолютно фальшивом, перескакиваю в истинно-мужскую грубоватую иронию и произношу первую же пришедшую на ум пошлость* ): С тебя полбанки, Гриня, в честь такого дела!

Даже то ничтожное мозговое усилие, которое потребовалось мне, чтобы изрыгнуть вышеприведенную пошлость, оказалось, видимо, в тогдашнем моем состоянии чрезмерным. То ли обморок, то ли прострация овладела мною. Дальнейшее вспоминается мне урывками. И как бы сквозь некую вуаль. Отчетливо помню, однако, как Агасфер Лукич, опасливо отклонясь, раскрыл портфель, и оттуда, словно из печки с раскаленными углями, шарахнуло живым жаром, даже угарцем потянуло, а Агасфер Лукич, схвативши (видимо, уже подписанный Гринею) акт передачи, сунул его в самый жар, в багрово-тлеющее, раскаленное, и торопливо захлопнул крышку, лязгнув железными замками.

— А не сгорит оно там к ядрене-фене? — опасливо спросил Гриня, следивший за всей этой процедурой с понятной настороженностью.

— Не должно, — озабоченно отвечивал Агасфер Лукич и наклонил к портфелю живое ухо, как бы прислушиваясь к тому, что происходит там внутри.

Помню также, что Гриня принялся немедленно и без всякого стеснения нас выпроваживать.

— Давайте, давайте, мужики, — приговаривал он, слегка подталкивая меня в поясницу. — Так ты обещаешь, что под орехом? — спрашивал он Агасфера Лукича. — Или под платаном все ж таки? Осторожно, ступеньки у меня тут крутые...

Агасфер же Лукич отвечал ему:

— Именно под орехом, Григорий Григорьевич. Или уж в самом крайнем случае — под платаном...

Затем, помнится, шли мы с Агасфером Лукичом по терренкуру в кромешной тьме, разнообразной разве что огоньками светлячков, Агасфер Лукич явственно сопел у меня под ухом, цепляясь за локоть мой, и, помнится, спросил я его тогда, не хочет ли он дать мне какие-нибудь объяснения по поводу происшедшего. Решительно не сохранилось в моей памяти, ответил ли он что-либо, а если и ответил, то что именно.

Сейчас-то я понимаю, что ни в каких ответах и ни в каких таких особенных объяснениях я в ту ночь уже не нуждался. Конечно, многие детали и нюансы были тогда мне непонятны, так ведь они остаются непонятны мне и сейчас. В них ли дело?

Надо сказать, Агасфер Лукич никогда и не делал особенной тайны из своих транзакций. Попытки легализовать свою сомнительную деятельность сопутствующими страховыми операциями не могут, разумеется, рассматриваться как серьезные. Они производят впечатление скорее комическое. В главном же Агасфер Лукич всегда был вполне откровенен и даже, я бы сказал, прямолинеен — просто ему не нравилось почему-то называть некоторые вещи своими именами. Отсюда это почти трогательное пристрастие к неуклюжим эвфемизмам — и даже не к эвфемизмам, собственно, а к суконным формулировкам, извлеченным из каких-то сомнительных учебных пособий и походно-полевых справочников по научному атеизму. Впрочем, и контрагенты его, насколько мне известно, как правило, предпочитали эвфемизмы. Забавно, не правда ли?

Не знаю, существует ли в системе Госстраха понятие «служебная тайна», «тайна вклада» или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, Агасфер Лукич любил поболтать. Без малейшего побуждения с моей стороны он поведал мне множество историй, как правило, комичных и всегда анонимных, — имен своих клиентов Агасфер Лукич старательно бежал. Иногда я догадывался, о ком идет речь, иногда терялся в догадках, а чаще всего догадываться и не пытался. Сейчас все эти истории, вероятно, тщательно анализируются прокуратурой, не буду их здесь приводить. Но не могу не восхититься деловой хваткой зама нашего по общим вопросам товарища Суслопарина и не могу не плакать о судьбе бедного моего друга Карла Гавриловича Рослякова.

Суслопарин был единственным человеком (насколько мне известно), который без стеснения называл все вещи своими именами. Никаких субстанций, никаких религиозных представлений — ничего этого он признавать не желал. Цену он запросил немалую: гладкий, без ухабов и рытвин, путь от нынешнего своего поста через место директора номерного сверхважного завода, главнейшего в нашей области, к, сами понимаете, посту министерскому. Не более, но и не менее. Однако, много запрашивая, немало он и предлагал. А именно, всех своих непосредственных подчиненных с чадами и домочадцами предлагал он в бездонный портфель Агасфера Лукича. Говоря конкретно, предлагались к употреблению: помощник товарища Суслопарина по снабжению И. А. Бубуля; комендант гостиницы-общежития Костоплюев А. А. с женой и свояченицей; племянник начальника обсерваторского гаража Жорка Аттедов, коему все равно в ближайшее время грозил срок; и еще одиннадцать персон по списку.



Самого себя товарищ Сулопарин включать в список не спешил. Он полагал это несвоевременным, он выражал опасение, что это было бы неверно понято. Агасфера Лукича казус этот приводил почти в неистовство. По его словам, это было невиданно, неслыханно и беспрецедентно. С таким он не встречался даже в Уганде, где поселен он был в отдельный дворец для иностранца. Нынешнее же положение его чрезвычайно осложнялось еще и тем обстоятельством, что сделка такого рода никакими нравственными правилами не запрещалась, но влекла за собой массу чисто технических осложнений и неудобств. Переговоры затягивались, и я так и остался в неведении, чем они завершились.

Совсем в другом роде история разыгралась с Карлом Гаврилычем, директором обсерватории. Я хорошо знал его, мы учились на одном факультете, он был старше меня на три курса. Я играл тогда в факультетской волейбольной команде, а он был страстным болельщиком. Боже мой, как он любил спорт! Как он мечтал бегать, прыгать, толкать, метать, давать пас, ставить блок! От рождения у него были сухая левая рука и врожденный вывих левого бедра. Это печальное обстоятельство плюс ясная, все запоминающая голова определили его жизнь. Он быстро продвигался по научной лестнице и сделался блестящим доктором, когда я еще в ухе ковырял над своей кандидатской. За ним были все мыслимые почести и звания, о которых может мечтать ученый в сорок пять лет, а назначение его директором новейшей, наисовременнейшей Степной обсерватории было даже научными его недоброжелателями воспринято как естественный и единственно правильный акт.

Однако руку ему это не вылечило, и хромать он не перестал. Еще какие-то недуги глодали его, он быстро терял здоровье, и когда Агасфер Лукич сделал ему свое обычное предложение, мой бедный Карл не задумался ни на минуту. Фантастические перспективы ослепили его. Обычная жесткая его логика изменила ему. Впервые в жизни не сработал скепсис, давно уже ставший его второй натурой. Впервые в жизни пустился он в азартную игру без расчета — и проиграл.

Мне еще повезло увидеть его в конце того лета, крепкого, сильного, бронзово-загорелого, ловкого и точного в движениях — совершенно преображенного, но уже невеселого. Он только что вернулся из Ялты, где и состоялось с ним это волшебное преображение, где он впервые вкусил от радостей абсолютного здоровья. И где он впервые почувствовал неладное, когда ему наскучило гонять в пинг-понг с хорошенькими курортницами и он присел как-то вечерком у себя в номере рассчитать простенькую модель... Строго говоря, я ведь не знаю толком, что с ним произошло. Агасфер Лукич клялся мне, что зловещий портфель здесь совершенно ни при чем, что это просто лопнули от перенапряжения некие таинственные жилы, сплетавшие воедино телесное и интеллектуальное в организме моего бедного Карла... Может быть, может быть. Может быть, и вправду сумма физического и интеллектуального в человеке есть величина постоянная, и ежели где чего прибавится, то тут же соответственно другого и убывает. Вполне возможно. И все-таки мне иногда кажется, что лукавит Агасфер Лукич, что не обошлось здесь без его портфеля, и в раскаленной топке исчезла не только «особая нематериальная сущность» Карла моего Гаврилыча (как названо это в «Словаре атеиста»), но и его «активное движущее начало» (как это названо там же). В конце памятного августа Карл был просто машиной для подписывания бумаг. Я думаю, сейчас он уже спился.

Должен признаться, однако, что в те поры мне было не до него. Собственные

проблемы одолевали и угнетали меня, как мучительная хроническая болезнь. Я все придумывал, как бы мне избежать этого самого стыдного пункта моего повествования, но вижу теперь, что совсем избежать его мне не удастся. Постараюсь, по крайней мере, быть кратким.

В конце концов, если подумать, мне нечего стыдиться. Как бы там ни было, а честь открытия Юго-Западного Шлейфа принадлежит все-таки мне, и одиннадцать шаровых скоплений, которые я обнаружил в Шлейфе, были предсказаны мною заранее — я предсказал, что их должно быть десять-пятнадцать. Этого у меня никто не отнимет, да и не собирается отнимать. И докторская диссертация моя, даже если вынуть из нее главу относительно «звездных кладбищ», все равно останется работой неординарной и вполне достойной соответствующей ученой степени. Другое дело, что претендовал-то я на большее!

Теперь я вижу, что поторопился, надо было выждать. Не надо было писать этой статьи в «Астрономический журнал», и уж вовсе не надо было посылать заносчивое письмо в «Астрономикл лэттерз». Гордость фраера сгубила. Очень захотелось быть блестящим, вот что я вам скажу. До смерти надоело числиться вдумчивым и осторожным ученым. Ладно, господь с ним...

Когда Ганн, Майер и Исикава, независимо друг от друга, пошли публиковать — кто в «Астрофизикл джорнэл», кто в «Ройял обсерватори бюллэтенз», — что эффект «звездных кладбищ» обнаружить им, видите ли, не удалось, это было еще полбеда. Все наблюдения шли на пределе точности, и отрицательный результат сам по себе еще ничего не значил. Но вот когда Сеня Бирюлин рассчитал, как «эффект кладбищ» должен выглядеть на миллиметровых волнах, сам отнаблюдал, ничего на миллиметровых волнах не обнаружил и с некоторым недоумением сообщил об этом на июльском ленинградском симпозиуме, — вот тут я почувствовал себя на сковородке.

Я заново проверил все свои расчеты. Ошибок, слава богу, не было. Но обнаружилось одно место... этакий логический скачок... К черту, к черту, не хочу сейчас об этом писать. Даже вспоминать отвратительно, какой ледяной холод я вдруг ощутил в кишках в тот момент, когда понял, что мог ведь и просчитаться... Не просчитался, нет, пока еще никто не вправе кинуть в меня камень, но видно уже, что стальная цепь логики моей содержит одно звено не металлическое, а так, бублик с маком. (Стыдно признаться, а ведь я за это звено так до сих пор и не решился потянуть как следует. Не могу заставить себя. Трусоват.)

Тогда, в августе, я даже думать на эту тему боялся. Мне только хотелось, как страусу, зажмурить глаза, сунуть голову под подушку — и будь что будет. Разоблачайте. Драконьте. Топчите. Жалейте.

Ведь что более всего срамно? Ведь не то, что ошибся, наврал, напахал, желаемое принял за сущее. Это все дело житейское, без этого науки не бывает. Другое срамно — что занесся. Что дырки в лацканах стал проверчивать для золотых медалей, перестал с окружающими разговаривать, принялся вещать. Публично же сожалел (в нетрезвом виде, правда), что по статусу не полагается Нобелевской премии за астрономические открытия! Аспирантика этого несчастного задробил... как бишь его... вот уж и фамилии не помню... А ведь вполне может быть, что он в своей работенке — детской работенке, зеленой — вполне справедливо меня поддел. Это тогда, сторяча, я, кроме глупости да неумелости, ничего в его статейке не углядел, а он как раз, может быть, и

ухватился за этот мой бублик с маком, и был это мне первый звоночек, так сказать...

Пути назад у меня были отрезаны, вот что меня губило. Слишком много было наболтано, нахвастано, наобещано, не мог я уже выйти перед всеми и сказать: «Пардон. Обосрался». И оставалось мне только одно: ждать и надеяться, что обойдется, что не обгадился я на самом деле, что вот запустят американцы «Эол», и в рентгене все получится по-моему...

Я докатился тогда до состояния такого ничтожества, что не мог даже заставить себя сесть и трезво, холодно просчитать все слабые места заново: да — да, нет — нет. Куда там! Всех моих душевных сил хватало лишь на то, чтобы лежать на кровати навзничь, заложивши руки под голову. И ждать, пока Сеня перепроверит свои наблюдения на «Луче» или американцы запустят «Эол».

Собственно, именно в таком состоянии у людей и рождаются сумасшедшие, бредовые, фантастические идеи. Только обычно идеи эти перегорают, не оставивши по себе даже копоты, а у меня под боком оказался Агасфер Лукич.

Агасфера Лукича я определил бы как человека широко, но мелко образованного. Обо всем он знает понемногу, но самое замечательное в нем — его понятливость. Понятлив и догадлив, вот как бы следовало его определить. Что такое шаровое скопление — он не знал, не приходилось ему о таком ранее слышать, но стоило объяснить, и он тут же, ухвативши суть, поинтересовался, не искали ли чего-либо необычного в центре этих гигантских звездных колобков, а если искали, то что именно, и нашли ли. Со «звездными кладбищами» оказалось посложнее, все-таки это вещь сугубо специальная, тут он так и остался в некотором недоумении, однако сразу же заметил, что для нашего дела это его недопонимание существенной роли играть не может. Очень быстро схватил он также и самую суть моих неприятностей. Причем, надо отдать ему справедливость, проявил большую деликатность и тонкость чувств, — он напомнил мне чрезвычайно опытного хирурга, умело и деликатно орудующего ножом вокруг самых больных мест, но нимало их не тревожащего.

С деловитостью врача он предложил мне на выбор два апробированных пути излечения моей хвори. Я отвергнул их немедленно, почти без размышлений. Я не слишком высокого мнения о своей личности (особенно в свете происходящего), но и менять ее вот так, за здорово живешь, при первой же серьезной неприятности я не собирался. И вовсе не собирался я ради собственных амбиций водить за нос (всю жизнь!) такое количество ни в чем не повинных и, как правило, вполне симпатичных людей.

Тогда Агасфер Лукич взял у меня ночь на размышление и утром выдал мне третий путь.

Едва он заговорил, я даже вздрогнул: мне показалось, что он угадал мою собственную бредовую идею. Оказалось, однако, нет, не угадал, хотя и его идея была вполне достаточно бредовой. Он предложил организовать сравнительно небольшие изменения в распределении материи в нашей Галактике с тем, чтобы в обозримом будущем ( $10^{12}$ – $10^{13}$  секунд) мою гипотезу нельзя было бы ни опровергнуть, ни подтвердить. Речь шла о подвижках в пространстве сравнительно незначительных масс темной материи и о внеплановом взрыве двух-трех сверхновых, способных существенно исказить наблюдаемую картину в моем Юго-Западном Шлейфе. Главная трудность здесь заключалась в том, что эта работа космологических временны

и пространственных масштабов должна была сопровождаться мелкими, но чрезвычайно кропотливыми и скрупулезными подчистками в ныне существующих архивах наблюдательной астрономии. Я не совсем понял — зачем, но требовалось непременно создать впечатление, будто новая наблюдаемая картина имела место всегда, а не появилась только что, на глазах изумленных наблюдателей. Этот путь я даже не стал критиковать. Я просто предложил Агасферу Лукичу свой.

Сначала он не понял меня. Потом задумался глубоко. Впервые в жизни я тогда увидел, как изо рта у Агасфера Лукича идет зеленоватый дым, — зрелище по первому разу жутковатое. Потом он встрепнулся от задумчивости и посмотрел на меня с каким-то странным выражением.

Действительно, ведь моя гипотеза «звездных кладбищ» не нарушала ни одного из фундаментальных законов физики. Она могла быть ложной, она могла быть истинной, но она никак не могла быть названа невозможной. Природа вполне могла быть устроена таким образом, чтобы «звездные кладбища» существовали в реальности. И если оказывается, что она устроена не так, то почему бы не вмешаться, буде есть на то желание и соответствующие возможности. Пусть это будет сравнительно редкое явление, я вовсе не настаивал на его метагалактической распространенности. В конце концов, возьмите фуоры. Во всей Галактике их обнаружено несколько штук. Редкость. Особое сочетание физических условий. Вот и с моими «кладбищами» пусть будет так же. Только пусть они будут (если их нет). А все свои расчеты я готов предоставить по первому требованию.

Дико и нелепо устроен человек. Ну, казалось бы, чем мне тут гордиться? А я горжусь. Удалось мне озадачить Агасфера Лукича. Забегал он у меня, засуетился, заметался. Признался, что такое ему не по плечу, но обещал в ближайшее же время навести справки.

Вот так, на трагикомическом уровне, определилась нынешняя судьба моя. И теперь сижу я на шершавом испачканном топчане, за окном постоянный ноябрь, белые мухи, в комнате жарко, хотя батареи еще не продуты, — пишу эти записки, не адресуя их никому, трепетно жду, когда ударят в космическом мраке Кабинета шаги моей сегодняшней судьбы.

Вот сейчас вспомнилось ни с того ни с сего. Гриня повадился каждый день разминивать в столовой новехонькую трешку и, как стало широко известно, записался в местком на «семерку-жигули»... Следователь районной прокуратуры, который допрашивал меня, деликатно, но весьма настойчиво добивался, не замечал ли я в последнее время каких-либо перемен в характере, поведении и образе жизни гражданина Быкина Г. Г. Меня и самого интересовал этот вопрос. Мне и самому было болезненно интересно узнать, что же происходит в конечном итоге с людьми, «ставшими жертвами жульнических махинаций гражданина Прудкова А. Л., выдававшего себя за сотрудника системы Государственного страхования». Так что я ничем не мог помочь товарищу следователю, я только честно признался ему, что сам жертвой упомянутых махинаций не стал. По-моему, он мне не поверил. Во всяком случае, прощаясь, он с довольно неприятным видом пообещал, что мы еще встретимся.

Но мы, конечно, никогда больше не встретимся.

5. Этот был рослый, выше меня на голову, в длинном кожаном...

## Дневник. 14 июля

Вчера ничего не записывал, потому что весь день работал в 4-й детской. По-прежнему самое мучительное и невыносимое для меня — ассистировать при операциях. Поэтому вызвался на все шесть и четыре благополучно проассистировал, а перед пятой Борисыч прогнал меня в палаты носить горшки и приходиться в себя.

В лицей вернулся в начале десятого без задних ног и сразу завалился. Думал, просплю до утра. Фигушки. В два часа ночи приперся Михей, распираемый впечатлениями. Он, оказывается, ходил с Пашкой и Иришкой слушать этого пресловутого Вегу Джихангира. Они от него в рептильном восторге. Набрался полный стадион народу. Джихангир ревет. Синтезаторы ревут. Народ ревет. Прожектора. Синхролайтинги. Петарды рвутся. И так четыре часа подряд. Потом взвалили себе на плечи своего Джихангира и понесли в гостиницу через весь город.

Ни одной Джихангировой песни Мишель, конечно, не запомнил, но зато на обратном пути университетские студюзусы обучили его своему боевому маршу, который начинается так:

Рехо, рехо, рехо-хо-хо-хо-хо!  
Ага-него, ням-ням-ням-ням,  
Первички ня-а-ам!  
А ну-ка демо! А шервервумба!  
А шервервумба, вумба-вумба,  
цум-бай-квеле,  
тольминдадо,  
Цум-бай-квеле, цум-бай-ква...

И так далее. О, эти ташлинские титаны духа! Мишель никак не мог остановиться, я не выдержал и все-таки заснул. В результате утром проспал.

До обеда прилежно писал отчет-экзамен.

Доброта и милосердие. Разумеется, понятия эти пересекаются, это ясно. Но есть какое-то различие. Может быть, в отношении к понятию «активность»? Доброта больше милосердия, но милосердие глубже. И милосердие, в отличие от доброты, всегда активно. Литература по этой теме огромна и бесполезна. Если выпарить это море слов, останется чайная ложка соли. Воробьиная погадка. Надо бы спросить Г. А.: почему наиболее интуитивно ясные понятия более всех прочих оболтаны за истекшие двадцать веков? (*Приписка 16 июля*. Г. А. сказал: потому что интуиция — в подкорке, а понятие — в коре. Непонятно. Надлежит обдумать.)

После обеда Г. А. послал меня в библиотеку читать последний выпуск «Логики...». В чем дело? Оказывается, он недоволен, как идут у меня по логике Санька Ежик и Сева Кривцов. Здрасьте вам! А я-то был уверен всегда, что они у меня идут на десять баллов. Я человек скромный и себя хвалить не терплю, но если у меня что хорошо, то хорошо. Оказывается, нет. Нехорошо у меня. Мы с ним поспорили. Я слово, он два. Ладно. Пошел в библиотеку, поднял «Логик...» за последний год. Все-таки Г. А. — бог. Сам он всегда убеждает нас, что главное — не знать, а понимать. Но ведь он-то вдобавок и *знает*! Все знает! И бес, посрамлен бе, плакаси горько.

В «Молодежных новостях» сообщение про вчерашний концерт Джихангира: «Встреча с новой песней». С подъемом описывается радость, испытанная городскими

любителями синхронизма, от встречи с популярнейшим и любимейшим Марко да-Вегой. Новые тексты... новая манера... совершенно новое сопровождение... «К сожалению, конец этой волнующей встречи был омрачен хулиганскими выходками наиболее незрелой части слушателей. Кто бы ни был инициатором этих выходок — заезжие «дикобразы», местные фловеры или просто загулявшие студенты, — прощения и оправдания им быть не может. Мы уверены, что милиция с помощью общественности в ближайшее же время установит и строго накажет распоясавшихся хулиганов».

В «Городских известиях» колонка под названием: «Ночной пандемониум». Никакого праздника синхронизма на стадионе не было. Был омерзительный шабаш. Четырехтысячная толпа, состоящая главным образом из так называемых фловеров, устроила отвратительное побоище, сопровождавшееся актами вандализма. Стадиону нанесен значительный ущерб. Изуродовано несколько автомашин. В окрестных постройках не осталось ни одного целого стекла. Несколько десятков искалеченных хулиганов доставлены в больницы. Несколько десятков задержаны. Органы милиции ведут расследование. Газета не раз выступала против приглашений в наш город этих так называемых «властителей дум». Нынешний ночной пандемониум — лишнее, хотя и печальное, доказательство ее правоты.

Иришка с Мигелем утверждают, что ничего подобного не было. Все было очень громко, но вполне мирно.

Кому верить?

На сон грядущий пошли поболтать с Г. А. Серафима Петровна подала пирог-плетенку с абрикосовым вареньем. Сначала болтали о том о сем, а потом вдруг выяснилось, что разговор идет о преступности. (Ни минуты не сомневаюсь, что на эту тему повернул нас Г. А. Но в какой момент? Каким образом? И почему я опять этот поворот прозевал?)

Я считаю, что в наше время существуют три главных фактора, которые в сочетании делают человека преступником. Во-первых, система воспитания не сумела выявить у него направляющего таланта. Человек оставлен вариться в собственном соку. Во-вторых, он должен быть генетически предрасположен к авантюре: риск порождает в нем положительные эмоции. В-третьих, духовная нищета: духовные запросы подавлены материальными претензиями. Вокруг полно прекрасных вещей: автомобили, птеры, роскошные девочки, жратва, наркотики, в конце концов. Зарабатывать все это невыносимо скучно и тяжело, потому что любимой работы у него нет. Но очень хочется. И он начинает брать то, что по существующему праву ему не принадлежит, рискуя свободой, жизнью, человеческими условиями существования, причем делает это не без удовольствия, а может быть, и с наслаждением, потому что риск у него — в генах.

Конечно, это самая грубая схема, не учитывающая никаких нюансов, да и великого множества разнообразных социальных и личных обстоятельств. Однако основную массу насильственных преступлений такая схема, по-моему, объясняет.

Аскольд: существует ли талант к преступлению? В конце концов, разработка и исполнение преступного замысла — это в самом широком смысле слова игра, требующая незаурядных творческих способностей, своеобразных эстетических данных и психологической проницательности.

Возможно, не спору. Наше дело — устроить так, чтобы ему было интереснее играть в любую другую игру, но не в эту. А если общество не в состоянии предложить ему ничего, кроме как есть хлеб свой в поте кислой физиономии своей, то немудрено, что он предпочитает играть в казаки-разбойники и норовит ходить по краю. Вот если бы мы умели с младых ногтей привить ему человечность и милосердие, это было бы самой надежной прививкой и против бездуховности, и против тяги к преступному риску. Да что толку говорить об этом, если мы все равно этого не умеем делать сейчас так же, как тысячу лет назад!

«Пересадить свою доброту в душу ребенка — это операция столь же редкая, как сто лет назад пересадка сердца».

Г. А. сказал как бы между прочим: закон никогда не наказывает *преступника*. Наказанию подвергается всего лишь тварь дрожащая — жалкая, перепуганная, раскаивающаяся, нисколько не похожая на того наглого, жестокого, безжалостного мерзавца, который творил насилие много дней назад (и готов будет творить насилие впоследствии, если ему придется уйти от возмездия). Что же получается? Преступник как бы ненаказуем. Он либо уже не тот, либо еще не тот, кого следует судить и наказывать... Слава богу, что хоть смертная казнь у нас отменена!

### Рукопись «ОЗ» (5–9)

5. Этот был рослый, выше меня на голову, в длинном кожаном пальто. Войдя, он снял огромную меховую шапку и, пригладив прическу ладонью, проговорил негромко:

— Колпаков. Мне назначено на семнадцать.

Он отряхнул шапку от мокрого снега, положил ее на столик под зеркалом, снял пальто («Благодарю вас, я сам...») и аккуратно, любовно повесил его на распялку.

Мы прошли в Приемную. Он шагал широко, бесшумно, на каждом шаге слегка подаваясь по-куриному туловищем вперед, и непрерывно мыл ладони воздухом. В Приемной он бегло, но цепко огляделся, как бы прицениваясь к обстановке, а когда я предложил ему кресло, он сел с видом человека, готового долго и терпеливо ждать. Если он и волновался, то волнение свое умело скрывал. Он даже ладони перестал умывать.

Я сел на свое место и сказал:

— Можете говорить.

Он снова огляделся, теперь уже с некоторым недоумением, но быстро сориентировался (он, видимо, вообще умел быстро ориентироваться) и заговорил. Я смотрел, как он говорит, и мне почему-то вспомнилось, что Юрий Павлович Герман называл таких людей «красивый, но вялый». Такой рослый, такой благообразный, такой русский, и широкие плечи, и кровь с молоком, и глаза вполне стальные, а в то же время — какая-то бледная немочь во всем: движения плавно-замедленные, голос тихий, интонации умеренные. Умеренность — его лозунг. Умеренность и аккуратность.

Говорил он в пространство перед собой. (Как, откуда узнал он, что не я его собеседник, а ведь, кроме меня, в Приемной никого не было!..) Говорил, словно на докладе у начальства, — на память, не сбиваясь, но и не увлекаясь чрезмерно, только время от времени, в особенности, когда шли цифры, поглядывал в шпаргалочку,

оказавшуюся незаметно у него в ладони. И хотя не предпосылал он своему докладу никакого названия, после первых же двух-трех периодов стало ясно, что речь идет о «Необходимых организационных и кадровых мероприятиях для подготовки и проведения кампании по Страшному Суду».

Говорил он по моему секундомеру почти десять минут — восемнадцати секунд не хватило для ровного счета. Закончив, осторожно положил свою шпиргалочку на полированную поверхность трюмо рядом с пепельницей и смиренно свел пальцы больших белых рук у себя на коленях.

Демиург молчал целую минуту, прежде чем задал первый свой вопрос.

— Надо понимать, Зверь из моря — это лично вы? — спросил он.

Колпаков заметно вздрогнул, но отозвался тотчас же, без малейшего промедления:

— Возражений не имею.

Демиург вдруг очень красиво процитировал — нарочито бархатным, раскатистым голосом профессионального актера старой школы:

— «Зверь был подобен барсу: ноги у него как у медведя, а пасть у него как пасть у льва; и дал ему Дракон силу свою, и престол свой, и великую власть...» Дракон, надо понимать, — это я?

Колпаков позволил себе бледно усмехнуться.

— Не могу согласиться, извините. В данном штатном расписании это уж скорее товарищ Прудков. Агасфер Лукич.

Полная тишина была ему ответом, и усмешка пропала с бледного лица, и оно стало еще бледнее. Потом Демиург заговорил снова:

— «...И поклонились Зверю, говоря: кто подобен Зверю сему и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца». У вас губа не дура, Колпаков.

— В некоторых переводах стоит: «сорок два года», — чуть повысив голос, возразил Колпаков.

— И вы, разумеется, предпочитаете именно эти переводы. Да, губа у вас не дура. И как же вы намерены развязать Третью и последнюю? Конкретно!

— Мне кажется, один случайный запуск... одно случайное неудачное попадание... Мне кажется, этого уже достаточно было бы...

— Во-первых, недостаточно! — загремел Демиург. — Во-вторых, если вы даже сумеете организовать бойню, понимаете ли вы, чем она кончится? Послушайте, вас вообще-то учили, что через шесть месяцев погибнет от девяноста пяти до девяноста восьми процентов всего населения? Вы перед кем, собственно, намерены «гордо и богохульно» говорить на протяжении сорока двух месяцев... я уж не скажу — лет?

На физиономии Колпакова не осталось ни кровинки, однако он и не думал сдаваться.

— Прошу прощения, — произнес он с напором, — но ведь у меня и намерения такого не было — конкретизировать начало хаоса. Мне казалось всегда, что это как раз — на ваше усмотрение! И железная саранча Аваддона... и конные



ангелы-умертвители... и звезда Полюнь... Вообще весь комплекс дестабилизирующих мероприятий... Я как раз не беру на себя ответственность за оптимальный выбор...

— Он не берет на себя ответственность, — грянул Демиург. — Да ведь это же главное, неужели не ясно — оптимальный выбор! Максимум выживания козлиц при минимуме агнцев!

— Позвольте же заметить! — не сдавался Колпаков. — Был бы хаос, а все остальное я беру на себя, у меня агнцев вообще не останется, ни одного! Что же касается организации хаоса... Согласитесь, это совсем вне моей компетенции!

— Так уж и вне... — произнес Демиург саркастически. — Вон чего вокруг насочиняли... Кстати, а что такое в вашем понимании агнцы?

И опять не дрогнул Колпаков. И опять он ответил как по писаному:

— Насколько мне доступно понимание высших целей, это сеятели. Сейте разумное, доброе, вечное. Это про них сказано, как я понимаю.

— Ясно, — произнес Демиург. — Можете идти. Сергей Корнеевич, проводите.

Я встал. Колпаков все еще сидел. Красные пятна разгорались у него на щеках. Он разлепил было губы, но Демиург сейчас же сказал, повысив голос:

— Проводить! Пальто не подавать!

И поднялся бедный Колпаков, и пошел, понурившись, в прихожую, и снял с распялки роскошный свой черный кожан, и принялся слепо проталкивать руки в рукава, и мужественная челюсть его тряслась, а вокруг реял невесть откуда взявшийся Агасфер Лукич с портфелем наизготовку и говорил как заведенный — ворковал, курлыкал, болботал:

— Не огорчайтесь, батенька, ничего страшного, не вы первый, не вы последний, откуда нам с вами знать, может, оно и к лучшему... Сорок два года все-таки, — такой труд, такая работа, напряжение адское, ни минуты отдыха, никакой расслабленности... Да господь с ними, с этими глобальными мероприятиями!.. Ведь пришлось бы руку поднять на отечество свое, на все человечество! Стоит ли? Не лучше ли подумать прежде всего о себе, что вам лично нужно? Так сказать, персонально... в рамках существующей действительности... не затрагивая никаких основ... Скажем, заведующий отделом, а? Для начала, а?

Они вывалились из квартиры, Агасфер Лукич вел Колпакова, обнимая его ниже талии, и, заглядывая ему в лицо снизу вверх, все ворковал, все болботал, все курлыкал. Я слышал, как они медленно спускаются по лестнице. Колпаков, видимо, опомнясь, принялся что-то отвечать высоким обиженным голосом, но слов уже было разобрать невозможно из-за лестничной реверберации.

Я запер дверь, вернулся в Приемную, поправил сдвинутое кресло, взял с трюмо забытую шпаргалку и попытался было ее прочитать, но ничего там не разобрал, кроме каких-то бессмысленных «убл», «опр», «П сзд».

Я прошел в Комнату и уселся на топчан в ожидании приказаний. Приказаний не было, не было и обычных ворчливых комментариев. Черная крылатая глыба у окна была нема и неподвижна, как монумент Отвращения. Потом вернулся Агасфер Лукич, запыхавшийся от подъема на двенадцатый этаж и очень недовольный. Швырнув портфель в угол, он уселся рядом со мной и сказал:

— Это тот случай, когда я не испытываю никакого удовлетворения. Фактически я его обманул. Не нужны ему те мелочи, дребедень эта, которую я ему всучил... Ему Великое служение нужно! Он создан для служения! Чтобы всех, кто под ним, — в грязь, но и сам уж перед вышестоящим — в пыль... А я ему — дачу в Песках...

Демииург произнес, не оборачиваясь:

— Все они хирурги или костоправы. Нет из них ни одного терапевта.

По-моему, это тоже была цитата, но я не сумел вспомнить — откуда и, наверное, поэтому не понял, что он хотел сказать.

6. Разговоры об истории. О новой истории, о новейшей истории и особенно часто — об истории древней. Агасфер Лукич из истории знает всё. Есть у него один-два пробела (например, Центральная Америка, шестой век, — «тут я несколько поверхностен...»), но в остальном он совершенно осведомлен, захватывающе многоглаголен и нарочито парадоксален. «Не так все это было, — любит приговаривать он. — Совсем не так».

Иуда. Да, был среди них такой. Жалкий сопляк, мальчишка, дрисливый гусенок. Какое предательство?! Перестаньте повторять сплетни. Он просто делал то, что ему велели, вот и все. Он вообще был слабоумный, если хотите знать...

«Не мир принес я вам, но меч». Не говорилось этого. «Не мир принес я вам, но меч...ту о мире», — это больше похоже на истину, так сказано быть могло. Да, конечно, по-арамейски подобная игра слогов невозможна. Но ведь по-арамейски и сказано было не так. «Не сытое чрево обещаю я вам, но вечный голод духа». Причем так это звучит в записи человека явно интеллигентного. А на самом деле вряд ли Учитель рискнул бы обращаться с такими словами к толпам голодных, рваных и униженных людей. Это было бы просто бестактно...

Конечно же Он все знал заранее. Не предчувствовал, не ясновидел, а просто знал. Он же сам все это организовал. Вынужден был организовать.

«Осанна». Какая могла быть там «осанна», когда на носу Пасха, и в город понаехало десять тысяч проповедников, и каждый проповедует свое. Чистый Гайд-парк! Никто никого не слушает, шум, карманники, шлюхи, стража сбилась с ног... Какая могла быть там проповедь добра и мира, когда все зубами готовы были рвать оккупантов и если кого и слушали вообще, то разве что антиримских агитаторов. Иначе для чего бы Он, по-вашему, решился на крест? Это же был для Него единственный шанс высказаться так, чтобы Его услышали многие! Станный поступок и страшный поступок, не спорю. Но не оставалось Ему иной трибуны, кроме креста. Хоть из обыкновенного любопытства должны же были они собратиться, хотя бы для того, чтобы просто поглазеть, — и Он сказал бы им, как надо жить дальше. Не получилось. Не собралось почти народу, да и потом невозможно это, оказывается, — проповедовать с креста. Потому что больно. Невыносимо больно. Неописуемо.

7. ...Я был в полном отчаянии. Видимо, начиналась уже истерика. Я собою не владел. Не помню, как я оказался на лестничной площадке. В ушах гудело — то ли бешеная кровь накручивала спирали в помраченном мозгу моем, то ли перекатывалось в лестничных пролетах эхо от удара двери, которую я изо всех сил за собой захлопнул.

Весь трясясь, но уже в себе, я спустился на этаж ниже и присел на калорифер. Ледяное железо резало зад, но не было сил стоять, и даже не в силах дело — в голову

мне не приходило встать на ноги. Я весь сосредоточился на процессе закуривания. Шарил по карманам, ища мундштук. Долго извлекал сигарету из пачки прыгающими пальцами, сломал две, прежде чем вставил в мундштук третью. Потом принялся ломать спички одну за другой, но закурить в конце концов удалось, и, едва успев сделать первую затяжку, я услышал шаги.

Кто-то поднимался по лестнице, да так быстро, с энергичным напористым ширканьем одежды, мощно, по-спортивному дыша и даже напевая что-то вместе с дыханием, что-то классическое — не то «Рассвет на Москве-реке», не то «Боже, царя храни». И я подумал злобно: это же надо, какой веселый, энергичный клиент у нас пошел, наверняка с какой-нибудь особенной гадостью, с гадостью экстра-класса, с такой гадостью, чтобы уж всех вокруг затошнило, чтобы женщины плакали, сами стены блевали, и сотня негодяев ревела: «Бей! Бей!»...

Он увидел меня и остановился пролетом ниже. Фигура моя здесь, на лестнице, застала его врасплох. Теперь ему надлежало немедленно принять респектабельный и, по возможности, внушительный вид, дабы сразу было ясно, что перед вами не шантрапа какая-нибудь, не горлопан из молодежного клуба, не полоумный прожектер какой-нибудь, а человек солидный, личность, со значительным прошлым, с весом, со связями, готовый предложить, отдать, пожертвовать идею, которую он глубоко продумал в тиши своего личного кабинета и отшлифовал в диспутах с людьми заслуженными, излюбленными и высокопоставленными.

Белесовато-бесцветная, квадратная физиономия его с остатками юношеского румянца на щеках, как бы присыпанных пудрой, наглые васильковые глаза с пушистыми ресницами педераста мимолетно показались мне знакомыми — где-то я видел этот приторный набор — то ли в рекламном ролике, то ли на плакате... Я не захотел вспоминать. Я слез с калорифера и, зажавши мундштук в углу рта, чувствуя, как немеют у меня от злобы челюсти, пошел спускаться ему навстречу и вдруг поймал себя на том, что на ходу судорожно похлопываю раскрытой ладонью по перилам.

Он быстро сорвал легкомысленно сдвинутую на затылок шляпу, прижал ее к груди и коротко, по-белогвардейски, дернул головой, отчего белобрысые волосы его слегка рассыпались. И уже явственно проступил на его поганой морде приличествующий джентльменский набор: солидность, печать значительного прошлого, отсвет глубоко продуманной идеи. И вот тогда я его вспомнил. Это был Марек Парасюхин по прозвищу Сючка, мы вместе кончали десятый класс, а потом он, окончивши все, что полагается, стал литсотрудником тоненького молодежного журнальчика с сомнительной репутацией, расхаживал в черной коже (не подозревая, конечно, по серости, что это форма не только ээсовских самокатчиков, но и американских «голубеньких»), публиковал статейки, в коих тщился реабилитировать Фаддея Булгарина либо доказывал кровное родство князя Игоря и Одиссея Итакского, а в анкетах в графе «национальность» неизменно писал «великоросс». И известно мне было, что в определенных кругах на него рассчитывают.

— Ты зачем сюда приперся, скотина? — произнес я перехваченным голосом, надвигаясь на него.

Против света не видел он моего лица и узнать меня не мог, и теперь, задним числом, я понимаю, что до определенного момента он воспринимал все мои слова и действия как своего рода проверку, искус своего рода. Он приятно осклабился и

ответил:

— Явился по вызову. Моя фамилия Парасюхин, честь имею.

— Сука ты, дрянь поганая, — произнес я, с наслаждением беря его за манишку.

Улыбка его несколько побледнела, но он продолжал рапортовать:

— Готов к докладу. Имею проект, предварительно одобренный...

— Какой еще проект? — просипел я, наматывая его манишку на кулак. Глаза у меня застилало. Отвратительное чувство априорной безнаказанности владело мною. Ведь вся эта погань испытывает наслаждение, не только издеваясь над теми, кто попал ей в лапы, она же наслаждается и собственными своими унижениями в лапах того, кого считает выше себя.

Парасюхин только пискнул: «Однако же... Позвольте...» — и тут же продолжал:

— Имею проект полного и окончательного решения национального вопроса в пределах Великой России. Учитывая угрожающее размножение инородцев... учитывая, что великоросс не составляет уже более абсолютного большинства... На новейшем уровне культуры и технологии... Без лишней жестокости, не характерной для широкой русской души, но и без послаблений, вытекающих из того же замечательного русского свойства... Право же... мне немножко дышать... неудобно... Особое внимание уделяется проблеме еврейского племени. Не повторять ошибок святого Адольфа! Никаких «нутциге юде»...

Я врезал ему левой между глаз, да так, что сразу отшиб себе все косточки в кулаке. Руку мне пробило болью до самого плеча. Он болезненно охнул и замолчал. Мы раскачивались на площадке, лицо в лицо, тяжело дыша, как борцы на ковре. Я тянул его правой рукой за манишку к себе (совершенно непонятно — зачем, мерзко подумать, что целился я вцепиться зубами ему в нос), левая рука моя висела плетью, она хотела бить, но не могла, а он слабо упирался, из расквашенного носа у него текло, одичавшие глаза разъезжались. Но он нашел в себе силы снова изобразить улыбку и продолжить:

— Полуостров Таймыр переименовать в Новую Галилею... Или Галилею Ледовитую... Район, давно уже требующий решительного освоения... и никому не будут мозолить глаза... Третья мировая уже идет... сионизм против всего мира...

Я швырнул его по лестнице вниз и бросился следом. Я гнал его уцелевшим кулаком и пинками пролет за пролетом, а он все не понимал, все пытался оправдаться, лицо его было разбито в кровь, ни единой пуговицы не осталось на пальто, шляпа пропала. Но каждый раз, оторвавшись от меня на расстояние вытянутой ноги, он хватался за перила, истово выкатывал глаза и визжал свое:

— Язву смешанных браков — каленым железом... Поздно будет... И особенно подчеркиваю, что надвигается время армянского вопроса... Пора это уже понять... Армян — в Армению!.. Поздно же будет, россы!..

И вдруг на каком-то этаже он меня узнал. Он завизжал, как женщина, и огромным прыжком оторвался от меня на целый пролет. А у меня уже и сил не было. Я сел на ступеньки и, кажется, заплакал — от боли в руке, от тоски, от безнадежности.

Он стоял на площадке пролетом ниже, расхлюстанный, весь в черных пятнах, судорожно раскорячив руки и оскалив окровавленные зубы, глядел на меня снизу

вверх и повторял, не находя слов:

— А ты... А ты... А ты...

И я глядел на него сверху вниз и с отчаянием думал, что вот опять я ничего не могу, даже сейчас, когда всего-то и надо, что раздавить мерзкую поганку, когда, казалось бы, все в моих руках, только от меня и зависит, и никто мне помешать не успеет, не посмеет мне никто помешать, но — не могу. Слаб, заморочен, скован, сам себя повязал по рукам и ногам взаимоисключающими принципами... «Раздави гадину...» — «Не убий...». «Если враг не сдается...» — «Человек человеку — друг...». «Человек по натуре добр...» — «Дурную траву с поля вон...». И ведь подумать только, который месяц уже нахожусь я у источника величайшего могущества, давным-давно смог бы устроить свою судьбу, и не только свою, и не только своих близких — судьбы мира мог бы попытаться устроить! И ведь ничего...

И тут он, Сючка поганая, непотребная, нашел наконец нужные слова и прошипел радостно:

— То-то жена у тебя полупархатая! Прихвостень жидовский...

Я кинулся на него сверху. Убить. Наверное. Я еще успел увидеть вскинутую руку его, и сразу же, одновременно, — лиловая вспышка, треск выстрела и страшный удар в голову.

Теперь мне кажется, что я тогда нисколько не удивился. Мне и в голову не приходило, что такая тля, как Парасюхин, может быть вооружена. Но когда он выстрелил, это меня нисколько не удивило.

Очнулся я на своем рабочем месте. Раскрытый бювар. Набор шариковых ручек. Календарь. Шестнадцатое ноября. Толстый красный фломастер и тонкий черный. Все было готово к работе.

Клиент, правда, к работе готов еще не был. Он ворочался в своем кресле, хлюпал носом, болезненно тянул воздух сквозь зубы и промокивал лицо мокрым испачканным платком. Никаких тезисов на столе перед ним не усматривалось — то ли не успел он их еще вынуть, то ли знал свое дело наизусть.

Голова моя, в особенности с правой стороны, разламывалась от боли, и, поднеся осторожную руку к виску, я обнаружил, что обмотан толстым слоем бинта — вокруг всей головы и вокруг шеи.

Голос Демиурга грянул:

— Кстати, откуда у вас пистолет?

Клиент с достоинством продекламировал:

— Всякая истинная идея должна уметь защитить себя. Иначе грош ей цена.

И с шумом потянул в себя кровавые сопли.

Телефон квакнул над моей многострадальной головой. Я снял трубку.

— Я поздравляю вас, Сергей Корнеевич, — сказал Демиург. — Вы получили контузию у меня на службе. Вы должны знать, что это вам зачтется. Однако в дальнейшем я попрошу вас обходиться без рукоприкладства. Я же ведь — обхожусь!

— Да, — сказал я.

— А теперь распорядитесь, — сказал Демиург, — чтобы клиент приступал. И чтобы покороче.

Я повесил трубку и сказал клиенту:

— Приступайте, пожалуйста. И постарайтесь быть кратким.

8. Рассказывают, что, когда товарищу Сталину демонстрировали только что отснятый фильм «Незабываемый 1919-й», атмосфера в просмотровом зале с каждой минутой становилась все более напряженной. На экране товарищ Сталин неторопливо переходил из одной исторической ситуации в другую, одаря революцию единственно верными решениями, и тут же суетился Владимир Ильич, то и дело озабоченно произносящий: «По этому поводу вам надо посоветоваться с товарищем Сталиным», — все было путем, но лицо Вождя, сидевшего по обыкновению в заднем ряду с погашенной трубкой, порождало у присутствующих все более тревожные предчувствия. И когда фильм окончился, товарищ Сталин с трудом поднялся и, ни на кого не глядя, произнес с напором: «Нэ так всо это было. Савсэм нэ так».

Фильм, впрочем, прошел по экранам страны с обычным успехом и получил все полагающиеся премии.

9. Так вот: не так все это было, совсем не так.

10. Иоханаан Богослов родился в том же году, что и...

### Дневник. 16 июля

Сегодня утром, когда я возвращался из столовой, в большом коридоре на меня с разбегу налетел какой-то юнец, по виду — типичный *куст*, — весь в зеленом и пятнистом, босой, и полна голова репьев. Налетел он на меня с такой силой, что репы посыпались во все стороны, и стал выпытывать, где ему найти Г. А. Сначала я не хотел его осведомлять, потому что знал, что Г. А. сейчас сидит у себя в кабинете и проверяет наши тест-программы. Но куст шумел, трепыхался, размахивал ветвями и чуть не плакал. Правая щека у него была заметно больше и румянее левой, мне стало его жалко, и я на нем сосредоточился. Ничего не удалось мне разобрать в его потемках, кроме бурлящего там беспокойства, граничащего с отчаянием, и я отвел его к Г. А.

Я уже забыл об этом происшествии, как вдруг Г. А. зашел ко мне и произнес обычное: «Пойдемте со мною, Князь».

Лицо Г. А. ничего не выражало, кроме обычной благожелательности. Пока мы шли по бульвару, он не уставал раскланиваться со всеми встречными и поперечными и раз даже остановился поболтать с какой-то раскрашенной старухой лет пятидесяти, но я-то чувствовал (даже не сосредоточиваясь), что он озабочен, причем озабочен сильно, гораздо сильнее обычного. И тогда я вспомнил о том кусте и спросил Г. А., чего ему было надо. Г. А. ответил, что я скоро сам все пойму, и мы вошли в горисполком.

Мы прошли прямо в кабинет к мэру, нас, видимо, ждали, потому что секретарша без лишних слов тут же распахнула перед Г. А. дверь.

Мэр уже шел нам навстречу по ковровой дорожке, разнообразными жестами выражая радушие. (Мне он сказал: «Я тебя помню, ты Вася Козлов». Мы с Г. А. не стали его поправлять.) Мэр тоже был озабочен, и это тоже было видно невооруженным глазом. Они с Г. А. сели лицом друг к другу за стол, а я скромно примостился у стены. Последовавший разговор я конспектировал и привожу его довольно близко к тексту.

Мэр начал было о погоде, но Г. А. его сразу же деликатно прервал — похлопал его ладонью по руке и сказал: «До меня дошли слухи, что готовится некая акция против Флоры. Это правда?»

Мэр сразу же перестал радушно улыбаться, отвел глаза и стал мямлить в том смысле, что да, есть кое-какие соображения по этому поводу. «Я слышал, что вы намерены их прогнать», — сказал Г. А. Мэр промямлил в том смысле, что прогнать — не прогнать, а формируется такое мнение, что надо бы их попросить — и из самого города, и из-под города, и вообще. «А если они не согласятся?» — спросил Г. А. «Так в этом-то всё и дело!» — сказал мэр с горячностью.

Г. А. спросил, кто это затевает и с чего это вдруг. Мэр сказал, что по поводу этой распроклятой Флоры на него давят со всех сторон уже давно, а теперь, после этого распроклятого концерта на стадионе, все словно взбеленились. Г. А. сказал, что, по его сведениям, ничего особенного на концерте не произошло. Мэр возразил: как-никак четверо покалечены, стекло побили тысяч на пять, автобус перевернули, две легковушки помяли — в общем и целом тысяч на пятнадцать.

*Г. А.* : А при чем здесь Флора?

*МЭР* : Там было полно фловеров. Все четверо пострадавших — фловеры.

*Г. А.* : Там же были не только фловеры. Там были студенты, рабочая молодежь, солдаты. Там были «дикобразы».

*МЭР* : «Дикобразов» след простыл, а фловеры твои — тут как тут. Всем мозолят глаза и всем жить мешают.

Г. А. осведомился, кому персонально мешают жить фловеры. Выяснилось, что главный противник пригородной Флоры — завгороно Ревекка Самойловна Гинсблит. Она и сама-то рвет и мечет, а вдобавок ее подзуживают и растравливают остервеневшие родители. Флора притягивает ребятишек как магнитом. Бегут из дома, бегут с занятий, бегут из спортлагерей. Жуткие манеры, жуткие моды, жуткие нравы, ничего не читают, даже телевизор не смотрят. Масса сексуальных проблем, страшные вещи происходят в этой области. И наркотики! Вот что самое страшное!

Далее — милиция. Милиция утверждает, что половина всех хулиганских проступков и три четверти мелких краж в городе, если брать два последних года, — дело рук фловеров. И вообще, Флора ежедневно и ежечасно порождает преступность. Вдобавок на милицию жмут производственники, у которых прогулы и текучесть молодежных кадров, клубники, комсомол, жилконторы, ветераны, дружинники, кооператоры, итэдэшники. Все это сидит у мэра на шее уже больше двух лет, а сейчас все словно с цепи сорвались, и он, мэр, боится, что вот-вот дойдет до насильственных действий, чего он, мэр, не терпит и терпеть не намерен. Он, если хотите знать, и в отставку может подать в такой вот ситуации, благо сессия на носу...

*Г. А.* : Подавать в отставку ни в коем случае нельзя. И руки заламывать тоже нельзя, в тоске и печали. Ты — мэр, ты обязан контролировать ситуацию. Ты — первый человек города, ты — лицо города. Тебя для этого выбрали. Если ты уступишь этим экстремистам, позор на всю Россию, на весь мир позор.

*МЭР* : Меня убеждать не надо. Ты их попробуй убеди.

*Г. А.* : Будь покоен. А я хочу быть спокоен, что не подведешь ты.

*МЭР* : Это для тебя они экстремисты, а для меня — ближайшие помощники, мне с ними работать и работать, я без них как без рук. А страшнее всего, если хочешь знать, — родители! С ними не поговоришь, как с тобой или, скажем, как с Ревеккой. На них логика не действует!

*Г. А.* : Ревекка тоже не сахар. Для нее, между прочим, Флора — это только предлог. Она гораздо дальше метит.

*МЭР* : Знаю. В тебя она метит.

*Г. А.* (*демонстративно поглядев в мою сторону*) : Тихо, тихо, Петр! Дэ ван лез анфан!

Мэр снова закатывает речь о том, как ему тяжело. На носу осенняя сессия. Итэдэшники требуют снижения регионального налога. Контракт с грузинами заключили, а проект до сих пор не готов. В ноябре общеевропейская конференция в обсерватории, сам Делонж приедет, а где их селить? Старую гостиницу снесли, а новую и до половины не построили. И так далее. Одним словом — самое время в отставку. *Г. А.* похлопывает его по руке, смеется, но по-прежнему озабочен. А вот мэру явно полегчало. Видимо, ему просто некому было тут поплакать в жилетку.

*Г. А.* : Значит, я на тебя надеюсь.

*МЭР* : На мэра надейся, но и сам не плошай.

Оба смеются. И тут в кабинет вваливается какой-то деятель с буюаром. Коломенская верста, по всей голове — белоснежная седина, а лицо молодое, острое и красное, как у индейца. Одет безукоризненно. Разит одеколоном на весь дом. Сначала он мне просто даже понравился, тем более что с ходу подключился к беседе, причем на стороне *Г. А.*

*Г. А.* при нем и рта не раскрыл, а он высыпал на мэра все те же безотбойные аргументы: лицо города, срам на всю Европу, нечего потакать крикунам и паникерам. И даже более того, — почтительные, но твердые упреки «господину мэру»: нельзя быть нерешительным, колебания — залог поражения, давно пора стукнуть кулаком по столу и показать, кто именно в городе хозяин.

Из контекста его выступления мне стало ясно, что он у нас в городе главный по культуре. Вся наша городская культурная жизнь, как я понял, лежит на его широких плечах и им одним вдохновляется — конечно, при поддержке «господина мэра» и вопреки яростному сопротивлению крикунов и паникеров. (Сам себя не похвалишь, то кто же?) Оказывается, и концерт Джихангира на нашем стадионе — это тоже его личная заслуга. Именно он, вопреки крикунам и паникерам, переманил к нам Джихангира из-под самого носа у Оренбурга, и вот теперь вся Европа пишет про нас, а не про них.

Мэру все это нравилось, он бодрел прямо на глазах, и вдруг *Г. А.* ни с того ни с сего сказал — причем голосом неприятным и даже сварливым: «Петр Викторович, я рассчитывал говорить с вами с глазу на глаз. Если вы заняты, я могу зайти позже». Возникла очень неловкая пауза, у мэра челюсть отвалилась, а наш культустрегер так просто почернел. Впрочем, он быстро оправился, заулыбался и, извинившись, сказал как ни в чем не бывало, что забежал, собственно, только на минутку — подписать вот эту смету. Мэр, не читая, подмахнул, и культустрегер, вновь извинившись, удалился. После этого произошел следующий разговор.



*МЭР* : Ну, брат Георгий Анатольевич, ты меня удивил! Единственный человек в городе тебя поддержал, и ты его — как врага!

*Г. А. (тоном нравоучительным до нарочитости)* : А мне, Петр Викторович, чья попало поддержка не нужна. Я, Петр Викторович, человек разборчивый.

*МЭР* : А я, значит, неразборчивый. Спасибо тебе. Однако мое мнение: кто за доброе дело, тот и есть мой союзник. Нравится он мне или не нравится, симпатичен мне или антипатичен.

*Г. А.* : За доброе дело не всегда выступают из добрых намерений. Представь себе, например, что наш военторг затоварен десантными комбинезонами бэ-у. Кто главный потребитель этого тряпья? Фловеры. И кто будет тогда главным защитником Флоры? Заведующий военторгом.

*МЭР (с огромным подозрением)* : Ты на что это намекаешь?

*Г. А.* : Я пока ни на что не намекаю. Вокруг доброго дела всегда толкуются разные люди — и добрые, и недобрые, и полные подонки. Флора — это рынок сбыта наркотиков. Удар по Флоре — удар по наркомафии. Помяни мое слово, если завтра в городе начнется дискуссия, завтра же газеты обвинят меня в том, что я — главный мафиози. А ты — мой сподвижник!

*МЭР (ошарашенно)* : Йокалэмэнэ! Об этом я не подумал.

*Г. А.* : Вот и подумай. И будь готов: драка предстоит почище, чем на выборах.

Когда мы вышли от мэра, Г. А. спросил, что я думаю по этому поводу. Не очень-то приятно объявлять своему учителю, что ты с ним не согласен, но истина дороже, и я честно ответил: Флора мне активно не нравится, я считаю ее источником всякой скверны, текущей в город, так что выходит, мои симпатии на стороне противников Г. А. Другое дело, что я тоже не хочу и против насильственных действий. Язвы надо лечить, а не вырубать из тела топором. Так что в этом отношении я на стороне Г. А.

Г. А. помолчал, а потом спросил, что я думаю по поводу свободы образа жизни. Я ответил, что эта свобода, конечно же, должна быть полной, но при условии, что избранный образ жизни никому не мешает. «Так что в этом отношении ты на стороне Флоры?» — сказал Г. А. довольно ядовито. Я растерялся, но не больше чем на полминуты. Я возразил, что никогда не утверждал, будто Флора во всем не права. У Флоры, конечно же, есть свои плюсы, иначе она не привлекала бы к себе так много людей.

По-моему, Г. А. понравилось мое рассуждение, но разговор на этом кончился, потому что мы пришли в гороно и оказались перед секретарем заведующей. Секретарша удалилась в кабинет Ревекки, и ее довольно долго не было, так что мы стояли без толку и разглядывали прошлогоднюю выставку детского рисунка, развешанную по стенам. Мне понравилась акварелька под названием «Любимый учитель». Был изображен Г. А. — почему-то за обеденным столом. В одной руке у него был огромный кусок торта, в другой — огромный уполовник с вареньем, и еще огромная банка с вареньем стояла на столе перед ним. Видимо, парнишка собрал на картинке все свои предметы любви.

Потом мы предстали.

Ревекка Самойловна поздоровалась с Г. А. и сразу же спросила: «А что это за

юноша?» Г. А. сказал: «Это мой выпускник, ему было бы полезно послушать, ты не возражаешь?» Ревекка явно хотела сначала возразить, но потом почему-то раздумала. Она протянула мне руку, и мы познакомились. Я сел в уголок и стал смотреть и слушать.

Она немолодая, но сногшибательно красивая. У меня из-за этого мысли были вначале несколько набекрень. И мне понадобилось очень основательно осознать, до какой степени она враг Г. А., чтобы я перестал видеть в ней женщину. (Вообще-то они с Г. А. знакомы с незапамятных времен. Они вместе учились в Ташлинском педтехникуме, а потом в Оренбургском педвузе. Он на три года ее старше. Кажется, отцы их тоже росли вместе и даже вместе воевали где-то. В Афганистане, наверное. Поразительно красивая женщина. А какова же она была тридцать лет назад?)

Г. А. перешел прямо к делу. Он сказал, что пришел самым покорнейшим образом просить ее смягчить свою позицию по отношению к Флоре. Он называл ее Ривой и смотрел на нее почти умоляюще.

Она холодно возразила в том смысле, что обо всем об этом у них с ним уже сто раз говорено и переговорено и что ждать от нее смягчения позиции просто нелепо. Или Флора, может быть, перестала быть источником нравственной проказы? Или, может быть, Г. А. придумал новые аргументы, способные успокоить обезумевших от беспокойства родителей? Или Г. А. изобрел способ отвлекать неустойчивых школьников от низких соблазнов Флоры? Может быть, лучи изобрел какие-нибудь? Или микстуру? Впрочем, называла она его Жорой и была скорее иронична, чем неприязненна.

Г. А. иронии не принял. «Ты хорошо представила себе, как это будет? — спросил он. — Этих мальчишек и девчонок будут волочить за ноги и за что попало и швырять в грузовики, их будут избивать, они будут в крови. Потом их перешвыряют на платформы, как дрова, и куда-то повезут. Тебе это ничего не напоминает?»

Она несколько побледнела и построжела, но тут же возразила, что Г. А. сгущает краски, все эти ужасы вовсе не обязательны, все будет сделано вполне корректно и в рамках человечности.

Г. А. сказал: «Ты прекрасно понимаешь, что никакой корректности при выполнении подобных акций быть не может. Наши дружинники и наша милиция — это всего-навсего обыкновенные горожане, точно такие же обезумевшие от беспокойства родители, родственники и просто ненавистники Флоры. При малейшем сопротивлении они сорвутся и начнут карать. Потом они опомнятся, им делается непереносимо стыдно, и чтобы спасти свою совесть от этого стыда, они дружно примутся оправдывать себя друг перед другом и в конце концов эту самую позорную страницу своей жизни они представят себе как самую героическую и, значит, изувечат свою психику на всю оставшуюся жизнь».

Она нервно закурила, ломая спички, и снова сказала, что Г. А. сгущает краски, что она и сама, разумеется, не видит ничего хорошего в этой акции, но вовсе не намерена рассматривать ее как некую преступную трагедию. Главное — все тщательно и четко организовать. Разумеется, всем участникам будет внушено, что они действуют во имя добра и должны действовать только добром...

Г. А. не дал ей договорить. «Держу пари, — сказал он с напором, — что сама ты не

осмелишься присутствовать на этой акции. Ты все тщательно и четко организуешь, ты произнесешь нужные речи и дашь самые правильные напутствия. Но сама ты останешься здесь, за этим вот столом, — заткнув уши и закрыв глаза, будешь сидеть и мучительно ждать, пока тебе доложат, что все окончилось более или менее благополучно».

Еле сдерживаясь, она объявила, что не желает больше слушать этого карканья. Она совершенно убеждена, что никаких ужасов не произойдет.

Г. А. сказал печально: «Ты наговариваешь на себя. Я ведь вижу, ни в чем ты не убеждена. Ни в какие магические свойства инструкций и напутствий ты не веришь. Ты же умница, ты же знаешь людей. И, конечно, ты своевременно позаботишься о том, чтобы все больницы города были приведены в полную готовность, ты и соседние медсанбаты задействуешь, и в тылах твоей армии двинутся на Флору десять, двадцать, тридцать карет «Скорой помощи»... Само решение твое организовать эту акцию уже проделало дырку в твоей совести. Сейчас ты эту дырку начала латать и будешь латать ее дальше...»

И тут она сорвалась. «Прекрати демагогию! — почти закричала она. — Перестань выкручивать мне руки! И не воображай, пожалуйста, будто я стану разводить антимионии вокруг моей дырявой совести, когда речь идет о судьбе детей, которых ежедневно отравляет эта зараза...»

Тут вот, совершенно не вовремя, у меня опять схватило живот, да так, что глаза на лоб полезли, и я почти перестал слышать что-либо, просто стало ни до чего. (Возрастное это у меня, соматическое или психическое — когда схватывает, разницы никакой. Главное, что не вскочишь, не побежишь вон, да и не знал я, где у них там заведение.)

Я сидел, обхвативши свой несчастный живот, и молился только об одном, чтобы лицо мое ничего не выражало. Вспоминалось: харакири; рак желудка; лисенок, пожирающий внутренности юного спартанца. И сейчас я просто горжусь, что, несмотря на мое несчастье, я все-таки кое-что услышал, запомнил и даже записал. Правда, только то, что говорил Г. А. От Ревекки остался в памяти один лишь резкий, почти истерический голос, от которого боли мои заметно усиливались, словно попадая в резонанс. А вот Г. А., чем больше она на него кричала, говорил все тише и печальнее.

Человечность едина. Ее нельзя разложить по коробочкам. А человечность, которую вы все исповедуете, состоит из одних принципов, вся расставлена по полочкам, там у вас и человечности-то не осталось — сплошной катехизис. Твой ученик лучше сожжет свои старые ботинки, чем отдаст их босому флюверу. И будет считать себя человечным в самом высоком смысле: «Пойди и заработай», — скажет он.

(Сейчас я вспомнил: на прошлой неделе какой-то скот подкинул Флоре ящик тухлых консервов. Я, пожалуй, берусь логически обосновать позицию, с которой это деяние выглядит высокочеловечным. Тезис первый: человечность должна быть с кулаками... И так далее.)

Человечность выше всех ваших принципов, сказал Г. А. Человечность выше всех и любых принципов. Даже тех принципов, которые порождены самой человечностью.

Потом обнаружилось, что они почему-то говорят уже о лицах. Оказывается,

существуют две крайние точки зрения. Одни считают, что лицеи надобно упразднить как заведения элитарные и противоречащие демократии, а другие — что сеть лицеев, наоборот, надлежит всемерно расширять и открывать по стране не три лицея в год, как сейчас, а тридцать три. Или триста тридцать три. Замечательно, что и в том, и в другом случае самой идее лицей как школы, в которой учат будущих учителей, самым благополучным образом наступает окончательный конец.

Не знаю, заметил ли Г. А. мое состояние, или исчерпалась необходимость в дальнейшем продолжении беседы, но он вдруг (мне показалось — ни с того ни с сего) поднялся и произнес:

— Что, Рива, дорогая моя, мерзко тебе чувствовать себя госпожой Макиавелли?

И произнес он это таким странным голосом, что у меня разом прошли все мои боли, и я полностью очухался, — весь мокрый от пота, но в остальном как огурчик.

Ревекка вдруг покрылась красными пятнами, сделалась совсем старой и некрасивой и объявила с вызовом:

— Понятия не имею, что ты имеешь в виду.

Что и было явным враньем. Прекрасно она понимала, что Г. А. имеет в виду. В отличие от меня.

И тогда Г. А. сказал совсем уже тихо:

— Приговор мне и моему делу читаю я на лице твоём.

И мы ушли. Вежливо попрощавшись.

(Мы свернули по коридору направо и очень скоро оказались перед дверью в сортир. Вопрос на засыпку: зашли мы туда потому, что это понадобилось Г. А., или потому, что он таким образом дал мне деликатно возможность воспользоваться? И тогда, спрашивается, что правильнее: проявить такую деликатность, но зато заставить потом младшего ломать голову, нет ли в этой деликатности некоего унижающего манипулирования его, младшего, самодостаточностью; или прямо сказать ему: сортир направо, я подожду здесь, — что, безусловно, на минутку покажется ему, младшему, неприятно бестактным, но зато не оставит по себе никаких обременяющих сомнений и рефлексий. Не знаю. Я не знаю даже, важно ли это и стоит ли об этом думать. Сам Г. А. наверняка о таких пустяках не думает и в подобных ситуациях действует совершенно рефлекторно. Но, с другой стороны, тот же Г. А. утверждает, что в отношениях между людьми пустяков не бывает.)

На лестнице Г. А. процитировал: «Шли головотяпы домой и вздыхали. Один же из них, взяв гусли, запел... Откуда?» Вместо ответа я продолжил: «Не шуми, мати, зеленая дубравушка...» Однако обычного удовольствия от обмена такого рода репликами мы не испытали. Во всяком случае, я. А когда мы вышли на улицу, Г. А. вдруг остановился и, посмотрев на меня и сквозь меня, произнес задумчиво: «Когда доброму гражданину цивилизованной страны больше некуда обратиться, он обращается в милицию». И мы направились в гормилицию. Три автобусные остановки. Довольно жарко. Тени нет.

У входа в «Снегурочку» нас словно поджидал некий очень молодой гражданин, который пристроился к Г. А. и сказал ему негромко, глядя прямо перед собой: «Они уже автобусы готовят». Я узнал его, это был давешний куст, но уже без репьев в

голове, умытый и облаченный в цивильное, как все добрые граждане.

Г. А. ничего ему не ответил, только кивнул в знак того, что услышал и принял к сведению. Юнец тут же отстал, а Г. А. почему-то пошел медленнее, без всякой целеустремленности, а как бы фланируя, и даже руки заложил за спину. Так и профланировали мы до самого подъезда гормилиции. Г. А. молчал, а я — тем более. Перед подъездом он вдруг как-то прочно остановился. «Нет, — сказал он мне, — к этому разговору я еще не готов. Пойдемте-ка домой, ваша светлость».

Перечитал записи последних дней насквозь. Мне не нравится:

1. Что Г. А. так активно вступился за Флору. Милосердие милосердием, но, по сути дела, речь идет о выборе между благополучием все-таки подонков и социальным здоровьем моего города.

2. Что Г. А. явно останется в одиночестве. Если уж мне не хочется его поддерживать, то что же тогда говорить, например, о Ване Дроздове и о Сережке Сенько?

3. И мне не нравится то, что я сейчас написал. Люди несоизмеримы, как бесконечности. Нельзя утверждать, будто одна бесконечность лучше, а другая хуже. Это азы. Я отдаю предпочтение одним за счет других. Это великий грех. Я опять запутался.

Муторно. Поужинаю — и сразу спать.

### 17 июля. 5 часов утра

События развиваются странно.

Около полуночи Г. А. постучался и безо всяких объяснений велел нам с Мишелем одеваться. (Я проспал часа три, а Михей вообще только глаза завел.) Мы оделись и сели в машину — Г. А. за руль, мы сзади.

Сначала я подумал было, что Г. А. решил наконец запустить нас в ночную смену на скотобойню, но мы поехали совсем в другую сторону, к университету, и остановились в тени новостройки неподалеку от третьего блока общежития для женатиков. Там Г. А. велел Мишелю сесть за руль и ждать, а сам удалился — пересек сквер и нырнул в пятый подъезд.

«Как интере-е-есно», — фальшивым голосом пропел Мишка и спросил меня, заметил ли я, как странно одет Г. А. Я ответил, что да, заметил, и в свою очередь спросил, заметил ли Мигель, что в этом полотняном балахоне Г. А. какой-то непривычно толстый и неповоротливый. Мигель заметил и это. Он приказал мне выйти из машины и принялся проверять стоп-сигналы, указатели поворота и прочее электрооборудование.

Пока мы этим занимались, откуда ни возьмись появился Г. А. в сопровождении какого-то хомбре. Это был очень красивый хомбре баскетбольного роста, головы на три длиннее Г. А. Лет ему было порядком за двадцать, на нем был немолодой варсовый костюмчик, — вернее сказать, только штаны были на нем, а курточку он все никак не мог на себя натянуть, видно, сильно нервничал, и она у него совсем перекрутилась на могучих плечах, в рукава не попасть.

Увидевши меня, он стал как вкопанный и спросил сипло: «А этого зачем?» Очень я ему не зандобился, он даже с курточкой своей воевать перестал. Г. А. буркнул ему

что-то успокаивающее, но он не успокоился и жалобно проныл: «А может, не надо, Георгий Анатольевич?» Г. А., не вдаваясь, приказал ему сесть назад, и он сел, словно натянув на себя через голову нашу бедную малолитражку. Г. А. сел рядом с ним, а я вперед — рядом с Мишелем. Хомбре опять уже ныл в том смысле, что надо ли да стоит ли, но Г. А. его совсем не слушал. Он приказал Михаилу: «В университет», — и мы поехали. Хомбре тут же заткнулся, видимо, отчаялся.

Мы подъехали к университету и принялись колесить по парку между зданиями. Г. А. командовал: направо, налево, — а хомбре только один раз подал голос, сказавши: «Со двора бы лучше, Георгий Анатольевич...» Со двора мы и заехали. Это был двор лабораторного корпуса. Ничего таинственного и загадочного.

Г. А. скомандовал нам не отходить от машины и ждать, а сам вместе с хомбре двинулся вдоль задней стены, и они исчезли за контейнерами. Где-то там хлопнула дверь, и снова стало тихо.

«Как интере-е-есно», — повторил Мишель, но ни ему, ни мне не было интересно. Было тревожно. Может быть, именно потому, что никаких оснований для тревоги вроде бы не усматривалось. (Я знаю, что такое предчувствие. Это когда на меня воздействует необычное сочетание обычных вещей плюс еще какая-нибудь маленькая странность. Например, атлетический хомбре, напуганный, как пятилетний малыш. Он ведь так и не сумел натянуть свою курточку, так она и осталась валяться на заднем сиденье.)

Ждать пришлось минут десять, не больше. Прямо над ухом с леденящим лязгом грянуло железо, и в двух шагах от машины распахнулся грузовой люк. Из недр люка этого, как из скверно освещенной могилы, выдвинулся хомбре, на шее которого, обхватив одной рукой, буквально висел наш Г. А. Другая рука Г. А. болталась как неживая, а лицо его было в черной, лаково блестящей крови.

Мы кинулись, и Г. А. прошипел нам навстречу: «Стоп, стоп, не так рьяно, дети мои...» А затем он проскрипел трясущемуся, как студень, хомбре: «Чтобы через два часа вас не было в городе. Заткните этого подонка кляпом, свяжите и бросьте, пусть валяется, а сами — чтобы духу вашего не было!..» И снова нам, все так же с трудом выталкивая слова: «В машину меня, дети мои. Но мягче, мягче... Ничего, это не перелом, это он просто меня ушиб...»

Мы осторожненько впихнули его на заднее сиденье, я сел рядом, прислонив его к себе, и мы помчались. Только две мысли занимали меня тогда. Первая — кто посмел? И вторая — почему бока у Г. А. твердые, как дерево?

Ответ на второй вопрос обнаружился быстро. Когда мы с Майклом принялись обрабатывать Г. А. в лицейском медкабинете, мы прежде всего разрезали на нем дурацкий балахон, спереди весь заляпанный кровью и в двух местах распоротый от шеи до живота. И тогда оказалось, что Г. А. облачен в старинный, времен афганской войны бронежилет.

Выяснилось, что у Г. А. страшный ушиб левого предплечья (ударил либо какой-то дубиной, либо ногой в подкованном сапоге) и длинная ссадина на правой половине лица, содрана кожа на скуле, надорвано ухо (по-моему, удар кастетом, но, к счастью, по касательной). Ушибом занимался Мишель, а ссадину обрабатывал я. Еле-еле управился — все внутри у меня тряслось от бешенства и жалости. Теперь я

очень понимаю, почему врачи избегают пользоваться своих родных и близких.

На протяжении всех процедур Г. А., как и следовало ожидать, развлекал нас шутками. Шуток этих я не запомнил ни одной, но зато очень даже запомнил, как он вдруг сказал с горечью: «Реакция у меня уже не та, ребятки. Да и всю жизнь у меня с реакцией было не ах. Но ведь это же был профессионал. Из бывших десантников, наверное». Словно мальчишка, который оправдывается, что его одолели в драке. Честно говоря, слышать это было странно. И в то же время трогательно. (Сначала я вообще не хотел об этом писать, мало ли кто прочтет, а потом решил: а почему, собственно?)

Дело наше уже подходило к концу, и нам с Мишкой совершенно одновременно пришло в голову: что теперь соврать Серафиме Петровне и вообще всем нашим? Г. А. эту нашу мысль моментально уловил и решительно нас пресек. Звонить никуда не надо, сообщать никому ничего не надо. Тем более не надо врать без самой крайней необходимости. Он благополучнейше переночует в своей каморке при кабинете. Князь сделает ему на ночь укольчик, и утром он, Г. А., будет как новенький.

А перед тем, как отпустить нас, он сказал совсем уже другим тоном, без всякой шутливости, жестко и повелительно:

— Имейте в виду. Сегодня ночью вы постелей своих не покидали и ничего не видели. Я покалечился, потому что поскользнулся на лестнице. И вот что: никаких попыток расследовать, отыскать, отомстить и прочее. Это приказ. И просьба. Не знаю, что для вас обязательней. Особенно это тебя касается, Мигель де Сааведра!

Мы вернулись к себе в два часа ночи. Сейчас пять. Больше двух часов ломали голову: что все это означает? Кто такой этот хомбре? Что Г. А. понадобилось в подвале? Он заранее знал, что будет опасно, и поэтому надел бронежилет. Почему тогда не взял с собой нас? Что еще там за профессионал объявился? Ничего не понятно. Только раздражение одно.

Ложусь спать. Майкл уже спит, только бурболки отскакивают.

Нет, не спит Майкл. Повернулся ко мне и произнес мечтательно:

— А ведь он там так и валяется, связанный. И с кляпом. А?

Что я ему мог сказать?

### 17 июля. Вечер

Около полудня Г. А. взял меня с собой в гормилицию.

Чувствует он себя неплохо. Рука на перевязи и почти не болит. А что касается ссадины, то великая это вещь — терамидоновый пластырь. Лицо ничуть не опухло, разве что несколько оттянут внешний уголок правого глаза.

Майор Кроманов принял нас без задержки. Я вижу его не впервые и каждый раз удивляюсь, до чего же человек может быть не похож на начальника гормилиции. Он широкий, рыхлый, вяловатый в движениях и обожает поболтать о том о сем. Битых полчаса они с Г. А. рассказывали друг другу разные случаи о падениях с лестниц. А также — с трапов, с пандусов и прочих наклонных путепроводов. Потом Г. А. перешел к делу.

Какова позиция городской милиции в отношении готовящейся акции против

Флоры? Что думает по этому поводу он, Михайла Тарасович, лично? Что правильное: сделать милицию непосредственной участницей планируемой акции или уделить ей роль некоего сдерживающего фактора, некоего нейтрального механизма, призванного обеспечить порядок и дисциплину? Вообще, понимает ли Михайла Тарасович всю деликатность своего положения?

Михайла Тарасович деликатность своего положения понимал очень даже хорошо. Флора — это настоящая куча дерьма. Чем меньше ее трогаешь, тем меньше вони. Таково личное мнение Михайлы Тарасовича. Если бы можно было всю эту кучу в одночасье поддеть на лопату и бесшумно перенести в соседнюю, скажем, область, то это было бы самое то. Однако бесшумно такое дело не сделаешь. Вот если бы поступил приказ УВД, тогда никаких проблем бы не было и быть не могло, и уже не очень важно, шумно ты выполняешь этот приказ или бесшумно. Однако приказа такого нет и что-то не предвидится. А имеет место быть общественное движение. Бесспорно, мощное движение, единодушное, но руководство исполкома не слишком его поощряет, а уж о горкоме и речи пока нет.

Теперь смотрите сюда, дорогуша Георгий мой Анатольевич. Существование Флоры никакими законами не запрещается. Массовая неформальная молодежная организация, никаких преступных целей не преследующая. Статья сорок вторая Общего уложения, пункты А, Б и В. Это с одной стороны. А с другой стороны — массовое общественное движение, которое стремится стереть эту Флору с лица земли, — волеизъявление большинства, причем подавляющего большинства, того самого большинства, которому мы с вами, милый вы мой учитель, обязаны служить. А с третьей стороны — меня здесь посадили, чтобы я охранял общественный порядок. А что такое общественный порядок? Это значит: никакого мордобоя, никакого насилия, вообще никаких эксцессов, а тем более — носящих массовый характер. Вот и получается, что я обязан всячески защищать Флору, всячески способствовать ее уничтожению, а также не допускать, чтобы хоть что-нибудь происходило, — и все это одновременно.

*Г. А. :* Признает, что да, трудные настали времена для милиции.

*М. Т. (мечтательно заведя глаза ):* Вот, помню, когда я еще был курсантом... (Рассказывает замшелую историю, как ему пришлось принимать участие в великой битве древних «дикообразов» с ныне вымершими рокерами. Милиция оказалась бессильной, так вызвали из-под Оренбурга роту мотопехоты — и никаких разговоров. Буквально тридцать минут понадобилось, вот по этим часам. — Убедительно стучит ногтем по дисплею старинного «роллекса».)

*Г. А. :* А если бы вы сейчас получили указание держать нейтралитет?

*М. Т. :* Чье указание? Петра Викторовича, что ли?

*Г. А. :* Хотя бы... Или, например, из Оренбурга, по вашей линии.

*М. Т. :* Милый вы мой и дорогой! Ей-богу, все понимаю, одного понять никак не могу. Ну что вам эта Флора? Грязная ведь куча, и больше ничего. Что вы за нее так хлопчете?

Услышав это, Г. А. некоторое время молчал, а потом сказал (дословно):

— Флора не нарушает никаких законов. Значит, то, что задумано, незаконно. Флора ни в чем не виновата. Город хочет наказать невиновных. Это несправедливо. Несправедливо и незаконно сразу. Как же я должен поступать?



*М. Т. (крайне возмущен):* То есть как это — несправедливо? Дети наши бегут туда, как в банду! Наркотики. Хулиганство. Промискуитет, простите за выражение. Принципиальное тунеядство! Мало ли что нет против них закона! Значит, отстаем мы от времени, не успевает наша юридическая наука за событиями... Ведь это только как официальное лицо я колеблюсь, а будь я сейчас в отставке, завтра же на Флору вашу первым же пошел бы и был бы в своем праве! (Он долго разоряется на эту тему, я записал только самое нутряное, у него еще было там четыре ссылки на древнюю историю, когда он был рядовым курсантом, а потом старшиной, и двадцать четыре ссылки на внучатых племянников и троюродных золовок.)

*Г. А. (пытается втолковать):* Они не бегут во Флору, они образуют Флору. Вообще они бегут не «куда», а «откуда». От нас они бегут, из нашего мира они бегут в свой мир, который и создают по мере слабых сил своих и способностей. Мир этот не похож на наш и не может быть похож, потому что создается вопреки нашему, наоборот от нашего и в укор нашему. Мы этот их мир ненавидим и во всем виним, а винить-то надо нам самих себя.

Для М. Т. все это как с гуся вода. Он откричался и вновь сделался благорасположен и самодостаточен. «Это, душа моя, все философия, — говорит он (от себя говорит, ни в коем случае не цитирует!). — Я ведь, собственно, что хотел вам посоветовать? Не связывайтесь вы с Оренбургом. Оренбург помалкивает. «Действуй по обстановке», — вот и весь разговор. И очень хорошо я их понимаю. И, между прочим, действую. По обстановке. В Новосергиевке давеча полезли было эти неумытики из «пятьсот веселого» Оренбург — Черма, так там железнодорожники совместно с милицией вежливоенько посадили их обратно по вагонам, сигнал машинисту, и поехали они дальше... Оренбург официально слова не сказал, но было дано понять, что так, мол, держать и в дальнейшем. В Оренбурге ведь с вами и разговаривать не станут, Георгий свет Анатольевич! Ну, примут к сведению. Ну, пообещают чего-нибудь, поскольку вы все-таки депутат и заслуженный учитель. Но до дела не дойдет. Уклонятся. Да и нет такой силы, чтобы заставить их выступить против всей демократии, против народа выступить».

Г. А. некоторое время молчал, баюкая ушибленную руку, а потом вдруг посмотрел на меня. Я сейчас же встал и попросил разрешения выйти. Г. А. (с признательностью) разрешил и велел мне ждать его в буфете, и чтобы взял я ему там бульон с пирожками — пусть остынет.

Все получилось очень мило, и все-таки я, конечно, был обижен. Ничего не могу с собой поделать. Не в первый раз. Все понимаю, и напрасно Г. А. потом приносит мне свои извинения. И все равно обидно. Возрастное. Вроде резей в животе.

Чтобы развлечь себя, я стал придумывать дальнейшее развитие беседы. Например, такое: «Ну, хорошо, Михаила Тарасович. Убедить вас мне не удалось. Тогда позвольте предложить вам взятку. Вот вам для начала тысяча рублей».

Г. А. отсутствовал пятнадцать минут. Потом пришел, не говоря ни слова, как-то механически похлебал бульону, откусил пирожка и только затем вдруг спохватился и принес мне свои извинения. Причем, к изумлению моему, счел даже возможным объясниться. Оказывается, они там без меня обменялись кое-какой информацией, имеющей узкослужебный характер.

Когда мы вернулись домой, в приемной дожидался Г. А. какой-то человек. Я

пишу сейчас о нем по одной-единственной причине: в жизни не видел я таких странных людей, да и не только я, как выяснилось.

Они с Г. А. скрылись в кабинете, а я все никак не мог разобраться. Физиономия совершенно бесцветная. Манеры — приторные до подхалимства. Одно ухо красное, другое желтое. Пиджачная пуговица на сытом животике висит на последней нитке. И штиблеты! Где он взял такие штиблеты? Не туфли, не мокасины, не корневища, а именно штиблеты. У одного только Чарли Чаплина были такие штиблеты. И тут меня осенило: человек этот, весь как есть, вывалился к нам в лицей напрямик из какой-то древней кинокомедии. Еще черно-белой. Еще немой, с тапером... Весь как есть, даже не переодевшись.

После ужина я спросил Г. А., кто это к нему приходил. Мне показалось, что Г. А. тоже порядком озадачен. «А тебе этот человек никого не напоминает?» — спросил он. Я сказал, что Чарли Чаплина. «Чарли Чаплина? Вот странная идея», — произнес Г. А., и разговор наш на этом закончился.

В обиде, разочаровании и озадаченности заканчиваю я день сей.

### Рукопись «ОЗ» (10–14)

...Не так все это было, совсем не так.

10. Иоханаан Богослов родился в том же году, что и Назаретянин. Собственно, родился он не один, родилась двойня. Второго близнеца назвали Иаковом Старшим, потому что он увидел свет на несколько минут раньше Иоханаана. Кстати, Иоханаан (Иоанн, Иоганн, Иван, Ян, Жан) означает «Милость бога» («Яхве милостив»). Надо бы посмотреть, что означает Иаков (Джекоб, Яков, Жак).

Название рыбацкого поселка на берегу Галилейского озера, где увидели свет близнецы, не сохранилось, точно так же, как и сам поселок, дотла разрушенный римлянами во время Иудейской войны. Зато сохранилось имя счастливого отца. Был он рыбак и рыботорговец, и звали его Заведей. В семье Заведей было еще девять дочек, но они не играют в нашем повествовании совсем никакой роли.

Иоанн и Иаков в детстве были хулиганы и шkodники. В соответствии с легендой прозвище Боанергес («Сыны громовы») дал им Назаретянин, когда всем троем было уже за тридцать. Это неправда. Прозвали их так соседи, когда юные гопники вступили в пору полового созревания, и надо тут же подчеркнуть, что только в современном восприятии перевод жутковатого прозвища «Боанергес» звучит как нечто грозно-благородное. Для соседей же не Сыны громовы были они, а сущие сукины сыны, бичи божьи и кобеля-разбойники. Срань господня.

Время было смутное — время ожидания больших перемен, время великих пророчеств и малых бунтов. Как и вся галилейская молодежь того времени, Боанергес не желали идти по стезе покорности. Они не желали ловить рыбу и доходы свои смиренно отдавать мытарю. Они вообще не хотели работать. С какой стати? Они хотели жить весело, рискованно, отпето — играть ножами, портить девок, плясать с блудницами и распивать спиртные напитки. И в то же самое время хотели они великих подвигов во имя древнего бога и древнего народа, мерещились им голоса могучих пророков и команды блестящих полководцев, грохот рушащихся стен Иерихона и жалкие вопли гибнущих иноверцев. Короче говоря, они являли собою великолепное сырье, из которого опытная рука могла вылепить все, что угодно, — от фанатичных

убийц до фанатичных мучеников.

Однако, когда встал на их пути Иоанн Креститель, дороги братьев Боанергес разошлись. Выслушав первую лекцию знаменитого проповедника, Иаков сплюнул в пыль жвачку, затянул потуже пояс с римским мечом и негромко спросил: «Ну, что? Пошли к бабам?» Но Иоанн не пошел к бабам. Он остался. Парадоксальная идея любви к людям и всеобщего братства странным образом захватила его.

«Не будь занудой! — говорили ему. — Брось ты своего старого пердуна, и пойдем выпьем эфесского!» — «Сами вы пердуны, — отвечивал он. — В одном пучке моего пердуна в сто раз больше толку, чем во всем вашем болботанье». — «Но ведь это учение совершенно бессмысленно! — втолковывали ему. — Как ты можешь верить в подобную чушь?» — «Потому и верую я, что это бессмысленно», — отвечивал он, на много лет предваряя достославного Квинта Септимия Тертуллиана — епископа Иберийского. «Но ты же должен понимать, что это учение противоречит здравому смыслу!» — внушали ему. «Киш мири ин тухес со своим здравым смыслом, — огрызнулся он, — унд зай гезунд!» (по-арамейски, разумеется, это звучало иначе, но смысл был тот же: поцелуйте меня в задницу со своим здравым смыслом и будьте здоровы).

А потом появился Назаретянин (тот, которого тогда и потом все называли Назаретянином), и Иоанн отдался ему всей душой. Он стал учеником его, и телохранителем, и снабженцем, когда это требовалось, — иначе говоря, он стал апостолом его, одним из двенадцати и одним из двух любимых. Вторым любимым был Петр.

В традиции Петр представляет экзотерическую, всенародную сторону христианства — исповедание веры, данное всем и каждому. Иоанн же — эзотерическую сторону, то есть мистический опыт, открытый лишь избранным, немногим. Поэтому церковь всегда стремилась дополнить начало Петра началом Иоанна, а еретики — гностики второго века, катары одиннадцатого-тринадцатого веков — всячески противопоставляли Иоанна Петру. Все это домыслы, и все это совершенно неважно. Главное и единственное зерно истины здесь — противопоставление.

Они на самом деле не любили друг друга. Иоанн не любил Петра, потому что не верил ему (как показали события — справедливо). Петр же попросту ревновал, он никак не мог понять, почему Учитель ставит на одну доску с ним, смиренным, просветленным и безгрешным Петром, этого буйного, злоязычного, не расстающегося с оружием греховодника.

Петр был солиден и степенен. Иоанн был дерзок и резок.

Петр был велеречив и многоглаголен. Иоанн был зубоскал и ругатель.

С Петром Учителю было легко. С Иоанном ему было надежно.

Именно Иоанн возлежал на груди Учителя во время той последней трапезы, и это вовсе не было проявлением сентиментальности — просто помстилось ему вдруг, что вот-вот тоненько взвякнет в кустах за окном тетива и стрела вонзится в сердце любимого человека. И он заслонил собою это сердце и, слушая биение его, вдруг с ужасом ощутил, как страшное знание предстоящей муки переливается в него, Иоанна, страшным, мучительным предчувствием, обессиливающим и не оставляющим

надежды.

И именно он, Иоанн, единственный из всех, встал с мечом в руке у входа и рубился со стражниками, не отступая ни на шаг, весь окровавленный, с отрубленным ухом, оскальзываясь в крови, хлещущей из него и из поверженных врагов, пока Учитель, сорвав голос, не подбежал к нему сзади и не вырвал у него меч. Тогда он голыми руками проложил себе дорогу к свободе и бежал, не желая видеть, что будет дальше, потому что он уже знал, что будет дальше.

Он должен был умереть этой же ночью, попросту истечь кровью, но добрые люди подобрали его в придорожной канаве, и каким-то чудом он сумел выжить. Слово «чудо» употребляется здесь не как фигура речи, он совершенно уверен, что спасло его именно чудо, мистическое вмешательство, — первое мистическое вмешательство в его жизнь. (С именем Иоанна традиция всегда связывала мистические мотивы. Византийские авторы прилагали ему слово «мист», церковно же славянские — «таинник».)

Через два месяца после гибели Назаретянина, когда Иоанн кое-как, на карачках, впервые выполз на солнышко погреться, его нашел Иаков Старший. «Все, — сказал матерый разбойник. — Хватит дурью маяться. Пошли, там у меня повозка». С этого момента и на некоторое время Иоанн перестал быть христианином. Наверное, его следовало бы назвать отступником. На самом деле никакого отступничества в строгом смысле этого слова не было. Просто от горя и отчаяния он потерял какую бы то ни было перспективу и пустился во все тяжкие.

Несколько лет спустя, когда Боанергес, наслаждаясь заслуженным отдыхом, прогуливали хабар в компании шлюх и подельщиков в одном из притонов на окраине Александрии, Иаков вдруг толкнул брата в бок:

— Гляди, кто пожаловал, — сказал он.

Иоанн поглядел и увидел длинного и сухого, как жердь, нищebroда, который, стоя у порога, торопливо и жадно поедал неаппетитную снедь, извлекая ее грязными пальцами из щербатой глиняной миски.

— Да это же тот самый Агасфер! — сказал Иаков. — Ботадеус, «Ударивший бога»!

— Не знаю такого, — отозвался Иоанн, — да и знать не хочу. По-моему, это его бог ударил, а не наоборот.

И тут Иаков с жаром пересказал ему, что произошло в день казни между Учителем и Агасфером на дороге к Голгофе, в то время как раз, когда Иоанн подыхал от потери крови у добрых людей.

Иоанн внимательно выслушал всю историю до конца. Он вдруг испытал огромное облегчение. Оказывается, он ничего не забыл. Оказывается, все эти годы он мучился мыслью, что Иуда сумел уйти от возмездия. Каифа тоже давно откинул копыта. Пилат недосыгаем. И есть еще тысячи. Они не убивали Его. Они всего-навсего оскорбляли Его. Их тысячи, и они безымянны. Но вот наконец появился некто с именем. Длинный, тощий, унылый, пожирающий отбросы. Ударивший бога.

— Этот человек должен быть строго наказан, — сказал Иоанн громко.

Он не знал, что этот человек уже наказан достаточно строго — так строго, как неспособны наказывать смертные. И, уж конечно, ему в голову не могло прийти, что,

наказывая этого унылого дерьмоеда, он бесповоротно нарушает волю единственного человека, которого он любил, — из живых и из мертвых.

Никто не обратил внимания на его слова, а он спихнул с колен разомлевшую эллинку, легко поднялся, подошел вплотную к нищоброду и тем самым длинным ножом, которым только что кромсал баранью лопатку, ткнул под шербатую миску — снизу вверх, по самую рукоятку.

Exit Агасфер, он же Эспера-Диос, он же Ботадеус, Ударивший бога.

И дальше понесло братьев Боанергес по пределам Великой империи, и уже полиции двадцати городов и шестнадцати провинций числили их в своих списках «листид энд вонтид», трижды стяжали они и трижды промотали громадные состояния, четырежды принимали участие в мятежах против римских властей, и неисчислимое множество раз совершили они разбойные нападения на купцов, на помещиков, на ростовщиков, на мытарей, на случайных прохожих, а однажды даже — на базу морских пиратов, — пока не оказались в Риме и не попались на самом что ни на есть пустяковом дельце.

Поскольку дельце было пустяковое (они зарезали поддатого горожанина, возвращавшегося из бани, и были взяты *ин флагранти*), все было закончено в одно заседание. Разумеется, братья назвали себя чужими именами. Иаков Старший выдал себя за беглого из Пергама, а Иоанн, словно по наитию, назвал себя Агасфером, горшечником из Иерусалима. Господину районному судье, завязтому антисемиту, с утра вдобавок страдающему от алкогольного отравления, все это было совершенно безразлично. «Пергамец! — сказал он с болезненным сарказмом. — Это с такими-то пейсами! А ну скажи: «На горе Арарат растет красный виноград»!..» Дело было абсолютно ясное. Двое бродяг из колоний дерзко лишили жизни римского гражданина. Приговорить мерзавцев к смерти через отравление.

В ночь перед казнью Иоанна почему-то совсем замучил дурацкий вопрос — зачем это ему вдруг понадобилось назвать себя именно Агасфером из Иерусалима? Что это было? Приступ бандитского ухарства, лихая предсмертная шутка? Холодный ли расчет? Назовусь-ка я именем мертвеца, пускай ищут. Или, может быть, подсознательное желание еще раз опозорить позорное имя?

О том, что это было предопределение, Иоанну суждено было догадаться гораздо позднее.

Иаков, проглотив яд, умер довольно быстро, хотя, разумеется, и помучился, ровно в той мере, в какой это было предусмотрено имперским правосудием. Иоанн — не умирал. Трижды ему, связанному, вливали в рот смертельное пойло, и трижды, судорожно корчась, он извергал все обратно. Случай это был хотя и редкостный, но далеко не первый, и в соответствии с прецедентом положено было доварить Иоанна в кипящем масле.

Так ему выпала еще одна ночь жизни. Видимо, яд все-таки проник в его организм, потому что до самого утра мучили его образы и одолевали голоса. Это было страдание. Он никак не мог понять, кто разговаривает с ним и что именно говорит. Нет, это не был Назаретянин. Это был кто-то равный Ему, но не внушающий любви и не дарящий радости. Слова его были невнятны Иоанну. Иоанн понял только, что ему снова выносят приговор и снова его наказывают.

Заколов Агасфера, ты нарушил волю Учителя, — вроде бы сказано было ему.

Приняв имя Агасфера, ты сам определил себе наказание, — вроде бы сказано было ему.

Отныне и до Страшного суда ты будешь ходить по миру, — сказано было ему.

И будешь ты делать нечто, нечто и нечто, — сказано было ему.

А вот что такое это «нечто», Иоанн так и не понял в ту ночь.

Утром его привели к Латинским воротам и при небольшом скоплении народа сунули ногами вниз в огромный чан с кипящим маслом. Это было невыносимо больно, и Иоанн потерял сознание. Но он опять не умер.

Очнувшись, обнаружил он, что лежит на каменном полу в знакомом помещении суда, а над ним в пять глоток бранятся чины римской юридической коллегии. Оказывается, никакого преступника нельзя казнить трижды. Казнить третий раз, оказывается, означает искушать долготерпение богов. Искушать долготерпение не хотелось никому, кроме господина районного судьи, который, таким образом, оказался в меньшинстве. Однако, с другой стороны, никакого преступника нельзя, разумеется, оставлять безнаказанным. Поэтому юридическая коллегия приговорила: сослать навечно Агасфера из Иерусалима в одну из самых занюханых колоний Рима, в Азию, а именно — на островок Патмос. Что и было исполнено.

(*Справка* : Патмос, крошечный остров в Эгейском море в сорока километрах южнее линии, соединяющей острова Икария и Самос. В описываемое время его населяло несколько десятков вполне диких фригийцев, имеющих словарный запас в две дюжины слов и питающихся козьим сыром, вяленой рыбой и водорослями. Кроме фригийцев и коз, из крупных млекопитающих обитали там также и ссыльнопоселенцы.)

Иоанн провел на Патмосе сорок лет.

Чрезвычайно важным обстоятельством является то, что все это время рядом с ним безотлучно находился ученик его и слуга по имени Прохор. В высшей степени замечательная фигура этот Прохор. В утро кипящего масла у Латинских ворот ему было шестнадцать лет. Он был грек по происхождению и тайный христианин по убеждениям. Случайно оказавшись у места казни, он со всевозрастающим восторгом и обожанием наблюдал и слушал, как торчащая из булькающего масла голова с закаченными глазами хрипло провозглашает слова Учения вперемежку со странными откровениями и описаниями чудесных видений. К тому моменту, когда палачи отчаялись выполнить свой долг и потратили все отпущенное им масло, а вокруг котла собралось уже пол-Рима, Прохор понял, что се человек из царства не от мира сего. Судьба его определилась в это утро, и он последовал за Иоанном на Патмос, исполненный предчувствия подвига. При нем был большой запас пергамента и чернил, а также мешок сушеных смокв на первое время. Все это, разумеется, он украл у своего прежнего хозяина, в лавке которого отправлял обязанности ученика писца.

Предыстория Иоанна-Агасфера на этом заканчивается. На острове Патмос начинается его история.

11. В полном молчании мы поднялись на наш двенадцатый этаж и остановились перед дверью без номера. Миша сказал, слегка задыхаясь:

— Ты вот что, Серега. Говорить буду я, а ты помалкивай.

Я ничего ему не ответил, меня бил озноб. Только на лестнице, минуту назад, до меня вдруг дошло, что я втягиваю своего старинного дружка в крайне опасную для него затею. И тот факт, что у него, мол, служба такая и что он сам настоял на этом визите, меня ничуть не оправдывает. Очень мне хотелось сейчас сказать ему: «Ладно, Мишка, не надо. Ну их всех к черту». Но ведь и так поступить я тоже не мог! Надо же было как-то разрывать проклятый замкнутый круг...

В прихожей я помог Мише снять плащ, повесил его на распялку, а мокрый берет его положил под зеркало. Миша неспешно расчесывал перед зеркалом свои сильно поредевшие русые кудри. По-моему, он был абсолютно спокоен, будто в гости пришел в семейный дом коньячок пить и лимончиком закусывать.

— Куда прикажешь? — спросил он негромко, продул расческу и сунул ее в карман.

— Сейчас, подожди минутку, — сказал я.

Я не желал, чтобы мой Миша вел эту беседу из кресла для паршивых просителей. И вообще, пусть все увидит своими глазами.

— А вообще-то, чего ждать? Пошли, — сказал я и двинулся прямо в Комнату.

— Спокойно, Серега, спокойно, — промурлыкал Миша у меня за спиной. — Все нормально...

Комната была пуста. Я посторонился, пропуская Мишу, чтобы он увидел все: и дурацкий топчан у стены, и две блестящие металлические полосы, протянувшиеся от окна к дверям Кабинета, и дверь в Кабинет, как всегда распахнутую в глухую бездонную тьму, пронизываемую мутными пульсирующими вспышками. Миша все это быстро оглядел, и на лице его появилось незнакомое мне выражение. Он словно бы затосковал слегка, будто предстояло ему теперь же и непременно проглотить стакан касторки.

Демиург грянул:

— Клиента — в Приемную! Что еще за вольности?

Я стиснул зубы и злобно процедил:

— Это не клиент. Я попросил бы вас выйти и поговорить с ним.

— Делайте, что вам сказано!

Миша крепко взял меня за локоть и сказал в сторону Кабинета:

— Меня зовут Михаил Иванович Смирнов. Я — майор государственной безопасности и хотел бы с вами побеседовать.

Демиург, по-видимому, нисколько не удивился.

— Побеседовать или допросить? — осведомился он.

— Я здесь неофициально, — ответил Миша. — Просто хочу задать вам несколько вопросов.

— Почему — мне?

— Я хотел бы разобраться, представляет ли ваша деятельность интерес для моей службы. Уточняю: сейчас вы вправе не отвечать на мои вопросы.

— Можете не уточнять. Я всегда в таком праве... Сергей Корнеевич, я все равно не выйду, не надейтесь. Предложите гостю сесть.

— Не беспокойтесь, — сказал Миша. — Я сегодня весь день сидел. А вот повидать вас мне бы, честно говоря, хотелось.

— Еще бы... Ладно, я обдумаю эту идею. Посмотрим, как вы будете себя вести. А пока можете задавать ваши вопросы.

У меня икру свело от напряжения. Я кое-как дохромал до топчана, сел и принялся растирать ногу. А эти двое уже разговаривали, да так бойко, словно были знакомы всю жизнь и теперь затеяли игру в «барыня прислала туалет».

— Кто вы такой?

— У меня много имен. Меня зовут Гончар, Кузнец, Ткач, Плотник, Гефест, Гу, Ильмаринен, Хнум, Вишвакарман, Птах, Яхве, Мулунгу, Моримо, Мукуру... Достаточно, я полагаю?

— Я не спрашиваю ваше имя. Я спрашиваю, кто вы такой.

— Я гончар, кузнец, плотник, ткач... Неужели мало? Я Демиург, наконец.

— Но вы, я полагаю, человек?

— Конечно! В том числе и человек.

— А еще кто?

— Вы что — не знаете, кто такой демиург? Так посмотрите в словаре.

— Хорошо. Посмотрю. И давно вы здесь?

— Больше полугода... Хотя... Это же зависит от того, как считать. Послушайте, а вам не все равно?

— Мне не все равно. Но если вам трудно ответить, оставим пока этот вопрос. Откуда вы прибыли?

— Вот что, майор. Хочу вас предупредить. Если я стану отвечать на ваши вопросы, касающиеся пространства и времени, то уверяю вас: ни удовольствия, ни удовлетворения вы не получите.

— Хорошо, я приму это к сведению, — терпеливо сказал Миша. — Так откуда вы прибыли?

— Да ниоткуда я не прибыл. Я был здесь всегда.

— Вот в этой самой комнате?

— Эта комната была здесь не всегда, майор. А я — всегда. В известном смысле. Причем и здесь, и не только здесь.

— Это любопытно. Насколько мне известно, человек такими возможностями не обладает. Прикажете мне сделать вывод, что вы все-таки не человек?

— Человек такой способностью не обладает. Верно. Зато я обладаю способностью быть человеком. И не только человеком.

— Ну что ж, это ваше право. Это никакими законами не возбраняется. А теперь расскажите мне, пожалуйста, если можно, конечно, какова цель вашего пребывания



здесь?

— Мне кажется, что вы привыкли иметь дело с иностранцами.

— Почему же это вам кажется?

— Очень правильная речь. Очень свободные манеры. И вы явно привыкли задавать этот вопрос — о целях пребывания.

— Между прочим, я и ответы привык получать на этот вопрос. Итак?

— Я ищу Человека.

— Кого именно?

— Я ищу Человека с большой буквы.

Все время, пока шел этот быстрый обмен вопросами и ответами, Миша не оставался в покое ни на минуту. У меня было даже такое впечатление, словно он не особенно задумывается над своими вопросами и не очень-то вслушивается в ответы. Бесшумно ступая, он обошел комнату, внимательно оглядывая и ощупывая стены, постоял, задрал голову, под свисающим черным шнуром, изучая его прищуренными глазами, потом подошел к окну и заглянул вниз, а потом, присевши на корточки, осмотрел металлические полосы и даже постучал по ним ногтем — по одной и по другой. С отчаянием и бессильным разочарованием наблюдал я, как на его лице все отчетливее проступает сожаление о зря теряемом времени. Я словно читал его мысли: да, порядочной ерундой я тут занимаюсь, позвоню-ка я в раймилицию, пусть участкового пришлют, и все дела...

Услышав про Человека с большой буквы, он легко поднялся с корточек, подмигнул мне и, неслышными шагами направляясь к двери в Кабинет, произнес с комической серьезностью:

— А вы возьмите меня.

И впервые не последовала ответная реплика. Миша успел сделать еще два осторожных шага, и тут из тьмы навстречу ему выдвинулся Демиург, остановился на пороге и навел на Мишу бешеные яблоки своих глаз.

Я вскочил. Я испугался чуть не до обморока. А Миша отступил на шаг и сделал странное, незаконченное движение правой рукой — то ли хотел заслониться ею, то ли (несмотря на заверения его) что-то все-таки висело у него под мышкой левой руки. Он побелел, и крупные капли пота разом выступили у него на лбу. И тогда Демиург прогрохотал:

— Я обдумаю ваше предложение.

Сказал и соскользнул обратно во тьму.

12. В прихожей я попытался подать Мише плащ, но он отобрал его у меня со словами: «Давай, давай сюда! Что еще за китайские церемонии!» Пока он застегивался и напяливал перед зеркалом берет, я все ждал, скажет он мне что-нибудь прямо здесь или мы поговорим на лестнице. Но тут рядом обрушилась спускаемая вода, щелкнула задвижка, и из совмещенного санузла вывалился в прихожую Агасфер Лукич. Он хлопотливо, обеими руками застегивал ширинку, ухитряясь при этом тремя пальцами правой руки держать при себе свой любимый портфель.

— Пардон, пардон, пардон! — жизнерадостно воскликнул он, лаская Мишу Смирнова профессиональным взглядом. — Разрешите представиться: Агасфер Лукич Прудков, Госстрах, к вашим услугам. Руки не подаю — в силу последнего местопребывания. Не могу не воспользоваться моментом, однако. Госстрах, уважаемый Михаил Иванович, предлагает к вашим услугам...

И с феноменальной скоростью, нисколько, впрочем, не отражающейся на разборчивости и внятности, Агасфер Лукич рассыпал перед ошеломленным Мишей роскошный бисер всех услуг, которые предоставляет в распоряжение добропорядочного гражданина наша система государственного страхования.

Меня поразило, что Миша, по-видимому, совершенно забыл все, что я рассказывал ему об Агасфере Лукиче. Для него это явно был обыкновенный навязчивый страхагент, от которого совершенно не знаешь как избавиться без откровенной грубости и хамства. Миша неловко улыбался, делал обеими руками отстраняющие жесты, прижимал ладони к груди со словами: «Благодарю вас, я уже...» — в общем, вел себя не как Исаев-Штирлиц, а как занюханный кандидат наук, застигнутый у родимой кассы с зарплатою на руках. И когда мы выкатились наконец на лестничную площадку и я захлопнул за собою дверь, он с комическим облегчением вытер со лба воображаемый пот и сказал:

— Уф-ф... Еле ушел!

Мы начали спускаться по лестнице.

— Ну, как тебе? — нетерпеливо спросил я с тревогой.

И тут выяснилось такое, о чем я и сейчас вспоминаю с ознобом между лопатками. Хотя на самом-то деле — ну чего другого мог я ожидать? А было так.

На протяжении первых четырех этажей Михаил говорил неохотно, как бы через силу, говорил не потому, что хотел говорить, а потому, что считал себя обязанным сказать мне хоть что-то. Он мне благодарен. Я молодец. Я правильно сделал, что обратился к нему. Дело вызревает нешуточное. Этим займутся те, кому положено, а мне оставаться здесь совершенно не нужно. Может быть, даже опасно... Что тебя, собственно, здесь держит? Может быть, нужна помощь? Так скажи! Лучше всего, если ты уйдешь прямо сегодня, прямо сейчас... О жилье не думай, это все будет устроено...

На девятом этаже он взял меня под руку и принялся доверительно рассказывать, что аналогичный случай уже был у него — лет пятнадцать назад. Жулики эти мои, надо сказать, ловкие, однако ничего нового под луною, как известно, нет. Стоило ему увидеть эти металлические направляющие, как он сразу все понял. Никакие это не направляющие — это шины. А в кабинете у них — генератор. Правда, кое-что он даже сейчас объяснить не может, да это и не его дело... Это вообще не наше дело. Участковый прохлопал, ясно как день. У него в участке, понимаешь, такая банда аферистов, месяц уже орудуют как минимум, а он ушами хлопает. Я вот чего не могу понять: тебя-то они чем держат? Неужели ты такой легковерный? Мамочка моя, а еще кандидат, без пяти минут доктор... Ты дождешься, что тебя вместе с ними заберут! Статья такая-то, соучастие в жульнических махинациях... Не купили же они тебя, в самом деле. Понимаю, понимаю: обманули. Я и сам спервоначала черт-те что подумал, а ведь я — стреляный волк... Ничего, не дрейфь, я тебе верю, заступлюсь, пройдешь по делу как свидетель... И возвращайся-ка ты в свою Степную, займись своими

любимыми звездами, забудь про все про это, черт тебя сюда принес!..

На третьем этаже он крепко обнял меня за плечи и продолжал совершенно уже дружески растроганным тоном. Хотя, с другой стороны, что ты имел в своей Степной? Гостиничный номер? А здесь такая квартирка, ей-богу, завидно. Спальной ты меня просто убил, я даже Варьке рассказывать не буду, она же меня живым съест... И где только люди достают такие гарнитуры! И вообще, где ты книги берешь? Блат у тебя, что ли? Я «Военные мемуары» всю жизнь собираю, но такого набора... Жалко, Соня твоя на работе, сто лет не виделись. Слушай, что за манера — приглашать среди бела дня? Давай встретимся по-человечески, с женами, с ребяташками, моего Саньку с твоей Танькой познакомим... (тут он заржал). Как она из туалета-то выскочила... заалелась, будто маков цвет... Красивая девка, между прочим, растет. Да, брат, стареем, матереем, еще пяток лет — и детей женить пора... А коньячок у тебя ничего был, штатный. И все-таки, когда ты ко мне придешь, я тебе поднесу такого, какого ты никогда не пивал и не выпьешь, если я об этом не позабочусь... Ну, ладно, спасибо за приглашение, спасибо за угощение, спасибо за привет... Нет-нет, провожать не надо, я знаю — вон там «шестерка» останавливается. Ну, давай!

Он обнял меня мимоходом, похлопал по спине и сбежал по ступенькам. Я остался стоять, придерживаясь рукой за мокрую, ледяную от дождя бетонную стену, и смотрел ему вслед, как он ловко перескакивает с кирпича на кирпич, пересекая грязевую полосу, а потом, глянув налево-направо, переходит улицу, направляясь к остановке автобуса.

13. Демиург сказал:

— Есть у вас еще вопросы?

— Нет, — сказал Миша. — Благодарю вас.

Он уже вполне оправился, и румянец вернулся на лицо его, но пот все стекал со лба по щекам на шею, и Миша то и дело вытирал его скомканным платком.

— Тогда я задам вам вопрос, — сказал Демиург. — Всего один. Чего вы хотите?

— Сейчас я хочу только одного, — криво улыбаясь, проговорил Миша. — Чтобы вас не стало. И никогда бы не было. Чтобы я сейчас благополучно проснулся. Проснулся, а вас нет и не было.

— Воистину, странный ответ, — сказал Демиург. — Не ожидал от вас... Впрочем, я вовсе не имел в виду вас персонально.

— Ах, вы имели в виду... Знаете, всё, чего мы хотим, изложено в Программе Партии. Прочтите, там все написано.

Демиург грянул:

— Благодарю вас! Вы свободны, майор. Сергей Корнеевич, проводите, пожалуйста, майора. Пальто и шляпу — подать.

...И когда я, как старая кляча, влекомая на живодерню, приволокся на свое место в Приемную, он сказал:

— Впредь прошу вас не приводить сюда своих друзей без специального предупреждения. У меня здесь не салон, а служебное помещение... Впрочем, в данном конкретном случае я вам, пожалуй, даже благодарен. Ведь ваша эпоха — это эпоха

могущественных организаций, а я по старинке все вожусь с отдельными фигурами. Вы навели меня на мысли, благодарю вас.

14. *Справка* . Я уже много лет не женат, нахожусь в разводе. Мою первую и последнюю жену звали Александра. Миша Смирнов никогда ее не видел. Детей у меня не было и нет. Не было и нет среди моих близких и друзей, а также среди знакомых женщины с именем Соня, Софья или что-нибудь в этом роде.

В дальнейшем я еще дважды звонил Мише Смирнову. Один раз мне сказали, что он в длительной командировке. В другой раз мы с ним несколько минут побеседовали по телефону. Он был приветлив и вполне дружелюбен, однако от встречи уклонился, сославшись на крайнюю занятость. Прощаясь, он с удовольствием вспомнил «славный вечерок», который провел у меня в гостях, и попросил передать привет «Сонечке и Танюшке».

Других знакомых «в могущественных организациях» у меня нет. Прямое, по официальным каналам, обращение не сулит в перспективе ничего, кроме сумасшедшего дома.

Я остался один. Теперь уже совсем один.

15. Был уже поздний вечер. Даже, скорее, ночь. Я лежал...

#### **Дневник. 18 июля (дополнение к 17-му)**

Я, точно так же, как Михайла Тарасович, никак не могу ясно объяснить себе, почему Г. А. так рьяно болеет за Флору.

«Милость к падшим призывал»?

Не то. Совсем не то. Я совершенно точно знаю, вижу, чувствую, что он не считает их падшими. Это мы все считаем их как бы падшими, не в том, так в другом смысле, а он — нет. Он вообще не признает это понятие — «падший». Все, что порождено обществом, порождено законами общества, а значит, закономерно, а значит, в строгом смысле не может быть разделено на плохое и хорошее. Все социальные проявления на плохое и хорошее делим *мы* , — тоже управляясь при этом какими-то общественными законами. (Именно поэтому то, что хорошо в девятнадцатом веке, достойно всяческого осуждения в двадцать первом. Безоглядное чиновничество, например. Или, скажем, слепое выполнение приказов.)

Понимание и милосердие.

Понимание — это рычаг, орудие, прибор, которым учитель пользуется в своей работе.

Милосердие — это этическая позиция учителя в отношении к объекту его работы, способ восприятия.

Там, где присутствует милосердие, — там воспитание. Там, где милосердие отсутствует, — где присутствует все, что угодно, кроме милосердия, — там дрессировка.

Через милосердие происходит воспитание Человека.

В отсутствие милосердия происходит выработка полуфабриката: технарь, работяга, лабух. И, разумеется, береты всех мастей. Машины убийства. Профессионалы.

Замечательно, что в изготовлении полуфабрикатов человечество, безусловно, преуспело. Проще это, что ли? Или времени никогда на воспитание Человека не хватало? Или средств?

Да нет, просто нужды, видимо, не было.

А сейчас появилась? «Как посмотришь с холодным вниманьем вокруг...» Значит, все-таки появилась! Иначе теория ПВП никогда бы не пробились через реликтовые джунгли Академии педагогических наук. И не была бы создана система лицеев. И Г. А. был бы сейчас в лучшем случае передовым учителем в заурядной 32-й ташлинской средней школе.

Конечно, бытие определяет сознание. Это — как правило. Однако, к счастью, как исключение, но достаточно часто случается так, что сознание опережает бытие. Иначе мы бы до сих пор сидели в пещерах.

Проснулся Микаэль. Как всегда с утра, скабрезен.

### 18 июля. Вечер

Только что вернулись из столовой. Дискутировали. Горло саднит, будто парадом командовал. Настроение мерзопакостное. Говорил — ни к черту плохо. Не умею говорить. Но каков Аскольд!

Не хочу сейчас об этом писать.

Г. А. чувствует себя неважно. Пластырь я ему снял, но рука болит. Мишка озабочен и смотрит виноватым. Делали руке волновой массаж. Серафима Петровна вызывала Михея к себе в кабинет, угощала меренгами и допрашивала с пристрастием.

С одиннадцати до четырнадцати был в больнице. Помогал Борисычу с историями болезни, выносил горшки (на самом высоком профессиональном уровне) и вел лечебную физкультуру по всем палатам третьего этажа.

С пятнадцати до девятнадцати готовился к отчет-экзамену, конспектировал мадам Тепфер. Все-таки до чего трудно! Неужели же придется всерьез браться за эту чертову психогеометрию? Высшая педагогика, будь она неладна! Не верю я в нее. А если у человека нет способностей к абстрактному мышлению? Все-таки мы живем в очень жестоком мире.

События.

С утра по городскому каналу выступил Михайла Тарасович и объявил о больших победах. Наша доблестная милиция обнаружила и разгромила подпольную фабрику наркотиков. Фабрика располагалась в подвале лабораторного корпуса университета. (Эге! — разом подумали мы с Мишелем и молча посмотрели друг на друга.) Задержано шесть человек: один курьер, трое распространителей и двое боевиков. Арестован главный мафиози нашего города. Каковым оказался гражданин Тютюкин, занимавший пост заведующего отделом культуры горисполкома. (Эге! — сказал я сам себе и, за отсутствием Г. А., переглянулся с Аскольдом.) По подозрению в причастности задержана еще куча лиц, в частности заведующий складом химикатов, владелец кафе «Снегурочка», один из университетских садовников и прочие добрые граждане. (Ни одного студента. Что характерно.) Следствие продолжается. Есть все основания полагать, что в ближайшее время наш город наконец будет полностью очищен от наркомафии.

Уединившись с Мишкой, мы быстро обсудили, как же все это надобно понимать. Пришли к странному выводу. Получается, что Г. А. уже некоторое время знал и про подпольную фабрику, и про «крестного» из горисполкома, и еще, видимо, многое, но почему-то молчал, а позапрошлой ночью принялся действовать, причем как-то странно. Почти очевидно, что атлетического хомбре и прочих студиозусов вывел из-под удара именно он. Вопрос: зачем? Чем они лучше прочей наркомержзости? И откуда он мог знать, что Михайла Тарасович начнет свою операцию именно этой ночью?

Во время этого торопливого разговора мне пришла в голову одна довольно странная мысль, которая многое объясняет. Майклу я решил ее не сообщать. И воздерживаюсь излагать ее здесь. И так запомню.

Г. А. знает, что делает, — на этом мы с Михой и порешили.

Сегодняшние газеты полны Флорой. Оказывается, позавчера (я пропустил) Ревекка разразилась большой статьей в «Городских известиях», и теперь по всем газетам идут отклики. Триста тридцать три вопля отчаяния, горя, боли, ненависти, мести. Волосы шевелятся. Я представил себе моего Саньку Ежика, как он валяется в остывшей золе у костра, ясные глаза остекленели, рот распушен, и слюни тянутся, а он, ничего не помня, раз за разом режет себя бритвой, а эти полуживотные смотрят на него даже без особого интереса. Я не сдержал себя и выразился. При всех. Вслух. Дело было за обедом. При женщинах. И даже не извинился. Впрочем, никто не обратил внимания, а Борисыч мрачно прорычал: «Давно пора с этой чумой кончать. В гинекологии две девчонки оттуда лежат — одной двенадцать, другой тринадцать. Знаете, как они себя называют? *Подлесок!*»

Никогда такого не видывал: в городе появились пикеты. Пожилые люди, на вид пенсионеры, — стоят по двое, по трое перед дверями дешевых заведений и уговаривают туристов не заходить. Перед «Неедякой» — двое седобородых с самодельными плакатами. На одном плакате: «Здесь моего внука приучили к наркотикам». На другом: «Порядочные люди этот вертеп не посещают».

Еще плакаты (на оградах, на бульваре перед горсоветом, прямо поперек улицы) — черным по красному: «Твои дети в опасности! Спаси их!», «Бросай работу! Раздави гадину!», «Сделаем наш город чистым от зеленого гноя!»...

На улицах полно людей. И милиция. Никогда в жизни не видел столько милиционеров сразу, разве что на стадионе. И какая-то непривычная атмосфера всеобщего подъема, нервического, лихорадочного, нездорового, словно все слегка *приняли* то ли для смелости, то ли для бодрости, — раздаются приветственные возгласы в повышенном тоне, трещат по спинам увесистые хлопки крепких ладоней, все говорят, перебивая друг друга. Такое впечатление, будто никто сегодня не пошел на работу. Атмосфера не то вокзала, не то банкета. Атмосфера предвкушения.

(Вообще говоря, мне это не нравится. Неприятно даже представить себе хирурга, который жадно потирает ладони, хлопает ассистенток по попкам и возбужденно хихикает, предвкушая процедуру удаления опухоли.)

И конечно же, ни одного фловера. Что не удивительно. Будь я фловером, духа бы моего не было в этой атмосфере. И вообще в радиусе трехсот километров. Может быть, все-таки обойдется без насилия? Не полные же они дураки, должны же они

понимать, что надо уносить ноги побыстрее и подальше?

В конце бульвара у меня екнуло сердце: на дереве болтался повешенный. Маскировочный комбинезон, зеленые лапти, все честь по чести. Но, конечно, это оказалось всего-навсего чучело. Под чучелом деловито суетилась парочка пацанов лет двенадцати со спичками и зажигалками. Я окоротил их: во-первых, десантные комбинезоны не горят; во-вторых, омерзительно, когда жгут даже чучело человека; в-третьих, они похожи сейчас на куклуксклановцев, поджигающих повешенного негра. Они удалились на третьей скорости, а я пошел своей дорогой, горестно размышляя о том, что атмосфера охоты на чудовищ уже начала порождать чудовищ.

(Впрочем, сейчас мне кажется, что я, как это часто бывает с педагогами, приписываю свой собственный нечистый образ мыслей ребятишкам, которые ни о чем таком и не думали. Действо, которому я придал символический смысл, для них не имело никакого отношения ни к флюверам, ни к страшным замыслам взрослых вообще. Во вчерашней хронике они видели, как демонстранты сожгли чучело премьер-министра перед парламентом, а сегодня попало им это чучело на бульваре, и захотелось, чтобы трещал огонь, валил дым, чтобы все вокруг забежали в панике, а там, глядишь, и пожарники подвалят... Что-нибудь в этом роде. Так что мой педагогический заряд мощностью в десять килотонн оставил их вполне невредимыми и в недоумении, а брызнули они от меня только потому, что форменная куртка лицеиста пользуется у школьников большим уважением, а может быть, они вообще знают меня лично, может быть, вел я у них в прошлом году какие-нибудь уроки, и перепугались они, что я их тоже узнал. Педагогика. Наука.)

А за ужином дискуссия началась с того, что Иришка с негодованием поведала нам вполне омерзительную историю. Нынче она с утра дежурила в специнтернате «Вишенка», и заявился к ним после обеда инструктор гороно товарищ Лютиков Андрей Максимович, созвал весь персонал в преподавательскую и выступил с «гениальным предложением»: вывести на завтрашнюю демонстрацию к горсовету всю «Вишенку» в полном составе, включая парализованных, слепых и безнадежных. Колонна пойдет под лозунгом: «Мы обвиняем Флору!» Это произведет эффект. Это найдет отклик.

Это произвело эффект. Все в преподавательской обалдели. Это нашло отклик. Андрею Максимовичу, товарищу Лютикову, так врезали по мордасам со всех сторон, что он посинел, как вурдалак, и принялся орать неестественно тонким голосом, что все здесь будут уволены завтра же, что он этот рассадник защитников Флоры растопчет лично, а интернат развеет и расточит. Тогда Сергей Федорович взял трубочку, позвонил Риве и в двух словах объяснил ей, чем тут занимается ее инструктор. Рива велела отключить экран, а трубку передать Лютикову. «И затрясся вурдалак проклятый...»

В преподавательской воцарились три минуты великого молчания. В великом молчании товарищ Лютиков выслушал, что говорилось ему Ривою, в великом молчании осторожно положил трубку, в великом молчании собрал свой портфель и удалился. И был он при этом уже не синий, а серый, что его, впрочем, тоже не украшало.

Все-таки трудно придумать что-либо более отвратное, чем потуги взрослых вмешивать в свои взрослые дела детей. В особенности если это не дела, а делишки, а

дети не просто дети, а несчастные от рождения. Нет этому оправдания и быть не может, какие бы красивые слова при этом ни говорили взрослые. Признаюсь, я почувствовал к Риве неизъяснимую симпатию, хотя казалось бы, ну что такое особенно хорошее она сделала? Любой нормальный человек на ее месте должен был поступить так же. Особенно на *ее* месте. Тут, видимо, все дело в контрасте. На фоне злобного идиота даже самый обыкновенный человек выглядит ангелом, до умиления симпатичным.

Каким именно образом возникла дискуссия, я сейчас уже и не помню. Ведь вначале, сразу после рассказа Иришки, мы все пребывали в полном согласии. И вдруг — гвалт, размахивание руками, и каждый — ни шагу назад. Главное, в лицее-то нас осталось сейчас всего шесть человек. Страшно вообразить, как бы все это выглядело, если бы орали и размахивали руками все двести.

Картина: в столовой почти все огни погашены, тридцать пустых ненакрытых столов, мы все шестеро на ногах, стулья опрокинуты, ужин недоеден, а в дверях кухни застыл в изумлении и испуге Иракий Самсонович, белый колпак сдвинут набекрень, в глазах ужас, в руке — невообразимый белый соус к биточкам.

Вот что замечательно: если отвлечься от взрывов эмоций, от взрывов остроумия лицейского, имеющего целью повергнуть противника в прах любой ценой, а также от взрывов взаимных обвинений, вообще не имеющих никакого отношения к спору... так вот, если отвлечься от всего этого, то останется на удивление мало. Так, несколько тезисов.

Нам казалось тогда, что мы спорим по широчайшему кругу вопросов, а на самом деле спорили мы только об одном: прав Г. А. или нет. И как относиться нам к его правоте или неправоте. (Господи! Куда подевались все лекции по риторике и по культуре дискуссий? Иракий Самсонович свидетель: шестеро мартышек, швыряющих друг в друга пометом и банановыми шкурками.)

И что еще замечательно: ведь общего между нами гораздо больше, чем разного. Все мы ученики Г. А., и все мы обучены свято следовать своим убеждениям. Все мы ненавидим Флору и тем самым не являем собою ничего особенного — целиком и полностью держимся мнения подавляющего большинства. Все мы любим Г. А., и все мы не понимаем его нынешней позиции, а потому чувствуем себя виноватыми перед ним и слегка агрессивными по отношению к нему.

Мы с Мишелем размахиваем руками, главным образом, потому, что нам не нравится оказаться в одной куче с большинством. Мы от этого отталкиваемся, но никаких серьезных оснований отмежеваться от большинства у нас нет, и это нас ужасно раздражает. И никаких оснований мы не находим, чтобы полностью стать на сторону Г. А., и это нас ужасно беспокоит. Потому что ясно: если кто-то здесь и ошибается, то уж, наверное, не Г. А. То есть это для нас с Мишелем ясно. А совсем не ясно нам с Мишелем — как быть дальше. Следовать своим убеждениям — значит остаться в дураках, да еще предать Г. А. вдобавок. А слепо идти за Г. А. означает растоптать свои убеждения, что, как известно, дурно.

Вот у Иришки все просто. Она очень любит Г. А., и она очень жалеет Г. А. Этого для нее вполне достаточно, чтобы целиком быть на стороне Г. А. Это вовсе не означает, что она растаптывает свои убеждения. Просто у нее такие убеждения: ей жалко любимого Г. А. до слез, а на остальное наплевать. Флоры и фауны приходят и



уходят, а Г. А. должен пребывать и будет пребывать вовеки. Аминь! А будешь много твоякать, получишь этой овсянкой по физиономии.

Кириллу хорошо: у него билет домой на завтра, на тринадцать двадцать. Впрочем, он теоретик. «Верую, ибо абсурдно». Человековедение — это не наука, это такая разновидность веры. Здесь ничего нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Человековерие. Ты либо просто веришь, либо просто не веришь. Что тебе ближе. Или теплее... Г. А. — бог. Он знает истину. И если даже ваша паршивая практика покажет потом, что Г. А. оказался не прав, я все равно буду верить в Г. А., и смеяться над вашей практикой, и жалеть вас в минуту вашего жалкого торжества, а потом, может быть, позволю вам, отступникам, поплакать у меня на груди, когда в конце концов ваша жалкая практика превратится в пепел под лучами истины.

Зоя кричала и размахивала меньше всех. Простым глазом видно было, что сам разговор о Флоре вызывает у нее тошноту почти физическую. Она со своей душевной чистотой, доходящей уже до фригидности, не переносит Флору органически. (И дело здесь вовсе не в повышенной брезгливости. Во время эпидемии, помню, она работала вместе с нами и лучше многих из нас — с утра до ночи и с ночи до утра, гнойные простыни, желто-красные язвы, кровавые испражнения умирающих...) А Флора для нее — за пределом. Ведь это уже не люди. Это даже не животные. Это какие-то мерзкие осклизлые грибы, гнездящиеся на падали. Они вне моей сферы. Они вне наших законов. Они вообще вне... Г. А. — святой, а вы — нет. А я уж совсем нет, до последней степени — нет. И заткнитесь вы, ради бога, хватит об этом, ужин ведь все-таки...

В общем, никто меня особенно не удивил. Аскольд меня удивил. Он всегда был малость супермен, с первого класса, и всегда ему это нравилось. Я-то раньше думал, что это у него поза такая. Имидж. Г. А., помнится, пошутил как-то: с такими манерами, Аскольдик, прямая тебе дорога преподавателем в кадетское училище. Однако сегодня выяснилось, что это не только манеры. Тунеядство должно быть уничтожено. Перед нами выбор: либо мир труда, либо мир разложения. Поэтому у каждого тунеядца не может быть образа жизни, у него может быть только образ неотвратимой гибели, и только в выборе этого образа гибели мы можем позволить себе некоторое милосердие. И каждый тунеядец должен это усвоить твердо. А мы с вами должны сделать так, чтобы каждый потенциальный тунеядец, которому не повезло с генотипом, с семейной средой, со школой и прочим, был с невозможной убедительностью предупрежден о своей неотвратимой гибели. Не надо: слюней, соплей, метаний и самопожертвования. Надо: железную твердость, беспощадную последовательность, абсолютную непримиримость. Г. А. — гений, это бесспорно. Да с этим никакой дурак и не собирается спорить. Просто надо помнить, что гении тоже ошибаются. Ньютон... Толстой... Эйнштейн... и так далее. Мы должны иметь свою голову на плечах, хоть мы и не гении. Мы должны сохранять хладнокровие мысли и не позволять нашему преклонению и восхищению застилать глаза нашему разуму...

Как всегда, аргументов в нужный момент у меня не нашлось, и все мои аргументы были — яростное швыряние помета и банановых шкур. А как славно было бы спеть с ним тогда такой, например, дуэт:

*Я* : Предположим, что ты врач. Новая страшная эпидемия поражает только негодяев. Твои действия?

*ОН (пренебрежительно)*: Было. Сначала венерические болезни, потом СПИД. Старо.

*Я*: Нет, не старо. Там болезнь поражала всяких людей. Совершенно ни в чем не повинные страдали тоже. А теперь представь, что болезнь поражает только и исключительно подлецов. Ты, разумеется, будешь в этом случае железно твердым, беспощадно последовательным и абсолютно непримиримым?

*ОН*: Что ты ко мне пристал? Я не врач!

*Я*: Да, ты не врач. Ты не приносил клятву Гиппократу. Но ты принимал присягу Януша Корчака! Люди вроде тебя всегда норовили делить человечество на агнцев и козлиц. Так вот, врач может делить человечество только на больных и здоровых, а больных — только на тяжелых и легких. Никакого другого деления для врача существовать не может. А педагог — это тот же врач. Ты должен лечить от невежества, от дикости чувств, от социального безразличия. Лечить! Всех! А у тебя, я вижу, одно лекарство — гаррота. Воспитанному человеку не нужен ты. Невоспитанный человек не нужен тебе. Чем же ты собираешься заниматься всю свою жизнь? Организацией акций?

(Он в бессильной ярости принимается швырять в меня пометом и банановой кожурой).

Да, воистину: самые убедительные наши победы мы одерживаем над воображаемым противником.

Сейчас мне пришло в голову, что ведь, пожалуй, и Аскольдовы подопечные Сережка Петух и Ахмет-богатур заметно отличаются и от моих ребяташек, и от всего остального их класса. Холодные драчуны. Кадеты. Маленькие аскольдики. Это уже неконтролируемое размножение! Ей-богу, хватит с нас и одного Аскольда.

Настроение, и без того не радужное, вконец у меня испортилось. Врачу, исцелися сам. Педагогу, воспитай себя, а уже потом суйся воспитывать других. А то ты такого навоспитаешь, что сотня Г. А. их не перевоспитает.

Для поднятия тонуса сходил в комнату моих ребяток. Пусто и уже припахивает пылью. Но на стенах — милые сердцу картинки. На подоконнике — недостроенная модель Термократора. На столике — развороченный компьютер. На спинке стула — забытая Ежикова майка с надписью «It's Time of Total Truth»... Я присел перед подоконником, впял Термократору недостающий глаз, и на душе у меня полегчало. Проще надо быть! Проще! Счастье — в простом.

Мне кажется, я понимаю, какую связь подразумевает Г. А. между этой древней рукописью и моей работой, но это слишком долго, а я слишком устал, чтобы сейчас об этом писать.

(*Позднее примечание* . Совершенно не помню, что я тогда имел в виду. К сожалению.)

### Рукопись «ОЗ» (15–18)

15. Был уже поздний вечер. Даже, скорее, ночь. Я лежал под одеялом у себя в каморке и читал на сон грядущий Агасферов «Преканон». Они разговаривали в Комнате. Также, видимо, на сон грядущий. Я не прислушивался. Как всегда между собою, они говорили на каком-то сугубо экзотическом языке, которого я никак

освоить не мог, — гортанном и изобилующем придыханиями и шипящими. Вдруг голоса их возвысились. Я глазом моргнуть не успел, как они уже орали друг на друга. Встревоженный, я спустил ноги с тахты, и тут Демиург заревел, как иерихонская труба, а Агасфер Лукич завизжал невыносимым, скребущим душу визгом. Ничего подобного в жизни своей я не слыхивал. Визг этот был не животный, не механический и не электронный. Он был вообще не от мира сего. Так мог бы визжать Конь Бледный, бешено топча сонмы грешников. И сейчас же что-то тяжело ударило в стену, да так, что все висевшее на ней оружие с лязгом обрушилось.

В одних трусах влетел я в Комнату. В голове моей торчала одна-единственная нелепая мысль: «Весь ведь квартал на ноги поднимут, уроды!»

Уроды же выглядели так.

Агасфер Лукич, весь расхлюстанный, блистая потной плешью и потным брюхом, вывалившимся из-под брючного ремня, наскакивал на Демиурга, совершая диковинные взмахи и взбрыки ручками и ножками, — то ли норовил вскарабкаться на него, как на Красноярский столб, то ли стремился причинить ему какое-нибудь физическое увечье приемами борьбы, бывшими в ходу две тысячи лет назад.

Демиург же, отгораживаясь от него крылатым плечом, возился со знаменитым портфелем. Я впервые увидел руки Демиурга, они были черные, с зеленоватым отливом, с неопределимым количеством пальцев. Пальцы эти, длинные и мосластые, сложно и омерзительно шевелились, как шевелятся лапы паука, когда он бинтует муху.

На моих глазах он распахнул портфель (Агасфер Лукич вновь издал апокалиптический визг) и, придерживая его левой рукой, засунул правую в пышущие жаром недра — засунул глубоко, неправдоподобно глубоко, куда-то этажом ниже, как мне показалось. Несколько долгих секунд он шарил там, в жарких пространствах, звучно рыча и беспорядочно вращая налитыми кровью яблоками глаз.

Только на несколько секунд его и хватило — портфель полетел в сторону, а освобожденная рука взметнулась к потолку. Она была невероятной длины и с множеством локтей, а кисть ее до первого локтя была раскалена и светила всеми цветами побежалости, и с кончиков ослепляюще белых пальцев срывались и летели по Комнате дымные искры и капли. А потом (волосы поднялись у меня по всему телу) левой рукой он ухватился за правую, с хрустом выдернул ее вон и швырнул в угол. Глаза его сделались уже как дыни, он разинул пасть, изрыгнул непонятную, но явную брань, многоэтажную и древнюю, щучьими зубами впился в первый подвернувшийся локоть левой руки, бешено мотнул меднойловицей так, что кисточка парика взвилась дыбом, с тем же хрустом выдернул из себя и левую руку и словно окурок сигары выплюнул ее в бездонную тьму за дверь Кабинета.

И сразу стало тихо. Демиург осанисто поводил головой из стороны в сторону и плавно приподнимал то одно плечо-крыло, то другое, как бы демонстрируя нимало не уменьшившуюся мощь и боеготовность своего организма. Агасфер Лукич сидел на корточках возле топчана, любовно оглаживая, осматривая и даже обнюхивая свой счастливо возвращенный портфель. В углу все еще корчилась, остывая, страшная рука — скребла по обуглившемуся паркету сосульками оплавленных пальцев. Пахло потом, гарью и медной окалиной.

Потом Агасфер Лукич вдруг, словно бы спохватившись, перекатился на четвереньки и принялся озабоченно оглядывать пол вокруг себя. Не обнаружив искомого, он двинулся вдоль стены на трех конечностях, прижимая четвертой портфель к голому потному боку. Тут я понял наконец: Агасфер Лукич в пылу сражения потерял свое искусственное ухо.

Демиург грянул:

— Да вон же оно, под калорифером! Что вы, в самом деле, будто Иов на гноище!

Агасфер Лукич, не поднимаясь, быстро добежал до калорифера, нащупал драгоценное ухо и, радостно улыбаясь, приладил его на место.

— Благодарствуйте, мой Яхве! — весело сказал он.

Так закончилась еще одна ссора между ними. Правда, раньше до драки дело у них не доходило. Чего они не поделили на этот раз? То ли Демиург хотел отобрать что-то в свою пользу у Агасфера Лукича, то ли Агасфер Лукич ухитил что-то у Демиурга... Бог у бога портянки украл.

16. Вот этот клиент мне окончательно осточертел. То есть я, кажется, уже всяких повидал, но этот был — что-то неопишное. Тощий, старый, бледно-зеленый, с запекшимися губами, с горящими глазами фанатика, он многословно и невнятно, постоянно повторяясь и сбиваясь, излагал свою методу спасения человечества. Мысль его, словно поезд метро, постоянно двигалась по одному и тому же замкнутому кругу. Его можно было прервать, но отвлечь его было невозможно. И этот ужасающий местечковый акцент!..

Все очень просто. Христианство исказило естественное течение человеческих отношений. Учение Христа о том, что надлежит любить врага своего и подставлять ему все новую и новую щеку, это учение привело человечество на грань катастрофы. Древний благородный лозунг «око за око, зуб за зуб» оклеветан, заброшен грязью, заклемен как человеконенавистнический. Все беды — именно отсюда. Зло сделалось безнаказанным. Обидчики и нападатели привольно разгуливают по жизни, попирая ими же поверженных. Все дозволено тому, кто нагл, силен и злобен. Нет управы на него, кроме законов человеческих, коим цена — овечье дерьмо. Хулиган безнаказанно измывается над слабым. Чиновник безнаказанно измывается над робким. Наглый безнаказанно топчет скромного. Клеветник безнаказанно порочит правдивого. Властитель безнаказанно попирает всех.

Конечно, сам по себе лозунг «око за око», будучи формулой человеческой, ничего в этом мире изменить не способен. Но теперь, когда его может осенить мистическое могущество, если он воссияет на хоругви, несомой мощными дланями...

Четырежды Демиург давал мне распоряжение проводить. Четырежды ходатай за обиженных замолкал на мгновение, чтобы тут же начать все сначала. Мне пришлось буквально выковыривать его из кресла, затем отдирать от платяного шкафа, за который он уцепился, а затем отклеивать его пальцы от дверного косяка. И все это время он, как бы не замечая моих усилий и своего унижительного положения, втолковывал нам, что единственный способ раз и навсегда защитить обижаемых, унижаемых и оскорбляемых — это наделить их способностью поражать обидчиков своих чем-нибудь наподобие электрического разряда.

Еле я его выпроводил. Когда я вернулся в Приемную, с отвращением обтирая об

себя ладони, липкие от хладного пота ходатая, Демиург спросил:

— А как вы полагаете, Сергей Корнеевич, почему третий закон Ньютона не выполняется в сфере человеческих отношений?

Я подумал.

— На самом-то деле он, наверное, выполняется. В конце концов, всем известно: как аукнется, так и откликнется. Просто в человеческих взаимоотношениях нет ясных понятий действия и противодействия.

Демиург ничего не сказал на это, и я, подождав минуту, отправился на кухню. Наступило время обеда.

17. Я шел с авоськой по Балканской, направляясь в молочную, и думал о каких-то пустяках, когда произошло событие необыкновенное.

То есть началось-то оно вполне обыкновенно. Грохоча и лязгая, промчался мимо воняющий самосвал и с ходу обдал меня грязью из рытвины в асфальте. С обыкновенным проклятьем я остановился и принялся кое-как стряхивать с плаща и с брюк холодную жижу, как вдруг позади меня забухали приближающиеся сапоги, и хриплый, задыхающийся голос просительно просипел:

— Позвольте мне! Мне позвольте!

Я и ахнуть не успел, как здоровенный мужик в телогрейке, совершенно незнакомый, рухнул возле моих ног на колени и принялся трясущимися красными лапищами осторожно, как драгоценнейшее произведение искусства, обтирать полу моего плаща, брючину и заляпанный ботинок. При этом он, словно в лихорадке, бормотал:

— Сейчас!.. Моментально!.. Секундочку только, и все...

Я в ужасе огляделся. Никого вокруг не было, и лишь шагах в двадцати вонял на холостых оборотах давешний самосвал, стоя совершенно наперекосяк. Я шарахнулся, мне было гадко и страшно, но мужик не выпустил полу моего плаща, он побежал за мною, быстро перебирая коленями, и, заглядывая мне в лицо совершенно собачьими глазами, отчаянно прохрипел:

— Языком вылижу! Блестеть будут...

А у меня и голоса не было. Я только рванулся изо всех сил, освободился наконец и быстрым шагом пошел прочь, еле удерживаясь, чтобы не перейти на бег. До самого угла я боялся, что он меня догонит, и, поворачивая на проспект Труда, украдкой глянул через плечо назад. Безумец так и стоял на коленях, он лишь опустил зад на пятки и медленно обтирал руки о ватник, понунив голову. У него был вид человека, обреченного на казнь.

Душевное равновесие мое было нарушено, и, не сделав по проспекту Труда и нескольких шагов, я налетел на пенсионера самого почтенного вида — в шляпе и с тростью. Собственно, столкновения не произошло, в последнюю секунду я сумел притормозить, и мы только слегка коснулись друг друга плечами. Я пробормотал что-то вроде: «А, ч-ч-ч... Виноват...» Он же с поразительной живостью отступил на шаг, сорвал шляпу и, взяв на отлет свою палку, проговорил, словно в театре:

— Мой дорогой! Разрешите принести вам мои глубочайшие извинения! Я позволил

себе задуматься и был крайне небрежен.

— А-ап... — сказал я. — А-ас... Собственно, это я был небрежен... Вина, собственно, моя... Еще раз — пардон.

— Мы оба были небрежны, — с видимым облегчением произнес пенсионер и улыбнулся, как мне показалось, фальшиво. — Вообще-то, сейчас время такое, что глаза лучше дома не забывать.

— Правда ваша, — согласился я, чтобы не затягивать сцену, и пошел себе дальше в молочную.

Неприятное предощущение зашевелилось во мне. Где-то под ребрами справа. Все вокруг было до тошноты знакомо. Испещренный трещинами неровный асфальт с вечными лужами, и прошлогоднее пятно на нем от пролитой краски перед хозяйственным магазином, похожее на рисунок кроманьонца. Мокрые жалкие прутья садовых насаждений вдоль тротуара, в некоем неприличном контрапункте странно сочетающиеся с гигантским вылинявшим плакатом «Саду — цвeсть!» на брандмауэре бывшего доходного дома. Отгородившаяся от неба лоснящимися зонтиками терпеливая очередь за обоями в хозяйственный магазин. Прохожие, прохожие, прохожие, все больше тетки с кошелками, с сумками, с бидончиками, с собаками. И машины, машины, машины, господи, сколько нынче в городе машин!..

Вроде бы все как обычно, но чем дальше, тем страшнее мне становилось. Что-то происходило в городе, только я не мог уловить, что именно, и я не знал, как об этом спросить.

...Решительно, машины двигаются слишком медленно. Правда, на проспекте Труда везде «40», но ведь и вчера здесь было «40», а половина шоферов, как водится, никакого внимания на это не обращала... У всех машин включены подфарники по случаю туманной погоды. То есть буквально у всех!..

...Что они мне все улыбаются? Я эту тетку вижу впервые в жизни, а она мне кланяется и вся расплылась в улыбке, такой же фальшивой, как ее зубы... И эта туда же...

— Здравсьте... И вам здрасьте... Приветствую вас...

Вот оно! Ведь все же прячут глаза... лица прячут... Кто прикрывается зонтиком, кто смотрит под ноги, словно пятак потерял, кто отворачивается к витрине, хотя в витрине ничего, кроме ремонта, нет... Но если уж так выходит, что глаза наши встречаются, тогда сразу пасть до ушей, поклон чуть ли не подобострастный и — «здрасьте! здрасьте вам! доброго денечка!».

Сначала я подумал было, что это моя известность как личного секретаря Демиурга распространилась вдруг на все население ближайших кварталов. Но я не успел даже продумать последствия такого ошеломляющего предположения. Я обнаружил, что они все друг с другом раскланиваются, все друг другу осклабляются, все желают друг другу добренького денечка.

...Нет, не все, конечно. Им это явно не нравилось, они делали это явно через силу. Они делали это только в том крайнем случае, когда встречались друг с другом глазами и вынуждены были (почему, собственно?) непременно оказать внимание друг другу, как старым добрым знакомым. Можно было подумать, что нынче утром, пока я

распинался на службе, власть в городе захватили исступленные почвенники и призвали соотечественников (под угрозой наказания на теле) вспомнить, откуда все они произошли, припасть к чистому источнику древних обычаев, погрузить обе руки в сокровищницу патриархальных нравов и, хотя бы на улицах, вести себя в соответствии.

Смешного тут не было ничего. Я предпочел бы сейчас вернуться домой, пусть даже без кефира и масла, и навести справки у Агасфера Лукича или по крайности включить телевизор. Но масла в доме не было никакого, это во-первых, а во-вторых, черт побери, надо было хотя бы попробовать разобраться во всем самому.

В молочной на первый взгляд ничего необычного я не обнаружил. Очередь в кассу была небольшая, за сметаной стояло старух десять, но сметана меня как раз не интересовала. Я набрал в сумку четыре бутылки кефира, обогнул стойку, взял три пачки масла по двести граммов и пристроился в очередь в кассу.

Нет, здесь тоже было нехорошо. Очередь вела себя не как очередь, а словно бы на светском рауте, как я себе это представляю. Они беседовали. Все. Они не стояли друг другу в затылок, как это принято испокон веков, они норовили встать друг к другу вполоборота, чтобы, упаси бог, не оказаться к кому-нибудь спиной.

Физиономию у кассирши, казалось, свело судорогой от перманентной любезной улыбки, руки ее так и порхали — выбивали, отрывали, отсчитывали, выдавали, и с каждым покупателем она здоровалась и каждому говорила спасибо. (Обычно она разговаривает так: «Чего вы все лезете со своими десятками? Нет у меня рублей, ослепли, что ли?») Зовут ее Аэлита.)

В магазине были еще грузчики. Я заметил их не сразу, потому что они были бесшумны. Эти два опухших амбала в грязных черных халатах катали и разгружали свои тележки с продуктами, передвигались как бы на цыпочках, мгновенно замирая на месте, если путь им пересекал случайный покупатель. Ни лязга не было слышно, ни грохота, ни своеобразных возгласов: «Валек! На хрен ты, падла, это сюда приволок?.. Эй, мамаша, подбери корпуса!..»

До кассы было восемь человек. От силы десять минут.

В очереди разговаривали:

— Дожди и дожди, а снегу все нет...

— Очень нужен снег. Для урожая.

— Это вы совершенно правильно говорите, дама. Снег зимой — это самое первое дело.

— То-то Рейган радуется!

— У них там — тайфуны. Я вам так скажу, что уж лучше пусть будут дожди, чем тайфуны...

Шесть человек до кассы.

Грузный седой дядька, стоявший передо мною, повернулся ко мне вполоборота и, напрягшись, выдал заветное:

— Осень в этом году. Все тянется и тянется...

Я напрягся и ответил:

— Да. Полгода уже тянется.

— И не говорите. Когда она кончится!

До кассы оставалось всего четверо, но тут из сметанной очереди прискакала бабка и, рассыпаясь в корявых извинениях, пристроилась второй. Она там занимала, оказывается, старая карга.

Дядька передо мной еще раз поднатужился и пошел по новой:

— Когда осень, обязательно дожди. Случая такого не припомню, чтобы осень — без дождей.

Я не успел сообразить ответ, как из-за спины моей уже подхватили:

— Это вы правильно говорите, мужчина. Только в Африке этого нет.

— И в Австралии! — объявил дядька с неожиданным апломбом, но тут же спохватился: — Хотя точно утверждать не могу. В Австралии, может быть, и есть. Южное полушарие все-таки...

Я был уже третьим от кассы, но тут подошла особа в шляпе и с банкой сметаны в руке и сказала моему дядьке:

— Я, кажется, перед вами занимала...

— А, пожалуйста, — сказал дядька с готовностью и потеснился ко мне.

Особа вперлась. Я оглянулся. Народу-то за мной стояло всего два человека. Нет, ей обязательно надо использовать свое право. Ладно, я четвертый, переживу... А вот я и опять третий...

И вдруг раздался странный звук, что-то вроде сдавленного мычания. Что-то треснуло. Банка со сметаной упала на кафельный пол и разлетелась белой многоконечной звездой. Дядька шарахнулся и наступил мне на ногу, а особа в шляпе, хватая воздух пальцами в черных нитяных перчатках, стала медленно падать вбок от очереди. На секунду все замерло. Раздался короткий взвизг. Я стоял столбом в обычном своем для подобных ситуаций ступоре. Особа в шляпе мягко, как волейболист, упала на спину, и сейчас же тело ее противоестественно выгнулось дугой, а голова несколько раз с силой ударилась затылком о кафель.

Я все стоял столбом, уставясь на бьющуюся в судорогах женщину, но уже понимал, что это у нее какой-то припадок, приступ какой-то, и надо броситься и помочь ей, и я сейчас вот брошусь и помогу, только надо куда-то пристроить проклятую сумку с кефиром... Самое страшное, однако, заключалось в том, что люди вокруг, вместо того чтобы броситься женщине на помощь или хотя бы стоять столбом, как я, кинулись врассыпную кто куда, только бы подальше отсюда, сбивая друг друга с ног, с треском круша стойки и перегородки, нечленораздельно крича и панически взвизгивая.

Тут перед глазами у меня вспыхнуло, и я на некоторое время отключился.

Первое, что я, очнувшись, услышал, был пронзительный, душераздирающий вопль Аэлиты:

— Ты что наделал, облом тамбовский? Харя твоя неспростая! Это же ученый из



нового дома, каждый день сюда ходит!

Я лежал щекой на кафеле, и кто-то осторожно стягивал с меня берет.

— У них такое пятно должно быть лысое за ухом... — виновато и опасливо бормотал незнакомый сипловатый басок.

— За каким ухом-то? За правым? За левым? — спрашивал другой голос, тоже сиплый и напряженно-испуганный.

Голову мою осторожно повернули и положили на кафель другой щекой.

— Нет у него ни хрена, — с явным облегчением и уже раздраженно сказал второй голос. — Ни за левым, ни за правым... Дурак ты, боцман, и шутки у тебя дурацкие.

— Да я же вам говорю! — снова завопила Аэлита. — Ученый он, из нового дома на Балканской!

— Так а чего он, понимаешь... — агрессивно-виновато сипел басок.

— Чего, чего... В очереди человек стоял, вот чего!

— Так а чего он на нее глядел? Так и вперился, как этот...

— Ладно, давай хоть посадим его, что ли...

Меня взяли под мышки и аккуратно посадили, прислонив спиной к прилавок-холодильнику. Две опухшие сизоватые физиономии возникли перед моим лицом. Амбалы разглядывали меня внимательно и с сочувствием.

— Извини, друг, — просипел тот, что был слева. — Мы тебя за этого приняли... за громобоя... знаешь, который разрядом человека бьет... Уж больно ты страшно на эту бабу уставился... Прямо вызверился, как этот...

В магазине не было ни одного покупателя. Припадочная особа тихо лежала головой в луже сметаны. Она уже моргала.

— Продуктов-то сколько потоптали! — завопила Аэлита с новой силой. — Прилавок опять разнесли!.. Ну, чего встали, запойные? Вызывайте милицию! «Скорую» вызывайте!

18. Я сказал Демиургу:

— Я очень прошу вас впредь не делать меня участником ваших экспериментов.

Демиург ничего не ответил, а Агасфер Лукич напомнил мягко:

— Сережа, ведь я же говорил вам: не надо нам кефира, обойдемся! Ведь говорил же!

— Так масла же не было в доме ни крошки, — сказал я растерянно.

19. Остров Патмос на поверку оказался...

### **Дневник. 19 июля (утро)**

У Лема есть рассказ, как изобрели снадобье, от которого совокупляющийся человек терпит непереносимые мучения. Идея изобретателя: половой акт должен иметь исключительно функциональное значение. Как называется рассказ? Не помню. И Мишель тоже не помнит.

**19 июля. 20 часов 30 минут**

Утром позвонил тренер: занятия по субаксу сегодня отменяются. Вообще все тренировки в доме спорта сегодня отменены. Вопрос: «Почему?» Ответ: «Вы что — сами не понимаете?»

В газетах продолжается вчерашнее. По-прежнему гнев, стоны, проклятья, душераздирающие факты. Однако появились некоторые попытки теоретических обоснований.

«Городские известия». В. Кривошапкин, заведующий отделом трудовых ресурсов. «Мы в принципе не против так называемых *неедяк*, которых все-таки правильнее было бы называть лицами с добровольно редуцированными потребностями (ДРП). Мы достаточно богаты, чтобы прокормить их, одеть и обусть и даже обеспечить жильем. Тем более что уровень потребностей их в три-пять раз ниже среднего в нашем городе, и тем более что большая часть группы ДРП как-никак, а принимает участие в общественно полезном труде, причем берет на себя (пусть даже только эпизодически) наименее престижные и непривлекательные работы. Я уже не говорю о том, что небезынтересный эксперимент некоторых семейств ДРП, посвятивших себя целиком воспитанию своих детей, не может не привлекать самого пристального и благожелательного внимания. Однако мы решительно против каких бы то ни было крайностей. А Флора, что бы ни говорили сердобольные ее защитники, это и есть та самая отвратительная крайность, с которой мы не можем позволить себе мириться...»

«Университетский вестник». Профессор Н. Микава излагает предварительные результаты первого социологического исследования Флоры в нашем регионе. Лиц мужского пола во Флоре больше, чем лиц женского. Пятнадцатилетних больше, чем шестнадцатилетних. (Ну и что?) Пробовали наркотики хотя бы один раз 96,2% опрошенных. (Это и так все знают.) Алкоголем балуются примерно 30%. (Ну и что?)

Ни выводов, ни рекомендаций, ничего. Только гордое признание в конце: де прозевали мы те сложные объективные процессы в социуме, которые привели к возникновению Флоры, и надлежит теперь нам, социологам, искупить свою вину, вплотную занявшись этим поразительным социальным явлением. И тут же заметка группы студентов: чего вы к ним пристали? Вспомните хиппи, вспомните битников, «металлистов», «караканаров», «акутагуев», «шлемников»... Перебесятся и вернутся к нормальной жизни. Двое из подписавших заметку — сами бывшие фловеры.

Но зато статья проректора — это нечто! Оказывается, это Флора виновата, что в университетских подвалах гнали наркотики. Каленым железом! Поганой метлой! Дустом их, дустом!

«Ташлинский агропром». Сплошной мрак. Средневековье. Ночь. И горит городская свалка.

«Кооператор». Все авторы без исключения предостерегают сограждан от экстремизма — главным образом от пикетирования предприятий, бьют себя в грудь на тему «не виноватая я!» и в качестве доказательства своей абсолютной лояльности призывают пустить на Флору кавалерию. При этом все они категорически требуют не смешивать Флору с мирными неедяками, приводя примерно те же аргументы, что и «Городские известия».

«Молодежные новости». Тоже демонстрируют гордое признание своей вины. Это не только наша беда, это также и наша общая вина. Куда смотрел горком ВЛКСМ?

Куда смотрели комсомольские организации предприятий и учебных заведений? Вот они, плоды чрезмерной заорганизованности комсомольской работы — с одной стороны, и чрезмерного потакания самым невзыскательным вкусам — с другой. Одним словом, Что Лично Сделал Ты — Чтобы Твой Друг Не Ушел Во Флору? Замечательная газета. Ты комсомолец? Да! Ужель не поумнеешь никогда?

Все это, впрочем, цветочки, а ягодки — в «Ташлинской правде». Целая полоса. Три статьи. Дискуссия, если можно так выразиться.

Застрельщиком выступает некий Плюхин К. П. Из текста явствует, что к Флоре он никогда и близко не подходил, знает о ней только понаслышке да по рассказам знакомых, так что весь пафос его базируется на отвращении к внешнему виду флюверов, которых он случайно встречал на улице, а также на совершенно разумном тезисе, что труд сделал из обезьяны человека, а тунеядство поворачивает этот процесс вспять. Нынешняя молодежь совершенно не знакома с подлинными жизненными трудностями. Ей далеко до тех, кто осваивал Тюмень и Сургут, строил БАМ и выполнял свой интернациональный долг. И хотя в массе своей наша молодежь «поднялась на здоровой закваске», закрывать глаза на уродливые отклонения от нормы в ее среде у нас нет никакого права.

Тут бы, казалось, самое время вскричать: «Огнем и мечом!» — однако же нет. Оказывается, нам всем надлежит всего-навсего использовать все меры воспитательного, идеологического и политического воздействия, основанные на рекомендациях наших педагогов и социологов. Комсомол должен встать во главе перевоспитательного движения. Правоохранительные органы обязаны пребывать на высоте и не терять бдительности ни на малую секунду. Что же касается отдельных экстремистских тенденций, заявивших себя в городе в последнее время, то их надо рассматривать как паникерские, волонтаристские и столь же опасные, как тенденции к пассивному приятию существующего положения. Социальная пассивность и социальная агрессивность — это две стороны стершейся фальшивой монеты дешевого политиканства.

Таким вот путем.

Дальше на две колонки идет наш Г. А. Горькая и блестящая статья. Очень его, очень личная. Читаешь и все время слышишь его голос.

*(Позднее примечание . Статья эта не сохранилась. Я не нашел ее даже в Публичке. И можно лишь сожалеть, что в ту июльскую ночь я не переписал ее в свой дневник целиком, а только ограничился изложением некоторых ее тезисов, наиболее меня затронувших.)*

Флора — разновидность преступного мира? Вздор. Ничего общего. Преступный мир паразитирует на нашей цивилизации, а Флора образует свою цивилизацию, свою собственную. Преступник вообще ближе к нам, чем Флора, — и по системе материальных ценностей, и по иерархии внешнего престижа. Дух цивилизации Флоры совершенно иной. Наши ценности для них — ноль. Их ценности для нас — за пределами нашего понимания, как кошачий язык.

Флора — дикари, не доросшие до нашей цивилизации? Неверно. Флора проросла из нашей цивилизации, как из слоя гумуса. Да, это дикари. Но это дикари совершенно особого типа — племя, вкусившее от нашей цивилизации и с отвращением

извергнувшее то, что оно вкусило.

Суть происходящего в том, что никто не понимает Флору. А главная беда происходящего в том, что никто и не пытается понять Флору, потому что всем кажется, будто понимать здесь нечего, все и так ясно.

Флора не есть что-то отдельное от нас — некий отвратительный и опасный зверь из джунглей, которого надлежит либо уничтожить, либо отогнать на край света. (Кстати, куда хотите отогнать вы его? В соседнюю область? В соседний регион? В соседнюю республику?)

Флора — это боль наша, наше страдание. Может быть, это болезнь. Может быть, это гноящаяся рана. Но тогда нужен врач, профессионал, носитель знания и милосердия. И никакого самолечения! Никаких шаманских плясок! Никаких самопальных знахарей — с водкой вместо наркоза и ножовкой вместо ланцета.

А может быть, на наших глазах как бы стихийно возникает совершенно новая компонента человеческой цивилизации, новый образ жизни, новая самодовлеющая культура. И тогда кровь, боль, нечистоты — роды! Младенец непригляден, даже уродлив, он вопит и гадит, но он обречен на рост, и в обозримом будущем он обречен занять свое место в структуре человечества. И если это так, то упаси нас боже от нечистоплотных повивальных бабок и деловитых абортмахеров!

Кто больше всех кричит в нашем городе? Оглянитесь вокруг себя, присмотритесь, прислушайтесь, задумайтесь!

Очень громко, оглушительно кричат те (как водится), кто больше всего виноват в происходящем, те, кто не сумел воспитать, не сумел увлечь и отвлечь, не сумел привязать к себе — и в первую очередь те, кто был *обязан* все это делать, числился специалистом, получал за это деньги и премии: плохие педагоги в школах, равнодушные наставники на предприятиях, бездарные культмассовые работники. Они заходятся в крике, чтобы заглушить собственную совесть и оглушить тех, кто рядом с ними пытается разобраться, где же виновные.

Зычно взрываются ответственные лица, те, кто определял на месте, выдвигал, пестовал упомянутых кое-какеров, теперь они пытаются свалить вину на своих подопечных, на объективные обстоятельства, на мифических соблазнительей и, уж как водится, на тлетворное влияние извне. А рядом не менее зычно режут пока еще полуответственные, быстро сообразившие, что вот-вот начнут освобождаться места и что сейчас самое время сколотить политический капиталец, продемонстрировав свою объективность, деловитость и готовность решительно исправить положение. О, это вечное племя, призванное отвечать за все и потому не отвечающее ни за что!

И уже заболботали, зачуфыкали, закашляли наши родимые хрипуны, ревнители доброй старины нашей, спесивые свидетели времен Очаковских и покоренья Крыма, последние полвека познающие жизнь лишь по газетным передовицам да по информационным телепередачам, старые драбанты перестройки, коим, казалось бы, сейчас правнуков своих мирно тетешкать да хранить уют семейных очагов, — нет, куда там! Вперед, развернувши старинные знамена, на которых еще можно разобрать полустертые лозунги: «Тяжелому року — бой! Ненашей культуре — бой! Цветоволосы — с корнем! Синхролайтинги — с корнем! *Системки* — на помойку! *Контакты* — под каблук!»

И залязгали железными голосами ревнители абсолютного порядка, апологеты фрунта, свято убежденные в том, что от любых социальных осложнений есть только одно лекарство: строй, марш и бравая песня с запевалой. Тот, кто вне строя, тот и вне закона. А с тем, кто вне закона, надлежит поступать однозначно: высоко и коротко.

И с каждым часом все громче орут, улюлюкают, горланят в предвкушении веселой охоты соскучившиеся молодцы, почуявшие уже, что наступает времечко, когда можно будет дать себе волю, безнаказанно разнуздать себя, почесать кулаки, пуститься во все тяжкие, не опасаясь правоохранительных органов. Уже за одну только эту свору не будет прощения тем, кто сейчас, вылупивши шары, мечет молнии демагогических словес, вместо того чтобы помолчать и задуматься.

«Я не называл имен, хотя я мог бы их назвать. Я был резок и, наверное, даже груб, но я не прошу прощения за это. Все, что я сказал здесь, обращено к людям, добрая половина которых — мои ученики и ученики моих учеников. Все, что я сказал здесь, обращено к ним в той же мере, в какой я обращаю это и к себе самому. Стыд и горе мучают меня последние дни, ибо вину за происходящее я полностью принимаю и на себя лично — в той мере, в какой может принять ее отдельный человек. И я прошу вас только об одном: замолчите и задумайтесь. Ибо настало время, когда ничего другого сделать пока нельзя».

Замыкает подборку декан социологического факультета. Статья его посвящена главным образом роли тунеядства — и, в частности, Флоры — как социального явления в обществе начала второй НТР. Все очень разумно, академично и, на мой взгляд, бесспорно. В полемику с Г. А. он явно предпочел не вступать (не знаю уж из каких соображений), однако чувствуется, что он не согласен с Г. А. практически по всем позициям. Ни с содержанием, ни с формой.

Но мне кажется примечательным одно его рассуждение. Высказавшись в том смысле, что Флора была бы невозможна, если бы мы научились предоставлять каждому молодому человеку работу по его вкусу, он замечает: «Пока мы еще имеем моральное право осуждать Флору. Не хватает рабочих рук, очень много непривлекательного и непрестижного труда, на который мы с упреком указываем Флоре, но уже недалеко то время, когда вторая НТР завершится (ориентировочно через 40 — 50 лет), непривлекательный и непрестижный труд будет целиком отдан кибертехнике, и что мы тогда ответим Флоре, когда она скажет нам: ладно, давайте вашу работу. Необходимо уже сейчас понять, что с нынешней точки зрения это будет очень странное время — время, когда труд навсегда перестанет быть общественной необходимостью. Может быть, нам действительно надлежит рассматривать нынешнюю Флору как некую модель общей социальной ситуации не столь уж отдаленного будущего?»

Что я из всего этого понял?

Редакционной врезки под публикацией нет. Следовательно, горком еще не принял своего решения по поводу намечающейся акции. И вообще заметно, что позиция горкома скорее умиротворяющая, нежели побуждающая. С другой стороны — подписи. Мне кажется важным, что про Плюхина К. П. все прописано досконально: и ветеран, и персональный пенсионер, и почетный наставник, и заслуженный рабочий РСФСР. То же и про декана: профессор, членкор, лауреат, депутат... А про Г. А. сказано просто, без затей: Г. А. Носов. Конечно, это можно понимать так, что каждый

в городе знает, кто таков Г. А. Носов, и рекомендовать его нет никакой необходимости. Но при желании можно усмотреть здесь и некий предупреждающий намек: мол, сегодня ты и заслуженный учитель, и лауреат, и депутат, и член горсовета, а завтра — Г. А. Носов, и точка. Кирилл из всей этой подборки сделал в высшей степени оптимистические выводы: горком никаких крайних акций не допустит — пошумят, погалдят и утихомятятся. Смотри тон статьи ветерана, а также отсутствие среди авторов подборки преподобной красотки Ривы, да и арбитром выбран высоколобый, а не практик, не чиновное лицо.

Все это он изложил нам в вестибюле с чемоданом наперевес. Говорил очень убежденно, но в его положении странно было бы говорить что-нибудь другое, например: да, ребятки, дело ваше дерьмо, ну да ладно, как-нибудь вывернетесь, а мне пора в круиз вокруг Африки.

Едва мы его проводили, как меня вызвал Г. А. и сказал: «Пойдем». Мы пошли, и по дороге я все гадал, куда это мы идем, и, конечно, не догадался. А пришли мы на телецентр и поднялись прямо к главному начальнику. Главный начальник оказался длинным, сутулым, потным, волосатым (несимпатичным), и сразу же выяснилось, что он на грани истерики. Едва мы вошли к нему, как он вскричал рыдающим голосом: «Ну что тебе, Георгий? Ну что тебе еще?»

Да, он старый и верный друг Г. А. Да, он до гроба благодарен Г. А. за свою дочь. Кажется, он уже не раз доказывал свою благодарность и словами, и делами. Но сейчас сделать нельзя ничего. Неужели он неясно выразил эту простую мысль в телефонном разговоре? Нет, по радио тоже нельзя. Нет, никаких секретов, никаких тайных пружин, и он никого не боится. Но он держится буквально из последних сил. Он не намерен на старости лет мараить свою совесть, а самое малейшее вмешательство в происходящее с неизбежностью приведет к тому, что он будет замаран с ног до головы. Нет, это глубокое заблуждение, будто «хуже не будет, а лучше — может быть». Будет именно хуже, причем гораздо хуже! Сколько трудов стоило ему уклониться от чести предоставить эфир: заведующей горно, председателю Совета ветеранов, главному редактору «Ташлинского агропрома»... Если сейчас в эфир выйдет Г. А., тогда он (волосатый, несимпатичный главный начальник) по простой логике гласности должен будет предоставить эфир всем названным лицам и еще двум десяткам неназванных, которые, как собаки с цепи, рвутся призвать граждан к поганым метлам, каленному железу и ежовым рукавицам...

Кончилось тем, что Г. А. пришлось утешать его, волосатого, несимпатичного, вытирать ему сопли, напоминать о каких-то обстоятельствах, когда все закручивалось и похлеще, а кончилось благополучно, и в конце концов волосатый несимпатичный совершенно разрыдался — уже не в переносном, а в самом прямом смысле слова, и Г. А. взглядом показал мне, чтобы я вышел.

На обратном пути я спросил Г. А., что он думает о подборке в «Ташлинской правде». Г. А. ответил: «Могло бы быть значительно хуже». Потом помолчал и добавил: «А может быть, еще и будет значительно хуже. Посмотрим». Потом еще помолчал и пробормотал как бы про себя: «Во всяком случае я больше никуда обращаться не буду. Поздно». Это было ключевое слово: «Поздно, поздно! — кричал Вольф, — продекламировал Г. А., оживившись. — *Пена и кровь стекали по его подбородку*». Как всегда, цитата эта привела его в хорошее настроение. Он поглядел на меня повеселевшими глазами и вдруг спросил: «А не кажется ли вам иногда, Князь,

что мы сейчас живем на переломе истории? Никогда не появляется у вас это ощущение? На переломе истории ужасно неуютно: сквозит, пахнет, тревожно, страшно, ненадежно, но с другой стороны — счастли&#180;в, кто посетил сей мир в его минуты роковые... А, Князь?»

В самом деле, каково это — жить на переломе истории? Надо подумать. Что это такое, собственно, — перелом истории? Когда на перекрестках стоят броневики и чадят костры, на которых догорают старые истины, — это уже не перелом истории, это уже началась новая история. А перелом — это производная по времени. Говорят, сердечники реагируют не на плохую погоду, а на изменение хорошей. Вокруг еще солнышко сияет, тепло, благорастворение воздушных масс, но давление начало меняться, и сердечник хватается за сердце. Может быть, и с историей так же? Может быть, Г. А. со своей чуткостью реагирует на изменения, которые только-только еще начались? Не удивился бы, хотя сам никаких изменений не ощущаю.

Пикетов еще больше, чем вчера. Лозунги примерно те же. Интуристам страшно интересно, они непрерывно сверкают вспышками и шуршат во все стороны видеокамерами.

Спросил Михея, что он, комсомолец Михей, сделал для того, чтобы его друг, Князь Игорь, комсомолец же, не ушел во Флору? Реликтовые звуки были мне ответом.

### Рукопись «ОЗ» (19–22)

19. Остров Патмос на поверку оказался довольно оживленным местечком. Видимо, в то время он располагался на пересечении нескольких каботажных если и не дорог, то, во всяком случае, тропинок. Чуть ли не каждую неделю в его удобной южной бухточке бросало якорь какое-нибудь судно, чтобы пополнить здесь запас пресной воды, снабдиться вяленой козлятиной, а то и спустить на берег очередного ссыльного.

На Патмосе оказалось полным-полно ссыльных. Они называли себя жаргонным словечком *прикахты*, что соответствует примерно нашему понятию «крестник». Были там крестники Калигулы, крестники Клавдия, крестники Тиберия. Возомнившие о себе сенаторы, проштрафившиеся артисты, иноземные князья, мастера и любители красного словца, непотрафившие реформаторы — некоторые при семействах и скарбе, а некоторые без ушей, без языка, иногда без гениталий.

И все это была элита, даже те, кто был без гениталий. Социально близкие. А полуголый, вываренный в кипящем масле, облезлый профессиональный бандит был социально чуждым. Строго говоря, он был даже недостоин ссылки: если уж на него не хватило масла, то место ему было, без всякого сомнения, на кресте, а не в светском обществе. Поэтому первые недели пребывания его на острове были омрачены инцидентами.

Впрочем, правильнее было бы сказать, что недели эти были омрачены с точки зрения гордых прикахтов. Они стремились исправить упущение властей — и не преуспели.

Сначала были убиты три собаки: его пытались травить собаками, он убил их и вместе с Прохором съел, зажарив на углях. Затем были изувечены четверо рабов сенатора Варрона, посланные отомстить за собак. Бандит лишил их гениталий, чтобы они в дальнейшем ни в чем не превосходили своего хозяина.

Тогда на него устроили настоящую облаву, которой руководили опальные офицеры

Четырнадцатого легиона. Облава кончилась ничем: сожгли пустую развалюху, в которой ютился он с Прохором, разбили единственный его горшок со вчерашней похлебкой да захватили несколько коз, случившихся неподалеку и вряд ли ему принадлежавших.

Той же ночью поселок прикахтов запылал, подожженный с четырех концов пастухами-фригийцами, а бандит со своим Прохором, нагружившись скарбом сенатора Варрона, ушел в горы. Таким образом, развеселое приключение изнывавших от скуки крестников трех императоров превратилось в тяжелую и бессмысленную войну с аборигенами, окончившуюся лишь месяц спустя капитуляцией на достаточно унижительных условиях.

Иоанн-Агасфер стал жить в горах. С точки зрения стороннего наблюдателя, это было чисто растительное существование. Он ничего не делал, только ел да спал. Приносил воду и добывал пищу Прохор. Иногда приходили пастухи. Не здороваясь, садились у костра и пили кислое вино, принесенное с собой в облезлых мехах. Тогда Иоанн напивался. Иногда ему хотелось женщину. Свободных женщин на острове не было. Он обходился козами. Никаких иных желаний у него не возникало. Собственно, он был счастливейшим человеком своего времени: ему не надо было работать, и все, чего он желал, было у него под рукой.

Вокруг него ничего не происходило.

Зато внутри него происходили вещи, поистине поразительные, и он с тревогой и изумлением впитывал их в свое сознание часами напролет, валяясь на шкурах в убогом шалашике. Началось это, несомненно, от римского яда, когда он трупом плавал в луже собственной блевотины на полу экзекуторской. Это продолжалось сквозь нестерпимую боль, когда его варили у Латинских ворот. И с тех пор это не прекращалось. Были ли это голоса, теперь уже вполне ясно и внятно рассказывающие ему о принципах и законах бытия? Возможно. Возможно, это были именно голоса. Были ли это видения, яркие и огромные, видения того, что было, того, что будет, того, что есть? Да, очень может быть. Он видел. Он видел, он обонял, он осязал, он ужасался и восторгался. Но он не участвовал.

Долгое время он думал, что это боги говорят с ним, что они готовят его к какому-то великому деянию и наделяют его для этого нечеловеческим знанием, — *всезнанием* наделяют они щедро его. Но по мере того как сознание его наполнялось, по мере того как вселенная вокруг него и в нем самом становилась все огромнее, все понятнее, все яснее в своих неисчислимых связях, протянутых в прошлое и будущее, все проще в своей неизреченной сложности, — по мере того как все это происходило, он все тверже укреплялся в мысли, что никаких богов нет, и нет демонов, и нет магов и чародеев, что ничего нет, кроме человека, мира и истории, и все то, что озаряет его сейчас, идет не извне, а изнутри, из него самого, и что никаких таких особенных деяний не предстоит ему, а предстоит ему просто жить вечно, со всей вселенною внутри.

Замечательно, что в минуты бодрствования, пока он пожирал печеную рыбу, или глотал квашеное молоко, или подбирался к похотливой козе, он оставался прежним Иоанном-Агасфером, и даже не Иоанном-Агасфером, а попросту Иоанном Боанергесом — диким, хищным, простодушным галилеянином, не знающим грамоты и живущим только пятью чувствами и тремя вожделениями. Даже память об Учителе



уже потускнела в нем, оставив лишь смутное ощущение неопределенной ласковой теплоты.

Он никогда не мог похвастаться хорошей памятью, если это не касалось мести и ненависти. В часы бодрствования сверхзнание его спало в нем, как Левиафан в толще вод, и если бы в такие часы его спросили, например, почему восходят и заходят небесные светила, он просто не понял бы вопроса. И если бы самому ему пришло в голову задаться вопросом, почему, например, дети похожи на родителей, он бы только удивился неожиданному баловству мысли, узревшей вопрос в естественном порядке вещей, а искать ответ он бы даже не попытался.

Знание просыпалось в нем неожиданно и всегда помимо воли. Как правило, это случалось в минуты крайнего раздражения, когда настигали его приступы нетерпимости к людям, к их глупости, к их самоуверенной болтливости, к их рабскому наслаждению собственным ничтожеством перед высшими силами — богами, жрецами или властями, — к их животному.

Впервые это случилось жарким летним вечером, когда солнце уже зашло и возле тлеющего костра шла неторопливая, специфически мужская беседа под молодое самодельное вино. Обыкновенным путем разговор от женщин перешел на коз, и пастухи с большим знанием дела принялись втолковывать Иоанну и Прохору все тонкости этого приятного занятия: по каким признакам следует выбирать животное; каким образом надлежит подготовить его к употреблению; а главное, какие меры надо принять, чтобы и в удовольствии ничего не было потеряно и чтобы не случилось скверного — чтобы не зачать чудовище.

Иоанн-Агасфер ничего не имел ни против мужской беседы, ни против козлиного поворота ее. Но когда пастухи понесли чепуху о козлолюдях, об их ужасном облике, об их кровавых повадках, когда вранье пошло громоздиться на вранье, когда наперебой и безудержно пошли мешаться авторитетные ссылки на богов и дедов, когда под треск раздираемых на грудях козых шкур пошли в ход свидетельства очевидцев и непосредственных виновников, вот тогда Иоанн-Агасфер не выдержал. Он заговорил. Он сказал этим крикливым дуракам, что потомство коз от людей невозможно. (Он только что с совершенной ясностью понял, что знает это и, более того, совершенно точно знает, почему это невозможно.) Он попытался объяснить им, почему это невозможно. Впервые в жизни он ощутил, как это мучительно, когда все понимаешь, но не хватает слов. Лингвистическое удушье.

Они не поняли его. Он стал кричать. Он бил кулаками в каменистую землю. Он сплетал и расплетал пальцы, силясь продемонстрировать механизмы. Он заикался, как паралитик. Он заплел себе всю бороду. Пастухи в ужасе разбежались, и он остался один — только Прохор рядышком с привычной сноровкой орудовал стилем по мятому листу грязноватого пергамента. Иоанн заплакал, швырнул в него головешкой и упал лицом в землю.

Ему пришлось учиться рассказывать. Он оказался способным рассказчиком. И очень скоро обнаружилось в нем четвертое вождение: жажда делиться знанием. Это было что-то вроде любви. Здесь тоже нельзя было торопиться, а надлежало быть (если хочешь получить исчерпывающее наслаждение) обстоятельным, вкрадчивым, ласковым и нежным к слушателю. Приступы внезапного раздражения его против людской тупости, самодовольства и невежества не прекращались, но теперь

сверхзнание его уже не нуждалось в них, чтобы изливаться совершенно свободно. Теперь ему достаточно было лишь корректной оппозиции. Это заставляло Иоанна искать партнеров.

Он сильно переменялся к интеллигенции. Ему стали нравиться люди начитанные и исполненные любопытства к окружающему миру. Разумеется, с его высоты начитанность их представляла собою всего лишь систематизированное незнание, более или менее сложный комплекс неверных, ошибочных или неточных образов мира, но образование вооружило их логикой, скепсисом и пониманием извечной невозможности объять необъятное.

Он стал своим человеком в колонии прикахтов.

А Прохор все записывал.

Но было бы неправильным утверждать, будто Прохор записывает каждое слово своего возлюбленного пророка, хотя сам-то Прохор был искренне уверен, что ни единое слово не пропало втуне. Он начал записывать еще у Латинских ворот. Он продолжал записывать на галере, которая везла их на Патмос, мечущегося в бреду Иоанна, с которого кожа слезала, как со змеи. На Патмосе, пока сверхзнание вызревало в нем, Иоанн-Агасфер разговаривал во сне. Прохор записывал и эти речи — горячечные беседы Иоанна с воображаемыми богами.

Он записывал, когда взбешенного Иоанна рвало знаниями перед перепуганными пастухами. Он записал диспут Иоанна с Плинием Старшим, высадившимся на Патмосе проездом, чтобы забрать помилованного вождя германцев. И диспут с Юстом Тивериадским, прибывшим на Патмос специально встретиться с удивительным ученым. И еще многие и многие диспуты записал он, пока сам не научился умело заданными вопросами побуждать к извержению вулкан знаний своего пророка.

Так рождался *Апокалипсис*, «Откровение Иоанна Богослова», знаменитый памятник мировой литературы, который сам Иоанн-Агасфер называл не иначе, как *кешер* (словечко из арамейской фени, означающее примерно то же самое, что нынешний «ро#180;ман», — байка, рассказываемая на нарах в целях утоления сенсорного голода воров в законе). Ибо между тем, что рассказывал Иоанн, и тем, что в конечном счете возникало под стилем Прохора, не было ничего общего, кроме, может быть, страсти рассказать и убедить.

Иоанн-Агасфер говорил, бредил и рассказывал, естественно, по-арамейски. На арамейском Прохор был способен объясниться на рынке, и не более того. Писал же он и думал, естественно, по-гречески, а точнее — на классическом *койне*.

Далее. У Иоанна-Агасфера поминутно не хватало слов, чтобы передать понятия и образы, составляющие его сверхзнание, и ему все время приходилось прибегать к жестам и междометиям. Сознание его вмещало всю вселенную от плюс до минус бесконечности в пространстве и времени, и как ему было объяснить молодому (а хотя бы и пожилому!) уроженцу Херонеи, сыну вольноотпущенника от иберийской рабыни, что такое: пищаль, гравилет, ТВЭЛы, питекантроп, мутант, гомункулус, партеногенез, Линия доставки, протуберанец, многомерное пространство, инкунабула, Москва, бумага, бронепоезд, капитализм, нуль-Т, римско-католическая церковь, магнитное поле, Облачный город, лазер, инквизиция... Он и сам-то, Иоанн-Агасфер, не умел не только объяснить, но и просто назвать эти понятия, предметы и явления. Он всего

лишь *знал* о них, он только имел представление о них и о связях между ними. Однако Прохор был великий писатель и, как все великие писатели, прирожденный мифотворец. Воображение у него было развито превосходно, и он с наслаждением и без каких-либо колебаний заполнял по своему разумению все зияющие дыры в рассказах и объяснениях пророка.

Далее. Прохор изначально убежден был в том, что перед ним действующий пророк во плоти. Иоанн-Агасфер делился знанием, Прохор же записывал пророчества. Смутность, непонятность и бессвязность Иоанновых рассказов только укрепляли его в убеждении, что это, конечно же и именно, пророчества. И задачу свою он видел в том, чтобы растолковать, привести в систему, расставить по местам, связать воедино. Он вычленил главное, он безжалостно отсекал второстепенное, он искал и находил всем доступные образы, он обнаруживал и выявлял смысл, а когда он считал необходимым, то скрывал смысл, он выстраивал сюжет, он выковывал ритм, он ужасал, вызывал благоговение, дарил надежду, ввергал в отчаяние...

В результате он создал литературное произведение, обладающее совершенно самостоятельной идейно-художественной ценностью. Как и большинство крупных литературных произведений, оно не имеет ничего общего со стимулами, которые подвигли автора на написание. Поэтому толковать получившийся *кешер* можно множеством способов в зависимости от идейных установок и даже эстетических вкусов толкователя.

Насколько известно, ни один из толкователей не принял во внимание того замечательного и, может быть, решающего факта, что значительную и плодотворную часть своей жизни (как-никак четыре десятка лет) Прохор провел в окружении прикахтов, в клокочущем котле оппозиционерских страстей, где бок о бок варились и яростные ненавистники Рима, и чрезмерные его паладины, и те, кто считал Рим тюрьмой народов, и те, кто полагал, что пора, наконец, решительно покончить с гнилым либерализмом. В этом бурлящем котле варились и переваривались самоновейшие слухи, сплетни, теории, предсказания, опасения, анекдоты, надежды, и Прохор, безусловно, был в курсе всего этого бурления. Он не мог не испытывать на себе, как и всякий великий писатель, самого глубокого воздействия этого окружения.

Так появляется еще одно возможное толкование Апокалипсиса, на этот раз как остросовременного сверхзлободневного политического памфлета, в котором элементы пророчества должны рассматриваться не более как литературный прием, с помощью которого до современника доводилась идея неизбежности трудного и страшного конца Римской империи. Главный же кайф современник должен был ловить, узнавая знакомую атрибутику римской иерархии, римской персоналии, римской инфраструктуры в чудовищных образах Зверя, железной саранчи и прочего. Во всяком случае, когда в конце шестидесятых Прохор, переводя с листа, читал Иоанну-Агасферу избранные отрывки из своего Апокалипсиса, пророк хлопал себя по коленям от удовольствия и, похохатывая, приговаривал: «Да, сынок, тут ты их поддел, ничего не скажешь, молодец...» А когда чтение закончилось, он, сделав несколько чисто стилистических замечаний, предрек: «Имей в виду, Прохор, этой твоей штуке суждена очень долгая жизнь, и много голов над ней поломаются...»

Конечно, сейчас, спустя две тысячи лет, никто уже не способен воспринимать Апокалипсис Прохора как политический памфлет. Но ведь и другое великое явление мировой литературы, «Божественную комедию» Данте, тоже не воспринимают как

политический памфлет, хотя и задумана, и исполнена она была именно в этом жанре.

А много лет спустя, когда не было уже ни Прохора, ни прикахтов, ни самой Римской империи, пришла однажды Иоанну-Агасферу в голову странная мысль: не был Апокалипсис Прохора ни мистическим пророчеством о судьбах ойкумены, ни политическим памфлетом, а был Апокалипсис на самом деле тщательно и гениально зашифрованным под литературное произведение грандиозным планом всеобщего восстания колоний-провинций против Рима, титанической диспозицией типа «ди эрсте колонне марширт...», в которой все имело свой четкий и однозначный военно-политический смысл — и вострубление каждого из ангелов, и цвет коней, на коих въезжали в историю всадники, и Дева, поражавшая Дракона... И применена была эта диспозиция впервые (некоей своей частью) во времена Иудейской войны и, вполне по Л. Н. Толстому, обнаружила при столкновении с реальностью полную свою несостоятельность.

20. Самым трудным оказалось взгромоздить эту проклятую картину на наш этаж. Она оборвала мне руки, с меня семь потов сошло, два раза я ронял шапку, всю извалял в грязи и пыли. Я оцарапал щеку о золоченый багет. Где-то на середине подъема стекло хрустнуло, и сердце мое оборвалось от ужаса, однако все кончилось благополучно. Задыхаясь, из последних сил, я протащил картину через коридор, внес в Комнату и прислонил к стене: полтора на полтора, в тяжеленном багете и под стеклом.

Пока я переводил дух, утирался, отряхивал шапку, еле шевеля оторванными руками, из столовой появился Агасфер Лукич — прямо из-за стола. Он что-то аппетитно дожевывал, причмокивая, пахло от него жареным лучком, уксусом и кинзой.

— М-м-м! — произнес он, остановившись перед картиной и извлекая из жилетного кармана зубочистку. — Очень неплохо, очень... Вы знаете, Сережа, это может его заинтересовать. Дорого заплатили?

— Ни копейки, — сказал я, отдуваясь. — С какой стати? А если не подойдет?

— И как это все вместе у нас называется?

— Не помню... Мотоцикл какой-то... Да там написано, на обороте. Только по-немецки, естественно.

Агасфер Лукич живо сунулся за картину, весь туда залез, так что только лоснящаяся задница осталась снаружи.

— Ага... — произнес он, выпрастываясь обратно. — Все понятно. «Дас моторрад унтер дем фенстер ам зоннтаг морген». — Он посмотрел на меня с видом экзаменатора.

— Ну, мотоцикл... — промямлил я. — В солнечное утро... Под дверями, кажется...

— Нет, — сказал Агасфер Лукич. — Это живописное произведение называется «Мотоцикл под окном в воскресное утро».

Я не спорил. Некоторое время мы молча разглядывали картину.

На картине была изображена комната. Окно раскрыто. За окном угадывается утреннее солнце. В комнате имеют место: слева — развороченная постель с

ненормальным количеством подушек и перин; справа — чудовищный комод с выдвинутым ящиком, на комод — масса фарфоровых безделушек. Посередине — человек в исподнем. Он в странной позе — видимо, крадется к окну. В правой руке его, отведенной назад, к зрителю, зажата ручная граната. Все. В общем, понятно: аллегорическая картина на тему «Береги сон своих сограждан».

— Больше всего ему должна понравиться граната, — убежденно произнес наконец Агасфер Лукич, вовсю орудуя зубочисткой.

— «Лимонка», — сказал я без особой уверенности. — По-моему, у нас они давным-давно сняты с вооружения.

— Правильно, «лимонка», — подтвердил Агасфер Лукич с удовольствием. — Она же «фенька». А в Америке ее называют «пайн-эппл», что означает — что?

— Не знаю, — сказал я, принимаясь снимать пальто.

— Что означает «ананаска», — сказал Агасфер Лукич. — А китайцы называли ее «шоулюданы»... Хотя нет, «шоулюданы» — это у них граната вообще, а вот как они называли «Ф-1»? Не помню. Забыл. Все забывать стал... Обратите внимание, у нее даже запал вставлен... Очень талантливый художник. И картина хорошая...

Я оставил его любоваться произведением живописи, а сам вернулся в прихожую повесить пальто. И вообще переделался в домашнее. Когда я вернулся, Агасфер Лукич по-прежнему стоял перед картиной и разглядывал ее через два кулака, как детишки изображают бинокль.

— Но, во-первых, — сказал он, — во-первых, я не вижу мотоцикла. Мало ли что он пишет «дас моторрад», а на самом деле там у него, скажем, шарманщик. Или, страшно сказать, ребятишки с гитарой... Это во-первых. А во-вторых... — Глаза его закатились, голос сделался страдальческим. — Статично у него все! Статично! Воздух есть, свет, пространство угадывается, а движение где? Где движение? Вот вы, Сережа, можете мне сказать — где движение?

— Движение в кино, — сказал я ему, чтобы отвязаться. Мне очень хотелось есть.

— В кино... — повторил он с неудовольствием. — В кино-то в кино... А давайте посмотрим, как у него дальше там все развивается!

Человек на картине пришел в движение. Он хищно подкрался к окну, кошачьим движением швырнул наружу «лимонку» и бросился животом на пол под подоконник. За окном блеснуло. На нас с Агасфером Лукичом посыпался с потолка мусор. Звякнули стекла — в нашем окне. А за тем окном, что на картине, взлетел дым, какие-то клочья, и взвилось мотоциклетное колесо, весело сверкая на солнце многочисленными спицами.

— О! — воскликнул Агасфер Лукич, и картина вновь застыла. — Вот теперь то, что надо. Ясно, что мотоцикл. Не шарманщик какой-нибудь, а именно мотоцикл. — Он снова сделал из кулаков бинокль. — И не вообще мотоцикл, Сережа, а мотоцикл марки «цундап». Хороший когда-то был мотоцикл... — Он возвысил голос. — Кузнец! Ильмаринен! Подите сюда на минутку! Посмотрите, что мы вам приготовили... Сюда, сюда, поближе... Каково это вам, а? «Мотоцикл под окном в воскресное утро». Реализовано гранатой типа «Ф-1», она же «лимонка», она же «ананаска». Граната, к сожалению, не сохранилась. Тут уж, сами понимаете, одно из двух: либо граната, либо

мотоцикл. Мы тут с Сережей посоветовались и решили, что мотоцикл будет вам интереснее... Правда, забавная картина?

Некоторое время Демиург молчал.

— Могло бы быть и хуже, — проворчал он наконец. — Почему только все считают, что он — пейзажист? Хорошо. Беру. Сергей Корнеевич, выдайте ему двести... нет, полтора ста рейхсмарок, обласкайте. Впредь меня не беспокойте, просто берите все, что он предложит... Каков он из себя?

Я пожал плечами:

— Бледный... прыщавый... рыхлое лицо. Молодой, черная челка на лоб...

— Усы?

— Усов нет. И бороды нет. Очень заурядное лицо.

— Лицо заурядное, живопись заурядная... Фамилия у него незаурядная.

— А какая у него фамилия? — встрепнулся Агасфер Лукич и нагнулся к самому полу, силясь прочесть подпись в правом нижнем углу. — Да ведь тут только инициалы, мой Птах. «А» и «Эс» латинское...

— Адольф Шикльгрубер, — проворчал Демиург. Он уже удалялся к себе во тьму. — Впрочем, вряд ли это имя что-нибудь вам говорит...

Мы с Агасфером Лукичем переглянулись. Он состроил скорбную гримаску и печально развел руками.

21. — ...Трудно мне вас понять, Агасфер Лукич, — сказал я наконец этому страховому лжеагенту. — Все-то вы толкуете о своем всезнании, а о чем вас ни спросишь, ничего не помните. Апостолов — поименно — не помните. Где у Дмитрия стоял запасной полк — не помните, а ведь утверждаете, будто принимали личное участие... Библиотекарем Иоанна Грозного были, а где библиотека находилась — показать не можете. Как прикажете вас понимать?

Агасфер Лукич выпятил нижнюю губу и сделался важным.

— Чего же тут непонятного? Знать — это одно, а помнить — совершенно иное. То, что я знаю, — я знаю. И знаю я действительно все. А вот то, что я видел, слышал, обонял и осязал, — это я могу помнить или не помнить. Вот вам аналогия нарочно очень грубая. Блокада Ленинграда. Вы знаете, что она была. Знаете когда. Знаете, сколько людей погибло от голода. Знаете про Дорогу Жизни. При этом вы сами там были, вас самого вывозили по этой дороге. Ну и много ли вы сейчас помните? Вы, который так чванится своей молодой памятью перед, мягко выражаясь, старым человеком!

— Ладно, ладно, не горячитесь, — сказал я. — Понял. Только опять вы все перепутали. Не был я в блокаде. Меня тогда еще и на свет не родили.

22. На небольших глубинах теплых морей, а также в чистых реках Севера обитают на дне хорошо всем понаслышке известные моллюски из класса двустворчатых (бивалвия). Речь идет о так называемых жемчужницах. Морские жемчужницы бывают огромные, до тридцати сантиметров в диаметре и до десяти килограммов весом. Пресноводные — значительно меньше, но зато живут до ста лет.

В общем, это довольно обыкновенные и невзрачные ракушки. Употреблять их в пищу без крайней надобности не рекомендуется. И пользы от них не было бы никакой, если бы нельзя было из этих раковин делать пуговицы для кальсон и если бы не заводился в них иногда так называемый жемчуг (в раковинах, разумеется, а не в кальсонах). Строго говоря, и от жемчуга пользы немного, гораздо меньше, чем от пуговиц, однако так уж повелось испокон веков, что эти белые, розовые, желтоватые, а иногда и матово-черные шарики углекислого кальция чрезвычайно высоко ценятся и числятся по разряду сокровищ.

Образуются жемчужины в складках тела моллюска, в самом, можно сказать, интимном местечке его организма, когда попадает туда по недосмотру или по несчастливой случайности какой-нибудь посторонний раздражающий предмет — какая-нибудь колючая песчинка, соринка какая-нибудь, а то и, страшно сказать, какой-нибудь омерзительный клещ-паразит. Чтобы защититься, моллюск обволакивает раздражителя перламутром своим, слой за слоем, — так возникает и растет жемчужина. Грубо говоря, одна жемчужина на тысячу раковин. А стоящие жемчужины — и того реже.

Где-то в конце восьмидесятых годов, в процессе непрекращающегося расширения областей своего титанического сверхзнания, Иоанн-Агасфер обнаружил вдруг, что между двустворчатыми раковинами вида *П. маргаритифера* и существами вида *хомо сапиенс* имеет место определенное сходство. Только то, что у *П. маргаритифера* называлось жемчужиной, у *хомо сапиенсов* того времени было принято называть *тенью*. Харон перевозил тени с одного берега Стикса на другой. Навсегда. Постепенно заполняя правобережье (или левобережье?), они бродили там, стеная и жалуясь, погруженные в сладостные воспоминания о левобережье (или правобережье?). Они были бесконечны во времени, но это была незавидная бесконечность, и поэтому ценность теней как товара была в то время невысока. Если говорить честно, она была равна нулю. В отличие от жемчуга.

Люди того времени воображали, будто каждый из них является обладателем тени. (Так, может быть, раковины *П. маргаритифера* воображают, будто каждая из них несет в себе жемчужину.) Иоанн-Агасфер очень быстро обнаружил, что это — заблуждение. Да, каждый *хомо сапиенс* в потенции действительно способен был стать обладателем тени, но далеко не каждый сподобливался ее. Ну, конечно, не один на тысячу, все-таки чаще. Примерно один из семи-восьми.

Некоторое время Иоанн-Агасфер развлекался этой новой для себя реальностью. Азарт классификатора и коллекционера вдруг пробудился в нем. Тени оказались замечательно разнообразны, и в то же время в разнообразии этом угадывалась удивительной красоты и стройности схема, удивительная структура, многомерная и изменчивая. Он углубился в анализ этой структуры. Ему пришлось создать то, что значительно позже будет названо теорией вероятности, математической статистикой и теорией графов. (Он открыл для себя мир математики. Это открытие потрясло его.)

Попервоначально он обрадовался, обнаружив россыпи теней, как радуется старатель, наткнувшись на золотую россыпь. Он еще не понимал, кому и как он будет сбывать тени, однако, будучи человеком практичным и безжалостным, радовался тому, что является единственным в ойкумене обладателем некоего редкостного товара. Он стал прикидывать организацию торговой компании. Возбуждение общественного спроса на тени. Массовая скупка товара. Создание рынков сбыта в Риме, в Александрии, в

Дамаске, выход по «шелковому пути» к парфянам и дальше, в Китай... Очень скоро это надоело ему. Он пережил свой меркантилизм, как переживают романтическую любовь.

И тогда он вдруг понял, что открыл для себя, чем ему заполнить предстоящую необозримую вечность. Он будет искать, обнаруживать и приобретать все новые и новые жемчужины. Он будет неторопливо, но глубоко познавать механизмы их сродства и взаимоотталкивания, природу их образования и развития, он постигнет закономерности их формирования и, может быть, научится вникать в них, сливаясь и срастаясь с ними. Он научится обустраивать и формировать историю вида homo sapiens таким образом, чтобы выращивать именно те виды и сорта жемчужин, которые в данный миг, в данных условиях более всего привлекают и воспаляют его. Он мечтал уже о селекции и — кто знает? — может быть, о синтезировании их вне раковин... Он загорелся энтузиазмом, будущее его наполнилось. Он был молод тогда и простодушен, все эти планы представлялись ему грандиозными, обещающими все на свете и неопишимо привлекательными. Так в наши дни маленький мальчик мечтает о счастье сделаться водителем мусоровоза.

Весь доступный ему на Патмосе материал он исчерпал в первый же год. Свои первые жемчужины он получил за глоток вина, за обломок ржавого ножа, за ловко рассказанную байку. Они недорого обошлись ему, да они немногого и стоили — мелкий тусклый грязноватый товарец для начинающего дилетанта. Однако жалеть о потерянном времени не приходилось: он отработывал технику, он делал первые маленькие открытия в области психологии раковины, он учился точно определять ценность товара, не подержав его в руках. Он учился разглядывать жемчужину сквозь створки. Несколько раз он ошибся. Он познал горечь и радость таких ошибок.

Он давно бы покинул остров, если бы не Прохор.

Прохор, сделавшийся к тому времени сухим, жилистым, козлообразным старикашкой, облезлым, вонючим, высокомерным, драчливым, брюзгливым, вызывающе неопрятным, — этот Прохор оказался носителем жемчужины удивительной, фантастической красоты!

Апокалипсис Прохора под именем «Откровение пророка Иоанна» уже всюду ходил в самиздате и был знаком тысячам и тысячам знатоков и ценителей, фанатиков и скептиков. Первые яростные толкователи его уже появились, и появились первые его мученики, распятые при дорогах или зарезанные на базарных площадях. Имя Иоанна гремело. Что ни месяц, на острове появлялся новый адепт, чтобы припасть к ногам пророка, поцеловать край его лохмотьев и вкусить от его мудрости из уст в уши. Как правило, были они все безудержно фанатичны, неумны и слышали только то, что способны были воспринять жалкими своими извилинами. По сути дела, это были глухие. Иоанн отправлял их к Прохору.

Сначала Прохор стеснялся навязанной ему роли. Потом по привычке и только строго поправлял паломников, когда те пытались называть его Иоанном. А спустя какое-то время и поправлять перестал. Что и говорить, из них двоих именно Прохор был более похож на пророка. Ведь Иоанн не старился, он так и оставался крепким сорокапятiletним мужиком с разбойничьими глазами, без единого седого волоска в бороде, и весь облик его ничего иного не выражал, кроме готовности в любую минуту обойтись с любым собеседником без всяких церемоний.



Году этак в девяностом Прохор уже впал в старческий маразм. Гордыня окончательно помутила его мозги. В состоянии помутнения повадился называть он Иоанна Прохором и даже Прошкой, пытался ему диктовать свое евангелие, которое должно было стать лучше всех других, известных к тому времени, вариантов описания жизни Учителя, самым полным, самым точным, самым содержательным в идейном отношении. При этом имелось в виду, что в конечном итоге оно самым естественным образом станет единственным. В минуты просветления он плакал, пытался возлечь на грудь Иоанна, каялся в непомерном своем честолюбии и жадно выпрашивал все новые и новые подробности времен ученичества Иоанна в звании апостола.

Его можно было понять. Он был стар. Он проделал огромную и замечательную работу, написав Апокалипсис. Он привык изображать Иоанна, и больше всего на свете хотелось ему теперь хотя бы остаток жизни своей прожить не просто признанным, но и подлинным Иоанном Боанергесом.

Идея сделки лежала на поверхности. Иоанн сделал осторожное предложение. Предложение было принято немедленно. Совесть каждого смущенно улыбалась. Каждому казалось, что он получил теленка за курицу. Они расстались, довольные собой и друг другом, — облезлый козлообразный пророк Иоанн отправился принимать очередную делегацию паломников из Эфеса, а крепкий и агрессивный Агасфер, держа под мышкой узелок с жемчугами, спустился в гавань и купил место на первый же баркас, уходящий к материку.

Начинался новый, бродячий период жизни Агасфера, Вечного Жида, Искателя и Ловца Жемчуга Человечьего.

Десяток лет спустя, находясь в Йасрибе, в славной лагуне человечьего моря, полной жемчуга, он узнал от Ибн-Кутабы, странствующего поэта и новообращенного христианина, что святой Иоанн по прозвищу Богослов, великий пророк и один из апостолов Иисуса Христа, скончался в девяносто восьмом году в Эфесе.

Замученный жаждой посмертной славы, неутолимый Прохор даже помереть себе не позволил впросто, по-человечески. Он велел закопать себя живьем при большом стечении народа.

Воистину, прав был Эпиктет, сказавши: «Человек — это душонка, обремененная трупом».

23. Теперь их было уже трое. И у каждого...

### **Дневник. Уже 20 июля. Ночь, 1.30**

Около одиннадцати позвонил снизу Ваня Дроздов и предложил встретиться. Срочно. Мы встретились в «Кабачке», и он с ходу объявил мне: «Ну, все. Доигрались вы со своим Носовым». Он был взвинчен до последней степени, я даже перепугался. Оказалось (по его словам), что статья Г. А. привела город в необычайное враждебное возбуждение. Все теперь жаждут его крови, а заодно жаждут стереть с лица земли наш лицей. Как рассадник и гнездо. Завтра с утра ждите пикетов и еще скажите спасибо, если это будут пикеты от нашего молокозавода, у нас все-таки нет таких обалдуев, как на крупнопанельном или, там, на «тридцатке». Г. А. одного в город не выпускать — ни в коем случае, рядом чтобы не меньше трех мужиков, да поздоровее, не таких, как ты...

Он меня, признаться, совсем запугал было, но я не дался и сказал ему: что ты мелешь, мы с Г. А. весь день по городу ходили, что ты панику разводишь, паникер?

«Это вы сегодня ходили, — сказал он. — Завтра уже не походите. Ты вообще-то знаешь, что в городе делается? Про детскую демонстрацию знаешь?» Я сказал, что знаю, потому что решил, что речь идет про ребятишек из специнтерната. Однако оказалось совсем не то.

Оказалось, что эти гады из управления пионерлагерей посадили с три сотни детишек в автобусы, свезли на площадь перед горсоветом и устроили там отвратительный цирк. Между прочим с полного одобрения огромной толпы идиотов-родителей. Ребятишкам сунули в лапы какие-то дурацкие лозунги, заставили их выкрикивать какие-то дурацкие требования, а вокруг бесновались наши доблестные добры молодцы, порывавшиеся бить в горсовете стекла. Все это Ваня видел своими глазами, потому что стоял в оцеплении и всячески добрых молодцев урезонивал.

Длился этот пандемониум минут двадцать, а потом на своей «ноль сорок третьей» примчалась ураганом красotka Рива и учинила всеобщий разгон. Детишек в два счета повезли в Ташлинский Центр смотреть новейшую серию «Термократора», родители были расточены и разогнаны, добры молодцы обратились в бегство, а всех остальных Рива уволила на месте. Осталось одно оцепление. Оно постояло-постояло и пошло на работу.

Рассказ этот вызвал у меня самые неприятные ощущения. С одной стороны, конечно, силы разума победили, а с другой — дикость ведь, двадцатый век! Главное, я никак не мог понять: зачем была эта демонстрация? Что им было надо? И кому, собственно? Иван утверждает, что город недоволен мэром. Весь город настроился на «субботник», все уже готово, а мэр тянет и тянет. Надо его подхлестнуть, труса мордастого. Вот его и подхлестывают.

«А ты-то куда смотришь? — спросил я, ощутивши вдруг приступ неопишуемой злости. — Тоже на «субботник» настроился? А ведь я тебя держал за приличного человека». И мы тут же поцапались.

Ни в чем я его убедить не смог — может быть, потому, что сам потерял ориентировку. Все-таки это довольно нелепая ситуация — ты говоришь: «Так делать нельзя», а когда тебя спрашивают: «А как нужно?», — ты отвечаешь: «Не знаю».

В конце концов Иван угрюмо сказал: «Ладно. Я сюда не спорить с тобой пришел. У тебя свое, у меня свое. Ты про Носова своего все понял, что я тебе сказал?» Я ответил, что не верю во всю эту чушь. Г. А. в городе — человек номер один, тут и говорить не о чем. Иван возразил мне, что это вчера Носов был человек номер один, а нынче он и на шестерку еле-еле тянет. «Я тебя предупредил, дурака, — сказал он мрачно. — А там уж как знаете».

На том мы и расстались, и я сразу же побежал к Г. А. Оказалось, что у Г. А. в кабинете собрались все. Пока я разговаривал с Иваном, Г. А. сам собрал всех у себя. Он получил ту же информацию по своим каналам и теперь инструктировал нас, как нам должно себя вести в сложившейся ситуации. Спокойствие, выдержка, достоинство. В город выходить только по двое. Девочек — сопровождать. Но! Силовые приемы — только в самых крайних случаях. Субакс не использовать вообще. Говорить, объяснять, спорить. Ситуация хотя и не уникальная, но в наше время достаточно редкая: дискуссия с враждебно настроенной толпой — не с коллективом, а с толпой. Хорошая практика. Такой редкий случай мы упускать не имеем права. И так далее.

Я встал и поднял вопрос о его, Г. А., безопасности. В конце концов, главная злоба города направлена не против нас, не против лица, а против Г. А. лично. К моему огромному изумлению, Г. А. тут же согласился, чтобы его при выходе в город сопровождал эскорт. Однако при этом он тут же добавил: мы должны знать и помнить, что не только он, Г. А., но и наш лицей как учреждение определенного типа давно уже является бельмом на глазу у некоторой части городского чиновничества. Поэтому в будущих дискуссиях мы должны быть готовы защищать и отстаивать право и обязанность нашего лицея на существование. «То, что под ударом сейчас оказался я, — это полбеда, а самая беда в том, что кое-кто использует ситуацию, чтобы поставить под удар наш лицей и всю систему лицеев вообще».

*(Позднее примечание . Напоминаю: действие происходит в самом начале тридцатых. Вот-вот появится печально знаменитое постановление Академии педнаук о слиянии системы лицеев с системой ППУ, в результате чего долгосрочная правительственная программа создания современной базы подготовки педагогических кадров высшей квалификации окажется подорванной. Глухая подспудная борьба, имевшая целью уничтожение системы лицеев, шла с конца двадцатых годов. Основное обвинение против лицеев: они противоречат социалистической демократии, ибо готовят преподавательскую элиту. По сути дела, антидемократическим объявлялся сам принцип зачисления в лицей — принцип отбора детей с достаточно ярко выраженными задатками, обещающими — с известной долей вероятности — развернуться в педагогический талант. Ташлинский лицей оказался только первой жертвой тогдашней АПН.)*

Потом разговор перекинулся на статью. Выяснилось, что все мы восприняли ее по-разному. Но самым разным оказался, как всегда, наш Аскольд. Он объявил, что эта статья есть большая ошибка Г. А. Ни в какой мере не затрагивая основных положений этой статьи, с которыми он вполне согласен, он тем не менее хочет подчеркнуть, что Г. А. выступил здесь как поэт и социолог, в то время как от него (по мнению Аскольдика) требовалось выступление педагога и политика. В результате вместо того, чтобы утихомирить взбушевавшуюся стихию, он возбудил ее еще больше.

Г. А. возразил, что у него и в мыслях не было кого бы то ни было утихомиривать, он ставил перед собой совсем другую задачу — заставить задуматься тех людей, которые способны задуматься.

В ответ на это вконец распоясавшийся Аскольд объявил, что и эту свою задачу Г. А. не выполнил. Своей статьей он ухитрился оскорбить весь город, чуть ли не каждого доброго гражданина, так что десять человек в городе, может быть, и задумались, но зато десять тысяч только вконец остервенились.

Г. А. не стал с ним спорить. «Десять задумавшихся — это совсем не так мало, — сказал он примирительно. — Дай бог каждому из вас на протяжении всей жизни заставить задуматься десять человек. Не к народу ты должен говорить, — продолжал он, возвысив голос с иронической торжественностью, — но к спутникам. Многих и многих отманить от стада — вот для чего пришел ты... Откуда?» Никто не знал, и Г. А. сказал: «Ницше. Это был большой поэт. Однако ему весьма не повезло с поклонниками».

И велел всем нам идти спать.

20 июля. 11 утра

Мы в осаде.

В семь утра нас поднял на ноги дикий рев, лязг, гром, одним словом, оглушительная какофония. Я бросился к окну. Вдоль всего фасада растянулась толпа прилично одетых павианов. Добры молодцы. Человек двести, наверное. Все кривляются, все размахивают конечностями и неслышно орут на нас. У каждого функен, включенный на полную мощность, и, кроме того, они приволокли еще десяток стационарных *звучков*, каждый ватт на сто, и эти звучки тоже работают вовсю. Надо же — не поленились! Не поленились притащить звучки, не поленились подняться в такую рань, не поленились намалевать плакаты. На плакатах: «Носов, убирайся из города!», «Долой дворянское гнездо!», «Лицеисты, стыдно! Вы должны быть с нами!». Морды потные, налитые, волосы дыбом, как у диких, пасти разинуты, но что орут — ничего не слышно за музыкой.

Между ними и лицеем вдоль тротуара стоят редкой цепочкой спиной к нам ребята из городского патруля. (Не без удовольствия узнал я среди них Сережку Сенько, Рената Гияттулина, Рейнгарта Хансена с биологического и — с особенным удовольствием — Ивана моего родимого Дроздова.) Не знаю, как уж они там договорились с добрыми молодцами, но те ближе чем на два шага к ним не приближаются. Не сразу заметил я в сторонке два «лунохода» и кучку милиционеров. Угрюмых. Происходящее им явно не нравится. Издержки демократии.

Сначала все это показалось мне скорее забавным. Потом, когда я познакомился с лозунгами, я испытал сильнейший приступ естественного раздражения. Но страха вначале не было совсем, это я помню точно.

Однако пять минут спустя мне пришлось принять участие в нелегкой процедуре обуздания и остужения нашего Аскольда. Будучи настоящим суперменом и чемпионом города по субаксу, он побелел лицом, выпятил челюсть и танком двинулся вниз по лестнице к выходу — наводить порядок. Исполненный железной твердости, беспощадной последовательности и абсолютной непримиримости. Девчонки с визгом повисли на нем с двух сторон, но он их даже и не заметил. Пришлось тут уж и мне тряхнуть стариной, и только втроем мы сначала притормозили, а в вестибюле и остановили его неудержимое движение. Румянец вернулся ему на щеки, он принес нам извинения за свою горячность, и мы все направились к Г. А.

И вот тут на меня накатило. Воображение мое ни с того ни с сего нарисовало мне картину, как Аскольдик вырывается от нас, врезается в толпу, и что тогда начинается? Лишь в этот момент я понял, что ничего забавного у нас тут не происходит, что все держится на волоске, и стоит этому волоску лопнуть, как волна зверства захлестнет и нас, и ребят из патруля, и милицию, — не только в том смысле, что зверье растерзает нас, но и в том смысле, что мы все сами сделаемся зверьми.

(Страшная штука — неуправляемое воображение. Я уверен, что и Аскольдика подвело именно оно. Выглянул он в окошко, увидел это кишение зверья и испытал страх — но, будучи суперменом, бросился выбивать клин клином, с каждым шагом к выходу сам все более превращаясь в зверя.)

Пока мы шли к Г. А., мне объяснили, что лицей, оказывается, пуст. Кроме нас в здании никого нет. Ни повара, ни библиотекаря, ни дежурного преподавателя —

никого. Только Серафима Петровна не испугалась. Даже ночной вахтер таинственно исчез. Видимо, драпанул через хозяйственный выход.

Г. А. спустился нам навстречу. Он был совершенно такой, как всегда. Последовали распоряжения. Зойке и Аскольду — отправиться на кухню, готовить завтрак, а заодно и обед. Серафима Петровна уже там, будете на подхвате. Остальным заниматься своими делами. Кстати, где наш де Сааведра?

Де Сааведра тут же появился. Оказывается, все это время он торчал на крыше и снимал осаду на видеопленку, правда, к сожалению, без акустики. Смешной он был — встрепанный, в одних трусах, и аппарат на ремне, как автомат. Г. А. посмотрел на него с одобрением и продолжал: к окнам желательно не подходить. То есть если очень интересно, то подходить, разумеется, можно, но при этом языки не показывать, козу не делать и вообще не совершать аллегорических телодвижений. Стекол жалко.

Мы разошлись по постам.

Пневмопочта работает. Я просмотрел газеты. Признаюсь, с отвращением. Все-таки настолько всеобщего взрыва озлобления и неприязни я не ожидал. В рамках держалась только «Ташлинская правда». Все же прочие наши газеты шипели и плевались, как ошпаренные коты.

Деятельность, несовместимая с высоким званием народного педагога... Проповедь ложных утверждений, противоречащих самым высоким идеалам социализма... Ядовитая проповедь провозглашения (проповедь провозглашения!) мира между трудом и тунеядством... Претензии на роль некоего гуру, проповедующего новую религию, проповедь взглядов, идейно разоружающих строителей коммунизма... Приговоры: запретить преподавательскую деятельность; выгнать на пенсию; в двадцать четыре часа выдворить из города — через посредство административной высылки в установленном порядке...

Более всего неистовствуют, конечно, наши обожаемые хрипуны. Но совсем ненамного отстают от них господа наробразовцы, молодежные вожди, заместители деканов и вообще кадровики всех мастей. Несколько рабочих с «тридцатки», пара мастеров-наставников с крупнопанельного и даже трое каких-то неедяк, видимо, насмерть перепуганных размахом происходящего. И уж совсем ни к селу ни к городу — военный комендант.

Что характерно: Ревекка не выступила. Милиция промолчала. Горсовет практически промолчал. Такое впечатление, что весь этот рык и рев — действительно глас народа. Видимо, Г. А. своей статьей попал в самое больное место, я даже не понимаю, в какое именно. О Флоре — почти ни слова. Такое впечатление, что про нее забыли совсем. Мне даже пришло в голову, что Г. А., может быть, нарочно выступил со своей статьей, чтобы перевести огонь на себя. Чтобы они оставили в покое Флору и разрядились на него.

В нескольких газетах встретились мне какие-то непонятные намеки. Можем ли мы доверять подготовку будущих педагогов человеку, который оказался столь беспомощным в своих собственных, личных делах? Не следует ли предположить, что трогательная забота о тунеядствующей Флоре вызвана соображениями, совершенно личными, весьма далекими от философии, социологии, педагогики? И снова: не следует ли Г. А. Носову разобраться сперва с собственными, частными делами, а

потом уже заниматься общественными?

Я показал эти места Мишелю. Он странно взглянул на меня и спросил: «Ты что — не знаешь, что ли?» Я не знал. «Вырастешь, Ига, узнаешь», — пробурчал Михей, и я вдруг понял, что узнать не хочу. Это какая-то гадость, ну ее к черту.

Ура! Наконец-то наш Ташлинск попал в центральную прессу. Не могу отказать себе в удовольствии — цитирую дословно из «Известий»:

«Ташлинск, 19 июля. На два месяца раньше срока запущена полностью автоматизированная линия по производству высококачественных брынз на Ташлинском молочном комбинате имени Емельяна Пугачева...» и так далее.

А мы-то, дураки, тут переживаем!

Имеет место определенная эволюция звуков, раздающихся снаружи. Сначала была просто сумасшедшая какофония. Потом им это надоело (сами, видимо, оглохли), и они принялись развлекаться: громовыми голосами читали избранные выдержки из сегодняшних газет. Тоже надоело. Принялись паясничать: «Внимание, внимание! Через пять минут здание лица будет взорвано на воздух! Предлагается всем находящимся в здании капитулировать. Выходить без оружия по одному с интервалом в тридцать секунд, держа руки за головой. Первым выходит Носов, лично...» На этом месте диктора окончательно разбирает смех, и окрестности оглашаются громоподобным фырканием и хрюканием. Это им тоже надоело, и сейчас они гоняют Джихангира. Несколько *сцепок* пустились в пляс.

Аскольд наладил мегафон и предложил Г. А. выступить. «Чтобы они не думали, будто мы испугались и прячемся». Г. А. резко ответил: «Нет. Мне все равно, что они думают. Я не люблю их сейчас. Я не хочу с ними разговаривать».

### Рукопись «ОЗ» (23–25)

23. Теперь их было у нас уже трое, и у каждого был свой кабинет. В кабинете каждый из них спал, принимал пищу и посетителей, а также писал меморандумы, докладные, наставления, рекомендации, замечания и представления. Кроме того, у каждого был свой столик на кухне.

Кабинет Колпакова был светел, чист и пустоват. Петр Петрович был аскет. Канцелярский стол с двумя аккуратными пачками брошюр и справочных изданий. Железный ящик-сейф справа от стола. В углу за скромной ширмой — скромная раскладушка, застеленная серым шерстяным одеялом. У изголовья простая тумбочка, а на ней — Библия в издании Московской патриархии. Простой — и даже простейший — стул за столом и два таких же простейших стула у стены напротив стола. Голые стены: ни портретов, ни картин. Скромность и достоинство. Трезвость и целеустремленность. Умеренность и аккуратность. И чемодан с самым обыкновенным барахлом — под койкой.

Парасюхин же был апологетом безудержной роскоши. Он спешил жить. Он дорвался. Из моей приемной Марк Маркович уволок (сам, лично, обливаясь потом, задыхаясь и хрипя, иногда даже попукивая от нечеловеческого напряжения): половину чудовищной, невообразимой кровати; два телевизора цветного изображения; два застекленных шкафа невыясненного назначения; книжную стенку вместе с муляжами книг; толстый рулон весом тонны в полторы (это оказались ковры, я думал, он умрет под этим рулоном, но он уцелел); картину с Сусанной, старцами и пенисом. Он

порывался уволочь кресло для посетителей, но я запретил ему это делать, и тогда он уволок кресло со стальным шипом. Из платяного шкафа были им изъяты и унесены: плащ болонья (испачканный), мужской костюм-тройка (новый, на три размера меньше, чем ему требовалось), мохнатое пальто мужское (одно), мужские сорочки разноразмерные (двенадцать, дюжина), бюстгалтеры женские разноразмерные (семь)... Много чего он уволок, мне в конце концов надоело за ним записывать, и я только следил, чтобы он не упер что-нибудь из моего рабочего инвентаря.

В результате кабинет Парасюхина блистает роскошью, словно комиссионный магазин. Ковры. Роскошные покрывала. Огромный письменный стол с огромным письменным прибором (представления не имею, откуда он это-то припер), на одной стене — Сусанна в тяжелой золоченой раме, на другой — портрет святого Адольфа, украшенный дубовыми листьями и черной муаровой лентой в знак вечного траура по великому человеку, над роскошной постелью — бессмертное творение кисти великого человека «Дас моторрад унтер дем фенстер ам зоннтаг морген». Кресло с шипом приспособлено для посетителей: на шип положена крышка от унитаза, а поверх крышки — подушка-думка с вышитой надписью «Кто рано встает, тому Бог дает». В дальнем углу — огромное старинное зеркало, местами потемневшее, — перед ним Марк Маркович репетирует свои будущие речи. Пафос и верность. Нордическая лень и неколебимая уверенность. Славянская широта и арийский гемютлихькайт. И запашок, как в борделе.

А вот кабинет, или, точнее, обиталище, Матвея Матвеевича Гершковича (Мордехая Мордехаевича Гершензона) являл собой типичный интерьер одинокого пенсионера районного значения. Здесь постоянно, а также сильно пахло сердечными каплями и вчерашней едой. Подоконник здесь был вечно заставлен кастрюльками, судками и особыми баночками — Матвей Матвеевич никогда ничего не оставлял на кухне из опасения, что кто-нибудь подкинёт ему в бульон чего-нибудь трэфного. (Не то чтобы он был таким уж верующим, но всю жизнь свою он прожил по коммунальным квартирам, а это, знаете ли, накладывает свой отпечаток.)

Если, войдя, вы видели, что в левой половине помещения пол натерт и блестит, на аптечной тумбочке — ни пылинки, а лекарственные пузырьки расставлены строго по ранжиру, зеркало платяного шкафа свежeproмыто, фикус в углу тщательно полит и даже обрызган из специального пульверизатора, то в правой половине комнаты обязательно будет безобразно развороченная постель, стул будет помещен на столе вверх ножками, огромный дедовский сундук неаппетитно распахнут, и лезут из него через край какие-то сиреневые фланелевые предметы, пол замусорен мятыми бумажками, просыпанными кнопками и высохшими стержнями из-под авторучек, а сам Матвей Матвеевич сидит среди всего этого на банной скамеечке, взлохмаченный и восторженный, и в который уже раз с наслаждением перечитывает роман «Во имя отца и сына».

В этом весь Матвей Матвеевич. Ему никогда не хватает выдержки и целеустремленности, чтобы убрать свою комнату от альфы до омеги. Он теоретик. Он великий моралист-теоретик. В теории он беспощаден, жесток, непреклонен и мстителен безгранично. Как сам Иегова. Око за око, зуб за зуб. Поднявший меч от меча да погибнет. Если враг задирает, его уничтожают. Мне отмщение, и только мне... Казалось бы, дай ему волю, — и полмира насилья ляжет в дымящихся развалинах. Но не хватает целеустремленности, черт ее подери совсем. Мешает, черт ее подери

совсем, природная незлобивость, а также врожденная убежденность, что два взрослых человека всегда могут договориться между собой. Поэтому перехода от теории к практике не происходит у Матвея Матвеевича никогда. Если бы Матвею Матвеевичу хоть раз в жизни привелось бы воплотить в реальность хоть один из своих страшных лозунгов, я думаю, он перепугался бы до икоты, а может быть, и совсем бы умер от огорчения, что так нехорошо получилось.

Он из тех знаменитых евреев, которые способны вызвать приступ острого антисемитизма у самого Меира Кахана или даже у теоретика сионизма господина Теодора Герцля. Он является утром на кухню и принимается назойливо докладывать непроспавшемуся и злобному Парасюхину, что совсем уже почти договорился со вдовой из дома напротив, так она ему устроит пансион. Пять рублей в день, ну и что? Это недорого. Обед и ужин, а завтракать он будет здесь, он всегда имеет возможность достать свежие яички и другие молочные продукты. В конце концов, если ему покажется недостаточно, так он всегда сможет прикупать. Пусть другие берут яйца по рубль тридцать. Вот я вижу, вы всегда берете яйца по рубль тридцать. А я могу брать по девяносто, и они будут лучше, чем ваши. Ваши битые, а у меня будут целые, хорошие яички. Вы — молодой человек, вы этого не понимаете, что главное — это устройство с питанием...

Кто может выдержать такое? Разве что Петр Петрович Колпаков. Он стоит к Матвею Матвеевичу вполоборота, вежливо улыбается и корректнейше кипятит себе молоко в кастрюльке. Видимо, он глубоко и тщательно обдумывает вопрос, куда ему отнести Матвея Матвеевича. К злакам или к плевелам? К агнцам или к козлищам? Истребить его в запланированном армагеддоне или, наоборот, возвысить?

Непроспавшийся же и злой антисемит Парасюхин, конечно же, не выдерживает. В кухне становится черным-черно, как в известном письме известного писателя известному историку.

Однако в отличие от известного историка Матвей Матвеевич (Мордехай Мордехаевич) ни эвфемизмов, ни аллюзий, ни литературных реминисценций не понимает. Он улавливает только общую идею о том, что весь мир заполнили дурные, своекорыстные люди, везде блат, по знакомству можно достать все, а без знакомства человек ничто — особенно, если он не сумел как следует устроиться с питанием.

Он живо подхватывает и развивает эту идею, и тогда Марек Парасюхин, прикованный к газовой плите необходимостью помешивать овсяную кашу, чтобы не подгорела, и потому лишенный даже возможности бежать, заткнувши уши, испускает из себя освященную веками нутрянную иступленную жалобу: «Да господи же боже мой! Ну нигде же нет от них спасения! Куда ни сунься — везде ведь они!»

Простодушный Матвей Матвеевич уже заранее кивает, готовый согласиться и с этим утверждением, но тут на кухне объявляется слегка встрепанный после душа Агасфер Лукич. В правой руке у него чашечка кофе, в левой — бисквитик, а на устах — бессмертное: «Если в кране нет воды, значит, выпили жида...»

Происходит двойной взрыв. Парасюхин взрывается потому, что усматривает в дурацкой частушке Агасфера Лукича злобный выпад против проверенных веками, глубоко теоретически обоснованных и животрепещущих установок и выводов по известному вопросу. Матвей же Матвеевич взрывается, потому что начисто лишен даже самого элементарного чувства юмора и в дурацкой частушке усматривает



недвусмысленное и очевидное оскорбление своего национального достоинства.

Дуэт:

— Здесь нет ничего смешного, Агасфер Лукич! Довольно странно, что вы, при вашем опыте, при ваших знаниях, норовите отделаться шуточками, когда речь заходит об угрозе всей славянской цивилизации! Ведь вы же русский человек! Что вы тут нашли смешного? Да, выпили! Если нет воды, значит, именно они и выпили! В прямом или в переносном смысле! И ничего смешного!..

— Что значит — жида? При чем здесь опять жида? Почему у вас во всем и всегда виноваты жида? Как вам только не стыдно, Агасфер Лукич? Ведь вы же сами — древний еврей! И откуда, интересно, вы взяли, что нет воды? Вода есть, пожалуйста! Пейте! Открывайте кран и пейте!..

Петр Петрович Колпаков неопределенно улыбается, видимо, размышляя, куда ему отнести Марека Парасюхина. Агасфер Лукич доволен. Кухня наполняется ароматом подгоревшей овсянки, и тут вхожу я и, сдерживаясь из самых последних сил, осведомляюсь:

— Слушайте, кто из вас постоянно не спускает воду в унитазе? Вот поймаю, возьму за шкирку и носом — в унитаз, в унитаз!..

Двадцать первый век на пороге. Коммуналка. Тоска. И над всем этим — черным фломастером по белому кафелю кухонной стены — напоминание: «Lasciate ogni speranza»<sup>2</sup>.

Что держит меня здесь? На что я еще надеюсь? Почему давным-давно не сбежал?

Держит что-то. Надеюсь на что-то. Чего-то еще жду.

Вообще странные вещи происходят со мной в последнее время. Видимо, я так сжился со всеми этими людьми и настолько пропитался атмосферой наших поганых чудес, что почти воочию могу наблюдать любого из них в любой момент и сквозь любые стены.

Вот сейчас, например. Пожалуйста. Я пишу в своей каморке и точно знаю, что за четыре стены от меня Парасюхин сидит на своей роскошной постели со шлюхой, которую он привел с «плешки». Я не слышу его слов, однако знаю откуда-то, что рассказывает он ей о преимуществах настоящего арийского и в особенности — славяно-арийского полового аппарата в сравнении с таковым же любого унтерменша, будь то косоглазый азиат или (в особенности) какой-нибудь пархатый семит. Шлюха, немолодая, утомленная, курит длинную шведскую сигарету и слушает его вполуха. О половых аппаратах она знает все.

Сегодня шестнадцатое ноября. Опять. И опять все та же слякоть на мостовых и падающий с серого неба то ли дождь, то ли снег.

А может быть, это Сверхзнание начинает прорасти во мне, превращая меня в нового Агасфера?..

24. Разговор начался с того, что Агасфер Лукич, сияя, как блюдо с красной икрой

под яркой люстрой, явился предо мною и с легким поклоном протянул номер журнала в знакомой обложке. Это был последний «Астрофизикл джорнэл», и он по крайней мере наполовину был посвящен моим «звездным кладбищам».

Ганн, Майер и Исикава, независимо друг от друга, приносили извинения за неточности, допущенные ими ранее в их прежних публикациях на эту тему, и наперебой сообщали о наблюдениях, подтверждающих самые разнообразные следствия эффекта, предсказанного доктором Манохиным. Запущенный в начале ноября «Эол» сделал свое дело.

Ничуть не отставая от них, Семен Бирюлин, используя данные нашего «Луча», подтверждал мои «кладбища» в миллиметровых волнах и теоретически предсказывал, как это будет выглядеть в субмиллиметровых. И Карпентер тут же подтверждал, что в субмиллиметровых все выглядит именно так. И еще большая методологическая статья Де-Прагеса... и еще два письма каких-то незнакомых китайцев...

Удивительно, но все это оставило меня совершенно равнодушным. Как будто я не имею и никогда не имел ко всему этому никакого отношения. Как будто никогда я не мучился угрызениями совести, стыдом, ужасом публичного позора, как будто не пошел в свое время в дикую, унижительную и странную службу ради того фактически, чтобы полистать такой вот выпуск «Астрофизикл джорнэл» или хотя бы «Астрономикл лэттэрз».

Столько раз представлял себе, что буду листать его жадно, впиваясь глазами и упиваясь злорадным облегчением и утоленной гордыней, а теперь вот листал его равнодушно, совершенно безразлично и думал более о том, что вот пуговица у меня на манжете оторвалась и ускользнула в рукомошник и теперь вот придется идти по такому дождю со снегом ради одной пуговицы в «Галантерею»...

И когда я поднял глаза на Агасфера Лукича, я обнаружил, что банкетное сияние в лице его значительно потускнело. «Что же это вы, голуба моя?» — с обидой и упреком произнес он и тут же сделал мне выговор.

Известно ли мне, сколько и каких усилий пришлось потратить ему, Агасферу Лукичу, чтобы подвинуть известное лицо на выполнение этого моего научно-исследовательского каприза? Известно ли мне, какого неестественного напряжения стоило известному лицу сначала понять поставленную задачу, а потом разобраться во всех деталях этой моей совершенно чуждой и неинтересной ему механики? Сколько упреков было обрушено, сколько досады было вымещено, — вообще сколько времени было потрачено, драгоценного, невосполнимого времени известного лица? И наконец, известно ли мне, как близко, на какой последний волосок пришлось подойти известному лицу к той границе, за которой начинается абсолютное небытие, — и все для чего? Для того только, чтобы овеществить, сделать реальностью замысловатый бред, излившийся с кончика шкодливого пера капризного, избалованного теоретика!..

Большую часть все это было мне неизвестно, поскольку ни во что это меня не посвящали, так что я оставался вполне равнодушен под градом его упреков и диатриб. Оказывается, я уже основательно забыл, с чего началась эта моя история. Все былые чувства мои увяли, горечь выветрилась, а яд высох, как говаривал сэр Редьярд Киплинг. Гигантский груз новых впечатлений, нового знания и новой ответственности буквально выдавил, вытеснил, выпарил из меня прежнего С. Манохина с его

маленькими амбициями, детскими капризами и совершенно микроскопическими вожделениями. В сущности, я давно перестал быть С. Манохиным. Я был теперь мелким лемуром в безотказном услужении у непостижимого чудовища, только в отличие от фаустовских лемуров я сохранял способность сознавать и все еще пытался разобраться в происходящем, упростить его до такой степени, чтобы оказаться способным его понять и, следовательно, — хоррибле дикту! — влиять на него...

Агасфер Лукич, конечно же, разобрался во всех этих моих мыслях и тут же направил огонь своих репримандов на другой фланг. Оказывается, уже довольно давно я вызываю у него определенное беспокойство. Я плохо ем. Я почти не улыбаюсь. Я перестал шутить. Опыт с женщиной, который Агасфер Лукич произвел, имея в виду мое духовное и физическое здоровье, окончился скорее неудовлетворительно...

Ему, Агасферу Лукичу, совершенно понятна причина этого духовного и физического увядания. Я потерял ориентировку. Я утратил представление о конечных целях. И все это потому, что с самого начала, вот уже много месяцев, я пребываю в состоянии хронического недоумения по поводу того мира, который окружил меня.

Сначала я (впопыхах и сгоряча) вообразил себе, будто оказался секретарем, мажордомом и лакеем Антихриста, явившегося наконец на Землю с тем, чтобы подготовить процедуру, известную в источниках под названием Страшный Суд. Эта безумная при всей своей примитивности идея заметно травмировала мою психику закоренелого атеиста, потому что продралась в мое сознание в результате свирепого сражения между всей совокупностью благоприобретенных материалистических представлений, с одной стороны, и железной логикой наблюдения — с другой. Это было время, когда мое душевное здоровье находилось под самой серьезной угрозой, ибо нельзя последовательному материалисту надолго погружаться в мир объективного идеализма безнаказанно.

К счастью, дальнейшее накопление наблюдаемых данных (скажем, появление в доме таких перлов мироздания, как Марек Парасюхин, участковый Спиртов-Водкин и неопикуемая Селена Благая) благополучно разрушили первоначальную апокалиптическую гипотезу. Рассудок мой был спасен, однако ненадолго.

Новая гипотеза сформировалась. Известное лицо из совершенно мифического Антихриста трансформировалось в некоего Космократа, фантастически могущественного, фантастически вездесущего, фантастически надчеловеческого — вообще фантастического, но при этом фантастического научно. Сей Космократ обрушил свое внимание на Землю, имея целью произвести над человечеством некий грандиозный, сами понимаете, эксперимент, суть коего для современного землянина принципиально, сами понимаете, непостижима. И вот собирает он здесь, в этой квартире без номера, людей и людишек, одержимых самыми конкретными идеями, как наилучшим образом ущемить, ущучить, уязвить несчастное человечество. Зачем? А затем, чтобы Космократ в дальнейшем дал бы им всем волю, а сам наблюдал бы интересующие его реакции человечества на все эти ущемления, ущучивания и уязвления.

Именно это мучительное видение несчастного человечества, поверженного нагноище неопикуемых страданий, подвергаемого беспощадным и равнодушным вивисекциям, и привело меня сейчас на грань отчаяния и безнадежности, за которыми вновь встает призрак безумия.

Ибо, несмотря ни на что, я все-таки люблю человечество. Несмотря на тупое стремление к самоистреблению этой огромной массы людей. Несмотря на тупое стремление этой массы людей получить самые низменные удовольствия ценою самых высоких наслаждений духа. Несмотря на потоки глупостей, подлостей, мерзостей, предательств, преступлений, уже тысячелетиями порождаемых и извергаемых из себя и на себя этой огромной массой людей. И несмотря, наконец, на совершенную несоизмеримость моей отдельно взятой личности с этим грандиозным явлением природы, частицей которого я, несмотря ни на что, остаюсь.

Любовь, как известно, зла. Она порождает удивительные намерения и провоцирует любящего на поступки противоестественные и благородные, благородные до неестественности, до извращенности даже. Если здесь вообще можно говорить о логике, то она у меня такова: раз уж Космократу так приспичило произвести гигантский эксперимент над миллионами, так, может быть, ему будет благоугодно устроиться таким образом, чтобы совершить миллионы экспериментов над одним? Ведь с научной точки зрения это одно и то же, то есть с научной точки зрения две эти ситуации инвариантны. Дело лишь за искусством экспериментатора, а в нем сомневаться не приходится. Что же касается подопытного материала, то вот он, здесь, перед вами! Грядите и приступайте!

Глядя на меня с жалостью и брезгливым восхищением, Агасфер Лукич всплескивал короткими лапками и повторял: «Какое нелепое простодушие! Какое благородное убожество! Какая несусветная и неуместная мизинтерпретация великого образца! Стыд! Изуверство! Какое беспомощное изуверство!..»

Признаюсь, ему таки удалось расшевелить меня. Это было крайне неприятно — ощущать себя просматриваемым насквозь, да еще глазом бывалого микропсихолога. И в то же время я испытывал определенное облегчение человека, болезнь которого наконец названа и признана пусть тяжелой, стыдной, неприличной, но излечимой. Я искал слова, чтобы достойно ответить, и слышал уже энергические и раздраженные толчки пульса в висках, уже просыпалась во мне целительная злоба, однако нужные слова найти я не сумел, и Агасфер Лукич продолжал.

Откуда у меня эта презумпция зла? Откуда это навязчивое стремление громоздить ужасы на ужасы, страдания на страдания? Что это за инфантильный мазохизм? Разумеется, он, Агасфер Лукич, понимает, откуда у меня все это. Но ведь я же все-таки научный работник, сама профессия моя, сама моя идеология обязывают, казалось бы, смотреть широко, анализировать добросовестно и с особенной настороженностью относиться к тому, что лежит на поверхности и доступно любому полуграмотному идиоту.

По складу ума своего я не способен воздерживаться от построения гипотез относительно всего, что окружает меня. Я не люблю без гипотез, я не умею без них. Ради бога! Но если уж повело меня строить гипотезы, зачем же сразу строить такие ужасные, что меня же самого норовят свести с ума? Почему не предположить что-нибудь благое, приятное, радующее душу?

Почему бы не предположить, например, что известное лицо, вконец отчаявшись затопить Вселенную добром, решило по крайней мере избавиться ее от зла? Как мне это понравится: собрать в квартиру без номера всех наиболее омерзительных, безапелляционных, неисправимых и настырных носителей разнообразного зла, а

собравши, — утопить в Тускарорской впадине? «Всех утопить!» Фауст. Пушкин.

Я ни в коем случае не должен воображать, будто эта гипотеза хоть в какой-то мере соответствует истинному положению вещей. По рангу своему, по своей глубине она столь же убога, как и первые две. Но неужели я не вижу за ней по крайней мере одного преимущества — преимущества оптимизма?

Нетрудно догадаться, что именно помешало мне предпочесть оптимизм всем этим гипотезам барахтанья в тоскливом болоте апокалиптических и псевдонаучных ужасов. Разумеется, уже сам внешний вид известного лица никак не способствует приступам сколько-нибудь радужных чувств. Его неприятная метаестественность. Его грубость. Его брезгливость ко мне подобным. Его истерики. Наконец, его манера таращить глаза, каковая манера даже Агасфера Лукича приводит в рефлекторное содрогание...

Все это так. Но за всем тем не мог же я не заметить его постоянной изнуряющей занятости. Его метаний. Его измученного, но неуголимого любопытства. Не мог же я не заметить на этих изуродованных плечах невидимого мне, непонятного, но явно тяжкого креста. Этой его забывчивости, этих странных его оговорок и невнятных распоряжений.. Да в силах ли я понять, что это такое: пребывать сразу во всех восьмидесяти с гаком измерениях нашего пространства, во всех четырнадцати параллельных мирах, во всех девяти извергателях судеб!..

Да в силах ли я понять, каково это: вернуться туда, где тебя помнят, чтут и восхваляют, и выяснить вдруг, что при всем том тебя не узнают! Никто. Никаким образом. Никогда. Не узнают до такой степени, что даже принимают за кого-то совсем и чрезвычайно другого. За того, кто презираем тобою и вовсе не достоин узнавания!.. Проклятые годы. Что делают они с нами!..

Да в силах ли я понять я, каково это: быть *ограниченно* всемогущим? Когда умеешь все, но никак, никак, никак не можешь создать аверс без реверса и правое без левого... Когда все, что ты умеешь, и можешь, и создаешь доброго, — отягощено злом?.. В силах ли я понять, что Вселенная слишком велика даже для него, а время все проходит, оно только проходит — и для него, и сквозь него, и мимо него...

Агасфер Лукич разволновался. Я никогда не видел его таким прежде. Мне показалось, что это был восторг самоуничижения. Я слушал его, затаив дыхание, и тут, в самый патетический момент, грянул над нами знакомый голос, исполненный знакомого раздраженного презрения:

— На кухне! Из четвертого котла утечка! Опять под хвостами выкусываете?

25. Я не слышал звонка. Впрочем, никакого звонка, наверное, и не было. Я проснулся оттого, что неподалеку бубнили голоса, и голоса эти возвышались. Вначале я не понимал ни слова, я не сразу понял даже, кто это бубнит у нас посреди ночи, — гортанно, яростно, с придыханиями, на совершенно незнакомом языке.

Впрочем, довольно быстро я понял, что один из бубнящих — Агасфер Лукич, а затем, как водится, начал разбирать и о чем они бубнят, сперва общий смысл, затем отдельные слова. Ни общий смысл, ни отдельные слова, ни в особенности все возвышающийся тон мне решительно не понравились, я торопливо натянул штаны, снял со стены тяжелый шестопер и высунулся в коридор.

В коридоре было темно и пусто, вся наша контора спала, но в прихожей горел свет, и я увидел Агасфера Лукича, стоявшего профилем ко мне и, надо думать, лицом к своему собеседнику. Собеседника не было видно за углом — Агасфер Лукич, надо понимать, дальше порога его не пускал.

Надо было понимать также, что Агасфер Лукич прямо из постели: был он в своем бежевом фланелевом белье со штрипками, памятном мне еще по гостинице «Степной», из-под рубашки торчал угол черного шерстяного платка, коим Агасфер Лукич оснащал на ночь поясницу в предчувствии приступающего радикулита, он даже накладное ухо свое не нацепил, оставил в граненом стакане с агар-агаром...

Невидимый мне визитер гортанно выкрикнул что-то насчет того, что демонам зла и падения дана великая власть, но не дано им преграждать путь ищущему милости Милостивого, ибо сказано: рабу не дано сражаться, его дело — доить верблюдиц и подвязывать им вымя. В ответ на это странное сообщение Агасфер Лукич уже совершенно для меня внятно произнес, почти пропел, явно цитируя:

— «Свои пашни обороняйте, ищущему милости давайте убежище, дерзкого прогоняйте». Почему ты не говоришь мне этих слов, Муджжа ибн-Мурара? Или твой нечистый не поворачивается повторять за тем, кого ты предал?

Я вышел в прихожую и встал рядом с ним, держа шестопер на виду. Теперь я видел абитуриента. Это был грузный, я бы сказал даже — жирный, старик в синих шелковых шароварах, спадающих на расшитые золотом крючконосые туфли. Шаровары еле держались у него на бедрах, низко свисал огромный, поросший седым волосом живот с утонувшим пупом, по-женски висели жирные волосатые груди, лоснились округлые потные плечи, а свежесбрита круглая голова была измазана сажей, и следы сажи были у него по всему телу полосами от пальцев, и лицо его, черное от солнца, тоже было в саже, и белая растрепанная борода была захватана грязными руками, а черные глазки с кровавыми белками бегали из стороны в сторону, как бы не зная, на чем остановиться.

Двери на лестничную площадку не было. Зиял вместо нее огромный треугольный проем, и из этого проема высовывался на линолеум нашей прихожей угол роскошного цветастого ковра (совершенно так же, как давеча вместе с Бальдуrom Длинноносым ввалился в прихожую огромный сугроб ноздреватого оттепельного снега). Абитуриент стоял на своем ковре. То ли дальше не пускал его Агасфер Лукич, то ли сам он боялся ступить на гладкий блестящий зеленый линолеум.

— Демон зла и падения Абу-Сумама! — после некоторого молчания возгласил абитуриент. — Снова и снова заклинаю тебя: перед тобой смертный, который нужен Рахману!

— Муджжа ибн-Мурара, — явно пародируя, отвечивал Агасфер Лукич. — Ничтожнейший из смертных, предавший учителя и благодетеля племени своего Масламу Йемамского, снова и снова отвечаю тебе: ты не нужен Рахману!

Муджжа ибн-Мурара непроизвольно облизнул пересохшие губы и, словно бы ожидая подсказки, оглянулся через жирное плечо в темноту треугольного проема.

Мрак там, надо сказать, не был совершенно непроницаемым. Какой-то красноватый огонь тлел там — то ли костер, то ли жаровня, — и колебались на сквозняке огоньки светильников, и отсвечивало что-то металлическим блеском, —

вроде бы развешанное по невидимым стенам оружие. И в этом неверном свете чудилось мне некое белесое лицо с черными, исполненными ужаса провалами на месте глаз и рта.

— Я свидетельствую: ты лжешь, Абу-Сумама! — прохрипел толстяк, не получивший из тьмы никакого подкрепления. — Я нужен Рахману! Если он захочет, я залью кровью Египет во имя его!

— Он не захочет, — равнодушно сказал Агасфер Лукич. — И Омар ибн ал-Хаттаб обойдется без тебя. Он заберет Египет мечом Амра. И без особенной крови, между прочим...

— Омар ибн ал-Хаттаб — жалкий пес и выскочка! — взвизгнул толстяк. — Он стал халифом только потому, что Пророк по упущению Рахмана остановил благосклонный взгляд на его худосочной дочери! Клянусь темной ночью, черным волком и горным козлом, кроме этой дочери, нет ничего у Омара ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем!

— Клянусь ночью мрачной и волком смелым, — отвечал Агасфер Лукич, — у тебя, Муджжа, нет даже дочери, не говоря уже о сыновьях, ибо Рахман справедлив. Уходи, ты не нужен Рахману.

Толстяк рванул себе бороду обеими руками. Глаза его выкатились.

— Я не прошу службы, — прохрипел он. — Я прошу милосердия... Я не могу вернуться назад. Доподлинно стало мне известно, что не переживу я этой ночи... Пусть Рахман оставит меня у ног своих!

— Нет тебе места у ног Рахмана, Муджжа ибн-Мурара, предатель. Иди к салукам, если они примут тебя, ибо сказано: ближе нас есть у тебя семья — извечно несытый; пятнистый короткошерстый; и гривастая вонючая... Да только не примут тебя салуки, и даже тариды тебя не примут — слишком ты сделался стар и жирен, чтобы приводить кого-нибудь в трепет...

Я почти ничего не понимал из происходящего. Мне все время казалось, что Агасфер Лукич терзает этого жирного старца из, так сказать, педагогических соображений, что вот он сейчас поучит его уму-разуму, а потом сделает вид, будто смягчился, и все же пропустит его пред светлые очи. Однако довольно скоро я понял, что не пропустит. Ни за что. Никогда.

И как видно, толстый старый Муджжа тоже понял это. Выкаченные глаза его сузились и остановились наконец, чтобы испепелить ненавистью.

— Лишенный стыда и позволивший называть себя именем Абу-Сумама, — просипел он, тяжело глядя в лицо Агасферу Лукичу. — Я узнал тебя. Я узнал тебя по отрубленному уху, Нахар ибн-Унфува, прозванный Раххалем! Клянусь самумом жарким и верблюдом безумным, я отрублю тебе сейчас второе ухо моим йеменским клинком!

Короткопалая рука его судорожно зашарила у левого бедра, где ничего сейчас не было, кроме шнура полусвалившихся шаровар. Агасфер Лукич ничуть не испугался.

— Клянусь пустым кувшином и высосанной костью, — сказал он с усмешкой. — Ты никому не сможешь ничего отрубить, Муджжа ибн-Мурара. Здесь тебе не Йемама, смотри, как бы тебе самому не отрубили последнее висящее. Уходи вон, или я

прикажу своим ифритам и джиннам вышвырнуть тебя, как шелудивого, забравшегося в шатер.

Кто-то часто задышал у меня над ухом. Я оглянулся. Ифриты и джинны были тут как тут. Вся бригада в полном составе. Тоже, наверное, проснулись и сбежались на крики. Все были дезабилье, даже Селена Благая. Только Петр Петрович Колпаков счел необходимым натянуть спортивный костюм с наклейкой «Адидас».

Наверное, с точки зрения средневекового араба мы все являли собой зрелище достаточно жуткое и уж, во всяком случае, фантастическое. Однако Мудджа либо был не из трусливых, либо уже на все махнул рукою и пустился во все тяжкие, не думая больше о спасении жизни, а лишь о спасении лица. Он не удостоил нас даже беглого взгляда. Он смотрел только на Агасфера Лукича, все сильнее сутулясь, все шире оттопыривая жирные руки, обильно потея и тяжело дыша.

— Ты, Раххаль, — произнес он, захлебнувшись, — шелудивый бродяга и бездомный пес. Ты смеешь называть меня предателем. Предавший самого пророка Мухаммеда и перекинувшийся к презренному Мусейлиме!..

— А я запомнил времена, когда этого презренного ты называл милостивый Маслама! — вставил Агасфер Лукич, но Мудджа его не слушал.

— Трусливый и бесчестный, приказавший четвертовать мирного посланника! Вспоминаешь ли ты Хабиба ибн-Зейда, которого даже презренный Мусейлима отпустил с миром, не решившись преступить справедливость и обычаи? Посланником Пророка был Хабиб ибн-Зейд, а ты велел схватить его, мирно возвращавшегося, и отрезать ему обе руки и обе ноги, — ты, Раххаль, да превзойдут зубы твои в огне гору Оход!

— Пустое говоришь, — снисходительно сказал Агасфер Лукич, — и в пустом меня обвиняешь, ибо отлично знаешь сам: презренный Хабиб умерщвлял младенцев, отравлял колодцы и осквернял поля. Все получившее благословение Масламы он отравлял, чтобы погибло. Я всего лишь приказал отрубить ноги, носившие негодя, и руки, рассыпавшие яд.

— Свидетельствую, что ты лжешь! — отчаянно выкрикнул Мудджа и вытер трясущейся ладонью пену, проступившую в уголках рта. — Лучше меня знаешь ты, что именно благословения фальшивого Мусейлимы были ядом для детей, для земли и для воды йемамской! Ты, Раххаль, раб лжепророка, предавший и его, вспомни сражение у Акрабы! Может быть, стыд наконец сожжет тебя? Ты, бросивший свое войско перед самым началом битвы, покинувший лучших из лучших Бену-Ханифа умирать под саблями жестокого Халида! Ты бросил их, и все они легли там, у Акрабы, все до единого, кроме тебя!

— А ты с фальшивыми оковами на умытых руках беспечно смотрел из шатра Халида, как они умирают, твои братья по племени...

— Лжешь ты и лжешь! Железо оков проело мясо мое до костей моих, слезы прожгли кровавые вадии на щеках моих, но когда пришло время, я спас от жестокого Халида женщин и детей Бену-Ханифа, я обманул Халида!.. Ты, бросающий лживые обвинения, вспомни лучше, почему ты ускакал от Акрабы, будто гонимый черным самумом! Это похоть гнала тебя! Клянусь черным волком, похоть, похоть и похоть! Ради бабы ты бросил все — своего лжепророка, которому клялся всеми клятвами



дружбы и верности; и сына его, Шурхабиля, которого Мусейлима доверил твоей верности и мудрости; и друзей своих, и своих воинов, которые, даже умирая, кричали: «Раххаль! Раххаль с нами!» Ты бросил их всех ради грязной христианской распутницы, которую ты сам же сперва подложил под бессильного козла Мусейлиму, надеясь заполучить таким образом его душу...

— Я не советую тебе говорить об этом, — произнес Агасфер Лукич таким странным тоном, что меня всего повело, словно огромный паук побежал у меня по голой груди.

Но Муджжа уже ничего не слышал.

— ...однако лжемилостивый оказался слишком стар для твоего подарка, и ты остался с носом — и без вождеденной души его, и без своей вождеденной бабы! Ты, Раххаль, дьявол при лжепророке, преуспевший во зле!

Муджжа замолчал. Он задыхался, борода его продолжала шевелиться, будто он еще говорил что-то, и клянусь, он улыбался, не отрывая жадного взгляда от окаменевшего лица Агасфера Лукича. А тот медленно проговорил все тем же страшным, кусающим душу, голосом:

— Ты просто чувствуешь приближение смерти, Муджжа. Перед самой смертью люди часто говорят то, что думают, им нечего больше скрывать и незачем больше таиться. Я вижу, ты сам веришь тому, что говоришь, и трижды заверяю я тебя, Муджжа: не было этого, не было этого, не было.

Тогда Муджжа засмеялся.

— Записочку! — проговорил он, захлебываясь смехом и пеной. — Записочку вспомни, Раххаль! — хохотал он, задыхаясь и всхлипывая, тряся отвислыми грудями и огромным брюхом. — Вспомни записочку, которую передали тебе накануне битвы... Ты помнишь ее, я вижу, что ты не забыл! Так слушай меня и никому не говори потом, что ты не слышал! Твоя Саджах нацарапала эту записочку, сидя на могучем суку моего человека. Ты знаешь его — это Бара ибн-Малик, горячий и бешеный, как хавазинский жеребец, вскормленный жареной свининой, искусный добиваться от женщин всего, что ему нужно. А нужно ему было тогда, чтобы дьявол Раххаль, терзаемый похотью, покинул войско Мусейлимы на чаше верных весов!

И сейчас же, без всякой паузы:

— Ты позволил себе недозволенное, — произнес Нахар ибн-Унфува по прозвищу Раххаль. — Ты должен быть строго наказан.

«Милиция!» — ужасно взвизгнул у меня над ухом Матвей Матвеевич. Он понял, что сейчас произойдет. Мы все поняли, что сейчас произойдет. И уж конечно, Муджжа ибн-Мурара понял, что сейчас произойдет. Рука его нырнула во тьму треугольного проема и сейчас же вернулась с широким иззубренным мечом, но Раххаль шагнул вперед, мелькнуло на мгновение длинное узкое лезвие, раздался странный чмокающий звук, широкое черное лицо над испачканной бородой враз осунулось и стало серым... храп раздался, наподобие лошадиного, и страшный плеск жидкости, свободно падающей на линолеум.

Тут я, видимо, на некоторое время вырубился.

Вся прихожая была залита. Ужасно кричал Матвей Матвеевич. «Милиция! —

кричал он. — Милиция!» Уткнувшись головой в зеркало, неудержимо блевал Марек Парасюхин... А Агасфер Лукич, фарфорово-белый, совершая выпачканными лапками выталкивающие жесты, бормотал нам успокаивающе:

— Тише, тише, граждане! Ничего страшного, все будет путем. Идите, идите, я тут все сам приберу...

Exit Муджжа ибн-Мурара, наместник йемамский.

26. Вся эта история завязалась тринадцать с половиной веков назад...

### **Дневник. 20 июля. 13 часов**

Мы остались без Мишеля.

За ним приехал отец из Новосергиевки. Всю ночь гнал на машине, как сумасшедший. Была очень тяжелая сцена. Мишель, конечно, уезжать отказывался, но отец сказал ему, что мать лежит в тяжелом приступе (начиталась газет, наслушалась слухов, в Новосергиевке ходят ужасающие слухи) и Мишель ее просто убьет, если не приедет тотчас же. Огромный седоголовый красавец, а глаза тоскливые, губы трясутся, руки трясутся, — я не стал на это смотреть, ушел подобру-поздорову.

Конечно, Мишель сдался. И я бы сдался. Любой в таком положении сдался бы. Тем более что у нас здесь ничего страшного не происходит, толпа основательно подрассосалась — надоело, опять же и обедать пора. Ребята из патруля уже не стоят цепочкой, а столпились у крыльца и покуривают. Только милиция по-прежнему на своем посту, но смотрит уже явно не так угрюмо, как раньше.

Мишель демонстративно не взял с собой ничего. Он объявил, что через два дня снова будет здесь.

Без Мишеля тускло.

### **20 июля. 15 часов**

Плохо дело.

В два часа в дверь позвонили. Это явился Первый и с ним еще какой-то деятель в элегантнейшем костюме и фотохромных очках. Я им открыл. Точно помню, что уже тогда подумал: «Плохо дело», — хотя еще не понимал, что именно плохо и почему.

Первый поздоровался, представился и сказал, что хочет видеть Г. А. Я повел их под перекрестными взглядами жалких остатков нашего гарнизона, сбежавшегося на дверные звонки. На лестнице Первый изволил пошутить: «Ну как вы тут, осажденные? Крыс уже всех подъели?» Мне было не до шуток.

Я запустил их в кабинет Г. А. и остался сидеть в приемной. Девочки и Аскольд посидели со мной немного, а потом разошлись по своим делам. Все они были настроены совершенно оптимистично. Логика: раз уж сам Первый нанес визит, значит, все будет ОК.

Из кабинета не доносилось ни звука. Я ждал. И чем дольше я ждал, тем яснее мне становилось, что ничего хорошего ожидать не приходится. Раз уж сам Первый в такое время и в такой ситуации наносит визит Г. А., это может означать только одно: дорогой Георгий Анатольевич, мы вас высоко ценим и глубоко уважаем, однако вы должны понять нас правильно... демократия... позиция первичных партийных организаций... наробраз... комсомол... невозможно, да и неверно было бы идти против

воли всего города, выраженной настолько определенно... разумеется, мы учтем все ваши соображения, они представляют большую ценность, мы тщательно изучим их при формировании долгосрочной политики в будущем, но сегодня, сейчас... и не обращайте внимания на выпады экстремистов... культура дискуссий у нас пока еще далека от совершенства, и вы погорячились, и они вот теперь горячатся... но все мы ни на минуту не забываем, что вы — гордость нашего города, всего края, всего Союза, наконец!..

Все это я представлял себе так ясно, как будто слышал своими ушами. (А может быть, я действительно все это слышал? Только не ушами. Со мной и раньше такое бывало, когда доводили меня до крайности.)

Когда они вышли от Г. А., я еще владел собой. Пока пожимались руки и происходил обмен прощальными любезностями, я все еще сдерживался. (Лицо у Г. А. было такое, что я только разок глянул на него и больше уж не смотрел.) И я еще сдерживался, пока вел их по главному коридору, вывел на лестничную площадку и вот тут сдерживаться перестал. (Г. А. с нами уже не было, он вернулся к себе.)

К сожалению, — а может быть, к счастью, — я плохо помню, что я им говорил. И спросить не у кого — ни одного из наших поблизости не оказалось. Допускаю, что я назвал их предателями. Вы предали его, сказал я. Он так на вас надеялся, он до последней минуты на вас надеялся, ему в этом городе больше ни на кого не оставалось надеяться, а вы его предали. (Щеголь в фотохромных очках, кажется, пытался остановить меня: «Не забывай, с кем ты разговариваешь!») И я тогда сказал ему: «Молчите и слушайте!») Может быть, вы вообразили себе, что ваши комплименты и все ваши красивые слова что-нибудь для него значат? Да не нужны ему ни ваши комплименты, ни ваши фальшивые похвалы. Ему нужна была ваша поддержка!..

И еще что-то в этом роде, совсем не помню. А помню, как он прервал меня и спросил с искренним удивлением: «Так ты что же — веришь во все эти его фантазии?» — «Нет, — сказал я честно. — К сожалению, нет. Умишка у меня не хватает в это поверить. Но я одно знаю: пусть это фантазии, пусть это он даже ошибается, но его ошибка в сто раз грандиознее и выше, чем все ваши правильные решения. И в сто раз нужнее всем нам».

Они обошли меня с двух сторон и стали спускаться по лестнице, а я говорил им вслед. А может быть, и не говорил, может быть, только думал. Вы сейчас послали его на крест. Вы замарали свою совесть на всю свою оставшуюся жизнь. Наступит время, и вы волосы будете на себе рвать, вспоминая этот день, — как вы оставили его одного в кабинете, раздавленного и одинокого, а сами нырнули в эту толпу, где все вам подхалимски улыбаются и молодцевато отдают честь...

И с лютым наслаждением ловил я токи растерянности, недоумения и недовольства собой, исходящие от их прямых спин и аккуратных вороных затылков.

## **20 июля. Половина шестого вечера**

Подуспокоив нервы, отправился к Г. А. посмотреть, как он там. Все наши уже сидели у него. Серафима Петровна принесла плюшки. Мы пили чай и молчали. Иришка как-то странно на меня посматривала, а Зойка все время подкладывала мне плюшки. Видимо, они все-таки слышали, как я орал на Первого. А может быть, ничего они не слышали, а просто вид у меня был недостаточно успокоенный.

Потом Г. А. посмотрел на часы и включил телевизор. Оказывается, голова наш Петр Викторович вознамерился сегодня, на неделю раньше срока, выступить с ежемесячным обращением к своему городу.

Обычная двадцатиминутная речь. Как всегда жовиален, прост, округл, хитроват и задумчив. Наши немалые достижения и главным образом наши недоделки, недостатки и недодумки. Средства освоены, с одной стороны, сроки не выдерживаются, с другой стороны; приток валюты, с одной стороны, отток квалифицированной рабочей силы, с другой стороны; не умеем еще как следует работать, с одной стороны, отдыхать совершенно разучились, с другой стороны...

И только в самом конце, без особого нажима, как о делах, всем хорошо известных, а потому не требующих никаких специальных пояснений, — сначала о работе санэпидслужбы города (недостаточный надзор за очистными сооружениями, успешная ликвидация сезонной эпизоотии у сусликов), и только потом, наконец: «В окрестностях города у нас уже который год регулярно возникает нездоровая в гигиеническом отношении обстановка, особенно на десятом километре, в излучине Ташлицы. Не могу сказать, что мы ничего не предпринимали. Уговаривали, предупреждали, вели разъяснительную работу. К сожалению, безуспешно. Васька, понимаете ли, слушает, но по-прежнему ест. Все необходимые меры мы уже давно подготовили. Упрекнуть нас ни в чем нельзя, разве что в излишней неторопливости, которая происходила от нашей излишней, может быть, терпимости. Могу сообщить, что сегодня нами сделано последнее и окончательное предупреждение. Всякому терпению приходит конец, и у нашего города терпения больше нет». И снова — об осушении Ереминского болота, о мерах против бродячих животных, еще минуты две жовиальности и простодушия и: «До следующей встречи, спасибо за внимание».

Вот так. Спасибо тебе, Петр Викторович. «На мэра надейся, но и сам не плошай... Кто за доброе дело, тот мой союзник».

Г. А. выключил телевизор. На нас он не глядел, и мне подумалось, что ему стыдно сейчас глядеть на нас, своих учеников. За все человечество перед нами стыдно. Мне, во всяком случае, было стыдно, и я старался ни на кого не глядеть — только на Г. А., да и то исподлобья.

Тут Г. А. пододвинул к себе телефон и набрал номер. На экранчике появился Михайла Тарасович, вяловатый и безмятежный. Вид у него был такой, словно его грубо оторвали от заслуженного отдыха. Впрочем, обнаружив, кто его беспокоит, он очень натурально обрадовался, приветствовал Г. А. шумно и многословно и тут же принялся с добродушной укоризной высказывать свое мнение по поводу вчерашней статьи.

Г. А. прервал его немедленно. Что же это такое? Значит, завтра все-таки акция? Михайла Тарасович подувял и со вздохом развел руки: что поделаешь, такова жизнь. Г. А. сказал очень резко: «Как же вам не стыдно? Вы же обещали!» Михайла Тарасович перестал улыбаться и сказал заносчиво: «Что это я вам обещал? Ничего я вам не обещал!»

Г. А. : Стыдно, Кроманов. Стыдно! Перед людьми за вас стыдно! А что будет, если я расскажу всем о нашей договоренности?

М. Т. : О какой еще такой договоренности? Не было никакой договоренности... Вы,

Георгий Анатольевич, говорите, да не заговаривайтесь. Я при исполнении служебных обязанностей. Я вам не кто-нибудь, я в договоренности с частными лицами не вступаю!

Г. А. молча глядит на него, приспустив набрякшие веки, и чем дольше он глядит, тем более каменеет и бронзовеет Михайла Тарасович, превращаясь уже не просто даже в образцового начальника гормилиции, а в памятник образцовому начальнику гормилиции.

*М. Т. (чеканит)*: Я бы попросил вас не забываться. Намеков и оскорблений я терпеть не намерен. Пусть вы даже и заслуженный человек, но тогда тем более, извольте знать меру и понимать порядок...

И еще что-то в этом же роде, исполненное достоинства и служебной добродетели самой высокой пробы.

Г. А. все молчит. Он уже не просто глядит на него, а откровенно его рассматривает. И Михайла Тарасович не выдерживает этого рассматривания. Он приостанавливает свои речи, надувает щеки и медленно выпускает воздух.

*М. Т. (тоном ниже)*: В вашем положении я бы вообще, извините за выражение, помалкивал. Договоренность... Какая может быть в таких делах договоренность? Я ведь, знаете ли, мог бы и дело против вас возбудить!.. Соккрытие информации, важной для следствия... пособничество преступлению, между прочим... укрывательство, если угодно! Это все, знаете ли, не шутки. Тут не только депутатского мандата, тут всего можно лишиться...

Он отводит глаза, потом бегло взглядывает на Г. А., потом снова отводит глаза и произносит совсем уже миролюбиво:

— Да не переживайте вы так, Георгий Анатольевич! Ничего там страшного не будет, в этой операции. Главные хулиганы у меня посажены, по закону сорок восемь часов будут сидеть как миленькие. Личный состав проинструктирован, эксцессы будем пресекать в зародыше... Что ты, в самом деле, Георгий Анатольевич? Мне же самому нужно, чтобы все прошло гладко, без драки, без крови... Неужели ты не понимаешь?

Г. А. выключает телефон.

Он оглядел нас всех по очереди очень внимательно, словно надеялся обнаружить в нас что-нибудь обнадеживающее, не обнаружил и сказал:

— Всё. Вот теперь уж окончательно всё. «...Всегдашний прием плохих правительств — пресекая следствие зла, усиливать его причины». Откуда?

— Ключевский, — сейчас же ответил Аскольд.

— Правильно, — проговорил Г. А. уже рассеянно. — Впрочем, один шанс у нас еще остался...

Он набрал какой-то номер, и на экране возникла недовольная старуха. Г. А. кротко поздоровался с нею и попросил к телефону Гарика. Через десять секунд на экране возник Гарик. Это был тот самый зеленый куст, который давеча прибежал в лицей с репьями в голове. Произошел примерно следующий разговор.

*Г. А.* : Гарик, мне надо срочно увидеть нуси.

*ГАРИК* : Нуси в ложе.

*Г. А.* : Пусть придет, когда выцветет.

*ГАРИК* : Он выцветет к дождеванию.

*Г. А.* : Скажи, чтобы пришел как можно скорее. Я буду его ждать.

*ГАРИК* : Трава на ветру (или что-то в этом роде).

Ребята из этого разговора не поняли ничего. Никто из них не был во Флоре, никто не знал, кто такой нуси, но я-то знал и, хотя жаргона не разобрал, догадался, что Г. А. вызывает к себе главаря Флоры, скорее всего, чтобы уговорить Флору сняться и уйти до утра. Действительно, это и есть, наверное, последний шанс. И самый лучший выход — и для них, и для нас, и для всего города. Только уж больно мал этот последний шанс. Если бы это было так просто — уговорить их уйти, — Г. А. давным-давно бы их уговорил.

Г. А. усталым и виноватым тоном попросил нас оставить его одного, и мы поднялись, чтобы уходить. И тут Аскольд вдруг спросил: «А как понимать все эти слова — про сокрытие информации, про преступление?» (Поразительно все-таки холодная задница, этот Аскольд!) Г. А. молчал так долго, что я решил, он вообще отвечать не будет. Но он все-таки ответил: «Это надо понимать так, — сказал он, — что в истории было много случаев, когда ученики предавали своего учителя. Но что-то я не припомню случая, чтобы учитель предал своих учеников».

## 20 июля. Семь вечера

Потому что тогда он сразу переставал быть учителем. И в истории он как учитель уже не значился.

Хотел пойти поговорить с Ванькой Дроздовым и прочими, — как они насчет завтрашнего? Пойдут все как один? С развернутыми знаменами? Может быть, еще и хлебнут для храбрости? Акция ведь все-таки — дело новое, непривычное!

Поздно спохватился. Перед лицом уже никого нет, одни окурки катаются, да кучка добрых молодцев, окружив последний звук, препирается, кому его отсюда тащить. И еще стражи порядка прохаживаются в отдалении. («В отдалении реяли квартальные».)

Появился Иракий Самсонович. Длинно и путано объясняет, что утром его не пропустили. Готовит на завтра хаши.

Объявилась библиотекарша. Сделала мне выговор, что не вернул на место сегодняшние газеты. Нагрубил ей. Хамло я такое.

Тоскливо. Аскольда видеть не хочу (что дурно). Зойка в миноре, а Иришка твердит как заклинание, что все будет хорошо.

## Рукопись «ОЗ» (26–27)

26. Вся эта история завязалась тринадцать с половиной веков назад, когда пророк Мухаммед уже умер и первый арабский халиф Абу-Бекр принялся приводить к исламу Аравийский полуостров.

Был некто Нахар ибн-Унфува по прозвищу Раджаль или Раххаль, что означает «много ходящий пешком», «много путешествующий», или, говоря попросту,

«бродяга», «шляющийся человек». Был он вначале учеником и доверенным Мухаммеда, жил при нем в Медине, читал Коран и утверждался в исламе. А потом Мухаммед послал его своим миссионером и связником в Йемаму, к Мусейлиме, вождю и вероучителю племени Бену-Ханифа.

Конечно, в то время никто не называл Мусейлиму Мусейлимой. Все звали его тогда: почтенный Маслама, пророк Маслама и даже милостивый Маслама, то есть бог Маслама. Сам Мухаммед называл его тогда своим собратом по пророчеству. Действительно, учения их были во многом сходны, однако имелись и различия, которые, будучи применены к политической практике, развели братьев настолько, что в Медине перестали называть Масламу почтенным и приклеили ему презрительное имя Мусейлима, то есть, говоря по-русски, что-то вроде «Масламышка задрипанный».

Раххаль выбрал Масламу. Он остался в Йемаме, в этой житнице Аравии, и сделался правой рукой Масламы, исполнителем самых деликатных его поручений и невысказанных желаний. Он показал себя великолепным организатором и контрпропагандистом. Он наладил для Масламы политический сыск и, будучи тонким знатоком Корана, был непобедим в открытых диспутах с миссионерами, которых Мухаммед упорно продолжал засылать в Йемаму.

Слава о нем распространилась широко, но это была недобрая слава. Считалось, что при Масламе поселился дьявол, которому Маслама повинуетя, а потому и преуспевает во зле. Сам Пророк незадолго до смерти говорил о Раххале как о человеке, зубы которого в огне превзойдут гору Оход. (Видимо, Оход был вулканом, и странную эту фразу надо понимать в том смысле, что, когда Раххаль будет гореть в аду, зубы его запыхают пламенем вулканическим.)

Наследник Мухаммеда халиф Абу-Бекр в первую голову решил заняться усмирением Йемамы. Однако никакого боевого опыта у его военачальников тогда еще не было. Лихие кавалерийские наскоки Икримы ибн-Абу-Джахля, равно как и Шурхабиля ибн-Хасана, были благополучно отбиты на границах, и тем не менее положение Йемамы сделалось тяжелым. С запада по-прежнему угрожал ей Шурхабиль ибн-Хасан, с востока — ал-Ала ибн-ал-Хидрими, с юга грозил подойти отбитый Икрима, а тут еще с севера обрушилась на Йемаму и дошла до самого харама (обиталища Масламы) христианская пророчица Саджах из Джезиры с двумя корпусами диких темимитов на конях и верблюдах.

Саджах было наплевать и на Масламу, и на Абу-Бекра в одинаковой степени. Она была христианка. Ислам ей был отвратителен как святотатственное извращение учения Христа. Она пришла в Йемаму за зерном и вообще за добычей.

Масламе удалось заключить с нею оборонительно-наступательный союз, хотя обе договаривающиеся стороны были невысокого мнения друг о друге. Йемамцы презрительно называли кочевников-темимитов «люди войлока», а темимиты говорили йемамцам-земледельцам: «Сидите в своей Йемаме и копайтесь в грязи. И первый, и последний из вас — рабы».

Детали военного союза нас не интересуют. Последующее мусульманское предание представило этот союз в скабресном виде. Совершенно напрасно: Маслама был аскетом и по убеждениям, и по образу жизни. Да и по возрасту, если уж на то пошло.

Не было скабресности в этой истории. Была любовь. Огромная, фантастическая,

рухнувшая в одночасье на двух совершенно разных людей — на бешено фанатичную красавицу-темимитку и на невзрачного, но зато окутанного легендой и тайной, не верящего ни в бога, ни в дьявола Раххалю, друга, руководителя и клеветника самого Масламы. История этой поистине удивительной и поражающей воображение любви была, говорят, воспета бродячим поэтом-салуком (которого называли иногда вторым Антарой ибн-Шаддадом) в поэме «Матерь запутанных созвездий», то есть «Полярная звезда». Текст поэмы, к сожалению, не дошел до нас.

Счастье их было недолгим. Саджах вернулась к себе на север. То ли влюбленный дьявол Раххаль наскучил ей, то ли политическая нужда потребовала ее присутствия в Месопотамии. Маслама потерял могущественного союзника. Хуже того, в отсутствие своей предводительницы темимиты возмутились против него. Абу-Бекр немедленно использовал все преимущества новой ситуации. На Йемаму двинулась армия лучшего тогда полководца мусульман Халида ибн-ал-Валида.

И тут на сцене появляется наш знакомец Муджжа ибн-Мурара. Был он *шерифом*, то есть принадлежал к воинской знати Йемамы. И был он великим честолюбцем. Разночтения и нюансы ислама не интересовали его. Он хотел властвовать — спихнуть Масламу и властвовать в Йемаме.

В самом начале кампании он перекидывается к Халиду и предлагает ему тщательно разработанный план покорения Йемамы, с тем, чтобы по окончании всего Абу-Бекр сделал его, Муджжу ибн-Мурару, там наместником.

Этот план предусматривал не только хитроумное удаление от войска йемамцев дьявола Раххалю в самый ответственный момент, но и обеспечение добровольной покорности побежденных после окончания военных действий. Раххалю предстояло удалиться с помощью подложной записочки от его возлюбленной Саджах (а может быть, и подлинной, кто знает?). Сам Муджжа брал на себя роль патриота-страдальца, мучимого жестоким Халидом: он будет ходить закованным в кандалы, полумертвым от голода и жажды, а в нужный момент он «обманет» Халида, и Халид «попадетсЯ» на этот обман, и слава Муджжи ибн-Мурары, мученика и страдальца за свой народ, сумевшего обмануть свирепого полководца, широко распространится по всей поверженной Йемаме, и все Бену-Ханифа будут неустанно благословлять имя его, своего нового владыки.

Все прошло как по маслу. То есть замысел Муджжи реализовался целиком и полностью.

Правда, отсутствие Раххалю, противу всяких ожиданий, никакой особенной роли не сыграло. И в битве под Акрабой, и при взятии харама Масламы йемамцы бились бешено и неистово, предпочитая умереть, нежели побежать. Взаимная ненависть достигла последнего предела. Мать Хабиба (которому Раххаль несколько лет назад велел отрубить руки и ноги за шпионско-диверсионные дела), давшая клятву, что не будет мыться, пока не будет убит проклятый Мусейлима, дралась, как безумная, и в битве за харам потеряла руку и получила двенадцать боевых ранений. Шурхабиль, сын Масламы, перед боем призвавший войско сражаться за своих жен и за свою честь — о вере он упомянуть забыл, — так вот Шурхабиль задохнулся насмерть под грудой зарубленных и заколотых им врагов. Упомянутый выше «бешеный и горячий» Бара ибн-Малик при взятии харама остервенел до такой степени, что приказал своим воинам перебросить себя через стену харама — там, окруженный воющей толпой



йемамцев, он, как безумный, пробился к воротам, впустил внутрь харама свой отряд, после чего снова запер ворота, а ключ зашвырнул в пространство...

В этих сражениях полегло десять тысяч йемамцев. Как военная сила Бену-Ханифа перестали существовать. Но и потери мусульман были ужасны: список одних только знатных, погибших на поле боя, достигает тысячи двухсот человек.

Муджжа ибн-Мурара исправно разыгрывал свою роль. Изможденный и несчастный, лязгая кандалами, подталкиваемый в спину ножами жестоких конвойных, он бродил по полям битв, опознавая тела наиболее известных врагов Халида. Он опознал труп Мухаккима, командира гвардейского полка Масламы. Он опознал труп самого Масламы и опознал труп сына Масламы — Шурхабиля. И конечно же, он опознал труп Раххаля, так что весть о гибели дьявола сразу же широко распространилась по всей Йемаме.

Над телом Масламы, малорослого, желтого, тупоносого человечка, между Муджжой и Халидом при стечении свидетелей произошел следующий диалог:

— Вот это и есть главный враг ислама, — объявил Муджжа. — Теперь вы избавились от него.

— Быть того не может! — с хорошо разыгранным изумлением воскликнул Халид. — Неужели этот облезлый привел вас туда, куда он вас привел?

— Да, именно так оно и случилось, Халид, — сказал Муджжа сокрушенно. Но тут же гордо выпрямился и произнес на всю округу: — Однако клянусь богом, не радуйся слишком рано. Пока против тебя вышли только передовые застрельщики из самых торопливых, по-настоящему опытные ждут тебя в крепостях, и с ними тебе непросто будет справиться.

И действительно, когда Халид подступил к Хаджру, он увидел на стенах его огромную массу воинов в сверкающих доспехах — весьма внушительное и грозное зрелище. На самом же деле это все были женщины да подростки, настоящих воинов в стенах столицы почти не осталось.

Халид картинно задумался, а затем, повернувшись к советникам, спросил: «Что скажете, почтенные?» Почтенные тут же высказались в том смысле, что, мол, хватит проливать кровь и надлежит немедленно предложить противнику условия капитуляции, а именно: желтое и белое (золото и серебро) — все, какое есть; кольчуги и кони — все, какие есть; а от пленных — только половину.

Переговоры начались. Муджжа выступил делегатом от Халида, и все закончилось даже легче, чем опасались в Хаджре. И наконец, последняя сцена.

Ворота крепости распахиваются, Халид входит в город, и очень скоро обнаруживается, что там только женщины и дети. На рыночной площади, полной народа, Халид в великолепной ярости топает ногами, хватается за саблю и орет на Муджжу: «Ты обманул меня!» — а тот, изможденный, но гордый, высоко поднимает голову и отвечает в том смысле, что да, обманул, однако поступил так исключительно во имя и ради своего народа. Буря восторгов. Все валятся ниц. Занавес.

О дальнейшей судьбе Муджжи ибн-Мурары известно немного. Он более или менее благополучно правил Йемамой, обращенной в ислам, исправно платил подати халифу и железной рукой подавлял беспорядки. Умер он как-то странно. Существует версия,

будто некий колдун заранее предсказал день и час его смерти. И действительно, в назначенное время он был найден на ковре в своих покоях зарезанным. Кто его зарезал и почему — осталось тайной. Знающие люди связывали это убийство с претензиями Мудджи возглавить поход мусульман на Египет.

27. Саджах.

О Саджах!

Саджах из Джебзире!

Груди твои...

Получив записку, Раххаль не размышлял и минуты. Записка была на арамейском: «Любимый! Я жду тебя в Басре. Спешу, ибо ты можешь опоздать». Четыре месяца он ждал этого зова и вот дождался. Даже не извинившись перед Шурхабилем, он встал и вышел из шатра. Военный совет остался у него за спиной. Он уже забыл о нем. Он распорядился вполголоса. Верблюдов снаряжали целую вечность. Наконец доложили, что все готово, он принял из рук Молчаливого Барса драгоценный кофр, обшитый свиной кожей, и сам приторочил к седлу Белобрюхого.

Через десять минут Акраба, спящая армия и поле завтрашней битвы остались у него за спиной. Он уже забыл о них. До Басры было тридцать караванных переходов. Следовало пройти этот путь за десять суток или даже быстрее. Это было в пределах возможного. Под ними были лучшие дромадеры Аравии, и всадники были лучшими в Аравии: двадцать бывших таридов, изгоев без роду и племени, двадцать телохранителей, двадцать поэтов, двадцать побратимов, преданных друг другу до последнего и почитающих его, Раххалья, как самого бога. А может быть, как дьявола. Они никогда ни о чем не спрашивали его, как никогда ни о чем не спрашивают тебя твои руки. Он мельком тепло подумал об этих людях.

Он был безумен. Любовь старого человека производит обычно впечатление несколько комическое. Этим летом Раххаль исполнилось шестьсот тридцать четыре года. Любовное безумие старика не способно вызвать уже ни улыбки, ни сочувствия. Оно вызывает только страх. Раххаль сейчас был неудержим, ничто не могло его остановить. Ни войско, ни самум, ни землетрясение. Ни даже море. Ни даже смерть. Так, по крайней мере, он ощущал себя. Он сам был страшнее любого самума, землетрясения или смерти. Его снова называли «любимый», и он рисковал опоздать.

Саджах.

О Саджах!

Саджах Месопотамская!

Бедра твои...

(С непривычно и неприятно стесненным сердцем следил я украдкой за Агасфером Лукичом, как он мечется по моей комнатке, то и дело сшибая плечом со стены развешанное оружие, с хрустом выкручивает себе пальцы, как он то бросается к двери и замирает, упершись слабыми ручками в косяки, то с размаху кидается в мое колченогое кресло у стола и колотит кулачками по столешнице рядом с иззубренным йеменским мечом Мудджи ибн-Мурары, маленький, нелепый, безобразный, — и говорит, говорит, говорит...)

Отряд стремительно мчался по пустыне, и шайки разбойных темимитов, уже

нацелившиеся было наброситься, в ужасе разворачивали коней и, словно стаи испуганных уток, опрометью разлетались кто куда.

Басра.

Ее здесь нет уже. Был бой, персы отбросили ее, и она ушла на Хиру. Точно ли на Хиру? Умиравший от ран танухид клянется богом своего племени: ушла на Хиру, здорова, прекрасна, но не весела. Неужели опоздал? Неужели я нужен был ей здесь, под Басрой? Проклятые персы!

Купцы каравана, попавшегося под ноги, валяются ничком на раскаленный песок, в мыслях своих расставшись уже и с желтым, и с белым, и с мягким, и с сухим, и с жидким, и с самой жизнью в придачу. Некогда! Потом, братья, потом! Вперед!

Хира.

Она была здесь. Еще дымятся развалины гарнизонной казармы, еще причитают, исходя проклятиями, женщины на порогах своих глинобитных халуп, вывернутых наизнанку, еще болтается веревка на поперечной балке, где она распорядилась повесить ромейского попа, знаменитого зверскими своими расправами над несторианами... Слава всем богам, удача сопутствовала ей здесь, она разгромила ромеев и пошла на Алеппо... Куда? На Алеппо? Она тоже обезумела. С толпой дикарей она одна идет на всю мощь ромеев! Несомненно, это любовная тоска. Он понимает ее. Она готова сейчас грызть железо, только потому, что любимого нет рядом с нею. Он вспоминает: лесная прогалина над Гангом после любовных игр пары леопардов — словно табуны диких жеребцов сутки напролет дрались там не на жизнь, а на смерть. Вот что такое любовная тоска Саджах. А любимый слишком медлителен, он еле ползет по бесконечным пескам... Коней! Где взять коней?

В двух переходах от Хиры он натывается на кочевье безвестного племени. Кони. Много коней. Но эти кочевники не понимают своего положения. Им кажется, будто их много, и они могут сделать выгодный обмен. Тем хуже для них, потому что торговаться некогда. Это безвестное племя — оно навсегда останется безвестным, больше о нем никто никогда не услышит. А мы сохраним в сердцах наших брата Шарана, брата Серого и брата Хасана Беззубого. Не хоронить! Некогда! Вперед!

Сиффин.

Она не дошла до Алеппо. Под Сиффином ее встретила бригада панцирной кавалерии под командованием генерала Аммона и пресвитера Евпраксия. Они убили ее. Им удалось взять ее живой, и вот здесь, на Бараньем Лбу, пресвитер Евпраксий предал ее ужасной смерти как еретичку и лжепророчицу.

Саджах.

О Саджах!

Саджах, дочь танух и тамим!

Лоно твое...

Тысячи и тысячи женщин были у него, он никогда не был аскетом, он был лакомка, он и сейчас не пройдет мимо сдобной булочки, несмотря на годы свои и на свою невзрачную внешность. Почему же из этих тысяч и тысяч всегда глодала его душу, мучительно гложет сейчас и, видно, вечно будет глодать память о ней одной? Почему эта любовь так болит? Ведь ее давно нет, она была тринадцать веков назад! Почему же

так мучительно ноет, ломит и саднит она, словно мочка отрубленного уха в дурную погоду?

О Саджах.

Насмерть перепуганный сиффинец не только показал, по какой дороге ушли ромеи, но и согласился быть проводником. Уже на третий день Раххаль увидел дымы их костров. Дальше все было делом техники. На рассвете четвертого дня они уже скакали назад. Рядом с Молчаливым Барсом, перекинутый через спину подменного жеребца, дергался и мычал ковровый мешок, содержащий в себе пресвитера Евпраксия (взятого в полевом нужнике со спущенными штанами).

На Бараньем Лбу в присутствии стонущих от ужаса свидетелей гибели Саджах проделал Раххаль с пресвитером все то, что было проделано с любимой. Разумеется, с необходимой поправкой на мужские статьи. Пресвитер Евпраксий кричал, не переставая, все два часа. Раххаль не слышал его. Чувства в нем отключились. Он только вспоминал.

Губы твои...

Глаза твои...

Что же все-таки произошло на самом деле с этой достопамятной запиской? Может быть, следует поверить появившимся позднее слухам о том, что записка была подложной, — умный враг состряпал ее для того, чтобы в нужный момент заставить грозного дьявола бросить все и умчаться на север, где никто не ждал его и где никому он не был нужен? Ведь и действительно, если судить по всем действиям Саджах, она к тому времени уже напрочь выбросила бывшего возлюбленного из головы и сердца и жила в свое удовольствие — лихо, дерзко, кроваво. Ей и в голову не могло прийти, что он спешит к ней, а потому и не было от нее к Раххалю ни связных, ни гонцов, ни пересыльщиков. И только в любовном своем безумии способен был объяснить хитрый, многоопытный, осторожный Раххаль поступки ее как любовное безумие хитрой, многоопытной, осторожной воительницы.

Гипотеза о подложной записке долгое время утешала его. Из этой гипотезы следовало, что она вовсе и не ждала его помощи, нисколько не рассчитывала на него и в последние страшные минуты свои не искала сквозь кровавый туман на горизонте блеска его сабель. И тогда можно было проклинать злобного врага, подсунувшего ему эту фальшивку, только за то, что фальшивка была подсунута слишком поздно. Ведь получи ее Раххаль хотя бы тремя днями раньше, все обернулось бы по-другому.

Ну конечно же, возлюбленный у нее был. Трезвой частью своего существа он сознавал, он знал наверняка, что возлюбленный был — молодой, горячий, неутомимый. Людская молва называла одного абиссинца, старшего сына смельчака Вахшии ибн-Харба, того самого, что зарубил Масламу на пороге харама. Однако Раххаль не мог ревновать. Он точно знал: абиссинец дрался за Саджах до последнего своего вздоха, — утыканный ромейскими стрелами, иссеченный ромейскими мечами, проткнутый ромейскими пиками, залитый своей и чужой кровью так, что не видно было ни одежды его, ни лица.

А вот блестящий пустоголовый жеребец Бара ибн-Малик быть ее возлюбленным не мог. Это было совершенно невозможно. Не получалось по времени. Мудджа ибн-Мурара в своем мучительном предсмертном стремлении уколоть побольнее

солгал. Хотя, конечно, он точно рассчитал, что нельзя представить себе соперника, более достойного сжигающей ревности, нежели Бара ибн-Малик.

Да разве в сопернике дело? Какая разница — абиссинец, Бара ибн-Малик, еще кто-то, — они насчитывались десятками. Не было мужчины, который, увидев ее, не превратился бы в воспламененного леопарда. Ей оставалось только выбирать. И никак не Раххалю, прекрасно понимавшему свое физическое несовершенство, следовало угнетаться ревностью. Ему достаточно было и того, что Саджах выбрала его хотя бы на несколько дней...

Муджжа ибн-Мурара заскорузлым пальцем ткнул в затянувшуюся рану и сделал очень, очень больно. Потому что открылось, что письмо могло и не быть фальшивым. И миг вспалившееся воображение нарисовало картину поистине адскую: молодой, ловкий наемный любовник, мастер и ходок, подосланный расчетливым негодяем, диктует задыхающейся от страсти Саджах, что ей надлежит сделать и что написать.

Почему эта мысль, такая простая, такая естественная, не пришла ему в голову тогда, тринадцать веков назад? Он бы нашел этого наемника. А сейчас даже глины не найти, в которую обратились его кости...

Уста твои, страстной неге навстречу раскрытые,  
Лоно твое, как нехоженный луг, молодыми сочащийся  
травами.

Кипящая жизнью, нетронутая, нежная мякоть груди,  
И затуманенный взгляд призывающий твой...

(Я смотрел, как он плачет мутными, старческими слезами, и поражался ему, и не понимал его, и думал: нет, видно, никогда не распадается цепь времен, ибо воистину, как смерть, крепка любовь, люта, как преисподняя, ревность, и стрелы ее — стрелы огненные...)

28. Я ходил в сберкассу и проторчал там в очереди три четверти часа...

### **Дневник. 20 июля. Около полуночи**

Странно, мы никогда не думали о семейной жизни Г. А. Знали понаслышке очень немного, и этого нам хватало вполне. Это было для нас не важно. Знали, что жена его умерла пятнадцать лет назад. Кажется, она была эпидемиологом, заразилась во время первой эпидемии «африканки» и погибла. Знали, что у него двое детей, сын и дочь, но где они, кто они — никого это не интересовало. Г. А. для нас всегда был Г. А. — одинокий, единственный и самодостаточный. Без приложений. Мы не нуждались ни в каких к нему приложениях. Наверное, они бы даже мешали нам.

Г. А. провожал нуси к выходу, а я подслушивал. Это был безнадежный конец какого-то безнадежного разговора. И нуси сказал: «Папа, зря ты меня позвал, и зря я к тебе пришел. У тебя свои ученики, у меня — свои. У вас, папа, своя правда, а у нас — своя». Они говорили еще что-то, но я стоял, как пыльным мешком трахнутый, и ничего больше не слышал и не понимал. «Папа»! Понимаешь теперь, на что эти гниды намекали? Не знаю, что писать. В голове не помещается.

### **21 июля. Два часа ночи**

Это ничего не значит. Во-первых, всегда можно сказать, что в детях гениев природа отдыхает. А во-вторых, если подумать, нуси-то ведь тоже учитель — и причем самого

высокого класса! Держать в подчинении такое стадо, оплодотворить эту безмозглую пустыню идей...

Неужели Г. А. угадал, и они в конце концов заставят нас потесниться, будучи в полном праве, как равные, а в перспективе, может быть, и в большинстве... Господи, бедный Г. А.

А может быть, не такой уж и бедный? Пусть даже это его педагогическая ошибка, но зато какая! Она равна открытию!

Гордись, Игорь Всеволодович, ты хорошо сказал сегодня: «Если он даже ошибается, каждая его ошибка в сто раз значительнее и важнее, чем все ваши правильные решения».

«The uncommon man wants to leave a world different from what he found; a better, enriched by his personal creation. For this he is willing to sacrifice much or all of the happiness that the common man enjoys»<sup>3</sup>.

### Рукопись «ОЗ» (28–29)

28. Я ходил в сберкассу и проторчал там в очереди три четверти часа, до самого обеда.

Когда я вернулся, он уже сидел на кухне и хлебал из эмалированной миски югославский пакетный суп. Был он тощий, нелепый, угловатый, костлявый, с чешуйчатыми от грязи плоскостопыми ножищами. Тонкая прыщавая шея, гигантский шмыгающий нос, выпученные глаза со слезой, скудный лобик под всклокоченной пегой шевелюрой. Дрисливый гусенок. Лет ему было, наверное, не более шестнадцати, голос у него ломался, а унылую физиономию его покрывали «бутон д'амур».

Когда я вошел в кухню, он шарахнул в мою сторону паническим взглядом, но, не обнаружив, по-видимому, во мне никакой опасности, провел пальцем под носом и снова вернулся к хлебову. Я только глянул на его неопиcуемый бурнус и сразу понял, где источник того странного запаха, который я почувал еще в прихожей. Этот бурнус не стирали. Никогда. И не снимали тоже. Его только носили. И днем, и ночью. В нем даже наверняка ни разу не тонули.

— Кто таков? — спросил я грозно.

Бригада моя, сочувственно окружавшая носителя бурнуса, безмолвствовала — как мне показалось, трусливо и виновато.

— Кто впустил? — продолжал я, беря тоном выше. — Почему не сделали санобработку? Инструкция не для вас писана? По холере соскучились?

Кто его впустил — так и осталось неизвестным. В конце концов, может быть, и на самом деле никто не впускал, а просто внесло его в нашу прихожую, — и всех делов. Бывали такие случаи. И не раз. А вот пакетным супом (овощным со специями, тридцать семь копеек пакет, счет прилагается) его накормил сердобольный Марек Парасюхин, в коем, как известно, всегда сочетались нордическое милосердие и славянская широта натуры.

Дохлабав угощение до последней капли, он вылизал миску, да так быстро и ловко, что мы и рук протянуть не успели, а она уже была как новенькая. Потом он принялся

говорить — так же торопливо, жадно, брызгаясь и захлебываясь, как только что ел.

Вначале, кроме постоянно повторяющейся просьбы оставить здесь и спрятать, мы ничего не понимали. Какие-то жалобы. Что-то там у него было с родителями, то ли мать померла, рожая его, то ли сам он чуть не помер при родах... отец был богатый, а денег на него совсем не давал... И все его били. Всегда. Пока он был маленький, его били ребятишки. Когда он подрос, за него взялись взрослые. Его обзывали: выблядком, тухляком, говешкой, прорвой ненасытной, масальгой, идиотом, дерьмочистом, дерьмодралом и дерьмоедом, сирийской рыбой, римской смазкой, египетским котом, шавкой, сязкой и залепухой, колодой, дубиной и длинным колом... Девицы не хотели иметь с ним дела. Никакого. Никогда. Даже киликийские шлюхи. И все время хотелось есть. Он съел даже протухшую рыбу, которую подсунули ему однажды смеха ради, и чуть не умер. Он даже свинину ел, если хотите знать... Ничего не было для него в этом мире. Ни еды. Ни женщин. Ни дружбы. Ни даже простого доброго слова...

И вот появился Рабби.

Рабби положил руку ему на голову, узкую чистую руку без колец и браслетов, и он почему-то сразу понял, что эта рука не вцепится ему в волосы и не ударит его лицом о выставленное колено. Эта рука источала добро и любовь. Оказывается, в этом мире еще оставались добро и любовь.

Рабби заглянул ему в глаза и заговорил. Он не помнит, что сказал ему Рабби. Рабби замечательно говорил. Всегда так складно, так гладко, так красиво, но он никогда не понимал, о чем речь, и не способен был запомнить ни слова. А может быть, там и не было слов? Может быть, была только музыка, настойчиво напоминавшая, что есть, есть, есть в этом мире и добро, и дружба, и доверие, и красота...

Конечно, среди учеников он оказался самым распоследним. Все его гоняли. То за водой, то на рынок, то к ростовщику, то к старосте. Вскопай огород хозяину — он нас приютил. Омой ноги этой женщине — она нас накормила. Помогите рабам этого купца — он дал нам денег... Опасный Иоанн со своим вечным страшным кинжалом бросает ему сандалии — чтобы к утру починил! Ядовитый, как тухлая рыба, Фома для развлечения своего загадывает ему дурацкие загадки, а если не отгадаешь — «показывает Иерусалим». Спесивый и нудный Петр ежеутренне пристаёт с нравоучениями, понять которые так же невозможно, как и речи Рабби, но только Рабби не сердится никогда, а Петр только и делает, что сердится да нудит. Сядет, бывало, утром на задах по большому делу, поставит перед собой и нудит, нудит, нудит... тужится, кряхтит и нудит.

И все равно — это было счастье. Ведь рядом всегда был Рабби, протяни руку — и коснешься его. Он потреплет тебя за ухо, и ты весь день счастлив, как птичка.

...Но когда они пришли в Иерусалим, сразу стало хуже. Он не понимал, что случилось, он видел только, что все сделались недовольны, а на чело Рабби пала тень тревоги и заботы. Что-то было не так. Что-то сделалось не так, как нужно. Что тут было поделать? Он из кожи лез вон. Старался услужить каждому. В глаза заглядывал, чтобы угадать желание. Бросался по первому слову. И все равно подзатыльники сыпались градом, и больше не было шуток, даже дурацких и болезненных, а Рабби стал рассеян и совсем не замечал его. Все почему-то ждали Пасхи. И вот она настала.

Все переоделись в чистое (кроме него — у него не было чистого) и сели вечерять. Неторопливо беседовали, по очереди макали пасху в блюдо с медом, мир был за столом, и все любили друг друга, а Рабби молчал и был печален. Потом он вдруг заговорил, и речь его была полна горечи и тяжких предчувствий, не было в ней ничего о добре, о любви, о счастье, о красоте, а было что-то о предательстве, о недоверии, о злобе, о боли.

И все загомонили, сначала робко, с недоумением, а потом все громче, с обидой и даже с возмущением. «Да кто же? — раздавались голоса. — Скажи же! Назови нам его тогда!» — а опасный Иоанн зашарил бешеными глазами по лицам и уже схватился за рукоять своего страшного ножа. А он тем временем украдкой, потому что очередь была не его, потянулся своим куском к блюду, и тут Рабби вдруг сказал про него: «Да вот хотя бы он», — и наступила тишина, и все посмотрели на него, а он с перепугу уронил кусок в мед и отдернул руку.

Первым засмеялся Фома, потом вежливо захихикал Петр, культурно прикрывая ладонью волосатую пасть, а потом и Иоанн захохотал оглушительно, откинувшись назад всем телом и чуть не валясь со скамьи. И захохотали все. Им почему-то сделалось смешно, и даже Рабби улыбнулся, но улыбка его была бледна и печальна.

А он не смеялся. Сначала он испугался, он решил, что его сейчас накажут за то, что он полез к меду без очереди. Потом он сообразил, что его проступка даже не заметили. И тут же почему-то понял, что ничего смешного не происходит, а происходит страшное. Откуда у него взялось это понимание? Неизвестно. Может, родилось оно от бледной и печальной улыбки Рабби. А может быть, это было просто звериное предчувствие беды.

Они отсмеялись, погалдели, настроение у всех поднялось, они все рады были, что Рабби впервые за неделю отпустил шутку и шутка оказалась столь удачной. Они доели пасху, и ему было велено убрать со стола, а сами стали укладываться на ночь. И вот, когда он мыл во дворе посуду, вышел к нему под звездное небо Рабби, присел рядом на перевернутый котел и заговорил с ним.

Рабби говорил долго, медленно, терпеливо, повторял снова и снова одно и то же: куда он должен будет сейчас пойти, кого спросить, и когда поставят его перед спрошенным, что надо будет рассказать и что делать дальше. Рабби говорил, а потом требовал, чтобы он повторил сказанное, чтобы он запомнил накрепко: куда, кого, что рассказать и что делать потом.

И когда, уже утром, он правильно и без запинки повторил приказание в третий раз, Рабби похвалил его и повел за собой обратно в помещение. И там, в помещении, Рабби громко, так, чтобы слышали те, кто не спал, и те, кто проснулся, велел ему взять корзину и сейчас же идти на рынок, чтобы купить еду на завтра, а правильное сказать — на сегодня, потому что утро уже наступило, и дал ему денег, взявши их у Петра.

И он пошел по прохладным еще улицам города, в четвертый, в пятый и в шестой раз повторяя про себя: кого; что рассказать; что делать потом, — и держал свой путь туда, куда ему было приказано, а вовсе не на рынок. И он удивлялся, почему черное, звериное предчувствие беды сейчас, когда он выполняет приказание Рабби, не только не покидает его, но даже как будто усиливается с каждым шагом, и почему-то виделись ему в уличных голубых тенях бешеные глаза опасного Иоанна и чудился ледяной отблеск на лезвии его длинного ножа...



Он пришел, куда ему было приказано, и спросил того, кого приказано было спросить, и сначала его не пускали, и мучительно долго томили в огромном, еле освещенном единственным факелом помещении, так что ноги его застыли на каменном полу, а потом повели куда-то, и он предстал, и без запинки, без единой ошибки (это было счастье!) проговорил все, что ему было приказано проговорить. И он увидел, как странная, противоестественная радость разгорается на холемом лице богатого человека, перед которым он стоял. Когда он закончил, его похвалили и сунули ему в руки мешочек с деньгами. Все было именно так, как предсказывал Рабби: похвалят, дадут денег, — и вот он уже ведет стражников.

Солнце поднялось высоко, народу полно на улицах, и все расступаются перед ним, потому что за ним идут стражники. Все, как предсказывал Рабби, а беда все ближе и ближе, и ничего невозможно сделать, потому что все идет, как предсказывал Рабби, а значит — правильно.

Как было приказано, он оставил стражников на пороге, а сам вошел в дом. Все сидели за столом и слушали Рабби, а опасный Иоанн почему-то припал к Рабби, словно стараясь закрыть его грудь своим телом.

Войдя, он сказал, как было приказано: «Я пришел, Рабби», и Рабби, ласково освободившись от рук Иоанна, поднялся и подошел к нему, и обнял его, и прижал к себе, и поцеловал, как иного сына целует отец. И сейчас же в помещение ворвались стражники, а навстречу им с ужасающим ревом, прямо через стол, вылетел Иоанн с занесенным мечом, и начался бой.

Его сразу же сбили с ног и затоптали, и он впал в беспамятство, он ничего не видел и не слышал, а когда очнулся, то оказалось, что валяется он в углу жалкой грудой беспомощных костей, и каждая кость болела, а над ним сидел на корточках Петр, и больше в помещении никого не было, все было завалено битыми горшками, поломанной мебелью, растоптанной едой и обильно окроплено кровью, как на бойне.

Петр смотрел ему прямо в лицо, но словно бы не видел его, только судорожно кусал себе пальцы и бормотал, большей частью неразборчиво. «Делать-то теперь что? — бормотал Петр, бессмысленно тараща глаза. — Мне-то теперь что делать? Куда мне-то теперь деваться? — а заметивши наконец, что он очнулся, схватил его обеими руками за шею и заорал в голос: — Ты сам их сюда привел, козий отброс, или тебе было велено? Говори!» — «Мне было велено», — ответил он. «А это откуда?» — заорал Петр еще пуще, тыча ему в лицо мешочек с деньгами. «Велено мне было», — сказал он в отчаянии. И тогда Петр отпустил его, поднялся и пошел вон, на ходу засовывая мешочек за пазуху, но на пороге приостановился, повернулся к нему и сказал, словно выплюнул: «Предатель вонючий, иуда!»

На этом месте рассказа наш гусенок внезапно оборвал себя на полуслове, весь затрясся и с ужасом уставился на дверь. Тут и мы всей бригадой тоже посмотрели на дверь. В дверях не было ничего особенного. Там стоял, держа портфель под мышкой, Агасфер Лукич и с неопределенным выражением на лице (то ли жалость написана была на этом лице, то ли печальное презрение, а может быть, и некая ностальгическая тоска) смотрел на гусенка и манил его к себе пальцем. И гусенок с грохотом обрушил все свои мослы на пол и на четвереньках пополз к его ногам, визгливо вскрикивая:

— Велено мне было! Велено! Он сам велел! И никому не велел говорить! Я бы сказал тебе, Опасный, но ведь он никому не велел говорить!..

— Встань, дристун, — сказал Агасфер Лукич. — Подбери сопли. Все давно прошло и забыто. Пошли. Он хочет тебя видеть.

29. Сегодня наступило, наконец, семнадцатое, но не семнадцатое ноября, а семнадцатое июля. Солнце ослепительное. Грязища под окнами высохла и превратилась в серую растрескавшуюся твердь. Тополя на проспекте Труда клубятся зелены, сережки с них уже осыпались. Жарко. В чем идти на улицу — непонятно. Самое летнее, что у меня есть, это нейлоновая майка и трусы.

Прямо с утра Парасюхин облачился в свой черный кожаный мундир ээсовского самокатчика (а также патрона «Голубой устрицы») и пристал к Демиургу, чтобы тот откомандировал его в Мир Мечты. Мир — с большой буквы, и Мечта — тоже с большой буквы. Трижды Демиург нарочито настырным, казенно-дидактическим тоном переспрашивал его: Мир чьей именно Мечты имеется в виду? Даже я, внутренне потешаясь над происходящим, почувал в этом настойчивом переспрашивании какую-то угрозу, какой-то камень подводный, и некое смутное неприятное воспоминание шевельнулось во мне, я даже испытал что-то вроде опасения за нашего Парасюхина.

Однако румяный болван не учуял ничего — со всей своей знаменитой нордической интуицией и со всем своим широко объявленным Внутренним Голосом. Он пернапролом: Мир только одной Мечты возможен, все остальное — либо миражи, либо происки... Мечта чистая, как чист хрустальный родник, нарождающийся в чистых глубинах чистой родины народа... его, парасюхинская, личная Мечта, она же мечта родов народных...

С тем он и был откомандирован. Вот уже скоро обедать пора, а его все нет.

Явилась пара абитуриентов. Юнец и юница, горячие комсомольские сердца. Оба в зеленых выгоревших комбинезонах, исполосованных надписями БАМСТРОЙ, ТАМСТРОЙ, СЯМСТРОЙ, такие-то годы (в том числе и 1997, что меня несколько удивило). Лица румянятся смущением и пылают энтузиазмом.

К стопам был повергнут проект «О лишении человечества страха». Фундамент и отец нашей цивилизации — страх... Совесть зачастую тоже базируется на страхе... и тому подобное. Вообще весь проект построен на микроскопическом личном опыте и на вычитанной где-то фразе: «Поскребите любое дурное свойство человека, и выгянет его основа — страх». (Сказано в манере Бернарда Шоу, но это не Бернард Шоу.) Страх сковывает и угнетает: чувство справедливости, прямоту-честность-откровенность, гордость сюда же, собственное достоинство, принципиальность...

Демиург запутал их играючи. Нельзя ведь отрицать, что страх сковывает и угнетает также: садизм-мазохизм, стремление к легкой наживе, склонность к лжесвидетельству, мстительность, агрессивность, потребительское отношение к чужой жизни, склонность к анонимкам, идиотскую принципиальность... Кроме того, если поскристи кое-какие *добрые* свойства кое-каких людей, то и в этом случае частенько вылезает наружу все тот же страх... Впрочем, сама по себе мысль не дурна, есть о чем поразмыслить, однако требуется тщательная и всесторонняя доработка. Проводить! Угостить нашим морсом! Подать пальто!

Какие пальто в середине июля! Я повел их на кухню поить морсом, и тут объявился

Парасюхин.

Он обвалился в коридоре, как пласт штукатурки с потолка, и огромным мешком с костями дробно обрушился на линолеум. Я только рот разинул, а он уже собрал к себе все свои руки-ноги, заслонился растопыренными ладонями, локтями и даже коленями и в таком виде вжался в стену, блестя сквозь пальцы вытаращенным глазом. Волна зловония распространилась по коридору — то ли он обгадился, то ли его недавно окунали в нужник, — я не стал разбираться. Я просто крикнул бригаду. Бригада набежала, и я распорядился. Парасюхина поволокли волоком в санобработку, — Колпаков, как обычно, с молчаливой старательностью, Матвей Матвеевич — с визгливыми причитаниями, а Спиртов-Водкин — поливая окрестности сквернословием, словно одержимый болезнью де ля Туретта.

И вот тогда-то я осознал, наконец, смутные свои опасения, отчетливо и в деталях вспомнив о своем собственном печальном опыте в Мире Мечты Матвея Матвеевича Гершковича...

Мир Мечты, назидательно сказал я юнице и юнцу, взиравшим на происходящее с трепетом и жадным любопытством, Мир Мечты — это дьявольски опасная и непростая штука. Конечно же, мечтать надо. Надо мечтать. Но далеко не всем и отнюдь не каждому. Есть люди, которым мечтать прямо-таки противопоказано. В особенности — о мирах.

Юнец с юницей меня не поняли, конечно. Да я и не собирался им что-либо втолковывать, я просто собирался напоить их морсом, что и сделал под разнообразные элоквенции, явственно доносящиеся из санпропускника.

А совсем уже к вечеру объявился Агасфер Лукич, и не один.

«Эссе хомо!» — провозгласил он, обнимая гостя за плечи и легонько подталкивая его ко мне. Гость растерянно улыбался — небольшого роста, ладный человек лет пятидесяти, в костюме странного покроя. На правой скуле его розовело что-то вроде пластыря, но не пластырь, а скорее остаток небрежно стертого грима. И с левой рукой у него было не все в порядке — она висела плетью и казалась укороченной, кончики пальцев едва виднелись из рукава.

Таким я увидел его в первый раз — немного растерянным, не вполне здоровым и очень заинтригованным.

— Прошу любить и жаловать, — произнес Агасфер Лукич весело. — Георгий Ана...

*(Примечание Игоря В. Мытарина . На этом рукопись «ОЗ» обрывается. Продолжения я никогда не видел и не знаю, существует ли оно. Скорее всего, весь дальнейший текст был изъят самим Г. А. — например, из соображений скромности. Я вполне допускаю, что вся изъятая часть рукописи посвящена главным образом Г. А. Разумеется, возможны и другие объяснения. Их даже несколько. Да только какой смысл приводить их здесь? Все они слишком уж неправдоподобны.)*

### **Необходимое заключение**

По понятным причинам, на двадцатом дне июля мои записи прерываются и возобновляются уже только зимой. Прошло сорок лет, и я не способен сейчас подробно и связно изложить события утра двадцать первого июля. Почему мы все

оказались рядом с Г. А. около его автомобиля в холодных предрассветных сумерках? Как ухитрились подняться в такую рань после треволнений предыдущего дня? Может быть, мы и вовсе не ложились? Может быть, мы догадывались, какое решение примет Г. А., и всю ночь дежурили, чтобы не упустить его одного? Не помню.

Помню, что сразу же сел за руль.

Помню, как Г. А. непривычно грозным и повелительным голосом объявляет, что девочки не поедут никуда.

Помню, как Зойка без кровинки в лице кусает себе пальцы, запустив их кончики в рот, — словно в какой-то старинной мелодраме, ей-богу.

Помню, как Иришка рвется в машину, заливаясь громким плачем, и слезы у нее летят во все стороны, будто у ревущего младенца.

И очень хорошо помню Аскольд — как он решительно выдвигается, крепко берет Иришку сзади за локти и успокаивающе сообщает Г. А.: «Не беспокойтесь, поезжайте, я ее придержу».

На всю жизнь я запомнил это: *Вы поезжайте себе, а я ее здесь придержу*.

(Понимаю и догадываюсь, Аскольд Павлович, наверное, тебе очень неприятно читать сейчас эти твои слова. Допускаю даже, что ты за сорок лет успел совсем позабыть их. Допускаю даже, что ты в то время вообще не придавал им значения: слова как слова, не хуже других. Однако в свете того, что произошло потом, они звучат сейчас, согласись, достаточно одиозно. Что делать? Из песни слова не выкинешь. Да и кому это нужно — выкидывать слово из песни?)

Почти совсем не помню проезда нашего по городу. Смутно брезжит только в моей памяти ощущение недоумения по поводу того, что в такую рань на улицах так много народу.

Помню скотомогильник в предрассветных сумерках. Мне показалось тогда, что кости шевелятся, а черепа провожают нас пустыми глазницами.

Флора не спала. Множество костров догорало, и бродили между кострищами понурые зябкие фигуры. Воняло пригорелой кашей, аптекой, волглым тряпьем. Запахи почему-то запомнились. Вот странно!

Г. А. подошел к самому большому костру и сел у огня. Рядом с нуси. Рядом со своим сыном. И сейчас же все вокруг заговорили. Ни одной фразы я не запомнил, тем более что говорили в общем-то на жаргоне, помню только, что это были жалобы и проклятья. Они проклинали Г. А. за ту беду, которую он на них накликал, и жаловались ему, как им страшно сейчас и обреченно. Г. А. молчал, он только обводил взглядом кричавших, плакавших, задыхавшихся в истерике.

Потом все куда-то исчезли, и у костра нас осталось только трое, и нуси принялся уговаривать отца уйти, пока не поздно. Он говорил что-то о смысле и бессмыслице, что-то о судьбах и жертвах, что-то о надежде и отчаянии. Нормальным, я бы сказал даже — нормированным русским языком, безукоризненно чисто и правильно. Г. А. ответил ему: «У тебя свои ученики, у меня — свои. У вас своя правда, у нас — своя», — и нуси ушел.

Помню, как мне было страшно. зуб на зуб не попадал. Наверное, так чувствуют себя перед казнью. Ни одной жилки не было спокойной в моем теле. Г. А. обнял меня

за плечи и прижал к себе. Он был горячий, надежный, твердый и в то же время такой маленький, такой щуплый, такой незащищенный, и я впервые обнаружил, что я ведь на целую голову длиннее его и вдвое шире в плечах.

И тут у костра оказался этот толстенький, лысоватый, в дурацком костюмчике с дурацким разбухшим портфелем под мышкой.

(Я ведь и сейчас толком не понимаю, кто он такой, — то ли в самом деле выплыл из прошлого, то ли все-таки соскочил со страниц этой странной рукописи. Ощущаю я в нем какое-то беспощадное чудо, если только не примерещился он мне тогда у костра, потому что в то утро мне могло примерещиться и не такое. Тогда же, помнится, ни о какой рукописи я и не подумал, — был он для меня просто раздражающе чужаковатый и неуместный тип, не к месту и не ко времени прицепившийся к моему Г. А.)

Они поговорили о чем-то. Коротко и невнятно. Деталей не помню никаких. Помню только, что чужаковатый тип говорил голосом и тоном, совсем не подходящим ему ни по виду его, ни по ситуации. Ах, как жалею я сейчас, что не прислушался я тогда к их разговору. А запомнились мне лишь последние слова Г. А. — видимо, я тут же отнес их к самому себе: «Да перестаньте вы, в самом деле. Ну какой я вам терапевт? Я самый обыкновенный пациент...»

Солнце уже высунулось из-за холмов, и я увидел на западе, там, где проходила дорога, ярко и весело освещенную, желтую клубящуюся стену. Это была пыль. Колонна свернула с шоссе и двигалась к нам.

## ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРЕИСПОДНЮЮ

### Современная сказка

#### Часть первая. Погоня в космосе

##### 1

На берегу некогда студеного, а ныне и навеки теплого океана жили-были три закадычных друга: мастер, спортсмен и ученый. В память о знаменитых мушкетерах мы будем называть их Атосом, Портосом и Арамисом, потому что, во-первых, настоящие их имена большого значения не имеют, а во-вторых, их действительно так всегда и называли, ибо были они неразлучны, готовы были друг для друга на любые подвиги и дружбу свою ставили превыше всего. И если кто-нибудь из их знакомых говорил: «Вчера наши мушкетеры опять отличились», то все сразу понимали, о ком идет речь, и без лишних слов спрашивали: «Что еще они там натворили?» При всем том они были-таки довольно разные люди, что, впрочем, не удивительно, принимая во внимание их профессии. Ведь всем известно, что мастера на нашей планете заняты созданием неопишимо прекрасных произведений искусства и конструированием неслыханно могущественных механизмов; спортсмены развивают замечательные возможности человеческого организма и доводят до совершенства красоту человеческого тела; а ученые — они ученые и есть: замышляют дерзкие походы к самым истокам вещества и планируют чудесные превращения живой материи. Поэтому ученые, спортсмены и мастера всегда будут несколько отличаться друг от друга, пока какой-нибудь гений не совместит в одно лабораторию, стадион и мастерскую.

Однако по части досугов вкусы у наших друзей были примерно одинаковые и нередко причиняли беспокойство окружающим. То они заплывали далеко в океан, подкрадывались к пожилому кашалоту, задремавшему под солнцем на ленивой волне, и вдруг принимались с гиканьем его щекотать, так что тот с воем и фырканием мчался жаловаться подводным пастухам. То они принимались на ночь глядя разучивать под гитару новую лирическую песенку, и, поскольку у Портоса был могучий бас, но не было практически никакого музыкального слуха, это неизменно приводило людей, зверей, птиц и роботов, застигнутых врасплох на ближайших гектарах, в необычайное возбуждение. А однажды они тайком сконструировали безобразный механизм, который среди бела дня прошел по центральной улице, играя на черной дудочке, и все роботы-няни, роботы-дворники, роботы-садовники в поселке бросили свои дела, устремились за ним в степь и вернулись только через неделю. Словом, это были порядочные шалопаи, и, хотя многим их знакомым подобные выходки очень нравились, все вокруг вздыхало с облегчением, когда на неразлучных мушкетеров напал тихий стих и они часами валялись где-нибудь в тени на травке, погрузившись в чтение старинных книг о великих революциях и гигантских битвах народов за свободу и независимость. (Нет, все-таки они были очень разные люди. Как-то каждому из них задали один и тот же вопрос: «Что тебе интереснее всего, когда перед тобой поставлена цель?» Мастер Атос пожал плечами и небрежно ответил: «Пожалуй, искать средства для достижения этой цели». Спортсмен Портос воскликнул, не задумываясь: «Конечно, добиваться этой цели во что бы то ни стало!» А ученый Арамис произнес своим обычным тихим голосом: «Наверное, узнать, что будет после того, как я достигну этой цели». Может быть, поэтому они и были друзьями?)

Следует тут же сказать, что в повседневной деятельности нашей тройки большое участие принимала некая Галя, весьма юное и миловидное существо, обитавшее в хорошеньком домике неподалеку. Была она не то двоюродной сестрой, не то троюродной теткой Арамиса и на правах родственницы охотно соглашалась, в зависимости от настроения, либо устраивать мушкетерам выволочку от имени и по поручению возмущенной общественности, либо умиротворять возмущенную общественность от имени и по поручению мушкетеров. В промежутках она выводила на опытном участке за поселком новые сорта винограда, заставляла Атоса мастерить механические игрушки для соседских ребятишек («Ты когда-нибудь оставишь меня в покое со своими сопляками, капустная кочерыжка?»), занималась под руководством Портоса художественной гимнастикой («Носок! Тяни носок, малышка!») и запускала Арамису за шиворот больших жуков-олений, которых он боялся хуже гибели («Уоу! Я разорву тебя на части, наглая девчонка!»). В общем, Галю почти всегда можно было найти где-нибудь неподалеку от мушкетеров (или мушкетеров неподалеку от Гали), так что их знакомые частенько называли ее «д'Артаньяном в юбке», хотя Галя по некоторым соображениям нипочем не желала откликаться на это во всех отношениях лестное прозвище. И когда Галя по субботам отправлялась верхом в Зеленую долину на блины к своему любимому дедушке, бывшему коку Северного подводного флота, ее почти всегда сопровождали мушкетеры — то ли из дружеской привязанности, то ли в предвкушении великолепных блинов, до которых все они были великие охотники. И надо было видеть, как они летят галопом по обочине шоссе, выпятив поджарые зады и пригнувшись к гривам, пронзительно свистя и подбадривая друг друга удалыми возгласами!

Собственно, эта история началась именно в одну из таких суббот, только в тот день

Атос и Арамис были заняты, и сопровождать Галю к деду отправился один Портос. День был отличный, солнечный, в бездонном синем небе важно плыли пухлые, как сбитые сливки, бело-желтые облака. Галя и Портос галопом скакали вдоль шоссе, а вокруг простиралась Зеленая долина: цветущие сады, изумрудные луга, уютные домики и ажурные павильоны, прозрачные ручьи и синие, как небо, реки под горбатыми мостиками, и весело уносились назад километровые столбы с цифрами: 110... 111... 112... Бил в горящие лица свежий ветер, яростно фыркали могучие кони, роняя с серых губ плотную пену, потешная лохматая собачонка кинулась вслед и отстала... И все было просто замечательно, особенно если принять во внимание, что на финише их ждали горы раскаленных золотистых блинов со всеми онерами и причиндалами и запотевшие от холода кувшины с благородным светлым сидром, от которого щиплет язык и слезы навертываются на глаза.

Вдруг Галя на всем скаку так резко осадил коня, что тот свирепо заржал и взвился на дыбы. Портос проскакал с разгона еще десяток шагов и тоже остановился.

— В чем дело? — осведомился он, поворачиваясь в седле.

Галя не ответила. Сдвинув брови, она озадаченно разглядывала километровый столб. Портос подъехал к ней.

— Ну? — спросил он. — Что случилось?

— Гляди... — растерянно показала Галя. — Что это?

Он поглядел. Столб как столб. На белой эмалированной дощечке черные цифры: 160.

— Сто шестьдесят, — нетерпеливо прочел он. — Круглое число. Ну?

— И лес впереди, — прошептала Галя.

Действительно, шоссе впереди уходило в дремучий лес. Что-то забрезжило в сознании Портоса сквозь сладостные видения дымящихся блинов и запотевших стаканов. Галя, не говоря больше ни слова, развернула коня и помчалась назад. Портос пустился за нею. Они остановились у предыдущего столба. На белой эмалированной дощечке чернели цифры: 120.

— Сто двадцать... — по-прежнему шепотом проговорила Галя. — И сразу — сто шестьдесят... и сразу лес...

— Это что же такое происходит? — недоуменно сказал Портос. — Это, значит, выходит, что куда-то запропастились сорок километров шоссе!

— Не просто шоссе, глупый! — закричала Галя, и ее прекрасные зеленые глаза налились слезами. — Неужели не понимаешь?! Пропала половина Зеленой долины, пропал дедушкин дом, понимаешь?

— Ты не расстраивайся, — пробормотал Портос. — Может, все не так страшно...

Они снова развернули коней и вернулись к столбу на опушке леса.

— Сто шестьдесят, — сказал Портос. — Какая глупая шутка!

— Это не шутка. Это тебе не китов щекотать. Здесь произошло что-то очень страшное! Что же теперь делать?

Портос подумал.

— Надо рассказать Атосу и Арамису, — решительно произнес он. — Едем назад.

— Нет, — сказала Галя. — Едем вперед.

— Но впереди же просто лес...

— Вот и посмотрим, что там.

Они с места пустили коней в галоп и влетели в лес. В лесу царили душноватые сумерки, звонко стучали копыта по бетонке, и уносились назад километровые столбы с цифрами: 161... 162... 163... 164... «Лес и лес, — с досадой думал Портос, вглядываясь в черно-зеленую тьму по сторонам шоссе. — Обыкновенный смешанный лес. Только время зря теряем. Нам бы скорее домой и сообщить обо всем Атосу и Арамису, это же такие головы, что поискать, а мы скачем куда глаза глядят». Но он по опыту знал, что упрямая девчонка в спорах непобедима. Ладно, снизойдем... И тут он обнаружил странную вещь. Кони с галопа незаметно перешли на рысь, затем пошли шагом, и не успел он поделиться этим ценным открытием с Галей, как его могучий жеребец повернулся боком и встал поперек шоссе словно вкопанный.

— Ну? — удивленно спросил его Портос. — Ты что это? В чем дело?

Жеребец молча помотал головой.

— Может быть, ты устал?

Жеребец понюхал бетонку и фыркнул.

— Что с конями? — встревоженно спросила Галя.

Ее конь пятился, задирая голову, его сотрясала крупная дрожь.

— Так-так-так! — сказал Портос, нахмурясь. — А кони-то не хотят идти дальше, боятся. Выходит, ты была права, малышка: впереди что-то есть.

Они поглядели друг на друга, потом на своих коней.

— Ну как, поворачиваем? — спросил Портос.

Он спросил просто так, на всякий случай. Он отлично знал, что будет дальше. И верно: Галя соскочила с коня и сказала:

— Мы не кони. Мы пойдем дальше.

Разговаривать было бесполезно. Портос со вздохом спешил, привязал конец узды к ближайшей сосне и тоном, не допускающим возражений, произнес:

— Я иду впереди, ты — в десяти шагах позади меня.

Так они и пошли, держась середины шоссе, то и дело оглядываясь по сторонам. За километровым столбом с цифрами 168 лес внезапно расступился, и перед ними открылась просторная поляна, на которой возвышался крутой, поросший жухлой травой курган с плоской вершиной.

## 2

Некоторое время Портос и Галя стояли, держась за руки, настороженно вглядывались и прислушивались. На вершине кургана обширной зеленой тучей громоздился гигантский приземистый дуб, похожий больше на баобаб, а в его тени виднелось ветхое строение с провалившейся крышей и черными прямоугольниками пустых окон. Было очень тихо, не слышно было ни обычного жужжания шмелей, ни



стрекота кузнечиков. И ярко сияло в синем небе над головой полуденное солнце. Потом налетел порыв ветра, зашелестела, зашумела, засверкала серебристыми искрами дубовая листва, и длинно и тоскливо заскрипело что-то — то ли наполовину сорванная ставня, то ли ржавые дверные петли. Галя вздрогнула и прижалась к Портосу. Но ветер пролетел, и все снова стихло. Портос мужественно откашлялся.

— Я схожу посмотрю, а ты подожди здесь, — предложил он.

— Нет уж! — сказала Галя решительно. — Я уж лучше с тобой.

По колена в густой траве они пошли через поляну. Белый пушистый комочек с тихим писком выскочил из-под ног Портоса и скрылся. «Кролик», — машинально подумал Портос. Солнце припекало. Они подошли к подножию кургана и стали подниматься по крутому склону. С каждым шагом развесистая крона дуба все дальше надвигалась на небо. Наконец она надвинулась на солнце, и сразу сделалось прохладно. Даже как-то зябко, с удивлением отметил про себя Портос.

— Слушай, ты не боишься? — шепотом спросила Галя.

— Еще чего! — громовым басом отозвался он.

Она изо всех сил вцепилась пальчиками в его ладонь, и он ободряюще улыбнулся ей, стараясь показать как можно больше своих превосходных зубов. Увидеть такие зубы будет бесполезно и неведомому чудовищу, если оно сейчас тайком наблюдает за ними. Портос был великий стратег.

Вблизи заброшенный дом оказался именно тем, чем казался издали: заброшенным домом. Бревенчатые стены почернели и покрылись зеленовато-голубым лишайником, окна с выбитыми стеклами были затянуты пыльной паутиной, покосившиеся и насквозь прогнившие доски крыльца вели к отверстому дверному проему, а дверь косо висела на одной ржавой петле. Портос легко сорвал ее, отшвырнул в сторону и, пригнувшись под низкой притолокой, вошел в дом. Галя следовала за ним по пятам.

— Так-так-так! — произнес Портос, осматриваясь. — Мерзость запустения...

Весь дом состоял из одной-единственной и совершенно пустой комнаты. Щелястый пол был покрыт густым слоем пыли, со стен свисали обрывки обоев неопределенной расцветки, потолок просел и наполовину обрушился, сквозь проломы видны были балки, подпирающие крышу, а сквозь дыры в крыше виднелась зеленая листва дуба. Портос шумно принялся.

— И воняет здесь как-то скверно, — сказал он. — Кислотой воняет...

Галя вдруг отпустила его руку и присела на корточки.

— Портос! — тихо проговорила она. — Портос, гляди! Следы!

— Где следы? — живо спросил Портос, шаря глазами по стенам вокруг себя.

— Ну куда ты смотришь? Смотри сюда!

Портос нагнулся. Он едва успел отыскать взглядом странные вмятины в пыли на полу, словно здесь топтался слон на своих ногах-тумбах, и в то же мгновение жуткий протяжный вопль разорвал тишину, на чердаке захлопали могучие крылья, и с потолка посыпался потоками мусор. Это произошло так неожиданно, что Портос и Галя целых три секунды оставались в прежних позах, не в состоянии пошевелиться, прикрыть головы, крикнуть. А странное нападение продолжалось.

«Уху-у-у-у! Уху-у-у-у!..» — вопил нечеловеческий голос, бились о чердачные балки невидимые крылья, валился сверху мусор, и весь дом заполнился плотными клубами удушливой пыли. Портос наконец опомнился.

— Эй, там! — взревел он. — Наверху! Шею сверну мерзавцу!

— Бежим! — отчаянно крикнула Галя.

Легко сказать — бежим. С большим трудом, чихая, кашляя и отплеываясь, они ощупью добрались до двери и вывалились наружу. Суматоха на чердаке сейчас же прекратилась, снова наступила тишина. Портос и Галя медленно поднялись на ноги, поглядели друг на друга и сейчас же принялись молча чиститься. Из окон и двери дома ползли и оседали на траву прозрачные серые облака пыли.

— Чтоб ты сдохла, окаянная! — прорычал Портос, ожесточенно выскребая пятерней мусор из волос.

— Ты это про кого? — спросила Галя.

— Про птицу эту, про кого же еще? Ты не заметила? Громадная такая белая птица, похожая на филина...

— Птица, — повторила Галя. — Ладно, пусть птица. Пойдем.

Лицо ее, измазанное пылью, было бледно, губы плотно сжаты, зеленые глаза горели. Они молча, изо всех сил стараясь не оглядываться, спустились с кургана, молча пересекли поляну, вернулись на шоссе и молча дошли до того места, где оставили коней. Только когда копыта снова застучали по бетонке, Галя сказала:

— Я убеждена, что все дело в этом кургане и в этой развалине. Здесь кроется какая-то страшная тайна, и, если мы ее не раскроем, нам никогда не узнать, что случилось с половиной Зеленой долины и с дедушкой.

— Ага... — глубокомысленно отозвался Портос. — Значит, ты считаешь, что птица обо всем догадалась и потому напала на нас?

— А ты как считаешь?

— Признаться, я думал... она могла просто испугаться, если у нее там, скажем, гнездо или еще что-нибудь. Мы там кричали, шумели, она завозилась, заорала, забила крыльями...

Галя с состраданием поглядела на него:

— Милый Портосик, ты помнишь, в какой момент все это началось?

— Началось это... Да, конечно! Как только ты показала мне следы... Странные, признаться, следы...

— Вот именно. Когда она увидела, что мы обнаружили следы, она завалила их всякой дрянью, а нас попросту выгнала.

— Ага... — произнес Портос. Он весь даже покраснел от умственного напряжения. — Значит, ты считаешь, что эта птица причастна к исчезновению долины и... э... дедушки? Что же это за птица?

Галя не ответила. Они выехали из леса и снова пустили коней по обочине. В эту минуту над их головами раздался жалобный писк. Портос взглянул в небо и изумленно ахнул:

— Да это же она, собственной персоной!

Огромная белая птица с круглой кошачьей головой и огромными глазами парила над ними, сжимая в когтях маленького пушистого зверька.

— Смотри, она схватила кого-то! — закричала Галя. — Она его съест!

Портос мигом слетел с седла, нагнулся, пошарил под ногами и выпрямился, подбрасывая на ладони увесистый булыжник. Птица холодно и равнодушно разглядывала его сверху, покачиваясь на неподвижно распростертых крыльях. Портос размахнулся. Р-р-раз! Булыжник ударил птицу под левое крыло. Знакомый жуткий вопль прозвучал над долиной. Птица разжала когти и, сильно кренясь на левый бок, исчезла за верхушками деревьев, а белый пушистый комочек упал к ногам Портоса.

— Дай его сюда, — сказала Галя. — Да осторожней, не сделай ему больно!..

Это был странный зверек: настоящий Чебурашка, только белый как снег и с красными глазами. Он трясся в Галиных ладонях, и сквозь пушистый мех она отчетливо ощущала, как бешено стучит его крошечное сердце.

— Бедненький... — проговорила Галя. — Напугался...

— Еще бы! — сказал Портос. — А кто это? Котенок?

— Да нет. Видишь, хвостик какой короткий.

— Значит, крольчонок?

— Тоже нет. Ушки маленькие... Ладно, садись на коня. Едем прямо к Атосу, надо спешить.

### 3

Не умывшись, не переодевшись, бросив коней прямо на улице, Галя и Портос вбежали в дом Атоса, втиснулись в кабину лифта, похожую на стакан из цветного стекла, и спустились в его обширную мастерскую. Здесь пол дрожал под ногами, низко гудели замысловатые механизмы в округлых сетчатых кожухах, стремительные сквозняки разносили запахи раскаленного металла и нагретой пластмассы, вспыхивали и гасли ослепительные лиловые огни, отбрасывая на стены зыбкие тени, и десятки больших и маленьких роботов-крабов, роботов-пауков, роботов-сколопендр деловито сновали, позвякивая сочленениями, из конца в конец этого огромного подземного зала, выполняя какие-то им самим неведомые операции. Сам Атос в белом комбинезоне стоял перед пультом управления на плоской круглой платформе, подвешенной к большому решетчатому крану.

— Эгей! — громовым голосом рявкнул Портос.

— Атос! — чистым и звонким голосом крикнула Галя.

Атос мельком взглянул на них и досадливо отмахнулся.

— Я занят! — раздраженно произнес он. — Что за манера...

Но тут до него дошло, что его друзья выглядят, мягко выражаясь, не совсем обычно. Он снова взглянул на них, уже более внимательно, присвистнул и ткнул пальцем в какую-то кнопку на пульте. Платформа плавно тронулась с места, снизилась и опустилась рядом с Галей и Портосом. Атос соскочил на пол.

— Ну и ну! — сказал он. — Где это вы так извозились? Как вам не стыдно

появляться у меня в мастерской в таком виде?

— Пропала половина Зеленой долины! — торопливо заговорил Портос.

— Пропал дедушка! — заговорила одновременно Галя.

— Сорок километров шоссе...

— Сначала мы скакали верхом, а потом кони испугались...

— Все дело в этом кургане с дубом и старым домом...

— Как только мы нашли следы, она заорала и засыпала нас...

— Огромная белая птица, вроде филина...

— Здесь какая-то опасная тайна...

— Я подбил ее камнем, но она улетела...

Атос легонько похлопал их по губам ладонью, и они послушно замолчали. Атос поглядел на ладонь, вытер ее белоснежным носовым платком и бросил платок на пол. Немедленно расторопный робот-краб подхватил платок и куда-то унес.

— Разберемся, — произнес Атос и сел на край платформы. — Вы чудовищно, до отвращения грязны, но, судя по всему, дело не терпит отлагательства. Поэтому садитесь на пол, потом за вами приберут.

Галя и Портос сконфуженно сели на пол, скрестив ноги по-турецки, а Атос достал из нагрудного кармана радиотелефон и нажал кнопку вызова.

— Слушаю, — отозвался тихий, как всегда, голос Арамиса.

— Говорит Атос. Прости, что отрываю тебя от дела, но тут ко мне явился наш спортсмен в паре с капустной кочерыжкой, они очень возбуждены и жаждут сообщить нечто весьма любопытное и, боюсь, весьма трагическое. Выслушаем их.

— Слушаю, — повторил голос Арамиса.

— Рассказывайте, — приказал Атос.

Торопливо и сбивчиво, то и дело перебивая друг друга и ссорясь из-за подробностей, Галя и Портос рассказали друзьям о своих приключениях и переживаниях. Когда они замолчали, Атос подождал немного и спросил:

— Все?

Галя и Портос кивнули.

— Что скажешь, Арамис?

— Странно и опасно. Через минуту буду у вас. Я слушал на ходу.

— Я за дедушку боюсь... — всхлипнула вдруг Галя и судорожно погладила зверька, устроившегося у нее на плече. Зверек прижался к ее щеке и заморгал красными глазками.

— Я бы что сделал? — солидно кашлянув, произнес Портос. — Я бы прямо туда пошел, к этим шутникам, и все бы у них разнес вдребезги, чтобы неповадно было...

Негромко звякнул лифт, и из кабины вышел Арамис, на ходу засовывая свой радиотелефон в карман ослепительно белого халата. Присев на край платформы рядом

с Атосом, он внимательно оглядел Галю и Портоса и улыбнулся — чуть-чуть, едва заметно, уголками губ.

— Итак? — проговорил он.

— Ты слышал их, — сказал Атос. — Выкладывай, что ты об этом думаешь.

— Давайте еще раз посмотрим, что нам известно, — начал Арамис своим тихим, спокойным голосом. — Во-первых, исчезла полоса территории шириной в сорок километров вместе с населением, растительностью и животными. Теоретически можно себе представить — а значит, и воспроизвести — условия, при которых подобная акция осуществима. В субэйнштейнианской физической геометрии она известна и носит название трехмерной контракции...

— Закрой рот, — строго сказал Атос Портосу.

— Во-вторых, — продолжал Арамис, — в дремучем лесу рядом с шоссе за сто шестьдесят восьмым километром появились поляна и курган с вековым дубом на вершине. Я говорю «появились», потому что на аэрофотографиях, отснятых всего год назад, ничего подобного не наблюдается. Я сам проверил это перед тем, как отправился сюда. В сочетании с фактом трехмерной контракции, имевшей место между сто двадцатым и сто шестидесятым километром, внезапное появление этой поляны и кургана с дубом и древним строением выглядит крайне подозрительно и наводит на мысль о маскировке. В-третьих, я совершенно согласен со своей дорогой родственницей, что действия так называемой большой белой птицы имели целью запугать и обратить в бегство непрошенных свидетелей.

— Вывод? — спросил Атос.

Арамис пожал плечами:

— Логический вывод полностью совпадает с интуитивным, к которому вы пришли и без моей помощи. Мы имеем дело с преступлением.

Воцарилось молчание. Потом Портос спросил:

— С чем?

— С преступлением, — повторил Арамис.

— Ага... — глубокомысленно произнес Портос.

— Ну как тебе не стыдно! — нетерпеливо сказала Галя. — Ты же читал... Это когда сбрасывали бомбы на женщин и детей, сжигали города, травили людей газами...

— Да, — сказал Портос. — Правда. Я вспомнил. Значит, мы имеем дело с преступлением. Очень хорошо. А то я думал, что это просто дурацкая шутка.

— О шутках лучше пока забыть, — сказал ему Атос и повернулся к Арамису. — Давай нам последнее звено, старина. Кто преступники?

— Люди не совершали преступлений уже лет сто, — тихо ответил Арамис. — А преступлений, связанных с применением громадных энергий и мощной техники, на нашей планете и в ее окрестностях не случалось уже лет двести. Сам собой напрашивается вывод, что преступники... — Он замолчал и поднял кверху указательный палец.

Портос поглядел на потолок.

— Неужели соседи? — испуганно спросил он.

— Ну что ты с ним будешь делать! — возмущенно воскликнул Атос и хлопнул себя по коленям.

— Нет, — сказал Арамис, — преступники — пришельцы из Глубокого космоса. Мы еще не знаем, что у них на уме и каковы их возможности, но мы должны быть готовы к самому худшему.

— К войне! — жестко сказал Атос.

Портос вскочил и стал засучивать рукава.

— Мы их расшибем! — объявил он. — Мы им накостыляем! Мы им покажем, этим космическим нахалам! Пошли, ребята!

— Сядь, — приказал Атос. — Да, война. Мы очень давно не воевали, но мы вспомним, как это делается. Вот что я предлагаю. Прежде всего, конечно, надо оповестить Всемирный совет. Там сидят умные люди, и они, несомненно, придумают что-нибудь солидное. Но мы не будем их дожидаться. Как солдаты мы не хуже и не лучше любого из десяти миллиардов людей, населяющих планету. Но мы первыми обнаружили преступников, и мы первыми примем бой. Ясно, что преступники, совершив диверсию между сто двадцатым и сто шестидесятым километрами, на этом не успокоятся. Если бы мы знали, где и когда они совершат следующую, мы бы встретили их именно там и именно в то время. Но мы этого не знаем. Я предлагаю пойти на риск: ударить прямо по гнезду, по поляне с курганом. Если мы победим, все в порядке. Если мы погибнем, это будет добрая разведка боем. И мы сделаем это завтра же утром. Согласны?

— Согласны! — хором ответили Галя, Портос и Арамис.

Галя ответила громче всех, громче даже Портоса, и мушкетеры разом замолчали и в замешательстве уставились на нее. Измазанное лицо ее пылало, глаза метали зеленые молнии, кулачки были сжаты так, что побелели косточки. Она была уже не в мастерской, она была уже не с друзьями, она мчалась на лихом коне через зловещую поляну, размахивая кривой саблей, и врубалась в ряды коварных космических преступников. Разумеется, эти сладостные иллюзии были немедленно и грубо разрушены. Мушкетеры пустили в ход все средства: логику, шантаж, угрозы, лесть, обещания — и в конце концов взяли верх. Было решено, что во время завтрашней операции Галя расположится в лаборатории Арамиса и будет выполнять ответственнейшее задание по поддержанию непосредственной связи с уполномоченными Всемирного совета.

Галя еще всхлипывала и размазывала по румяным щекам слезы и грязь, а Портос и Атос отдувались и утирали потные лица, когда Арамис вдруг спросил:

— А где же этот Галин зверек?

Все хлопотливо заерзали, озираясь.

— Вот он! — в изумлении вскричал Портос, вскакивая на ноги.

Белый пушистый комочек стремительно катился к лифту.

— Стой! — заревел Портос и первым бросился в погоню. — Стой, тебе говорят!

Атос и Арамис отстали от него всего на пять шагов, но странный зверек уже

нырнул в прозрачную кабину, похожую на стакан из цветного стекла, ловко, словно муха, взбежал по ее стенке и ткнул лапкой в кнопку подъема. Когда Портос добежал до лифта, кабина уже уносилась вверх.

Лишь через несколько минут ошеломленные и взволнованные друзья выбежали на улицу из дома Атоса. И они сразу увидели: в темно-синем предвечернем небе, мерно размахивая крыльями, улетает в сторону Зеленой долины, в сторону дремучего леса, в сторону поляны с курганом большая белая птица, сжимающая в когтях пушистый комочек. Она улетала все дальше, превратилась в белую точку и исчезла. Тогда они переглянулись. У Атоса глаза были как темные щели, лицо Арамиса окаменело, Портос шумно дышал, сжимая и разжимая огромные кулаки, у Гали дрожали губы.

— Мы еще не знаем, что представляет собой противник, — медленно произнес Атос, — но мы можем считать, что война нам объявлена. И выше носы! — прикрикнул он. — Слушай мою команду! Галя, немедленно отправляйся домой, приведи себя в порядок и ложись спать. Никаких возражений, это приказ! Завтра у тебя будет трудный день, это я тебе обещаю... (Он и не подозревал, насколько был прав, когда давал это обещание.) Портос, ступай в ванную, переоденься и возвращайся ко мне в кабинет. Мы с Арамисом тем временем свяжемся с Всемирным советом...

Когда весь красный, распаренный и чрезвычайно чистый Портос в одних трусах вывалился из ванной, его друзья ползали по огромной аэрофотокарте, разостланной прямо на полу.

— Ну, стратеги, как дела? — осведомился он, плотно усаживаясь на пустынное плоскогорье к западу от поселка. — Связались с советом?

— Связались, — рассеянно ответил Атос.

— И что они вам сказали?

— По-моему, они не очень нам поверили. Да этого и следовало ожидать. Я бы на их месте тоже не поверил. Но обещали принять соответствующие меры.

— Какие меры?

— Соответствующие.

— Ага... — глубокомысленно сказал Портос. — А как Галя?

— Только что звонила. По-моему, из постели. Зевала так, что едва могла говорить.

— Умаялась малышка, — сказал Портос с нежностью.

Атос бросил циркуль, выпрямился и поглядел Портосу в глаза.

— Слушай, спортсмен, — произнес он, понизив голос, — ты сейчас как, в форме?

— Вполне.

— Мы здесь с Арамисом посоветовались, и у нас возникла одна идея. (Портос кашлянул и приосанился: идеями с ним делились редко.) Дело в том, что противнику теперь известен наш план утреннего нападения. По всем правилам нам следовало бы напасть немедленно, пока он не подготовился. Но мы еще не вооружены. Мы с Арамисом еще только собираемся в Музей истории оружия...

— А я? — обиженно спросил Портос.

— Дойдет и до тебя, погоди. Мы с Арамисом выберем самое могучее, что там есть,

но нам понадобится время, чтобы подготовиться, освоиться и так далее. Одним словом, вооружение мы с Арамисом берем на себя. Тебе же предстоит не менее важное, но гораздо более опасное дело. Ты не знаешь, у кого в поселке есть летающая лодка с бесшумным ходом?

#### 4

Портос был классным водителем всех колесных, гусеничных, летающих и плавающих механизмов, и посадку на краю поляны он совершил в полной тишине. Ночь была безлунная, хотя и ясная, глаза Портоса давно уже привыкли к темноте, и он отчетливо различал неподалеку светлую полосу шоссе, а за нею, на фоне звездного неба, — черный силуэт кургана с дубом и развалиной на вершине. Выждав несколько минут и убедившись, что все спокойно, Портос выскользнул из лодки в пахучую траву и совершенно беззвучно, как только он мог это делать, пополз к шоссе. Он полз легко, без всяких усилий, переливаясь в траве, словно ртуть; он не поднимал головы, но не сбивался с направления, все мускулы его работали в лад и совершенно автоматически. Сказывался богатый опыт бесчисленных тренировок, сотен озорных проделок, десятков ответственных соревнований на земле и под землей, на воде и под водой, в воздухе и в космическом пространстве. Портос был хорошим спортсменом, и этим все сказано.

Добравшись до шоссе, он остановился. До подножия кургана оставалось шагов пятьдесят-шестьдесят, можно было бы, пожалуй, подползти еще ближе, но его могли засечь на светлой бетонке, а увидеть или по крайней мере услышать, что здесь произойдет, нетрудно было и отсюда. Портос расслабился, распластавшись в траве громадной лягушкой. Теперь оставалось только ждать. Медленно тянулись минуты, медленно двигались созвездия над черной кроной дуба, медленно и ровно стучало сердце. Время от времени над поляной проносился тепловатый ветер, и тогда глухо шумела дубовая листва и что-то длинно и тоскливо скрипело — конечно же, не дверные петли, ведь дверь Портос оторвал и бросил в сторону... Экая незадача — захотелось спать! Портос крепко зажмурился и снова раскрыл глаза. И в ту же секунду начались события.

Сначала послышался глухой рокот и легонько вздрогнула земля. Пустые окна заброшенного дома на вершине кургана медленно налились жутким сиреневым светом. Какие-то неясные, но очень уродливые тени задвигались там, и послышались торопливые шаги, а затем знакомое хлопанье могучих крыльев. Портос весь напрягся, обратившись в зрение и слух. Снова шаги — на этот раз тяжелые, уверенные, и звуки как бы астматического, с присвистом, дыхания, и жестяной скрежет... Сиреневый свет в окнах развалюхи медленно померк. Что-то звонко щелкнуло, как будто захлопнулась дверца автомобиля, и вдруг у подножия кургана вспыхнули три яркие фары.

Глухой свирепый голос произнес:

— Ка!

— Здесь, Двуглавый! — отозвался другой голос, высокий и резкий.

— Ты все понял, Ка?

— Все понял, Двуглавый...

— Исходный рубеж — сто двадцатый километр. Рубеж задачи — восьмидесятый километр. По исполнении немедленно возвращаться.



— Ясно, Двуглавый.

— Ки!

— Здесь, Двуглавый! — проревел басом третий голос.

— Ку!

— На месте, Двуглавый!.. — хриплым шепотом произнес четвертый.

— Ятуркенженсирхив!

— У тебя в кармане, Двуглавый! — тихонько пропищал пятый.

— Отлично. Ка, светает рано, постарайся управиться за три часа. Не забывай, завтра утром нам предстоит сражение. Ну, а я пока обеспечу заложника. Вперед!

Послышался низкий гул, яркие фары закачались, пришли в движение и поползли к шоссе. Портос не стал больше ждать: теперь он знал все, что нужно. Едва неведомая машина с тремя фарами выбралась на бетонку, он, теперь уже почти не скрываясь, бросился к своей летающей лодке. Через полминуты лодка на бешеной скорости зачертила днищем по верхушкам сосен, а еще через три минуты Портос посадил ее в заросли акаций напротив километрового столба с цифрами 120 и выхватил из кармана радиотелефон.

Атос и Арамис выслушали его не перебивая. Затем Атос прокричал сквозь металлический лязг и рев мощных двигателей:

— Выходит, их машина будет на сто двадцатом самое большее через десять-двенадцать минут?

— То-то и оно, — уныло сказал Портос. — А вас когда мне ждать?

— Мы делаем все, что можем! Идем на полной скорости, зубы от тряски шатаются... Будем у тебя к рассвету!

— Поздновато.

— Ты там смотри мне, спортсмен! Никаких лишних движений! Помни: ты в разведке... И не забывай, что они готовы к сражению!

— И даже намерены взять заложника... — едва слышно добавил Арамис.

— Что это такое, кстати, — заложник? — спросил Портос.

— Долго объяснять... Ну ладно, будь осторожен!

— Отключаюсь.

Портос выключил радиотелефон и вылез из лодки. Он взглянул на небо. В небе спокойно мерцали яркие звезды. Он посмотрел направо. Справа зловеще чернел дремучий лес. Он посмотрел налево. Слева расстилалась уцелевшая половина Зеленой долины: неоглядное пространство, покрытое спящими садами, среди которых раскинулись спящие селения, смутно белевшие стенами уютных домиков, извивались реки и ручейки, отражавшие в своих водах звездные небеса, лежали луга, по которым сонно бродили выпущенные в ночное кони. Где-то лениво тьякала собака. Сонно щебетали птицы. Слышалось пение — то ли кто-то не выключил радио, то ли подружки загулялись, возвращаясь из клуба. И неутомимо звенела вода в невидимом ручье неподалеку.

Все дышало таким спокойствием, такой безопасностью. И над всем этим нависла ужасная угроза, а друзья были еще далеко, и он был один и ничего не мог сделать. Впервые в жизни Портос ощутил душевную боль. Она была такой острой, что у него перехватило дыхание, и он в испуге и удивлении схватился за грудь обеими руками. И тогда, как будто пробудившись от этой боли, какое-то смутное воспоминание шевельнулось в его памяти, воспоминание о чем-то великом и светлом... что-то из старинных летописей, которые рассказывали наполовину непонятным языком о грозных событиях и об удивительных людях. Потом он вспомнил, и боль исчезла. Он вернулся в лодку, подвигался, усаживаясь поудобнее, и огляделся. Отсюда все было прекрасно видно. Он пошевелил рычаг управления, и лодка послушно приподняла острый нос.

— Я готов! — громко сказал Портос.

Словно в ответ на его слова где-то в глубине леса возникло низкое гудение. Он замер, прислушиваясь, а гудение приближалось, и вот уже свет мощных фар озарил верхушки деревьев, замелькал между стволами и побежал по серым плитам бетонки. Когда в этом свете засверкала эмалированная дощечка с цифрами 120, машина космических преступников остановилась — грузный горбатый силуэт, едва различимый в ночи. Послышался звонкий щелчок, тонкое монотонное жужжание. По сторонам фар, словно водяные «усы» у поливальной машины, возникли полосы странного сиреневого света. Они протягивались в обе стороны все дальше и дальше, пока не достигли горизонта, и Портосу показалось, будто эта светящаяся сиреневая полоса разделила весь мир пополам: по одну сторону был километровый столб с цифрами 120, Зеленая долина, друзья, а по другую — он сам со своей лодкой, машина космических негодяев, черный в ночи дремучий лес.

Он приподнялся, чтобы лучше видеть. Он никогда не был трусом, спортсмен Портос, но он почувствовал, как волосы зашевелились у него на голове.

Грузный горбатый силуэт одновременно двигался и... стоял на месте. Он неподвижно чернел на светлой полосе шоссе, но Зеленая долина медленно ползла под него, исчезая под фарами, под светящейся сиреневой полосой, протянувшейся от горизонта к горизонту. Машина преступников пожирала Зеленую долину. Первым исчез километровый столб — тонким белым призраком вплыл в сиреневый туман и исчез, будто его и не было. Один за другим гасли ночные звуки. Смолк звон близкого ручейка. Резко, как обрубленный, стих ленивый лай собаки. Оборвалась на полуслове далекая песня... И только негромко, зловеще ровно гудел чудовищный механизм на дороге.

Портос пришел в себя. Он снова опустился на сиденье и спокойным, даже ленивым движением руки, лежащей на рычаге, поднял лодку на высоту тридцати метров. Затем он опустил нос лодки, нацелившись сверху в черную горбатую массу, и до отказа вдавил педаль акселератора.

Был страшный удар. Была ослепительная вспышка. Чудовищная сила сорвала Портоса с сиденья, смяла и швырнула в темноту. Что-то трещало, скрежетало, рвалось, а тела не было, и не было сил приподнять веки.

«Уху-у-у-у! Уху-у-у-у! Уху-у-у-у!» — вопила большая белая птица, хлопая могучими крыльями.

— Проклятая красная кровь! — визжал кто-то высоким резким голосом. — Они разбили контрактор!

— Они за это поплатятся! — ревел кто-то низким басом.

— Они напали! — астматически сипел кто-то. — Скорее назад! Скорее на «Пирайю»!

Все-таки Портосу удалось на секунду открыть глаза, и он успел увидеть высоко над собой уродливую крылатую тень, заслонившую звезды. Затем глаза его сами собой закрылись снова.

Он уже не видел, как из-за невидимой черты поползла обратно Зеленая долина. Разбитая машина космических преступников возвращала пожранное. Один за другим возникали прерванные звуки. Полилась с полуслова прерванная песня. Лениво затыкала собака. Зазвенел близкий ручеек. Наконец появился из пустоты и километровый столб с цифрами 120, и все опять стало так, как было четверть часа назад. Только дымилась посередине шоссе груда искореженного металла, а на обочине, раскинув руки и подставив звездному свету бескровное лицо, лежал мертвый Портос.

## 5

С лязгом и скрежетом двигался по шоссе огромный танк, последнее слово земной истребительной техники. Это слово было сказано двести лет назад, но, к счастью, оно запоздало и уже не понадобилось людям, и все двести лет танк простоял в одном из залов Музея истории оружия. Там его нашли Атос и Арамис, хороший мастер и хороший ученый, быстро освоились с ним, отладили, снарядили и вывели на первое боевое дело. Гремели гусеницы, мерно и мощно ревели двигатели, грозно поворачивалась вправо и влево приземистая орудийная башня, и словно щетина дикобраза торчали во все стороны ракетные установки. А по сторонам шоссе уходил назад дремучий лес, затянутый голубоватым утренним туманом, и уползали назад километровые столбы: 161... 162... 163...

Танк вел Атос, а Арамис сидел у орудия и поворачивался вместе с башней, а у кормовой переборки лежало тело Портоса, завернутое в серый брезент. Друзья с первого же взгляда поняли, что произошло у сто двадцатого километра, и все-таки Атос спросил сдавленным голосом: «Таран?» — «Таран», — тихо ответил Арамис. Лодка угодила носом в рабочий отсек гнусного механизма и полностью разрушила его, но преступники уцелели и скрылись, и теперь надо было настигнуть их и покарать, и даже не столько покарать, сколько обезвредить, вырвать у мерзавцев зубы раз и навсегда! «Может быть, нам это не удастся, — думал Атос, — может быть, они прихлопнут наш танк, как муху, но попытаться необходимо. Мы ведем разведку боем, а за нашей спиной уже поднимаются такие силы, о которых даже мы не имеем представления, и как же худо им придется, этим космическим вора, бандитам, убийцам...» — «Галя, наверное, еще спит, — думал Арамис. — Перед выходом мы забежали попрощаться (в это время Портос был еще жив), но она спала как сурок, засунув голову под подушку и выставив из-под простыни голые ноги. Бедная девчонка, будет очень много горя, очень много слез, она так любила спортсмена, и мы тоже его любили, но нам легче, мы-то будем драться...»

— Гляди в оба! — гаркнул Атос и с лязгом захлопнул смотровой люк.

Лес вокруг разом вспыхнул. В одно мгновение танк оказался в бушующем море багрово-оранжевого пламени. Деревья по сторонам шоссе превратились в столбы ревущего огня. Но танк даже не замедлил хода. Окутываясь тучами черного дыма, осыпаясь фонтанами оранжевых искр, разметаая падающие поперек дороги пылающие стволы, он продолжал невозмутимо двигаться вперед. Возникла в дыму и скрылась эмалированная дощечка с цифрой 164. Вперед, вперед!

— Кусайся, гадина! — рычал Атос. — Кусайся, пока есть зубы!

Но положение с каждой минутой ухудшалось. Другим не пришло в голову позаботиться о запасе кислорода, и в машине становилось душно. Нестерпимый жар медленно, но верно проникал сквозь термоизоляцию. От пляски огненных языков ломало глаза, а светофильтров не было... И тут шагах в двадцати впереди с раздирающим треском лопнула земля. Шоссе раскололось. Трещина стремительно ширилась, в раскрывшуюся пропасть полетели горящие деревья и камни. Атос едва успел затормозить.

— Молодец, — прозвучал в наушниках шлемофона тихий голос.

Атос растянул в улыбке запекшиеся губы. Похвала Арамиса стоила дорого. Он прикинул к перископу. По эту сторону пропасти бушевало пламя. На той стороне лес был цел и невредим. Еще километр, не больше. Пустыки... Он старательно, как делал это всегда, когда имел дело с малознакомыми механизмами, повернул рычаг до упора вправо и затем от себя. Послышался пронзительный свист. Разметааемые воздушным вихрем, выше пылающих вершин взлетели клочья горячей травы и тлеющие сучья. Танк поднялся над шоссе на воздушной подушке, на секунду замер, как бы примериваясь, потом медленно и плавно перенесся через бездну и, лязгнув гусеницами, мягко встал на шоссе на той стороне.

— Кусайся, гадина!.. — прорычал Атос и дал полный ход.

Он выдвинул танк на поляну ровно настолько, чтобы дать Арамису возможность нацелить пушку в курган. Наступало утро. Розовые лучи невидимого солнца осветили верхушки деревьев, но поляна пока оставалась в тени, и над травой висели плотные и пушистые, как вата, клочья тумана. Кругом царила тишина, и не было заметно никаких признаков жизни.

— Дай предупредительный, — сказал Атос сквозь зубы.

Длинный тонкий ствол пушки шевельнулся и чуть приподнялся. Грохнул и прокатился эхом выстрел, и сейчас же левее кроны дуба возникла мгновенная вспышка. Дуб облысел, над поляной взметнулась туча сорванной ударом листвы, и клубы черно-красного дыма затянули голые ветви.

— Хорошо, — сказал Атос. — Теперь еще раз — пониже. Целься прямо в развалюху... Что за чертовщина! — вырвалось у него. Он оторвался от перископа, протер уставшие от огня глаза и снова прикинул к окулярам.

Но это был не обман зрения. Вершина кургана действительно поворачивалась вокруг оси. Движение это, вначале медленное, едва заметное, становилось все быстрее, и вот уже между вершиной и подножием возникла ровная темная щель. Еще поворот, еще — и вершина вместе с дубом и ветхим домиком откинулась в сторону, словно крышка гигантской чернильницы. Затрещали, ломаясь, толстенные сучья дуба, полетели во все стороны трухлявые бревна и доски распадающегося на лету дома. А из

недр кургана неторопливо выплыло и повисло в воздухе огромное аспидно-черное яйцо — невиданный космический корабль неведомого мира.

Мушкетеры в танке оправились от первого изумления.

— Второй предупредительный! — скомандовал Атос.

Пушка грянула второй раз, и снаряд разорвался чуть выше округлого носа космического корабля. Огромное черное яйцо качнулось и затанцевало на месте, словно на невидимых пружинах, и вдруг, зарокотав двигателями, начало подниматься.

— Экий наглец, — процедил сквозь зубы Атос. — Целься в корму, Арамис! Три снаряда беглым — огонь!

Но стрелять больше не пришлось. Рокоча двигателями, черный космический корабль продолжал набирать высоту, а в его носовой части открылся люк, и из него выдвинулся длинный гибкий шест, на конце которого болталась и крутилась маленькая человеческая фигурка.

— Галя... — ошеломленно пробормотал Арамис.

— Галя! — с ужасом крикнул Атос.

Они не верили своим глазам, но это была Галя, их Галя, «капустная кочерыжка», малышка, родственница, в цветастом ночном халатике, связанная по рукам и ногам, беспомощная и недостижимая. Ветер безжалостно мотал и раскачивал ее, прижимал растрепанные волосы к ее лицу, мешая смотреть, но она все же заметила их танк и тоненько закричала задыхающимся голосом:

— Что же вы смотрите?! Атос! Портос! Арамис! Стреляйте! Бейте их! Бейте!

Высунувшись из люков, онемевшие от горя и ужаса, они смотрели, как черный космический корабль поднимается все выше и выше, превращается в черное пятнышко и наконец растворяется в розовом утреннем небе...

Атос все стоял в своем люке, бессмысленно уставившись в розовую пустоту над собой, когда сильная рука больно сжала его плечо.

— Очнись, — жестко сказал Арамис. — Надо действовать.

— Но как же она...

— Это потом. А сейчас — на космодром, быстро!

Они нырнули в люки и захлопнули над собой тяжелые крышки. С громким лязгающим звуком из-под бортовых плит выдвинулись крылья. Секунда — и реактивный самолет с коротким фюзеляжем и скошенными назад крыльями взлетел над дымящимися после пожара верхушками деревьев. На шоссе, как пустая скорлупа, остались гусеничное шасси и броневой остов, увенчанный приземистой башней. И остался Портос...

## 6

А произошло все так. Среди ночи Галю разбудил скрипучий, какой-то спотыкающийся голос, напевавший странную песенку:

Тетка, тетка Лиза-вета!  
Я люблю тебя за это,  
И за это, и за то...

## Во, и боле ниче-го!

Сначала ей показалось, будто это сон, но она тут же сообразила, что лежит с открытыми глазами. Тогда она села и спустила ноги с кровати. Скрипучий голос продолжал петь, старательно выговаривая слова:

Соловей, соловей, пта-шеч-ка,  
Канаре-еч-ка  
Жалобно поет!

Ничего не понимая, она оглядела комнату и удивилась. Она отлично помнила, что выключила телевизор, но вот поди ж ты — экран был освещен и на нем с комической важностью и очень неуклюже отплясывал забавный рисованный утенок. Он плясал, переставляя голенастые лапки в такт музыке и помахивая тощими крылышками, и Галя, несмотря на все свое удивление, рассмеялась. Сунув ноги в туфли, она подбежала к телевизору и ощупала верньеры. Да, телевизор был выключен. Но она уже не успела подумать об этом... Сквозь изображение на экране в комнату просунулись огромные руки в черных перчатках. Галя ахнуть не успела, не то чтобы подумать о чем-то: руки цепко ухватили ее за плечи и потянули к экрану.

— Помогите! — отчаянно закричала она. — Мама! Портос!

Экран надвинулся вплотную, и она вся сжалась, ожидая, что ударится головой о стекло, но ничего подобного не случилось, ее протащили сквозь экран в ледяную тьму, бросили на что-то гладкое и осклизлое, и глухой свирепый голос произнес:

— Дело сделано. Теперь сиди и не рыпайся.

Послышались тяжелые удаляющиеся шаги, раздался металлический щелчок, и Галя поняла, что осталась одна.

Все произошло очень стремительно, но у Гали был ясный и рациональный ум, и она быстро сообразила, что находится в плену у космических преступников. Как ей было известно из книг, плен — это самое страшное, что может случиться с бойцом на войне. В плен попадали в беспомощном или бессознательном состоянии, в плен сдавались отчаявшиеся и потерявшие веру в себя. В плену оказывались захваченные врасплох и безоружные. Гале никогда не приходилось читать, чтобы в плен брали через экран телевизора, но, в конце концов, сейчас иные времена. Она была уверена в одном: в плену надо держаться с достоинством и непреклонно.

Она исследовала свою тюрьму. Помещение оказалось странное, похожее на спичечный коробок — довольно длинное и очень узкое. Стены и пол были из гладкого материала и покрыты какой-то противной сыростью, до потолка Галя не доставала. Вскоре ей стало холодно, потом нестерпимо холодно, она сжалась в комок, кутаясь в свой халатик и стуча зубами, и думала, что вот скоро подспеют наши, вздуют преступников и освободят ее. Но, подумав об этом, она почему-то заплакала. Так в слезах она и заснула прямо на осклизлом полу, а проснулась оттого, что чьи-то руки бесцеремонно подняли ее и в два счета крепко связали. Она попробовала было сопротивляться, но руки были гораздо сильнее, к тому же вокруг по-прежнему была полная темнота, и ей было страшно.

Вдруг ее подняли и понесли, неожиданно просунули в какую-то круглую дыру, и она повисла высоко над землей. Она увидела в отдалении горящий лес, а под собой — знакомую поляну со светлой полоской шоссе, и на шоссе — крошечный, словно

игрушечный танк с задранной пушкой. И она поняла, что было сражение, что наши победили и изгнали космических негодяев, но те, удирая, захватили ее с собой, и тогда она храбро закричала своим мушкетерам, чтобы они стреляли, не стеснялись. Но они так и не выстрелили ни разу, а земля проваливалась все глубже, ледяной ветер жег тело под халатиком, и, когда над горизонтом всплыло кровавое солнце, она потеряла сознание.

Очнувшись, Галя обнаружила, что лежит ничком, уткнувшись лицом в грязный, вонючий ковер. Надо подняться, сейчас же подумала она, но полежала еще немного, прислушиваясь к своим ощущениям. Ощущения были неважные. Все тело болело, как избитое, в ушах стоял звон, голова была словно ватой набита. Но с третьей или четвертой попытки ей удалось принять сидячее положение. Сначала все перед ней расплывалось, как в тумане, однако постепенно туман рассеялся, и она сфокусировала глаза на белом кубическом ящике, стоявшем у стены напротив.

— Ага! — произнесла Галя вслух. — Это, по-видимому, холодильник.

Очень осторожно, чтобы не закружилась голова, она оглядела помещение. Это была шестигранная комната с круглыми слепыми окнами в каждой грани, с потолком, расписанным в красно-зеленую шахматную клетку, с низким овальным столом посередине, за которым стояло кресло с изрядно обшарпанной обивкой и с непомерно широкой спинкой. Помещение было озарено мертвенным, зеленоватым светом. «Очень странная комната, — подумала Галя. — Где же это я нахожусь и как я сюда попала?» Тут она вспомнила все, а когда вспомнила, то торопливо поднялась на ноги.

— Очнулась? — произнес за ее спиной глухой свирепый голос. — А я уж боялся, что ты сдохнешь.

Галя обернулась так стремительно, что чуть не потеряла равновесие. Повернулась и сейчас же попятилась.

Перед ней стоял огромный, вероятно, вдвое выше ее ростом человек, весь, от шеи до ступней, затянутый в черное. От шеи... Не от шеи, а от двух шей, ибо над широченными его плечами торчали две головы. На мгновение Гале показалось, что у нее двоится в глазах. Она потрясла головой, зажмурилась и взглянула снова. Точно: голов было две, обе начисто обритые, ушастые, продолговатые, только правая голова с черной повязкой через правый глаз курила сигарету и смотрела единственным глазом куда-то в сторону, а левая холодно и бесстрастно разглядывала Галю.

— Мы не успели познакомиться, — глухим свирепым голосом произнесла левая голова. — Все не до того было. То ты в обмороке валялась, то мне пришлось сражаться с твоими соплеменниками... Так вот, я — Двуглавый Юл, известный вольный пират.

Он стоял, расставив длинные тощие ноги и привычно положив на кобуры пистолетов, свисающих на бедра, огромные руки в черных перчатках, те самые руки, которые так ловко выкрали Галю через экран телевизора. Галя смерила его презрительным взглядом с обеих голов до ног (у нее даже хрустнули шейные позвонки при этом) и сказала:

— Свинья ты, а не пират. Испугался драться в открытую, спрятался за слабую девушку... Что же это ты так?

Правая голова выплюнула окурок сигареты прямо на ковер и негромко

рассмеялась.

— Девчонка с гонором, — сипло произнесла она. — Трусит, но не сдаётся...

— С чего ты взяла, что я испугался? — возразила левая голова. — Чушь! Я никогда не пугаюсь. Пусть пугаются другие. Я просто защищал себя и свой корабль всеми доступными мне средствами. И впредь буду так поступать, имей в виду...

— Немедленно верни меня на Землю! — выпалила Галя.

Двуглавый Юл протянул к стене длинную руку и нажал неприметную кнопку. Круглое окно-иллюминатор под кнопкой сделалось прозрачным.

— Гляди сюда, дура, — сказала левая голова.

Галя подошла к иллюминатору и поглядела. Зеленый диск Земли, затуманенный белесыми пятнами облаков, уменьшаясь на глазах, проваливался в черную пропасть, усыпанную яркими неподвижными звездами. Палец Двуглавого Юла снова нажал на кнопку, и иллюминатор опять ослеп.

— Про Землю свою забудь, — внушительно и свирепо произнесла левая голова. — Земли тебе больше не видать!

— Неправда! — вскричала Галя, борясь со слезами, подступившими к горлу. — Неправда! Неправда! Меня будут искать и найдут! А тебя повесят за обе твои шеи!

Правая голова сипло расхохоталась, но на этот раз не произнесла ни слова. Видимо, она была не такая разговорчивая, как левая.

— Земли тебе больше не видать, — повторила левая голова. — Не стану же я из-за тебя снова тащиться в такую даль... Нашла дурака, тоже мне... Но ты не горюй. Ты увидишь такие миры, что забудешь про свою жалкую планетку. Я решил оставить тебя при себе, будешь меня развлекать. Я буду тебя баловать, мы будем играть. К примеру, я привяжу на веревку крупный брильянт, а ты будешь гоняться за ним. Будет очень весело...

— Глупости! — возмущенно крикнула Галя. — Немедленно верни меня домой, слышишь?

— Не бунтуй, соплячка! — строго сказала левая голова. — А то я тебя выпорю!

Воцарилось молчание, и вдруг где-то под потолком прозвучал высокий резкий голос:

— Внимание, Двуглавый! Сеанс связи с Великим! Великий Спрут вызывает Двуглавого Юла!

— Начинается... — проговорил раздраженно Двуглавый и, перешагнув через Галю, направился к креслу. — Давай! — гаркнул он.

Послышался скрип, шорох, тонкий вибрирующий свист, затем под потолком проскрежетало:

— Великий слушает тебя. Докладывай, Двуглавый!

— Докладываю, — глухим свирепым голосом заговорил Двуглавый Юл, усаживаясь в кресло. — Два часа назад был атакован туземцами, стартовал и лег на обратный курс. В настоящий момент имею в трюме пятнадцать заполненных контейнеров. Взято около восьми тысяч квадратных километров с хорошим



содержанием кислорода, воды, хлорофилла и крови. Число кондиционных голов определяю в тысячу.

— Тысяча — это хорошо, — гулко произнес низкий жирный голос, и Гале показалось, что она слышит плеск какой-то жидкости. — Это неплохой улов, Двуглавый. А сколько осталось пустых контейнеров?

— Десять, Великий.

— Тогда почему ты поторопился стартовать?

Двуглавый промолчал. Физиономия его правой головы страшно скривилась.

— Может быть, ты испугался? — осведомился жирный голос.

— Га-га-га! — рассыпался кто-то скрежещущим смехом. — Двуглавый испугался! Ты славно пошутил, Великий! Ты сегодня в ударе! Га-га-га!..

— Наш девиз в этом рейсе — налететь, схватить и рвать когти, — сурово произнес Двуглавый Юл. — Никто не должен знать в этом секторе Галактики, откуда и кто мы. Это твой собственный приказ, Великий. Оставаться и продолжать сражение было бесполезно...

— Почему?

— Туземцам удалось выследить в поле и разрушить контрактор. Но если ты прикажешь, я вернусь, вступлю в бой и испепелю эту наглую планету...

— Не требуется ни вступать в бой, ни испепелять, — прервал его жирный голос. — Стоимость контрактора будет удержана из твоего гонорара. Продолжай идти обратным курсом. Ты уверен, что за тобой нет погони?

— Пока нет.

— Если заметишь погоню, атакуй и уничтожь атомными торпедами. Следующий сеанс по расписанию «экстра». Будь здоров, Двуглавый.

— Будь здоров, Великий...

Снова послышался вибрирующий свист, и все стихло.

— Как тебе это нравится? — обратилась левая голова к Гале. — Стоимость контрактора будет удержана из моего гонорара... До чего жадный старикашка! Ладно, где наше не пропадало, верно?

— Зачем ты прилетал к нам? — спросила Галя. — Что тебе у нас было надо? Зачем тебе наши сады?

— Сады? — удивился Двуглавый. — Мне? На кой ляд мне нужны ваши сады? Я прилетел за головами, понятно? А сады нужны этим головам, иначе они не смогут работать. Сады, реки, воздух... Хлорофилл, вода, кислород... Тьфу, даже вспомнить противно!..

— Головы... — Галя в ужасе смотрела на него. — А зачем тебе наши головы?

— Это не мне... В общем, это долгая история и не твоего ума дело. Ты глупа, не поймешь. Кроме того, это тайна. Секрет. Так что давай лучше...

Пронзительный вой сирены оборвал его на полуслове, и помещение озарилось вспышками багрового света. Двуглавый с досадой взглянул на потолок и нехотя

поднялся.

— Ну вот, — проговорил он, морща обе физиономии, — боевая тревога. Погоня, наверное... — Он зевнул в две зубастые пасти и потянулся, хрустя суставами. — Вечно одно и то же. Надоело... Я пойду в боевую рубку, а ты сиди здесь, поняла? Если захочешь жрать, пошарь в холодильнике... Ладно, я пошел.

Он пинком открыл в ближайшей стене низенькую дверцу под иллюминатором, пролез в нее, согнувшись в три погибели, и исчез. Галя, пошатываясь, обошла вокруг стола и рухнула в кресло. Ноги больше не держали ее.

## 7

Гале приснилось, будто Двуглавый Юл заставил ее играть в странную игру: ловить ее собственную голову, которую он таскал на веревочке по грязному вонючему ковру. В конце концов она изловчилась и поймала-таки голову за волосы, но Двуглавый заорал своим глухим свирепым голосом, и она проснулась. Двуглавый стоял посередине кают-компания и утирал громадным серым носовым платком обе потные физиономии сразу.

— Вот! — объявил он, пряча платок куда-то за спину. — Сразились, называется. Повис, видишь ли, у нас на хвосте какой-то одинокий фрукт и нипочем не слезает. Я всадил в него последние пять торпед, и что ты думаешь? Все до единой он расстрелял на лету из лазерной пушки, да как ловко! Нет, чует мое сердце, будет у нас с ним морока, не обрадуется Великий... Ну-ка, пошла с моего кресла, девчонка! — заорал он.

Галя слезла с кресла и прислонилась к стене. Двуглавый сел на ее место, положил ноги на стол и гаркнул:

— Ку!

Дверца холодильника распахнулась, и оттуда выскочила мохнатая обезьяна, окутанная облаками пара.

— Здесь, Двуглавый! — просвистела она астматическим шепотом.

Галя не удивилась и не испугалась. Она устала удивляться и пугаться.

— Рекомендую, — произнесла левая голова Двуглавого Юла. — Мой квартирмейстер. Особыми талантами не блещет, трусоват, шулер, да к тому же вынужден большей частью жить в холодильнике из страха протухнуть. Но в высшей степени услужлив. Так, Ку?

Обезьяна хихикнула и закрыла черными ладонями сначала глаза, потом рот, потом уши на манер трех восточных обезьянок.

— Ну-ну! — нахмурилась левая голова. — Нахвтался, понимаешь, на Земле... Вот уж планетка... Взболтай мне хорошую порцию ртутного коктейля... и дай девчонке чего-нибудь поесть и выпить. Земного дай, не спутай, скотина!

Ку нырнул обратно в холодильник, извлек из него кольцо промерзшей насквозь колбасы, буханку промерзшего насквозь хлеба и бутылку молочного льда. Поставив все это на стол, он снова нырнул в холодильник и завозился там, чем-то булькая, что-то переливая, над чем-то хихикая.

— Жри, — великодушно сказал Двуглавый, указывая на заледенелые деликатесы. — Приступай, не стесняйся. У меня этого добра предостаточно!

Галя приблизилась к столу и осторожно постучала по колбасе ногтем. Колбаса нежно зазвенела.

— Я пока не голодна, — мужественно сказала Галя, проглотив слюну. — Пусть это пока полежит. Я потом...

— Как хочешь, — великодушно согласился Двуглавый. — Я-то, признаться, уже подзаправился в боевой рубке... два кило серного колчедана потребил. У меня во время сражений всегда аппетит разыгрывается... Ку! — заорал он.

— Здесь, Двуглавый! — поспешно отозвалась обезьяна. — Все готово, Двуглавый!

Она выскочила из холодильника, с натугой неся перед собой в вытянутых лапах глубокую металлическую кювету, наполненную тяжелой блестящей жидкостью.

— Люблю колчедан! — продолжал Двуглавый, принимая кювету одной рукой. — Если серный колчедан хорошенько измельчить да пропустить через него пары йода... — Он отхлебнул из кюветы сначала левой, затем правой пастью и закатил все три глаза. — М-м-м... Неплохо. Чуть бы побольше хлорной извести...

От кюветы несло такой страшной химией, что у Гали выступили слезы на глазах, и она поспешно отступила к стене.

— Внимание, Двуглавый! — раздался под потолком высокий резкий голос. — Удалось записать отрывок радиобеседы преследующего корабля с неким флагманом. Желает прослушать?

— Ну-ка, ну-ка! — оживился Двуглавый. Он поставил кювету на стол и спустил со стола ноги. — Давай!

Послышался шорох, неясное бормотание, а затем голос, от которого сердце Гали так и запрыгало в груди, деловито произнес:

— Флагман, докладывает «Стерегущий»! Внимание, флагман, докладывает «Стерегущий»!

— Флагман слушает, — отозвался кто-то незнакомый. — Докладывайте, «Стерегущий»! Флагман слушает...

— Докладываю. Семьдесят три минуты назад я был обнаружен и атакован атомными торпедами. Атака успешно отбита. В остальном обстановка без изменений. Пребываю в постоянной готовности следовать за целью в подпространство. Прошу дать вашу обстановку...

— Внимание, «Стерегущий», флагман дает обстановку. Третья эскадра следует по вашему пеленгу с постоянным ускорением тридцать метров в секунду за секунду. В настоящий момент скорость около пяти тысяч километров в секунду. Расстояние до вас около двадцати тысяч километров. Внимание, «Стерегущий»! Информация с Земли. Только что следом за нами стартовала восьмая космическая эскадра. Получен общий приказ: обнаружить гнездо космических пиратов...

Голос оборвался. Осталось только шипение и потрескивание. Двуглавый подождал немного и спросил:

— Ну?

— Все, — ответил высокий резкий голос.

— А дальше?

— Все. Больше ничего перехватить не удалось.

— Вот тебе и на, — разочарованно проговорил Двуглавый. — На самом интересном месте...

А Галя почти ничего не слышала. Голос Атоса все еще звучал в ее ушах. Атос гонится за двухговым пиратом, Атос отбивает торпедные атаки, Атос спешит на выручку! Она чуть не плясала от восторга и даже тихонько закричала:

— Ко мне, мои мушкетеры!

— Ты чего это? — подозрительно осведомилась левая голова, но, к счастью, невидимый радист, все еще шипевший и трещащий где-то под потолком, принял этот вопрос на свой счет.

— Через минуту связь по расписанию «экстра», Двуглавый, — почтительно отозвался он.

Двуглавый безнадежно махнул рукой.

— Давай «экстру», — проворчала левая голова. — Семь бед — один ответ. Ох и взовьется старик!

— А кто он такой? — спросила Галя. Она вернулась к столу и, отворачивая лицо от кюветы с ртутным коктейлем, попробовала пальцем колбасу. Колбаса была как каменная.

— Кто? — не понял Двуглавый.

— Этот... старик. Ну, Великий...

Раздался вибрирующий свист, и скрежещущий голос позвал:

— Двуглавый!

— Здесь, — неохотно сказала левая голова.

— Великий слушает тебя. Докладывай.

— Докладываю, — глухим свирепым голосом произнес Двуглавый. — За мной погоня. Космический корабль неизвестного типа. Атаковал его атомными торпедами — безрезультатно. Неотступно держится в двухстах километрах у меня за кормой. Прошу разрешения взять его на бордаж.

— Ни в коем случае! — загромыхал жирный голос загадочного Великого. — Никаких абордажей! В ближнем бою вы мне там погубите весь товар, а я уже получил под него аванс... Почему ты не уходишь в подпространство, Двуглавый? Почему медлишь?

— Рано. Скорость еще слишком мала. Но это еще не все, Великий. По данным радиоперехвата, за преследующим кораблем идут две эскадры. Похоже, мы все-таки разворошили осиное гнездо...

— Но это же ужасно! — плаксиво взвыл неведомый Великий. — Это же просто страшно! Будь осторожен, Двуглавый! Будь предельно осторожен, заклиная тебя кровавой Протуберой и синей Некридой! Это будет катастрофа, если ты наведешь их на нашу базу! Постарайся обмануть их, Двуглавый, а уж убытки по контрактору я, так

и быть, возьму на себя... Обведи их вокруг пальца! Натяни им нос, будь они прокляты со своей водой, кислородом, хлорофиллом и красной кровью!.. Ах, как ты меня огорчил, Двуглавый!

— Я тебя предупреждал...

— Ну и что же, что предупреждал, плачу-то ведь я!

Великий нудно сетовал, жаловался, грозил, сулил, увещевал, а Двуглавый, прихлебывая из кюветы, огрызался, оправдывался, обещал, хвастался, а Галя, решив, что сейчас самая пора подкрепить истощенные силы, обгрызала оттаявшие участки колбасного кольца, обсасывала размягчившиеся углы хлебной буханки и облизывала кусочки молочного льда. И это продолжалось довольно долго, но наконец Великий и Двуглавый пожелали друг другу здоровья, и сеанс по расписанию «экстра» закончился. Двуглавый допил свой коктейль, швырнул пустую кювету в обезьяну Ку и мрачно уставился в потолок.

— Жирный трус... — бормотал он угрюмо. — Платит он, видите ли... Аванс, видите ли, получил... Катастрофа, видите ли, будет! А мне какое дело? Да пропадите вы все со своими авансами и со своими базами вместе! Головы Двуглавого Юла дороже всех ваших баз и всех ваших авансов!.. Не родился еще в обозримой Вселенной такой носитель разума, ради которого Двуглавый Юл полез бы из своей драгоценной кожи...

Галя, выполняя свою программу подкрепления сил, старательно грызла, обсасывала и облизывала заледеневший провиант, обезьяна Ку сидела в углу и чесалась под мышками (ковер под нею потемнел от растаявшей влаги), а Двуглавый все бормотал и ругался и заверял всех, кого это может заинтересовать, что величайшей драгоценностью в обозримой Вселенной является именно он, Двуглавый Юл, а не какие-то там авансы и тем более базы. Потом левая голова его взглянула на Галю, и обе физиономии прояснились.

— А не развлечься ли нам? — провозгласил пират.

Галя встревожилась, но не подала виду. Между тем Двуглавый извлек откуда-то веревку и привязал к ней великолепный брильянт чистейшей воды. «Ну, уж это дудки», — подумала Галя.

— Ты поспала, девчонка? — осведомилась левая голова.

— Поспала, — с вызовом ответила Галя.

— Поела?

— Поела.

— Попила?

— Попила.

— Тогда давай играть.

Двуглавый бросил брильянт на пол и дернул за веревку. Брильянт, сверкая и отбрасывая на стены зеленоватые блики, покатился по грязному коврику.

— Ну? — нетерпеливо сказала левая голова.

Галя отрицательно покачала головой.

— Не умеешь? — разочарованно проговорила левая голова. — Эй, Ку, а ну, покажи

ей, как надо!

Ку тигром бросился на брильянт. Двуглавый не успел дернуть за веревку — Ку схватил добычу и на четвереньках выскочил из комнаты.

— Ку! — взревел Двуглавый в две глотки. — Стой, прохвост! А ну, вернись! Назад, кому говорят?

Ку неохотно вернулся.

— Подойди ко мне!

Ку очень неохотно подошел.

— Давай сюда камень! — загремела левая голова.

Ку помотал головой и показал пустые руки и ноги. Тогда Двуглавый поймал его за шерстистый загривок и по локоть засунул руку ему в пасть. Ку затрясся, глаза его вылезли из орбит, а Двуглавый с торжеством вытянул руку и разжал кулак. На ладони его сверкал брильянт и лежали несколько золотых монет.

— Ворюга! — сказал Двуглавый и дал обезьяне оглушительную затрещину.

Ку, тихонько прискуливая, убрался к себе в холодильник. Двуглавый обернулся к Гале:

— Поняла, как надо играть?

— Сам играй в такие игры! — вне себя от злости крикнула Галя. — Дурак двухголовый!

Двуглавый вскочил.

— В карцер! — заорал он, топая ногами. — В карцер, негодная девчонка!

## 8

Галя сидела в темном карцере, погруженная в самое мрачное уныние. Ей очень хотелось плакать от обиды и злости, и очень болело ухо, за которое ее тащил сюда в пьяном раже разъяренный Двуглавый. В довершение всего ее удручала и утомляла необходимость сидеть совершенно неподвижно. Дело в том, что карцер у пиратов представлял собой длинную горизонтальную трубу с гладкими стенками, закрытую с одной стороны тяжелой крышкой люка, а с другой — ребристым металлическим щитом. Эта труба при малейшем движении начинала раскачиваться, и Гале приходилось тогда изо всех сил упираться руками и ногами, чтобы не стукнуться затылком или не расквасить нос.

Итак, Галя сидела в темноте, стараясь не двигаться, и то лелеяла разнообразные планы мести, один другого ужаснее, то мысленно упрекала своих далеких друзей в нерасторопности и нерешительности, когда ей вдруг почудилось где-то совсем неподалеку жалобное стенание. Она прислушалась... Да, сомнений не было: кто-то не то вздыхал, не то стонал, и звуки эти доносились из-за ребристого щита, закрывавшего дальний конец трубы. Тогда Галя вскочила на ноги и, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие, побежала туда. Все-таки она несколько раз упала, а один раз даже перевернулась через голову, но в конце концов добралась до щита и прикинула ухом к ребристой холодной поверхности. И сейчас же услышала протяжный горестный вздох.

— Кто там? — вполголоса окликнула она.

Наступила тишина, затем кто-то прошептал хрипло:

— Не смею отвечать. Кто спрашивает?

— Галя...

— Впервые слышу.

— Галя. Так меня зовут. Я пленница.

— Тебя уже вмонтировали?

Это был странный вопрос, и Галя не сразу нашлась что ответить.

— Н-нет, по-моему... Не знаю... Я в карцере сижу.

На этот раз удивился ее неведомый собеседник.

— Как — в карцере? Почему в карцере? Ты спряталась? Бежала?

— Наоборот, меня посадили...

— Постой, ты с какой планеты?

— С Земли...

— С Земли? Ты с Земли? О, послушай, мне необходимо увидеть тебя! Иди сюда!

— Куда?

— Ко мне, в штурманскую рубку, конечно...

— Где это? И потом, я же заперта...

— Я отопру... Не бойся, сейчас сюда никто не заглянет.

Ребристый щит медленно раздвинулся, и Галя с превеликим облегчением покинула шатающуюся тюрьму.

Штурманская рубка оказалась низким и круглым, как барабан, помещением. Стены по кругу были уставлены цилиндрическими баками высотой в человеческий рост, торчащими из специальных гнезд, так что весь их кольцевой ряд напоминал снаряженную пулеметную ленту. Под потолком висел громадный черный ящик, от которого к каждому баку тянулись гибкие рубчатые шланги, а под ящиком был установлен небольшой пульт с двумя черными и одной красной кнопкой; из щели сбоку торчал обрывок перфоленты.

Галю поразила невообразимая и отвратительная грязь, царившая здесь повсюду. Пол был заслякощен и усыпан какими-то гниющими отбросами и раскисшими сигаретными окурками. Пульт был весь липкий и мохнатый от приставшей пыли, ключья той же маслянистой пыли торчали из щели для перфоленты. Баки вдоль стены были покрыты неряшливыми белыми потеками, а гнезда, в которых они держались, лоснились от сырой ржавчины. Гнусного вида белесые сосульки свисали со шлангов и с краев ящика, на потолке красовались жирные, не менее гнусного вида пятна. И здесь поразительно скверно пахло — тухлятиной, падалью, дрянью.

— Значит, вот вы какие, жители таинственной Земли, — раздался хриплый шепот. — Смешные... В жизни не видал таких смешных существ! И это у таких, как вы, пятнадцать миллиардов ячеек! Что ж, тем хуже для вас. Теперь ваша очередь идти на

конвейеры Искусника Крэга, и, может быть, обитатели других миров вздохнут свободнее...

Галя завертелась на месте.

— Где же ты? — растерянно спросила она.

— Здесь.

— Где?

— В машине, конечно, где же еще... Да перестань ты вертеться, Галя с Земли, все равно ты меня не увидишь! Меня, собственно, вообще нет...

— Ничего не понимаю. Кто же ты?

— Когда-то я был счастливым Мхтандом с планеты Оаба, а теперь я — жалкий узел номер шестнадцать бортовой штурманской машины пиратского крейсера «Черная Пирайя». Теперь поняла?

— Нет. Почему это ты — узел?

— Потому что меня и еще полторы тысячи моих соплеменников вместе с Радужным Берегом захватили проклятые наемники проклятого Великого Спрута, и все мы были отданы в когти Искусника Крэга... И никогда уже больше не видать нам изумрудного неба Оабы, ее двенадцати синих лун, ее прекрасных гор, покрытых вечными оранжевыми снегами... Какое небо у вас на Земле?

— Синее...

— Гм... ну да, конечно. А луны?

— У нас одна луна, и она золотая... Но погоди, не забывай, что я здесь совсем недавно и еще ничего не знаю. Совсем ничего, понимаешь? Пожалуйста, объясни мне, что здесь происходит.

Мхтанд тяжело вздохнул:

— Зачем тебе это знать? От судьбы все равно не уйдешь...

— Мы на Земле привыкли сами определять свою судьбу... Рассказывай!

— Ты не на Земле, пленница Галя...

— Мы определяем свою судьбу везде! Рассказывай!

Мхтанд помолчал немного, затем сказал:

— Ну хорошо. Правда, это длинная и печальная история, но время у нас есть...

Галя, приготовившись слушать, присела на край пульта, но Мхтанд встревоженно прохрипел:

— Осторожно! Не нажми на кнопки! Если нажмешь на черные, то разбудишь всех, а они смертельно устали... А если нажмешь на красную...

— Не беспокойся, не нажму, — прервала его Галя, соскочила с пульта и отошла в сторону. — Ну, я слушаю тебя, Мхтанд.

Вот что рассказал Мхтанд.



«На другом краю Галактики, в нижнем правом углу Малого Магелланова Облака, есть ничем не примечательная звездная пара, которая состоит из кроваво-красного гиганта Протуберы и мертвенно-синего карлика Некриды. А вокруг этой пары, точнее, вокруг центра тяжести этой двойной звезды, обращается сравнительно небольшое небесное тело, именуемое Планетой Негодяев. Вероятно, в свое время у этой планеты было более достойное название, но она с давних пор служила прибежищем для всех прохвостов, подлецов и подонков, уродившихся в нижнем правом углу Малого Магелланова Облака, и потому значилась Планетой Негодяев даже в космических логиях. В кроваво-красном блеске Протуберы и мертвенно-синем сиянии Некриды привольно живут-поживают и добро наживают торговцы живым товаром, скупщики краденого, кровожадные пираты и содержатели отвратительных притонов. Там замышляются дерзкие набеги на беззащитные миры, заключаются зловещие сделки, с громовыми скандалами пропивается добыча. Звенит золото, рекой льются всевозможные напитки, и сотни тысяч рабов томятся в мрачных подземельях, ожидая своей участи.

Участь же этих рабов, захваченных в разных уголках обозримой Вселенной, была до сравнительно недавнего времени довольно обычной: их морили в шахтах радиоактивных руд, изнуряли тяжким трудом на плантациях драгоценных злаков и даже употребляли в пищу. Но около сотни лет назад к Великому Спруту, весьма деловому носителю разума, невероятно богатому мерзавцу и в высшей степени влиятельной личности на Планете Негодяев, явился некий Крэг, разумный, но начисто лишенный чувств паук из мрачной системы безымянной нейтронной звезды. Этот Крэг представил Великому Спруту самый подлый и позорный, самый дерзкий и фантастический в истории Вселенной проект, который, однако же, сулил и фантастические прибыли.

Как известно, в современной технике нельзя и шагу ступить без надежных и универсальных механизмов управления и контроля. Механизмы эти строятся на принципах автоматики и кибернетики, а вся известная автоматика и кибернетика — на электронной технике. Известно также, что для создания надежных и универсальных механизмов управления и контроля требуются колоссальные затраты: на ученых, на конструкторов, на инженеров, на лабораторное, инструментальное и заводское оборудование. К чему все эти затраты? — спросил подлый Крэг. К чему тратить деньги на создание устройств, давно и в изобилии созданных самой природой? В обозримой Вселенной обитают миллиарды и миллиарды разнообразных разумных существ, и каждое из них носит в себе в высшей степени компактный, надежный и универсальный механизм управления и контроля. Да, как это ни чудовищно, проклятый паук имел в виду мозг разумного существа. В своих гнусных лабораториях он научился сращивать живую материю с мертвыми материалами и создал первые образцы вычислительных машин, работающих на мозгах разумных существ. Натурально, Великий Спрут, весьма деловой носитель разума и невероятно богатый мерзавец, сразу ухватился за эту идею. Он бросил на нее половину своего баснословного состояния. Отныне участь несчастных пленников, попавших в лапы пиратов с Планеты Негодяев, решалась однозначно: все они до единого загонялись на конвейеры в гигантские мастерские Крэга, и на космические рынки потекли партии надежных и универсальных, весьма компактных механизмов управления и контроля.

Но живые мозги, вмонтированные в эти механизмы, нуждаются в непрерывном и обильном питании. Причем каждый нуждается в своем. Мозг разумного обитателя планеты Оаба, например, нуждается во фторе, соляной кислоте и магнии. И тут Искусник Крэг предложил Великому Спруту другую свою дьявольскую выдумку. Машину, которая может осуществлять трехмерную контракцию и потому называется контрактор. Никто не знает, как устроен и как работает этот контрактор, но с его помощью оказалось возможным захватывать и упаковывать в сравнительно малые емкости огромные планетные территории вместе с их атмосферой, морскими и речными бассейнами, растительностью, животным миром и населением. Однажды таким вот образом была захвачена целая планета, которую потом, потехи ради, запустили вокруг мертвенно-синей Некриды... И вот уже сотню лет пиратские корабли Великого Спрута, оснащенные контракторами, рыскают по обозримой Вселенной, крадут с обитаемых планет более или менее обширные области и доставляют их в обиталище Великого Спрута. Разумное население загоняется на страшные конвейеры Крэга, а контейнеры с атмосферой, морями и прочим придаются к готовым вычислительным машинам в качестве блоков питания...

Однажды (это было сравнительно недавно) Великий Спрут, этот самый выдающийся мерзавец под кроваво-красной Протуберой и мертвенно-синей Некридой, владелец ядерных, бактериологических и химических комбинатов, на которых трудились тысячи высококвалифицированных рабов и роботов, шеф научно-исследовательских институтов и лабораторий, в которых работали сотни знаменитых профессоров и жаждущих славы лаборантов, адмирал флота из пяти сверхдальних звездолетов, на которых верой и правдой служили ему десятки отъявленных головорезов, содержатель множества притонов, где выпивались тысячи литров серной кислоты, высокооктановой нефти, сжиженного метана...

— И единоличный хозяин этой отвратительной фабрики мозговых машин...

— Разумеется, но это страшный секрет! Даже на Планете Негодяев об этом знают не все, а те, кто знает, предпочитают помалкивать. У них там строго: проболтался — на конвейер...

— Но вы-то почему не бунтуете? Почему не отказываетесь работать? Боитесь, что вас тогда убьют? Так лучше смерть, чем такое существование...

— Да, смерть лучше... Но вон видишь эту красную кнопку на пульте, Галя с Земли? При отказе... да что там, при малейшей ошибке в расчетах оператор нажимает эту кнопку, и мы все тогда испытываем мучительную, непереносимую боль. Таких мук ты себе и представить не можешь...

— А этот черный ящик...

— В нем наш Радужный Берег. В нем зеленый песок, коричневые роци и фиолетовое море моей родины... Эх, да что говорить!

— Погоди. А как же те, кто покупает эти жуткие машины? Неужели все они такие бессовестные негодяи?

— Нет, конечно. Просто никто не знает, как они устроены, эти машины. По условиям купли-продажи категорически не рекомендуется вскрывать их... Да если и вскрыет их кто, что он там увидит?

— Так ведь машины могут сами рассказать владельцам, кто они на самом деле...

— Все машины немые. Я — единственный узел, способный разговаривать... Так сделано по особому заказу, и я не в счет. Ну, а покупателей предупреждают, что в случае заминки или неточности в работе следует несколько раз нажать на красную кнопку, вот и все... Но мы отвлеклись. Продолжаю. Это уже касается непосредственно тебя, твоих соплеменников и твоей планеты...

Итак, однажды Великий Спрут предавался короткому послеобеденному отдыху. Он нежился в золотом бассейне, наполненном крепким раствором медного купороса, и четверо грустных одноглазых рабов с планеты Бамба массировали его раздутую пятнистую тушу электрическими щетками под напряжением в пятьсот пятьдесят вольт. Великий Спрут ежился и содрогался от удовольствия, но при этом не забывал о делах — слушал доклад своего верного клеветы и исполнителя самых своих тонких поручений Мээса, который висел перед ним вниз головой, закутавшись в широкие кожистые крылья. Кстати, Мээс — это было прозвище, и означало оно просто Мерзкий Старикашка.

Вероятно, именно эту минуту следует считать началом эпохи великих бедствий и испытаний, которые вскоре неизбежно обрушатся на обитателей зеленой планеты Земля, ибо именно в эту минуту грянул звонок телевызова.

— Кто там еще!.. — проворчал Великий Спрут. — Впусти.

Мээс вытянул длинный белый хобот и включил телеэкран, и перед Великим Спрутом появилось неприглядное изображение его первого консультанта по вопросам науки и техники Искусника Крэг — паука с безымянной системы безымянной нейтронной звезды, бессовестного создателя машин на живых мозгах и изобретателя страшного контрактора.

— Здравствуй, Великий, — прошипел Искусник Крэг и протянул сквозь экран жуткого вида мохнатую лапу с ядовитым крючком на конце.

— Привет, Искусник! — отозвался Великий Спрут и осторожно пожал протянутую лапу жуткого вида щупальцем, усаженным шевелящимися присосками.

— Скребешься? — завистливо произнес Искусник Крэг. У него всегда чесалась головогрудь, но — увы! — твердый панцирь не давал ему возможности почесаться, и потому он всегда завидовал мягкотелым. Даже рабам.

— Как видишь, — проворчал Великий Спрут. — Бородавки одолели. С чем пожаловал?

Искусник Крэг положил локти на край экрана, снял свои роговые очки и принялся методически протирать стекла. Головогрудь Искусника Крэг украшали двенадцать глаз, поэтому процедура протирания двенадцати стекол всегда была у него довольно затяжной. Но Великий Спрут знал своего консультанта и терпеливо ждал. Наконец Крэг водворил очки на место и сказал:

— Я здесь посчитал немного...

При этих словах Великий Спрут плотно закрыл правый глаз и широко распахнул левый, а Мээс возбужденно задергался и захрюкал. Когда Искусник Крэг начинал разговор словами «я здесь посчитал немного», это всегда означало, что предстоят огромные расходы, которые, однако же, сулят еще более огромные прибыли.

— Я здесь посчитал немного, — сказал Искусник Крэг, — и нашел, что нашему

производству угрожает некоторый застой.

— Продолжай, — произнес Великий Спрут.

— Пределы компактности систем на мозгах обитателей известных нам миров практически достигнуты. Самый мощный мозг, с которым мы сейчас имеем дело, заключает в себе полтора миллиарда ячеек, или, выражаясь по-научному, нейронов. Система из ста пятидесяти миллиардов ячеек, как легко подсчитать, должна состоять из ста таких мозгов с соответствующим числом церебрариев и соответствующим объемом блоков питания.

— Продолжай, — проворчал Великий Спрут. — Пока ты очень все понятно рассказываешь...

— Я здесь посчитал и нашел, что теоретически возможны разумные существа с мозгом из пяти, десяти и даже пятнадцати миллиардов ячеек, или нейронов. Системы на таких мозгах были бы в пять-десять раз компактнее наших лучших нынешних, а прибыли от их реализации увеличились бы в десять-двадцать раз.

— Продолжай, продолжай! — воскликнул Великий Спрут. — Это ты очень интересно докладываешь...

— Я нашел также, что непременным условием возникновения, развития и функционирования разумных существ с подобным мощным мозгом является наличие кислорода, воды, хлорофилла и красной крови. Короче говоря, Великий, если мы не хотим останавливаться, а хотим двигаться дальше по пути научно-технического прогресса, нам совершенно необходимо найти несколько так называемых зеленых планет и приступить к их активной разработке.

— Зеленые планеты... — проскрежетал Мээс. — Разве такие бывают?

— Этого я не знаю, — сказал Искусник Крэг. — Я знаю, что теоретически они возможны. Известно также, что мозг носителя разума не может выработать ни одного представления, которое не имело бы соответствия в природе. Надо искать. Нацелиться на кислород, воду, хлорофилл и красную кровь и искать. Одно могу сказать: в случае успеха прибыли будут колоссальны.

— Будем искать! — решительно объявил Великий Спрут.

Искать зеленые планеты! Оказалось, что сказать это легче, чем сделать. Множество дней и ночей рылись секретари Великого Спрута в старых бортовых журналах сверхдальних звездолетов; столько же дней и ночей охранники Великого Спрута допрашивали рабов и пленников с самых отдаленных миров; столько же дней и ночей тайные агенты Великого Спрута терлись в притонах и тавернах среди пропившихся забулдыг. Увы! В старых бортовых журналах о зеленых планетах не говорилось ничего. Из всех рабов и пленников только один, принадлежащий к расе разумных амфибий, обитающей в системе далекого Серого Солнца, припомнил, что точно, была когда-то зеленая планета поблизости от его родины, но ее пустили под полигон для испытания новых видов истребительного оружия, и зелень с нее сошла уже давным-давно. А пропойцы-бичкомеры в притонах и тавернах демонстрировали готовность поглощать даровое угощение в неограниченных количествах и потому рассказывали о зеленых планетах много и с подробностями, причем все время вразли.

В конце концов Великий Спрут потерял терпение и совсем было уже решил

отказаться от этого смутного предприятия, но тут к нему в кабинет впорхнул самый верный его клевет и исполнитель самых тонких его поручений Мээс. Он был единственный, кого Великий Спрут допускал к себе без доклада. По обыкновению повиснув вниз головой, Мээс закутался в кожистые крылья и прикрыл глаза голыми веками.

— Говори, — разрешил Великий Спрут.

— Будь здоров, Великий! — сказал Мээс. — А известен ли тебе некий Двуглавый Юл?

— Да, — ответил Великий Спрут. — Знаменитый вольный пират. Мы поставили ему одну из первых мозговых машин. Что о нем?

— Он только что вернулся из Глубокого космоса.

— Так.

— Он узнал, что нам нужны сведения о зеленых планетах.

— Так!

— Он знает кое-что об одной зеленой планете.

— Так!!

— Он готов побеседовать лично с тобой.

— Так!!!

— Сегодня вечером он ждет тебя на борту своей «Черной Пирайи».

— Угу...

Кого-нибудь другого на месте Великого Спрута такое бесцеремонное приглашение наверняка оскорбило бы. Ему, Великому, тащиться в гости к простому пирату, у которого ничего за душой нет, кроме нахальства и потрепанного звездолета! Но Великий Спрут, в высшей степени деловой носитель разума, был не из тех, кто считается визитами.

— Отлично, — проворчал Великий Спрут. — Сообщи ему, что мы будем после захода Протуберы.

Поздно вечером, когда кроваво-красная Протубера скрылась за острыми пиками Хребта Страданий и в фиолетовом небе остался только мертвенно-синий диск Некриды, длинный закрытый ракетомобиль Великого Спрута вкатился на космодром. Ах, каких только кораблей не было на главном космодроме Планеты Негодяев! Ионолеты, атомолеты, нейтронолеты, гравилеты, летающие тарелки, летающие кастрюли, летающие бидоны, летающие самовары, большие и малые, новенькие с иголки и изрытые метеоритными шрамами, корабли нападения и корабли защиты, откровенно грозные космические линкоры, оцетиненные смертоносным оружием, и притворно беззащитные корабли-ловушки, упрятавшие смерть в глубоких трюмах... Впрочем, никакого движения не было заметно между этими бронированными чудовищами, так как их экипажи все поголовно пьянствовали и играли в кости в портовых кабаках.

Ракетомобиль Великого Спрута пролетел в самый дальний угол космодрома и остановился перед огромным яйцом аспидно-черного цвета. Это и была наводящая

ужас «Черная Пирайя», зловещая бригантина Двуглавого Юла. И едва четверо угрюмых шестируких и десятиглазых гигантов-телохранителей извлекли из ракетомобиля носилки, в которых возлежал Великий Спрут, как усиленный динамиком двойной голос знаменитого пирата прогремел:

— Будь здоров, Великий! Я жду тебя.

Мээс, топорща кожистые крылья и переваливаясь на коротких лапках, первым вступил в распахнувшийся люк; телохранители с носилками взошли на борт «Черной Пирайи» следом за ним. Конечно, Великий Спрут мог свободно передвигаться и без посторонней помощи, но, будучи в высшей степени деловым носителем разума, он справедливо полагал неразумным вводить в соблазн знаменитого пирата. Носилки были достаточно благовидным предлогом иметь телохранителей подле себя, а телохранители у Великого Спрута были существа свирепые, не совсем разумные и чрезвычайно преданные, и шутить шутки в их присутствии не рискнул бы даже такой лихой парень, как этот двухголовый мерзавец. Даже ради миллиардного выкупа.

Двуглавый Юл принял гостей в своей шестиугольной кают-компании с круглым столом посередине и с большим холодильником, на котором торчало чучело какого-то маленького зверька. Пират стоял у стены напротив двери, широко расставив длинные тощие ноги и привычно положив руки на кобуры пистолетов, свисавшие ему на бедра. Правая голова, с черной повязкой через правый глаз, курила сигарету, глаза левой головы холодно и бесстрастно разглядывали Великого Спрута.

Телохранители поставили носилки на стол, отступили в углы и стушевались. Мээс поискал глазами на потолке, расписанном в красно-зеленую шахматную клетку, не нашел, за что можно было бы уцепиться, и остался стоять рядом с Великим Спрутом. Двуглавый Юл предложил Великому Спруту глоток ртутного коктейля, но тот отказался.

— К делу, Двуглавый, — проворчал он.

— К делу так к делу, — согласился пират.

— Мне нужны зеленые планеты, — сказал Великий Спрут. — Я не знаю, где найти зеленые планеты. Мне сообщили, будто ты знаешь кое-что об одной такой планете. Это правда?

— Правда, — ответила левая голова.

— Ты знаешь, где она находится?

— Знаю.

— Но это точно зеленая планета?

— Точно.

— Кислород, хлорофилл, вода, красная кровь?

— Все так. И многое другое.

— Другое меня не интересует. Там есть разумная жизнь?

— И еще какая!

— Отлично. Сколько ты хочешь за координаты этой зеленой планеты?

Правая голова Двуглавого Юла выплюнула окурок и засмеялась:

— Прежде скажи мне, Великий, что ты собираешься с нею делать?

— Это тебя не касается.

Головы переглянулись, затем Двуглавый Юл пожал плечами.

— Как угодно, — сказала левая голова. — За координаты я возьму с тебя недорого — всего сто тысяч. Но в остальном пеняй на себя.

Великий Спрут, в высшей степени деловой носитель разума, озадаченно воззрился на двухголового пирата и проворчал:

— Что ты имеешь в виду?

— Послушай, Великий, что нам толку ходить вокруг да около? Ты забыл, что моя штурманская машина сделана по особому заказу. Она у меня *говорящая*. Что делать, моя слабость — люблю почесать язык, особенно левый, и люблю послушать, как плачут побежденные. Так вот, я отлично знаю о твоих делишках с Искусником Крэгом и представляю себе, что тебе нужно на зеленой планете. Клянусь багровой Протуберой и синей Некридой, я вполне сочувствую твоим поползновениям, но...

— Но?

— Но боюсь, что это дорого тебе обойдется.

— Это еще почему?

— Видишь ли, эту планету населяют так называемые люди.

— Ну и что?

— А то, что это тебе не говорящие лягушки из системы Серого Солнца и не трусливые коты с Цирцеи, которые притворяются мертвыми, едва до них дотронешься...

— И ты полагаешь, что меня может остановить население какой-то паршивой планетки? Меня? Великого Спрута? Да я их в порошок сотру, в ступе истолку, прахом пущу!

— Допустим. Ты можешь попытаться отравить их отвратительную кислородную атмосферу, выпарить их ужасающие водяные океаны, погасить их возмутительное желтое солнце. Но даже если это удастся тебе безнаказанно, цели-то своей ты все равно не добьешься! Как я понимаю, тебе нужны живые головы, а не мертвые черепа...

Великий Спрут надулся и некоторое время молчал. Потом он прорычал хрипло:

— Ладно. Рассказывай.

— Информация стоит денег. Вместе с координатами это обойдется тебе в миллион.

Великий Спрут взглянул на Мээса, тот длинным белым хоботом извлек из носилок мешок с деньгами и бросил к ногам пирата. Но Двуглавый Юл не взглянул на мешок. Взгляд его был устремлен в одному ему ведомые глубины мрачного и кровавого прошлого.

— Я открыл эту планету и был на ней дважды. Первый раз я высадился там восемьсот лет назад. Мне удалось взять немного золота, и я захватил на пробу сотню пленных. На обратном пути пленники взбунтовались...

— Что? Как ты сказал?

— Пленники взбунтовались. Другого слова я не подберу. Они принялись крушить все вокруг себя, как экипаж корабля, недовольный своим капитаном, и убили моего боцмана. С тех пор я летаю без боцмана...

— Как же ты поступил?

— Мне пришлось открыть наружные трюмные люки, — с отвращением проговорил Двуглавый Юл, — и затем выбросить эту замороженную падаль за борт. Так я остался без добычи впервые в своей долгой жизни. Второй раз я посетил эту планету четыреста лет назад. На ней свирепствовала страшная междоусобица, люди избивали друг друга с такой беспощадной свирепостью и так умело, что даже мне стало не по себе... Я, однако, решил воспользоваться этой сумятицей и погреть руки у их огня... а огня там было предостаточно, могу тебя заверить, Великий...

— И что же?

— Мне врезали с двух сторон сразу. Я потерял правый глаз на правой голове, своего лучшего канонира и изрядный кусок кормы. Корму я потом подремонтировал, но с тех пор летаю без правого глаза и без канонира...

— И ты...

— И я бежал оттуда без оглядки, причем нисколько этого не стыжусь. Так я остался без добычи второй раз в жизни.

— А дальше?

— Это, собственно, все.

Великий Спрут сказал задумчиво:

— Информация, безусловно, стоит миллиона. А что бы ты мне в таком случае посоветовал?

— Людей нельзя запугать и захватить, — медленно произнес Двуглавый Юл. — Их нужно красть!

Воцарилось молчание. И вдруг Мээс развернул свои кожистые крылья и захлопал ими, гогоча во все горло и наполняя кают-компанию зловонным ветром.

— Гм... — сказал Великий Спрут. — Но моим головорезам такая тонкая работа не по плечу. Они умеют только жечь и грабить...

— Поручи это дело мне, — предложил Двуглавый. — У меня с людьми давние счета. А уж я со своими ребятами обстряпаю это дельце чистенько, можешь быть уверен. К таким делишкам мы, вольные пираты, приучены с молодых ногтей...

— Сколько? — сейчас же спросил Великий Спрут.

— Миллиард, — сейчас же ответил Двуглавый Юл. — И долю в прибыли.

Они поторговались и сошлись на семистах миллионах и на одной десятой процента.

— Заметано, — произнес Великий Спрут отдуваясь. — С этого часа ты у меня на службе. Ты будешь поставлять мне живых людей и соответствующие территории для их жизнеобеспечения. Контрактор ты получишь, о технике договоришься с Искусником Крэгом. Теперь так. Не ввязываться ни в какие драки. Ни в коем случае не выявлять себя. Пусть вашим девизом остается: налететь, схватить и рвать когти.



— Сделка заключена, — объявил Двуглавый Юл. — А теперь позволь представить тебе мою команду.

— Позволю, — сказал Великий Спрут.

— Экипаж! Стройся! — взревел Двуглавый Юл.

Вот это был сюрприз. Круглый стол посередине кают-компании изогнулся, сбросил с себя носилки и, обернувшись голенастым ящером, вытянулся перед Двуглавым Юлом. С потолка, храня на теле его красно-зеленый шахматный узор, сорвалась разлапистая морская звезда и пристроилась рядом с ящером. Распахнулась дверца холодильника, и мохнатая обезьяна, окутанная облаком пара, выскочила оттуда и встала рядом с морской звездой. И чучело зверушки на холодильнике соскользнуло на пол и замерло подле обезьяны.

— Моя команда! — провозгласил Двуглавый Юл. — Самые отчаянные и хитроумные ребята во всей обозримой Вселенной. Это Ка, — показал он на ящера. — Может принимать любой облик и прикидываться любым предметом. Это Ки. — Он показал на морскую звезду. — Обладает замечательным даром мимикрии. Способен в две секунды слиться с обстановкой и стать невидимым. Это Ку. — Он показал на обезьяну. — Может сколь угодно долго пробыть в космическом пространстве без всякого скафандра. И, наконец... — Он показал на ни на что не похожего малыша. — Это мой малыш Ятуркенженсирхив, шпион, которого носят с собой.

— Рад сделать знакомство, — демократически сказал Великий Спрут, любезно улыбаясь.

— Экипаж, слушай команду! — рявкнул Двуглавый Юл. — Нашему новому хозяину — привет!

— Будь здоров, Великий! — гаркнул экипаж в четыре глотки.

— Вольно, — сказал Великий Спрут и полез в носилки.

И, уже устраиваясь поудобнее, подбирая под себя жуткого вида щупальца, он осведомился:

— Кстати, как называется эта зеленая планета?

— Земля! — хором проговорили сквозь зубы обе головы Двуглавого Юла».

## 10

— Достаточно, Мхтанд, — сказала Галя. — Остальное мне известно. Пираты похитили половину Зеленой долины и тысячу человек, в том числе моего дедушку. Теперь их судьба зависит от нас. Придумай что-нибудь...

— Что тут можно придумать! — уныло возразил Мхтанд. — Ничего здесь не придумаешь. Мы здесь думали пять десятилетий, а что толку?

— Ты ведь еще ничего не знаешь, — терпеливо сказала Галя. — За этой... «Черной Пирайей» гонятся мои друзья, они преследуют ее по пятам, а за ними идут на подмогу две земные эскадры...

— Похоже, нашла-таки коса на камень! — радостно вскричал Мхтанд, но тут же снова увял. — Бесполезно. Двуглавый Юл хитер, через час он нырнет в подпространство, и тогда ищи его, свищи. Твоим друзьям следовало бы просто

уничтожить «Пирайю», и дело с концом. Или у них нет достаточно мощного оружия?

— У них всё есть, — уверенно сказала Галя. — Но ведь вместе с «Пирайей» погибли бы и пленники...

— А! Лучше гибель, чем наша страшная участь.

— Ну, об этом разговаривать незачем. Думай, Мхтанд, думай! Вы не можете остановить «Пирайю»?

— Конечно, можем. Можем остановить, повернуть назад, закрутить колесом... Кораблем управляем мы, без нас «Пирайя» — пустая жестянка. Космические корабли не водят вручную. Но едва мы что-нибудь предпримем, как сейчас же прибежит этот двухголовый палач и нажмет на красную кнопку...

Галя подошла к пульта.

— Слушай, Мхтанд... — сказала она шепотом и остановилась. — Слушай, Мхтанд! — закричала она. — А если вырвать эту проклятую кнопку из гнезда, что тогда?

Секунду Мхтанд молчал, потом прохрипел пораженно:

— Изумрудные небеса Оабы! Недаром у вас, обитателей Земли, по пятнадцать миллиардов ячеек! Ты молодчина, Галя! Мы, конечно, обречены, но твои соплеменники теперь отомстят за нас... Нажми на обе черные кнопки! Разбуди все узлы! Скорее, пока мы здесь одни!

Пока Мхтанд безмолвно излагал своим несчастным друзьям положение, Галя, ломая ногти, выдирала из пульта красную кнопку.

— Всё! — сказала она. — Что дальше?

— Дальше вот что, — сурово сказал Мхтанд. — Нас сейчас наверняка убьют. Мы прощаемся с тобой, Галя с Земли, не поминай нас лихом. И не огорчайся, смерть для нас — избавление. А ты беги. Из штурманской по коридору налево, там увидишь люк в полу. Открой люк и спустись до самого низа. Увидишь дверь, за дверью отсек спасательной лодки. Забирайся в лодку, не забудь захлопнуть за собой крышку и поверни рычаг управления на себя. Поняла?

— Поняла, — сказала Галя упавшим голосом. — А вы?

— Мы остановим «Черную Пирайю». Потом нас убьют. Остальное — дело твоих друзей. Беги. У тебя в распоряжении несколько минут.

И Галя побежала. Что ей оставалось делать? Ей было всего семнадцать лет, она была измучена, голодна, затравлена, на ней был рваный ночной халатик, и жизнь любимого деда висела на волоске. Но она не успела добежать до люка, как самым плачевным образом обнаружился просчет Мхтанда.

Едва взбунтовавшаяся штурманская машина выключила двигатели, в корабле наступила невесомость. Галя по инерции перелетела через люк, стукнулась о переборку и повисла в воздухе. Никогда еще ей не приходилось бывать в таком дурацком и беспомощном состоянии. Она извивалась всем телом, дрыгала ногами, размахивала руками, но не могла приблизиться к люку ни на сантиметр. Между тем из шестиугольной кают-компания донесся яростный вопль, сиплая ругань, звон расшвыриваемой посуды, и в коридоре появилась кошмарная процессия. Впереди, раскорячившись гигантским черным пауком, мчался по стене Двуглавый Юл; за ним,

вцепившись в его ремень с кобурами, болтался в воздухе безобразный пузатый ящер, белый в синюю крапинку, весь лоснящийся, словно залитый потом; следом за ящером, пульсируя подобно чудовищной медузе, летела фиолетовая морская звезда, а позади, суетливо отталкиваясь то от стен, то от потолка, то от пола, спешила взлохмаченная обезьяна Ку. При виде этого ужаса Галя едва не потеряла сознание. К счастью, пираты в спешке не заметили ее и скрылись в штурманской рубке, откуда сейчас же загрели раскаты свирепого баса Двуглавого Юла и зазвучал хриплый злорадный голос Мхтанда:

— Это что еще за фокусы? Почему выключили двигатель?

— Так нам захотелось, Двуглавый. Твоя «Пирайя» больше не двинется с места. Игра окончена.

— Где красная кнопка? Клянусь Протуберой и Некридой, это дело рук проклятой девчонки! Эй вы, мозги без скорлупы! За работу, живо! Не то перестреляю всех!

— Не страшно, Двуглавый. Мы здесь испытали кое-что и похуже смерти. Да и тебе не пережить нас надолго...

— Тогда подышайте!

Загрохотали выстрелы.

— Конец... — прохрипел Мхтанд. — Будь ты проклят, пират... Прощай, Ооба... изумрудное небо...

— К делу! — рявкнул Двуглавый Юл. — А ну, шевелись, ребята, если вам дорога шкура! Всем собраться в абордажной камере и приготовиться к бою!

Пираты снова вывалились в коридор, и тут Двуглавый Юл заметил наконец Галю, все еще беспомощно барахтающуюся под потолком. Он выхватил было пистолет, но передумал.

— Нет, — сказал он. — Мы сделаем умнее. В бою у меня всегда разыгрывается аппетит. Ка, возьми девчонку и хорошенько свяжи. После боя я сожру ее живьем.

Галя, стиснув зубы, чтобы не закричать от страха, отбивалась руками и ногами, но где же ей было отбиться от ловкого и опытного в таких делах злодея. Не прошло и минуты, как ее, скрученную и связанную, приволокли в какое-то сумрачное помещение и небрежно швырнули в угол. Все пираты уже были здесь, сгрудившись перед обширным, в полстены, экраном. Тускло отсвечивали ножи, кровавым блеском светились глаза. Двуглавый Юл держал последнюю речь перед боем:

— Слушать меня, негодяи! Дело наше дрянь. С «Пирайей» все кончено. Корабль землян рядом, и на помощь ему идут еще две космические эскадры. Всем нам грозит виселица, и у нас единственный шанс на спасение: взять этот корабль на абордаж, захватить его и попытаться удрать на нем. Не знаю, что из этого выйдет. Земляне, видно, отчаянные ребята, с такими мы еще дела не имели. Одна девчонка чего стоит... Вы знаете меня, дети нечистых миров! Если это говорю я, значит, это так и есть. Деритесь за свою жизнь. Но никакого огнестрельного оружия — только мускулы и ножи, иначе мы что-нибудь там разобьем и опять останемся в дураках. Всё. Приготовились!

Двуглавый Юл повернул рычажок на пульте перед экраном, и низкое гудение наполнило абордажную камеру.

Погоня в космосе заканчивалась. Медленно и осторожно, на самых малых оборотах приближался «Стерегающий» к неподвижной «Пирайе». Медленно росла, заслоня звездное небо, гигантская туша пиратской бригадины. Атос и Арамис сидели перед пультом, не сводя глаз с обзорного экрана, не снимая пальцев с клавиш управления, не убирая ног с педалей лазерной техники. И тут, словно стая демонов из мира старинной гоголевской чертовщины, ворвались через экран пираты в рубку «Стерегающего».

Вот где пригодилась быстрота реакции, выработанная у мушкетеров Портосом во время изнурительных тренировок. Внезапность и способ нападения поразили, но не ошеломили их. Начался рукопашный бой в невесомости. Двуглавый Юл схватился с Атосом, ящер, морская звезда и обезьяна насели на Арамиса, а пушистый маленький Ятуркенженсирхив — шпион, которого носят с собой, — азартно запрыгал на краю экрана, размахивая кинжалом, как саблей. Да, с таким противником пиратам сходить еще не случалось. Земляне сражались хладнокровно и с ужасающей свирепостью, увертывались от ножей с ловкостью прямо-таки неправдоподобной, наносили удары убийственной силы. Не прошло и пяти минут, как левый глаз левой головы Двуглавого Юла закрылся огромной лиловой опухолью, из правого носа забрызгала зеленая кровь, а правая рука бессильно повисла, парализованная хитрым приемом самбо. Ящер валялся полумертвый, забитый пинками под пилотское кресло, и Арамис добивал сипло визжащую обезьяну морской звездой, которую он сжимал за концы щупалец. При каждом ударе морская звезда звучно икала, и от нее летели во все стороны какие-то неопрятные клочья.

— Амба, — прохрипел Двуглавый Юл. — Ваша взяла. Сдаюсь.

Он висел в воздухе посередине рубки и медленно поворачивался вокруг оси. Обе головы его бессильно колыхались на длинных, вытянувшихся шеях, руки и ноги болтались, словно были привязаны на ниточках. Сражение явно не пошло ему на пользу. Атос подтянул его к себе, снял с него пояс с кобурами и усадил в кресло.

— Где Галя? — спросил он, вытирая со лба пот.

— Там... — еле слышно проговорил негодяй, попытался показать рукой на экран и сморщил от боли обе физиономии.

Атос на всякий случай накрепко прикрутил его к креслу привязными ремнями, а тем временем Арамис зашвырнул морскую звезду в кладовку, загнал туда же всхлипывающую обезьяну и оттащил ящера, все еще пребывавшего в тяжком беспамятстве. Заперев их там, он вернулся в рубку, подошел к экрану, запустил в него руку по плечо и извлек, держа двумя пальцами за шкуру, Ятуркенженсирхива. Зверек покорно поджал лапки и зажмурился в ожидании неминуемой выволочки. Арамис его встряхнул.

— Ты чего ж это, бандит? — спросил он.

— Я больше никогда не буду, — жалобно пропищал зверек. — Не наказывайте меня, пожалуйста. Я ничего не сделал... Надо же как-то кормиться, сами посудите! Я, конечно, маленький, но жить-то все равно хочется...

— Перестань ныть, — сказал Арамис уже обычным своим тихим голосом. — Говори живее, где Галя?

— А тут, совсем рядом! — восторженно заверещал Ятуркенженсирхив. — Прямо в abordажной ее оставили... Я как раз хотел развязать ее и доставить сюда, но тут вы как раз так ловко меня схватили...

— Не ври. Ты просто прятался и подслушивал. Сейчас ты покажешь, куда идти... Атос, останься, пожалуйста, с этим двухголовым негодяем и не спускай с него глаз. Я постараюсь вернуться как можно скорее.

По-прежнему держа Ятуркенженсирхива за шкуру двумя пальцами, Арамис вспрыгнул на пульт, перескочил через край экрана и исчез. Двуглавый Юл с кряхтением завозился в кресле.

— Сиди смирно, ты! — грозно прикрикнул Атос.

— А ты на меня не ори! — сварливо отозвалась левая голова. — Молод еще на меня орать... Я в двести раз старше тебя, ты по сравнению со мной вообще еще эмбрион...

— Это вам не поможет, — сухо возразил Атос, но поскольку уважение к старости было уже в крови у юношей к тому времени, он добавил: — Я понимаю, вам неудобно сидеть вот так, связанным, но тут уж вы сами виноваты. Впрочем, сейчас подойдет наша эскадра. Я передам вас флагману, и там вам будет удобнее...

— Считаешь, меня повесят?

— Не знаю. Как-то не задумывался о такой возможности. Но, в конце концов, почему бы и нет?

— Ничего не выйдет! — злорадно заявил Двуглавый Юл.

— Это почему же?

— А потому, родной, что штурманская машина на моей «Пирайе» тю-тю, разбита вдребезги, и теперь по эту сторону подпространственного барьера никто, кроме меня, не знает координат Планеты Негодяев.

— Какой планеты?

— Планеты Негодяев. Нашей базы.

— Вы забываете, однако, что вы у нас не единственный пленный...

— Ха-ха! Ка, Ки, Ку и этот маленький предатель не то что о координатах — о простой арифметике понятия не имеют. В ведомости на получение своей доли добычи крестиками расписываются. Так что будь спокоен, сынок, я у вас в единственном числе, и вам придется с этим считаться.

Атос не нашелся что сказать на это. Действительно, земные эскадры имели задание ворваться на плечах пиратского корабля в ближайшие окрестности главной базы космических негодяев и принудить ее к капитуляции. И если двухголовый пират не врал (а какой ему смысл врать, если подумать), положение сильно осложнилось.

— Но, может быть, под угрозой смертной казни...

— Забудь. Ты имеешь дело со старым и стреляным-перестреляным космическим волком. Драться вы не разучились, в этом вам не откажешь, но насчет смертной казни... Нет! Вы отвезете меня к себе на Землю, будете содержать в приличных условиях, а я буду вспоминать прошлое и терзаться угрызениями совести. Может

быть, даже слегка помешаюсь, но потом, окруженный всеобщей заботой, перевоспитаюсь и уж тогда все как есть выложу со слезами на трех своих глазах...

В это время из-за экрана на пульт шагнул Арамис с Галей на руках. Следом в рубку вскочил Ятуркенженсирхив, победоносно размахивая мотком веревки. Арамис осторожно уложил девушку в кресло второго пилота, и голова ее бессильно поникла на грудь. Опухшие от слез глаза были закрыты.

— Коллапс, — сказал Арамис. — Очень ослабела, переволновалась, очень измучена...

— Ничего с нею не случится, — проворчал Двуглавый Юл. — Уж я-то знаю, девчонка железная! Назло мне оклемается. Такие царей себе подчиняли, империи на распыл пускали... Эх, не добрался я до нее вовремя, не догадался, старый дурак...

Арамис только мельком взглянул на него и продолжал, обращаясь к Атосу:

— Впрочем, насколько я понимаю, ничего серьезного. Я впрыснул ей успокаивающее, через десять минут напоим ее куриным бульоном и крепким чаем, а там, надо полагать, подоспеет и эскадра с флагманским врачом... Теперь вот что. Этот пушистый подхалим сообщил мне нечто первостепенной важности. Подвергшийся трехмерной контракции участок Зеленой долины со всем его населением упакован в пятнадцать контейнеров, которые сложены у них в трюме... И у меня такое впечатление, что эти негодяи уже сотню лет занимаются подобным разбоем на обитаемых мирах!

— Могу себе представить, — угрюмо сказал Атос и с ненавистью взглянул на Двуглавого Юла. — Но вся беда в том, что добраться до их гнезда нам сразу не удастся.

Арамис поднял брови и открыл было рот, собираясь задать очевидный вопрос, и в ту же секунду в рубке загремел властный голос:

— Внимание, «Стерегущий»! Говорит флагман! Вижу вас! Вижу рядом с вами чужой корабль! Что произошло? Доложите обстановку!

Атос подошел к микрофону:

— Флагман, слышим вас. «Стерегущий» докладывает. Двадцать семь минут назад пиратский корабль внезапно остановился, и его экипаж в количестве пяти... гм... разнообразных существ, используя неизвестный нам технический прием, ворвался в рубку «Стерегущего»...

Внимательно выслушав доклад Атоса, флагман сказал:

— Вас понял, «Стерегущий». Поздравляю с полной победой. Ваш доклад транслировался на Землю во Всемирный совет. Я на подходе. Готовьтесь принять концы. Сразу после швартовки забираю Галю к себе на борт для медицинского осмотра и полного отдыха. Забираю к себе также всех пленных и в первую очередь двухголового главаря для более тщательного допроса. Подготовьтесь к приему и переводу в трюм пиратского корабля разгрузочной команды в составе пятнадцати роботов и двух инженеров. Полагаю, что первый этап нашего похода можно на этом считать законченным. Перед тем как приступить ко второму этапу...

— Перед тем как приступить ко второму этапу, почтенный флагман, вам придется вернуться к себе на Землю не солоно хлебавши! — проорал Двуглавый Юл. —

Набирайтесь терпения, земляне, клянусь багровой Протуберой и синей Некридой, оно вам понадобится!..

Он захохотал и закашлялся, сгибаясь в кресле. Атос из сострадания постучал его кулаком в широченную спину.

— В одном могу вас утешить, мастера кулачного боя, — продолжал Двуглавый Юл, отдышавшись. — По ту сторону подпространственного барьера координаты вашей зеленой планеты знал тоже только я один. Ни одна живая душа их там больше не знает. Так что, пока я у вас, можете не беспокоиться!..

— Мы и не беспокоимся, спасибо, — вежливо произнес Арамис, и Ятуркенженсирхив, все это время отиравшийся у его ног, подобострастно хихикнул.

## 12

Вот как получилось, что по первому разу земным эскадрам пришлось вернуться к родной планете, так и не добравшись до пиратского гнезда. Двуглавый Юл не соврал (да и какой ему был смысл врать, если подумать): ни один из членов его экипажа понятия не имел не только о координатах Планеты Негодяев, не только о координатах вообще, но и о простой таблице умножения. И нимало не сожалел об этом. Радист Ка, белый в синюю крапинку ящер, умевший с равной ловкостью превращаться и в огромную белую птицу, и в кучу трухлявых бревен, интересовался исключительно карточной игрой, хотя играть умел лишь в «пьяницу» и в «простого дурака». Канонир Ки, чудовищная морская звезда, обладавшая поразительным свойством мимикрии, не умела считать даже до двух и все время путала допрашивавшего ее флагмана с Двуглавым Юлом. Квартирмейстер Ку, странная обезьяна, страшившаяся комнатных температур, но вполне равнодушная к холоду межзвездных пространств, была озабочена лишь своей коллекцией золотых монет и драгоценных камней, которую держала у себя в защечных мешках и частично в желудке. А крошечное тело Ятуркенженсирхива, профессионального шпиона, которого носят с собой, было до ушей набито инстинктом самосохранения.

Что же касается Двуглавого Юла, то он, конечно, знал все, но все отрицал, и никакие увещевания, угрозы и воззвания к остаткам его совести так и не смогли сломить его упорства. Никаких Великих Спрутов, Искусников Крэгов и Мхтандов он в глаза не видел и впервые о них слышит; обличающий рассказ Гали он объявил бредом несвоевременно заболевшей девчонки с самого начала и до самого конца; штурманскую машину он уничтожил вовсе не потому, что она взбунтовалась и остановила корабль, а из вполне понятного стремления сохранить в тайне координаты родной планеты, которую он желал оградить от вторжения агрессивных землян; в краже участка земной территории с населением, животными и растительным миром он охотно сознается, но...

— Взгляните на разумных существ, с которыми я вынужден иметь дело! — патетически орал он, указывая на испуганных Ка, Ки, Ку и Ятуркенженсирхива. — Взгляните на них, и вы представите себе, насколько я был всегда одинок. Я истосковался по носителям разума, похожим на меня, хотя бы и не с тем числом голов. Я искал их по всей обозримой Вселенной, и я испытал огромное удовлетворение, обнаружив их на Земле. Да, я украл тысячу человек. Но для чего? Я хотел перевезти их на свою родную планету, под кроваво-красную Протуберу и мертвенно-синюю Некриду, и спокойно зажить среди них мирной и счастливой жизнью...

Словом, он нагло врал, и толку от него не было никакого. В довершение всего, когда врать ему наскучило, он пригрозил откусить себе оба языка, и от него отступились. Не подвергать же его, в самом деле, допросу третьей степени! Флагман, посоветовавшись с Землей, отдал приказ на возвращение.

Дни пошли своим чередом. Украденная половина Зеленой долины со всем ее населением, животными и растительным миром была водворена на ее исконное место и зажила, как прежде, счастливо. «Черную Пирайю», очистив от многовековой грязи и дряни, отбуксировали к Луне и установили в центре кратера Архимеда под прозрачным колпаком из спектролита; сначала специалисты интересовались ею, пытаясь проникнуть в тайну разгромленной разрывными пулями штурманской машины, затем отступились. Двуглавого Юла, продержав положенное время в психическом карантине, определили жить на небольшой островок вулканического происхождения, где он и остается до сих пор, предаваясь составлению разного рода новых кулинарных рецептов из серы, вулканического пепла и пемзы; поговаривают, будто он коротко сошелся с местными тюленями и любит рассказывать им о своих необычайных похождениях. Ка, Ки и Ку попросились на Марс и не без успеха выступают на эстраде в доме культуры одного тамошнего городка; вскоре после их появления с соседней птицефермы стали частенько пропадать куры, но добродушные марсиане смотрят на это сквозь пальцы.

Однажды (это было уже год спустя после описанных событий) в яркий солнечный день по обочине широкого шоссе, пересекающего Зеленую долину, мимо цветущих садов и зеленеющих лугов, мимо уютных домиков и ажурных павильонов, через ручьи и реки по горбатым мостикам и прямо вброд скакали три всадника. Впереди с Ятуркенженсирхивом на плече летела Галя, следом мчались Атос и Арамис, и один за другим уносились назад километровые столбы с черными цифрами на белых эмалированных дощечках: 117... 118... 119...

У столба на сто двадцатом километре они осадил коней и с минуту постояли, глядя на обелиск черно-красного мрамора перед зарослями акаций напротив, а затем шагом двинулись дальше. Галя, смахнув слезу с ресниц, легонько щелкнула Ятуркенженсирхива по носу и проговорила:

— Все началось здесь, не так ли, маленький негодяй?

Ятуркенженсирхив обиженно пропищал:

— Я вовсе не негодяй. Я давно исправился.

Некоторое время они ехали молча. Потом Арамис произнес своим обычным тихим голосом:

— Я испытываю настоятельную необходимость посетить Планету Негодяев.

— Я не успокоюсь, пока не побеседую с Великим Спрутом и Искусником Крэгом,  
— отозвался сквозь зубы Атос.

Галя обернулась к ним.

— Поехали скорее, — сказала она. — Дедушка не любит, когда мы опаздываем...

Они пустили коней в галоп, и через минуту столб с цифрами 121 остался позади.



## Часть вторая. Операция «Итай-итай»

### 1

На краю краев великолепной суровой страны, где океан вот уже миллионы лет безуспешно штурмует несокрушимые скалы, а подземный огонь время от времени бессильно грозит подпалить набухшие дождями и снегом тучи, вдали от проезжих дорог и хлопотливых гаваней стоит старинная таверна «Одинокий ландыш». Никто уже не знает, да и не интересуется, когда и зачем было построено это неказистое сооружение из бетона, заляпанного мхом и лишайниками, с узкими длинными окнами по углам, со ржавой железной трубой, торчащей из середины плоской крыши. Но уютно сияет в промозглom тумане и в ночном мраке золотистая вывеска. Промерзший скиталец — пилот дирижабля-лесовоза или китовый пастух, заскучавший в тесноте своей субмарины, суровый геолог или падающий от усталости турист, бродяга живописец или таежный ветеринар — спускается по вырубленным в скале широким ступеням, распахивает дубовую дверь и вступает в залитую светом комнату; потирая заочневшие ладони, он оглядывает обшитые выцветшим коричневым пластиком стены, вытертый красный ковер на полу, потолок, расписанный под бездонно-синее небо. Взгляд его невольно задерживается на очаге, в котором весело потрескивает жаркое пламя, на простых деревянных столах и деревянных табуретках, на буфетных полках, заставленных стеклом и фарфором; ноздри его озябшего носа раздуваются, втягивая необыкновенно вкусные запахи свежее испеченного хлеба и ванильного печенья, бараньей похлебки с чесноком и жареной свинины, всевозможных солений и маринадов. А тут из-за лиловой портьеры появляется хозяин, дядюшка Витема, бывший смотритель термоядерной станции, — огромный, доброжелательный, улыбающийся, — разводит в знак приветствия могучие руки и произносит глубоким басом:

— Добро пожаловать, милости просим. Раздевайтесь, садитесь к огоньку, а я вам для начала стаканчик горячего глинтвейна...

Да, друзья мои. Жизнь прекрасна. Слов нет, как славно после обильного ужина посидеть у пылающего очага, рассеянно прислушиваясь к вою ночной вьюги в трубе и глухому реву вечного прибоя, а потом, отчаянно зевая и протирая слипающиеся глаза, спуститься в спальню и забраться в мягкую постель, под хрустящие, пахнущие свежим сеном простыни. Дядюшка Витема чрезвычайно гостеприимен и не скрывает этого.

В тот день, когда начались необычайные события, описанные в этой части нашей правдивой сказки, в тот ненастный осенний день дядюшке Витеме повезло совершенно особенно. Гость валом валит в «Одинокий ландыш». И какой гость! Первым явился старый приятель дядюшки Витемы, разъездной хирург Старик Саша; бухая гигантскими сапожищами, ввалился в таверну, швырнул в угол блестящий от осенней влаги плащ с капюшоном и, не говоря ни слова, устремился напрямик к очагу, — сопя и отдуваясь, принялся сушить перед огнем промокшую бороду. Дядюшка Витема встал у него за плечом со своеобразным стаканом наготове. Когда от бороды клубами повалил пар, Старик Саша распушил ее обеими пятернями в последний раз, откинулся на деревянную спинку и произнес:

— Ух ты!

Дядюшка Витема немедленно сунул ему в руку стакан. Старик Саша одним глотком спровадил в пищевод огненную жидкость и произнес во второй раз:

— Ух ты!

В третий раз он произнес эту чисто эмоциональную фразу, когда уселся за стол и заглянул в глиняный горшок, наполненный аппетитнейшей мешаниной из тушеной телятины, картошки и морской капусты.

— Погодка нынче, дядюшка Витема, доложу я вам! — объявил он, опростав горшок наполовину. — Злая погодка!

— Где же это ты был, Саша? — осведомился дядюшка Витема.

— Да опять на Черной Скале, у этого двухголового уголовника. Опять ему плохо.

Дядюшка Витема сочувственно поцокал языком и поставил перед гостем глиняную кружку с игристым квасом собственного изготовления. Старик Саша отхлебнул из кружки и продолжал:

— Вам, говорит, землянам, меня не вылечить. Я, говорит, у вас на Земле помру, будете тогда знать. Мне, говорит, умереть ничего не стоит, а вас совесть замучает.

Дядюшка Витема опять поцокал языком и спросил:

— А что, собственно, с ним такое? Еще на той неделе ко мне заходил, целое ведро уксусной эссенции вылакал...

— Вот-вот. Тюлени его плавать научили, вот он и обрадовался. Налакался уксусу, нырнул поглубже, и будто бы кто-то его там, в глубине, треснул чем-то твердым по правой голове, как раз по той, у которой и так одного глаза нет. Так он утверждает. Врет, по-моему. Сам о скалу какую-нибудь треснулся. Я осмотрел — действительно, опухоль на мозге под теменной костью...

— Ну-ну?

— Надо бы оперировать, конечно, но у него же анатомия совсем другая, чем у нас с вами. У него и кровь зеленая, и кость черная, и сердце у него три, и мало ли что еще... Буду консилиум созывать, так что готовьтесь: днями здесь у вас весь цвет планетной медицины и ветеринарии соберется... И даже, может быть, инопланетной.

— Я буду очень рад, разумеется. Но, может быть, проще его в Москву отвезти... или в Калькутту, скажем?

Старик Саша допил квас и помотал головой.

— Не желает. Я уже предлагал, упрашивал, грозил даже. Ни в какую. На Черной Скале, говорит, я по вашей милости три годика страдал, на Черной Скале и умру. В окружении, говорит, моих единственных друзей — благородных тюленей...

В эту самую секунду дверь вновь распахнулась, и на пороге в облаке дождевых капель возник высокий худой человек в длинной, до пяток, непромокаемой накидке, с узким костистым лицом, покрытым тем странным серо-коричневым загаром, по которому безошибочно опознают работника Глубокого космоса. И действительно, когда незнакомец поздоровался и сбросил накидку, под нею обнаружилась черная с серебром форма Космического флота. При виде шеврона на правом плече и значка в виде флажка над левым нагрудным карманом Старик Саша почтительно привстал из-за стола: перед ним был флагман Космического флота и член Всемирного совета.

— Здравствуйте, друзья! — звучным голосом произнес незнакомец, приглаживая

ладонями седые волосы. — Позвольте представиться — флагман Макомбер, командующий третьей космической эскадрой. Не помешал?

— Что вы, что вы... — засмутился Старик Саша, а дядюшка Витема только руками замахал и бросился наливать прославленному флагману горячего глинтвейна.

— Не помните меня, дядюшка Витема? — спросил космолетчик, принимая стакан. — Тридцать лет... нет, тридцать два года назад я потерпел аварию во время тренировочного полета, вынужден был катапультироваться и свалился в тайге километрах в сорока отсюда. Насилу тогда до вас добрался, и вы меня здесь два дня выхаживали... Не помните?

— Да разве вас всех упомнишь? — благодушно отозвался дядюшка Витема. — Тридцать лет! За это время столько вас здесь с неба насваливалось, из океана навывползло, из тайги набредало, что никакой памяти не хватит... Садитесь, флагман, и будьте как дома. И скажите лучше, чем вас угостить?

— Совершенно безразлично. Впрочем, одну минутку... Если у вас найдется слегка обжаренная ножка упитанной индейки под гвоздичным соусом и с капелькой клюквенного экстракта... и чашечка черепашьего бульона... Найдется? Ну вот и прекрасно.

Дядюшка Витема поспешил на кухню, а прославленный флагман отпил немного глинтвейна и приветливо поглядел на Старика Сашу.

— А вы как здесь оказались, молодой человек? — спросил он.

— Да я, собственно, местный хирург, — сказал Старик Саша застенчиво. — Собственно, совершал обход... вернее, облет... вот и заглянул на огонек.

— Прекрасно! — воскликнул флагман Макомбер. — Мне удивительно везет сегодня! А скажите, мой дорогой хирург... — Тут он отставил стакан, навалился грудью на столешницу и, глядя Старика Саше прямо в глаза, спросил вполголоса: — Скажите мне, мой дорогой хирург, нет ли у вас случайно пациента на острове, именуемом Черная Скала?

Старик Саша даже не успел удивиться — новое и гораздо более сильное впечатление начисто вышибло из его головы загадочный интерес командующего третьей космической эскадрой и члена Всемирного совета к двуглавному пленнику на Черной Скале. Ибо опять распахнулась дверь, и в таверну вбежала, складывая зонтик, самая очаровательная девушка, какую Старик Саша за свою не очень длинную жизнь когда-либо видывал во плоти, на экранах или на фотографиях в иллюстрированных журналах. У нее было румяное от осеннего холода лицо, огромные зеленые глаза, вьющиеся каштановые волосы... Словом, это была девушка Сашиной мечты. Восторг, вспыхнувший в Сашиной груди, был, впрочем, немедленно омрачен: следом за девушкой в таверну шагнул мрачноватый детина, косая сажень в плечах, в насквозь промокшем сером комбинезоне мастера, с внешними данными, как немедленно и с горечью отметил Старик Саша, которые напрочь забивали самые прекрасные бороды в мире.

— Галя, — представилась девушка прекрасным голосом.

— Атос, — слегка помедлив, произнес детина.

— Эй, — воскликнул космический флагман Макомбер, поднимаясь со скамьи. —

Кого я вижу!

Но тут из-за лиловой портьеры вышел сияющий от восторга дядюшка Витема с двумя дымящимися стаканами в руках.

— Милости просим! — провозгласил он. — Я счастлив... Но вы совсем промокли, друзья мои! К огню, к огню! Выпейте вот это. Выпейте, девочка, вы сразу согреетесь... Да садитесь же к огню, обсушитесь, а я тем временем придумаю, чем вас угостить...

— Простите, мы забежали только на минутку, — смущенно проговорила девушка Галя, сжимая стакан в ладошках. — Мы только хотели спросить...

— Да, мы должны двигаться дальше, — прервал ее мрачноватый Атос. — Здравствуйте, флагман Макомбер. Странно, я думал, что вы на Плутоне и готовите экспедицию к Фомальгауту.

— А я думал, что вы на Таймыре и монтируете новую очередь солнцепровода, — со странной интонацией отпарировал флагман Макомбер.

— Галя, это флагман Макомбер, — сказал Атос, не отрывая цепкого взгляда от космолетчика. («Вот это взгляд!» — с завистью подумал Саша.) — Ты помнишь флагмана Макомбера, Галя? Впрочем, ты была тогда без сознания. Это командующий третьей космической эскадрой.

Галя радостно вскрикнула, и Старик Саша ахнуть не успел, как она обняла Макомбера и звучно расцеловала его в обе щеки. Макомбер растроганно потрепал ее по спине.

— Рад видеть вас живой и здоровой, деточка, — произнес он. — Так вы решили побродить по старушке Земле?

— Мы... — начала Галя, но Атос прервал ее.

— Флагман Макомбер, конечно, шутит, — холодно сказал он.

Старик Саша ничего не понимал. Дядюшка Витема — тоже. Зато у дядюшки Витемы было чем заняться. Дядюшка Витема ринулся в бой. Он объявил, что в течение ближайшего часа никто не смеет покинуть «Одинокий ландыш» под страхом смертельной обиды. Он увлек Галю к столу и усадил ее. Он почти силой впихнул Атоса в деревянное кресло перед огнем. Он принес флагману Макомберу ножку упитанной индейки с надлежащими приправами и чашку превосходного черепашьего бульона. Он с немислимой точностью определил, что Гале необходимо подкрепиться миской лукового супа и крылышком куропатки, а Атос может уничтожить на выбор либо котлету по-киевски, либо селянку на сковородке.

— И еще я угощу вас всех превосходными чарджуйскими дынями, — закончил он. — Мне только вчера прислал десяток один мой друг-художник.

Старик Саша уже оправился от первых потрясений и даже принялся оглаживать бороду, но тут его вновь ударило. Откуда ни возьмись на плече у прекрасной Гали появился странный пушистый зверек: в два кулака величиной, белый как снег, с красными глазами — то ли котенок, но с очень коротким хвостиком, то ли крольчонок, но с очень маленькими ушками. Деловито оглядевшись, он пропищал:

— А мне чего дадут?

— Ба! И ты здесь, маленький бандит? — воскликнул со смехом флагман Макомбер.

— Ну, как тебе живется у нас на Земле?

— Благодарю вас, я чувствую себя на вашей планете вполне сносно, — сухо отозвался зверек. — Однако позволю себе заметить, что, называя меня бандитом, вы глубоко заблуждаетесь.

— Это Ятуркенженсирхив, — не совсем понятно пояснил флагман Макомбер пораженному дядюшке Витеме и остолбеневшему Старику Саше. — Бывший шпион, которого носят с собой. Дайте ему молока с творогом, дядюшка Витема. Если мне память не изменяет, это нравится ему у нас больше всего.

— Благодарю вас, флагман, — с достоинством произнес Ятуркенженсирхив. — И немного липового меду, если у вас найдется...

Дядюшка Витема всплеснул могучими руками и удалился на кухню, а флагман Макомбер, снова повернувшись к Атосу и Гале, сказал:

— Итак, вся добрая команда в сборе. Вернее, почти вся. А где же достойный Арамис?

— Мы потеряли его из виду год назад, — грустно сказала Галя. — Не сказал нам ни слова и куда-то исчез. Регулярно поздравляет нас с днями рождения и с праздниками, но где он, совершенно неизвестно. Говорят, его недавно видели на Марсе...

— На Марсе? Так-так... — задумчиво сказал флагман. — Ну, тогда я вам ручаюсь: не сегодня завтра вы снова его увидите.

— Где? — в один голос спросили Галя, Атос и Ятуркенженсирхив.

— Здесь, разумеется, — ответил флагман и хладнокровно принялся за ножку индейки.

Последовало молчание, затем Атос спросил:

— Почему вы так думаете, флагман Макомбер?

— Да я просто уверен в этом. Ведь остальные трое пиратов безвыездно живут на Марсе.

Снова наступило молчание. Старик Саша решительно ничего не понимал и даже рот приоткрыл в затруднении, что, впрочем, не было заметно из-за его обширнейшей бороды.

— Хорошо, флагман Макомбер, — сказал наконец Атос, встал и повернулся к огню спиной. — Сдаюсь. Вы нас поймали. Да, мы направляемся на Черную Скалу повидать Двуглавого Юла. Но вы-то откуда об этом узнали? Вы что, следили за нами?

— Обо мне потом, — проговорил прославленный космолетчик, обгладывая косточку. — Продолжайте, достойный Атос. Откуда вам стало известно, что Двуглавый Юл опасно болен?

— Это все Ятуркенженсирхив, — сказала Галя, и пушистый зверек на ее плече раздулся от важности. — Оказывается, у него с Юлом непрерывная телепатическая связь. Позавчера он принял телепатеку, что Юл заболел и просит нас навестить его.

— И вот мы здесь, — заключил Атос. — Как видите, все очень просто, флагман Макомбер.

Космолетчик допил глинтвейн, аккуратно вытер салфеткой губы и пальцы и сказал:

— Верьте мне или не верьте, друзья, но я понятия не имел, что увижу вас здесь. Со мной дело обстоит еще проще. Видите ли, я по долгу службы обязал кое-кого присматривать за всем, что происходит на Черной Скале. И вот три дня назад один мой... гм... знакомый китовый пастух со слов своего знакомого дельфина сообщил мне, будто среди местных тюленей циркулируют слухи...

Он вдруг замолчал, словно вспомнив что-то, и повернулся к Старику Саше:

— Скажите, мой дорогой хирург, в каком состоянии вы оставили сегодня Двуглавого Юла?

Старик Саша откашлялся. Старик Саша разгладил бороду — вправо и влево. Старик Саша сказал:

— Трудно усмотреть что-либо определенное, когда имеешь дело с существом столь чуждой нам организации. Но если судить по его настроению, по болям, которые он испытывает, и особенно по виду опухоли на мозге, положение его не может не внушать тревоги.

— Ему очень, очень плохо! — пропищал Ятуркенженсирхив. — Он боится, что умрет.

Флагман вопросительно посмотрел на Старика Сашу.

— Летальный исход не исключен, — признал тот.

— На это я и рассчитываю, — произнес флагман Макомбер. Все с изумлением воззрились на него. — Да, друзья, я не оговорился. Не забывайте, что где-то в Глубоком космосе продолжает процветать Планета Негодяев — отвратительное гнездо космического разбоя, неизбывная угроза всем мирным цивилизациям. Один только Двуглавый Юл во всей обозримой Вселенной знает, где она расположена, но до сих пор он упрямо молчал. Может быть, теперь, перед лицом смерти он раскается или устанет хранить тайну...

— Как вы можете так говорить, флагман Макомбер? — с негодованием вскричала Галя. — Человек опасно болен, он умирает в плену, вдали от родины, а вы...

Старик Саша увидел в ее прекрасных глазах слезы и задрожал. Но флагман сурово сдвинул седые брови.

— Молчите, глупая девчонка! — прогремел он голосом, которым, вероятно, командовал «Поворот все вдруг!». — Или этот двухголовый преступник не соврал, и машина на мозгах разумных существ действительно привиделась вам в бреду? Какое мне дело до жизни и смерти одного негодяя, когда на мне лежит ответственность за безопасность моей планеты и сотен других братских миров? А кто может сказать, что натворил Великий Спрут со своей бандой за эти три года, пока двухголовый мерзавец прохлаждался среди моржей на Черной Скале? Родина, говорите вы? У этого подлеца нет и не может быть родины! Он — окаянный предатель великого братства разума во Вселенной, и искупить свою чудовищную вину он может только одним способом...

— Вы совершенно правы, флагман Макомбер! — прозвучал у дверей новый голос.

Все как зачарованные слушали гневную речь прославленного флагмана, даже дядюшка Витема, застывший у лиловой портьеры со сковородкой и миской в руках, и никто не заметил, что в таверне появился еще один гость. Появился он совершенно бесшумно, его не услышал даже бывший шпион Ятуркенженсирхив с его

изошреннейшим слухом, и находился он здесь уже по меньшей мере несколько минут — видимо, тоже слушал. Он стоял ссутулившись, опершись грудью на тяжелую стальную острогу, высокий молодой человек в красно-белом облегающем костюме для подводного плавания в северных широтах, с очень бледным красивым лицом, на котором выделялись большие зеленые глаза, показавшиеся Старику Саше поразительно знакомыми. С молодого человека обильно текло, и вытертый ковер под его ногами изрядно промок.

— Арамис! — радостно взвизгнула Галя и, перепрыгнув через табурет, повисла у него на шее.

— Арамис! — с изумлением произнес Атос.

— Ага, вот и Арамис, — удовлетворенно сказал флагман Макомбер.

— А я давно знал, что Арамис придет, — пропищал Ятуркенженсирхив, цепляясь за Галины волосы, чтобы не свалиться в суматохе.

Старик Саша, естественно, ничего не сказал, а дядюшка Витема, которому было безразлично все, кроме аппетита гостя, важно прогудел:

— Добро пожаловать, дорогой Арамис! Рад снова приветствовать вас в «Одиноким ландыше».

— Здравствуйте, друзья, — проговорил Арамис, швыряя свою тяжелую острогу в угол. — Здравствуй, родственница, — сказал он, обнимая несравненную Галю. — Привет, Атос, сто лет не виделись! Приветствую вас, флагман Макомбер, вы, как всегда, очень кстати. Здравствуйте, дядюшка Витема. И ты здравствуй, маленький шпион!

— Я давно уже не шпион, — обиженно возразил Ятуркенженсирхив.

Арамис ловко щелкнул его по пуговичному носу:

— А кто скрыл от всех, что связан напрямую с Двуглавым?

Не прошло и минуты, как костюм для подводного плавания оказался в углу рядом с острогой, а загадочный Арамис в темном от пота тренировочном костюме и со стаканом глинтвейна в руке уселся перед огнем. Дядюшка Витема вновь умчался на кухню готовить сногшибательный плов, тогда как Старик Саша обрел сомнительное удовольствие участвовать в пьесе, смысла которой не понимал ни капельки.

— Надо полагать, ты здесь по тому же делу, что и мы, — сказал, слегка нахмурясь, Атос.

— Несомненно, — ответил Арамис и поглядел на космолетчика. — Вы, я вижу, тоже не теряли времени даром, флагман Макомбер?

— Благодарю за комплимент, — поклонился космолетчик.

— Ты прямо с Марса? — простодушно осведомилась Галя.

— Ну, не совсем прямо...

— Как ты узнал, что Двуглавый Юл заболел и вызывает нас? — напрямик спросил Атос.

— Ничего удивительного, — пробасил из-за портьеры добрый дядюшка Витема. — Достойный Арамис прибыл сюда как раз за день до того, как с двухголовым случилось

это несчастье.

— Ах, вот даже как... — сказал прославленный флагман. Он рассматривал Арамиса в упор. — А позвольте узнать, достойный Арамис, чем это вы занимались целый год на Марсе?

— Настоящий допрос, — рассмеялся Арамис. — Ну, извольте. Возился с нашими пиратами. Учил ящера Ка читать; прививал морской звезде Ки навыки общежития; отучал обезьяну Ку воровать кур и даже золотые монеты.

— Неужели получилось что-нибудь? — недоверчиво спросил Ятуркенженсирхив.

— Что ж, более старательных учеников у меня еще никогда не было. И более бездарных, впрочем...

— А еще? — спросил флагман.

— Что — еще?

— Чем еще вы занимались с нашими пиратами?

— Послушайте, флагман Макомбер! — произнес Арамис сердито. — Уж не подозреваете ли вы, что я тайно подбивал их поднять бунт и водрузить на Фобосе черный флаг с черепом?

— Ну что вы, достойный Арамис! Простое любопытство. Просто меня поразило это совпадение: вы пропадаете на Марсе целый год, затем внезапно объявляетесь в окрестностях Черной Скалы — и пожалуйста, на другой же день Двуглавый Юл прошибает себе голову!

— Такое ли еще случается! — сказал дядюшка Витема, водружая на стол блюдо ароматнейшего плова. — Прошу вас, дорогой Арамис, угощайтесь.

Арамис поблагодарил и сел за стол. Некоторое время все смотрели, как он ест, — полузакрыв глаза от наслаждения, с видимым усилием сдерживаясь, чтобы не набивать рот до отказа. Ясно было, что достойный Арамис страшно проголодался.

— Как ты узнал, что мы здесь? — спросил вдруг Атос.

Арамис пожал плечами и проглотил очередную порцию плова.

— Признаться, даже присутствие флагмана Макомбера не очень удивило меня. А что касается тебя и Гали, то несколько часов назад я говорил с Двуглавым Юлом, и он сообщил мне о вашем приезде... — Он отодвинул блюдо и отшвырнул салфетку. — Вот так, друзья мои. Двуглавый Юл ждет нас завтра в девять утра на Черной Скале для приватной и весьма важной, по его мнению, беседы. То есть ждет он Галю, Атоса и меня, но, как я понимаю, вы тоже присоединитесь к нам, флагман Макомбер?

— Разумеется, достойный Арамис, — сказал спокойно прославленный флагман. — Я догадываюсь, о чем Двуглавый Юл собирается беседовать с вами, и, если я не ошибся, значит не зря я бросил свои дела на далеком Плутоне.

— А теперь, — сказал Арамис, поднимаясь из-за стола, — я прошу у всех прощения. Я добирался сюда от Черной Скалы вплавь и порядком устал. С вашего разрешения и с благословения доброго дядюшки Витемы я приму душ и пойду спать. Спокойной ночи, до завтра.

Он направился было к люку, ведущему в нижние помещения, но снова



остановился:

— Да, чуть было не забыл! Я выслушал вашу отповедь моей незадачливой родственнице, флагман Макомбер, и хочу еще раз повторить, что совершенно согласен с вашим взглядом на вещи. Спокойной ночи.

И он исчез в люке. Флагман промолчал. Старик Саша взглянул на него и увидел, что он смотрит в угол. Старик Саша тоже посмотрел в угол и увидел острогу, брошенную Арамисом. Тяжелую стальную острогу.

Старик Саша не знал и мог только смутно догадываться, что его странный двухголовый пациент на Черной Скале совершил против человечества такое преступление, за которое триста лет назад его бы повесили за обе шеи; что прекрасная девушка, которая сидела за столом напротив и задумчиво катала хлебные шарики, побывала в плену у этого преступника и едва там не погибла; что мрачноватый мастер, сидевший у очага с кочергой в руках, и загадочный Арамис, только что спустившийся в спальню, в рукопашном бою с этим преступником спасли от ужасной участи тысячу человек; что командующий третьей космической эскадрой и член Всемирного совета Макомбер так и не смог сломить упорства этого закоренелого преступника и впервые в своей долгой жизни не выполнил приказа Земли.

Да, события, имевшие место три года назад и описанные в первой части нашего повествования, прошли как-то мимо Старика Саши. И то сказать, в эти времена, полные великих и странных чудес, трудно уследить за всем, что творится в обозримой Вселенной, а Старик Саша тогда сдавал экзамены на славное звание практикующего хирурга и вдобавок болел за любимую команду «Земляне Марса». И кто упрекнет его? Разве кому-нибудь известно, например, что в прошлом году Старик Саша со своим другом китовым ветеринаром Кавабатой разнимал матерого кашалота Хрику и бешеного кальмара Сильвестра, сцепившихся в смертельной схватке на глубине двух километров, а потом оперировал израненного Кавабату прямо на узкой палубе субмарины?..

Галя поднялась и протерла кулачком глаза.

— Какой Арамис стал странный, — проговорила она.

— Да. Странный, — отозвался Атос и тоже встал. — Пора спать. Чует мое сердце, завтра начнутся события.

## 2

Черная Скала представляет собой громадный горб черного базальта, миллионы лет назад выдавленный со дна на поверхность океана вулканическими силами. Расщелины и уступы вокруг верхушки горба облюбовали крикливые склочницы чайки, на северном берегу обосновалось многочисленное семейство знаменитого в этих местах старого тюленя Фильки, а южный склон Всемирный совет определил три года назад под жительство пленному космическому разбойнику. В толще базальта была выплавлена просторная четырехкомнатная пещера, три комнаты набили серой, пемзой, различными колчеданами и прочими лакомствами (ни капли ртути, конечно), в четвертой же, с отличным видом на южный горизонт, поставили извлеченное из «Черной Пирайи» кресло с непомерно широкой спинкой, предварительно как следует продезинфицировав, продезинсектировав и продезактивировав его.

Первый год бывший вольный пират вел чрезвычайно замкнутый образ жизни и

целыми неделями только и делал, что в угрюмом одиночестве жрал свои колчеданы, оборотившись к океанским просторам широченной спиной: видимо, наша зеленая планета с ее красной кровью, хлорофиллом, водой и воздухом здорово претила ему. К началу второго года он постепенно привык, а может быть, просто скука взяла свое. Он стал регулярно выходить на воздух и неожиданно для себя пристрастился к яйцам чаек, которые доставались ему ценой больших усилий и изрядного риска, потому что скалолаз он был никудышный. Он стал даже забираться в воду — не глубже чем по пояс, потому что воды все еще боялся, да и плавать не умел нисколько, но он все так же неожиданно для себя пристрастился к морской капусте, в которой, как известно, содержится много йода. В воде он встретился и вскоре близко сошелся с тюленями, и дело пошло совсем хорошо. К этому времени Двуглавый Юл ощущал уже настолько острую нужду в обществе, что тюленье семейство могло его не опасаться. Он тетешкал младенцев, рассказывал молодежи поражающие воображение истории о космических битвах и вел со старым, многоопытным Филькой длинные беседы философского, а также морально-этического направления.

С кем поведешься, от того и наберешься. Мало-помалу он научился плавать. Впрочем, это оказалось не так уж трудно. В океанской воде, как он обнаружил, содержится масса питательных солей, и в свои разгрузочные дни Двуглавый Юл стал заменять завтрак, обед и ужин длительными купаниями. А полгода назад он впервые пересек вплавь пятидесятикилометровый пролив и осторожно просунул левую голову в дверь таверны «Одинокий ландыш». Следует сказать, что дядюшка Витема и глазом не моргнул при виде двухголового человека. Не стал он моргать и тогда, когда двухголовый человек отказался от превосходной гречневой каши и потребовал золы из затухающего очага. Запив золу бутылью крепкого уксуса, он поблагодарил и удалился, но через неделю вернулся снова... И еще через неделю, и еще... Он бессовестно забросил своих друзей-тюленей ради уксусной эссенции в «Одиноком ландыше». До тех пор пока они не выволокли его из-под воды с пробитой макушкой на правой голове...

Когда ровно в девять часов утра Галя с Ятуркенженсирхивом на плече, флагман Макомбер и двое мушкетеров переступили порог пещеры на Черной Скале, Двуглавый Юл восседал в своем кресле, положив ногу на ногу и скрестив на груди руки. Он почти не изменился за эти три года, даже его черная одежда и черные перчатки, изготовленные неведомыми умельцами неведомых миров, даже его кобуры от страшных пистолетов, погубивших несчастного Мхтанда и его соотечественников, были прежними. Вот только правая голова подгуляла. Левая, наголо обритая, ушастая, гордо торчала, как и три года назад, на длинной прямой шее и злобно сверкала глазами, но правая, обмотанная, словно чалмой, толстым слоем бинтов, жалко свесилась набок, и единственный глаз ее тускло глядел в щель из-под набрякшего позеленевшего века.

— Ага! — глухим свирепым голосом произнесла левая голова. — Явились, не запылились. Знакомые все лица. Пришли поглазеть, как издыхает одинокое разумное существо. Что же, глазейте, будет вам что вспомнить в ваши бессонные ночи, когда меня не станет. Приятно поглазеть на дело своих рук, не так ли? Кого это вы напустили на меня под водой? Какую-нибудь жалкую трусливую черепаху? Профессионального убийцу-нарвала?..

Гале стало до слез жалко его, но Арамис нетерпеливо сказал:

— Ты звал — мы пришли. Скажи спасибо и не ломай комедию, Двуглавый. Времени у нас мало, да и у тебя тоже. Говори скорее, что ты хотел сказать.

Двуглавый Юл запустил руку в левую кобуру, извлек горсть мелких морских ракушек и набил ими левую пасть. Послышался дробный треск, левая голова выплюнула скорлупки, как шелуху от семечек, и угрюмо проговорила, кивнув в сторону флагмана Макомбера:

— При нем разговора не будет.

Арамис пожал плечами.

— Тогда разговора не будет вообще, — сказал он и повернулся к выходу.

Прославленный космолетчик жестом остановил его.

— Будьте благоразумны, Двуглавый Юл, — строго произнес он. — Не забывайте, что вы в плену. Вы не можете диктовать здесь свои условия. Условия вам диктуем мы.

Тогда левая голова выкатила глаза и принялась орать. Она орала, что он, Двуглавый Юл, в плену никогда, нигде и ни у кого не был и не будет и что отдался он в руки землян совершенно добровольно, в надежде обрести наконец общество себе подобных, и правдивость его слов могут подтвердить хотя бы эти мальчишки и эта девчонка, которым он годится в прапрапрапрадеды, а если они откажутся подтвердить, значит, они самые подлые и закоренелые лжецы во всей обозримой Вселенной; что он, Двуглавый Юл, ветеран Глубокого космоса, весь покрытый шрамами от метеоритов, вражеских пуль и укусов инопланетных чудовищ, ничем не хуже какого-то там флагмана, окопавшегося на своей третьестепенной зеленой планетке и воображающего, будто он, флагман, чего-то стоит по сравнению с ним, Двуглавым Юлом; что его, Двуглавого Юла, не раз предавали за сотни лет его бурной жизни и полезной деятельности, да только предатели долго не жили, и близок час, когда он, Двуглавый Юл, сдерет с одного из таких предателей его белую пушистую шкуру и закажет из этой шкуры перчатку себе на правую руку...

Так он орал, бранился и рычал довольно долго, не менее пяти минут. Арамис достал из кармана какую-то книжку и сделал вид, что погрузился в чтение; Атос начал позевывать, вежливо прикрывая рот ладонью; Галя на всякий случай потихоньку отступила за его спину, а Ятуркенженсирхив, охваченный ужасом, спрятался у нее за пазухой; флагман же Макомбер принялся, морщась, рассматривать свои ногти. Потом правая голова вдруг хрипло простонала: «Клянусь Протуберой и Некридой, ты прекратишь когда-нибудь этот проклятый шум? У меня уже все внутри заболело от твоих проклятых воплей...» И левая голова умолкла, отдуваясь.

— Итак? — как ни в чем не бывало произнес Арамис, закрывая свою книжку.

— Плохо мое дело, ребята, — сказала левая голова и с тяжким вздохом поникла на грудь. — Загибаюсь я. Прямо признаем, не жилец я на вашей Земле.

Все промолчали. Галя всхлипнула и смахнула со щеки слезинку.

— Вот и позвал я вас, ребята, чтобы поговорить начистоту, — продолжал Двуглавый Юл, понемногу воодушевляясь. — Дело мое швах, на Земле вашей никто мне помочь не может, вы уж мне поверьте. Иначе я бы вас, ребята, нипочем бы не позвал. Но раз уж дело мое такое, что остается мне здесь только подохнуть, как последней собаке, решил я на все плюнуть и все как есть вам рассказать. Потому что,

ребята, нет мне никакого смысла молчать, раз уж видны мне концы...

— Это мы уже поняли, — холодно сказал Арамис.

— Действительно, Двуглавый, — сказал флагман Макомбер. — Вы же все-таки мужчина, хоть и негодяй. Не размазывайте, перестаньте причитать и приступайте прямо к сути.

— А суть, ребята, вот в чем, — понизив голос, проговорил Двуглавый Юл. — Неохота мне помирать, вот в чем суть. И ведь не то чтобы я смерти боялся. Видел я ее, костлявую, во всех видах: и огненную, и ледяную, и голодную... Вот прямо так, как вас перед собой вижу. Поставишь, бывало, к стенке десяток-другой каких-нибудь со щупальцами, вынешь пистолеты и раз-раз-раз! — все лежат и даже лапками не дрыгают... И сам убивал немало, и меня убивали... Нет, ребята, на смерть я нагляделся и ничуть ее не боюсь. Но умирать мне все-таки неохота.

Двуглавый Юл даже зажмурился от сочувствия к самому себе.

— И вот теперь, — продолжал он и то ли хихикнул, то ли всхлипнул тихонько, — остался у меня один-единственный шанс на спасение. Это огромная тайна, в ваших местах она ни единой душе не известна, но вам я открою ее полностью и до конца. Только прежде мне придется сделать одно чистосердечное признание, и вы должны дать мне гарантии, что ваши власти не повесят меня потом за обе шеи.

— Никаких гарантий вы не получите, — спокойно произнес флагман Макомбер.

— Так с какой же стати я буду тогда... — начала было с негодованием левая голова, но правая хрипло прошептала ей на ухо:

— Не валяй дурака, никто нас с тобой не повесит, раз уж до сих пор не повесили.

— Ладно! — сказал Двуглавый Юл и изо всех сил стукнул кулаком по подлокотнику. — Где мое не пропадало! Полагаюсь на ваше благородство, ребята. Я торжественно, добровольно и чистосердечно признаюсь в том, что все наши дела, о которых этот зловредный Мхтанд рассказал этой вот девчонке, есть чистейшая правда. И про Планету Негодяев, и про Великого Спрута, чтоб ему сдохнуть, и про Искусника Крэга... и про машины на живых мозгах... и для чего я на «Черной Пирайе» к вам на Землю наведалься...

— Мы с самого начала знали, что это чистейшая правда, — нетерпеливо прервал его флагман Макомбер. — Продолжайте, Двуглавый. Выкладывайте вашу огромную тайну.

— Знали? — обрадовано воскликнула левая голова. — Что же вы мне сразу не сказали? Знали и не повесили! Вот так порядочки у вас тут на Земле... Ну, тогда слушайте.

Вот что рассказал Двуглавый Юл.

Давным-давно, более тысячи лет назад, Богомол Панда, один из самых дерзких головорезов Великого Спрута, шастая в поисках добычи по окраинам Малого Магелланова Облака, наткнулся на незначительное оранжевое солнце с единственной, но цветущей планетой, покрытой фтороводородными океанами и плотной атмосферой из смеси фтора и неона. Обычно на таких мирах бывает чем поживиться, потому что их населяют, как правило, многочисленные и очень трудолюбивые носители разума, но эта планетка, к удивлению и разочарованию Богомола, была совершенно пустой. То

есть, конечно, ее сушу покрывали густые сиреневые леса и плодородные лиловые поля, фтороводородные реки и океаны тоже изобиливали жизнью, но разумных живых существ на ней не оказалось. С досады Богомол Панда начал было кудесить и хотел сбросить на самый большой материк парочку кислородных бомб, но тут же спохватился, потому что кислород на окраинах Малого Магелланова Облака и теперь не укупишь, а в те времена и подавно. Пришлось Богомолу плюнуть и повернуть свой крейсер прочь от вонючей планетки.

А через несколько часов пираты натолкнулись на неизвестный космический корабль, идущий встречным курсом. Тут уж, казалось, дело верное. Корабль был немедленно атакован и взят на бордаж. И как же был вновь разочарован Богомол Панда, когда оказалось, что не технические новинки, не произведения искусства и ремесла, не золотые слитки заполняли отсеки злосчастливого корабля, а койки-амортизаторы с больными и увечными носителями разума. Корабль был санитарным транспортом. Рассвирепевшие пираты принялись рубить несчастных вручную, и тем бы все и кончилось, если бы Богомол вдруг не задумался: а зачем, собственно, санитарный корабль с грузом полумертвых разумных существ шел к пустынной фторовой планетке? Он приказал прекратить бойню и привести в рубку оставшихся в живых; ему приволокли полумертвого от ран капитана, похожего на громадного муравья, и полумертвого от страха санитаря, похожего на гигантского мотылька. Богомол Панда допросил их сам, ни в чем себя не стесняя. Правда, капитан-муравей во время допроса умер, но то, о чем он упорно молчал, торопливо выболтал санитар-мотылек.

Выяснилось, что на Северном полюсе фторовой планетки, под километровой толщиной фтороводородного льда, обитает некий чудо-доктор по имени Итай-итай. Этот доктор якобы лечит какие угодно болезни и даже восстанавливает какие угодно утраченные органы у каких угодно носителей разума. Уже много тысячелетий многие сотни цивилизованных рас, населяющих многие десятки планетных систем в окрестностях оранжевого светила, посылают своих безнадежно больных и увечных к доктору Итай-итай, и еще не было случая, чтобы кто-нибудь не вернулся домой полностью исцеленным. Замечательно, что исцеление происходит за считанные минуты, а то и секунды, диагноз же ставится моментально, с первого взгляда. Откуда взялся доктор Итай-итай, какая раса его породила, как и когда он угнездился на этой одинокой планетке незначительной звезды, никто не знает, поскольку вопросов, не относящихся к делу, он терпеть не может. Впрочем, учеников он берет охотно, и их у него перебивало бесчисленное количество, однако ни один из них не смог постигнуть даже начал его удивительного искусства.

Закончив допрос, Богомол Панда дал приказ немедленно возвращаться на фторовую планету. Остальное было делом техники. Спустя короткое время чудо-доктор Итай-итай был взят и водворен в лучшую каюту крейсера, а его подледный госпиталь был очищен до последнего скальпеля и взорван атомным зарядом. Надо сказать, что наружность чудо-доктора повергла в изумление даже выдавших виды пиратов Глубокого космоса. Богомол, который не имел никакого воображения и отличался косноязычием, описал его как «этакую круглую штукювину с тележное колесо, а может, и поболее, да еще с такими хвостами заместо всего прочего». Он даже не поверил поначалу, что перед ним именно чудо-доктор, а не какой-нибудь диковинный медицинский инструмент. Он не поверил и тогда, когда

чудо-доктор пришел в себя от пережитого потрясения и принялся протестовать и браниться. И только получив подтверждение от санитар-мотылька, он успокоился и приказал стартовать. Нет, «успокоился» — не то слово. Он просто забегал по потолку от восторга: его всесильный хозяин Великий Спрут частенько прихварывал, и вознаграждение за такую добычу можно было стяжать весьма и весьма обильное.

Но все получилось не совсем так, как он предполагал. Правда, щедрость Великого Спрута, весьма делового носителя разума, неимоверно богатого мерзавца и в высшей степени влиятельной личности на Планете Негодяев, превзошла все его ожидания. Познакомившись с чудо-доктором Итай-итай и проверив его искусство на нескольких рабах, захваченных в разных углах обозримой Вселенной, Великий Спрут задал Богомолу и его команде роскошный пир, на котором, между прочим, было подано желе из санитар-мотылька, зажаренного в купоросном масле под давлением в семьдесят атмосфер, наградил каждого своим портретом в пудровой рамке из чистого золота, а самому Богомолу Панде подарил, кроме того, небольшой астероид. И все бы, наверное, кончилось для счастливых хорошо, но у пиратов Глубокого космоса есть свои привычки. Сразу же после роскошного пира у Великого Спрута они рассыпались по портовым кабакам и притонам и принялись болтать. И в ту же ночь исчезли все до единого. Верный клевет и исполнитель самых тонких поручений Великого Спрута, некий Мээс, усиленно распространял слухи, будто Богомол и его команда срочно отправлены с каким-то поручением в центр Большого Магелланова Облака, но несколько дней спустя кто-то нашел оторванную клешню Богомола Панды в куче мусора на городской свалке, кто-то другой видел что-то еще...

— Одним словом, все было ясно, — закончил Двуглавый Юл. — И никто никогда больше не видел чудо-доктора Итай-итай. Вот такое дело, ребята.

— Очень интересно, — сказал после долгого молчания флагман Макомбер. — Но может быть, это просто легенда? Ведь прошло десять веков...

— Как же, легенда! — презрительно возразила левая голова. — Великому Спруту, этой мягкотелой твари, давно бы уже положено сгнить заживо и подохнуть от церебральной дезинтегрии, а он здоровехонек, жрет и пьет в свое удовольствие, ворочает триллионными делами... Нет, дело тут ясное. Запратал он чудо-доктора куда подальше и лечится, паразит, у него в одиночку. От всех носителей разума такого доктора спрятал! — взревела вдруг левая голова ужасным голосом и умолкла.

— Все это прекрасно, — холодно произнес Арамис. — А теперь выкладывай, к чему ты все это наплел.

— Как это к чему? — возмущенно воскликнул Двуглавый Юл. — Ясно к чему! Чудо-доктор — он и есть мой единственный шанс на спасение! Мне ведь что нужно, ребята? Мне нужно только вернуться на Планету Негодяев. Там я припаду к стопам Великого Спрута, я буду плакать, как новорожденный тюлень, и рыдать, как чайка перед бурей, я сокру, что получил ранение в смертельной схватке за его интересы, и уговорю его показать меня чудо-доктору Итай-итай. Великий Спрут, конечно, сжалится, и через секунду я буду здоров.

— И все?

— Ну что значит «все»? Я же понимаю, что вам тоже нужно соблюсти свой интерес. Узнав, где находится чудо-доктор, я похищаю его и доставляю прямехонько

вам в руки. Быстро, без шума и точно как в аптеке. После этого я снова и уже окончательно поселяюсь в этой пещере и провожу остаток своих дней среди любезных сердцу моему тюленей. Могу даже пообещать никогда впредь не лезть в океан в нетрезвом виде. Прекрасный план, не так ли, ребята? Но для этого вы вернете мне мою «Черную Пирайю» и моих преданных друзей Ка, Ки, Ку и Ятуркенженсирхива, а кроме того, поставите на «Пирайе» электронную машину для прокладки курса...

— А тысяча кондиционных голов в придачу тебе не требуется? — вкрадчиво осведомился Арамис.

Атос коротко и резко захохотал, а флагман Макомбер оскалил крепкие зубы в зловещей усмешке.

— Ага, понимаю, — глубокомысленно сказал Двуглавый Юл. — Разумеется, я признаю, что не вправе пока рассчитывать на полное ваше доверие. Что ж, согласен прихватить с собой вашу девчонку Галю, пусть она проследит, чтобы все было честь по чести...

Атос снова захохотал.

— Что за чушь вы несете, право! — сердито сказала Галя. — Стыдно слушать.

— Ну, на вас не угодишь, — проворчал Двуглавый Юл и задумался. Затем, словно его осенило, он воскликнул: — Ну конечно, ребята, как это я сразу не подумал об этом! Вы не доверяете Ка, Ки и Ку. Правильно не доверяете. Они brave парни, но... как бы это выразиться? Короче, они действительно не очень надежны в некоторых ситуациях. Звон золота, всякие соблазны... Хорошо, я готов лететь без экипажа. Мы полетим вдвоем с Галей. Договорились?

— А теперь давайте говорить серьезно, Двуглавый, — сказал флагман Макомбер деловым тоном. — Нам всем ясно, чего вы добиваетесь. Вы хотите жить, это вполне понятно. Вы рассчитываете добраться до Планеты Негодяев, собрать там шайку таких же отъявленных мерзавцев, как вы сами, устроить налет на резиденцию Великого Спрута и силой завладеть чудо-доктором. Это тоже вполне понятно. Но ведь это глупо. Скорее всего, эта авантюра кончится тем, что кто-нибудь найдет вашу оторванную клешню на городской свалке.

— Мне терять нечего, — угрюмо ответила левая голова. — Так ли, этак ли — все одно смерть. А риск, как известно, дело благородное. Никто, кроме меня, о моей жизни не побеспокоится.

— Напротив! — возразил флагман Макомбер. — Мы предлагаем вам другой план, Двуглавый. Вы открываете нам координаты Планеты Негодяев, мы идем к ней тремя космическими эскадрами и захватываем это гнусное гнездо. Главарей арестовываем, рабов освобождаем, а чудо-доктора возвращаем на его фторовую планету. В награду он в одну секунду вылечит вас. Договорились?

— Это чтобы я предал свою планету? Своих братьев по ремеслу и соратников? Своих боевых друзей и собутыльников? — возопил Двуглавый Юл и произнес нормальным голосом: — С удовольствием. Но вот в чем загвоздка, господин флагман. Едва ваши эскадры появятся в окрестностях кроваво-красной Протуберы и мертвенно-синей Некриды, как вас засекут сторожевые аванпосты и поднимется тревога. Как только поднимется тревога, вам навстречу снимется весь объединенный флот Планеты Негодяев. Начнется преогромнейшая драка. Положим, что вы и

одолеете, я в жизни своей не встречал таких отчаянных ребят, как земляне. Но вы плохо знаете Великого Спрута. К тому времени, когда вы высадитесь, его уже и след простынет. И доктора Итай-итай вместе с ним. Вот так-то, господин флагман. Нет, через аванпосты пройдет только «Черная Пирайя». Ее уж там знают и помнят, мою бригадиночку...

Флагман Макомбер взглянул на Атоса и Арамиса, и мушкетеры согласно кивнули.

— Тогда предлагаем еще один план, последний, — сказал прославленный космолетчик. — Мы возвращаем вам «Черную Пирайю» и ставим на ней электронную машину. И мы даем вам экипаж. Только зачем вам обязательно Ка, Ки и Ку? На этот раз к Планете Негодяев с вами пойдут земляне. Ваш новый квартирмейстер — это я. Ваш новый канонир — это Атос. И ваш новый бортрадист — это Арамис.

Галя прижала пальцы к губам, чтобы не закричать от ужаса. Двуглавый Юл ошеломленно вертел левой головой. Даже правая голова широко раскрыла единственный глаз.

— Когда «Пирайя» пересечет орбиту Плутона, вы сообщите Великому Спруту, что потерпели аварию, — продолжал между тем флагман Макомбер. — Вы сядете на свое обычное место на космодроме. Вы пригласите на борт агентов Великого Спрута для приема груза. Дальше будем действовать по обстоятельствам. С момента старта и до момента возвращения на Землю командовать буду я. При малейшем неповиновении — расстрел на месте по законам Глубокого космоса.

— Эка вы как круто загибаете... — проворчал Двуглавый Юл.

— И учтите, Двуглавый, — продолжал флагман, — никаких дурацких штук! Без нас вам чудо-доктора не видать, как... — Он хотел сказать про уши, но запнулся и махнул рукой. — Словом, я предвижу, что нам предстоит проникнуть в святая святых Великого Спрута.

— Эх! — произнес Двуглавый Юл сквозь зубы. — Знали бы вы, что, если бы не обернулось все так, я бы сию секунду вас всех здесь на месте бы порешил...

— Знаем, знаем, — нетерпеливо отмахнулся флагман Макомбер. — Не хвастайтесь, не то мы примем меры... Например, посмотрим, что у вас там под черной повязкой на правой голове!

— Ладно, ладно, — проворчал Двуглавый Юл. — И так ясно, что ваша взяла. Собственно, такой план подходит мне больше всего. С вами, ребята, мы горы своротим. Одному бы мне, конечно, не справиться... Так когда выступаем?

Флагман Макомбер открыл было рот, чтобы ответить, но Арамис вдруг перебил его.

— Скажи-ка, Двуглавый, — произнес он, — а правда, что доктор Итай-итай может оживлять мертвых?

Все посмотрели на него. Головы Двуглавого Юла переглянулись и тоже уставились на Арамиса.

— Вот пострел — и тут поспел, — сказала левая голова. — Ты-то что в этом понимаешь?

— Правда это или нет? — своим холодным, как полярная ночь, голосом спросил



Арамис.

— Да говорили что-то такое... — неохотно ответила левая голова. — Болтали у нас в кабаках и тавернах... А тебе-то что?

— Откуда ты знаешь про доктора, Арамис? — вскинулась Галя, но Атос положил ей на плечо руку, и она замолчала.

— Так это правда или нет? — спросил флагман Макомбер.

Левая голова сморщилась, и Двуглавый Юл почесал у нее в затылке.

— Ну что вам сказать... Был такой прен-цен-дент. Точно, был. Лет триста назад. У Великого Спрута есть такой вроде бы секретарь, старикашка Мээс. Ну, однажды Гундосый Клоп — есть у нас один такой — пришел с богатым грузом, а Мээс этот его при расчете обжулил... или что иное между ними вышло. Короче, Гундосый Клоп вынул пистолет и всадил в Мээса всю обойму, сто разрывных пуль. Мээс, натурально, лег и дымится, Гундосый ударился в бега... Да не о нем речь. Я своими глазами видел, как Мээса собрали по кускам и утащили хоронить, а неделю спустя гляжу и этим самым глазам не верю: опять Мээс шляется вниз головой и хобот свой высовывает... Так что выходит, чудо-доктор и мертвецов воскрешает... Но нас-то это не больно касается, а?

Его уже не слушали. Галя с восторгом и ужасом смотрела на Арамиса, Атос с нежной грустью смотрел на Галю, а маленький Ятуркенженсирхив тихонько гладил Галины волосы. Флагман Макомбер внимательно разглядывал свои ногти. Арамис с трудом перевел дух.

— Понятно, — проговорил он. — Так. Я в чудеса не верю. Но вместе с нами на «Черной Пирайе» пойдет Портос.

Галя слабо ахнула. Атос поднял руки, чтобы обнять ее, но тут же отступил на шаг, и руки его упали.

— Три года Портос покоится в спектролитовой капсуле на сто двадцатом километре, — ровным голосом продолжал Арамис. — Дружба прежде всего, Атос. Дружба сильнее любви, родственница. Он отдал жизнь за нас, мы попробуем вернуть долг.

Флагман Макомбер нахмурился.

— Вы серьезно собираетесь взять в космос мертвое тело, мой дорогой Арамис? — спросил он.

— Это было моим намерением с самого начала, флагман Макомбер, — ответил Арамис.

Прославленный космолетчик пожал плечами.

— Ну хорошо, — сказал он. — Вам все ясно, Двуглавый?

— Чего уж яснее! — огрызнулся Двуглавый Юл. Ему было не по себе. — Так когда стартуем-то?

— Вам дадут знать, — сказал флагман.

— Только учтите! — заорал вдруг Двуглавый Юл. — Если бы меня не трахнули по башке, черта с два я пошел бы на такую авантюру!

— Мы учитываем, — зловеще отозвался Арамис. — Мы все время все учитываем, пират!

Флагман Макомбер двинулся к выходу из пещеры, остальные молча последовали за ним. Они перешли на глиссер, флагман включил мотор, и невесомое суденышко, понемногу набирая ход, двинулось прочь от берега. Тюлени, расположившиеся на плоских камнях неподалеку, тихонько пели старинную песню, подхваченную их далекими предками где-то за океаном:

В далекий путь, опасный путь  
Отправился Макней  
И думает, дурак такой,  
Что нет его умней...

А когда глиссер ушел, один из них пропел вдогонку дразнилку, сочиненную Двуглавым Юлом на мотив «По улице шагает веселое звено»:

Я-туркен-жен-сирхи-вец!  
Тирьям-тирьям-тирьям!  
Ты маленький паршивец!  
Тирьям-тирьям-тирьям!

Ятуркенженсирхив сделал вид, что не слышит.

### 3

Озаренная кроваво-красным блеском Протуберы и мертвенно-синим сиянием Некриды, медленно, на самых малых оборотах, опускалась «Черная Пирайя» на космодром Планеты Негодяев, забитый летающей посудой. В тысячу первый раз возвращалась она из далеких странствий по обозримой Вселенной, но никогда еще не было на ее борту так чисто и опрятно. За три года на Луне с открытыми настежь люками она основательно проветрилась, хлопотливые роботы-уборщики тщательно выскребли и вылизали ее изнутри и снаружи, а перед самым стартом Галя, обливаясь слезами, украсила ее рубку и каюты огромными букетами неувядающих незабудок. И никогда еще на борту «Черной Пирайи» не было такого странного экипажа. Двуглавый Юл, бывший знаменитый вольный пират, а ныне всего лишь зицкапитан, мрачно восседал в своем знаменитом кресле, поддерживая вконец обессилевшую правую голову обеими руками, а распоряжался всем командующий третьей космической эскадрой и член Всемирного совета Земли прославленный флагман Макомбер, да еще с вездесущим Ятуркенженсирхивом на плече, а при новеньком электронном штурмане неотлучно дежурил хладнокровный Арамис, а у лазерных пушек, не снимая ноги с педали спускового устройства, сидел угрюмый Атос. И никогда еще не было в трюме «Черной Пирайи» такого странного груза. У самого грузового люка покоился на пружинных растяжках прозрачный спектролитовый ящик, и в нем, залитый жидким аргоном, лежал труп Портоса — вытянувшийся, словно бы в последнем напряжении, с широко раскрытыми мертвыми глазами, со стиснутыми кулаками, прижатыми к бедрам.

Еще в пути, незадолго до прорыва в подпространство, где, как известно, нет ни времени, ни движения, ни расстояний, Двуглавый Юл по приказанию флагмана Макомбера связался с Великим Спрутом. Случилось так, что именно в ту минуту Великий Спрут вышел на связь с неким Палачом Тритоном, откомандированным,

насколько можно было догадываться, выколотить дань из покоренного народца какой-то провинциальной планетки, и экипаж «Черной Пирайи» немало потешился над неразберихой, которая произошла от этого обстоятельства. Укоризненно поглядывая на флагмана Макомбера, сидевшего напротив с пятидесятизарядным бластером на коленях, Двуглавый Юл битых пять минут втолковывал своему бывшему нанимателю, что, будучи Двуглавым Юлом и вольным пиратом, он никак не может одновременно быть и атаманом карателей Палачом Тритоном, и, следовательно, не имеет возможности выделить дредноуты для маневра в сторону системы Рябого Солнца, и, следовательно, не будет испытывать нужды в подкреплении со стороны эскадры Пропойцы Дика. Усвоив наконец, что с ним говорит вольный пират Двуглавый Юл, пропавший без вести три года назад, Великий Спрут онемел от изумления. А Двуглавый Юл, воспользовавшись паузой, принялся докладывать ему о своих злоключениях. Он в ярких красках разрисовал свои подвиги в сражениях с огромным флотом проклятых землян; рыдающим голосом поведал о том, как смертью храбрых полегли на поле брани его верные Ка, Ки и Ку; в сухих, военных выражениях описал маневр, при помощи которого ему удалось оторваться от преследователей; и, наконец, прерывая себя стонами и зубовным скрежетом, размазывая по левой физиономии всамделишные слезы, пожаловался на ужасные страдания, причиняемые ему смертельной раной в правую голову.

— Пстой, Двуглавый, — в некотором ошеломлении проговорил Великий Спрут, — где же ты пропадал все эти три года?

Двуглавый Юл ответил, что в ходе сражений его бригантина была вся вдоль и поперек исполосована лазерными пушками и что все эти три года до последнего дня ему понадобились, чтобы наложить заплаты на броню и отремонтировать поврежденные двигатели. Конечно, с горечью добавил он, другой на его месте, будучи обречен неминуемой смерти от смертельной раны, не стал бы возиться, а просто осел бы на каком-нибудь пустынном астероиде и без лишних хлопот опочил бы вечным сном на дне одинокого кратера, но он, Двуглавый Юл, слишком привык выполнять свои обязательства и решил прежде доставить по месту назначения заказанный груз...

— Так груз уцелел? — воскликнул Великий Спрут своим низким жирным голосом. — С этого и надо было начинать! Ты молодец, Двуглавый, хвалю. Остальное расскажешь по возвращении, сейчас мне некогда. Будь здоров.

— Ну, будь здоров, Великий! — прорычал Двуглавый Юл, и на этом сеанс связи закончился.

Флагман Макомбер сунул бластер в карман и крикнул Атосу заблокировать радиоаппаратуру.

Впрочем, на ближних подступах к Планете Негодяев радио снова разблокировали, и едва корма «Черной Пирайи» коснулась обожженного, покрытого трещинами бетона между помятым летающим самоваром и надтреснутым летающим блюдцем, как под потолком раздался скрежещущий голос Мээса, верного клеветы и исполнителя самых тонких поручений Великого Спрута:

— Великий поздравляет тебя с благополучным возвращением, Двуглавый...

— Хорошенькое благополучное возвращение! — саркастически произнесла левая голова. — Как говорится, войну проиграл, полбашки потерял...

— Га-га-га! — рассыпался Мээс скрипучим смехом. — Это ты неплохо пошутил, Двуглавый. Но согласишься, что это уже подробности. Самое главное — ты уберег груз и доставил его в целости и сохранности. Ведь в целости и сохранности?

— В целости и сохранности, — мрачней подтвердила левая голова.

— Ну вот видишь! А остальное уладится, уверяю тебя. Передаю распоряжение Великого: из корабля не отлучаться, приготовиться к разгрузке, ждать.

Флагман Макомбер ткнул Двуглавого Юла между лопаток стволом пятидесятизарядного бластера, и левая голова возмущенно заорала:

— Ждать? А чего ждать-то? С какой стати я буду ждать? Передай Великому, что я каждую секунду могу подохнуть! Мне доктор нужен, а не ждать! Передай ему, что мне нужен самый лучший доктор, понял? И немедленно!

— Хорошо, Двуглавый, я немедленно передам, — проскрежетал Мээс и вдруг вкрадчиво осведомился: — А почему это у тебя экран в абордажной камере не действует?

Флагман Макомбер снова ткнул Двуглавого Юла между лопаток, но тот нетерпеливо отмахнулся локтем и заорал еще громче:

— Клянусь кровавой Протуберой и мертвенной Некридой, ты что, не знаешь, где я побывал? Ты воображаешь, что эти проклятые дети кислорода, воды, хлорофилла и красной крови угощали меня любимым ртутным коктейлем? Да если бы ты хоть одним глазом увидел их, у тебя бы от страха вся шерсть на хребте повылезла бы! Скажи еще спасибо, что абордажную камеру у меня разнесло прямым попаданием, иначе я бы от тебя мокрого места не оставил, едва бы ты сунул туда свой хобот! Никто из вас не поднимется на борт моей бригантины, пока меня не осмотрит лучший доктор на планете! Так и передай Великому: никакой разгрузки не будет. Знаю я вас, деловых носителей разума! Пока не будет доктора, груза вы не получите! Все понятно?

— Все понятно, — зловеще кротко ответил Мээс и отключился.

И тут Двуглавый Юл накинулся на флагмана Макомбера. И как! Видимо, беседа с клеветом и исполнителем самых тонких поручений взаправду довела его до истерики. Он бушевал. Он брызгал слюной и топал ногами. Он заткнул правой голове уши пальцами и вопил так, что Ятуркенженсирхив едва удерживался на плече прославленного космолетчика. Что себе воображает этот флагман-командующий? Как он смеет тыкать ему, Двуглавному Юлу, в спину всяким железом? Что у него за манеры и имеет ли он понятие о хорошем воспитании? Пусть этот флагман-командующий зарубит себе на носу, что это на вонючей Земле он флагман-командующий, а здесь, на Планете Негодяев, он даже не срам собачий! Если у него чешутся руки, пусть он тычет своим железом в спину всяким землянам! Да будет известно этому флагману-командующему... и так далее в том же духе.

Во время этого длинного и довольно несвязного излияния, пока Двуглавый Юл бушевал, топал и брызгал, а флагман Макомбер рассматривал свои ногти, а Ятуркенженсирхив жмурился и втягивал пушистую голову в пушистые плечи, в рубку неслышно вошел Арамис, включил иллюминаторы и стал переходить от одного к другому, рассматривая окрестности. Надо сказать, что на «Черной Пирайе» иллюминаторы были прозрачными только изнутри, а снаружи их вообще не было заметно. Когда Двуглавый Юл замолчал, Арамис спросил, не оборачиваясь:

— Ты серьезно надеешься, пират, что Великий Спрут пришлет сюда чудо-доктора Итай-итай?

— Держи карман! — презрительно ответил Двуглавый Юл, оглядывая свои указательные пальцы и вытирая их о штаны. — Он скорее сдохнет, чем пришлет!

— Это никак невозможно, — тоненьким голосом подтвердил Ятуркенженсирхив. — Великий Спрут не станет рисковать чудо-доктором хотя бы потому, что это, вероятно, единственный доктор на всей планете.

— Как так? — удивился флагман Макомбер.

— Именно так, — сказал Ятуркенженсирхив. — Видите ли, на Планете Негодяев собрались представители самых разнообразных цивилизаций обозримой Вселенной. Разумеется, не лучшие представители. Но справедливость требует отметить вдобавок, что и проявления благодарности у некоторых цивилизаций принимают иногда очень странные формы.

— Не тяни, маленький негодяй! — произнес Арамис, по-прежнему не оборачиваясь.

— Да, я маленький, — с достоинством произнес Ятуркенженсирхив. — Но я вот уже три года как годяй. А что касается сути дела, то доктора просто не уживаются на этой планете. Положим, купил он здесь практику, вылечил от раны одного, от язвы желудка другого, от внутреннего кровоизлияния третьего, а четвертый, которого он вылечил от алкоголизма, из чувства благодарности взял и съел его.

— Что ты говоришь! — ужаснулся флагман Макомбер.

— Я говорю чистую правду. Да что далеко ходить! Возьмите присутствующего здесь бывшего вольного пирата Двуглавого Юла...

— Заткнись, предатель! — заорала левая голова. — А вы тоже хороши, флагманы-мушкетеры! Вместо того чтобы заниматься делом и спасти меня от верной смерти, развесили уши и слушаете вранье этого отвратного мерзавца. Соображайте лучше, что будем делать дальше! Только имейте в виду, что Великий Спрут — пусть он сгниет заживо! — ни за что не пришлет чудо-доктора на борт моей бригадины. Не такой он дурак, чтоб ему вовек не видеть кроваво-красной Протуберы и мертвенно-синей Некриды! Так что добираться до чудо-доктора нам придется собственными силами. Думайте, земляне. У вас головы большие и не пробитые. И кстати, неплохо бы закусить.

— Одну минутку, — сказал вдруг Арамис. Он по-прежнему стоял спиной к рубке и лицом к одному из иллюминаторов. — Этот самый... как его... Мээс...

— Ну? — нетерпеливо произнес Двуглавый Юл. — Ну, Мээс. Мерзкий старикашка. Ну и что?

— Он ростом примерно с меня?

— Да.

— Он мохнатый, с крыльями, как у летучей мыши?

— Да!

— И у него длинный белый хобот?

— Да!!

— И шкура сизого цвета?

— Да!!!

— И низкий лобик, и маленькие выпученные глазки?

— Да, черт подери! Да! Дадут мне сегодня пожрать?

— В таком случае несомненно, что это именно Мээс приближается сейчас к «Черной Пирайе» в сопровождении четырех... гм... существ с шестью руками каждое.

Двуглавый Юл рывкнул что-то нечленораздельное и ринулся к иллюминатору. Флагман Макомбер, доставая на ходу бластер, последовал за ним.

Действительно, щепетно ступая по обожженному и растрескавшемуся бетону голыми трехпальными лапами, к «Черной Пирайе» приближался носитель разума, подобного которому никто из землян никогда не видел. Кто знает, в каком неопытном углу обозримой Вселенной вывела эволюция такую странную тварь, похожую одновременно на пингвина, слона, летучую мышь и кролика. Но ведь возникла же где-то даже цивилизация таких тварей, и если на то пошло, то и не тварей вовсе, потому что слово «тварь» на земном языке — слово ругательное, а существ, и прошли эти существа, наверное, ту же дорогу, что и благородные земляне: дрожали от холода и страха в своих пещерах, охотились на своих мамонтов, молились своим богам и совершали хорошие и дурные поступки, и сильный у них угнетал слабого, и были у них войны и революции, и не исключено, что в конце концов воцарилось на их планете, как и на нашей Земле, царство братства и разума, иначе зачем бы этому поганому отщепенцу бежать из своего мира и лизать щупальца распухшему от крови и золота чудовищу?

Следом за мерзким старикашкой Мээсом деревянно вышагивали четверо шестируких и десятиглазых гигантов, кровавые и мертвенно-синие отблески играли на их могучих фиолетовых телах. Арамис вдруг прищурился, вглядываясь, и прижался лбом к иллюминатору.

— Атос! — негромко позвал он.

— Вижу, — отозвался Атос из артиллерийской башни.

— Твое мнение?

— Можно попробовать.

— План?

— Проволынить десять минут и впустить.

— Лучше пятнадцать.

— Хватит и десяти.

Будто ничего особенного и не было сказано между мушкетерами, но напряжение на борту бригантины мгновенно возросло до предела. Двуглавый Юл с ужасом взглянул сбоку на Арамиса и отодвинулся. Мелко-мелко задрожал Ятуркенженсирхив, пушистая шерстка у него на загривке поднялась дыбом. Флагман Макомбер раскрыл было рот, чтобы что-то скомандовать или спросить, да так его и захлопнул, ничего не сказав, и только внимательно проверил затвор своего бластера. Потом Двуглавый Юл

очнулся.

— Это то есть как это так — впустить? — взвыл он. — Это всю их компанию сюда впустить? Да знаете ли вы, мушкетеры-флагманы, что эти... шестирукие... из личной охраны Великого Спрута? Да они же здесь все разнесут, когда вас увидят! Мээс, как вас увидит, он же им только мигнет...

— Мы все пропадем, мы все погибнем! — в панике забормотал Ятуркенженсирхив, трясясь всем тельцем.

— В самом деле, достойный Арамис, — произнес флагман Макомбер, нахмурясь, — я что-то плохо вас понимаю. Нельзя же, в самом деле...

— Флагман Макомбер, — холодно сказал Арамис, — когда нам придется решать задачи стратегические или хотя бы тактические, мы всецело положимся на вас. Сейчас нам предстоит задача чисто научно-техническая, поэтому потрудитесь не вмешиваться.

— То есть как это так — не вмешиваться? — совершенно уже потеряв от страха обе головы, возопил Двуглавый Юл. — Как же тут не вмешиваться, когда их не берет в упор даже противотанковая пушка, когда они своими проклятыми ручищами скалы крушат, когда они не совсем разумные и чрезвычайно преданы Великому Спруту?

— Может быть, для тебя, пират, этот твой Великий Спрут действительно велик, — проговорил Арамис сквозь зубы. — Однако сразу видно, что он еще не имел дела с землянами... — И тут Арамис словно с цепи сорвался: — Заткнись, двухголовый подонок, и делай, что тебе говорят, если дорожишь своей шкурой! — прорычал он, сжимая кулаки. — Ты хотел, чтобы мы занимались делом? Мы сейчас займемся делом! Вы хотели войны, подлая банда кровавых бандитов, угнетатели беззащитных, безграмотные скоты? Вы сейчас получите настоящую войну! — Он снова взял себя в руки и продолжал обычным своим холодным тоном: — Так называемый Великий Спрут совершил сейчас роковую ошибку. Можно не сомневаться, что он прислал сюда этого полуслона-полупингвина для переговоров и рекогносцировки. Можно не сомневаться также, что этот недослон-недопингвин начнет сейчас ломиться на борт и попытается протащить сюда с собой этих... шестируких. И можно не сомневаться, конечно, что этот квазислон-квазипингвин будет делать тебе весьма лестные предложения. Так вот, эти предложения ты примешь.

— Как это? — ошарашенно спросил Двуглавый Юл.

— Очень просто. Соблазнишься и примешь.

— Ничего не понимаю.

— Этого от тебя не требуется.

— А как же эти... шестирукие?

— О шестируких забудь. Шестирукие — наша забота. А твое дело — поторговаться с Мээсом минут десять и затем впустить их всех на борт. Ясно?

— Ясно, — упавшим голосом произнес Двуглавый Юл, потому что вороненый ствол пятидесятизарядного бластера уже уперся ему в бок.

— Одну минутку... — пискнул Ятуркенженсирхив, соскользнул с плеча флагмана Макомбера и заперся в холодильнике.

— Внимание! — лязгнул под потолком железный голос Атоса.

На стене загорелась синяя лампочка — знак того, что переговорное устройство включили. Мээс и четверо шестируких титанов остановились перед люком «Черной Пирайи».

— Кто, кто в теремочке живет? — скрипуче проблеял Мээс. — Еще раз привет тебе от Великого Спрута, Двуглавый! Он прислал меня, чтобы переговорить с тобой начистоту.

— Валяй, валяй, — пробурчал Двуглавый Юл и яростно оттолкнул руку флагмана Макомбера, прижимавшую к его боку ствол бластера. — Только скажи сперва, который из этих четверых доктор?

И начался у них спор, вялый, тягучий, но обстоятельный, — из тех споров, когда оба спорщика заведомо врут и знают, что врут, но почему-то не теряют надежды переспорить один другого. Мээс поклялся, что единственная цель Великого Спрута состоит в полном вознаграждении Двуглавого Юла за доблесть, жертвы и исполнительность. В ответ на это Двуглавый Юл гнусаво напомнил ему, что доблесть, жертвы и исполнительность вольного пирата стоят дорого и не по карману даже Великому Спруту. Мээс смиренно признал, что намек понял, но все дело в том, что доктор, которого справедливо требует Двуглавый Юл, никак не может явиться на борт «Черной Пирайи», будучи совершенно неприспособлен к передвижениям по поверхности планеты. Двуглавый Юл возразил, что его, Двуглавого Юла, раны и контузии такого свойства, что он еще менее доктора приспособлен сейчас к передвижениям. Мээс немедленно объявил, что Великий Спрут предвидел это прискорбное обстоятельство и потому прислал с ним, Мээсом, вот этих четырех своих смиренных слуг, которые в два счета доставят Двуглавого Юла к доктору. Двуглавый Юл ядовито заметил, что с тем же успехом эти смиренные слуги могли бы в два счета доставить доктора к нему, Двуглавному Юлу. Мээс снова поклялся насчет единственной цели Великого Спрута и в доказательство предложил немедленно выплатить Двуглавному Юлу под расписку причитающийся ему гонорар без вычетов за погубленный контракт. При этом Мээс принялся призывно размахивать брезентовым мешком, от которого исходило тяжелое соблазнительное побрякивание, а четверо фиолетовых титанов у него за спиной согласно закивали и в знак полного одобрения выставили перед собой оттопыренные большие пальцы вторых правых рук.

К этому времени место спора окружило плотное кольцо зевак — праздношатающиеся вольные пираты и наемные головорезы, отпущенные из казарм в увольнение, пропойцы-бичкомеры и торговцы наркотиками вразнос, слуги в потертых ливреях и калеки-нищие на многочисленных костылях. Этот кошмарный сброд кишел, копошился и пучился, густые волны сернокислого и ртутного перегара темным туманом поднимались над ним, застилая кроваво-красный диск Протуберы и мертвенно-синий шарик Некриды, шипящие, щелкающие и скрежещущие голоса сливались в сплошной гул, из которого то и дело вырывались пронзительные возгласы: «Да это же Двуглавый Юл вернулся!», «Эй, Двуглавый, ты вернулся, что ли?», «Юл, да ты никак вернулся?» И даже выдавший виды прославленный космолетчик Макомбер дрогнул и невольно сплюнул, заметив, как огромный жирный паук с пистолетами за широким поясом под шумок подобрался в этой толпе к какому-то зазевавшемуся носителю разума, похожему на гигантского кузнечика, быстро-быстро оплел его паутиной и упрятал к себе под брюхо — несомненно, чтобы



потом закусить на досуге.

Тут в люк артиллерийской башни выглянуло бледное лицо Атоса. Арамис кивнул и подал знак флагману Макомберу, и флагман Макомбер легонько стукнул Двуглавого Юла между лопаток: «Пора!»

— Ладно! — рявкнул Двуглавый Юл, прерывая на полуслове длинный период, которым Мээс разразился было в доказательство добропорядочности своей миссии. — Ладно. Будь что будет. У меня все болит, правая голова прямо-таки раскалывается, и у меня мочи нет больше ждать. Но пусть все вольные пираты будут свидетелями, что Великий Спрут обязался не только заплатить мне, но и обеспечить меня квалифицированной медицинской помощью. А тем из них, кто не понимает таких длинных слов, я поясняю, что Великий Спрут обязался дать мне доктора, который залечит мои раны и контузии, полученные мною у него на службе. Все слышали?

— Все! Все! — заревели сотни глоток.

— Все поняли?

— Все!

— Аминь.

Синяя лампочка переговорного устройства погасла, и Двуглавый Юл, скрипнув зубами, повернул рычаг, управляющий наружным люком. Тяжелая плита из перекристаллизованной стали медленно откинулась, открывая вход в шлюзовую камеру «Черной Пирайи». Мээс, топорща кожистые крылья, поднялся по трапу, торжественно неся перед собой брезентовый мешок с гонораром. Фиолетовые титаны гуськом последовали за ним. Арамис в два неслышных прыжка пересек рубку и затаился у двери. В мертвой тишине было слышно, как по рубчатому полу шлюзовой камеры сначала заклацали когтистые лапы Мээса, затем бухнули шаги первого шестирукого, второго, третьего, четвертого...

— Люк! — зашипел Арамис.

Двуглавый Юл, весь трясясь от возбуждения, рванул рычаг в обратную сторону. Стальная плита люка с глухим лязгом снова встала на место. В ту же секунду дверь в рубку отворилась, и на пороге появился Мээс.

— Га-га-га, вот и я! — начал он и не окончил.

Молниеносным движением Арамис ухватил его за хобот и изо всех сил рванул на себя. Мээс влетел в рубку и покатился под ноги Двуглавному Юлу, а Арамис одним пинком захлопнул дверь перед самым носом первого шестирукого.

— Давай, Атос! — крикнул он, привалившись к двери спиной.

Грозный вибрирующий гул наполнил бригантину. Мелко-мелко задрезбуждали какие-то незакрепленные металлические части, зазвенели неплотно прилаженные стекла, по стенам побежали мурашки, а гул все усиливался, становился выше и перешел в оглушительный скрежещущий визг, и у всех мучительно заныли зубы, и волосы у всех встали дыбом, и на кончиках волосков заплясали, потрескивая, жуткие лиловые огоньки, а с вороненого ствола бластера в руке флагмана Макомбера стали срываться и с громом лопаться маленькие шаровые молнии. Запахло грозовой свежестью. И вдруг все кончилось, и железный голос Атоса раздался под потолком:

— Все четверо готовы.

Флагман Макомбер провел ладонью по мокрому от пота лицу и осмотрелся. Двуглавый Юл сжался в комок в своем кресле, стиснув обе головы между коленями и прикрывшись сверху обеими руками. У ног его, откинув в сторону морщинистый хобот, в беспомощности валялся Мээс. Арамис стоял у двери на коленях и озабоченно ощупывал свою спину. Дверь была перекошена и смята от страшного удара снаружи. Флагман Макомбер поглядел в иллюминатор. Там по-прежнему кишела, копошилась и пучилась толпа носителей разума, словно бы сбежавшихся сюда из самых древних и темных миров человечества. Флагман Макомбер сунул бластер в карман и спросил, ни к кому не обращаясь, скорее просто так, чтобы опробовать голос:

— Что, собственно, произошло?

В рубку мягко прыгнул Атос, помог Арамису подняться на ноги и стал стягивать с него куртку и майку.

— Ничего особенного, флагман, — отозвался он. — Мы с Арамисом сразу поняли, что эти шестирукие — не живые существа, а роботы. Ну, а иметь дело с роботами мы привыкли...

Ловко обрабатывая огромный багровый синяк на спине Арамиса мазью из походной аптечки, он объяснил, что, пока Двуглавый Юл препирался с Мээсом, он поднял из машинного отделения ходовые соленоиды и расположил их вокруг шлюзовой камеры. Когда шестирукие вступили в камеру, он создал в ее объеме переменное электромагнитное поле сверхвысокой частоты, не очень сильное, всего в одну стомиллионную долю рабочей мощности, но с избытком достаточное для полной демобилизации самой совершенной и самой защищенной кибернетической машины. Шестирукие обработаны на славу, можно не сомневаться.

— Один все-таки успел ударить в дверь, — с трудом переводя дух, заметил Арамис. — Ребра целы?

— Целы, — сказал Атос. — Ты дешево отделался, мушкетер. С чего это тебе вздумалось подпереть дверь спиной?

— Почему же именно вздумалось? — сердито возразил Арамис, натягивая майку. — Это получилось у меня чисто рефлекторно.

Флагман Макомбер подошел к изуродованной двери и попробовал открыть ее. Дверь была прочно заклинена. Тогда он заглянул в щель. Фиолетовые титаны в нелепых позах валялись на ребристом полу, похожие теперь на исполинских тряпичных кукол.

— Чистая работа, — пробормотал флагман Макомбер.

— Я протестую!.. — проскрежетал позади него противный голос Мээса.

Он обернулся. Клеврет и исполнитель самых тонких поручений Великого Спрута ощупывал себя с головы до ног трясущимися руками и судорожно трепетал кожистыми крыльями. Хобот его уныло обвис.

— Я протестую! — повторил он. — Во имя гуманизма, во имя всего святого в обозримой Вселенной. Я готов предложить любой выкуп. За мою смерть отомстят страшной мстью. Я предлагаю любые гарантии.

— Попался, крылатый боров! — просипел Двуглавый Юл, выпрастывая головы из-под правого колена. — Ну, теперь отольются кошке мышкены слезки. Говори, где чудо-доктор Итай-итай? Живо говори, а то хобот оторву!

Мээс поспешно отполз от него на середину рубки и кряхтя поднялся на ноги. Его маленькие выпученные глазки живо оглядели Атоса, Арамиса и флагмана Макомбера, задержавшись на секунду на рукояти бластера, торчавшей из кармана прославленного космолетчика.

— Ага! — проскрежетал он. — Все понятно. Вы — земляне, не пытайтесь отрицать это. Но позволю себе заметить, что Планета Негодяев не находится в состоянии войны с вашей планетой. Таким образом, грубый выпад против меня, достаточно важного должностного лица Планеты Негодяев, может рассматриваться лишь как беспрецедентное нарушение...

— Нет, вы подумайте, какая скотина! — в гневном изумлении воскликнула левая голова Двуглавого Юла.

А правая еле слышно простонала:

— Удавить подлеца!

— Послушайте, Мээс, — строго сказал флагман Макомбер, — ваши претензии на дипломатический тон просто смешны. Планета Негодяев является базой космического пиратства, находится в состоянии необъявленной войны со всеми цивилизациями обозримой Вселенной и подлежит разгрому и уничтожению. И как важное лицо в вашей пиратской иерархии вы можете рассчитывать лишь на скорую и верную казнь. Но вы еще можете спасти свою жизнь...

— Он сам все это прекрасно понимает, флагман Макомбер, — нетерпеливо перебил его Арамис. — К делу.

— Правильно! — отозвался Двуглавый Юл. — Он время тянет, а вы с ним миндальничаете, объясняетесь с ним! Вы его по хоботу!

— Не мешай, пират, — сказал Арамис. — Продолжайте, флагман Макомбер.

— Итак, — произнес флагман Макомбер, — ситуация теперь резко изменилась. В результате второй роковой ошибки так называемого Великого Спрута в наши руки попал самый превосходный «язык», какого только можно пожелать в критическом положении...

— А что было его первой ошибкой? — наивно осведомился Двуглавый Юл.

— Первой его ошибкой было то, что он послал тебя к нам на Землю, — ответил Арамис. — Но если ты будешь перебивать...

— Молчу, молчу, — поспешно пробормотал Двуглавый Юл.

— Очевидно, что наша первоначальная стратегема, — продолжал флагман Макомбер, — тайно проникнуть через абордажный экран в пределы резиденции Великого Спрута и искать чудо-доктора наудачу чревата всякого рода опасными и утомительными неожиданностями. Многочисленная стража, всевозможные ловушки на каждом шагу... Плана резиденции у нас нет. Ни Двуглавый Юл, ни Ятуркенженсирхив в резиденции никогда не были... Кстати, а где Ятуркенженсирхив?

Арамис шагнул к холодильнику и распахнул дверцу. Повалил морозный пар.

— Вылезай, маленький прохвост, — сказал Арамис.

Ятуркенженсирхив вылез. Он трясся от холода, под глазами намерзли слезы, пушистая шкурка была покрыта толстым слоем инея. Он чихнул и опасно закрутил побелевшим носом. Взгляд его остановился на понуром Мээсе.

— Ч-ч-что? — тоненько продребезжал он. — Уж-ж-же все?

— Все, все, — сказал Арамис и закрыл холодильник. — Прошу прощения, флагман Макомбер.

— Короче говоря, успех нашего предприятия по первоначальной стратегеме весьма неочевиден. Другое дело — теперь. Теперь мы можем рассчитывать попасть к доктору Итай-итай прямо через абордажную камеру.

— Так, — сказал Арамис.

— Так! — железным голосом лязгнул Атос.

— Это невозможно, — проскрежетал Мээс. — В палатах чудо-доктора нет приемного экрана.

— В таком случае, Мээс, — строго произнес флагман Макомбер, — вы дадите нам шифр любого приемного экрана в пределах резиденции и сами проводите нас к чудо-доктору.

— Это невозможно! — каркнул Мээс, приседая на подгибающихся лапах. — Меня умертвят! Я не могу!..

Арамис положил ему на затылок крепкую ладонь.

— Сможешь, — ласково произнес он, заглядывая в помертвевшие от ужаса выпученные глазки. — Все сможешь. И шифр ты нам дашь, и проводишь к доктору Итай-итай.

#### 4

В столкновении с землянами «Черная Пирайя» потеряла только штурманскую машину на живых мозгах, и Двуглавый Юл, разумеется, соврал, когда заявил Мээсу, будто абордажную камеру у него разнесло прямым попаданием. Камера была целехонька, просто дальновидный флагман Макомбер приказал временно заблокировать экран, иначе любознательный Мээс не преминул бы незаметно подсадить на борт кого-нибудь из своих шпионов — посмотреть, послушать и понюхать. Надо сказать, что принцип телеэкранной транспортировки был уже давно известен земной науке, только не нашел практического применения, поскольку о шпионаже, разбое и воровстве на нашей планете сохранились лишь смутные воспоминания. Такому мастеру, как Атос, и такому ученому, как Арамис, разобраться в механизме этого устройства было все равно что стакан воды выпить, они научились управлять им еще на Луне, когда готовили «Черную Пирайю» к обратному рейсу. И вот весь экипаж в полном составе перешел с борта бригантини прямо в подземные коридоры резиденции Великого Спрута.

Они двигались гуськом. Впереди, волоча по полу концы кожистых крыльев, ковылял взъерошенный и очень недовольный Мээс. В двух шагах за ним, неслышно ступая, шествовал флагман Макомбер; в правой руке прославленный космолетчик сжимал рукоять пятидесятизарядного бластера, в левой он нес портфель из кожи

венерианского бегемота, заполненный какими-то тяжелыми округлыми предметами, карманы его куртки топорщились от запасных обоев. На его плече спиной вперед восседал Ятуркенженсирхив, тарачил красные глазки и напряженно вслушивался в мысли Двуглавого Юла. Двуглавый Юл тащился следом за флагманом Макомбером, бережно придерживая под подбородок правую голову; левая голова время от времени щелкала зубами и строила Ятуркенженсирхиву ужасные гримасы, приводившие беднягу в содрогание. Позади Двуглавого Юла с едва слышным гудением плыла в дециметре от пола летающая платформа со спектролитовой капсулой Портоса; у руля платформы, опершись на тяжелую стальную острогу, неподвижно стоял Арамис. Шествие замыкал мрачный Атос, обвешанный ручными бомбочками с жидким кислородом.

Флагман Макомбер не пожалел времени и допросил Мээса очень основательно. Это оказалось сложным предприятием. Пришлось применять лесть и угрозы в изобилии. Дело чуть не дошло до физического воздействия. Сначала Мээс клялся и рвал на себе шерсть, что о чудо-докторе ему ничего не известно. Затем, сломленный свидетельскими показаниями озверевшего Двуглавого Юла, он признался, что действительно имел место инцидент, когда в него, Мээса, высадили сотню разрывных пуль, и действительно некий чудо-доктор собрал его, Мээса, по кускам, но где Великий Спрут прячет этого чудо-доктора, он, Мээс, не имеет представления. И только затем, уstraшенный зловещими манипуляциями Арамиса, который взял тонкий пеньковый канат и принялся мастерить петлю, мерзкий старикашка признался, что знает, где содержится чудо-доктор Итай-итай.

Дальше пошло легче. Выяснилось, что чудо-доктор Итай-итай содержится в одном из помещений так называемого седьмого яруса. Этот седьмой ярус — святая святых Великого Спрута. В седьмом ярусе хранятся, содержатся и создаются самые тайные и ценные предметы, пленники и механизмы Великого Спрута. Туда допускаются только самые приближенные к особе Великого Спрута носители разума. Там один-единственный приемный экран, и шифр его известен только Великому Спруту, Искуснику Крэгу и ему, Мээсу. Туда ведет только одна лестница, и выходит она прямо в кабинет коменданта седьмого яруса, жуткой старой девицы Конопатой Сколопендры. Головорезам внутренней охраны седьмого яруса под страхом смерти запрещено даже приближаться к двери этого кабинета, а при выходе в отставку им под нечаянным наркозом ампутировать память; впрочем, они об этом, конечно, не знают. Что же касается рабов, обслуживающих седьмой ярус, то они там и умирают. Путь от приемного экрана до палат чудо-доктора довольно долгий, но по-настоящему опасен только один участок: придется идти мимо кантины, где обычно развлекаются свободные от дежурства охранники...

— Мастерские Искусника Крэга тоже на седьмом ярусе? — спросил флагман Макомбер.

Вот этого Мээс не знает. Ну что хотите делайте — не знает, и все. Ну сами посудите, какой смысл ему, Мээсу, запирается в такой второстепенной тайне, когда он уже столько рассказал? Впрочем, если землянам удастся захватить эту ведьму, Конопатую Сколопендру, вот тогда они узнают все. Эта жуткая тварь битком набита тайнами Великого Спрута. Эта ядовитая тварь, если ее хорошенько поприжать, выложит не только про Искусника Крэга, но еще и про такие штучки, о которых и сам Великий Спрут предпочитает не помнить.

— Давайте шифр, — скомандовал флагман Макомбер.

Шифр был дан. Охранник на часах у приемного экрана сопротивления не оказал, он был слишком ошарашен и вдобавок пьян. Его быстро засунули в мешок, покрепче обвязали веревками и бросили в угол абордажной камеры — в тот самый угол, где три года назад лежала связанная Галя. Коридор, открывшийся перед ними, приятно разочаровал флагмана Макомбера. Все-таки — берлога вселенского бандита и изверга, в высшей степени делового носителя разума. Здесь бы на каждом шагу торчать угрюмым подозрительным стражам, валяться черепам и костям, высовываться из амбразур пушечным жерлам. Нет, коридор был как коридор, таких полно было в старинных административных зданиях на Земле: широкий, низкий, прямой как стрела, только плохо освещенный. Пол был чистый, пахло карболкой. По сторонам в неглубоких нишах тускло отсвечивали круглые и квадратные металлические двери-люки, и видно было, что не все обитатели этого места грамотные: на дверях красовались не номера и не надписи, а разноцветные изображения карточных мастей. И пусто здесь было, и тихо. За первые полчаса никто не встретился им на пути, ни одна дверь не отворилась, и слышно было только, как брякает когтями по полу Мээс, постанывает Двуглавый Юл да мягко гудит двигатель летающей платформы.

Но вот полумрак впереди стал редеть, послышалось что-то вроде заунывного пения и неясное бормотание многих голосов. Мээс замедлил шаги, просипел: «Кантина...» — и остановился, встопорщив крылья. Двуглавый Юл поднял обе головы и стал шумно принюхиваться. Ятуркенженсирхив весь затрясся и сделал попытку залезть флагману Макомберу за шиворот.

— Серная кислота с сероводородом, — сладким голосом произнесла левая голова Двуглавого Юла, причмокнула и сплюнула. — И пемза под йодистым соусом... Живут же люди!

— Значит, дверь приоткрыта, — проскрежетал Мээс. — Нас могут заметить...

— Вперед! — нетерпеливо скомандовал прославленный космолетчик. — И помните, Мээс, я стреляю без промаха. В случае предательства никакому чудо-доктору не собрать будет того, что от вас останется после удара из бластера.

Они двинулись дальше и скоро смогли рассмотреть опасный участок во всех подробностях. В отличие от прочих дверей этого бесконечного коридора, дверь в кантину была из толстого до непрозрачности стекла и широкая, словно ворота. Она действительно была слегка приоткрыта, и сквозь щель падала в коридор полоса яркого сиреневого света. Сиреневые блики озаряли затейливую вывеску, протянувшуюся под потолком поперек коридора, на которой была надпись «Три Веселых Скорпиона» и было изображение троицы омерзительных тварей, сжимавших в клешнях кружки с бьющей через край пеной. И толчками вырывались в коридор горячие волны сперттого воздуха, пропитанного едкими запахами противоестественных яств, болезнетворных напитков и зловредных курений, и ясно было, что гуляние в кантине шло полным ходом, потому что в тот момент, когда дрожащие лапы Мээса ступили на полосу сиреневого света, нестройный хор клекочущих, скрежещущих и шипящих голосов вдруг взревел:

Звездный блеск и черный космос —  
Жизнь — эгей — недорога!  
Там — спина к спине — под дюзой

## Отражаем мы врага...

Уже поравнялась с дверью летающая платформа, и флагман Макомбер совсем было решил, что опасность миновала, но тут события стали разворачиваться молниеносно.

Дверь распахнулась на всю свою воротную ширину, и в коридор, едва держась на заплетающихся ногах, вывалился носитель разума, похожий на гигантского богомола, — возможно, сопланетник или даже родственник того самого злосчастного Богомола Панды, который десять веков назад пленил чудо-доктора Итай-итай. При виде странного шествия он сразу остановился и приподнял переднюю часть могучего туловища. Надо отдать справедливость администрации Великого Спрута: охранников она подбирать умела. Не прошло и двух секунд, как безобразно пьяный гигантский богомол сумел осознать, что происходит нечто неладное.

— Кто? Что? — проскрипел он словно ножом по стеклу и, угрожающе задрожав жуткого вида руки-клешни, прыгнул к летающей платформе. — Всем стоять! Ни с места!

Но ему никогда еще не приходилось иметь дела с землянами. Арамис хладнокровно и с огромной силой ударил его острой в плоскую хитиновую харю прямо между выпученными глазами, и он замертво повалился на бок. Его зазубренные руки-клешни еще судорожно царапали пол, когда Атос спокойно, как на спортивных состязаниях, метнул в раскрытую дверь одну за другой три бомбочки с жидким кислородом. В считанные мгновения вся кантина наполнилась ледяным туманом, из которого грянула разноголосица воплей ярости, боли, ужаса. Флагман Макомбер выстрелил в клубы тумана из бластера — там ослепительно сверкнуло, грохнуло, в коридор вылетели какие-то щепки и дымящиеся тряпки, пахнуло горелым.

— Да что вы стоите! — надрываясь, заорала левая голова Двуглавого Юла. — Держите его! Флагман! Удирает ведь подлец, старый хобот, двурушник!

Флагман Макомбер, поднимавший бластер для нового выстрела, оглянулся. Действительно, Мээс, растопырив крылья, дробным галопом улепетывал по коридору, оставляя за собой на полу мокрые пятна.

— Все за мной! — скомандовал прославленный космолетчик и бросился следом за Мээсом.

Из ниши впереди слева высунулось что-то щетинистое, о трех глазах, с автоматом наготове, прокаркало нечто угрожающее, и по стене позади справа дробно простучала короткая очередь. Флагман Макомбер, не останавливаясь, ударил в ответ из бластера, и в нише забился огненный вихрь. Взрывная волна подхватила Мээса под растопыренные крылья, мерзкий старикашка с визгом взвился в воздух, треснулся головой о потолок и рухнул на пол, сейчас же вскочил на четвереньки и, виляя задом, побежал дальше. Флагман Макомбер нагнал его, подхватил под крылья и рывком поднял на ноги. Мээс мотал хоботом и рыдал.

— Отпустите меня! — визжал он. — Я не привык! Я старый! Мне стрельба противопоказана!..

— Возьмите себя в руки, Мээс, — укоризненно сказал флагман Макомбер. — Нельзя же так, вы ведете себя, как истеричка...

Стремительно подплыла и остановилась рядом с ними летающая платформа. Атос

и Арамис соскочили на пол, за ними, придерживаясь за спектролитовую капсулу, с кряхтением спустился Двуглавый Юл.

— Пьяницы протрезвели, и с минуты на минуту начнется погоня, — сообщил Арамис. — Их там несколько десятков. Жидкий кислород им не нравится, но вот хватит ли нам бомбочек? И почему мы, собственно, остановились? Раз уж мы разворошили это осиное гнездо, надо торопиться...

— Торопиться! — завизжал Мээс так, что у всех зазвенело в ушах. — Торопиться больше нечего! Тревога поднята по всем радиусам, и кровожадная Сколопендра уже, конечно, выслала нам навстречу тарантулов! Мы в ловушке! Сдаваться надо, понимаете?..

Флагман Макомбер вздохнул и дважды шлепнул его ладонью по мокрым от слез щекам. Мээс затих.

— Тарантулы, — проворчала левая голова Двуглавого Юла. — Тарантулы, братцы, — это плохо. Они в плен не берут.

— В плен никто не собирается, — холодно произнес прославленный космолетчик и строго поглядел на Мээса. — Должен быть какой-то выход, Мээс. Не может быть, чтобы не было никакого выхода. Думайте, Мээс! Здесь ваша территория. Вы же понимаете: либо вы спасетесь вместе с нами, либо вместе с нами погибнете.

— Да-да, — проскрипел Мээс, всхлипывая. — Сейчас. Я только соберусь с мыслями...

Дело оборачивалось скверно. Разумеется, Мээс был совершенно прав: они попались в ловушку. Вперед идти нельзя: оттуда уже спешат к участку кантины поднятые по тревоге и вооруженные до зубов тарантулы, вояки многоопытные и беспощадные, на стороне которых во встречном бою будут все преимущества, поскольку эти коридоры они знают как свои пять пальцев, или шесть щупальцев, или сколько там у них чего есть. Назад идти бессмысленно: даже если удастся пробиться через толпу пьяных головорезов, засевших в кантине, и вернуться на борт «Черной Пирайи», стратеги Великого Спрута успеют связать причины со следствиями и бригантину распоросуют лазерными пушками при первой же попытке оторваться от космодрома. Ждать на месте... Но чего, собственно?

— Кстати, а где Ятуркенженсирхив? — спросил флагман Макомбер.

— По-моему, у вас за пазухой, — рассеянно отозвался Арамис.

Прославленный космолетчик сунул руку за пазуху и нащупал в боковом кармане пушистое теплое тельце с бешено стучащим сердцем.

— Да, верно, — сказал он.

Из темноты, в которую была теперь погружена кантина, послышались шорохи, скрип хитиновых панцирей, дробный перестук когтей, и десяток глоток разом взревели:

— Вперед, ребята! Хватай их! Бей!..

Флагман Макомбер поспешно схватился за бластер, но Атос уже сорвал с пояса очередную бомбочку и, широко размахнувшись, швырнул ее навстречу атакующим. Послышался звонкий хлопок, рев сменился сдавленными воплями и скрежетанием



челюстей, и все снова стихло.

— Хорошо еще, что они почти не вооружены, — раздумчиво произнес Арамис. — Видимо, посещать кантину с оружием запрещено, чтобы с пьяных глаз не перестреляли друг друга... А кстати, что это у вас в портфеле, флагман Макомбер?

— В портфеле? — Флагман Макомбер взглянул на свой портфель из кожи венерианского бегемота, словно увидел его впервые. — А, в портфеле... Так, ничего особенного. Это на самый крайний случай.

— На самый крайний случай, — веско произнесла левая голова Двуглавого Юла, — надлежит иметь в запасе флягу ртути или, если ртуть не по карману, уксусной эссенции...

И вот тогда Мээс звонко хлопнул себя хоботом по лбу.

— Винные погреба! — взвизгнул он. — Клянусь кроваво-красной Протуберой и мертвенно-синей Некридой, как это я сразу не подумал об этом? Мы спасены! То есть не то чтобы окончательно спасены, но имеем все возможности значительно отсрочить неминуемую гибель... Ищите двери с пиковыми тузами! Не с бубновыми тузами, не с червовыми тузами и, уж конечно, не приведи бог, не с трефовыми тузами, а именно с пиковыми! Любого цвета!..

Он пришел в ужасное возбуждение, речь его сделалась совсем невнятной, и флагману Макомберу пришлось снова пошлепать его по щекам, чтобы привести в чувство. И тогда выяснилось одно интересное обстоятельство.

Под седьмым ярусом располагались гигантские винные погреба Великого Спрута. В них хранились цистерны редчайших изотопов ртути, бочки нашатырного спирта двадцатитысячелетней выдержки, баки сногшибательных смесей фтороводородной, азотной и серной кислот, а также бесчисленные бутылки сжиженного хлора, игристого метилового спирта и полугорького пропана. Специальный вход в погреба был из соображений дисциплины наглухо заделан, но — и это было известно только самому Великому Спруту, его личному кравчему и опять-таки Мээсу — в них можно было без труда проникнуть через любые апартаменты седьмого яруса, двери которых отмечены изображением пикового туза. К счастью, дверь в палаты чудо-доктора Итай-итай тоже отмечена изображением пикового туза.

— Это же сколько мы таких дверей прошли! — с упреком сказал Двуглавый Юл. — Чего же ты раньше-то не сообразил, голова садовая!

— Во-первых, я лично непьющий, — с достоинством ответил Мээс.

— Приготовиться к выступлению! — скомандовал флагман Макомбер. — Атос, прошу вас обеспечить арьергардное прикрытие. Бомбочек не жалейте, Арамис... Где Арамис?

Оказалось, что Арамис не стал дожидаться объяснений и сразу отправился искать двери с пиковыми тузами, едва лишь Мээс заикнулся об этом. Теперь он стоял в сотне шагов впереди и призывно махал рукой. Флагман Макомбер втолкнул Мээса на летающую платформу, помог взобраться Двуглавному Юлу и сам встал к рулю. Платформа тронулась. Атос швырнул в темноту еще одну бомбочку и побежал следом.

— Скажите, Мээс, — произнес прославленный космолетчик, — есть ли какой-нибудь специальный смысл в таком обозначении дверей? Кто за ними

содержится?

— Главным образом пленники, с которыми экспериментирует Искусник Крэг, — объяснил Мээс. — Им пьянство противопоказано, дабы не нарушалась чистота эксперимента... Ну и, конечно, пленники-алкоголики. Вы не поверите, но за дверью с синим пиковым тузом вот уже десятый год живет одно разумное дерево. Так оно умудрилось продрасться корнями сквозь хромоникелевый пол и стальную крышку бочки с нашатырным спиртом... Правда, Искусник Крэг не разрешал ему ни капли воды... Но все равно, можете мне поверить: алкоголизм — общественное бедствие.

— Охотно верю, — сухо сказал флагман Макомбер.

Дверь, у которой стоял Арамис, была квадратная, матово-черная, с большим пиковым тузом зеленого цвета в центре. Флагман Макомбер остановил летающую платформу у стены напротив и спросил Мээса:

— Подойдет?

— Подойдет, — ответил Мээс.

— Кто там за нею?

Мээс наморщил белый лоб, подумал, потом почесал хоботом за ухом.

— Не припоминаю, — признался он.

— Как ее открыть?

Мээс развел руки и встопорщил кожистые крылья.

— Ключи от всех дверей у Конопатой Сколопендры, — сказал он.

— Гм, — произнес прославленный космолетчик. — Впрочем, все равно дверь слишком узка, платформе здесь не пройти. Придется ломать стену. — Он подошел к двери и постучал. — Эй, гражданин! — гаркнул он командирским голосом.

— Кто там? — испуганно проблеяли за дверью.

— Флагман Макомбер, планета Земля.

— Очень приятно. Профессор Ай Хохо, планета Мокса. Чем могу быть полезен, флагман Макомбер?

— Прошу вас удалиться от дверей как можно дальше, профессор. Я ломаю стену.

— Сию минуту, флагман Макомбер, — проблеял голос за дверью.

В наступившей тишине послышался отдаленный металлический скрип и лязг гусениц.

— Тарантулы... — обморочным голосом пролепетал Мээс.

— Да, надо торопиться, — произнес прославленный космолетчик и скомандовал: — Всем отойти к противоположной стене, лечь на пол ничком и прикрыть головы руками!

Когда приказание было выполнено — последним лег Атос, предварительно швырнув в сторону кантины еще две бомбочки, — флагман Макомбер вскочил на платформу, положил портфель на спектролитовую капсулу Портоса и уперся спиной в стену. Точными размеренными движениями он перевел спусковой механизм бластера на автоматическую стрельбу и, сжав рукоять обеими руками, поднял ствол до уровня

глаз.

Бластер разразился тремя оглушительными очередями, и, когда утих огненный ураган, прекратился град раскаленных осколков и замерло звенящее и режущее эхо, все подняли головы и увидели: матово-черной двери с зеленым пиковым тузом больше нет, а на ее месте зияет великолепный прямоугольный пролом, не уступающий по ширине воротам в кантину.

— Ювелирная работа! — вырвалось у Атоса.

— Да, удачно получилось, — скромно согласился прославленный космолетчик.

Он стоял на летающей платформе и перезаряжал бластер. Лицо и руки его были черны от копоти и ожогов, волосы дымились, куртка на груди была прожжена, и из дыры торчал слегка подпаленный и трясущийся хвостик Ятуркенженсирхива.

— Подумаешь, — проворчала левая голова Двуглавого Юла. — А вот я, например, на второй луне Кассандры расписался лазером на вертикальной скале...

— Целился-то я, — слабым голосом возразила правая голова.

— Как это так — ты? — изумилась левая голова. — Ты же...

— Отставить воспоминания! — скомандовал флагман Макомбер. — Мээс, покажите вход в погреб! Арамис, будьте любезны снова встать к рулю. Атос, если вас не затруднит, займите свое место в арьергарде! Марш!

Они пересекли коридор и вступили в пролом. И вовремя. Едва Атос, швырнув по бомбочке в сторону кантины и в сторону приближающихся тарантулов, прыгнул через пышущий жаром порог, как целая река пламени залила то место, где они только что стояли.

Ну что же... Как говорится, чего хотели — на то и налетели. Когда Атос, прикрываясь от жара, снова выглянул в коридор, справа сквозь густой черный дым неслись стоны и вопли обожженных охранников, а слева надвигалась похожая на термитник коническая башня из железных опилок, облепленная мохнатыми шевелящимися телами. В смотровое отверстие глядела, поводя сизыми бельмами, уродливая башка — страшные серповидные челюсти, покрытые комьями засохшего яда, жадно смыкались и размыкались, — видно, сама Конопатая Сколопендра вела своих тарантулов на бой с неведомыми пришельцами, дерзко вторгшимися в святая святых Великого Спрута.

## 5

— Ах-ах! Ну кто бы мог подумать? — воскликнул профессор Ай Хохо с планеты Мокса, когда мокрый от страха Мээс ворвался в его спальню, ткнул хоботом в неприметную кнопку, и целая секция пола с лязгом вдвинулась в стену, открывая зияющий колодец.

Профессор Ай Хохо оказался доброй пожилой лошадьё с давно нечесаной гривой и свалывшимся в войлок хвостом. Как он немедленно и очень словоохотливо объяснил флагману Макомберу, пираты выкрали его пятнадцать лет назад через вытяжной шкаф его собственной лаборатории чуть ли не на глазах его сотрудников. Он понятия не имеет, где находится и зачем понадобился пиратам, тем более что специальность у него самая мирная — физика, превращение материи в лучистую энергию. Когда его доставили сюда, он имел продолжительную и довольно мучительную беседу с

каким-то громадным двенадцатиглазым пауком, требовавшим от него согласия на разработку совершенно бредовой затеи. Насколько он помнит, смысл этой затеи сводился к теоретическому обоснованию цепных ядерных реакций в планетарных масштабах. Разумеется, от самой постановки вопроса за версту несет шизофренией, и как честный гражданин планеты Мокса он так и объявил двенадцатиглазому, после чего его немножко побили и оставили в покое. Его даже снабжают бумагой и карандашами, хотя все записи и расчеты, которые он здесь производит от нечего делать, регулярно изымаются. Кормят здесь отвратительно, вода явно синтетическая. Он дважды пытался бежать, и оба раза его ловили, причем каждый раз пребольно кусали за круп...

Про свой многострадальный круп профессор Ай Хохо досказывал уже в мрачных недрах винных погребов Великого Спрута. Принимая во внимание обстоятельства, слушали его довольно рассеянно. Только Арамис поинтересовался, какие, собственно, расчеты производил профессор, томясь в заключении.

— Видите ли, — охотно объяснил профессор, поспешая дробной рысью за летающей платформой, — мне пришел в голову необычайно простой и эффективный способ сдувания с атомов электронных оболочек. Особенно привлекательным мне представляется результат такой процедуры на макроскопических массах вещества. Вы понимаете, вещество мгновенно как бы проваливается внутрь себя, превращается в сплошную ядерную массу без всяких химических признаков...

— Экая ученая дубина, — пробормотал флагман Макомбер.

Впрочем, слышали его только Мээс да Ятуркенженсирхив, а поскольку им было не до проблемы ответственности ученого перед Братством Разума во Вселенной, это вполне справедливое замечание прославленного космолетчика пропало втуне.

Между тем Мээс, ковыляя на голых трехпалых лапах, торопливо вел их по неширокому, слабо освещенному проходу между рядами громадных бочек и баков из серого свинца. Погреба Великого Спрута были вырублены прямо в природном базальте Планеты Негодяев; во всяком случае, пол был базальтовый и весь в безобразных шершавых пятнах от пролитых здесь за многие столетия крепчайших напитков. Через каждые пятьдесят метров в низком сводчатом потолке тускло светились прямоугольные металлические щиты — крышки люков, ведущих в апартаменты седьмого яруса. На крышках были намалеваны такие же разноцветные тузы, какие красовались на дверях в коридоре. У одного из баков был неплотно завернут кран, и земляне долго задерживали дыхание и зажимали носы, а Двуглавый Юл, сидевший на летающей платформе позади капсулы с Портосом, поднял обе головы, облизнулся и сказал тихонько:

— Эх, мне бы сейчас здоровье...

С той минуты, когда Атос последним спрыгнул в погреб и пол в спальне профессора Ай Хохо встал на место, прошло уже не менее получаса, а погони все еще не было. Видимо, ворвавшись на своем танке в апартаменты под знаком зеленого пикового туза и обнаружив, что противник загадочным образом исчез, Конопатая Сколопендра отправилась за инструкциями к Великому Спруту. Так или иначе, выигрыш времени был налицо. Профессор Ай Хохо продолжал что-то нести об одном удивительном свойстве электронных оболочек, открытом им на кончике пера, но флагман Макомбер перестал его слушать и потянул Мээса за кожистое крыло.

— Далеко еще? — осведомился он.

Почти в то же самое мгновение Мээс остановился, задрал хобот и просипел:

— Здесь.

Все взглянули на потолок. Металлический щит у них над головами был украшен изображением пикового туза оранжевого цвета.

— Здесь, — повторил Мээс и вытер со лба пот. — Палаты чудо-доктора Итай-итай находятся здесь.

— Пошли! — взревел в две глотки Двуглавый Юл и соскочил с платформы.

Флагман Макомбер поднял руку.

— Спокойствие, — произнес он. — Скажите, Мээс, вы можете открыть этот люк?

— Могу, — мрачно проскрипел бывший верный клевет и исполнитель самых тонких поручений. — Механизм люка приводится в действие нажатием кнопки, расположенной на потолке за правым краем люка.

— Ну да, у вас же есть крылья, — догадался прославленный космолетчик. — В таком случае...

— Простите, — встревоженно проблеял вдруг профессор Ай Хохо, — не могу ли я все-таки узнать, флагман Макомбер, о чем здесь идет речь? Мне только что пришло в голову, что я решительно ничего не понимаю в происходящем. Вы взломали стену в моих апартаментах, увлекли меня в этот дурно пахнущий подвал, теперь вы собираетесь проникнуть еще к кому-то явно без его ведома. Согласитесь, это выглядит в высшей степени предосудительно, а мне решительно не хотелось бы оказаться причастным к каким бы то ни было противозаконным...

— Дайте я укушу его за круп! — прорычала левая голова Двуглавого Юла, и профессор Ай Хохо замолчал и опасно отскочил в сторону.

— Прекратите, Двуглавый Юл! — строго сказал флагман Макомбер. — Учитесь вести себя прилично. Видите ли, профессор, — вежливо обратился он к старой лошади, — объяснения заняли бы много времени, а мы очень спешим. Потом вы, конечно, все узнаете, а пока прошу вас во всем положиться на меня и повиноваться мне беспрекословно. Могу вас, впрочем, заверить, что все наши действия продиктованы самыми благородными побуждениями. Вы имеете дело с жителями Земли, профессор.

— В таком случае, — торжественно сказал профессор Ай Хохо, — я удовлетворен и полностью полагаюсь на вас, флагман Макомбер.

Прославленный космолетчик поклонился.

— Благодарю вас, — произнес он. — А теперь — внимание... Двуглавый Юл, вернитесь на платформу. Вас поднимут. Дорогой Арамис, прошу вас приготовиться к подъему, но острогу вашу держите под рукой. Атос, вы меня очень обяжете, если будете по-прежнему прикрывать нас с тыла. Мээс, если вас не затруднит, будьте любезны взлететь и открыть люк. И все время помните, что вы под прицелом.

— Ох, скорее бы все это уже кончилось!.. — проскрипел Мээс, расправил свои огромные крылья и тяжело взлетел под потолок. Флагман Макомбер, приподняв ствол

бластера, пристально следил за каждым его движением. Сопя и ругаясь вполголоса, Мээс пополз вдоль правого края люка, ощупывая бетонный свод. Что-то сухо щелкнуло, и металлический щит пополз в сторону, открывая ярко освещенный прямоугольник.

— Готово, — скрипнул Мээс.

— Благодарю вас, — сказал флагман Макомбер. — Отодвиньтесь в сторонку... Вот так. Арамис, прошу вас...

Мягко взвыл двигатель, летающая платформа медленно поднялась, на секунду заслонила сияющий белым светом люк и исчезла из виду. Через секунду над краем люка поднялось лицо Арамиса.

— Все в порядке, — негромко сказал он. — В этом помещении никого нет.

— Очень удачно, — произнес флагман Макомбер. — А теперь, Мээс, я хотел бы узнать у вас вот что. Есть ли крылья у Великого Спрута и его личного кравчего?

— Нет у них крыльев, — угрюмо признался Мээс.

— В таком случае соблаговолите рассказать нам с Атосом, каким образом эти носители разума здесь без них обходятся.

Мээс заверещал плаксивым голосом, что ни кравчему, ни тем более самому Великому Спруту никогда не бывает надобности лично спускаться в винные погреба, а уж если такая надобность и возникла бы, то на этот случай в винные погреба имеется другой ход, вполне пригодный для бескрылых существ, и вообще он, Мээс, никак не возьмет в толк эти странные инсинуации со стороны прославленного космолетчика и склонен рассматривать эти странные инсинуации как очередной акт недружелюбия со стороны представителей расы, к которой руководство Планеты Негодяев всегда испытывало чувства исключительного дружелюбия и безграничного уважения...

Пока мерзкий старикашка лгал и изворачивался, зацепившись ногами за край люка и повиснув вниз головой, флагман Макомбер демонстративно глядел на часы, Атос поигрывал двумя оставшимися бомбочками, катая их с ладони на ладонь, а профессор Ай Хохо нетерпеливо рыл базальт передними копытами и шумно отдувался. Наконец флагман Макомбер прервал Мээса на полуслове.

— Ваше время истекло, — не допускающим возражений тоном произнес он. — Прощу вас спуститься вниз, Мээс.

И Мээс покорно замолчал. И Мээс спустился и, повернувшись к прославленному космолетчику спиной, принял позу игрока в чехарду. И по знаку флагмана Макомбера профессор Ай Хохо, смущенно хихикая и испуганно взблеивая, взгромоздился Мээсу на спину и обхватил его слоновью шею передними ногами. И Мээс с протяжными стонами вознес эту тяжкую ношу через люк, а затем последовательно вернулся за флагманом Макомбером и Атосом. И Атос готов был поклясться, что, когда металлический щит с лязгом пополз из-под стены на место, закрывая люк, его слух уловил в отдалении под сводами погреба хриплые вопли Конопатой Сколопендры, рыскающей во главе тарантулов между баками и бочками.

Помещение, в котором очутились земляне и их пленники, представляло собой абсолютно пустую комнату со стенами и потолком совершенно немислимой белизны и без всяких признаков не только окон, что было, в общем, вполне естественно, но и

дверей. И не было здесь никого и ничего похожего на «этакую круглую штуковину с тележное колесо, а может, и поболее, да еще с этакими хвостами заместо всего прочего». Арамис, обойдя со своей острой комнатой по периметру, вернулся к платформе, сел на край рядом с Двуглавым Юлом и молча поглядел на Мээса. И все остальные тоже молча поглядели на Мээса. Бывший верный клеветник и исполнитель самых тонких поручений не выдержал этого молчания и этих взглядов.

— Чего вы на меня уставились? — завизжал он, пятась в угол и выставляя перед собой трясущиеся руки. — Я ни в чем не виноват! Я больше ничего не знаю! Ничего, понятно? Не смейте на меня так смотреть! Я не привык! У меня нервы!..

— Ты предал нас, старый колченогий хобот! — зарычала левая голова Двуглавого Юла, и двухголовый пират медленно поднялся на ноги. — Ты заманил нас в ловушку, подлый предатель! Но уж меня-то тебе не пережить!

— Оставьте, Двуглавый Юл, — поморщился флагман Макомбер, брезгливо обирая с брюк мокрые от пота клочья Мээсовой шерсти. — Криком делу не поможешь... В чем дело, Мээс? Надеюсь, вы не ошиблись? Это действительно палаты чудо-доктора Итай-итай?

Да, это действительно палаты чудо-доктора. Никакой ошибки тут быть не может. Пиковый туз оранжевого цвета, люк над бочками синильной кислоты, настоящей на камнях из печени гигантских птиц с планеты Локи, забыл их название... Но в этом помещении всегда было пусто, когда Мээс сопровождал и поднимал сюда Великого Спрута. Сам Мээс никогда в глаза не видел чудо-доктора. Он доставлял сюда Великого Спрута или дорогих ему мертвецов, а затем его отсылали обратно в погреб с приказом ждать... Да, чудо-доктор воскресил его, Мээса, но где и как это было... Мээс понятия не имеет. И любой не имел бы, если бы в него всадили такую кучу разрывных пуль... И вообще, он, Мээс, сделал все, что от него требовали: привел землян в палаты чудо-доктора Итай-итай, а дальше разбирайтесь сами. Ему же, Мээсу, теперь все равно смерть, потому что Великий Спрут ни за что не простит ему такого проступка. И не надо ни утешений, ни обещаний. Его, Мээса, карьера кончена раз и навсегда, и в лучшем случае ему, Мээсу, уготована жалкая участь изгнанника на каком-нибудь мерзлом астероиде вдали от друзей и близких, а между тем он привык каждое утро получать в постель чашечку горячей целебной воды с южного полюса планеты Разбитых Сердец и свежеспеченную булочку из муки злака, произрастающего исключительно на одном-единственном острове посередине Восточного океана планеты Подземных Хорьков...

Такой знаток природы разумных существ, как флагман Космического флота и член Всемирного совета Земли, отлично понимал, что на этот раз старик не врет. Он действительно больше ничего не знает. Он всецело отдался на милость своих пленителей и только у них может теперь искать защиты от гнева своего бывшего хозяина. Возможно, Великий Спрут догадался о цели таинственного вторжения и уже распорядился, чтобы чудо-доктора перетасили в другие апартаменты. Возможно, чудо-доктор сам не желает иметь дела с дерзкими пришельцами. Возможно, чудо-доктор вообще не живой носитель разума, а хитроумный механизм, секрет которого известен со слов покойного Богомола Панды только самому Великому Спруту. Все возможно. А тем временем у них под ногами кишат жаждущие крови тарантулы Конопатой Сколопендры, а по коридору за какой-то из этих белых стен гремят когтями вооруженные до зубов отряды охранников, а на поверхности планеты

у них над головами гудит потревоженным ульем вся несметная боевая сила профессиональных убийц и грабителей...

— Ну, что будем делать? — обратился Арамис к флагману Макомберу.

Прославленный космолетчик пожал плечами, подошел к одной из стен и постучал в нее рукояткой бластера.

— Войдите! — раздался звучный и не лишенный приятности голос.

И стена исчезла.

Землян чудесами не удивишь. Земляне сами стали великими знатоками, ценителями и творцами чудес. Но то, что представилось их взглядам за исчезнувшей стеной, потрясло даже их. Что угодно, только не это ожидали они увидеть в недрах бесконечно чужого и бесконечно враждебного им царства зла.

А увидели они большой круглый стол, накрытый белой скатертью и окруженный старинными стульями с мягкими сиденьями. Посередине стола сверкал чистым серебром и пускал облачка пара огромный пузатый самовар с пузатым же фарфоровым чайником на конфорке. Самовар окружали хрустальные вазы с вареньем, серебряные подносы с пирожными и плетеные корзинки с сухариками и булочками. По краю же стола перед каждым стулом красовались фарфоровые чашки на блюдцах и хрустальные розетки с маленькими серебряными ложечками. Запахи крепкого свежего чая, ванили и свежей сдобы носились над этим удивительным столом, и теперь уже Двуглавному Юлу пришла очередь задерживать дыхание и хвататься за свои носы.

Невысокий, очень плотный и очень румяный человек с пышной седой шевелюрой, мохнатыми бровями и аккуратными усиками под розовым носом картошкой неторопливо поставил на стол блюдце, промокнул губы салфеткой и встал, отодвинув стул.

— Здравствуйте, соотечественники, — произнес он приятным бархатистым голосом. — Наконец-то вы явились. А я жду вас вот уже более тысячи лет.

— Этого не может быть, — убежденно сказал флагман Макомбер и протер глаза.

— Массовая галлюцинация, — грустно вздохнул Арамис.

— И тут человек с Земли! — прохрипела левая голова Двуглавого Юла.

— Удивительно вкусно пахнет... — восхищенно проблеял профессор Ай Хохо.

— А я именно такой штуки и ожидал, — пропищал Ятуркенженсирхив, высовываясь из-за пазухи прославленного космолетчика.

Мээс в своем углу проскрипел что-то вообще невразумительное (что-то вроде «Господи, спаси нас и помилуй!») и с головой ушел в свои кожистые крылья. Только Атос не сказал ничего, а с неясной ему самому тревогой и ожиданием всматривался в большие темные глаза незнакомца. Удивительно знакомые глаза!

Незнакомец рассмеялся, показывая ровные белые зубы.

— Ладно, поудивляйтесь немного, — сказал он. — Время у нас еще есть. Впрочем, давайте знакомиться. Я-то вас знаю, а вы меня — нет. Меня здесь зовут... вернее, здесь я известен как чудо-доктор Итай-итай... Флагман Макомбер, поставьте на пол ваш портфель и уберите это оружие в карман. Оружие вам вообще больше не понадобится,



а портфель понадобится не раньше чем через четверть часа. Атос, спрячьте ваши бомбочки. Арамис, мой бесценный родственник, отложите вашу острогу: Двуглавый Юл вам больше не противник, а Мээс и без того едва дышит. Ну-с...

Он быстрым упругим шагом направился к летающей платформе. Двуглавый Юл, пошатываясь от слабости и возбуждения, заступил ему дорогу.

— Доктор, — проговорила левая голова, — тебя взаправду зовут чудо-доктор Итай-итай? Вылечи меня, доктор! Клянусь кровавой Протуберой и мертвенной Некридой, вылечи меня, и ты не пожалеешь!

Доктор Итай-итай небрежно отстранил его.

— С тобой потом. Сначала я должен взглянуть на своего бедного прапрапра... (тут флагман Макомбер вторично протер глаза и потряс головой) прапрапра... (Атос, спохватившись, принялся отсчитывать на пальцах) прапрапра... (Арамис глубоко перевел дух) прапрапрадедушку.

Он склонился над спектролитовой капсулой. Флагман Макомбер, Атос и Арамис, не сговариваясь, шагнули к нему. Доктор Итай-итай выпрямился и строго взглянул на них, сдвинув мохнатые брови.

— Только прошу не мешать, — не сурово, но очень твердо произнес он. — И советую отойти подальше, здесь сейчас будет довольно прохладно. Нет-нет! — Он стремительно поднял ладонь. — Никаких вопросов! Воскрешение мертвых и вообще-то дело очень ответственное, а уж воскрешение собственного предка и подавно. Не отвлекайте меня. Вот покончим с делами, сядем за стол, тогда будете задавать вопросы.

— Ну чего, в самом деле, сгрудились? — заорала вдруг левая голова Двуглавого Юла полицейским голосом. — Чего не видели? Отойдите, не мешайте! Работать ведь невозможно! Лезут тут под руку всякие, работать мешают... Человек предка своего, можно сказать, воскрешает, а они под руку лезут, верно, доктор?

Земляне словно во сне отступили от платформы. Комната с самоваром на накрытом столе вновь исчезла за непроницаемой белой стеной, в углу тоскливо завыл под своими крыльями Мээс, беспокойно задергал ушами профессор Ай Хохо, прячась за широченными плечами Двуглавого Юла. Флагман Макомбер хотел что-то сказать — и только закашлялся. Да и что тут скажешь? Атос протянул руку, чтобы то ли помочь, то ли помешать, — и упала рука. Да и кому помочь, чему помешать? Арамис с окаменевшим лицом скрестил руки на могучей груди и застыл в ожидании. Словно во сне, все смотрели на этого вдвойне чудо-доктора, как он ходит вокруг платформы, вглядывается в мертвое лицо их друга, мурлычет вполголоса какую-то странную песенку, постукивает по спектролиту чуткими пальцами.

И вдруг спектролитовая крышка со звоном отскочила и грянулась на пол. Столб серого тумана взвился над раскрытой капсулой, ледяной вихрь ударил по комнате, и Двуглавый Юл с ужасным воплем опрокинулся на спину, задрал длинные тощие ноги. А серый туман заполнил все, закрутился струями, забился в стены, и ничего не стало видно, кроме этих бешеных серых струй, которые визжали в ушах, валили с ног, швыряли в лица пригоршни колючего инея, и космический холод пробирал до костей и прорадывался к сердцу, в мозг, в самую душу человеческую.

Потом все кончилось. Жидкий аргон выкипел, туман рассеялся, с заиндепевших

стен и от наметенных по углам сугробов потекли струйки воды. Доктор Итай-итай неторопливо отошел от платформы, вытирая сразу осунувшееся мокрое лицо огромным носовым платком.

— Все в порядке, — сказал доктор Итай-итай.

Флагман Макомбер взглянул на капсулу и зажмурился. Ятуркенженсирхив, пронзительно взвизгнув, в панике полез под мышку прославленному космолетчику.

Портос шевельнулся.

— Жив... — хрипло прошептал Арамис.

Атос взял его за руку, и они медленно, останавливаясь на каждом шагу, двинулись к капсуле.

Портос открыл глаза и приподнял голову.

И надо же было случиться, чтобы первым, кого он увидел, вернувшись к жизни три года спустя после короткого боя на сто двадцатом километре, оказался Двуглавый Юл, на четвереньках выбиравшийся из-под платформы, куда забил его серый ураган. Велико, поистине волшебным было искусство чудо-доктора Итай-итай, но три года по ту сторону роковой черты не оставили, разумеется, ни малейшего следа в сознании Портоса. Он очнулся, как и умер, в разгар и в пылу боя за Зеленую долину, за родную планету, и появление жуткой двухголовой фигуры на фоне белого потолка, почему-то мгновенно сменившего черное звездное небо, вызвало у него мгновенную и четкую реакцию.

— Бей гадов! — гаркнул он и вцепился обеими руками в тощие длинные шеи Двуглавого Юла.

И тут он увидел Атоса и Арамиса. Пальцы его разжались, Двуглавый Юл мешком рухнул на пол.

— Вы? — растерянно спросил Портос и сел в своей капсуле. — Не понимаю... Что? Где? Как?

Не говоря ни слова, глотая слезы, Атос и Арамис подхватили его под руки и стащили с платформы. Спектролитовая капсула перевернулась.

— Даю вам честное слово, ребята, — смущенно произнес Портос, — я решительно ничего не понимаю.

Он огляделся. Он увидел, что находится в совершенно незнакомой комнате с ослепительно белыми стенами и потолком. Из одного угла таращилось на него мохнатое чудовище с белесым хвостом вместо носа, закутанное в какие-то кожистые перепонки. Из другого угла таращилась пожилая лошадь с нечесаной гривой и свалявшимся хвостом. В третьем углу стоял и задумчиво его разглядывал высокий статный мужчина в походном костюме космолетчика; узкое, костистое лицо его было вымазано копотью, волосы обгорели, да и костюм был прожжен во многих местах, а из самой большой дыры на его груди выглядывала поразительно знакомая мордочка какого-то зверька — то ли котенка, то ли крольчонка — с маленькими ушками и красными глазками. А рядом удивительно приятный седовласый человек склонился над распростертым на полу двухголовым типом, от обеих шей и до ступней затянутым в черное. Правый глаз правой головы этого типа был закрыт черной повязкой, остальные три глаза закрыты, оба языка высунуты.

— Нет, — сказал Портос, — я все-таки ничего не понимаю. Но это не так уж и важно. Скажите только, чья взяла?

— Наша взяла, старина! — отозвался Арамис, с нежностью обнимая Портоса, а Атос только хлопнул воскресшего друга ладонью между лопаток.

— А это кто? — гулким шепотом спросил Портос и сделал рукой некий обобщающий жест, посредством коего включил в свой короткий вопрос и профессора Ай Хохо, и Мэеса, и флагмана Макомбера, и чудо-доктора, и Двуглавого Юла.

Атос и Арамис переглянулись, и оба посмотрели на доктора Итай-итай. Тот ласково улыбнулся им:

— Не беспокойтесь, друзья мои. Мой благородный предок совершенно здоров, можете говорить ему все что угодно.

— Только пусть больше не лезет ко мне своими ручищами, — необычайно свежим и звонким голосом произнесла вдруг левая голова Двуглавого Юла. — В конце концов, у меня есть свои рефлексy. Еще немного — и я отправил бы его обратно в стеклянный ящик.

— Как вы себя чувствуете, почтенный Юл? — осведомился доктор Итай-итай.

На обоих лицах Двуглавого Юла медленно проступило выражение величайшего изумления.

— По-моему... — прошептала левая голова и смолкла.

Двуглавый Юл поднес руки к правой голове и осторожно ее ощупал.

— Здоров... — благоговейно прошептала правая голова.

— Здоров! — заорала левая голова, и Двуглавый Юл, сорвав с правой головы заляпанную зеленью бинты, вскочил на ноги, как акробат, прямо из лежащего положения. — Доктор! Чудо ты мое, доктор! Дай же я тебя лобызну!

Он схватил смеющегося доктора в охапку и трижды расцеловал в обе щеки обеими головами. Затем он круто повернулся к флагману Макомберу.

— Ну, флагман... — начал он.

— Тихо! — угрожающе произнес прославленный космолетчик и сунул руку в карман.

Двуглавый Юл остановился как вкопанный.

— Эх, флагман... — сказал он и словно бы задохнулся. — Эх, ребята, ничего вы не понимаете. Я же уже давно свой, ваш. Вы же такие ребята... Я за вас всю свою зеленую кровь готов выпустить, а вы все меня вашим железом в спину тычете... Ятуркенженсирхив!

— Здесь, Двуглавый! — пропищал Ятуркенженсирхив; он уже сидел на плече у флагмана Макомбера, держась за его макушку.

— Ты читаешь мои мысли, как книгу, старый предатель. Скажи им!

— Я вовсе не предатель, — с достоинством произнес бывший шпион, которого носят с собой. — Я просто перешел на сторону сильных и справедливых. Но я могу засвидетельствовать, что присутствующий здесь Двуглавый Юл совершенно здоров и

больше не испытывает страха смерти, что он относится к вам, флагман Макомбер, с дружеским уважением... К вам, доктор Итай-итай, как к самому господу богу... К вам, Атос, со страхом и почтением... К вам, Арамис, он испытывает чувства благодарного и неоплатного должника...

— Расстегните ворот, почтенный Юл, — приказал доктор Итай-итай. Двуглавый Юл испуганно взглянул на него и отрицательно затряс обеими головами. — Расстегните, говорю я вам! — сказал доктор, повысив голос. — Порядочные люди таких вещей не стесняются!

Двуглавый Юл нехотя распустил на груди «молнию», и все увидели на его бледно-зеленой коже глубокие шрамы как бы от укусов лисицы.

— Эти раны, — торжественно сказал доктор Итай-итай, — единственные, кроме сердечных, которые даже я не умею и не желаю лечить. Двуглавый Юл весь обглодан и изгрызен совестью. Можете застегнуться, почтенный Юл.

Наступило молчание. Двуглавый Юл, опустив обе головы, затягивал «молнию», изумрудный румянец горел на его четырех щеках.

— Ужасно трогательно! — проблеял профессор Ай Хохо. Из его добрых грустных глаз выкатились и со звоном упали на пол две тяжелые, как ртуть, слезы.

Флагман Макомбер подошел к Двуглавному Юлу и похлопал его по плечу.

— Да ну вас!.. — Двуглавый Юл отвернулся.

Арамис подошел к нему с другой стороны и похлопал по другому плечу.

— Бросьте вы... — пробормотал Двуглавый Юл.

Атос и Портос тоже приблизились к нему.

— Ну, извини, — благодушно сказал Портос.

— Чего там... — пробормотал Двуглавый Юл.

— Однако, — озабоченно произнес флагман Макомбер, — нам хотелось бы, доктор, задать вам несколько вопросов.

— Вот именно! — подхватил Арамис. — Прежде всего, почему вы называете Портоса своим пра...

— Прежде всего, — прервал его прославленный космолетчик, — почему вы считаете, что оружие нам больше не понадобится?

— О, это очень просто, — сказал доктор Итай-итай. — Но мы покончили с делами, друзья мои, и можем поговорить за столом.

Он щелкнул пальцами, и стена, скрывавшая накрытый стол с самоваром, исчезла.

— Прошу, — сказал доктор.

Все нерешительно двинулись к столу, но флагман Макомбер вдруг остановился.

— Я должен извиниться... — начал он.

— Да! — спохватился доктор Итай-итай. — Разумеется, я совсем забыл. Вызывайте эскадру, флагман Макомбер. Портфель, если не ошибаюсь, вон в том углу.

Прославленный космолетчик с изумлением взглянул на него, развел руками и

подошел к портфелю. Он извлек из него четыре цилиндрических предмета, сноровисто соединил их торцами и поставил на пол.

— Что это? — с любопытством спросил Арамис, разглядывая блестящую металлическую колонку высотой в человеческий рост.

— Вэпээрбэ, — отозвался флагман Макомбер. — Всепроникающий радиобуй. Новинка. С нажимом вот этого рычажка его вещество перестраивается и становится проницаемо-проникающим по отношению к обычному веществу в нашей Вселенной. Миниатюрный, но могучий гравитационный двигатель выносит его на заданную высоту, где начинает действовать миниатюрный, но могучий радиопередатчик. Бип-бип-бип... Прошу пронаблюдать.

Флагман Макомбер щелкнул крошечным рычажком на боку второго снизу цилиндрика. Раздалось тихое жужжание, блестящая колонка оторвалась от пола, устремилась к потолку и исчезла.

— А дальше что? — разочарованно спросил Портос.

— А дальше, — ответил флагман Макомбер, застегивая пустой портфель, — дальше вэпээрбэ поднимется на высоту одного мегаметра и подаст сигнал к атаке.

— Кому? — хором спросили земляне и Двуглавый Юл.

— Объединенной Космической Эскадре. Она следовала за «Черной Пирайей» по пятам и остановилась в тысяче мегаметров, ожидая конца операции «Итай-итай»... Простите, доктор. Как только заработает наш вэпээрбэ — бип-бип-бип, — сто пятьдесят самых мощных земных звездолетов, вооруженных по последнему слову самой современной боевой техники, начнут атаку на Планету Негодяев.

— Ох! — вырвалось у левой головы Двуглавого Юла.

Доктор Итай-итай рассмеялся.

— Пусть вас это не беспокоит, почтенный Юл, — сказал он. — Бойни не произойдет. Ваши бывшие коллеги сдадутся без выстрела, десятки тысяч рабов получают свободу, и вы все благополучно вернетесь на Землю. Однако не знаю, как вы, а я проголодался. К столу, к столу! Вы тоже, Мээс.

Они расселись за столиком, и каждый получил из рук доктора Итай-итай по полной чашке великолепного чая, и каждый взял себе в розетку варенья по вкусу, и некоторое время слышно было только, как звякают ложки, как фыркает профессор Ай Хохо, шумно хлебает и отдувается Двуглавый Юл и шипит, обжигаясь и наслаждаясь кипятком, разочарованный событиями Мээс.

— Еще чашечку, флагман Макомбер? — осведомился доктор.

— Благодарю вас, — ответил прославленный космолетчик. — Но если бы вы взяли на себя труд объяснить...

— Я, например, очень хочу хоть что-нибудь понять, — честно признался Портос. — Эскадра, атака, Планета Негодяев... Конечно, малиновое варенье превыше всех похвал, да и шоколадные трубочки тоже, но если бы кто-нибудь объяснил мне...

— Действительно, доктор, — просительно сказал Арамис. — В конце концов, это уже становится похоже на пытку...

— Ну хорошо, — согласился доктор Итай-итай и откинулся на спинку стула. — Давайте поговорим. С чего бы начать? Да! Прежде всего успокоим флагмана Макомбера. Он все-таки командует операцией моего имени и несет ответственность за всех вас. Итак... Сражаться вам больше не придется, флагман. Объединенная Эскадра приближается, сейчас она уже снимает неприятельские аванпосты, но ей, по сути дела, остается только подмести мусор, оставшийся после вашей блестящей диверсии. Судьба Планеты Негодяев была решена в момент вашего прибытия. Помилуйте, флагман! Поставьте себя на место Великого Спрута, Искусника Крэга и прочих в высшей степени деловых носителей разума. После трехлетнего отсутствия неведомо где возвращается «Черная Пирая». Посланный на ее борт для досмотра доверенный холуй Мээс самым таинственным образом исчезает вместе с четырьмя могучими роботами-телохранителями, которых не берет никакое оружие. Отряд неведомых пришельцев проникает в святая святых Великого Спрута, в седьмой ярус, и учиняет беспрецедентный разгром кантины, переполненной отъявленными головорезами, а затем словно проваливается сквозь землю. Великий Спрут понятия не имеет, кто эти пришельцы и сколько их, но он, и особенно такой пройдошливый носитель разума, как Искусник Крэг, да и другие хозяйчики Планеты Негодяев, отлично понимают: координаты их гнезда открыты, грядет возмездие за все их бесчисленные преступления перед Братством Разума во Вселенной. Так какое решение они могут принять в такой обстановке?

— Бежать, — задумчиво отозвался флагман Макомбер.

— Рвануть когти! — в восторге вскричала левая голова Двуглавого Юла.

— Правильно. И они бежали. Бежали уже час назад, захватив с собой все самое ценное и всех самых ценных, вроде Конопатой Сколопендры, которая слишком много знает и незаменима при некоторых обстоятельствах. Могу себе представить, как жалеет Великий Спрут, что с ним нет его верного Мээса... Так что сейчас на планете остались только вольные пираты, ни о чем не подозревающие и к тому же совершенно непривычные к регулярным боевым действиям, и десятки тысяч пленников. И мы с вами, флагман Макомбер, можем позволить себе предаваться заслуженному отдыху, ни о чем не беспокоясь.

— А куда они бежали, вы знаете? — спросил флагман Макомбер.

Доктор Итай-итай помолчал.

— Я вас понимаю, — сказал он наконец. — Начиная это дело, вы рассчитывали захватить всю верхушку. К сожалению, время еще не пришло. Я могу дать вам только намек. В обозримой Вселенной осталось теперь только одно место, где царствует зло. Это планетная система безымянной нейтронной звезды, родина Искусника Крэга. Между прочим, в свое время Искусник Крэг был изгнан отсюда за доброту.

Арамис и Двуглавый Юл так и ахнули, а Портос обиженно спросил:

— Кто это такой — Искусник Крэг?

— Разрешите налить вам еще чашечку, мой дорогой предок, — сказал, улыбаясь, доктор Итай-итай, — и возьмите еще парочку шоколадных трубочек, а я постараюсь удовлетворить ваше законное любопытство.

— А почему все-таки — предок? — спросил Портос.

— Не торопитесь, — ответил доктор, передал ему чашку и начал: — На берегу некогда студеного, а ныне и навеки теплого океана жили-были три закадычных друга: мастер, спортсмен и ученый...

Он излагал события, о которых рассказывалось в первой части этого правдивого повествования, и с самого начала все замерли в напряженной и внимательной тишине, даже Ятуркенженсирхив, засевший за самоваром с вазой вишневого варенья в обнимку. И не только потому, что доктор оказался превосходным рассказчиком. Он как бы читал наизусть давно ему известную повесть, читал с выражением, тщательно следя за интонациями, придирчиво вслушиваясь в звучание собственного голоса. И многие подробности его рассказа были неизвестны даже флагману Макомберу, который знал об этих событиях по обстоятельным беседам с Атосом, Арамисом и Галей, и забыты даже Атосом и Арамисом, которые в этих событиях участвовали; и Портос с изумлением вытаращил глаза, выслушав достовернейшее описание своих собственных мыслей и чувств в последние минуты перед тараном, и Двуглавый Юл страдальчески закричал и заерзал, слушая свои собственные разнузданные речи перед плененной Галей; а Ятуркенженсирхив только жмурился и ежился, когда шла речь о его предательствах.

— Двуглавого Юла сослали на Черную Скалу, его команду отправили на Марс, а Ятуркенженсирхив остался у Гали, — закончил доктор Итай-итай и взял из плетеной корзинки сухарик. — Все это произошло три года назад.

— А потом? — одним дыханием спросил Портос.

— Потом... — Доктор откусил от сухарика и поднял глаза к потолку. — М-м... Да. Деликатный вопрос. Впрочем, теперь все позади, и можно быть вполне откровенным. Ну-с, как вам уже известно, Двуглавый Юл категорически отказался выдать координаты Планеты Негодяев. Совесть его тогда еще дремала. От него отступились. Один лишь Арамис не терял надежду. Он твердо сказал себе, что пиратское гнездо должно быть сокрушено. И он попробовал обходной путь. Он отправился на Марс и целый год прожил в обществе ящера Ка, морской звезды Ки и обезьяны Ку. Конечно, он не рассчитывал, что узнает от них координаты, ведь это зверье не имеет понятия даже об элементарной арифметике. Но он терпеливо выкачивал из них все подробности развеселой жизни на Планете Негодяев. Это была игра вслепую. Но игра героическая. И она себя оправдала. Однажды ему рассказали легенду о чудо-докторе Итай-итай... Рассказывать дальше? — спросил доктор, обращаясь к Арамису.

Тот пожал плечами и усмехнулся:

— Почему бы и нет? Теперь все позади.

— Арамис составил жестокий и умный план, — продолжал доктор. — Я его понимаю и полностью оправдываю. Надо было вырезать эту опухоль на теле Вселенной, и надо было попытаться вернуть к жизни погибшего друга. Арамис знал, что в случае опасного ранения или болезни Двуглавному Юлу не поможет ни один врач в Солнечной системе. Он вернулся на Землю, тайно подплыл к Черной Скале и скоро дождался удобного момента. Двуглавый Юл получил свирепый удар острой...

— Так это ты меня треснул? — бешено в две глотки взревел Двуглавый Юл, сверкнув глазами на Арамиса.

— Молчи! — сурово сказал Портос. — Тебя за Галю еще не так надо было

треснуть.

— За Галю, за Портоса, за многое другое, — добавил флагман Макомбер. — Но теперь все позади, Двуглавый Юл. И, принимая во внимание, чем кончилось все это дело, я бы на вашем месте от души поблагодарил бы Арамиса...

— Я уже засвидетельствовал, — пропищал из-за самовара Ятуркенженсирхив, — что Двуглавый Юл питает к Арамису чувство благодарного и неоплатного должника!

Двуглавый Юл подулся для порядка с минуту, затем обмяк.

— Да я что? — истово произнесла его левая голова. — Я же ничего. Идиот был, конечно. С такими только так и следует...

— Именно, — подтвердил доктор Итай-итай. — Другого выхода не было. Ну а остальное вам известно.

— Да! — с большим чувством произнес Портос и даже ударил кулаком по столу. — Вот теперь я все понял. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо вам, чудо-доктор Итай-итай. Значит, я три года провел на том свете? Ничего не помню. А жалко, не было меня в этой драке на борту «Стерегущего»! Ох и вздул бы я тебя, двухголовый брат по разуму! На всю жизнь бы ты меня запомнил...

— Я и так запомнил, — отозвалась левая голова Двуглавого Юла. — Я тебе так скажу, мушкетер. Всякие носители разума обитают в обозримой Вселенной: плохие и хорошие, добрые и злые. Есть храбрые, есть трусливые. Но таких драчливых, как вы, земляне, нигде больше нет. Что значит кислород, вода, хлорофилл и красная кровь! Слона не задевай спящего, льва не задевай голодного, а землянина не задевай никогда! Я бы так сказал.

— Я бы тоже так сказал, — согласился флагман Макомбер. — Но вот какой вопрос, доктор. Вы точно не знаете, где находится эта самая безымянная нейтронная звезда?

Чудо-доктор развел руками. Тогда флагман Макомбер молча поглядел на Мээса. И все остальные тоже молча поглядели на Мээса. Мээс, тянувшийся хоботом к шестнадцатой сдобной булочке, замер.

— Нет-нет, — поспешно произнес доктор Итай-итай, — досточтимый Мээс не знает. А вы узнаете непременно. Разумеется, в свое время. Это я вам обещаю.

— Ну, — сказал Арамис, — с меня довольно. Пытка слишком затянулась. Выкладывайте все, доктор. И немедленно. И без утайки. И без проволочек.

— Да! Да! — закричали все хором. — Немедленно и без утайки! И без проволочек! Начинайте прямо! Кто вы такой? Откуда вы все знаете? Почему вы зовете Портоса предком, а Арамиса — родственником?

Доктор Итай-итай поднял руки, и все замолкли.

— Хорошо, — сказал он. — Я все объясню. Правда, это не совсем по правилам, но ничего не поделаешь. Слушайте же.

И чудо-доктор рассказал самую поразительную историю, какую они когда-либо слышали. Началась она не в прошлом, как это обыкновенно бывает с историями, а в отдаленном будущем, через три с половиной столетия после описанных здесь событий. К тому времени земное человечество достигло совершенно уже фантастических высот науки, техники и культуры, а конца подъему все еще не было





мелочи. Операция планировалась в полном соответствии с хрониками и преданиями. Именно поэтому, в частности, Айболита забросили не в ваше время, а в пятый век христианской эры и не оставили на Земле, а поместили на Северном полюсе фторной планетки на окраине Малого Магелланова Облака. Там он пять веков ожидал нападения Богомола Панды, а потом еще тысячелетие ждал смелой диверсии землян в подземельях Великого Спрута. Потому что именно так было с легендарным чудо-доктором Итай-итай согласно исторической традиции. Как видите, воздействие будущего на прошлое свелось, по существу, только к воскрешению моего славного предка. Вернувшись на Землю, он женится на прекрасной Гале, и цепь окончательно замкнется. Я кончил. Благодарю за внимание.

И доктор Итай-итай поклонился.

Воцарилось продолжительное молчание. Потом флагман Макомбер сказал от всего сердца:

— Вы — настоящий герой, доктор.

— Да, — просто отозвался доктор Итай-итай. — Но ведь мы все такие на нашей Земле.

— Задавать вам вопросы о нашем личном будущем, конечно, бесполезно, — раздумчиво произнес Арамис. — Но вот скажите: а что будет, если Портос не женится на Гале?

Доктор Итай-итай рассмеялся:

— Не женится? Мой дорогой родственник, да вы только посмотрите на него!

Все посмотрели на Портоса. Да, сомневаться не приходилось: непременно женится, сразу видно. Багровый от смущения Портос кашлянул и сказал:

— Я так понимаю, что Айболит — это вы. А почему тогда Итай-итай?

— Потому что так я именуюсь в хрониках. Правда, один мой друг, лингвист, объяснил мне, что «итай-итай» на древнеяпонском означает примерно то же, что наше восклицание «Ай, болит!».

— Я еще вот чего никак в толк не возьму, — сказала вдруг левая голова Двуглавого Юла. — Почему это Богомол Панда описал вас как какое-то колесо с хвостами?

— Это как раз совершенно ясно. Запас слов у него был очень невелик, воображение куцее, человека он никогда не видел... даже вас, не так ли, почтенный Юл?

— Да, — согласился Двуглавый Юл. — Его прикончили лет за триста до меня.

Доктор Итай-итай, он же Айболит, встал.

— Что же, друзья! — произнес он. — Объединенная Эскадра Земли уже овладела планетой. Пора идти. У нас еще много дел.

## 6

Дел, как оказалось, было действительно много. Сорок четыре тысячи разноплеменных пленников требовали ухода, усиленного питания, медицинской помощи и репатриации. Тысяча восемьсот шестьдесят четыре сдавшихся пирата ждали беспристрастного следствия, скорого суда и справедливого наказания. Огромные горы сложенного оружия и боеприпасов нуждались в немедленной переплавке и

уничтожении. Сто шестнадцать вычислительных машин на живых мозгах необходимо было демонтировать, а заключенным в них носителям разума — вернуть природную форму. Десантники и экипажи Объединенной Космической Эскадры Земли проявляли чудеса организованности и неутомимости, но все равно рабочих рук и голов не хватало, и, выйдя из резиденции Великого Спрута, наши земляне и даже профессор Ай Хохо тут же включились в дело.

На космодроме, залитом кроваво-красным светом Протуберы и мертвенно-синим блеском Некриды, к флагману Макомберу подошел командующий Объединенной Эскадрой и отрапортовал: посадка боевых звездолетов и выброс десанта с последующим овладением Планетой Негодяев прошли без единого выстрела; в погоню за успевшими бежать пиратскими кораблями брошены двенадцатое и шестнадцатое звенья четвертого полка сверхсветовых истребителей-перехватчиков; согласно приказу Всемирного совета он передает командование флагману Макомберу и переходит в его непосредственное подчинение. Приняв рапорт, флагман Макомбер поблагодарил бывшего командующего за успешные действия и принялся распоряжаться.

Прошла неделя, и Планета Негодяев опустела. Последние партии освобожденных узников, в том числе и возрожденные к нормальной жизни элементы страшных машин Искусника Крэга, отбыли к родным мирам — либо на звездолетах, присланных за ними соотечественниками, либо на звездолетах Объединенной Эскадры, если соотечественники еще не имели галактического транспорта. Пленных пиратов судили, некоторых за особенно ужасные преступления приговорили к повешению условно, и всех отправили в ссылку на необитаемые планеты с суровыми природными условиями: расчищать джунгли, осушать болота, растапливать льды, — словом, заниматься общественно полезным трудом и перевоспитываться. Все пиратское оружие, все пиратские корабли (кроме «Черной Пирайи») и все боеприпасы были сброшены в жерла действующих вулканов, разрушены и уничтожены; все несметные награбленные сокровища возвращены владельцам; все винные погреба взорваны. К сожалению, звенья истребителей-перехватчиков, посланные в погоню за Великим Спрутом и другими в высшей степени деловыми носителями разума, вернулись ни с чем: подлецы успели нырнуть в подпространство, и след их затерялся. Больше нечего было делать на Планете Негодяев, и Объединенная Эскадра приготовилась к возвращению на Землю.

За час до старта доктор Айболит попросил Атоса, Портоса, Арамиса и флагмана Макомбера собраться в рубке «Черной Пирайи».

— Пришла нам пора расстаться, дорогие мои предки, — сказал он и смахнул со щеки слезу. — Я был рад познакомиться с вами. Теперь я особенно хорошо понимаю, почему человечество моего времени так умно, великодушно и гуманно. Через несколько минут я покину вас, но навсегда унесу с собой тепло ваших рук и щедрость ваших сердец...

— Может быть, заглянете сперва на Землю, доктор? — смущенно предложил Портос. — Погостили бы у нас, поглядели...

Доктор Айболит покачал головой:

— Нет, мой дорогой и любимый предок. Во-первых, мой визит на Землю увеличил бы вероятность нежелательного воздействия будущего на прошлое. Во-вторых, каждая

секунда моего пребывания в вашем времени обходится моим современникам в семнадцать с половиной миллионов киловатт энергии, наши физики пустили на эту операцию вещество целой звезды. И в-третьих, там, в моем времени, мои друзья и близкие, конечно, не успели соскучиться, ведь я вернусь к ним всего секунду спустя после ухода, но я-то так истосковался по ним за полтора тысячелетия! Мне не терпится увидеть и обнять их. Особенно старшего сына — он очень похож на вас, между прочим...

Он обнял флагмана Макомбера:

— Имейте в виду, дорогой флагман, я вылечил Двуглавого Юла от всех болезней, в том числе и от алкоголизма, однако то, что у него на месте правого глаза под черной повязкой на правой голове, я оставил. Это еще сослужит вам славную службу, потому что почтенный Юл теперь ваш душой и телом и вы можете полностью положиться на него.

Он обнял Арамиса:

— Я знаю, мой дорогой родственник, как хочется вам взглянуть на мир, который изгнал Искутника Крэга за доброту. Так поверьте мне, вы этот мир еще увидите.

Он обнял Портоса:

— Прощайте, мой дорогой и любимый предок. Я знаю, что вы будете счастливы с Галей, уж я-то это вижу, и все равно по обычаю и по сердцу своему желаю вам этого счастья.

И последним он обнял Атоса.

— Я не умею и не желаю лечить сердечные раны, друг мой. Что делать! Но я знаю, что друзьями вы были, друзьями и останетесь навеки, несмотря ни на что.

И так, попрощавшись со всеми, доктор Айболит, он же чудо-доктор Итай-итай, отступил на середину рубки и исчез, словно его и не было.

— Хороший человек, — хором сказали Атос, Портос и Арамис.

Флагман Макомбер задумчиво кивнул.

### **Часть третья. Иван, сын Портоса**

#### **1**

Прекрасен и обычен на планете Земля и в ее окрестностях был день 15 июля 2222 года нашей эры, от начала же Великой революции 305-го.

Отерли с чела трудовой пот запыхавшиеся атмосферники, погасившие на середине истребительного пути коварный тайфун «Машенька».

На плодородных отмелях Гельголандской бухты открыли новую плантацию вкуснейших ракушек «глория мунди».

В нескольких градусах от Южного полюса буровики выдавили из недр стотысячную тонну таинственной мантийной пасты.

В скромной сторожке на берегу речки Бикин в дебрях Уссурийского заповедника медики, историки и школьники чествовали одиннадцатого человека, прожившего без усталости три столетия.

Замяукали и жалостно закричали сотни тысяч новорожденных, будущих врачей, учителей и воспитателей, мастеров, ученых и спортсменов и — чего только не бывает? — великих писателей, художников и философов.

В городе-парке на Марсе молодая мама отшлепала по попе своего пятилетнего шалуна, науськавшего домашнего киберга гоняться за кошками и таскать их за хвосты.

Уходили в Глубокий космос и возвращались на родные базы сверхдальние звездолеты; опаздывали на свидания, целовались и ссорились влюбленные; поэты конструировали стихи, а мастера создавали поэмы из металла и электроники; кто-то бесстрашно входил в испытательные камеры, а кто-то с бесконечной осторожностью и с невероятным терпением обследовал загадочного вдруг младенца... Словом, Человечество жило в этот день, 15 июля, как давно уже привыкло, во всю ивановскую.

И все же именно в этот прекрасный и обычный день произошли из ряда выходящие события, которые положили начало предприятию, ставшему впоследствии известным под кодовым названием «Экспедиция в преисподнюю».

А дело было так.

В 3 часа 16 минут по мировому времени штаб Генерального дежурного по Всемирному совету получил из Службы околоземных космических станций сообщение о том, что в секторе 8-Ц только что по неизвестным причинам вдребезги разлетелся один из фокусирующих модулей субоптического телескопа. К месту странной аварии отправлена ракета с инспекторской группой.

В 6 часов 33 минуты инфор Генерального дежурного разразился тревожным сообщением Управления Арктического судоходства. Атомный катамаран «Дмитрий Лаптев», следовавший из Датч-Харбора (Алеуты) в Нагурскую (Земля Франца-Иосифа), проходя над южными отрогами хребта Ломоносова, попал в гигантский водоворот совершенно необычайной мощности. В течение нескольких минут катамаран отчаянно маневрировал, чтобы не дать увлечь себя круговому потоку, а затем водоворот внезапно унялся, выбросив на поверхность невиданные массы пены пополам с илом (при глубине в 960 метров!). Объяснить этот феномен арктологи пока не в состоянии. Катамарану предложено уходить из опасной зоны полным ходом. Туда посланы гидропланы с научной группой.

В 11 часов 25 минут Служба околоземных космических станций передала докладную своих инспекторов. По единодушному мнению специалистов, модуль телескопа был разнесен в куски примерно двадцатитонным зарядом тротила, неизвестно как попавшим в герметическую фокусирующую камеру. Но поразительным было другое. Среди обломков была обнаружена прямоугольная металлическая пластина величиной в тетрадный лист, на которой была выгравирована каллиграфическая надпись: «Привет от Великого Спрута, Искусника Крэга и Конопатой Сколопендры!»

(Генеральный дежурный был человек бывалый, но о таких не слыхивал никогда в жизни. Он потряс головой и попросил немедленно доставить странный «привет» к нему в штаб.)

В 12 часов 47 минут снова позвонили из Управления Арктического судоходства. На этот раз звонил сам начальник Управления, и выражение лица у него было как у подростка, которому показывают карточные фокусы. («Знаем, знаем, все это лишь

ловкость рук, не более...») Оказалось, что один из гидропланов, прочесывавших зону небывалого полярного водоворота, обнаружил в мутных от ила волнах фарфоровый цилиндр с отвинчивающейся крышкой. Крышку отвинтили. Из цилиндра выпал листок плотной желтой бумаги, на котором красной тушью и отличным почерком было начертано: «Взяли у вас займы без отдачи парочку миллиардов тонн соленой водички с рыбой, медузами и прочим добром, всю выплеснули за ненадобностью на ваше Солнце. Не благодарим, прощенья не просим. Великий Спрут, Искусник Крэг, Конопатая Сколопендра».

Ого! На этот раз Генеральный дежурный не стал трясти головой, а нахмурился и попросил Арктическое судоходство немедленно доставить странный документ к нему в штаб. Затем он доложил о событиях председателю Комиссии по чрезвычайным происшествиям. Тот выслушал, вник и произнес:

— Сейчас же вылетаю к вам с моим социологом. У нас здесь мед варится, но ничего не поделаешь, откладываем. А вы тем временем созовите к себе всех остальных членов моей Комиссии.

В 13 часов 56 минут, в тот момент, когда председатель Комиссии и его социолог вступили в кабинет Генерального дежурного, на стол перед дежурным лег пластиковый пакет, доставленный нуль-почтой. Дежурный, бормоча извинения, вскрыл пакет, и по кабинету разнесся легкий, но очень неприятный запах. Председатель Комиссии потянул носом и сказал:

— Керосин.

Генеральный дежурный тоже потянул носом и возразил:

— Мазут!

Социолог тоже потянул носом, но промолчал.

В пакете оказались два белых, захватанных измазанными пальцами конверта. На одном конверте было написано: «№ 1. Докладная во Всемирный совет». На другом значилось: «№ 2. Приложение».

Из докладной, подписанной неким Александром Кушнером, старшим хирургом плавучей ветеринарной лечебницы «Моби Дик», явствовало следующее. Сегодня, 15 июля, в 9 часов 15 минут по мировому времени, «Моби Дик» принял сигнал SOS с острова Черная Скала. Ему, старшему хирургу А. Кушнеру, было известно, что на северном берегу этого острова вот уже несколько столетий располагается лежбище довольно многочисленного семейства ушастых тюленей, во главе которого ныне стоял Филька Третий, внук известного интеллектуала Фильки Первого. Сигнал SOS мог подать только этот самый Филька Третий, ибо, по его, старшего хирурга А. Кушнера, вполне достоверным сведениям, никаких иных достаточно разумных обитателей на Черной Скале не имелось.

«Моби Дик» взял курс на Черную Скалу, выбросив перед собой на вертолете отряд «скорой помощи» во главе с ним, старшим хирургом А. Кушнером. Зрелище, представившееся глазам отряда, было ужасным. Весь северный берег Черной Скалы, а также километровую полосу примыкающего к нему водного зеркала покрывала густая черная масса, в которой по консистенции, радужному отливу и особенно по зловредному запаху нетрудно было опознать тяжелый мазут. Несчастные тюлени числом около пяти десятков голов, оглушенные и отравленные, слабо копошились в

этой отвратительной жиже или вообще уже не подавали признаков жизни. Фильку Третьего нашли мертвым в пещере у аварийного радиопередатчика. Престарелому тюленю залепило мазутом глаза и ноздри, мазут набился ему в зев, но перед смертью, движимый свирепым инстинктом охраны семейства, он нашел в себе силы добраться до педали, включающей сигнал SOS...

(Далее в докладной довольно подробно описывались меры, принятые отрядом «скорой помощи» до подхода «Моби Дика» и высадки чистильной команды, срочно вызванной из Советской Гавани.)

В разгар спасательных работ один из врачей заметил на обломке скалы, выступающем из мазутной массы, некий блестящий предмет. При ближайшем рассмотрении это оказалась бутылка зеленоватого стекла, предположительно из-под шампанского, запечатанная пробкой и коричневым сургучом. Вначале ей не придали значения («Стоит на камне бутылка, ну и что?»), но потом он, старший хирург А. Кушнер, случайно приблизившись, обнаружил, что она содержит в себе не жидкость, а свернутый в трубку лист бумаги. За бутылкой полезли, но в спешке уронили ее и разбили. К счастью, бумагу удалось подхватить до того, как она упала в мазут. Ознакомившись с ее содержанием, он, старший хирург А. Кушнер, сразу понял, что чудовищное происшествие на Черной Скале является следствием не роковой случайности и не безмозглой халатности, как он полагал вначале, а чьего-то преступного умысла и потому подлежит юрисдикции Всемирного совета. Бумага препровождается во Всемирный совет в конверте с надписью: «№ 2. Приложение».

Уже все члены Комиссии по чрезвычайным происшествиям собрались в кабинете, и Генеральный дежурный вложил «Приложение» в проектор. По экрану поползли неровные строки корявых, вкривь и вкось нарисованных по-печатному букв.

И вот что они прочли.

## УЛЬТИМАТУМ

Земляне!

Надеюсь, вы убедились в наших возможностях, и теперь пора вам узнать, чего нам от вас нужно.

Нужно же нам всего-навсего, чтобы выдали вы нам с головой, целыми и невредимыми, готовыми к незамедлительному использованию по назначению следующих личностей:

во-первых и главных, чудо-доктора Итай-итай, которого вы незаконно у нас захватили и употребляете в своих корыстных целях;

во-вторых и тоже главных, моего бывшего верного клеветы Мэеса, которого вы столь же незаконно пленили и томите в своих застенках;

в-третьих и не менее главных, вольного пирата Двуглавого Юла, каковой, состоя у нас на службе, предательски нас предал и ныне укрывается у вас в опасении справедливого возмездия.

*Примечание* . Буде вы, по свойственному вам злосердечию, уже расправились с упомянутыми Мээсом и Двуглавым Юлом даже и до смерти, мы готовы удовлетвориться выдачей одного лишь чудо-доктора Итай-итай с тем, однако же, чтобы головы упомянутых Мээса и

Двуглавого Юла были в доказательство нам представлены.

Выдаче надлежит свершиться сего года 20 июля ровно в 13.00 по вашему мировому времени на острове Черная Скала в том месте, где найден был вами сей Ультиматум. К указанному сроку вы оставите упомянутых личностей и/или доказательства (чудо-доктора Итай-итай целым и невредимым в любом случае) на указанном месте, сами же отойдите за пределы окружности радиусом в 30 миль, считая центром вершину острова.

В случае, ежели сей наш Ультиматум будет вами отвергнут, тогда пеняйте на себя, земляне. Конечно, времена изменились, и мы не можем теперь взорвать вашу ненавистную планету со всем ее кислородом, водой, хлорофиллом и красной кровью, как не можем уже, к сожалению, погасить ваше паршивое желтое солнце, однако же вспомните, что некогда комар заставил льва молить о пощаде. Ежели не будет вами исполнено все в точности по сему Ультиматуму, мы с 14 часов 30 минут 20 июля начнем пакостить вам по-настоящему. Мы будем пакостить вам так, как вы и сами не пакостили себе никогда в своей истории. Мы будем пакостить вам, пока не добьемся своего. Мы будем пакостить вам хоть сто ваших лет сряду (возможны, правда, небольшие перерывы) в любых точках вашей планеты и вашего околопланетного пространства, пакостить там и так, где и как сочтем для себя потешнее, а для вас — неприятнее. Так что лучше соглашайтесь сразу.

От имени Триумвирата — Великий Спрут.

## 2

Генеральный дежурный смотрел на членов Комиссии, а они смотрели на свои руки. Они все как один положили руки на край стола. Вместе с председателем их было семеро: четверо мужчин (педагог, социолог, ассенизатор и звездолетчик) и три женщины (кибернетик, психолог, врач). Старшему было за восемьдесят, младшей не было тридцати. Генеральный дежурный вспомнил, как кто-то из Палаты Старейшин назвал их в шутку самыми нервными в мире человеками. Вероятно, имелась в виду их необычайная чуткость на социальную угрозу. Впрочем, все они были из тех немногих в новейшие времена, из тех всего нескольких десятков тысяч, кому хоть раз в жизни привелось пережить смертельную опасность. И вот они сидели за круглым столом в кабинете Генерального дежурного на шестнадцатом этаже Дворца Совета, а на столе перед ними были серебряная пластина с разбитого субоптического модуля, пергамент из полярного водоворота и пованивающий мазутом тетрадный листок с острова Черная Скала.

— Есть во всем этом некий нездоровый идиотизм, — задумчиво произнес председатель.

— Ощущается, — согласился звездолетчик.

— Еще как! — сказала врачиха.

— Заговор роботов, — меланхолически предположил социолог. — Достукались наши мастера.

— Правильно! — оживилась кибернетичка. — И для маскировки заменили себе



серийные номера зловещими кличками! Как это звучит — Конопатая Сколопендра! Я бы сама от такой клички не отказалась...

— В твоём возрасте, Алиса, неприлично напрашиваться на комплименты, — сварливо заметила врачиха. — И вообще это чепуха — роботы... При чем здесь ваши роботы? Это просто шуточки наших шизофреников, вот что это такое!

— У вас есть шизофреники, Магда? — с интересом осведомился председатель.

— У нас есть шизофреники, — с ударением сказала врачиха. — У нас с вами, Петр. Разумеется, они нетипичны, но изредка еще встречаются... Как ваши отстающие ученики...

— Наши отстающие ученики, — с ударением сказал председатель. — Наши с вами...

— Хамье паршивое, — сказал вдруг социолог. — Пишут так, будто на планете каждому сопляку известно, кто они такие — эти Великие Спруты, Сколопендры, Мээсы...

— А ведь это действительно интересно, — оживилась психологичка. — Бог с ней, со Сколопендрой, но чудо-доктора, например, нам следовало бы знать... Как там его? Итай Катай?

— Итай-итай, — поправил ее председатель. — На старояпонском это означает что-то вроде «ой, больно»...

— Чудо-доктор Айболит! — осенило звездолетчика.

— Я же говорю — шизофреники, — сварливо сказала врачиха.

— Искусник Крэг, — продолжал звездолетчик раздумчиво. — Я знаю одного Крэга. Джон Крэг, живет в Сестрорецке. Отличный мужик, повар... действительно искусник... Но нет, это не он. Великий Спрут, гм... Насколько мне известно, есть некий Великий Кальмар. Проживает в Бугенвильской яме, жрет синтетическую тушенку, никого не трогает... даже с китами не дерется...

— Костя! — с упреком произнес председатель, и звездолетчик умолк, украдкой подмигнув захихикавшей психологичке.

— Во всей ерунде, которую вы здесь нагородили, — сказал социолог, — есть одна здравая идея...

— Две, — сказал ассенизатор.

— Три! — объявила врачиха.

— Назовите вторую и третью, — предложил социолог, — а потом я изложу первую.

— Вторая идея очевидна до банальности, — сказал ассенизатор. — Кто бы они ни были, эти негодяи, они не люди или к людям себя не причисляют и совершенно лишены чувства социальной ответственности, а потому необычайно опасны.

— Третья идея состоит в том, — сказала психологичка, — что они почему-то уверены, будто мы прекрасно их знаем. Первая же идея...

— Первая почти совпадает с твоей третьей, — сказал социолог. — А именно: где-то, когда-то и как-то человечество с ними уже сталкивалось и задало им здоровую

трепку.

— С чего и надо было начинать, — пробормотал ассенизатор, поднялся и направился к терминалу Большой Информационной Машины.

— Попытка, конечно, не пытка, — сказал с сомнением в голосе председатель.

— Так чем же мы располагаем? — проговорила врачиха, рассеянно следя, как изящные пальцы ассенизатора бесшумно скачут по клавиатуре на пульте терминала. — Что у нас есть, кроме общего ощущения огромной опасности, нависшей над человечеством? Попробуем подвести первые итоги. Кто начнет?

— Попробую я, — сказал социолог. — Где-то поблизости скрывается анонимная пока банда негодяев, беспринципных и аморальных мерзавцев-нелюдей. Банда эта угрожает Земле и околоземному пространству. На наши дальние базы и колонии они не покушаются, может быть, потому, что у них нет для этого технических возможностей. Вообще, они не в состоянии наносить мощные удары, а способны только пакостить. Далее. Где-то, когда-то и как-то мы уже с ними сталкивались, нанесли им чувствительный удар и при этом захватили у них трех, как они выражаются, личностей. Кто они такие, этот чудо-доктор, этот бывший клеверт и этот двухголовый?..

— Двуглавый, — поправил председатель. — Двуглавый, Александр, а не двухголовый... — Он вдруг замолчал и схватился за нос. Все с интересом воззрились на него. Он сморщился и помотал головой с досадой. — Эх, промелькнуло что-то в памяти и исчезло... Ладно, потом, может быть, вспомнится... Прости, Александр. Продолжай, пожалуйста...

Социолог кивнул:

— Продолжаю. Эти личности находятся на Земле, в наших руках, но нам они почему-то неизвестны. И это очень странно, ибо по крайней мере одна из этих личностей представляет, очевидно, огромную ценность, раз эти бандиты затеяли из-за нее всю эту авантюру, пошли на явный риск снова получить мощную взбучку...

— Добрый доктор Айболит, — пробормотал, не оборачиваясь, ассенизатор.

— Да, добрый доктор Айболит. Вы, разумеется, все поняли, что по-настоящему нашим негодьям нужен в целостности и сохранности только он один. Остальных они согласны получить и в разобранном виде...

— И они убеждены, — подхватила врачиха, — что нам, землянам, этот Итай-итай хорошо известен, что мы всюю употребляем его, как они выражаются, в своих корыстных целях...

Все согласно кивнули и помолчали.

— Вы закончили, Александр? — спросила врачиха. — Спасибо. Кто следующий?

— Давайте я, — сказал звездолетчик. — Посмотрим на это дело с точки зрения техники.

— Ага, техники! — оживилась кибернетичка. — Это все-таки не роботы, надеюсь?

— Конечно, не роботы, — сказала врачиха. — Петр недвусмысленно высказался насчет нездорового идиотизма. И я с ним вполне согласна.

— Вот именно, — сказал звездолетчик. — С этим нельзя не согласиться... на первый взгляд.

— На первый? — удивился социолог. — А на второй?

— Давайте подойдем к делу вот с какой стороны, — произнес звездолетчик. — Космический модуль разгромлен зарядом тротила. Тюленье лежбище испакощено мазутом.

— Кстати, — проговорила врачиха, — что такое мазут?

— И заодно, — подхватила кибернетичка, — что такое тротил?

— Тротил — химическая взрывчатка, — объяснил звездолетчик. — Насколько я помню, широко применялся четверть тысячелетия назад. Сейчас его иногда используют при горных работах.

— Четверть тысячелетия назад... — задумчиво повторила кибернетичка. — А мазут?

Ассенизатор, не оборачиваясь от пульта, сказал:

— Было такое жидкое топливо. Тоже, кажется, лет триста назад... И знаете, друзья, в позапрошлом году я разбирал небольшой конфликтик в ксеноботаническом парке под Бомбеем. Тамошние юннаты домогались у администрации разрешения получить цистерну этого самого мазута...

— Зачем? — очень удивился председатель.

— Как удобрение для ганимедианских тюльпанов — есть такие цветочки на больших спутниках Юпитера.

Все снова помолчали, потом председатель сказал:

— Мы уклонились. Продолжай, Костя.

— Ну вот. Архаическая взрывчатка, давно забытое топливо. Пакость на околоземной орбите, пакость в океанских глубинах, пакость на безвестном островке, позорно жестокая и бессмысленная... Но каким способом совершены эти пакости? Нездоровый идиотизм... Может быть. Но вот мне видится в этом тонкий психологический расчет: запугать и запутать нас дикой комбинацией средств борьбы — поистине допотопных и новейших, нам неизвестных...

— Что ты имеешь в виду? — спросил, нахмурившись, социолог.

— Ну как же... Кстати, врут эти мерзавцы, что будто бы выплеснули нашу воду из Арктики на Солнце. Переброска через подпространство массы в два миллиарда тонн вызвала бы в нейтринном поле такое возмущение, что его бы даже у Тау Кита засекали... Да и какие мгновенные мощности здесь бы потребовались: триллионы гигаватт... Не может быть у этих подонков таких мощностей, иначе не стали бы они размениваться на мелкие пакости, а просто схлопнули бы для начала Луну или, скажем, Меркурий...

— Так, может быть, насчет арктической воды вообще вранье? — спросил социолог. — Никуда она не делась, а просто взбаламутили ее каким-то образом?

— Простите, — робко, но твердо вмешался Генеральный дежурный. — Есть сообщение из Службы околоземных космических станций. Согласно информации с

одного из геодезических спутников, в шесть часов три минуты мирового времени над южным отрогом хребта Ломоносова имело место падение уровня океана на три с половиной миллиметра. Через три минуты уровень восстановился... И еще: в этом районе буквально в те же секунды бесследно исчез подводный ультразвуковой маяк. Еще раз прошу прощения.

Он замолчал. Все внимательно смотрели на него, и он от смущения закашлялся.

— Спасибо, мой мальчик, — сказал председатель. — Это интересно.

— Та-та-та! — легкомысленно пропела кибернетичка. — Куда же могла деваться такая масса воды? Да еще за три минуты? Два миллиарда тонн воды, как я понимаю, это не струйка дыма, что тает вдруг в сиянье дня...

— В соседствующее пространство? — предположил председатель.

Звездолетчик покачал головой:

— Исключено. Тоже понадобились бы чудовищные мощности. Нет, здесь нечто другое, новенькое, гораздо более хитроумное... Вот это и производит впечатление: сочетание сверттехнологии с архаическими тротиловыми взрывами и с мазутным хулиганством. Последнее слово будет, конечно, за специалистами, но сейчас в качестве рабочей гипотезы предлагаю принять, что ящики с тротилом были засунуты в герметическую камеру на околоземной орбите тем же самым способом, каким была изъята масса воды из Ледовитого океана и каким была вывалена прорва мазута на берег Черной Скалы.

— А каким способом — ты представляешь себе? — осведомился социолог.

— Да, есть у меня кое-какие соображения, но...

— Да ты изложи, мы пойдем, — сказала врачиха.

Звездолетчик было заколебался, но тут же решительно заявил:

— Нет. Не стану я излагать. У меня для этого нет ни терминологии, ни образов. И потом, возможно, я ошибаюсь. Зачем же забивать вам головы?

— Правильно, — решил председатель. — Пусть специалисты объясняют. Костя, когда мы закончим, свяжись там... ну, сам знаешь с кем, в секретариате Академии...

— Есть! — торжествующе вскричал ассенизатор и развернулся с вращающимся креслом к товарищам. — Есть, ребята! Одного я нашел, сукиного сына!

### 3

Читателю, ознакомившемуся с первыми двумя частями нашей правдивой сказки, может показаться странным, что хорошо известные ему имена-клички, украсившие собой три провокационных послания, решительно ничего не говорили столь компетентным землянам, как члены Комиссии при Всемирном совете. Еще более странным может показаться ему, что даже могущественная Большая Информационная Машина планеты — и та явно затруднилась, выискивая эти имена в своей бездонной памяти. А между тем все объясняется весьма просто.

Во-первых, со времени разгрома пиратско-промышленного комплекса на Планете Негодяев прошло около двух десятков лет. Разумеется, освободительный поход Объединенной Космической Эскадры навсегда остался в анналах наиболее славных

деяний человечества, но уже только в узкоспециальных источниках упоминалось о диверсии тройки мушкетеров, возглавляемой флагманом Макомбером, и даже эти узкоспециальные источники лишь вскользь, не называя никаких имен, сообщали, что главарям пиратов удалось скрыться в неизвестном направлении. Да и как могло быть иначе в эти времена, полные великих и странных чудес? Достаточно вспомнить колоссальное предприятие по спасению биологии в системе Гаммы Южной Короны! А создание Теневых Городов в экзосфере Солнца? А прорыв в царство соседствующих пространств? До Великих ли Спрутов, до Конопатых ли Сколопендр было миллионам и миллиардам веселых, дерзких, целеустремленных энтузиастов?

Во-вторых, как бы ни была велика симпатия автора к своим героям, все же справедливость требует признать, что по характерам и творческим способностям они ничем не выделялись среди своих современников, были, прямо скажем, людьми рядовыми, и все их чувства, помыслы и поступки в любых критических обстоятельствах всегда оказывались вполне типическими для огромного большинства. И странно было бы ожидать, будто в их мире, где забота о родной планете и гордость за родную цивилизацию стали социальными инстинктами, кого-нибудь всерьез и надолго поразили бы их решительность и беспощадность в отражении атаки космических негодяев, оснащенных отвратительным контрактором. А как же иначе?

В-третьих, по вполне понятным причинам и по предложению осторожного флагмана Макомбера наши герои согласились нигде и никогда не упоминать о чудо-докторе Итай-итай, отдаленном потомке Портоса и Галины. (Мы говорим «по вполне понятным причинам», а имеем в виду причины, вполне понятные только тем из наших читателей, кто хорошо представляет себе, что такое так называемые парадоксы путешествия во времени. Им объяснять не нужно, а остальные пусть примут на веру, что причины эти вполне основательны.) Возвращение Портоса из экспедиции на Планету Негодяев живым и здоровым было воспринято его многочисленными друзьями и родственниками с восторгом, но без особого удивления, на что и рассчитывал флагман Макомбер. Да, так уж у них там повелось, что смерть друга воспринимается со сдержанным горем, а вот если случается воскрешение из мертвых, то все ликуют и радуются, но ни о чем не спрашивают: мало ли какие чудеса возможны в наше интересное время! Таким образом, и имя чудо-доктора осталось в густой тени.

Наконец, в-четвертых. Имена Двуглавого Юла, бывшего вольного пирата, и Мэсса, бывшего верного клеветы и исполнителя самых тонких поручений мерзопакостного Великого Спрута. Здесь следует отметить, что к началу XXIII века на Земле и в ее обширных колониях пребывало уже около миллиона инопланетян из всех краев обозримой Вселенной и даже из неведомых областей за ее краями: дипломаты, ученые, наблюдатели, стажеры, студенты, эмигранты, туристы, бродячие художники, артисты, поэты, служители религиозных культов, фантастические философы и прочая самая разношерстная публика, в том числе и военнопленные, которых невозможно было вернуть по домам, поскольку они отказывались сообщить или сами не знали, откуда они родом. Судьба некоторых довольно интересна и даже поучительна. Возьмем для примера бывший экипаж «Черной Пирайи». Если читатель помнит, они обосновались у нас на Марсе. Так вот, бывший радист Ка, белый в синюю крапинку ящер, удалился в пустыне в экологическую нишу, заполненную тамошними ленивыми песчаными крокодилами, чтобы проповедовать им передовые идеи труда и добра. Бывший

канонир Ки, огромная морская звезда с поразительной способностью к мимикрии, дважды без всякой видимой причины размножился простым делением, организовал коллективное хозяйство и скромно разводит декоративные кактусы для обмена на бройлеров. А бывший квартирмейстер Ку, обезьяна с диковинным ледяным метаболизмом, устроился на Деймос гидом-экспонатом, обслуживает школьные и инопланетные экскурсии, а в свободное время заполняет защечные мешки денатурированными алмазами, кое-где встречающимися на этой планетке.

Но это все между прочим. Мы надеялись показать, какая это была сложная задача — отыскать двух военнопленных инопланетян, затерявшихся, как ничтожные щепки, в бурном океане человеческой цивилизации начала XXIII века. Особенно если вспомнить, что один из них всего-навсего доставил четверть столетия назад какие-то неприятности ничем не примечательной юной девушке, а другой тоже четверть столетия назад холопствовал при космическом злодее местного значения.

И тем не менее отыскать обоих удалось. Правда, не сразу. И притом — по каналам информации, которые, вообще-то говоря, можно назвать необычными, если не причудливыми.

То обстоятельство, что искомым имен не оказалось в памяти Большой Информационной Машины, ассенизатора не смутило. Он был терпелив и настойчив, и, кроме того, у него за плечами был огромный опыт по разного рода поискам. Отключив память, он пустил Машину в свободный поиск по всем специальным архивам планеты. Прислушиваясь к разговору друзей у себя за спиной, он неотрывно глядел на пустое табло. Время от времени, как нам известно, он даже включался в этот разговор.

— ...Пусть специалисты объясняют, — говорил председатель. — Костя, когда мы закончим...

Именно в этот момент на табло вспыхнули буквы: «МЭЭС».

— ...свяжись там... — продолжал председатель, — ну, сам знаешь с кем, в секретариате Академии...

— Есть! — торжественно возопил ассенизатор и развернулся с вращающимся креслом лицом к товарищам. — Есть, ребята! Одного я нашел, сукиного сына!

И он снова повернулся лицом к пульту. Все вскочили с мест и сгрудились у него за спиной.

— Мээс... — словно не веря глазам своим, прочитал председатель. — Действительно ведь Мээс... Ай да Жозеф, нашел-таки! Вот что значит профессионал!

— Дальше, дальше! — нетерпеливо проговорила врачиха.

Ассенизатор ткнул пальцем в неприметную красную клавишу. Слово МЭЭС исчезло, на его месте появилось слово СКЛОЧНИК. Ассенизатор оскалился и снова ткнул в красную клавишу. Слово СКЛОЧНИК погасло, уступив место слову ПРОЩЕЛЬГА.

— Гм... — произнес председатель. — Все это, наверное, правильно, однако хотелось бы поподробнее...

Кибернетичка фыркнула. Ассенизатор, прошептав что-то энергичное, с силой ткнул в красную кнопку третий раз. Нечто вроде глубокого вздоха исторглось из недр машины, ПРОЩЕЛЬГА погас, и по табло справа налево побежали буквы и цифры.

АРХИВ СОВЕТА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЗОНЫ, СЕКТОР ПИСЕМ ТРУДЯЩИХСЯ. ГОД 2215/298. ВХ 113 ОТ 16.05. ОТПРАВИТЕЛЬ: МЛАДШИЙ СМОТРИТЕЛЬ САЙЫЛЫКСКОГО КОШАЧЬЕГО ЗАПОВЕДНИКА, ВРЕМЕННЫЙ ГРАЖДАНИН ЧЕЛОВЕЧЕСТВА МЭЭС. СОДЕРЖАНИЕ: ОБВИНЕНИЕ ГЛАВНОГО СМОТРИТЕЛЯ ЗАПОВЕДНИКА ДИКSONА КАРРА В КРАЖЕ В КРАЖЕ В КРАЖЕ КОШАЧЬЕГО КОРМА НА ПРЕДМЕТ КОРМЛЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ КОШКИ СИАМСКОЙ ПОРОДЫ. ВЕРДИКТ КОНФЛИКТНОЙ ТРОЙКИ СОВЕТА: ОСТАВИТЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ ЗА НЕЛЕПОСТЬЮ.

Пауза. Члены Комиссии переглядываются. Кибернетичка зажимает себе рот ладонью.

ГОД 2216/299. ВХ 006 ОТ 13.01. СОДЕРЖАНИЕ: ОБВИНЕНИЕ СТАРШЕГО СМОТРИТЕЛЯ ЗАПОВЕДНИКА ВАЛЕНТИНЫ СИЗОВОЙ В НАТРАВЛИВАНИИ КОШЕК ТРЕХЦВЕТНОЙ МАСТИ НА КОШЕК ЧЕРНОЙ МАСТИ С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ЧЕРНЫХ КОТОВ К ЕЕ СОБСТВЕННОЙ ТРЕХЦВЕТНОЙ КОШКЕ. ВЕРДИКТ КОНФЛИКТНОЙ ТРОЙКИ: ОСТАВИТЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ ЗА ГЛУПОСТЬЮ.

Пауза. Кибернетичка рыдает. Председатель укоризненно говорит ассенизатору:

— Ну, Жозеф, всего от тебя ожидал...

— А я тут при чем? — огрызается ассенизатор. Вид у него опарашенный. Как, впрочем, и у остальных.

— Еще не конец... — тихонько произносит психологичка.

ВХ 037 ОТ 23.03. СОДЕРЖАНИЕ: ЖАЛОБА НА МЛАДШЕГО СМОТРИТЕЛЯ ЗАПОВЕДНИКА ИВАНА ВЫЛКУ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЕМ, ВЫРАЗИВШЕЕСЯ В БОЛЕЗНЕННОМ ДЕРГАНЬЕ ЗА ХОБОТ, В ЧУВСТВИТЕЛЬНОМ ТАСКАНЬЕ ЗА ШЕРСТЬ НА ХОЛКЕ И В ПИНКАХ ПО МЯСИСТЫМ ЧАСТЯМ ТЕЛА, СОПРОВОЖДАВШЕЕСЯ БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫМИ ОБВИНЕНИЯМИ ПУБЛИЧНО В СКЛОЧНИЧЕСТВЕ И В КЛЯЗУНИЧЕСТВЕ. ВЕРДИКТ КОНФЛИКТНОЙ ТРОЙКИ: МЛАДШЕГО СОТРУДНИКА ИВАНА ВЫЛКУ СТРОГО ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗА РАСПУСКАНИЕ РУК, НОГ И ЯЗЫКА; МЛАДШЕГО СОТРУДНИКА МЭЭСА СТРОГО ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗА МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКУЮ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ.

Пауза. Затем на табло вспыхивает надпись:

МАТЕРИАЛЫ ПО МЭЭСУ КОНЕЦ КОНЕЦ.

Так удалось ухватиться за кончик нити. Ассенизатор немедленно связался с киберкадровиком Сайылыкского заповедника, от него ниточка потянулась во Всемирное общество любителей кошек, дальше — больше, и уже через четверть часа из печатающего устройства терминала выпала на пульт справка, из которой явствовало, что

— до сентября 2203/287 года указанный Мээс занимал значительный пост в иерархии преступного пиратско-промышленного комплекса, базировавшегося на так называемой Планете Негодяев в системе двойной звезды в нижнем правом углу Малого Магелланова Облака;

— 21 сентября 2203/287 года в ходе освободительного похода Объединенной Космической Эскадры на Планету Негодяев указанный Мээс был захвачен в плен диверсионной группой флагмана Макомбера и доставлен на Землю;

— учитывая помощь, которую указанный Мээс, хотя бы и против своей воли, оказал диверсионной группе флагмана Макомбера в ее действиях по тылам противника, а также добровольность и ценность его показаний на следствии о преступлениях, совершенных пиратско-промышленным комплексом Планеты Негодяев, а также его чистосердечное раскаяние на Межпланетном Трибунале, ему, указанному Мээсу, предложили репатриироваться, однако он не только наотрез отказался сообщить координаты своей родной планеты, но и попросил на Земле убежища, мотивируя просьбу тем, что дома его непременно повесят;

— 11 мая 2204/288 года Юридическая комиссия Всемирного совета рассмотрела просьбу указанного Мээса о предоставлении ему статуса временного гражданина Человечества и приняла решение просьбу эту удовлетворить, как предписывает Законодательство, под личную ответственность трех поручителей, в данном случае — флагмана Макомбера, спортсмена Портоса и мастера Атоса;

— в июне 2205/289 года флагман Макомбер, заметивший к тому времени за Мээсом любовь к домашним животным, порекомендовал его Всемирному обществу любителей кошек...

Остальное понятно. К справке была приложена голография «указанного Мээса»: жутковатый мужчина с крыльями, как у летучей мыши, с длинным белым хоботом, с маленькими выпученными глазками под низким лобиком, похожий одновременно и на вставшего дыбом слона, и на пингвина в мохнатой шкуре сизого цвета.

— Уродец какой! — восхищенно воскликнула кибернетичка.

— Вот за этот хобот его и дергали, — заметила психологичка.

— Ну хорошо, — проговорил социолог. — Сообразим теперь, куда все это нас ведет...

— В Сайбылыкский кошачий заповедник, — сейчас же сказала врачиха.

— В архивы Межпланетного Трибунала, — сказал ассенизатор.

— Прежде всего, это ведет нас к флагману Макомберу! — сказал звездолетчик, подняв указательный палец.

— Вспомнил! — воскликнул вдруг председатель.

Все посмотрели на него.

— Насчет этого... двухголового... двуглавого... — пояснил он. — У меня есть правнук. Шустрый такой парнишка, Антоном зовут. Тринадцать лет. И между прочим, отчаянный любитель футбола. Сам в юниорской играет, в зональной сборной, ну и, разумеется, пристально следит, что в этом смысле вообще делается на свете. Знаете, как подростки...

— Знаем, знаем, не отвлекайся, — нетерпеливо сказал социолог.

— Вот что я вспомнил, — медленно произнес председатель. — Месяца два... нет, три месяца назад это было, в апреле... Рассказал мне Тошка, что Всемирная ассоциация любителей футбола рассматривала прелюбопытный казус. Вся беда в том, что слушал



я его вполслуха, сути не уловил, но речь шла об одном вратаре, из-за которого весь сыр-бор и возгорелся: считать его за одного игрока или за двух?

— Ну и что? Не тяни...

— Речь шла... Это я сейчас точно вспомнил. Точно. О двойном отбиве головой Двуглавого Юла!

Воцарилось молчание. Социолог схватил «ультиматум» и забежал глазами по строчкам. Звездолетчик произнес убежденно:

— Быть не может!

— За что купил, за то и продаю, — сказал председатель почти виновато. — Двойной отбив головой Двуглавого Юла. Сам себе не верю, а куда деваться?

— Если он такой известный, то почему о нем не знает Машина? — спросила врачиха.

— Он же любитель, — возразил социолог. — Их же сотни миллионов таких на планете, и двуглавых, и безглавых, и всяких...

— Ничего себе — компания! — желчно произнесла кибернетичка. — Болельщик-кошатник и любитель-футболист!

— А доктор Айболит — это какой-нибудь... этот... собиральщик древних трамвайных билетов! — подхватила врачиха.

— Слушайте! — произнес ассенизатор и хлопнул ладонью по пульта. — Давайте серьезно. Костя прав. Надо обратиться к флагману Макомберу.

#### 4

Мастер Атос и флагман Макомбер, свежие и усталые после пятикилометрового заплыва, сидели, развалившись в глубоких креслах, на веранде, пили горячий глинтвейн и вели неторопливую беседу. Оба были в просторных мохнатых халатах и домашних тапочках на босу ногу, вид собой являли ублаженный, и не было никаких оснований сомневаться в том, что они пребывают в полном согласии с собой, друг с другом и со Вселенной, в которой так интересно работать, драться, отдыхать и вообще жить.

Мягко сияло полуночное солнце, пологие черные волны некогда студеного, а ныне и навеки теплого океана с мягким шуршанием набегали на пологий галечный берег совсем рядом, рукой подать, сонно почикивали птицы в серебристых купах северных яблонь, обступавших с трех сторон старинную виллу, со стороны поселка доносились негромкие молодые голоса, приглушенная музыка и девичье хихиканье, и еще время от времени с океанских просторов накатывалось, словно бы гром гремел шепотом, утробное уханье и фыркание — это третьи сутки шли из Норвежского моря к богатым чукотским пастбищам необозримые стада гренландских китов.

«Беседа с другом не возвращает молодости». Так сказал некогда, хотя и совсем по другому поводу, но поразительно верно, один талантливый и грустный русский писатель. Почти двадцать лет не виделись Атос и флагман Макомбер, и теперь, беседуя тихо, они пытливо приглядывались друг к другу, силясь определить, что изменилось, что осталось прежним с тех времен, уже подернутых дымкой забвенья, когда они с оружием в руках, готовые в любой момент вступить в смертельный бой,

шли плечом к плечу мрачными катакомбами Планеты Негодяев. С тех пор в их жизни было у каждого столько событий и переживаний, но ведь это «плечом к плечу» из души не выкинешь!

Атос встретил старого соратника с чистой и бескорыстной радостью, и на душе у него было легко. Флагман же Макомбер явился к нему по делу, и потому было ему неловко, и Атос ощущал эту неловкость, и от этого было ему немного смешно и грустно.

В начале двадцать третьего века все еще считалось неприличным явиться к другу после двадцатилетней разлуки и прямо, с ходу объявить ему: «Старик, тут такая штука, мне поручили важное дело, и ты должен мне помочь». Поэтому флагман Макомбер не торопился.

Он рассказал о себе, как и чем он прожил эти годы, изложил малоизвестные подробности событий в Прозрачной Чересполосице, осады Куберонской базы, дискуссии проблемы Дальнего Проникновения, очень смешно обрисовал свою роль в фантастическом Белковом инциденте, шутливо пожаловался на женское засилье в своей семье («Шесть дочек, благородный Атос, вы представляете себе?») и, спросивши стило и бумагу, очень умело и выразительно изобразил своего приятеля, представителя разумной негуманоидной цивилизации, возросшей на далекой планете Кгхрм.

Атос слушал внимательно, с неподдельной жадностью, прерывал повествование нетерпеливыми вопросами... И что тут удивительного? Чудовищные потоки информации, захлестывающие мир Человека, давно уже приучили внимающих к сообщениям коротким, коротеньким, едва заметным, и хотя каждый сознавал, что за каждым таким сообщением кроется столпотворение судеб и идей, за душу хватало уже только поистине огромное, вселенское, значимое для самой истории, не меньше... И еще у каждого внимающего своя работа, которая представляется ему (совершенно справедливо) важной и необходимой для Коммуны, иначе ею и заниматься не стоит... И потому изустные рассказы очевидцев и участников стали восприниматься в двадцать третьем веке точно так, как, наверное, воспринимали на кухне провинциального феодала державинских времен побасенки забредшего на огонек солдата-инвалида, уволенного вчистую после очередной турецкой кампании...

А потом стал рассказывать о себе Атос, и настала очередь флагмана Макомбера жадно слушать, задавать нетерпеливые вопросы и мысленно хлопать себя по ляжкам... Расшифровка генетической памяти минералов; голографическая реконструкция пейзажей, которые всем своим объемом «наблюдает» метеорит в момент своего рождения; прогностика распределения масс и энергий в пятимерном пространстве-времени нашего Космоса... Это была миллионная часть всех технических (уже технических!) работ, которые велись изнемогающим от любопытства Человечеством, и откуда было простому солдату-звездолетчику знать об этих работах?

Потом они помолчали.

— Вы так и не женились, благородный Атос? — спросил флагман Макомбер.

— Нет, — ответил Атос, как отрезал.

— Ну, а что наши друзья? Что Галя? Что Портос?

Флагман Макомбер узнал, что Галя и Портос живут ныне в Бирме, в Шуэньяуне, потому что Галя занята там какой-то местной ботаникой, а Портосу безразлично, где спортсменствовать. Он ведет курс прыжков без парашюта в местном интернате, а также факультативный семинар по проникновению сквозь стены в Мьенджанском училище первопроходцев. Они породили троих сыновей, хорошие мальчики, все мастера. Атос ими доволен. Старший сейчас в Бандунгском проекте, какое-то крупное новшество в полевой кулинарии. Средний ушел под воду, тянет магмопровод в Южной Атлантике. А младший, Ваня, любимец Атоса...

— Он обещал стать отменным интраоптиком, проходил практику в моих мастерских и вдруг ушел в бродячие артисты...

— Вы огорчены, благородный Атос?

— Что вы, дорогой Макомбер! Я и сам в свое время...

— И я тоже, благородный Атос...

— Это были прекрасные времена...

— Да, замечательные... Я тогда полюбил.

— Я любил всегда...

Тут надо сделать небольшое отступление. Вездесущая статистика той эпохи показывает, что каждый десятый из ученых, каждый восьмой из мастеров и каждый пятый из спортсменов в дни своей молодости вдруг срывались с места и пускались в путь. Куда? А куда глаза глядят. По просторам планеты. По городам и весям. По материкам и океанам. Кто-то из тогдашних социопсихологов чрезвычайно неудачно назвал это явление «освобождением от первобытной энергии». Чушь! Это было самой жизнью, одной из форм существования разумных белковых конгломератов, именуемых Человеком.

Бродяжили, как правило, четными группами числом до шести-восьми человек. Возвращались к работе через несколько месяцев, часто семейными парами, а спустя лет десять снова... Но дело в другом.

В этих странствиях, видимо, давался выход артистическим способностям, заложенным в любой личности от рождения. Они пели, декламировали стихи, разыгрывали целые представления. Перед кем? Да перед кем угодно. Перед первым встречным, если он хотел их видеть и слушать. Часто они обходились вообще без зрителей и слушателей. Но больше всего им нравилось поражать воображение детей и подростков. И они это умели!

Разумеется, бесконечно далеко было им до актеров-профессионалов, до этих поистине волшебных лицедеев, способных психологически жить в любом художественном образе, способных мгновенно вовлечь аудиторию в создаваемый ими иллюзорный мир, способных заставить зрителя в считанные минуты проживать целые эпохи... Но свое дело они умели. Они были так духовно близки своей всегда случайной юной аудитории, они так понимали ее влечения и ход ее мысли, что получалось у них без промаха и всегда к добру. И недаром в середине двадцать второго века Всемирный педагогический совет специальным постановлением признал несомненную доброкачественность этих самодеятельных трупп и навсегда одобрил их веселую деятельность.

— Он сотворил труппу, — тихо улыбаясь, рассказывал Атос. — Назвал ее «Бременские музыканты». Была такая веселая музыкальная пьеска в далеком двадцатом веке, сотворена тогдашними властителями ребячьих душ — Ливановым, Энтиным и Гладковым, блестящими русаками, людьми талантливейшими... Ваня раскопал эту пьеску, слегка модернизировал ее... Огромный успех, особенно в Восточной Европе. Впрочем, и в Японии тоже. Они представляют под открытым небом... ну, это так им и положено. Сбегаются тысячи детишек из всех окрестных очагов и интернатов, можете себе представить? Музыка оригинальная, старинная, это производит особенное впечатление... и большинство стихов тоже. Архаично, не все понятно, однако в этом есть своя прелесть, поверьте...

Флагман Макомбер непроизвольно поднял брови. Да, несомненно, суровый Атос, немногословный Атос изменился. Вон как заговорил — страстно, проникновенно... Черные небеса Вселенной! Да у него же глаза блестят! Флагман Макомбер осторожно произнес:

— Да, это должно производить впечатление.

— Понимаете, дорогой Макомбер, каждый из нас по мере возможности служит детям. Но Ваня... Я утверждаю, он прирожденный интраоптик, но посмотрели бы вы на него, когда он выступает перед детьми!

Нет, этот незнакомый флагману Макомберу младший сын Гали и Портоса определенно ходит у Атоса в любимчиках. Флагману Макомберу стало совсем неловко, проявления таких пристрастий всегда были ему не по душе. Он попытался переменить тему:

— А кстати, благородный Атос, кого вы имеете в виду, когда говорите о детях?

Атос пожал плечами.

— Это же общеизвестно... Человеческие существа в возрасте до пятнадцати лет!

— Ха! В деле на Кубероне эти пятнадцатилетние били из лучевых карабинов и умирали рядом с нами...

— Ну и что же? Все равно это были дети, наши девочки и мальчики, и это была их беда и наша вина, что им пришлось там стрелять и умирать...

Можно было развить эту тему дальше, ветераны всех времен обожали почесать языки на подобные темы, но флагман Макомбер сдался.

— Сколько Ване лет? — спросил он.

Атос удивленно взглянул на него.

— Что вы, дорогой Макомбер! Ване восемнадцать, он уже вполне взрослый парень!

Тогда флагман Макомбер отпил из стакана глоток остывшего глинтвейна и тихонько произнес:

— Вы чем-то озабочены, Атос.

Атос устремил взгляд в черные океанские просторы.

— Как правило, Ванина труппа давала «Бременских музыкантов». Конечно, кое-что в пьесе Ваня изменил. Вместо Осла действует Конь, вместо Пса — Оранг, а Пес — вместо Кота, шайка Разбойников состоит из Подлой Сколопендры и Злобных

Тарантулов... Коня, между прочим, играет веселый молодой жеребец О Гого, обладатель превосходного баса, внучатый племянник профессора Ай Хохо... — помните профессора Ай Хохо, Макомбер? — он стажирется на Земле в институте народов Глубокого космоса... А Принцессу играет Тзана, юная девица с планеты Бангу, где изумрудные небеса, синие луны и горы, покрытые голубыми снегами. И она красавица, эта самая Тзана, с огромными зелеными глазищами, белой до сияния кожей, с легкими как пух и густыми как соболий мех пепельными волосами, но, конечно, уж не более красивая, чем любая красивая девица-землянка... У нее какой-то невероятный голос, специалисты прочат ей будущность великой певицы, а она вдруг сбежала из Московской консерватории в Ванину труппу...

Флагман Макомбер уже понял, в чем дело, но Атос закончил:

— Это не первый случай любви между детьми разумных рас, возникших на расстояниях в сотни парсеков друг от друга. Те, другие случаи, окончились катастрофой для влюбленных. Современное знание бессильно объяснить эти катастрофы. Теперь вы понимаете, чем я озабочен, дорогой Макомбер, и, с вашего разрешения, доволюсь об этом.

## 5

— А что подельывает достойный Арамис? — спросил флагман Макомбер.

— О, у Арамиса, как всегда, дел по горло, — ответил Атос. — Их там собралась в Аддис-Абебе мощная шайка из нескольких тысяч метакосмологов, проектируют использовать нашу бедную Солнечную систему в качестве этакой не то линзы, не то призмы для глубокого зондажа Мировых Объемов...

— Мировых Объемов? Это еще что такое?

— Затрудняюсь объяснить, дорогой Макомбер. Это их жаргон. Ничего общего с теми мирами и объемами, которыми занимаемся мы с вами. Знаю только, что Солнечной системы им оказалось недостаточно, и они намереваются подключить к своей затее еще и систему Альфы Центавра, летящей звезды Барнарда и что-то еще, сейчас уж и не упомяну...

— Что ж, — пробормотал флагман Макомбер. — Большому кораблю большое плаванье...

— Только не скажите это Арамису, — посоветовал Атос. — Он ведь считает себя рядовым ученым, и я, честно говоря, с этим почти согласен; у него есть свои боги — академик Гей-Коззак, профессор Ванькингартен, гроссмейстер Бумба из какого-то шарового скопления...

— Никогда о них не слыхал.

— Я тоже. Впрочем, профессор Ванькингартен прославился недавно скандальчиком, который он учинил во Всемирном совете по делам профессий...

— Ладно, бог с ними со всеми, — сказал флагман Макомбер, отметив, впрочем, про себя, что в случае надобности Арамиса можно будет без труда найти на Земле. — Ну, а про наше чудовище, наше пугало, нашего Двуглавого Юла вы ничего не знаете?

И он тут же поздравил себя с этим вопросом, потому что Атос весело расхохотался:

— Знаю, дорогой Макомбер, мне ли не знать? Да будет вам известно, что все эти

годы Двуглавый Юл жил и живет сейчас у меня, здесь под полом!

Флагман Макомбер только руками всплеснул.

Да, Двуглавый Юл вот уже семнадцатый год жил под фундаментом виллы Атоса в комфортабельной трехкомнатной конуре с йодистой ванной и с отоплением от подземных источников. Столь странный, с точки зрения землянина, выбор жилья он объяснил тысячью причин, из коих существенными были, пожалуй, только две. Во-первых, он через неопределенные промежутки времени впадал в спячку на недели и даже на месяцы, и тогда ему требовался абсолютный покой. Во-вторых, старый пират был по-прежнему склонен к обжорству и неумеренному потреблению ртутно-колчеданных коктейлей, в результате у него частенько расстраивалось что-то внутри, и тогда он неудержимо отрывивал густым сернистым газом, что, согласитесь, создавало бы для сожителей-землян вполне понятные неудобства.

В общем, он процветал, с успехом вел в соседнем поселке стрелковый кружок и даже два года посещал университет, хотя от сдачи курсовых работ и тем более экзаменов неизменно уклонялся. А в последнее время он бешено увлекся футболом и сейчас считается одним из лучших вратарей местной сборной. Особенно по душе ему пришелся футбол Микаловица.

— Чей футбол? — встрепенулся флагман Макомбер.

— Не чей, а какой. Спортивное новшество. Некий Микаловиц, тренер легендарной команды «Черноморец», выступил с теорией «футбол без ограничений». Согласно его правилам, вратари, например, взвалив ворота на плечи, могут носиться по всему полю, и в игре могут принимать участие зрители... правда, забитые ими мячи, кажется, не засчитываются...

— М-да, за всеми новшествами не уследишь...

Кстати, еще о любви между детьми различных рас в Космосе. Двуглавый Юл влюбился. Именно по этой причине, как он утверждает, нет у него никакой охоты возвращаться к себе на родную планету. Так это или не так — судить трудно, однако факт остается фактом: правая его голова, та, что одноглазая, влюблена в пожилую воспитательницу из соседнего детского сада, а левая без ума от одной инопланетянки, которую натурализовало у себя местное сообщество белых медведей. У амурологов этот казус вызвал радостный переполох, была даже написана диссертация, доказавшая на примере Двуглавого Юла раз и навсегда, будто одухотворенная любовь возникает именно в мозгу, а никак не в сердце, но тут, на беду диссертанту, случайно всплыло наружу то обстоятельство, что у Юла сердце не одно, а целых три...

— Где он сейчас? — спросил флагман Макомбер.

— По-моему, на тренировке, — ответил Атос. — Хотите повидаться?

— Да, было бы интересно снова повидать старого негодяя. А что этот маленький... ну, как его... пушистый...

— Ятуркенженсирхив? Он умер. От старости. В позапрошлом году. Жил он у Гали с Портосом, они его баловали, он растолстел, заважничал, а потом вдруг как-то сразу поседел, сделался из белого тускло-рыжим, шерстка на нем поредела, сам весь ссохся, одни глаза остались... Велел позвать Двуглавого Юла и лежал до конца, держа его за палец. Напоследок попросил его спеть дразнилку:

Ятуркенженсирхивец!  
Тирьям-тирьям-тирьям!  
Ты маленький паршивец!  
Тирьям-тирьям-тирьям!

Выслушал, улыбнулся и умер. Двуглавый Юл рыдал в три ручья, бился головами о стену, насилу его уксусом отпоили...

Атос замолчал, и флагман Макомбер с изумлением увидел, как этот суровый, холодноватый человек отвернулся и вытер глаза обшлагом мохнатого халата.

Бледное солнце давно уже прошло шалоник и стало отлого подниматься к востоку, посинел океан, унялись и улеглись волны, и птицы затихли, и зябким предутренним ветерком потянуло на веранду. Бесшумный робот вновь наполнил стаканы горячим глинтвейном.

Флагман Макомбер подумал, что ведь еще и трети суток не прошло с того часа, когда он угощался ледяным малинадом в одном из приемных холлов Дворца Совета, все еще не пережив потрясения от беседы, которая вдруг так внезапно возвратила его к событиям многолетней давности. Облаченный в свою потертую, но, как всегда, аккуратно вычищенную и выглаженную, черную с серебром форму Космического флота, сидел он в кресле очень прямо, изредка отхлебывал из запотевшего стакана и ждал. И самый проницательный наблюдатель не заметил бы ни малейших признаков потрясения на его узком костистом лице, покрытом серо-коричневым загаром.

Затем дверь наконец распахнулась, и в холл, слегка отдуваясь, вошел председатель. Он опустился в кресло напротив флагмана Макомбера, знаком приказал роботу принести прохладительного и заговорил.

— Флагман Макомбер! — сказал он. — Экстренное совещание Комиссии по чрезвычайным происшествиям закончилось. От лица Комиссии выражаю вам глубокую признательность за сообщенные вами сведения. Они пролили свет на многое и прекрасно дополнили информацию, полученную нами из архивов Межпланетного Трибунала и Космического флота.

Далее. Считаю своим долгом поставить вас в известность о том, что в Комиссии имела место дискуссия. Нам неизвестно, откуда ведется нападение. Нам неизвестно даже, каким способом оно ведется. Наконец, нам неизвестно в точности, каким оружием располагает противник. Поэтому были высказаны крайние опасения. Залили мазутом лежбище тюленей на Черной Скале — почему бы им тогда в следующий раз не залить ипритом детские пляжи в Анапе? Взорвали тротилом космический модуль на околоземной орбите — почему бы в следующий раз не взорвать ядерной бомбой лунную базу «Циолковский»? И так далее. Было даже высказано предложение выдать противнику Двуглавого Юла и Мээса и объяснить ему, что доктор Итай-итай родится только через три столетия. Предложение это было, конечно, отвергнуто, как несовместимое с земной честью и капитулянтское. Земля не может пойти на поводу у шантажистов, к тому же есть все основания усомниться в том, что противник поверит правде о чудо-докторе. Вы следите за ходом рассуждений, флагман?

— Так точно, товарищ председатель, — отвечивал флагман Макомбер. — Слежу внимательно.

— Далее. Комиссия обратила внимание на следующие обстоятельства. Из

показаний Мэса на Межпланетном Трибунале стало известно, что в распоряжении этого паршивого паука, Искусника Крэга, имеется так называемый пеленгатор интеллекта, аппарат, позволяющий обнаруживать носителя разума в заданном объеме пространства. В свое время этот аппарат использовался пиратами для поиска и отлова разумных существ с последующим использованием их мозгов... ну, сами помните. Так вот, характерно, что все три сегодняшних удара бандиты нанесли там, где ни единого человека либо вообще не могло быть, либо не было в избранный для удара момент. Почему?

Флагман Макомбер позволил себе улыбнуться.

— Слона не задевай спящего, льва не задевай голодного, а землянина не задевай никогда, — пробормотал он.

— Вот именно! — сказал председатель. — Они нас боятся, флагман. Если бы не крайняя нужда в чудо-докторе, они никогда бы не осмелились сунуться к нам. Но нужда у них, видимо, смертельная, и тут уж, как говорится, как раз тот случай, когда неволя пуше охоты. В этом выводе Комиссия единодушна. Действительно, представьте себе, что вместе с двумя миллиардами тонн арктической воды попадает к ним, например, рейсовая субмарина, из этих подводных автобусов, что переправляют рабочие смены с материка на Подполюсную Базу и обратно... две сотни юнцов и юниц, которым черт не брат, а закон лишь папа с мамой да Всемирный совет... и Великий Спрут им: «Лапки вверх, деточки!» — а у деточек на борту, в моторном отсеке, полные канистры антипротонного горючего!

Уж кто-кто, а флагман Макомбер мог без всякого труда представить себе «деточек» в такой ситуации. Н-да, картина.

— Допустим, — продолжал председатель, — бандиты тоже располагают антимагией. Что ж, грянет ядерная схватка, исход которой весьма сомнителен... но и при любом исходе не видать Великому Спруту чудо-доктора как собственных ушей. Нет, на такое бандиты не пойдут никогда. И конечно же, прежде чем решиться на хулиганство в Арктике, они десять раз прочесали своим пеленгатором тамошние воды, пока не убедились, что не прихватят ничего, кроме рыб и медуз...

Далее. Продискутировав имеющуюся информацию, Комиссия сформулировала свои выводы следующим образом...

Тут председатель извлек из нагрудного кармана лист бумаги, вздел на нос старинные очки и стал читать:

— «Первое. Имеет место грубый шантаж со стороны внеземного противника, хорошо оснащенного технически, безнадежно отсталого психологически и решительно ничем не обремененного морально-этически.

Второе. Нашим слабым местом является отсутствие сведений о местоположении противника и о его способах ведения боевых действий.

Третье. Слабым местом противника является его крайняя нужда в чудо-докторе, послужившая единственной причиной всей авантюрной затеи.

Четвертое. Нет никакой необходимости объявлять всепланетную тревогу. Для ликвидации инцидента достаточно выделить одного человека с хорошим боевым опытом, наделив его от имени Всемирного совета полномочиями привлекать к



решению этой задачи любых добровольцев, любые источники информации, любые механические устройства и любые энергетические датчики, которые он сочтет нужным использовать». Вот так, милый флагман.

Председатель спрятал листок и снял очки.

— Вы уже догадались, флагман Макомбер, — строго сказал он, — что Комиссия по чрезвычайным происшествиям избрала своим уполномоченным для этого дела именно вас!

\* \* \*

Флагман Макомбер вздрогнул.

— Простите, благородный Атос, — произнес он виновато. — Вы что-то говорили?

Атос пристально смотрел на него.

— Дорогой Макомбер, — тихо сказал он. — Будем считать, что неофициальная часть нашей беседы закончена. Предлагаю перейти к деловой части. Чем могу вам служить?

Глухой утробный рык донесся с океана. Флагман Макомбер, напрягая зрение, всмотрелся в темную синеву под четкой линией горизонта. Там медленно вздымались в утренний воздух столбики снежно-белого пара: киты все шли и шли, и не было им конца.

— Благородный Атос, — проговорил флагман Макомбер. — Я обращаюсь к вам как уполномоченный Комиссии по чрезвычайным происшествиям. Прошу выслушать меня с наивозможным вниманием...

## 6

Не на шутку горячее солнце давно перевалило через стрик и отлого катилось к обеднику.

Утомленные деловой частью беседы и слегка подавленные навалившейся на них ответственностью, спали в саду, растянувшись в тени прямо на траве, Атос и флагман Макомбер. При этом Атосу снилась Тзана, девица с Бангу, у которой, впрочем, было почему-то Галино лицо, а флагман Макомбер видел во сне извивающегося в конвульсиях Великого Спрута, которого он, впрочем, наяву никогда не видел.

Двуглавый Юл сидел подле люка в свою конуру, из которой тянуло приятным холодком, чинил защелку обширного белого зонтика и рассеянно болтал с домашним роботом. Ему было без всяких объяснений приказано никуда не отлучаться, и он страдал от любопытства.

Передачик-автомат уже выслал на записывающее устройство личных секретарей-приемников Портоса и Арамиса краткое изложение событий, разработанный план действий и приглашение прибыть к Атосу к семнадцати по местному времени.

В Сайылыкский кошачий заповедник за младшим смотрителем, временным гражданином Человечества Мээсом был выслан аэрокар с приказом уполномоченного Комиссии по чрезвычайным происшествиям.

И случилось так, что как раз в это самое время в дом своих родителей в Шуэньяуне

(если читатель не знает, поясняем, что это почти в центре Бирманской коммуны) нагрянул Ваня со своей Принцессой Тзаной.

Вообще, надо сказать, нагрянывание было у Вани излюбленным способом появляться в заданном месте. Нагрянет, бывало, и поля на три километра в окружности оглашаются радостными голосами детишек, летит строгое педагогическое расписание, смеются и сердятся воспитатели. Нагрянет — и приветливый рев оглашает общежитие, звонко гремят шлепки по спине, летит распорядок дня, и девушки бегут смотреться в зеркало. Нагрянет — и восхищенно трубят слоны, беспокоятся близорукие носороги, тянут за кубиками рафинада длинные шеи газелеглазые жирафы, летит установленный порядок поведения посторонних в зверином царстве, и чернокожие атлеты-аспиранты сбегаются для веселого разговора с хорошим человеком.

Конечно, Ваня никогда не позволял себе нагрянуть, скажем, в заводской цех на ходу, в лабораторию во время эксперимента или в конференц-зал, когда там совещаются, или в санаторий, если там мертвый час: могли и по шее дать, и вообще Ваня был юноша воспитанный. Он отлично отдавал себе отчет в том, куда и когда можно нагрянуть и куда войти с достоинством, испрося предварительно разрешения, а куда проникнуть украдкой и присесть в уголку, чтобы не выгнали. Но домой, к отцу и маме, сам бог велел нагрянывать.

К его великому огорчению, дома никого не оказалось. Робот доложил, что мама Галя усвистала в Мандалай по своим ботаническим делам, а папа Портос уже вторые сутки демонстрирует искусство ночных прыжков без парашюта в далекой Боготе. Это было тем более неприятно, что Ваня именно в этот день решил представить родителям Тзану не только как партнершу по превосходному музыкальному поэтическому спектаклю «Бременские музыканты». Однако делать нечего. Ваня совсем уже решил было вызвать какого-нибудь воздушного одра и вернуться к своей труппе, которая в те дни развлекала детишек и пенсионеров в Инсбруке, когда взгляд его совершенно случайно упал на пульт секретаря-приемника на отцовском рабочем столе. Там с едва слышным попискиванием мерцал красный огонек: «Весьма срочно! Весьма серьезно! Весьма обязательно!»

— Посиди, Принцесса, — бросил он Тзане и ткнул пальцем в клавишу воспроизведения.

С каменным лицом (этот парень умел делать каменное, ничего не выражающее лицо) выслушал он изложение известных нам событий. Затем он прослушал план действий.

«Дорогой Портос! Ты уже сообразил, конечно, в чем состоит наш замысел. 20 июля в 13.00 по мировому времени противник ожидает обнаружить и взять на северном берегу Черной Скалы экстрадикционную группу. Таким образом, имеет место шанс вступить с противником в контакт, не дожидаясь результатов научной, технической и военной экспертизы. Мы намерены устроить Великому Спруту и его банде маленький сюрприз. Вместо чудо-доктора Итай-итай, подонка Мээса и разжиревшего Двуглавого Юла пойдет кто-нибудь из нас. Нечего и говорить, это смертельный риск. Но нам ли отступить? Я не счел себя вправе не поставить тебя в известность об этом деле. Ты бы никогда не простил меня. Обсуждение состава разведывательно-диверсионной группы состоится на моей вилле сегодня в 17.00 по моему времени. Жду тебя с Галей.

Флагман Макомбер тебе кланяется. Твой Атос. Постскриптом: ну а если мы все-таки сложим голову, так ведь за нами двинется вся Земля!»

Ваня дослушал до конца, посвистел мотивчик из Г. Гладкова и взглянул на Тзану. Ах, хороша она была в тот момент: свернулась калачиком в глубоком кресле Портоса, загорелая, чистенькая, в короткой юбочке и просторном жакете без рукавов. На его взгляд она ответила безмятежным взглядом огромных зеленых глаз.

— Если ты погибнешь, я умру, — сказала она.

Ваня пожал плечом.

— Как-нибудь, — произнес он. — Отец один раз уже погиб из-за этих мерзавцев. Не ему же идти... И потом: пуркуа па?

— Конечно! — согласилась она с улыбкой на нежных розовых губах. — Пуркуа па? Я всего-навсего сказала, что, если ты погибнешь, я умру. Подумаешь, большие дела... Не обращай внимания.

Ваня отвернулся и тронул пальцем клавишу. Запись стерлась. Он поколебался, оглядываясь, потом махнул рукой:

— Все. Попрощались. Пошли, Принцесса.

Она легко, как муха со стены, вылетела из кресла и оказалась возле него.

— Ваня! — прошептала она. — Мой Трубадур! У вас на Земле ведь это единственный вид собственности?

И час спустя они были на берегу Ледовитого океана.

Атос, Арамис и флагман Макомбер сидели на веранде за столом, тут же на перилах восседал Двуглавый Юл, весь, от обеих шей и до ступней, затянутый в трико цвета яичного желтка. Он яростно вращал своими тремя глазами и хрипло орал в две глотки, распространяя в свежем солоноватом воздухе сернистые испарения:

— Это я расцениваю как недоверие! Саботаж энтузиазма! Конечно, вы всякие такие и сякие флагманы-мушкетеры, мастера-ученые-химики-резинщики, мудрецы-благодетели, а я всего лишь любительский футболист, презренный вратарь, да еще двухголовый, сомнительный, несчастный изгнанник, пария, землянский пленник! Души у меня нет, совести нет, пистолетов нет, можно обижать и не оглядываться! А что у меня в груди все горит, двадцать ваших лет с Великим Спрутом поквитаться хочется — этого вы в ограниченной мудрости своей допустить не можете! Да они там как увидят вас без меня, гордого, готового, двухголового, они же вас сразу к стенке! Я же не на фук иду, я же понимаю, вы мне не верите, вам наплевать, что тогда великий доктор Итай-итай говорил, вы на это сморкнулись и забыли, так я же заложников оставляю, двух заложниц, которых вы все, вместе взятые, не стоите, соображаете? Поликсену Митрофановну из детского сада номер сто тридцать один и медведицу мою белопушистую, распрекрасную Алеоуолу, ей же цены нет, одного нутряного сала кило с пятнадцать, высшего качества! Знаю, унижаюсь я, оба лица теряю, но на коленях прошу: возьмите с собой! Дело ведь принципиальное! Я ведь и до Всемирного совета дойти могу, вы меня еще не знаете! Вы все думаете: футболист, да еще вратарь, а я ведь могу, я еще очень и очень могу!..

Он ревел, рычал, отрывивался, тыкал костлявым пальцем в собеседников и в пространство за пределами веранды, а Атос, Арамис и флагман Макомбер серьезно

слушали и кивали.

— Если уж на то пошло, так и не трусливее я вас, жизни для дела никогда не жалел, а что вы меня тогда взяли, так сила солону ломит...

Тут-то и раздалась в саду песня, хрипловатый мужской и звонкий девичий голоса:

Ничего на свете лучше не-ету,  
Чем бродить друзьям по белу све-ету!  
Тем, кто дружен, не страшны тревоги,  
Нам любые до#180;роги доро-оги...

Двуглавый Юл на полуслове захлопнул обе пасти, все повернулись лицом к саду, а из-под яблонь уже выходили, держась за руки, Ваня и Тзана с планеты Бангу.

— Привет, дядя Атос! — вскричал Ваня, поднимаясь на веранду. — Привет, дядя Арамис! Здорово живешь, старый Юл! А это флагман Макомбер, если не ошибаюсь? Здравствуйте, очень польщен!..

— Ты? — изумленно спросил Атос, подняв брови. — А где же отец?

— Я за него ! — со странной интонацией откликнулся Ваня.

Пораженные Атос, Арамис и флагман Макомбер переглянулись, а Двуглавый Юл, осклабясь обоими рядами щучьих зубов, лязгнул в костлявые ладони.

— Здравствуйте, дядя Атос, — серебряно прозвенела Тзана, делая книксен перед мастером.

Атос хмуρο кивнул.

— Здравствуйте, дядя Арамис!

— Здравствуй, киска, — рассеянно отозвался Арамис.

— Здравствуйте, флагман Макомбер!

Флагман Макомбер встал, очень серьезный и сосредоточенный, и наклонил голову.

— Рад сделать знакомство, мисс, — произнес он.

— Здравствуй, чудище, — сказала Тзана, повернувшись к Двуглавному Юлу.

Двуглавый Юл воссиял. Двуглавый Юл спрыгнул с перил и распахнул длани. Двуглавый Юл обнял Тзану за узкие плечи и поцеловал в лоб — сначала правой головой, затем левой. Двуглавый Юл сказал:

— Здравствуй вечно, звездочка! И чего ты такая тощая? И здоровенькая ведь, а вся тощая и субтильная. А я тебе куклу смастерил, уж подарю, в конуре она у меня... Ты как? Жизнью довольна? Ванька тебя не обижает? Если что, ты мне скажи, я ему... это самое... шею... общественное порицание... А?

И Двуглавый Юл, бывший лютый пират и многоразовый убийца, повернулся к Ване и игриво ткнул его в бок железным пальцем.

— Ты мне смотри насчет Тзаночки-то, слышишь? — проворковал он.

Неизвестно, чем бы закончилась эта трогательная сцена, но тут из-за деревьев появилась массивная слоново-пингвинья фигура, и наглый скрипучий басок проговорил:

— Это сюда меня вызывали? Я не ошибся?

Двуглавый Юл взглянул и выпучил глаза.

— Ба! — возопил он. — Старый хобот! Крылатый боров! И ты здесь? Явился, за сто лет не запылится! Ха, вся старая гопа в сборе! После стольких-то годочков...

— Помолчите, Юл, — строго произнес флагман Макомбер. Кажется, он первым вышел из психического ступора, вызванного появлением Вани и его подруги. — Помолчите и дайте возможность работать. — Он обратился к слонопингвину: — Да, Мээс, вас вызвали сюда. Вы не ошиблись. Поднимитесь на веранду.

Мээс, шурша концами перепончатых крыльев по доскам ступенек, опасно поднялся. Вид у него был такой, словно он в любую минуту ожидал оплеухи.

— Заявляю официально, — произнес он, безошибочно останавливаясь перед флагманом Макомбером и глядя свинячьими глазками поверх его головы. — Заявляю немедленно и официально. Мое обвинение директора заповедника в поощрении вверенного ему кошачьего контингента к распутному поведению является ошибочным. Признаю ошибку. Официально. Исключительно по причине усердия и рвения, а также недопущения. Готов понести заслуженный выговор.

— Во сволочь! — восхищенно произнес Двуглавый Юл.

Ваня взял Тзану за руку и отвел ее в угол веранды. Усадив девушку в соломенное кресло, он встал за ее спиной и устремил скучающий взгляд в океанские просторы.

— Мээс, — строго сказал флагман Макомбер, — нас не интересуют ваши мелкие гадости в Сайылыкском заповеднике. Хотя, движимый соображениями гуманности, свойственной каждому гражданину Человечества, должен вас предупредить, что когда-нибудь вам все-таки врежут по-настоящему. Терпение граждан Человечества велико, но не беспредельно.

— Хобот тебе оторвут, бурдюк злоуханный! — ликующе объявил Двуглавый Юл.

— Помолчите, Юл, — сердито сказал флагман Макомбер. — Так вот, Мээс, ваши дурацкие интриги здесь никого не интересуют, и вызвал я вас сюда не для этого.

— Я повергаю себя на ваш суд, флагман Макомбер, — смиренно проскрипел Мээс. — Уповаю же только на вашу справедливость.

Старый скот не выразил никакого удивления при виде людей, которых он так хорошо знал (всегда запоминаются люди, которые с пистолетом наготове ведут тебя по твоей же собственной хазе). Он сообразил, что бить и таскать за хобот здесь, пожалуй, не будут, и слегка успокоился. Впрочем, тут же выяснилось, что успокоился он рано.

— Вам представляется случай, — сказал флагман Макомбер, — оказать приютившему вас Человечеству большую услугу.

— Всегда готов! — сейчас же брякнул Мээс.

— Мы снаряжаем экспедицию в нынешнее логово Великого Спрута и предлагаем вам принять в ней участие.

На обширной сероватой физиономии Мээса явственно выступили пупырышки неодолимого ужаса, он стал медленно пятиться, пока не уперся кожистыми крыльями

в перила. Затем он поднял бледную четырехпалую руку и помахал ладонью перед глазами.

— Ни! За! Что! — проскрежетал он.

— Прекрасно, — удовлетворенно сказал флагман Макомбер. — Вы удовлетворены, Атос? Так. И вы, Арамис? Я тоже. Наш морально-этический долг выполнен. Констатирую, что присутствующий здесь временный гражданин Человечества Мээс категорически отказался принять участие в действиях против Великого Спрута.

— Ни в! Коем! Случае! — прошипел Мээс, словно при последнем издыхании.

— Мы поняли, — хладнокровно сказал флагман Макомбер. — Юл, окажите нам любезность, проводите Мээса к себе в конуру. Завтра утром мы отправим его обратно в этот его кошатник, и чтобы впредь духу его не было еще где-нибудь на этой планете!

Почти в полуобморочном состоянии, кланяясь и бормоча слова благодарности, Мээс стал сползать по ступенькам веранды. Двуглавый Юл последовал за ним, похохатывая и подгоняя его безболезненными пинками.

— Давай двигай, — приговаривала его левая голова. — Ползешь, как вошь по мокрому месту, колченогий хобот...

И вот, когда они скрылись за углом виллы, на середину веранды выступил Ваня.

— Как я понимаю, — ясным голосом произнес он, — здесь происходит военный совет. Издревле полагалось на военных советах первым выступать младшему. Что ж... Я не говорю о флагмане Макомбере, с которым мы видимся впервые, но все остальные, здесь присутствующие, знают меня давно и любят меня. Конечно, по-разному. Вы, дядя Атос. Вы, дядя Арамис. Ты, Принцесса. И временно удалившийся отсюда двухголовый Юлька, тетешкавший меня, когда я делал в пеленки...

— Кажется, я тоже люблю... — проворчал флагман Макомбер.

Ваня весело на него взглянул.

— Спасибо, дядя флагман. Так вот. Я все знаю — прочел вашу депешу папе. Я умею стрелять из восьми видов оружия, выжимаю левой рукой пятьдесят килограмм, могу пробыть под водой без маски четверть часа. Прошу об одном. Папе и маме ничего не сообщать, пока эта история не закончится. Предлагаю состав разведывательно-диверсионной группы: флагман Макомбер — командир, Двуглавый Юл и я. Лучше не придумаете.

Вот так.

Флагман Макомбер невольно кивнул.

Атос зажмурился.

Арамис невесело усмехнулся.

Эти люди никогда не поддавались страху за себя. И никогда не сомневались в мужестве ближних. Но...

— Как же Галя? — пробормотал Атос. — Как же Портос?

— Портосу было как раз восемнадцать, когда он таранил контрактор, — жестко сказал Арамис.

— Утверждаю, — произнес флагман Макомбер, уполномоченный Комиссии по чрезвычайным происшествиям.

И все, и с ними Ваня, встали. Никто не решился взглянуть на Тзану, сидевшую в углу в соломенном кресле. Она безмятежно улыбалась. Но как же не улыбались ее огромные зеленые глаза!

\* \* \*

Около полуночи Арамис бросил Атоса и флагмана Макомбера и, отдуваясь, выбрался на веранду. «Ежу же ясно, — устало-разъяренно бормотал он. — Элементарная деформация пространства-времени в складках дезплюзионных слоев при наложении параллельных пространств... В этом только солдаты да техники могут сомневаться...» И он, морщась, трогал кончиками пальцев висок, где пульсирующе ныло от непрерывного треска печатающих устройств, выдававших бесконечные ленты суждений крупнейших авторитетов из Академии наук, а также предложений руки и меча от бывших соратников флагмана Макомбера.

Мягко сияло на шалонике полночное солнце, с шелестом накатывались на галечный берег черные волны, сонно почирикивали птицы в ветвях северных яблонь... а вот гренландские киты уже прошли на восток, и прохладный ветер с океана не доносил ни звука.

Ваня сразу же, как только закончился военный совет, куда-то улетел. Знакомиться с научно-техническими ориентировками из Академии наук он отказался. «У меня свои источники информации, — загадочно сказал он. — Посмотрим, чьи вернее...» Поцеловал Тзану и исчез.

А Тзана стояла у перил веранды и смотрела в океан. Когда вошел Арамис и повалился в кресло у стола, уставленного местными яствами и всепланетными напитками, она не обернулась, но через минуту, не повернув головы, произнесла:

— Дядя Арамис, ведь у вас есть дети?

Арамис, сооружавший себе увесистый бутерброд из крабов, морской капусты и майонеза, задумчиво замер.

— Хм... — проворчал он. — Как тебе сказать... Что-то такое безусловно есть. Дома всегда толкуются какие-то сопляки и соплячки. Меня они любят, я их тоже...

Тзана, по-прежнему не оборачиваясь, проговорила:

— А вот у меня, может быть, никогда не будет детей.

Арамис не нашел что ответить. Впрочем, он и не искал.

Если бы кто-нибудь в эту ночь отошел от крыльца веранды на десяток шагов к югу, то, оказавшись над распахнутым люком в конуру Двуглавого Юла, услышал бы возбужденные голоса.

Двуглавый Юл не пожалел для старого врага царской водки, и Мээс был вдребезги пьян.

— Я жалок! — рыдал он, топорща крылья. — У меня нет Родины! Все они там взяли в хоботы оружие, а я сбежал!.. Сбежал, как последняя гадина! Предал всех! Ты меня понимаешь, Юл? Повесь меня! Повисну с удовольствием! За хобот!

Ему отвечал рокочущий баритон правой головы Двуглавого Юла:

— Дрыхни, скотина. Ложись и дрыхни. Ишь, развоевался, виселицу ему! Да кому ты нужен, слонопингвин недоделанный! Вонизи от тебя не оберешься — вешать тебя... Дрыхни, тебе говорят, а то сейчас по ушам!

## 7

Прекрасен и обычен на планете Земля и в ее окрестностях был день 20 июля 2222 года нашей эры, от начала же Великой Революции 305-го.

Прекрасен и обычен был этот день для всего Человечества — за исключением нескольких сотен граждан его, участвующих в операции «Контратака вовнутрь».

В полдень по мировому времени трое из них высадились с гидроплана на северном берегу острова Черная Скала. Пилот, всю дорогу молчавший, пожал на прощанье с хрустом три руки, а перед тем, как дать газ, вдруг проорал на весь Великий, или Тихий, океан:

— Если что с вами случится, пусть эта сволочь знает — мы разметаем чертовское гнездо, мы перероем все пространства и времена, но отыщем их притон, и тогда мы сожжем мерзавцев, так что и воронам нечего будет расклеивать!..

На это флагман Макомбер, быстренько оглядевшись, проворчал:

— Ну-ну, не надуйте так, не надо. Чтоб разметать и сжечь, кому ума не доставало?

Ваня изобразил на физиономии милую улыбку.

А Двуглавый Юл слегка задрожал в душе: он-то знал, что угроза пилота — ох, какая не пустая похвальба! Воображение у бывшего пирата было, прямо скажем, довольно тусклое, но и его достало на то, чтобы отчетливо представить себя на месте Великого Спрута, когда земляне... Двуглавый Юл снова слегка задрожал и постарался думать о приятном. При этом он машинально поправил черную повязку на правом глазу правой головы.

Гидроплан улетел, и они остались одни.

Собственно, что значит — одни? Позавчера случайно пролетавший над островом вертолет с опознавательными знаками Морветслужбы уронил по рассеянности на скалы и в прибрежные воды полторы тысячи бесцветных капелек величиной с булавочную головку, полторы тысячи нейтринных телепередатчиков, немедленно начавших неутомимые репортажи об острове и его ближних окрестностях на полторы тысячи экранов в штабе на шестнадцатом этаже Дворца Совета.

Необходимо было увидеть, *как это произойдет*.

А вообще-то говоря, подходящая гипотеза была выработана и признана наиболее полно отвечающей известным фактам. Современная наука уже утвердилась в представлении о Метакосмосе как о совокупности всех мыслимых и немыслимых пространственно-временных систем. Известны были пространства параллельные и перпендикулярные, пространства с прямым, обратным и ортогональным течением времени, вероятностные пространства с числом измерений большим и меньшим трех, пространства, замкнутые на себя, и пространства, разомкнутые в реальную бесконечность, и прочие головоломные, представляемые только математически квази-,



псевдо- и ээкосмосы, которые простому человеку, какому-нибудь художнику или артисту, не приведи бог пригрезить в час отдыха после слишком плотного обеда. А уж коли приснится такое простому художнику или артисту, то выскочит он из гамака или из покойного кресла, задыхаясь, отплеываясь, ошалело поводя налитыми очами... и побежит наш художник-артист, даже не причесавшись, к любимой своей жене или невесте и трясущимся голосом потребует, чтобы она поклялась ему немедленно, что никогда, никогда, никогда... а что «никогда», он и не выговорит, потому что и сам не знает...

В частности, разработана была гипотеза так называемой «матрешки пространств». Разработали ее давно, да так и забыли за совершенной непрактичностью, суть же ее заключалась в признании возможности системы пространственно-временных континуумов, вложенных друг в друга на манер известной древнерусской игрушки. Метрика этих вложенных друг в друга космосов строго скоррелирована известным постулатом, гласящим, что произведение мерности на темп течения времени есть всегда величина постоянная. Попросту говоря, ежели в каком-нибудь космосе, «вложенном» в наш Космос, длина волны излучения данного атома в миллион раз короче, чем у нас, то и время там бежит со скоростью, в миллион раз большей. Элементарные расчеты показали, что космосы большей или меньшей мерности, чем наш, менее стабильны, и теоретически не исключена возможность проделывать из них «дыры» или «воронки» в любую точку нашего пространства при весьма незначительных энергетических затратах. По мнению Арамиса, подкрепленному высказываниями мощных специалистов Земли и дружественных миров, такой хитроумной скотине, как Искусник Крэг, удалось создать устройство для хулиганских нападений на наш Космос изнутри. Итак, противник удрал с Планеты Негодяев вовсе не в систему безымянной нейтронной звезды... Нет, с этими гипотезами об иномерных вселенных можно голову потерять... Конечно же, бежали они в систему именно безымянной и именно нейтронной звезды, только не в нашем Космосе, а в одном из тех, что буквально у нас под ногами. Там ведь тоже вселенная на миллиарды световых лет, со своими галактиками и со своим разумом, только слегка менее стабильная, нежели наша... Там противник, конечно, съезжился, может быть, даже раз в десять, значит и время течет для него в десять раз быстрее. Старость не радость, вот тут-то и понадобился срочно чудо-доктор Итай-итай... Но это уже соображение несколько житейского, так сказать, порядка, а гипотеза не исключала, что тяготеющие массы в соседствующих «матрешках» как-то привязаны друг к другу, и тогда что же — внутри нашей Земли, на расстоянии мерного перехода тоже... планета?

Гипотеза эта получила подтверждение со стороны совершенно неожиданной. Как мы знаем, сразу после военного совета Ваня устремился к некоему своему источнику информации. А дело в том, что был ему известен и благополучно жил на свете вот уже шестое столетие некто Пупа, более известный широким культурным массам как литературный персонаж под именем Пузатый Пацюк.

Происхождение его было покрыто мраком неизвестности. Решительно никто не знал, был ли он человеком или реликтом тех диких культур, что процветали на нашей планете задолго до того, как первый питекантроп насадил волосатой лапой на дубину булыжник с дыркой, а затем сгинули по несущественным ныне причинам.

Насколько помнит себя Чудное Приднепровье, проживал Пупа всегда в одном и том же месте — сначала в пещере, затем в землянке, а с восемнадцатого века уже в

белой хате на правом берегу Ворсклы в десятке верст к северу от славной Полтавы; в грозные годы нашествий и гражданских смут уходил вместе с партизанами в леса; занимался знахарством в самом широком смысле этого слова, прочно стяжал себе репутацию знатока, панибрата и чуть ли не вождя так называемой нечистой силы, досуги же свои отдавал гастрономическим наслаждениям галушками в юшке из телятины и варениками со сметаной, а то и горилкой.

В описываемое время чисто выбеленная хата его с приусадебной бахчой и пчельником стояла в плотном окружении цельнометаллических клунь, и окрестные ребятишки, великие знатоки нейтринного моделизма, внепространственных двигателей и подводного спорта, постоянно лазали к нему за арбузами и дынями, а он делал вид, будто ничего не замечает, только фыркал в сивые висячие усы и учинял так, что арбузы и дыни у него не переводились.

Время от времени, помимо неслыханного аппетита, симпатий к детишкам и знахарских талантов, проявлял Пупа и способности другого рода. В наш век неслыханного расцвета позитивных наук и технологического прогресса, в наш сугубо рационалистический век нет-нет да и забрезжит ни с того ни с сего то у одного, то у другого смутная, туманная надежда на интуитивное знание, на кратчайший путь в поиске истины. И вот случалось, и даже по нескольку раз в год, что переступали порог Пацюковой хаты блестящие ученые и мастера из Москвы, из далекого Хошимина, из еще более далекого Макарова на Титане, являлись и с робкой поспешностью излагали лелеемую идею, заветный планчик, сердцем выношенный проектец, ожидая только ответа: выйдет затея или не выйдет. Странно это и пока совершенно необъяснимо, но только Пупа никогда не ошибался. Погладит, бывало, себя по гигантскому чреву и коротко буркнет: «Выйдет. Валяй». И обязательно выходило. Конечно, через большой труд, все равно через уйму усилий, но ведь всегда выходило, как хочешь, так и понимай! Но уж если Пупа изрекал: «Не дело. Брось», тогда уж все. Можешь всю жизнь биться, ничего у тебя не получится. Даже у маститых академиков бытовало выражение «сходил к Пупе» — это когда кто-нибудь из коллег, увлеченный искрометной мыслью, вдруг внезапно к ней охладевал и обращался к чему-нибудь совершенно иному.

Вот к этому-то Пупе, к Пузатому Пацюку, и направился Ваня после военного совета.

И все пошло по сценарию с кузнецом Вакулой, столь дивно выписанному века назад великим Гоголем.

Не без робости отворил Ваня дверь и тут же увидел Пупу, сидевшего на полу по-турецки перед стареньким магнитофоном, на крышке которого стояла миска с галушками. Эта миска стояла, как нарочно, наравне с его ртом. Склонив слегка голову к миске, он хлебал превосходный бульон, схватывая по временам зубами галушки. И видно, крепко он был занят галушками, потому что, казалось, не заметил прихода Вани.

— Я к вашей милости, товарищ Пацюк, — сказал Ваня, кланяясь и улыбаясь самой своей простодушной улыбкой.

Пупа поднял голову и снова склонился к галушкам.

— Объявились у нас злодеи, — сказал Ваня, — а где они, как до них достать, мы не

знаем...

Пупа взглянул и снова принялся за галушки. Ваня кашлянул.

— Всем известно, товарищ Пацюк, — произнес он, кланяясь снова, — что вы многое знаете из того, чего не знает никто. До злодеев же надо добраться поскорее, пока они новых черных дел не натворили... Скажите, как быть?

— Когда нужно злодеев, то и ступай к злодеям, — ответил Пупа, продолжая убирать галушки.

— Для того-то я и пришел к вам, — ответил Ваня, отвешивая новый поклон. — Кроме вас, думаю, никто на свете не знает к ним дороги...

Пупа ни слова не говорил и доедал остальные галушки.

— Сделайте милость, товарищ Пацюк, не откажите! — наступал Ваня. — Новую ли книжку, билетик на премьеру ли, на вернисаж, ну, марсианской бормотухи бутылочку, живого ледку с Тибета или иного прочего, в случае потребности... как обыкновенно между добрыми людьми водится... не поскупимся. Расскажите только, как, примерно сказать, попасть к злодеям в гнездо ихнее?

— Тому не нужно далеко ходить, у кого злодеи под ногами, — произнес равнодушно Пупа, не изменяя своего положения.

Ваня прищурился, соображая, затем снова уставился на Пупу. «Ну, еще словечко, еще словцо!» — безмолвно спрашивала его мина, а полуотверстый от напряжения рот готовился проглотить, как галушку, это жданное слово. Но Пупа молчал.

Тут заметил Ваня, что ни галушек, ни магнитофона перед ним не было, но вместо того на полу стояли две серебряные миски: одна была наполнена варениками с вишней, другая — сметаной. Мысли его и глаза невольно устремились на кушанье. «Посмотрим, — проговорил он сам себе, — как будет Пупа есть вареники. Наклониться слишком низко ему неловко, брюхо мешает, да и смысла нет — нужно вареник сперва обмакнуть в сметану...»

Только что успел он это подумать, как Пупа разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. И тут же вареник выплеснулся из миски, шлепнулся в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал Пупе в рот под сивые усы.

«Телекинез! Вот это мастер!» — подумал Ваня и тут же обнаружил, что и к нему в приоткрытый рот лезет обсметанный вареник, да такой отличный, смачный, благоухающий вишневой пеночкой. И съел Ваня этот вареник и облизнулся, и съел еще один, и еще один, и еще десяток, и тогда Пупа сказал, обтирая губы салфеткой:

— Ступай, Ванька. Я тебе все сказал. Злодеев искать не придется, сами придут. Ты только там не сдрейфь. Ступай.

Ваня поклонился в последний раз и опрометью выскочил из хаты.

Об этом вспомнилось ему теперь здесь, на Черной Скале, когда стоял он у самой кромки воды, засунув руки в глубокие карманы пятнистого десантного комбинезона, а еще вспомнились ему полные безнадежного отчаяния глаза Тзаны, когда прощались они на вилле Атоса, и мама с отцом, и еще столь многое сразу, что даже странно становится, право, сколько воспоминаний помещается в восемнадцатилетнем парне!

В трех шагах от Вани сидел на обломке скалы флагман Макомбер в такой же пятнистой форме, посвистывал сквозь зубы и думал безотчетно о том, что все еще пованивает здесь мазутом, а вспоминалась ему встреча час назад на гидропланной базе с человеком мужественного облика, который подошел к нему, стеснительно поздоровался и сказал:

— Флагман Макомбер, если не ошибаюсь?

— К вашим услугам.

— Вы меня не помните, конечно... Старик Саша я, Александр Кушнер, старший хирург «Моби Дика»...

— А! — сказал флагман Макомбер. — Это вы сообщили о несчастных тюленях...

— Да-да, я, однако не в этом дело... Мы с вами встретились однажды лет двадцать назад здесь неподалеку, у дядюшки Витемы...

— Ага, как же, как же... Дядюшка Витема, «Одинокий ландыш»... Отличный дядька, отличная индейка под гвоздичным соусом... Как он поживает?

— Не знаю, он уехал куда-то... — Старик Саша, он же Александр Кушнер, помялся немного, затем проговорил: — Скажите, флагман, вы не помните?.. Галя. Девушка такая была с нами в тот вечер у дядюшки Витемы... Вы ее потом не встречали?

Флагман Макомбер проницательно на него посмотрел.

— Встречал, — ответил он. — Даже неоднократно.

— Ну, и что она?.. Как она?..

— По-моему, неплохо. Работает. Замужем. Да вот ее сын стоит, он тоже в моей группе.

Старик Саша смутился. Старик Саша конфузливо улыбнулся. Он словно бы осознал, с какими пустяками пристаёт к человеку, уходящему сейчас в смертельное, может быть, дело. И он промямлил неловко:

— Значит... гм... вы идете... туда... гм...

— Значит, идем, — ответил серьезно флагман Макомбер.

— А вы их здорово ненавидите? — спросил вдруг Старик Саша.

Флагман Макомбер изумленно воззрился на него.

— Мой друг, — произнес он, беря Старика Сашу за пуговицу. — Усвойте одну важную вещь. И усвойте навсегда. Ненависть — это перегной страха. А я никогда никого и ничего не боялся. Они меня раздражают, это так. Но ненавидеть? Отщепенцев этих? Как бы не так!

Тогда он потрепал Старика Сашу по плечу, а теперь вспомнил о нем с рассеянным ощущением приязни.

Двуглавый же Юл развалился рядом на камнях, подперев левую голову могучей дланью. Был он в боевой своей черной одежде и черных перчатках, изготовленных неведомыми умельцами неведомых миров, только кобуры на поясе были у него пустые. Штаб объявил, что по весьма веским причинам морально-этического свойства

группа пойдет в дело без оружия. Этого Двуглавый Юл не хотел и не мог понять, но, во-первых, его не спрашивали, а во-вторых, как опытный вояка он прекрасно понимал другое. Оно конечно, куда как славно было бы ввалиться в логово Великого Спрута на какой-нибудь этакой машине, комбинации глубоководного танка и позитронного эмиттера, оснащенной вдобавок еще и силовой защитой, да ведь перед таким гостем подлец Крэг нипочем свои ворота не откроет — «дыру», «воронку» или что там у него... Про личное оружие и вообще думать не приходилось. Уж он-то хорошо знал холуев Великого Спрута; эти бандиты, полоумные и истеричные мерзавцы, при виде пистолета или даже простого охотничьего ножа и рта не дадут никому раскрыть, тут же примутся палить из автоматов и швырять бомбы...

Сейчас, прислушиваясь к плеску прибрежной волны, правая голова его размышляла о том, что не зря, ой как не зря вылечил его двадцать лет назад чудо-доктор Итай-итай от всех болезней, в том числе и от алкоголизма, но оставил то, что под черной повязкой на месте правого глаза. Левая же голова простодушно дивилась неисповедимым причудам судьбы: снова занесло его на этот неказистый остров, где он провел пленником без малого три года, привыкал к Земле и землянам, учился доброте и пониманию в обществе здешних тюленей... а их детей и внуков безжалостно и походя утопили в мазуте... а какой прекрасный народец был...

Двуглавый Юл посмотрел на Ваню, и вдруг тоска и ярость охватили его. «Ну, Ваньку я им на муки не отдам! — с лютой злобой подумал он. — Как там ни пойдут дела, а их сто ляжет и я сто первым, прежде чем они до Ваньки доберутся...»

Ваня стоял на берегу и напевал вполголоса:

Почетна  
И завидна наша роль,  
Да, наша роль, да, наша роль!  
Не может  
Без охранников король!  
Величество должны мы уберечь...

Час пробил.

Широкая багровая тень пала с синего неба на северный берег Черной Скалы, невидимый и неслышный вихрь подхватил наших троих героев и швырнул в бездну вместе с ключьями соленой океанской пены, охапкой высохших водорослей и десятком булыжников, отдающих мазутной вонью...

\* \* \*

Да, пробил 13-й час.

В зале на шестнадцатом этаже Дворца Совета погасли все полторы тысячи экранов нейтринных телеприемников.

Тонким звоном прозвучали на пультах сигналы с гравитационных пеленгаторов, и в трехмерной схеме окрестностей Черной Скалы возник красный шарик — проекция пятимерного устья «воронки», или «дыры», если угодно, открывшейся в наше пространство.

Снова зажглись экраны, но больше не было трех фигурок на каменистом берегу острова, их словно корова языком слизнула. Зато вынырнула из-за горизонта и

стремительно понеслась на зрителей серая, тускло отсвечивающая на солнце масса.

— «Георгий Гречко» пошел! — прошептал кто-то.

Да, это был межпространственный космоход «Георгий Гречко», стометровый уют, ошетиленный гравитонными пробойниками, с округлым чехлом биопарализатора на корме. В трехмерной схеме он возник в виде золотой звездочки, которая устремилась к красному шару и тут же с ним слилась, а на экранах он через секунду уже с неяркой вспышкой исчез на фоне синего неба — выскочил из нашего пространства в не успевший еще затянуться тоннель слабины от «воронки» между пространствами.

— Двадцать одна секунда, — бесстрастно доложил робот-оператор.

Это означало, что «Гречко» втиснулся в межпространственный переход через двадцать одну секунду после закрытия «воронки».

Снова погасли и сейчас же зажглись нейтринные экраны, но никто уже на них не смотрел. Все уставились на экран темпорального индикатора. От того, что он покажет, зависело многое.

И вот появилось число: 0,0002.

По залу пронесся долгий вздох. Кто-то шепотом выругался. Атос мертвой хваткой вцепился в руку Арамиса.

— Ай-яй-яй, как скверно! — проговорил председатель Комиссии по чрезвычайным происшествиям.

Две десятитысячных секунды! Всего на такое мизерное время открылась «дыра» в наше пространство. Но чтобы понять, почему это обстоятельство повергло зал во Дворце Совета в разочарование и растерянность, надлежит нам прибегнуть к арифметике.

Выше уже говорилось, что по теории «матрешки пространств» темп времени в иных пространствах должен быть либо выше, либо ниже, нежели в нашем. Некоторые обстоятельства, о которых здесь не стоит упоминать, заставляли предположить, что в нынешнем логове Великого Спрута время течет быстрее, чем у нас. Насколько быстрее? Вдесятеро? В сто раз? Никто этого не знал, но сто раз, триста раз — это был предел, допускавшийся самыми осторожными специалистами.

Что же оказалось на самом деле?

«Дыра» открылась на две десятитысячных секунды.

Даже если предположить, что машинерия Искусника Крэга работает столь же оперативно, как самые совершенные межпространственные аппараты землян, все равно противнику должно было понадобиться не менее десятка секунд *своего* времени, чтобы открыть «дыру», втащить к себе в облаке мазутной вони флагмана Макомбера, Ваню и Двуглавого Юла и снова закрыть «дыру». Но для нас этот десяток секунд продолжался всего две десятитысячных секунды! Почти всем организаторам операции «Контратака вовнутрь» под силу было решать в уме диффуры, а уж о простой арифметике и говорить было нечего.

Итак, время в пространстве противника текло быстрее, чем в нашем, в десятки тысяч раз!

Это было ужасно. Это было ужасное, вопиющее, именно фантастическое свинство со стороны теории вероятностей, теории «матрешки пространств» и любых теорий вообще, ибо отсюда неумолимо следовало: за те двадцать секунд, которые понадобились могучему космоходу «Гречко», чтобы добраться до устья «воронки», плюс за те секунды, которые понадобились ему, чтобы по гравитационным завихрениям протиснуться в пространство противника, там прошел не час-полтора, как планировалось, а многие сутки, может быть, и месяцы, и все это поистине бесконечное время наши герои сражались там... или, скажем уж откровенно, были там сражаемы без всякой поддержки.

Конечно, оставалась еще слабая надежда на благоразумие мерзавцев, на их страх перед возмездием, на извечную бандитскую склонность спасти свою шкуру за счет шкуры подельщика... и что ни говорите, а неуязвимый «Георгий Гречко» уже там...

Но надо было смотреть правде в глаза. Земля рискнула, и Земля проиграла первый раунд. Противник вел со счетом 1:0.

## 9

На самом же деле противник вел со счетом 2:0.

Замысел операции «Контратака вовнутрь» был прост как пареная репа. Тройка храбрецов сознательно подставлялась как наживка. Сглотив эту наживку, противник неизбежно оставлял след в пятимерном гравитационном поле. След этот в виде ламинарных осцилляций держался в межпространственных паузах неопределенно долго, и для гравитонных пробойников космохода «Георгий Гречко» он был все равно что валерьянка для кошачьего носа. По замыслу операции, «Гречко» должен был ворваться в пространство противника через час-полтора после захвата группы, и тогда уж разговор был бы другой — вплоть до мгновенного повержения всей органической и неорганической жизни в логове Великого Спрута в безболезненный, но глубокий сон на сколько понадобится. Эти самые час-полтора представлялись организаторам и исполнителям операции самым опасным, даже смертельно опасным этапом. Обнаружив, что чудо-доктором среди захваченных и не пахнет, осатаневшие бандиты могли их просто-напросто перебить на месте. Что ж, к этому земляне были готовы. Все-таки главной целью операции было обнаружить противника и полностью и навсегда его обезвредить. С точки зрения флагмана Макомбера, Вани и Двуглавого Юла, игра, безусловно, стоила свеч, остальные же ничего лучшего предложить не могли.

Впрочем, по мнению землян, имелся весьма жирный шанс на то, что противник поопасется делать сразу же резкие движения. Нормальный расчет на благоразумие мерзавцев, на их страх перед возмездием, на их готовность в любой момент спасти свою шкуру за счет шкуры соучастников. Флагман Макомбер рассчитывал так или иначе втянуть главарей в переговоры, убедить их в том, что на чудо-доктора надеяться не приходится, а надеяться следует исключительно на добрую волю Земли и на ее медицину, тоже, кстати, весьма неплохую, а для этого лучше всего, не теряя драгоценного времени, задрать конечности вверх и сдаться на неизреченную милость самой гуманной расы в обозримой Вселенной, и это было бы тем более разумно, что вот-вот следом за ним, флагманом Макомбером, и его друзьями придет некто, с кем уже не очень-то поразговариваешь...

Разумеется, и на таком пути могли возникнуть всевозможные оскорбления, вплоть до обмена оскорблениями действием, но это уже, как говорится, издержки смелого предприятия, а вообще-то шанс продержаться час-полтора у наших героев, несомненно, как они считали, был. Но!

Во-первых, как мы уже знаем, могучий космоход «Георгий Гречко» никак не мог появиться в пространстве противника ни через час, ни через полтора часа, и разведывательно-диверсионная группа флагмана Макомбера оказалась предоставлена самой себе на куда более значительное время.

Во-вторых, бандиты хотя и не перебили наших героев на месте, но и не дали им никаких шансов затеять переговоры.

Похождения группы в логове Великого Спрута будут описываться здесь главным образом со слов и с точки зрения Вани, сына Портоса, интраоптика и бродячего артиста. Причин тому несколько, кое-какие из них выяснятся в ходе повествования, но главная состоит в том, что именно из Ваниного рассказа, изобилующего деталями и эмоциями, составилось у нас наиболее яркое, наиболее красочное, наиболее отчетливое представление о событиях.

Прежде всего выяснилось, что даже хорошо закаленный человеческий организм совершенно не подготовлен к тому, чтобы его протаскивали сквозь уровни «матрешки пространств». Ужасные ощущения, которые испытывал при этом Ваня, описанию не поддаются. Однако во всех временах и во всех пространствах всему на свете приходит конец. Ваня почувствовал, что его перестали прокручивать на гигантской мясорубке, и ужасные ощущения его покинули, оставив после себя медленно гаснущие искры под зажмуренными веками, утихающий звон в ушах, сильный медный привкус во рту и зуд по всему телу от лица до пяток. В нос била гниловатая вонь болотных испарений.

— Готово! — проскрипел отвратительный голос. — Вот они, голубчики! А ну, мокрицыны дети, берись! Этого в «синий трфовый», этого в «черный бубновый», а этого, двухголового, ко мне в «особую», сама им займусь!

Ваня глаз разжмурить не успел, как вонючие мохнатые лапы подхватили его и поволокли куда-то. Он попытался было воспротивиться, но на его голову обрушился тяжелый мягкий удар, и он тут же обмяк.

Нет, никаких переговоров не получилось. Сразу по прибытии их растащили по разным помещениям и принялись допрашивать.

Ваня оказался в кубическом помещении размером примерно 3 x 3 x 3 метра со стенами из ржавых железных листов и с белым потолком, посередине которого красовалось изображение бубнового туза черного цвета. Два огромных тарантула, покрытых редкой щетиной по белесой шкуре, с ловкостью, свидетельствующей о богатой практике, мигом оплели Ваню по рукам и ногам липкой паутиной толщиной в мизинец и встали перед ним, угрожающе покачиваясь на растопыренных мохнатых лапах, злобно уставившись на него тусклыми пуговицами глаз — по шести на каждого.

Впрочем, это были всего лишь подручные, а главным там был гигантский богомол, совершенно заплесневелый от старости и шибко страдающий то ли от каких-то паразитов, то ли от какой-то кожной болезни. Плоскую хитиновую харю его между выпученными глазищами украшала зажившая трещина, ханжески сложенные перед



тощей грудью зазубренные руки-клешни были испачканы комковатыми потеками — должно быть, остатками завтрака. Или обеда. Словом, зрелище он собой являл отвратное, хуже, чем тарантулы.

С минуту он разглядывал Ваню, поворачивая башку справа налево и слева направо, затем проскрипел:

— Это ты. Я тебя узнал.

— Вы — меня? — удивился Ваня.

— Да. Не отпирайся. Это ты двадцать лет назад треснул меня острой между глаз. На Планете Негодяев.

— Помилуйте, — сказал Ваня. — Я никогда не был на Планете Негодяев.

— Посмотри на меня, — проскрипел богомол.

— Смотрю.

— Я — богомол Синда. Ужаснись.

— Пожалуйста, если вам так удобнее. Ужасаюсь.

— Правильно делаешь. Хвалю. У меня не врут. У меня говорят правду.

— Но я и говорю правду! Не я это!

— Верно. Это не ты. Потому что ты — доктор Итай-итай.

Ваня вытаращил глаза.

— Кто?

— Ты. Ты — доктор Итай-итай. Не отпирайся.

— Вы ошибаетесь, — проникновенно произнес Ваня. — Доктора Итай-итай вообще еще не...

— Ты не доктор Итай-итай?

— Нет же, говорю вам... Дело в том, что...

— Где доктор Итай-итай?

— Слушайте, гражданин Синда, я же говорю вам: доктор Итай-итай еще не родился! Он родится только через три столетия! Давайте я вам все объясню...

— Я не нуждаюсь в объяснениях. Кто из вас доктор Итай-итай?

— Тьфу, пропасть! — разозлился Ваня. — Что за бестолочь... Вы меня выслушать можете или нет?

— Ты меня утомил. Ты все время врешь. У меня говорят правду. Придется пытаться.

И Ваню принялись пытаться. Это было необычайно болезненно и тягостно и совершенно бессмысленно. Ах, недаром Мээс так ужаснулся, когда ему предложили принять участие в экспедиции! Пытали мясники сигуранце-дефензиво-гестапного толка, готовые зверски замучить хоть сотню носителей разума в расчете на то, что в агонии хоть одна из жертв выдаст нужную информацию. Никакие объяснения их не интересовали.

— Ты — доктор Итай-итай?

— Нет!

— Врешь. Говори правду. Где доктор Итай-итай?

— Не родился он еще, сказано вам!

— Врешь. Кто из вас доктор Итай-итай?

— Нет его среди нас!

— Врешь. Подверните ему нижние конечности. Ты — доктор Итай-итай?

Было больно. Было зверски больно. Хрустели кости, жутко пахло паленым мясом. Останавливалось время. Доколе? Где «Гречко»? Где наши? Бешено колотилось сердце, бешено звенела печень, вразнос пульсировала селезенка, гоня кровь, гормоны, антитела к ожогам, порезам, разможенным мышцам. Сквозь багровую муть, застилавшую сознание, Ваня думал: надо выдержать, я выдержу, а как там флагман, он ведь пожилой, он может умереть, не умирай, флагман, и ты, Юл, старый пират, держись, не погибни, а уж я-то выдержу...

— Ты — доктор Итай-итай?

— Заткнись, бестолочь, насекомое!

— Говори правду. Где доктор Итай-итай?

— Фига тебе, а не доктор Итай-итай!

— Прибавьте огоньку. Кто из вас доктор Итай-итай?

— Мало тебя треснули по морде, богомол, ханжа паршивая!

Время от времени в железный куб врвался еще кто-то, щелкал серповидными челюстями и отвратительно скрипел:

— А взбуктетьте его! А взъерепеньте его! Чтобы восчувствовал! Что это, Синда, да он у тебя даже не вспотел! Ух ты, мой болезный... Только смотри, Синда, чтоб не до смерти!..

Время остановилось, побежало вспять. Вот и Тзана, Принцесса: «Послушай, Трубадур, когда сцена с поцелуем, не надо так всерьез, ведь малыши смотрят!..» Отец: «Падать тоже нужно уметь. Иван, ты расслабься, ты не грохайся, а шлепайся!..» И дядя Атос... И дядя Арамис... Мама: «Ах ты мой Ванька-Зайка, возьми гребень, расчеши маме волосы, учись, Золотистик-Пушистик, будешь невесте волосы расчесывать...»

Так прошла набитая болью вечность, а на самом деле прошло трое суток, и пытка кончилась. Ваню развязали, и он мешком шлепнулся на железный пол. Над лицом его низко склонилась, поводя сизыми бельмами, уродливая ряха — на кончиках страшных серповидных челюстей дрожали мутные капли яда. Конопатая Сколопендра проскрежетала:

— Ух ты, пленничек-заложничек... Ух и поцеловала бы я тебя, красавчик, в бело личико!.. Ладно, живи пока. — И она скомандовала тарантулам: — В тюрьму его, в камеру к тем!

Ваню подхватили под бока и поволокли. Ноги его волочились по полу, голова не держалась, но он громко пел:

Говорят, мы бяки-буки,  
Как же  
Носит нас земля...

Это ему казалось, что пел он громко, а на самом-то деле шептал, еле шевеля распухшими губами. Его втащили в гулкое помещение, залязгало железо, его раскачали и швырнули, и он упал на заботливо подставленные руки.

— Ваня! — сипло воскликнула правая голова Двуглавого Юла.

— Ванечка! — прохрипела левая голова и всхлипнула. — Господи, флагман! Смотрите, он же седой весь! Ах, гады!

— Тихо, Юл, — пробормотал флагман Макомбер. — Осторожно, кладите сюда... Да тихо же вы!

Двуглавый Юл всхлипывал и ругался как помешанный. Ваня счастливо улыбнулся и провалился в бездонное забытие.

Он очнулся через 24 часа. За это время его молодой организм хорошо поработал над повреждениями, которые причинили ему палачи огнем и железом, а флагман Макомбер с помощью Двуглавого Юла вправил ему вывихнутые суставы. Здесь стоит упомянуть, что к описываемому времени каждого землянина едва ли не с грудного возраста вытенировали на самоисцеление, так что Ваня, очнувшись после глубокого сна, вновь был совершенно здоров, бодр и готов к новым переживаниям. Только так он теперь и остался до конца дней своих седым как лунь, да еще почерневшее, обтянутое лицо его напоминало о перенесенных страданиях.

Первое, что он ощутил после пробуждения, был лютый голод и не менее лютая жажда. Он наспех пожал руки флагману Макомберу и Двуглавному Юлу и весьма выразительно щелкнул зубами. Флагман немедленно придвинул к нему обширную пластмассовую кювету, наполненную с верхом каким-то сероватым крошевом, и помятое жестяное ведро. При ближайшем рассмотрении крошево оказалось смесью мелко нарубленной сушеной рыбы и лапши из сушеных медуз, в ведре же была мутная тепловатая вода. Ваня вопросительно взглянул. Флагман Макомбер объяснил, криво усмехаясь:

— Яство и питье от щедрот Великого Спрута. Полагаю, живность из арктической водички и сама водичка, слегка опресненная.

Ваня кивнул и принялся насыщаться. Яство по вкусу и консистенции напоминало изношенную резиновую подошву, но зубы у Вани были превосходные, а пресность угощения прекрасно компенсировалась соленостью арктической водички. Ваня грыз и молот с таким усердием и треском, что у Двуглавого Юла запищало за ушами, а флагман Макомбер стал невольно приговаривать: «Легче, Ванюша, не так усердно!..»

Когда кювета и ведро опустели, Ваня ковырнул ногтем мизинца между зубами и задумчиво произнес:

— Ничего была еда. Только луку мало...

Затем он впервые огляделся. Они находились в узкой и тесной клетке с низким каменным потолком, стенами из железных прутьев и с решетчатой же дверью, запертой снаружи на тяжелый амбарный замок. Под потолком на голом шнуре висела лампа, пыльная, но мощная, излучавшая не только много света, но и заметное тепло.

За железными прутьями стен справа и слева располагались такие же клетки, и шеренга таких же клеток видна была по ту сторону коридора, проходившего перед решетчатой дверью. И в каждой из этих клеток — и справа, и слева, и за коридором — Ваня, прикрывшись ладонью от света лампы, разглядел щетинистые бурые туши величиной с барана, задранные углами мохнатые лапы, россыпи больших, будто лошадиных, глаз. И они слабо шевелились, эти туши, издавали шипение и шорохи, невнятно переговаривались поскрипывающими голосами...

Флагман Макомбер крепко взял Ваню за локоть.

— Спокойно, юноша, — проговорил он. — Это спайдеры. Они тоже пленники, только им еще хуже, чем нам.

Ваня глубоко вздохнул и посмотрел на друзей.

— Флагман Макомбер, — сказал он, — Юл, старый пират. Мне очень хотелось бы знать, что произошло, каково наше положение и что нам надлежит предпринять.

## 10

Двуглавному Юлу исключительно повезло.

Конопатая Сколопендра, баба вздорная, мстительная и злопамятная, решила заняться им сама, и его поволокли к ней в «особую» пыточную камеру, оборудованную по последнему слову техники. Там была и циркулярная пила для грубого расчленения, и центробежный насос для закачивания во внутренности разных жидкостей, и металлический обруч переменного диаметра, оборудованный микрометрическим винтом, и ультразвуковой вибратор для максимально болезненного отделения эпидермиса, и лазерная установка для... тьфу, право, перечислять противно. Коротко говоря, технические приспособления у Конопатой Сколопендры были какие угодно, только выбирай.

Но эффективный выбор предполагал хотя бы минимальную осведомленность относительно наиболее уязвимых для боли участков организма пытаемого. Об организме же Двуглавого Юла старая ведьма не знала ничего. Особенно ставила ее в тупик двуглавость. Она задала прямой вопрос. Юл резонно ответил, что никогда не был и не будет себе врагом. «Дурак, — сказала Сколопендра. — А ежели я нажму тебе на что-нибудь не то и ты в одночасье загнешься?» Юл упорствовал. Тогда она кликнула взвод тарантулов и приказала им отыскать у Юла болевые точки силой. Произошла свалка. Двуглавному Юлу было не впервой иметь дело с тарантулами: в свое время он не раз дрался с тарантульими патрулями в портовых кабаках, озаренных кроваво-красным блеском Протуберы и мертвенно-синим сиянием Некриды. В свалке он откусил семь ног у трех тарантулов, но в конце концов его одолели и связали.

Однако Конопатая Сколопендра была уже вне себя от бешенства. Во время драки кто-то крепко лягнул ее в подбрюшье, и она начисто отказалась от намерения позабавиться с Двуглавым Юлом по всем правилам науки. «На пилу его!» — завизжала она, и Юла швырнули на платформу циркулярной пилы. Он совсем уже приготовился пустить в ход свой последний ресурс... гм-гм... сказать последнее прости своей прекрасной жизни, как вдруг в камеру ворвался жирный бас Великого Спрута.

Этот в высшей степени деловой носитель разума, неимоверно богатый мерзавец и бывший владыка Планеты Негодяев заговорил через динамик облупленного интеркома и начал с того, что обрушил на Конопатую Сколопендру град ругательств.

Выяснилось, что Конопатая Сколопендра — никуда не годный политик, растратчица хозяйского добра, бесполезная дармоедка, беспардонная авантюристка, неумеха, каких обозримая Вселенная не видывала, и вообще дура набитая. Сколопендра выслушала все это с должным смирением, а когда Великий Спрут задохнулся, смиренно спросила, чем это она прогневала батюшку. Видимо, смирение это несколько охладило делового носителя разума, и он перешел к конкретным обвинениям. Вот тут-то и началось самое интересное.

Двуглавый Юл лежал связанный в сантиметре от зубьев циркулярной пилы, тарантулы попрятались по углам, Конопатая Сколопендра в почтительной позе мотала хитиновым черепом перед интеркомом.

Во-первых. Как это прекрасно известно Сколопендре, более двадцати лет назад бывшему вольному пирату, а ныне предателю Двуглавному Юлу был в счет расходов на экспедицию за мозгами землян выдан аванс в размере ста миллионов, а также вверен в аренду контрактор стоимостью в сто пятьдесят миллионов. Таким образом, на упомянутом Двуглавым Юле, бывшем вольном пирате, а ныне предателе, висит должок на сумму в двести пятьдесят миллионов. Он, Великий Спрут, готов с полным пониманием отнестись к садистским увлечениям Конопатой Сколопендры, но с кого он тогда эти двести пятьдесят миллионов получит? Совершенно очевидно, что Двуглавый Юл, распиленный циркулярной пилой на произвольное число обрезков, станет неплатежеспособным, и тогда ему, Великому Спруту, останется только взыскивать сумму долга с нее, Конопатой Сколопендры, а это дело совершенно бесперспективное, ибо всем известно, что она, ядовитая карга, не имеет за душой ни полушки, поскольку все свое огромное жалованье пропивает начисто. Именно поэтому он, Великий Спрут, категорически запрещает учинять должнику Двуглавному Юлу какие-либо членовредительства впредь до выплаты последним начисленного на него долга.

Во-вторых. Если все же окажется, что ни один из захваченных землян, этих неразличимых штуквин размером с тележное колесо и с хвостами вместо всего прочего, не является чудо-доктором Итай-итай, все равно всех пленных с Черной Скалы ни в коем случае нельзя доводить до смертного конца, ибо для реального политика они представляют собой клад поистине неоценимый. Даже такой ядовитой дуре, как она, Конопатая Сколопендра, должно быть ясно, что в самом крайнем случае их можно использовать как заложников либо как обменный фонд, а при удаче и вообще перетянуть на свою сторону, прельстив богатым вознаграждением и прочими благами, и уж тогда ему, Великому Спруту, вся их планетка с кислородом, хлорофиллом, водой и красной кровью будет морем по колено, и вернется, может быть, славное старое время вселенского бизнеса.

Одним словом, ей, патентованной задрыге Сколопендре, надлежит оставить Двуглавого Юла в покое и переправить его в тюрьму и непременно проследить, чтобы ее мясники не перестарались, усердствуя над остальными двумя пленниками...

— Вот так, Ваня, — заключил свой рассказ Двуглавый Юл. — Надавали мне тумачков по чавкам, развязали и поместили сюда.

Рассказывал он обстоятельно, смакуя подробности, то и дело похихатывая и возбужденно блестя тремя своими глазами. По лицу флагмана Макомбера было видно, что историю эту он слушает по крайней мере в четвертый раз, но рассказчика он не

прерывал и не торопил — должно быть, понимал, в каком нервном напряжении пребывает их двухголовый друг, и считал полезным позволить ему эту маленькую разрядку.

Когда же настала его очередь, он очень коротко сообщил, что допрашивало его какое-то существо, похожее на чудовищно разросшуюся актинию, а начало оно с того, что приказало своим тарантулам повесить его за ноги. В таком положении он пробыл почти сутки, но палачи не знали, что он опытный космолетчик и способен переносить такие положения хотя бы и месяцами. Сначала от него добивались признания, что он и есть чудо-доктор Итай-итай, а затем словно бы начисто забыли об этом и все время бились об заклад, сколько он так провисит, пока не сдохнет. Затем явилась Конопатая Сколопендра в сопровождении двух молодых богомоллов, они выбили актинию из камеры палками и спустили флагмана Макомбера на пол. Сколопендра сама допрашивала его, упирая на то, что признание ничем ему не грозит, была очень любезна и ограничилась тем, что вырвала у него два ногтя на левой руке. После этого его препроводили в тюрьму и посадили вместе с Юлом.

Совсем уже коротко рассказал о своих переживаниях Ваня. Когда он закончил, Двуглавый Юл скрипнул зубами и крепко потер зеленоватые ладони. А флагман Макомбер, шурясь на свет лампы, произнес:

— Ты держался молодцом, Ваня. Достойный сын нашего Портоса. Впрочем, удивляться тут нечему. Перейдем к делу, друзья.

Он повернулся к решетчатой стене справа и негромко окликнул:

— Рамкэг, будьте любезны...

Щетинистая бурая туша в соседней клетке шевельнулась, со стуком переступили задранные углами мохнатые лапы, и к железным прутьям прикинула головогрудь, украшенная двенадцатью лошадиными глазами. Сдавленный голос прошипел:

— К вашим услугам, флагман Макомбер.

— Рекомендую, Рамкэг, — сказал флагман. — Это Ваня, наш молодой друг, о котором мы уже имели честь вам рассказывать...

— Мировой парень! — подхватил Двуглавый Юл. — С пеленок его знаю!

— Весьма польщен, — прошипел сдавленный голос.

— А это Рамкэг, — продолжал флагман Макомбер. — Наш собрат по плену.

— Один из братьев, — поправил его Рамкэг. — Нас здесь не менее двухсот.

— Да, несомненно. Так вот. Рамкэг — представитель цивилизации носителей разума, населяющих эту планету. Между прочим, соотечественник известного тебе Искусника Крэга...

— Так называемый Искусник Крэг — выродок, — прошипел Рамкэг.

— Постойте! — воскликнул Ваня. — А разве это неправда, что Искусник Крэг был изгнан со своей планеты за доброту?

— Истинная правда, — ответил Рамкэг. — Наши деды изгнали его за совершенно исключительную и подлинно самоотверженную доброту к самому себе.

Ваня захлопал глазами. Двуглавый Юл хлопнул его по плечу и загоготал в две

глотки.

— Я тоже вот так же варежку раскрыл, когда это услышал, — сказала его правая голова. — Мы-то из кожи вон лезли: хоть глазком полюбоваться на народец, который такого отпетого мерзавца, как этот Крэг, за доброту изгоняет!..

Флагман Макомбер вежливо осведомился:

— Вы мне позволите продолжить, Юл?

— Валяйте, флагман, валяйте, — благодушно отозвалась левая голова. — Это я так... Очень уж потешно Ванька глаза вылупил...

— Так вот, коллега Рамкэг, — сказал флагман Макомбер. — Я взял на себя смелость беспокоить вас вот по какому поводу. Сейчас я вкратце изложу нашему юному другу все, что вы сочли возможным сообщить мне и Юлу о вашем мире, о вашей планете, куда мы столь несчастливо попали, а вы поправите меня, если я ошибусь, или дополните, если я пропущу что-либо, имеющее, по вашему мнению, значение. Я не очень затрудню вас?

— Буду рад служить вам, — с достоинством прошипело двенадцатиглазое чудище.

Вот что узнал Ваня.

Планета называлась Спайда, а населявшие ее носители разума именовали себя спайдерами. Она с бешеной скоростью обращалась вокруг невидимой нейтронной звезды, рентгеновское излучение которой, поглощаясь в верхних слоях весьма плотной атмосферы, сообщало местным небесам ровное освещение — днем поярче, ночами потусклее. Между прочим, освещение это ни днем ни ночью не мешало обитателям Спайды любоваться мириадами спутников — обломков развалившейся некогда огромной луны.

По какой-то причине рыбы мелких и тепловодных океанов Спайды так и не сумели выбраться на сушу, и помимо обильной и разнообразной растительности на материках обитали только членистоногие. Миллиард лет сухопутной эволюции привел к появлению всепланетного разума, а затем и цивилизации спайдеров, корнями своими уходящей в глубь времен по крайней мере на сто миллионов лет.

Еще на заре своего цивилизованного существования, может быть, оттого, что спайдеры живут сотни тысячелетий, они освоили идею о том, что каждый носитель разума, особенно пожилой, является бесценнейшим сокровищем коллектива. Из опыта борьбы за существование родилась доброта, и самые древние предания утверждают, что в години бедствий первобытные спайдеры спасали прежде всего своих стариков, а потом уже молодняк и в последнюю очередь яйца.

Спайдеры научились выращивать в пищу исполинские насекомоядные растения, напоминающие, видимо, земную росянку, сооружать из собственной и синтетической паутины хитроумные сотообразные города, мастерить машины и приборы...

— В том числе и космические аппараты, — вставил Рамкэг. — Однако, если не считать Крэга-Душегуба, за последний миллион лет никто из нас не покидал планету. У спайдеров давно уже пропал интерес к космосу...

...Они создали и освоили множество естественных и гуманитарных наук, создали превосходную педагогику и охотно и прилежно философствовали. Насколько можно судить, средний спайдер — существо чрезвычайно уравновешенное, благодушное и

доброжелательное.

Исключение составил так называемый Искусник Крэг, он же Крэг-Душегуб. Эта скотина была довольно крупным ученым, работавшим главным образом в области пересадки тканей, а еще он интересовался нелинейными механиками. Примерно полтора миллиона лет назад грянул скандал: один за другим исчезли пятеро ассистентов Крэга. Было наряжено следствие. Останки исчезнувших обнаружались в заброшенных помещениях неподалеку от его лаборатории. Выяснилась небывалая и страшная вещь: Крэг оперативным путем изымал из своих жертв жизненно важные органы и пересаживал их в свой организм в качестве органов-дублеров высокой надежности.

Вся Спайда была потрясена. Цивилизация, главный принцип которой гласил: «Умри сам, а соседа спаси», растерялась. Непонятно было, как поступить с преступником. Смертной казни на планете не было никогда. На предложение покончить с собой Крэг ответил категорическим отказом. Тогда решено было изгнать Крэга. Специальная комиссия из сорока заслуженных спайдеров молча наблюдала, как отщепенец грузил на космический корабль горючее, запас продуктов, лабораторное оборудование и библиотеку. Затем он поднялся на борт, крикнул: «Я еще вернусь, слизняки! Ждите!» — и захлопнул люк. Корабль улетел, самой большой мусорной свалке на Спайде присвоили имя Крэга-Душегуба.

А Крэг вернулся. Триста тысяч лет назад он высадился на Спайде с эскадрой из пяти космических дредноутов и привел с собой это чудовище алчности и жестокости, Великого Спрута, а также целый полк головорезов-тарантулов, целую контору административного отребья всевозможных рас и пород и целую толпу затюканных до полусмерти рабов и слуг. И великой цивилизации спайдеров пришел конец. Наступило черное время владычества Великого Спрута.

Нет и не было во все времена и во всех пространствах более меланхолической и миролюбивой расы, нежели спайдеры. Каждый из них готов был умереть за каждого, но они не умели и не хотели драться. Правда, передняя пара лап у спайдера оканчивается ядовитыми когтями — рудиментом незапамятных веков, когда предки спайдеров обитали на дне океана, — но никто и помыслить не мог пустить в ход это ужасное средство хотя бы для самозащиты.

Бешеный артиллерийский разгром нескольких городов навсегда подавил их робкие попытки протестовать и сопротивляться. Власть беспощадных и скорых на расправу пиратов сделалась абсолютной. Кое-кто бежал в леса — их выслеживали с воздуха и истребляли инсектицидами. Другие пытались укрыться в открытом океане — их топили словно бы для развлечения. Третьи объявили сидячую забастовку — их облили напалмом и сожгли заживо...

— Но это было давно, — снова вмешался Рамкэг. — Теперь никто лапой не смеет пошевелить. Чуть что — негодяи грозятся залить мазутом инкубаторы, в которых выводятся маленькие спайдеры, или взорвать тротилловые мины, заложенные под площадки для молодняка. А лет десять назад они потехи ради обрушили массу соленой воды в котлован, в котором тысячи наших самок готовились к несению яиц...

Одним словом, несчастная Спайда живет ныне во мраке непрекращающегося злодейства. Правда, массовые избиения как будто прекратились. Великий Спрут вкупе с предателем Крэгом и оголтелой Конопатой Сколопендрой действуют по отношению



к спайдерам по принципу одного нашего древнего диктатора: «Хякусё коросадзу икасадзу» — «Не убивай холопа, но и жить ему не давай».

— Таково положение, — заключил свой рассказ флагман Макомбер.

Ваня был ошеломлен. У него голова кругом шла от всех этих жестокостей и умертвий, и никак не укладывались в сознании все эти миллионы и сотни тысяч лет. Он прокашлялся, потряс головой и сказал:

— Надо помочь.

Флагман Макомбер пожал плечами:

— Разумеется! Иначе наше пребывание здесь теряет всякий смысл. Но необходимо все тщательно продумать и взвесить...

— А я так хоть сейчас готов! — объявил Двуглавый Юл и принялся с оттяжкой откидывать назад ногами мусор, скопившийся на полу.

— Какой удалец! — благоговейно прошипел Рамкэг.

Ваня невольно хихикнул, а флагман Макомбер нетерпеливо произнес:

— Не валяйте дурака, Юл. Сядьте, пожалуйста. Поговорим серьезно. Какие есть вопросы?

— Вопрос такой, — сказал Ваня. — Где мы, собственно, сейчас находимся?

— Сразу же после захвата Спайды бандиты принялись устраивать себе уютное гнездышко. Поскольку Великий Спрут питал отвращение к океанским просторам (и к просторам вообще), место было выбрано на плоскогорье в центре самого обширного материка. В течение нескольких лет была сооружена крепость, на строительстве которой погибли от истощения многие тысячи спайдеров, а выжившие были перебиты для сохранения тайны. Крепость пышно назвали Цитаделью. Та часть Цитадели, которая выступает над плоскогорьем, имеет вид уступчатой пирамиды в сотню метров вышиной, сложена она из обтесанных базальтовых блоков, на верхних уступах размещены пушки и ракетные установки, снятые с космических дредноутов. В подвальных этажах Цитадели, как водится, оборудованы склады, тюрьмы и пыточные камеры. Мы находимся как раз в одном из этих подвальных этажей. Выше располагаются казармы и кантины для тарантульего воинства, еще выше — лаборатории Искусника Крэга и зловонное обиталище Конопатой Сколопендры, а на самом верху — апартаменты Великого Спрута. Судя по всему, взять Цитадель снаружи невозможно, если не применять запрещенные виды боевой техники, вроде ядерных снарядов или излучателей антиматерии. Взять же Цитадель изнутри...

— Между прочим, — сказал флагман Макомбер, — а чем вооружены тарантулы? Тюремный смотритель, который здесь шляется, таскает на себе какой-то меч или палаш...

Рамкэг виновато прошипел, что насчет вооружения тарантулов он объяснить не в силах, слишком мало знает.

— Я знаю! — произнес вдруг Двуглавый Юл. — Насчет этого, ребята, я могу вам все доподлинно обсказать. Имею кое-какой личный опыт, да и здесь уже кое-что подметил. У меня, ребята, глаз наметанный...

Двуглавый Юл обсказал весьма любопытные и важные вещи. Оказывается,

огневого оружия тарантулы не знают и знать не хотят. Пушки, ракеты и торпеды в пиратской армии Великого Спрута обслуживаются богомолами, единственными из его наемников, кто имеет что-то похожее на руки. Тарантулы же — мастера ближнего боя, виртуозы рукопашной, им бы только сойтись с неприятелем вплотную... Во-первых, у них ядовитые челюсти, не слабее, чем у Конопатой Сколопендры. Во-вторых, рубящим и колющим оружием они тоже не пользуются, держать нечем, а этот урод-смотритель таскает свой меч или там палаш, скорее всего, ради понта. Оружие у тарантулов страшнее, чем всякие мечи-палаши-кинжалы...

(— Так, именно так, — удрученно прошипел Рамкэг.)

Как все членистоногие, тарантулы дышат трахеями. А трахеи у них, особенно на брюхе, будь здоров, палец просунуть можно. Так вот, в отверстия этих трахей, в так называемые стигмы, вставляются духовые трубки, заряженные такими железными гарпунчиками с зазубренным острием, по пять, а то и по десять трубок на брата. В нужный момент тарантул резко сокращает мышцы у себя в брюхе, воздух в трахее предельно сжимается и с силой выдувает из трубки гарпунчик по врагу. Ему, Двуглавному Юлу, приходилось на Планете Негодяев своими глазами видеть, как тарантул пробивал таким гарпунчиком сантиметровую доску на двадцати шагах. А уж воткнется этот гарпунчик в тело — его назад только вместе с кишками вытащишь...

(— Так, так, именно так! — шипел Рамкэг.)

Вот чем вооружены тарантулы.

— Понятно, — сказал флагман Макомбер. — Вы сами видите, друзья, нам есть над чем подумать. Совершенно не исключено, что в создавшейся ситуации наилучшей тактикой будет выжидание...

— Выжидание! — презрительно отозвался Двуглавый Юл. — Я на вас удивляюсь, флагман! Чего ждать-то? «Гречко»? Так он, может, и вообще не придет... Застрел где-то между «матрешками»... или след наш потерял. Пятые сутки пошли!

— Я понимаю ваше нетерпение, милый Юл, — с необычайной мягкостью сказал флагман Макомбер. — Но в отношении космохода я настроен более оптимистически. Вы обратили внимание на то, что вторжение Великого Спрута на Спайду произошло триста тысяч лет назад? А с Планеты Негодяев он удрал двадцать лет назад. Даже принимая во внимание факторы, нам неизвестные, напрашивается вывод, что время в этом пространстве течет в десятки тысяч раз быстрее, нежели в нашем. За эти четверо суток там, у нас, прошло не более минуты. И хотя мне лично почти ничего не известно о межпространственных перемещениях, я совершенно уверен, что наш «Георгий Гречко» движется к нам и непременно будет здесь самое большое через неделю...

Воцарилось молчание. Ваня встал и нервно заходил по клетке. Двуглавый Юл безнадежно махнул рукой и уселся на кучу мусора. Рамкэг печально шипел и шуршал за решеткой. Вдруг Ваня остановился перед ним и спросил:

— За что вас заключили в тюрьму, Рамкэг?

— Нас, спайдеров, сажают в тюрьму не за что, а почему, — тихо прошипел Рамкэг.

— Ладно, почему. Так почему вы сидите в тюрьме, Рамкэг?

— Потому, что мы пища. Завтра у пиратов Сытная Пятница. Рано утром всех нас, двести спайдеров, по двое и по трое отведут на поварню и изрубят на куски.

Ваня сел. Флагман Макомбер вскочил на ноги. Только Двуглавый Юл остался на своей мусорной куче и принялся кивать обеими головами, словно бы говоря: «Ну вот, так я и знал! А вы тут рассусоливаете...» Флагман Макомбер посмотрел на Ваню. Ваня глядел на него с упреком. Флагман посмотрел на Рамкэга. Рамкэг глядел на него с видом полной покорности судьбе. Флагман снова сел.

— Гм... — произнес он. — Что же вы раньше молчали, коллега Рамкэг? Это, разумеется, несколько меняет дело.

— Мы не будем сидеть и смотреть спокойно, — горячо сказал Ваня, — как погонят на убой носителей разума!

— Две сотни штук! — напомнил Двуглавый Юл.

— Гм... — повторил флагман Макомбер. — Придется драться. Но шансов у нас прискорбно мало...

— Ха! — воскликнул Двуглавый Юл. — Шансов мало! А много ли было у нас шансов, флагман, когда мы с вами дрались в подземельях Планеты Негодяев?

— Будем драться, — решил флагман Макомбер. — Ну, в крайнем случае погибнем, так когда-то же надо...

— Мужественно погибнем! — подхватил Двуглавый Юл.

— Народ Спайды никогда вас не забудет! — прочувствованно прошипел Рамкэг, и из всех его двенадцати глаз полились слезы.

Двуглавый Юл немедленно накинулся на него:

— Только не воображайте, будто вы будете отсиживаться по клеткам! — заорали наперебой обе его головы. — Драться будем все вместе! Один за всех и все за одного! Что у вас там — ядовитые когти? Даешь ядовитые когти! Долой идиотские предрассудки! Смело пускать когти в ход! Во имя свободы! Чтобы ни один мерзавец не ушел от вас! А знаете ли, кто поведет вас в бой и к победе? Сам флагман Макомбер! Самый искусный полководец самой драчливой планеты во всех вселенных! Испытанный во множестве сражений! И я вас поведу, Двуглавый Юл, тоже испытанный! И вот этот парень, Ваня! Хотя ему еще не приходилось сражаться, но его воспитывали лихие вояки — Атос, Портос и Арамис! Так что он тоже не подведет! Готовьтесь к бою, спайдеры! Точите ваши ядовитые когти! Вспомните о счастливых летах вашей цивилизации! Не бойтесь смерти в бою — она прекрасна! Не то что на поварне! Исполняйте решимости!

Голоса его гулко раскатывались по всей тюрьме, и сначала замерли в своих клетках обреченные узники, потом зашипели и зашуршали, приникли головогрудями к решеткам, а когда Двуглавый Юл умолк, запыхавшись, отовсюду понеслось свистящей поземкой:

— Мы готовы! Ведите нас, земляне! Веди нас, полководец Макомбер! Веди нас, Двуглавый Юл! Положись на нас, храбрый парень Ваня! Победа или смерть! Мы вонзим наши когти в ненавистного врага!

И тут же из всех клеток слышались зловещие чиркающие звуки: спайдеры принялись точить свои когти.

— Что значит хорошая зажигательная речь! — гордо сказал Двуглавый Юл.

— Еще лучше хороший зажигательный пример, — осадил его флагман Макомбер.  
— Для начала необходимо открыть клетки и вывести спайдеров в коридор.

— Для начала нам самим надо выбраться из клетки, — проворчал Двуглавый Юл.

— А что сказал д'Артаньян? — лукаво произнес флагман Макомбер.

— Он много чего говорил, — отозвался Ваня, улыбаясь.

— Кто это такой — д'Артаньян? — осведомился Двуглавый Юл.

— Лучший друг Атоса, Портоса и Арамиса, — ответил флагман.

— Никогда о нем не слышал, — проговорил Двуглавый Юл.

— Это не суть важно, дорогой Юл... А дело в том, что в аналогичных обстоятельствах д'Артаньян сказал: «Эта мышеловка была достаточно прочна для двоих, но для троих она уже слабовата». По моим расчетам, примерно через час должен явиться этот тип — тюремный смотритель. Его надо заманить к нам в клетку.

— Вас понял, — проговорила левая голова Двуглавого Юла.

— Ох-х-х, ох-х-х, ох-х-х... — восторженно-испуганно пропыхтел Рамкэг.

И смотритель своевременно появился, старый, подслеповатый тарантул, потерявший в каких-то давно забытых драках две ноги и половину морды, и Двуглавый Юл окликнул его и попросил добавочную порцию жратвы в обмен на золотую цепь, и смотритель, натурально, пожелал взглянуть на эту цепь, а Двуглавый Юл предложил ему искать дураков в другом месте, цепь же будет предъявлена против жратвы, а без жратвы не видать смотрителю этой цепи, как своих... гм... как своей спины. Сразу было видно, что смотритель либо никогда не имел дела с землянами, либо привычка к абсолютной власти над узниками вошла в его плоть и кровь. Не теряя ни секунды драгоценного времени, он отомкнул замок стержневым ключом, прикрученным к его единственному уцелевшему жвалу, распахнул дверь и молча ринулся на Двуглавого Юла. Тут-то и бросились на него с двух сторон флагман Макомбер и Ваня. В два счета тарантула перевернули на спину, расчалили за лапы посередине клетки (Рамкэг и сосед слева поднатужились и отпустили на это дело по десятку аршин отборной паутины) и забили ему ядовитую пасть мусором, чтобы не орал без толку.

Флагман Макомбер снял со смотрителя двуручный меч с обоюдоострым лезвием, Двуглавый Юл отвязал от тарантульего жвала ключ, и друзья выскочили в коридор. В клетках возбужденно шипели и пыхтели спайдеры, подскакивали на задранных углами мохнатых лапах, блестели лошадиными глазами.

Немало, ох немало времени понадобилось для того, чтобы освободить и вывести в коридор всех узников. Двуглавый Юл взмок, бегая от двери к двери, — шутка сказать, отомкнуть двести замков! Ваня подхватывал спайдеров, ошалевших от нетерпения и готовых мчаться куда глаза глядят, и подталкивал их к флагману Макомберу, который выстраивал их шеренгами, похлопывал по щетинистым головогрудям и произносил ободряющие слова. Наконец построились — плотной колонной в сорок шеренг по пяти чуть ли не на всю длину тюремного коридора. Земляне встали во главе колонны перед закрытыми воротами. Ваня туго намотал на правый кулак свой кожаный пояс с металлическими бляхами, а Двуглавый Юл ничем не стал вооружаться — стоял и

сжимал и разжимал костлявые кулаки.

Флагман Макомбер повернулся лицом к шеренге.

— Друзья! — негромко произнес он.

Стало тихо, только неровным зуденьем слышалось взволнованное дыхание через бесчисленные трахеи.

— Друзья! — произнес флагман Макомбер. — Сейчас мы вступим в бой. Там, за воротами тюрьмы, нет никого, кроме наших врагов. Пощады не ждите и потому сами не давайте пощады. Возможно, мы все погибнем, но все равно заря свободы встанет сегодня над Спайдой!

Он повернулся к Двуглавному Юлу.

— Ворота! — приказал он.

Двуглавый Юл выбежал вперед и откатил широкую воротину.

За воротами открылся ярко освещенный тоннель с влажными от пахучей слизи стенами. А поперек тоннеля, во всю его ширину, неподвижно, безмолвно, грозно стоял тупым углом вперед строй тарантулов.

## 12

— Кажется, нам конец, — с отвращением произнес флагман Макомбер.

Ваня всей спиной почувствовал, как подалась назад колонна спайдеров.

— Привет, голубчики! — глумливо прокричала Конопатая Сколопендра, поднимая верхнюю часть туловища над строем тарантулов. — Не ждали, а?

И сейчас же где-то под потолком тоннеля раздался жирный голос:

— Кончай с ними, Конопатая! В гробу я видел таких заложников. Сдохни, Двуглавый! Сдохни и ты, храбрый сопляк! Ты слишком храбрый, чтобы дозреть до старости... И ты сдохни, флагман Макомбер, у меня от тебя голова болит! Кончай их, конопатая ведьма!

Теперь представьте себе эту картину. Поперек тоннеля стоит боевой строй тарантулов, из шеренг которого высовывает свою гнусную башку Конопатая Сколопендра. В двадцати шагах перед их фронтом стоят флагман Макомбер с мечом и Ваня, за ними, стиснутая решетчатыми стенами тюрьмы, теснится зыбкая колонна спайдеров. А слева, если смотреть со стороны Вани, еще держится за откинутую воротину Двуглавый Юл.

— Впрочем, — произнес флагман Макомбер, едва замолк голос Великого Спрута, — сделаем, что сможем.

И тут Ваня выскочил вперед. Он ведь был прирожденный артист, этот Ваня, что бы ни думал о нем Атос. Он весело и угрожающе запел:

А как известно, мы —  
Народ могучий  
И не выносим  
Мерзости паучьей,  
И любим мы трясти  
Паучьи души...

(— Ваня, Ваня! — укоризненно прошептал флагман Макомбер. — Как тебе не стыдно! Ведь спайдеры тоже в некотором смысле пауки...

— Ничего, ничего, пусть поет, это он про тарантулов! — прошипел за его спиной Рамкэг.)

Пусть они скрипят,  
Пусть они скулят,  
А ты послушай! —

пел Ваня, на ходу переиначивая песенку из любимых своих «Бременских музыкантов»:

Мы раз-  
Мы бо-  
Мы бойники!  
Разбойники! Разбойники!  
Раз в глаз,  
И вы покойники!  
Покойники! Покойники!

Невооруженным глазом было видно, что тарантулы слегка обалдели. Конопатая Сколопендра застыла, выпучив свои гнойные бельма. Ваня пел:

А кто увидит нас,  
Тот сразу ахнет,  
И для кого-то  
Жареным запахнет,  
И кое-что  
За пазухой мы держим...

(— Правильно, Ванька! Давай! — восторженно шептал Двуглавый Юл. — Давай, все правильно!

Да, было, было кое-что за пазухой, только Ваня этого не знал, а Двуглавый Юл знал отлично!..)

Ну-ка, пауки!  
Ну-ка, дураки!  
Держись, невежи!

Тарантулы, да и сама Конопатая Сколопендра, словно замороженные, глядели на поющего Ваню. Такого они еще не видывали. Противник не сражается, не просит пощады, не клянчит выпить и закусить, а что-то такое воет, это надо же! А флагман Макомбер — недаром был он выдающимся полководцем самой драчливой планеты во Вселенной! — потихоньку разводил передовые шеренги спайдеров по флангам. Перед тупым углом тарантульего строя образовывался вогнутый строй — в миниатюре это становилось похоже на построение войск Александра Невского перед «свиньей» тевтонских псов.

А Сколопендру мы  
В гробу видали!.. —

пропел с соответствующими телодвижениями Ваня. И тут Сколопендра вынырнула из транса. Она зашипела, забрызгала ядом и одним неуловимым движением

перелилась через передние шеренги своих головорезов. Ее всю трясло от ярости.

— Я сама!.. — иступленно бормотала она. — Сама! Я их сама... Мальчишка будет первым!

Она изогнулась, готовясь к смертельному прыжку. Ваня побледнел, замолчал и стал отводить кулак, обмотанный ремнем. Флагман Макомбер встал рядом с ним и поднял меч. И в то же мгновение Двуглавый Юл гаркнул в обе глотки:

— Эй ты, дрянь! А ну, повернись ко мне!

Он сорвал с правой своей головы черную повязку.

Дальше счет пошел на секунды.

\* \* \*

Когда-то, еще первоклашкой, выслушав в сотый раз от своего закадычного двухголового друга легенду о взятии Планеты Негодяев, Ваня спросил его, как он относится к Великому Спруту *сейчас*, когда все уже позади. Двуглавый Юл ответил на своем кухонно-пиратском жаргоне:

— Я его терпеть ненавижу, не то чтобы что.

— Почему? — с любопытством осведомился маленький Ваня. — Ведь ты сам бывший пират.

— То-то и оно! — сразу отозвалась правая голова. — Да, я был пиратом. Грабил, пленял, убивал. Лил кровь всех цветов и оттенков. Но при этом я сам рисковал жизнью, у меня вся шкура в дырах, подо мной три корабля пошли ко дну, обломки их и по сию пору носятся где-то на границах обозримой Вселенной... А эта скотина Великий Спрут сидел жирным мешком в своем медном купоросе и только денежки подсчитывал... Эксплуататор!

\* \* \*

Униженно кланяясь, представал он перед Галей, любящей и нежной Ванькиной мамой, неловко подносил ей самодельные натюрморты из голотурий, морских звезд и морских ежей, но так и не дождался от нее ничего более любезного, нежели холодная улыбка и холодные слова благодарности. Нет, так и не забыла ему Галя ни похищения через экран телевизора, ни грязного карцера, ни угрозы быть сожранной заживо. И допустила его дружбу с младшим сыном только под настойчивым нажимом добродушного мужа и старших сыновей...

\* \* \*

— Ты знаешь, Ванька, — как-то задумчиво сказал Двуглавый Юл своему маленькому закадычному другу, — тысячи лет болтался я по Вселенной и ни разу не встретил никого, похожего на меня. Решительно не знаю, откуда я взялся. Носитель разума без родины — подумать только! Самое раннее воспоминание мое — держит меня на теплых щупальцах старая полипиха с планеты Желтых Трав... Я там побывал спустя несколько веков, разграбил и сжег один тамошний город... Да, добрая она была старуха, кормила меня полупереваренной хлореллой, без нее я бы сдох, конечно. А обрелись мы в трюме у знаменитого тогда работорговца, Кровососа Танаты. Потом в трюме разразилась чумка, Кровосос Таната заметил меня и взял к себе каютным

слугою. Бил он меня зверски и укатал бы насмерть, да тут команда взбунтовалась, Танату бросили в реактор, и сделался я юнгой на пиратском корабле... И пошло, и пошло. Вот. А родины своей я так и не знаю. Сначала спрашивал — у приятелей по налетам, в кабаках, у пленных, — а потом и спрашивать бросил, никто не знает. Так-то вот, друг мой Ванька...

\* \* \*

Счет пошел на секунды.

Напомним еще раз диспозицию.

Поперек тоннеля, ведущего от ворот тюрьмы, тупым углом вперед стоит строй тарантулов.

В двадцати шагах перед ним стоит вогнутый строй спайдеров.

Перед строем тарантулов пригнулась к прыжку разъяренная Сколопендра.

Перед строем спайдеров стоят готовые к смертельной схватке флагман Макомбер с поднятым мечом и Ваня с кулаком, отведенным назад для встречного удара.

А слева, правым боком к ним, стоит у откинутой воротины Двуглавый Юл.

— Эй ты, дрянь! А ну, повернись ко мне! — гаркнул он в обе глотки и сорвал с правой головы черную повязку.

И пораженный Ваня увидел: из пустой правой глазницы выдвинулся вороненый ствол пулемета.

На крик Конопатая Сколопендра круто повернулась к Юлу.

— Первым хочешь быть ты? Изволь!.. — просипела она.

Последнее, что в своей многовековой зловонной жизни увидела Конопатая Сколопендра, было черное дуло, уставившееся на нее в упор. Затем из дула брызнуло сине-багровое пламя, загремела длинная очередь, и из правого уха правой головы Двуглавого Юла посыпались, звонко ударяясь о каменный пол, горячие гильзы.

Так и кончилась в одночасье Конопатая Сколопендра, длинное многоногое тулово, битком набитое страхами и неистовой злобой. Гнилыми ключьями разлетелись крытые хитином сегменты, и грохнулась на пол срезанная пулями тупая башка, бессильно грызя камень грязными от яда серповидными челюстями.

— Сарынь на кичку! — взревел в две глотки Двуглавый Юл и полоснул второй очередью по тарантулам. — Вперед, братишки-спайдеры!

Но тарантулы уже поднялись на задние лапы. «Пшшш! Пшшш! Пшшш!» — ударили духовые трубки. В страшной тишине после пулеметного грома было отчетливо слышно, как железные гарпунчики с мягким треском пробивают грудь Двуглавого Юла, и Ваня с отчаянием увидел: друг детства его, бывший вольный пират и незаменимый вратарь нарьян-марской любительской команды качнулся под смертельными ударами, попятился и упал.

И умер Двуглавый Юл.

— За мной, в атаку! — произнес флагман Макомбер и зашагал вперед.

Спайдеры всей массой двинулись на врага.



Сошлись в воротах. Ну и бой начался! Знатный бой. Спайдеры пошли жестоко и яростно. То ли заря свободы, зажженная в их сердцах землянами, то ли самоотверженная гибель Двуглавого Юла, то ли тысячелетняя ненависть к поработителям, а скорее всего, и то, и другое, и третье вместе, но погасло в одно мгновение в их душах миролюбие, и смирение, и отвращение к убийству. Тупой угол тарантульего строя был мгновенно стиснут с флангов. Бешено заработали ядовитые когти. Острие угла искрошил мечом флагман Макомбер и размазал по полу Ваня — сила кулака его равна была удару задней ноги лошади, и головогруды тарантулов расквашивались под ним, как тухлые яйца под сапогом. И тесно, тесно сделалось в тоннеле.

— Не давать им отрываться! — хрипел флагман Макомбер, работая мечом. — Гонитесь за ними по пятам!

Победа далась удивительно легко. Лишившись вождихи, впервые за много тысяч лет встретившись с достойным противником, тарантулы с каждой минутой дрались все более вяло и неуверенно. Затем они побежали. Добывая удиравших (пленных не брали), спайдеры рассыпались по закоулкам и переходам. Сейчас же поднялись разноплеменные рабы, обслуживавшие Цитадель. Мечущихся в поисках спасения охранников и холуев рубили вручную, и запыхавшийся Рамкэг, со свистом дыша через тысячи своих трахей, пошутил с мрачной наивностью одного средневекового автора, что туши их жирны и хорошо удобряют почву планеты...

Однако стоп. Не стоит утомлять читателя описанием жестокостей этой уникальной битвы. Восставший угнетенный всегда прав, и этим все сказано. Да и в памяти у Вани сохранилось весьма немного. Она ведь милосердна бывает, память человеческая.

Вот он бежит по широкому, ярко освещенному коридору. В руках тяжелая секира. (Откуда, как попала в руки?) За ним, не отставая ни на шаг, мчится Рамкэг и мчатся еще два взъерошенных спайдера, они волочат с собой какого-то холуя, отвратительного пупырчатого слизня, непрерывно извергающего со страху вонючий помет. Кто-то бросается на Ваню сбоку. Какая-то тварь — то ли гигантский скорпион, то ли рак... Ваня, не останавливаясь, бьет наотмашь секирой — тварь с треском разламывается, на колени выплескивается коричневая жижа...

— Где? — задыхаясь, кричит Ваня.

— Здесь, здесь! — пищит слизень.

Дверь. Заперто. Удар секирой. Еще раз, еще раз... Дверь исчезает. В лицо — дикая кислотная вонь, от которой слезы выскакивают из глаз. Вот оно, логово Великого Спрута. Ах, поздно... Жирными червяками корчатся на ковре щупальца, покрытые жадно зевающими присосками и роговыми крючьями. Насмерть перепуганный сине-фиолетовый раб трясущейся рукой показывает... Великий Спрут, весьма деловой носитель разума и неимоверно богатый мерзавец, кончил самоубийством — обкусил себе все щупальца и утопился в унитазе. Ваня смотрит на жирную студенистую тушу, плюет и спускает воду. Кончено с Великим Спрутом.

— Ваня, сюда! — шипит за спиной Рамкэг.

Ваня оборачивается. Вояки-спайдеры намертво зажали в углу своего соотечественника, жирного спайдера в двенадцатилинзовых очках в золотой оправе.

— Крэг-Душегуб, — коротко сообщает Рамкэг.

Искусник Крэг поправляет очки и обращается к Ване.

— Прошу оградить меня от произвола этих пошляков, — с достоинством произносит он. — Я могу, я очень могу, я бесценен, я ученый и изобретатель. Я могу пригодиться любой расе и любой власти. Мозг мой является хранилищем множества тайн о природе и духе, я пригоден для служения любой цивилизации!

Рамкэг бесстрастно глядит на Ваню.

— Что? — подавляя бешенство, говорит Ваня. — Что вы на меня смотрите, Рамкэг? Кончайте эту гадину, не валяйте дурака!

Многому, ох многому научился Ваня за несколько минут экспедиции в преисподнюю.

Три пары ядовитых когтей погружаются разом в лысую спину Искусника Крэга. Короткий визг... Все. Нет больше изобретателя контрактора, машин на мозгах носителей разума и еще многих других подлостей. Позорно издох предатель родной планеты, виновник мучительной гибели мириад соотечественников, подлый холуй подлого диктатора. И да будет эта бесславная смерть назиданием всем разумным существам в огромном и разнообразном мире!

И еще помнит Ваня.

Они стоят на верхнем уступе Цитадели. Тупо и бессмысленно торчат в разные стороны лазерные пушки и ракеты на лафетах, валяются возле них изрубленные и искусанные богомолы, у стены выстроились, задрав углами мохнатые лапы, усталые и потрепанные победители. Тут же лежит накрытый белым шелковым покрывалом труп Двуглавого Юла. А над головой в серо-зеленом небе ползут неправильные белесые пятна — спутники Спайды, обломки развалившейся некогда огромной луны. А внизу, на сколько хватает глаз, бурая шевелящаяся равнина, тысячи тысяч спайдеров, сошедшихся к Цитадели.

Флагман Макомбер отбрасывает испачканный меч и трясущейся ладонью вытирает лоб.

— Ваня, — произносит он, — ты должен им что-нибудь сказать.

— Почему же я? — вяло возражает Ваня. — И что говорить?

— Ваня, — строго произносит флагман Макомбер. — Надо!

Ваня делает несколько шагов и останавливается на самом краю уступа.

— Товарищи! — кричит он и прокашливается. — Граждане Спайды! Самки и самцы! Мы, земляне, приветствуем...

И тут его прерывают. Громовой голос с неба гаркает:

— Эй, где вы там! Флагман, Ванька, Юл, отзовитесь!

И с серо-зеленого неба, расталкивая крутыми боками обломки древней Спайдовой луны, пошел спускаться прямо на Цитадель межпространственный космоход «Георгий Гречко», стометровый утюг лучших земных сплавов, ощетиненный гравитонными пробойниками, с биопарализатором в боевом положении.

— Ну, вот и все, — произносит флагман Макомбер.

## Эпилог

Прекрасен и обычен на планете Земля и в ее окрестностях был день 15 ноября 2222 года нашей эры, от начала же Великой Революции 305-го.

Атмосферники весело раскрутили коварный тайфун «Катенька» в обратную сторону.

Работники Мадридской лаборатории биосинтеза запустили в жизнь инфузорию с белком на германиевой основе.

Во Внукове, на окраине Москвы, открыли мемориал Чести и Славы Российской работы знаменитого Сиверса.

У берега острова Сокорро выбросили в подпространство еще восемьдесят тонн древних радиоактивных отходов.

Замяукали и закричали сотни тысяч новорожденных, будущих врачей, учителей и воспитателей, мастеров, ученых и спортсменов и — чего только не бывает! — великих писателей, художников и философов.

В купольном городе на Венере молодая мама отшлепала по попке свою десятилетнюю дочь, создавшую робота, который писал за нее сочинения по литературе.

Уходили в Глубокий космос и возвращались на родные базы сверхдальние звездолеты; опаздывали на свидания, целовались и ссорились влюбленные; поэты конструировали стихи, а мастера создавали поэмы из металла и электроники; кто-то бесстрашно входил в испытательные камеры, а кто-то с бесконечной осторожностью и с невероятным терпением обследовал закапризничавшего вдруг младенца...

В этот день на берегу некогда студеного, а ныне и навеки теплого океана справляли свадьбу. Трубадур женился на своей Принцессе. Все было очень скромно, из посторонних присутствовали только флагман Макомбер и спайдер Рамкэг, стажировавшийся на Земле для овладения теорией и практикой межпространственной связи. Даже из «Бременских музыкантов», кроме жениха и невесты, никого не было.

На любой взгляд, это была примечательная пара: пепельноволосая красавица девочка с зелеными глазищами в половину лица и седой как лунь двадцатилетний парень с лицом, словно бы опаленным страданиями и смертельной битвой. Галя украдкой прижимала к глазам платочек, Портос гулко кричал и усиленно наполнял бокалы, Атос старательно улыбался одними губами, Арамис же время от времени механически вскрикивал «горько!» и в каком-то оцепенении смотрел, как молодые целуются. И при всем при том каждый из присутствующих отчетливо понимал: жить друг без друга Ваня и Тзана не могут.

И вот в разгар этого чинного уныния случилась поразительная вещь.

Ночь была, бесконечная полярная ночь, как вдруг запахнулось окно, и вместе с шорохом волн на пологом галечном берегу в залу влетел черный носатый грач. Сделав круг над столом, он уселся на люстру и сказал:

— Ванька, не дрейфь! Все будет хорошо! Это я тебе говорю, Пупа, он же Пузатый Пацюк! Благословляю тебя с твоею Тзаной. Знай, паршивец этакий, что твой далекий потомок чудо-доктор Итай-итай произойдет от твоего брака с нею, от вашей великой любви!

И, сказавши это, грач улетел, и захлопнулось само собой окно. И, ах! как все изменилось за свадебным столом! Но стоит ли об этом?

Кто же он такой, этот Пупа, Пузатый Пацюк? Может быть, пришелец из совершенных миров? Или из совершенных времен? Кажется, чего проще — спросить его самого. Да нет, язык не повернется. Да и стоит ли? Время летит, а дел много, ох как много! А праздное любопытство есть проявление бестактности и невежества — самых отвратительных пороков после трусости. Будем же просто счастливы тем, что Пупа, Пузатый Пацюк, на нашей стороне...

\* \* \*

Поздно ночью, когда все стихло в доме на берегу океана, Галя и Портос неслышно вышли и сели в самолет. Летели всего час, а летели они на восток, и утро было в разгаре, когда из зеркала Великого океана выросла Черная Скала.

Там, на каменистой вершине, была могила. И на могильную плиту, низко склонившись, мать и отец Вани положили по букету северных цветов.

## ПОВЕСТЬ О ДРУЖБЕ И НЕДРУЖБЕ

Ровно в девятнадцать ноль-ноль тридцать первого декабря прошлого года Андрей Т. лежал в постели и с покорной горечью размышлял о прошлом, настоящем и будущем. Как легко подсчитать, до Нового года оставалось всего пять часов, но никаких радостей это обстоятельство Андрею Т. не сулило, ибо он не просто лежал (смешно думать, что ему вдруг захотелось в последние часы Старого года поваляться под одеялом), а соблюдал постельный режим: горло его было завязано и болело.

Андрей Т. лежал в постели и с покорной горечью раздумывал о том, какой он все-таки невезучий человек. Весь его огромный опыт, накопленный за четырнадцать лет жизни, свидетельствовал об этом с прямо-таки болезненной несомненностью.

Например, стоило человеку по какой-либо причине (пусть даже неуважительной, не в этом дело) не выучить географии, как его неумолимо вызывали отвечать — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Стоило человеку забраться в стол к старшему брату-студенту (совершенно случайно, ничего дурного не имея в виду), как там оказывалась наводящая изумление японская электронная машинка, которая тут же незамедлительно выскакивала из рук и с треском падала на пол. Опять же с вытекающими последствиями. Стоило человеку проесть с трудом обретенный рубль на мороженом (сливочный, шоколадный и фруктовый шарик в соответствующем сиропе), как буквально в двух шагах от кафе обнаруживался книгоноша, распродающий последние экземпляры «Зарубежного детектива».

Да, удачи не было. Удача кончилась три года назад, когда человеку подарили ко дню рождения лотерейный билет и он выиграл на этот билет будильник.

Однако даже невезенье должно иметь какие-то пределы. Заболеть ангиной за несколько часов до Нового года — это уже не просто невезенье. Это уже судьба. Рок.

Закон бутерброда, сказал папа. Очень может быть. Папа нередко высказывает вполне здравые мысли. Насчет закона бутерброда он впервые высказался еще на заре времен, года три назад. Андрей Т. решил тогда, что бутерброд в данном случае является именем крупного немецкого ученого и пишется через два «т». Он даже

вписал этого Буттерброда в кроссворд вместо Гейзенберга, чем повергнул старшего брата в неопишное и оскорбительное веселье. Много воды утекло с тех пор, и много бутербродов вывалилось из рук на пол, на тротуар и просто на сырую землю, прежде чем Великий Закон утвердился в сознании Андрея Т. во всей своей непреклонной определенности: бутерброд всегда падает маслом (ветчиной, сыром, вареньем) вниз, и нет от этого спасенья.

Нет от этого спасенья.

Если человек дал Милке Пономаревой списать контрольную, человеку ставят «банан» за то, что он списал контрольную у Милки.

Если человек тихо и никому не мешая пристроился к телевизору насладиться одним из семнадцати мгновений весны, человека поднимают, напяливают на него смиренный парадный костюм и ведут на именины к бабушке Варе, которая не держит телевизора из принципа.

И уж если человек, изнемогший от географии и литературы, взлелеял в душе чистую мечту провести праздник Нового года и заслуженные каникулы в Грибановской караулке — все, пиши пропало, человека поражает фолликулярная ангина, и пусть он еще спасибо скажет, что это не чума, не проказа и не стригущий лишай...

В девятнадцать ноль пять с целью выяснить, не изменилось ли положение к лучшему, Андрей Т. произвел экспериментальный глоток всухую. Положение не изменилось, горло болело. Зря, выходит, поедал он отвратительные горькие порошки, полоскал многострадальные голосовые связки мерзкими растворами, терпел на шее колючую шерстяную повязку. Может быть, маме следовало послушаться бабушку Варю и обложить шею очищенными селедками? В глубине души Андрей Т. знал, что и эта крайняя и варварская мера не привела бы ни к чему. Пропала новогодняя ночь, пропали каникулы, пропало все то, ради чего он жил и работал последний месяц второй четверти. Сознать это было столь невыносимо, что Андрей Т. повернулся на спину и разрешил себе испустить негромкий стон. Это был стон мужественного человека, попавшего в западню. Стон обреченного звездолетчика, падающего в своем разбитом корабле в черные пучины пространства, откуда не возвращаются. Словом, это был душераздирающий стон.

А папа и мама находились уже, вероятно, на месте, в окрестностях Грибановской караулки, где так удивительно отсвечивают в отблесках костра пушистые сугробы, где отягощенные снегом лапы огромных елей и сосен отбрасывают таинственные тени, где можно рыть тоннели в снегу, носиться по лесу, издавая воинственные кличи, а потом, забравшись на печку, слушать смех и споры взрослых и песни старшего брата-студента под гитару...

Впрочем, справедливости ради следует отметить, что скоропостижная ангина у Андрея Т. едва не нарушила эту традиционную семейную вылазку. Попервоначально мама решительно высказалась в том смысле, что раз так, то она, мама, останется с Андрюшенькой и ни в какую Грибановскую караулку не поедет. Сейчас же, не желая уступать ей в великодушии, в том же смысле высказался и папа. И даже брат-студент, совершенно лишенный родственных чувств, особенно когда это касалось малокалиберной винтовки, двенадцатикратного бинокля и упоминавшейся уже японской вычислительной машинки, и тот вызвался провести новогоднюю ночь «у

скорбного одра», как он выразился, имея в виду, вероятно, постель больного. Положение спас дедушка. Узнав в последнюю минуту о неприятности, он явился и выгнал всех из дому, после чего подмигнул Андрею Т. и устроился в соседней комнате шелестеть газетами и мурлыкать себе под нос «Ой на гори тай жнецы жнуть...». Авторитетный человек дедушка, подполковник в отставке и депутат, но многого не понимает.

В девятнадцать ноль восемь Андрей Т. произвел второй экспериментальный глоток всухую. Положение оставалось прежним. Тогда Андрей Т. спустил ноги с кровати, нашарил тапочки и потащился в ванную полоскать предательское горло раствором календулы в теплой воде. Задрал голову и уставив в потолок бессмысленный взгляд, клокоча и булькая, он продолжал размышлять. Собственно, что такое мужество? Мужество — это когда человек не сдается. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Когда у человека ангина, бороться и искать невозможно и остается одно: не сдаваться. Например, можно послушать приемник. Можно тщательно и со вкусом перелистать альбом с марками. Есть новенький сборник научной фантастики. Есть старенький томик «Трех мушкетеров». На худой конец, есть кот Мурзила, которого давно пора потренировать на вратаря. Нет, мужественный человек, даже больной до беспомощности, всегда найдет себе применение. Кстати, дедушка до сих пор не обучен играть в «балду».

Мир немного посветлел. Андрей Т. поставил пустой стакан на полку и вышел в прихожую. А выйдя в прихожую, он увидел на столике под зеркалом телефон. А увидев телефон, он остановился как громом пораженный. Просто непостижимо, что такая простая вещь не пришла ему в голову раньше. Старый верный друг Генка — вот кто ему нужен! Конечно, он тоже ничем не поможет, но с ним можно говорить как равный с равным, сдержанно-мужественно посетовать на судьбу и услышать в ответ сдержанно-мужественные слова утешения и участия. Андрей Т. схватил трубку и набрал номер.

Подошел сам Генка-Абрикос, шумно выразил радость и спросил, как там у них в Грибановской караулке. Андрей Т. ответил, что ни в какой он не в Грибановской караулке, а дома, и сдержанно-мужественным голосом поведал другу о своей фолликулярной ангине и о своем одиночестве. После этого Генка-Абрикос тридцать секунд молчал, соображая, и вдруг сказал:

— Не тушуйся, старик. Не пропадем. Ровно в девять буду у тебя. Погоняем в автодром и вообще.

У Андрея Т. на миг даже сперло дыхание.

— Что? — спросил он растерянно.

— Жди меня ровно в девять, — сдержанно-мужественным тоном произнес друг Генка по прозвищу Абрикос. — Привет.

И в трубке запищали короткие гудки.

Мир не просто посветлел. Мир засиял. Андрей Т. представил себе, как Генка вваливается в эту вот дверь — огромный, толстощекий, с автодромом под мышкой и пахнущий праздничными мандаринами и морозом, и как он бубнит, раздеваясь: «Не отпускали нипочем, а я им говорю: а ну вас к лешему совсем, говорю, там Андрюха лежит бездыханный, а вы меня держите...» Да. Генка. Верный друг. Абрикос. Андрей

Т. осторожно передохнул, положил трубку и помигал, потому что у него подозрительно щипало глаза. Друг. Да.

Он вернулся в постель и забрался под одеяло. Собственно, особенно удивляться или умиляться здесь нечего. Настоящая мужская дружба превыше всего. Сам Андрей Т. тоже не колебался бы ни минуты, а уж Генка и подавно. Он ведь человек действия, Генка-Абрикос, он идет на помощь другу, не задумываясь. Как-то весенним вечером компания недорезанных басмачей из соседней школы окружила Андрея на темной окраине парка Победы и после краткого выяснения, кто есть кто, принялась не больно, но унизительно лупить его сумками со спортивным барахлом. И тут появился Генка-Абрикос. Он ворвался в круг, разя направо и налево своими чудовищными граблями, и противник пришел в замешательство. Правда, в конце концов обработали их обоих основательно, но отступили они хоть и в беспорядке, однако с честью. Такое не забывается...

И Андрей Т. весело крикнул:

— Дедушка! Иди сюда, мне одному скучно!..

Было девятнадцать часов двадцать одна минута.

В двадцать сорок семь, когда Андрей Т., рассеянно вертя в пальцах плененную ладью, раздумывал над очередным ходом, дедушка в кресле расслабился, поник седой головой и негромко захрапел. Андрей Т. поглядел на него, откинулся на подушки и стал ждать. Несомненно, Генка-Абрикос должен был явиться с минуты на минуту.

В двадцать один тридцать четыре Андрей Т. поднялся и на цыпочках направился в ванную. Друга Генки все еще не было. Покончив с раствором календулы, Андрей Т. в задумчивости поглядел на телефон, но сдержался и снова вернулся в постель. «Мало ли что...» — туманно подумалось ему.

В двадцать один пятьдесят три Андрей Т. отшвырнул сборник научной фантастики и сел, обхватив колени руками. Дедушка спал в кресле напротив, закинув голову и явственно похрапывая. Кот Мурзила в позе Багиры, Черной Пантеры, предавался дреме на бездействующем телевизоре. На табуретке возле кровати безмолвствовал Андреев любимец и мученик, радиоприемник второго класса «Спидола» — он же Спиха, он же Спиридон, он же Спидлец этакий, в зависимости от состояния эфира и настроения. А Геннадий М. по прозвищу Абрикос так и не пришел.

Андрей Т. мрачно нахмурился. Ему было неудобно, неприятно, тревожно. Саднило горло. Свет в комнате то притухал, то разгорался до ослепительного блеска. Чтобы рассеяться, Андрей взял Спиху и повернул верньер до щелчка. Зашуршала несущая частота, пробилась какая-то неясная музыка. И вдруг послышался знакомый голос. Явственный, хотя и слегка придушенный голос Генки-Абрикоса отчетливо произнес:

— Андрюха... Андрюха... Ты меня слышишь?.. Андрюха... Пропадаю, старик... На помощь...

Андрей Т. распрямылся, как стальная пружина. Он в смятении огляделся. Он затряс головой. Он сделал глоток всухую и не почувствовал боли. Сомнений не было. Шуршала несущая частота, и Спидлец монотонно раз за разом повторял голосом Генки-Абрикоса:

— Ты меня слышишь?.. Андрюха... Андрюха... На помощь, старик, пропадаю...

Андрюха... Ты меня слышишь?..

Не надо скрывать: Андрей Т. растерялся. Да и кто бы не растерялся на его месте? Каким это таким образом Генку-Абрикоса вдруг занесло в мировой эфир? Что с ним случилось? Где он находится? Не сводя глаз со шкалы диапазонов, Андрей Т. робко осведомился:

— Генка, ты где?

Спиридон все продолжал взывать к нему о помощи голосом Генки-Абрикоса, но тут что-то произошло со шкалой диапазонов. Она озарилась зеленоватым мерцающим сиянием и превратилась в дисплей, как на японской вычислительной машинке старшего брата, а по дисплею побежали справа налево светящиеся слова. Андрей читал, обмирая: ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СПАСТИ НЕОБХОДИМО УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ ХОД НА КУХНЕ У ХОЛОДИЛЬНИКА ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СПАСТИ НЕОБХОДИМО УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ ХОД НА КУХНЕ У ХОЛОДИЛЬНИКА ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СПАСТИ...

Дзынь! Все исчезло, погасли бегущие слова, шкала снова стала шкалой, и монотонный голос Генки-Абрикоса оборвался на полуслове.

— Так! — громко произнес Андрей Т. — Вот оно, значит, что!

Собственно, он по-прежнему понимал мало. Ясно было только, что старый верный друг Генка попал в какую-то непостижимую беду, что поспеть к нему на помощь требуется до полуночи и... Что это там было насчет какого-то хода у холодильника? Никакого хода у холодильника нет, а есть там по сторонам холодильника два белых кухонных шкафчика. И если даже ход этот есть, то вести он должен в лучшем случае прямо в морозное вечернее пространство на высоте пятого этажа. Да, было о чем подумать и было что взвесить, и Андрей Т. принялся обдумывать и взвешивать, как вдруг Спиха тихонько, но необыкновенно явственно сыграл начальные такты старой славной песенки:

К другу на помощь! Вызволить друга  
Из кабалы и тюрьмы!..

И Андрея Т. мгновенно бросило в жар. Генка-Абрикос не обдумывал и не взвешивал тогда весной в темных аллеях парка Победы. Не обдумывал и не взвешивал, когда узнал о фолликулярной ангине и одиночестве два часа назад... Андрей Т. взглянул на светящийся циферблат над головой. Черные стрелки показывали двадцать два часа одиннадцать минут. Андрей Т. огляделся. Дедушка мирно похрапывал в своем кресле, покойно сложив на животе руки. Кот Мурзила на телевизоре, не поднимая головы, медленно распахнул свои глазища, сверкнувшие зеленым. Андрей Т. решительно спустил ноги с кровати.

Стараясь двигаться по возможности бесшумно, он облачился в тренировочный костюм, весьма кстати висевший тут же на спинке стула, и пробрался в прихожую. Несомненно, предстояла экспедиция, и подготовиться следовало тщательно. Андрей Т. натянул шерстяные носки и обулся в зимние ботинки. Затем он надел лыжную куртку, застегнул «молнию» до повязки на горле и подхватил в качестве оружия складной металлический штатив для фотоаппарата, тяжелый и прикладистый, как дубина былинного витязя. Прикидывая боевой штатив в правой руке, он не без удивления обнаружил в левой любимую «Спидолу». Это было довольно странно: откуда взялся



приемник в левой руке, которой он только что застегивал «молнию»? И коли уж на то пошло, откуда здесь взялся этот штатив? Это же не наш штатив, у нас нет штатива, у нас никогда не было никакого штатива... Но времени удивляться и размышлять не было, настала минута действия. Двадцать первая минута одиннадцатого.

Ход у холодильника Андрей Т. увидел прямо с порога кухни. Оказывается, кухонный шкафчик справа от холодильника примыкал к нему не вплотную, а отстоял от него сантиметров на сорок, и в стене между ними красовалась прямоугольная зияющая дыра в рост невысокого человека. И дыра эта являла вид настолько непривлекательный, что Андрей Т. в нерешительности остановился. Ему представились скользкие выщербленные ступени, ведущие в зловонное подземелье, ржавые крючья в стенах, норвящие угодить в глаз, и еще какие-то серые, мохнатые, копошащиеся, с горящими красноватыми глазками...

Андрей Т. никогда не был трусом. Просто иногда он ратовал за разумную осторожность. Вот и сейчас он отчетливо понял, что минута действия временно прекратила течение свое и уступила место минуте здравого смысла. Перед нами как будто подземелье? Отлично. В таком случае не следует ли заняться сначала изготовлением смоляного факела? Не следует ли сменить зимние ботинки на болотные, скажем, сапоги? И вообще, не пора ли вовлечь в события дедушку, боевого офицера, имеющего, кстати, опыт преследования врага в тоннелях берлинского метро? Или еще лучше — позвонить замечательному человеку, классному руководителю Константину Павловичу, бывшему танкисту и кавалеру ордена Славы...

Известно, что есть лишь один способ делать дело и множество способов от дела уклоняться, так что трудно сказать, как бы все обернулось в дальнейшем, но тут Спиха, Спидлец этакий, вновь тихонько проиграл начальные такты славной мушкетерской песенки. И Андрея Т. вновь бросило в жар. С пронзительной откровенностью признался он самому себе, что и сапоги болотные резиновые, и факелы смоляные коптящие, и всякие иные причиндалы, могущие еще прийти ему в голову, есть не что иное, как чушь несусветная и отговорки. Что стыдно ему, здоровенному (пусть даже слегка больному) парню прятаться за спину ветеранов Великой Войны. И что вообще топтаться без толку между холодильником и кухонным шкафчиком в то время, как друг Генка погибает и ждет помощи, попросту постыдно. И он ринулся вперед и нырнул в зияющую дыру.

Он был приятно разочарован. Не оказалось там ни осклизлых ступеней, ни ржавых крючьев, ни снующих крыс. Оказался там длинный коридор казенного вида, тускло освещенный пыльными лампами под жестяными абажурами с отбитой эмалью. Пахло канцелярией, на оштукатуренных стенах мотались под сквозняком приклепленные бумажки с выцветшими машинописными текстами. Бросался в глаза странный призыв: «Тов. пенсионеры! Просьба не курить, не сорить и не шуметь!» Справа и слева вдоль коридора тянулись ряды обшарпанных дверей с темными пятнами возле ручек, и каждую дверь украшала надпись, как правило грозная и в повелительном наклонении: «Не стучать!», «Не зевать по сторонам!», «Не сметь!» и даже «Миновать быстро и не оглядываться!».

Андрей Т. шел медленно, машинально читал надписи и думал, за какой дверью надо искать Генку, и вдруг ему пришло в голову, что ведь совершенно непонятно, куда ведет этот коридор, — по всем расчетам он должен был с самого начала пронизать стену дома, пройти над улицей и вонзиться в балконы кинотеатра «Космос».

Озадаченный этой мыслью, он даже остановился и тут же обнаружил, что коридор кончился. Впереди был тупик, и в тупике были две двери — последние. Надпись на левой двери гласила с вызовом: «Для смелых». Надпись на правой двери снисходительно ухмылялась: «Для не очень».

Андрей Т. сдвинул брови и погрузился в самоанализ.

Скромность требовала признать, что со смелостью у нас обстоит не так чтобы очень. Правда, в первой четверти Андрей Т. взобрался по пожарной лестнице до пятого этажа. Но по возвращении на твердую почву у него так тряслись руки и ноги, что взыскательные наблюдатели это заметили, и пришлось соврать, будто на него напал приступ застарелой болезни Паркинсона (за многими делами он так и не удосужился выяснить, есть ли такая болезнь на самом деле, и если есть, то болеют ли ею люди). Эта унижительная ложь преследовала потом его целую неделю: время от времени он спохватывался и принимался трястись под внимательными взглядами своих товарищей, и кончилось это тем, что перепуганная классная воспитательница по прозвищу Яишница отвела его к врачу. Словом, скромность утверждала, что избрать следует правую дверь, и Андрей Т. послушался. Он решительно отворил дверь с надписью «Для не очень».

Так. За дверью была знакомая комната. В знакомом кресле похрапывал знакомый дедушка, на знакомом телевизоре жмурился знакомый кот, со знакомой кровати свешивалось знакомое одеяло.

Андрей Т. решительно закрыл дверь. Скромность, конечно, скромностью, но не такой же ценой! Впрочем, не беда, ничего не потеряно. И в конце концов, избрав сначала правую дверь, он поступил по крайней мере честно, а как известно, «честность — это больше чем смелость, это мужество!» (из запоздалой речи бабушки Вари по поводу сокрытия двойки по поведению за совершение некоего смелого поступка на уроке по рисованию). Что ж, придется быть не только честным, но и смелым, вот и все. Андрей Т. перешел к левой двери, стиснул зубы покрепче и толчком отворил ее.

Ничего особенного. Открылся тоннель с кирпичными стенами, низкий, сыроватый, но вполне опрятный и тихий. Цементный пол, на полу виднеются следы, оставшиеся, видимо, еще с тех времен, когда цемент не схватился. Гм. Странные следы. Не Генкины. Гм. Похоже, здесь прошла лошадь. Копыта. Гм.

Андрей Т. продвигался по тоннелю с некоторой опаской, стараясь жаться к стенам, подальше от странных следов. Он был готов ко всему, но ничего пока не происходило. Мало-помалу он приободрился, он уже и вправду ощущал себя не только мужественным, но и смелым. Спиридон, кажется, тоже пришел в хорошее настроение. Во всяком случае, он принялся напевать вполголоса: «Наши жены — пушки заряжены, вот кто наши жены...»

Внезапно стены тоннеля раздалились, вспыхнул яркий свет множества ламп дневного света, засверкал и заискрился белый и черный кафель. Андрей Т. остановился и зажмурил глаза от слепящего блеска. Когда же он разжмурился, то увидел, что стоит на самом краю плавательного бассейна.

Да, это был самый обыкновенный плавательный бассейн, точно такой же, в каком Андрей Т. некогда сдавал нормы ГТО, — выложенный кафелем, шириною метров в десять и метров пятьдесят в длину.

Ясно было, что дальнейший путь к бедствующему Генке-Абрикосу лежит через широкий дверной проем на противоположной стороне бассейна, темнеющий за легкой пеленой струйчатого пара. Ясно было также, что обойти бассейн невозможно, потому что кромка пола между его боковыми краями и стенами по-дурацки узкая и вдобавок наклонена градусов этак на сорок пять, с альпинистскими шипами не удержишься. «Придется вплавь или вброд», — подумал с неудовольствием Андрей Т. и тут только обнаружил, что в бассейне нет ни капли воды.

Это было как нельзя более кстати. Пожалуй, даже слишком. Если судьба бросает под ноги заведомо смелому человеку сухие бассейны, то надлежит смотреть в оба. Андрей Т. посмотрел в оба, и то, что он увидел, очень ему не понравилось. По всему пространству бассейна на чистом сухом кафеле были разбросаны какие-то заскорузлые тряпки и иные предметы столь же неопрятной сущности. Андрей Т. разглядел продранный шерстяной носок, старую футболку с номером, обтрепанные брюки, вывернутый наизнанку тулуп, ржавый велосипедный насос и череп. При виде черепа сердце Андрея Т. подскочило к горлу. Генкин! Но он тут же вздохнул с облегчением: череп был коровий, из их школьного зоологического кабинета.

Несколько секунд Андрей Т. колебался, хотя отлично понимал, что бассейна этого ему не миновать. Он поднял глаза. Черные стрелки на светящемся циферблате показывали двадцать два часа тридцать семь минут. Время поджимало. Андрей Т. поколебался еще три секунды и решительно спрыгнул на кафельное дно.

Оказавшись в бассейне, он торопливо зашагал к противоположному краю, который вдруг словно бы отодвинулся куда-то в невероятную даль. Сначала он шагал просто торопливо, потом зашагал быстро, потом очень быстро и наконец пустился бегом во все лопатки.

Нет, не зря коварная судьба устроила этот бассейн на его пути! И подозрительные тряпки с черепами оказались в этом бассейне, надо думать, не случайно! Не успел Андрей Т. пробежать и половины расстояния до края, как в уши его ударил глухой клокочущий рев. Со всех четырех сторон сразу из каких-то невидимых труб хлынули в бассейн свирепые потоки мутной вспененной воды, исходящей паром как бы от сдерживаемого бешенства.

Отступать было бессмысленно, это Андрей Т. понял сразу. Оставалось наступать. И, вспомнив свои былые успехи на стометровке, он рванул вперед с таким рвением, как будто твердо поставил себе целью перекрыть все олимпийские рекорды Валерия Борзова. Возможно даже, что он и перекрыл бы эти рекорды, но он не успел. Мутные волны набросились на него, ударили по ногам и окатили с головой.

— Ай-яй-яй-яй-я-а-ай! — взвыл в ужасе Спиха латиноамериканским голосом.

— Вр-р-решь! — прорычал Андрей Т.

Мутные пенистые валы тщились опрокинуть и утопить его, но он неудержимо рвался вперед, похожий теперь уже не на Валерия Борзова, а на скоростной скутер, идущий на редане.

Потом дно ушло у него из-под ног, он бросил на произвол судьбы боевой штатив, поднял Спиридона повыше над головой и поплыл. Он отчаянно работал ногами и отчаянно загребал правой рукой, он ничего не видел сквозь бурлящую пену и клубящийся пар, в ушах стоял рев волн, прорезаемый отчаянным свистом Спиридона,

а он все загребал правой и отработывал ногами, загребал и отработывал, загребал и отработывал целую вечность, пока не врезался в противоположную стенку бассейна с такой силой, что загудело во всем теле от травмированной макушки до самых пяток.

Через минуту он стоял наверху, на сухом полу, выложенном черным и белым кафелем. Он стоял и пошатывался от пережитых волнений, с него текло, он все еще держал своего Спиридона высоко над головой и с тупым интересом смотрел, как вода в бассейне, по-прежнему пенясь и исходя паром, всплескивается, закручивается в воронки и со скворчанием уходит в невидимые трубы. И вот уже обнажилось дно, и снова появилось на свет неопрятное тряпье вперемежку с ржавым хламом, только теперь среди всех этих старых штанов и костей сиротливо блестел под лампами дневного света боевой штатив для фотоаппарата.

— Всего не спасешь, верно? — произнес незнакомый голос.

Тут только Андрей Т. обнаружил рядом с собой некоего дядю. Был этот дядя в комбинезоне с лямками на голое загорелое тело, отличался изрядным ростом и чем-то очень напоминал соседа по лестничной площадке по прозвищу Конь Кобылыч. Голос у него был низкий и приятный, и смотрел он на Андрея Т. ласково и приветливо.

— Хорошо еще, что сам жив остался, — продолжал он. — А ну, раздевайся, давай обсушимся, да и подзаправиться не мешает...

Он в два счета освободил Андрея от мокрой одежды, быстро и ловко развесил все на горячих трубах парового отопления и набросил Андрею на голые плечи огромное теплое мохнатое полотенце.

— Смельчак, смельчак... — приговаривал он при этом. — Если можно так выразиться, рыцарь без страха и упрека... Молодец, ничего не скажешь...

Он усадил Андрея за уютный столик у стены, быстро и ловко выставил на скатерть большой кипящий чайник, пузатый заварочный чайник и цветастую чашку с блюдцем, затем присел к столику и сам.

— В здешних палестинах так нельзя, — говорил он с ласковой укоризною. — Здесь головой надобно работать, головой. А вы все ногами норовите, ногами. Вот и хватили шилом патоки. Не-ет, не зная броду, не суйся в воду. А то ведь дурная голова покоя ногам не даст, нипочем не даст. Уж поверьте мне, кривой-то дорожкой ближе напрямик.

Андрей Т. слушал и давался диву, а между тем уже отхлебывал из цветастой чашки крепкий чай с молоком и поедал нечто белое, пухлое, очень вкусное, в обычной жизни почти не бывающее, надо полагать — калач.

— Вы, мой огурчик, вступили в дело опасное и безнадежное, — продолжал новоявленный Конь Кобылыч. — Вы и понятия не имеете, куда вас несет. Вот миновали вы воду. Хорошо. Даже превосходно. А огонь? А медные трубы? Об этом вы подумали, луковка вы моя сахарная? А знаете ли вы, сколько таких вот овощей и фруктов, вроде вас, приходилось мне извлекать со дна — бездыханными, помидорчик вы мой, бездыханными и неподвижными?! Положим, что вам своей головы не жаль. Ну а о маме вы подумали? Подумали о мамочке своей? Не подумали. По глазам вижу, что не подумали, капуста вы моя белокочанная! А об отце?

Все тот же огромный четырнадцатилетний опыт подсказывал Андрею, что

подобные аргументы старших следует переносить молча и с наивозможно виноватым видом. Тем не менее Андрей Т. поставил чашку и произнес с достоинством:

— Собственно, я ведь...

— Не подумали! — гаркнул Конь Кобылыч и подлил ему горячего из чайника и молочника. — Об отце вы тоже не подумали!

— Но ведь Генка...

Конь Кобылыч воздел руки над головой.

— Ну разумеется — Генка! — с горестной усмешкой воскликнул он. — Генка — прежде всего! Юбер аллес, если можно так выразиться. А мать пусть рвет на себе волосы и валяется в беспамятстве! А отец пусть скрипит зубами от горя и слепнет от скупых мужских слез! Пусть! Главное, конечно, — это Генка!

Тут Спиридон, стоявший до того тихонько на краю стола, внезапно запел:

Если друг оказался вдруг  
И не друг, и не враг,  
А так...

Конь Кобылыч протянул руку, щелкнул верньером и поставил Спиридона под стол.

— Генка — только о нем мы и думаем днем и ночью, — горестно продолжал он. — Для него мы совершаем героические подвиги вместо того, чтобы лишний раз взять в руки учебник по литературе. Дурака Генку спасти — вот это подвиг и ура, это не то что постараться на твердую четверку по литературе выползти... Как же — Генка!

Андрей Т. насупился. Конь Кобылыч при всем своем гостеприимстве и прочих приятных качествах был пустой болтун и больше ничего. Андрея так и подмывало повернуться к нему спиной и засвистеть маршик из «Моста через реку Квай». Все, что он говорил о родителях и о Генке, было глупо и несправедливо. Есть вещи, которые нельзя не делать несмотря ни на что. Например, люди идут сражаться за Родину. Или погибают, спасая женщин и детей. Или летят в Космос. Да мало ли еще? И нечего приплетать сюда родителей и тем более тройки по литературе. И нечего выключать Спиридона.

Андрей Т. решительно отодвинул чашку и встал.

— Спасибо, — сказал он. — Мне пора.

Конь Кобылыч приятно улыбнулся.

— Подкрепились? — осведомился он умильно.

— Подкрепился. Спасибо, — отвечивал Андрей Т.

— Пообсохли?

— Пообсох. Спасибо.

— Самочувствие нормальное?

— Нормальное.

— Ну, будем одеваться, когда так.

Андрей Т. принялся одеваться. Ему хотелось поскорее уйти, и ему была неприятна близость Коня Кобылыча, а тот вертелся вокруг и помогал натягивать, зашнуровывать,

застегивать и одергивать. Когда они застегнули последнюю «молнию» (на лыжной куртке, до повязки на горле), он отступил на шаг, полюбовался и сказал:

— Вот и ладненько. А теперь домой, к мамочке.

«Фиг тебе — к мамочке!» — злорадно подумал Андрей Т. Он достал из-под стола Спиридона и взглянул на светящийся циферблат на стене. Двадцать три ноль три.

— До свидания, — сказал он и направился к дверному проему.

— Куда же вы? — вскричал Конь Кобылыч. — Вам не туда! Вам обратно!

— Туда, туда, — успокоительно сказал ему Андрей Т., не останавливаясь. — Туда и не мимо!

— А как же мама? — вопил вслед Конь Кобылыч. — А медные трубы? Вы забыли про медные трубы!

Но Андрей Т. больше не откликнулся. Он на ходу повернул верньер до щелчка, и Спидлец немедленно взвыл: «Мы с милым расставались, клялись в любви своей...»

Сразу за порогом широкого дверного проема оказался тускло освещенный зал с зеркальным паркетом и с воздухом столь необыкновенно сложного состава, что уже на двадцати шагах ничего нельзя было различить за какой-то бесцветной дымкой. Однако сразу с порога же имела место уходящая по паркету дорожка черного дерева, и Андрей Т. понял, что опасность заблудиться ему не грозит. Он решительно зашагал по черным полированным квадратикам, стараясь отогнать расслабляющие воспоминания о своем подвиге в бассейне и о сладком чае с молоком и калачом. Он полагал, что главные испытания еще впереди и к ним нужно быть морально готовым. Вскоре он достиг своего: слова Коня Кобылыча о медных трубах (а кстати, и об огне), вначале с пренебрежением забытые им, не шли больше у него из головы.

И вот в ту самую минуту, когда зловещие слова эти пустили особенно прочные корни в сознании Андрея, черная дорожка под его ногами вдруг раздвоилась. Две совершенно одинаковые черные дорожки поуже уходили в бесцветную дымку вправо и влево под углом в две трети «пи». Причем поперек правой дорожки было большими белыми буквами написано «Для умных», а поперек левой — «Для не слишком».

Заложив руки со Спиридоном за спину, Андрей Т. стоял на распутье, и горькая мудрая усмешка стыла на его хорошо очерченных губах. Легко справившись с мальчишеским желанием выкрикнуть в пространство что-либо обидное и погрозить (в пространство же) кулаком, он произнес короткий внутренний монолог:

— Не очень-то вы балуете нас разнообразием, господа! Выражаясь вульгарным жаргоном Пашки Дробатона, второй раз хохма — это уже не хохма. Нас опять ставят перед бесчестным выбором: либо забудь о скромности, либо отправляйся домой, к мамочке. Не выйдет, господа! Как говорит мой старший брат-студент, тривиально и лежит на поверхности. Легко видеть. Прости меня, моя скромность.

Криво усмехаясь (большое искусство, освоенное в свое время ценой двухчасового безобразного кривляния перед зеркалом в прихожей), Андрей Т. двинулся по Дороге для умных. Впрочем, насилие, учиненное им над собственной скромностью, не очень угнетало его. Гораздо важнее было то, что никаких новых бассейнов со свирепыми водами и вообще никаких болезнетворных физических воздействий ожидать в ближайшем будущем, по-видимому, не приходилось. Ум есть ум, господа, если мне и

дадут, то, скорее всего, по мозгам, а уж это я как-нибудь переживу.

Дорога для умных оказалась на удивление короткой. Упиралась она, естественно, в обыкновенную дверь. Не тратя ни минуты драгоценного времени и все еще храня на хорошо очерченных губах кривую усмешку, Андрей Т. взялся за ручку и потянул.

Андрей Т. остолбенел. За дверью была все та же знакомая комната. В знакомом кресле храпел во все заправки знакомый дедушка, на знакомом телевизоре валялся знакомый кот Мурзила, со знакомой кровати свешивалось знакомое одеяло. Андрей Т. тихонько закрыл дверь и тупо уставился на нее в упор. Вот, значит, как. Вот, значит, на чем вы меня провели. Вот, значит, что вы считаете умом. Умному, значит, дорога домой, в постельку. Ну, это мы тоже проходили. «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». А Генке, значит, там пропадать у вас? Нет уж, дудки! Андрей Т. произнес в пространство несколько обидных слов, показал (в пространство же) сдвоенный кукиш и, повернувшись спиной к бесполезной двери, рысцой пустился обратно к развилке.

Дорога для не слишком умных оказалась значительно длиннее, и Андрей Т. уже начал беспокоиться, когда впереди в белесой дымке возникло и замаячило какое-то мерцающее голубоватое пятно. Еще минута хода на рысях, и он неожиданно для себя чуть ли не носом уперся в прямоугольное матовое окно, вделанное в стену. Окно мерцало голубым неоновым огнем, а на матовом стекле было написано по вертикали большими красными буквами «ВХОД», причем рядом с надписью была изображена большая красная стрела, указующая в небо.

Это был поистине странный указатель, но Андрей Т. так и не успел как следует удивиться, потому что сразу обнаружил рядом нечто вроде лестницы. Собственно, это и была лестница, только не из ступенек, а из вделанных в стену металлических скоб, покрытых зеленой масляной краской. Подобную лестницу Андрей Т. видел во время школьной экскурсии на шефский завод: там она (лестница, конечно, а не экскурсия) вела на самую верхотуру гигантской заводской трубы. Здесь лестница вела в белесую дымку над головой и далее неведомо куда, потому что снизу были видны только первые шесть скоб.

Андрей Т. бросил взгляд на светящийся циферблат — ничего себе, уже четверть двенадцатого! — и стал искать, куда поставить Спиридона, ибо ясно было, что на этой, с позволения сказать, лестнице понадобятся все четыре конечности, а может быть, даже и зубы. Он уже решил было засунуть приемник в случившийся неподалеку чудовищный сервант без стекол и без полок, но тут Спидлец вдруг затянул трясущимся тенором старинный душераздирающий романс:

— Не уходи! Побудь со мной еще минутку!..

Андрей Т. в смущении остановился.

— Ты что это? — спросил он неискренне.

— Не уходи! Мне без тебя так будет жутко!.. — с рыданием в голосе объяснил Спиридон.

Сердце Андрея дрогнуло.

— Ну ладно, ладно тебе... — пробормотал он и принялся запихивать чувствительный аппарат за пазуху.

Спиридон уже вполголоса, но по-прежнему с рыданиями и истерическим надрывом сообщил: «И чтоб вернуть тебя, я буду плакать дни и ночи...» — после чего замолк, а Андрей Т. поплевал на ладони, крикнул для основательности и начал подъем.

Первые скобы он преодолел легко и даже не без лихости — пол еще был виден, а в случае чего можно было бы просто спрыгнуть вниз. На десятой скобе пол исчез из виду, пришлось остановиться и перевести дух. К пятнадцатой скобе все вокруг заволочло сплошной белесой пеленой, и вдобавок возникло ощущение, будто стена начинает загибаться внутрь зала наподобие этакого свода. Девятнадцатая скоба шаталась, как молочный зуб, — именно здесь Андрей Т. смалодушничал и подумал, что следовало бы, пожалуй, вернуться вниз и все досконально, тщательно обдумать и взвесить. Однако как раз в этот момент угревшийся за пазухой Спиридон хрипло провозгласил, что «лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». Андрей Т. устыдился и сейчас же взял одним рывком еще полдюжины скоб. Дальше он не считал. Ему стало не до счета. У него зверски занули плечи и начали трястись ноги. Несомненно, это был приступ болезни Паркинсона, явившийся из мира выдумок и пустых фантазий, чтобы наказать Андрея за самонадеянность. О мои руки! О мои ноги! Все-таки подсунули мне болезнетворное воздействие, подлецы! Но тут ведь главное что? Бороться и искать, найти и не сдаваться. Не сдаваться? Ни в коем случае! Даже если ты болен, все равно чем — фолликулярной ангиной или болезнью Паркинсона. Какие там могут быть болезни, если погибает мой лучший друг Генка по прозвищу Абрикос? Держись, Генка! — твердил про себя Андрей Т. и цеплялся за ледяные скобы. Я иду, Генка! — рычал он и карабкался по влажным скобам. Вр-р-решь, не возьмешь! — хрипел он и повисал на липких скобах, обвившись вокруг них, подобно некоему тропическому удаву.

Но все на свете имеет конец, и в одну поистине прекрасную минуту Андрей Т. обнаружил, что больше не цепляется, не карабкается и не висит, а блаженствует, сидя на твердом полу и прислонившись спиной к твердой стене, и все вокруг прочно, надежно и безопасно.

Он сидел, как скоро выяснилось, в узкой круглой трубе. Справа мерцал туман и видны были осточертевшие до отвращения скобы, уходящие вдоль стены вниз. Слева, в конце трубы, было темно и мигали какие-то желтенькие огоньки. На вид совершенно безопасные и безвредные. Плечи еще ныли, но не очень сильно. Ноги еще дрожали, но служить не отказывались. Андрей Т. обследовал ладони. Ладони в общем были целы и невредимы, хотя и горели, как будто он целый вечер тренировал подъем разгибом на перекладине. Следовало ожидать появления водяных пузырей, но от этого еще никто не умирал.

Вперед можно было двигаться только на четвереньках. Времена, когда такой способ перемещения в пространстве нравился Андрею Т. более прочих, уже довольно давно миновали, но выбора не было. Разумеется, он попытался перейти к прямохождению, но, продвинувшись на два шага в болезненно полусогнутом состоянии, налетел лбом на какую-то металлическую выпуклость в верхней части трубы и поспешил опуститься на четыре точки. Теперь страдали колени. Они отвыкли служить точками опоры. Они протестовали — сначала негромко, а потом во весь голос. Спиридон, у которого вообще не было коленей, блаженно насвистывал за пазухой «Хороши весной в саду цветочки».

Однако кончилась и труба. Скорее почувствовав, чем увидев над собою пустое



пространство, Андрей со стоном наслаждения распрямился во весь рост и, держась за поясницу, огляделся. Он был убежден, что Генка-Абрикос находится где-то поблизости. Но Генки не было. Была большая комната, освещенная крайне скудно.

Собственно, комната вообще не была освещена. В ней, как говорится, царила тьма, но во тьме этой в великом множестве мигали, загорались и гасли крошечные круглые окна с лампочками, и в их слабом переменчивом свете можно было рассмотреть, что вся она заставлена сплошными рядами громоздких угловатых то ли шкафов, то ли ящичков. Тянуло теплом и даже жаром, пахло странно, а впрочем, скорее приятно. И было полно звуков. Какой-то длинный шелест. Низкое монотонное гудение. Резкий хлесткий щелчок. Снова гудение. Снова шелест. Андрей Т. посмотрел, принюхался, послушал и робко воззвал:

— Генка! Эй, Генка! Ты здесь?

Еще не успело увязнуть в жарком пахучем воздухе его последнее слово, как комната разразилась целым шквалом новых огней и звуков. Вспыхнули и замигали новые мириады круглых лампочек, в кромешной тьме под потолком побежали справа налево беспорядочные толпы светящихся цифр, шелест покрылся непрерывным звучным стрекотанием, а хлесткие щелчки забили часто и напористо, как выстрелы в «Великолепной семерке».

Ошеломленный Андрей Т. втянул голову в плечи и попятился, но тут комната успокоилась. Торжественный, превосходно поставленный голос объявил:

— Посторонний объект обнаружен, исследован и отождествлен как Желаящий Пройти...

Одновременно на невидимом дисплее в темноте под потолком побежали справа налево светящиеся слова:

— ПОСТОРОННИЙ ОБЪЕКТ ОБНАРУЖЕН ИССЛЕДОВАН И ОТОЖДЕСТВЛЕН КАК ЖЕЛАЮЩИЙ ПРОЙТИ...

— Процедура представления начинается, — продолжал Голос, и на дисплее побежали произносимые им фразы без знаков препинания. — Представляюсь, имею честь представиться: Всемогуший Электронный Думатель, Решатель и Отгадыватель, сокращенно ВЭДРО. С кем имею честь?

— Собственно... — нетвердо проговорил Андрей Т. — Видите ли... Я... Андрей. Меня зовут Андрей. Я школьник.

Снова шквал огней и звуков. Голос безмолвствовал, но на дисплее, стремительно катясь друг за другом, загорелись слова:

— АНДРЕЙ ИМЯ ОСМЫСЛЕНО ШКОЛЬНИК УЧАЩИЙСЯ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСМЫСЛЕНО КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ КОНЕЦ...

Андрей Т. поклонился, шаркнул ногой и сказал:

— Собственно, мне к Генке нужно. Я очень тороплюсь. Как мне к Генке пройти?

Голос торжественно ответил:

— Желаящий Пройти должен успешно выдержать два этапа испытания. Первый этап: я задаю вопросы. Второй этап: я даю ответы. Доложите готовность к испытанию.

Даже в лучшие времена предложение держать испытания никогда не вызывало у Андрея никаких положительных эмоций. Теперь же он так и взвился от злости.

— Какое еще испытание? — заорал он. — Какое может быть испытание, когда Генка-Абрикос там пропадает? Да провалитесь вы с вашим испытанием, и без вас обойдусь!

С этими словами он очертя голову устремился в проход между рядами шкафов-ящиков. Но ему пришлось тут же остановиться, потому что он увидел в конце прохода низкие дубовые ворота. На воротах висел массивный ржавый замок, у ворот дремал на табурете то ли сторож, то ли вахтер в ватнике, с берданкой на коленях, у ног же вахтера лежал устрашающего вида пес. Мощная голова его покоилась на лапах, но треугольные уши стояли торчком, а желтые глаза бесстрастно взирали прямо в лицо Андрею.

— Понятно, — уныло сказал Андрей Т., повернулся и пошел из прохода.

— Доложите готовность к испытанию, — повторил Голос как ни в чем не бывало.

— Готов, — буркнул Андрей Т.

Голос объявил:

— Процедура ввода информации в школьника Андрея начинается. Ввод информации. Первый этап. Я задаю три вопроса. Один вопрос из наук логических, один вопрос из наук гуманитарных, один вопрос из наук физико-технических. Если школьник Андрей отвечает на все три вопроса правильно, конец первого этапа. Доложите осмысление информации о первом этапе.

— А если неправильно? — вырвалось у Андрея.

Никакого ответа не последовало, на дисплее пронесся бесконечный ряд светящихся семерок, и где-то со скрипом приоткрылась дверь. За дверью, разумеется, была знакомая комната со знакомым дедушкой, знакомым котом и знакомым одеялом.

— Мне все понятно, — мрачно пробормотал Андрей Т.

Дверь со скрипом затворилась, а на дисплее побежали слова:

— **ВСЕ ПОНЯТНО ИНФОРМАЦИЯ ОБЪЕКТОМ ОСМЫСЛЕНА ОСМЫСЛЕНА ПЕРВЫЙ ЭТАП НАЧИНАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП ПЕРВЫЙ...**

— Первый вопрос формулируется! — провозгласил ВЭДРО. — Дано: столб и улитка. Высота столба десять метров. За день улитка поднимается по столбу на шесть метров, за ночь спускается на пять метров. Сколько суток потребуется улитке, чтобы достигнуть вершины столба? На размышление сто двадцать секунд. Размышление начинается!

На дисплее вспыхнуло число 120 и сейчас же сменилось числом 119. Потом пошли 118, 117, 116... Андрей Т. быстро произвел расчет: за день плюс шесть, за ночь минус пять, всего за сутки плюс один. Высота столба десять метров. Значит, легко видеть... Он уже открыл было рот, но спохватился. Слишком уж легко было видеть. Не может быть, чтобы задача решалась так просто...

...100, 99, 98, 97...

Это проклятое Ведро ловит на какой-то чепухе. Не выйдет! Мы до городской олимпиады доходили, нас голыми руками не возьмешь!

...81, 80, 79, 78...

Правда, на городской олимпиаде мы таки ни одной задачки не решили, но все-таки... Тьфу ты, что за ерунда лезет в голову! Значит за первые сутки один метр, за вторые два...

...63, 62, 61, 60...

Меньше минуты осталось! Ай-яй-яй... Э... Э! Ведь в последний день она сразу залезет на шесть метров вверх до самой верхушки, и спускаться ей уже не придется! Значит...

— Четыре с половиной суток! — радостно закричал Андрей Т.

На дисплее число 41 погасло, и побежали слова:

— ОТВЕТ ЧЕТЫРЕ ПЯТЬ ДЕСЯТЫХ СУТОК ОСМЫСЛЕНО ВЕРНО ВЕРНО ВЕРНО ОСМЫСЛЕНО ВЕРНО...

Андрей Т. ликовал. Вот так-то! Нас на кривой не объедешь! Так будет со всяким, кто покусится!

— Второй вопрос формулируется! — объявил ВЭДРО. — Дано: произведение Юрия Михайловича Лермонтова «Герой нашего времени». Требуется имя Печорина. Как звали Печорина. Имя. На размышление двести секунд. Размышление начинается.

...200, 199, 198, 197...

От ликования Андрея не осталось и следа. Волна слепого ужаса, черной паники окатила его. Это хуже, лихорадочно думал он. Это *гораздо* хуже! Как же его звали-то? Печорин... Грушницкий... Они ведь там все только по фамилиям... Княжна Мэри... Или только по именам, без фамилий... Еще там был какой-то капитан... штабс-капитан... Иван... Иван...

...146, 145, 144, 143...

С этими фамилиями мне всегда не везло... Тогда еще историк взял да и спросил меня: «Какая фамилия у Петра Первого?» А я ляпнул сдуру: «Великий!..» Беда! Что делать-то? Ведь выставят сейчас, как пить дать выставят...

...119, 118, 117, 116...

Постой-ка... А, все равно терять нечего. Андрей Т. спросил противным сварливым голосом:

— А что это у вас Лермонтов Юрий Михайловичем заделался, когда он всегда был Михаил Юрьевич?

На дисплее число 103 вдруг застыло в неподвижности. Комната бешено застрекотала и загудела, и разразилось такое хлесткое щелканье, словно принялся работать кнутами целый полк пастухов. На дисплее побежали длинные очереди бессмысленных семерок, погасли и сменились словами:

— ЛЕРМОНТОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ НЕ НЕ НЕ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ НЕ НЕ

НЕ ВТОРОЙ ВОПРОС НЕ КОРРЕКТЕН НЕ НЕ НЕ ВТОРОЙ ВОПРОС  
ОТМЕНЯЕТСЯ БЕЗ ЗАМЕНЫ БЕЗ БЕЗ БЕЗ СВОЙ МАГНИТНОЙ ЛЕНТЫ СВОЙ  
МАГНИТНОЙ ЛЕНТЫ...

Ага! Андрей Т. снова воспрянул духом. Заело! И без замены! Попалось Ведро. «Сбой магнитной ленты» — это было Андрею знакомо. Не зря же папа занимается в своем СКБ конструированием электронно-вычислительных машин, а мама в своем НИИ на этих машинах работает. Опять эти сбои замучили, жалуется, бывало, мама, а папа неодобрительно ворчит и советует переходить на машину ЕС-1020, где можно легко обходиться без всяких магнитных лент...

Звуковой кавардак в комнате внезапно стих, и ВЭДРО по-прежнему торжественно и важно произнес:

— Третий вопрос формулируется! Дано: гиперболоид инженера Гарина. Требуется изложить принцип его действия. На размышление двести сорок секунд. Размышление начинается.

На дисплее вспыхнуло число 240, а Андрей Т. озадаченно закусил ноготь.

Книгу он знал хорошо, а некоторые места из нее знал даже наизусть. Но вот как раз то место, где Гарин объясняет Зое устройство аппарата, он как-то не любил. Вернее, не очень любил. Читал, конечно, и не один раз, и схему разглядывал, аккуратный такой чертежик... Теперь бы вспомнить только. Тепловой луч. Инфракрасный луч. «Первый удар луча пришелся по заводской трубе...» И дальше: «Луч гиперболоида бешено плясал среди этого разрушения...»

...221, 220, 219, 218...

Спокойствие. Главное — спокойствие. Что мы там имеем? «Луч из дула аппарата чиркнул поверх двери — посыпались осколки дерева». Еще «Пенсне все сваливалось с мокрого носа Роллинга, но он мужественно стоял и смотрел, как за горизонтом вырастали дымные грибы и все восемь линейных кораблей американской эскадры взлетели на воздух...» Не то, но все равно прекрасно. Мокрый нос Роллинга... Ключ мне нужен, ключ, а не мокрый нос!

...187, 186, 185, 184...

«То-то! Идея аппарата проста до глупости...» Это я знаю, что она проста... «В аппарате билось, гудело пламя...» Это я тоже знаю. О чем это он тогда с Зоей?.. Пирамидки. Гиперболоид из шамонита. Так я и не собрался узнать, что такое этот шамонит... Стоп! Гиперболоид вращения, выточенный из шамонита! Пирамидки! Микрометрический винт! Гиперболическое зеркало! Ура!

...153, 152, 151, 150...

Теперь сформулируем. Спокойненько сформулируем, не спеша. Да, тут Ведро опять маху дало. Просчиталось Ведро. Не учло нынешний уровень. У нас все эти гиперболоиды, фотонные ракеты и прочие машины времени от зубов отскакивают, мы их как орешки щелкаем, они нам что братья родные!

Андрей Т. с шумом выдохнул воздух, дождался, пока на дисплее появилось число 100 (для ровного счета), и принялся со вкусом и обстоятельно описывать принцип действия и устройства аппарата для получения инфракрасных лучей большой мощности, известного под названием «гиперболоид инженера Гарина».

Он увлекся. Он говорил с выражением. Он декламировал излюбленные отрывки. Он щедро показывал руками и даже пытался расхаживать взад и вперед в тесноте между шкафами-ящиками. И дивное дело! — по мере того, как он рассказывал, все медленнее мигали круглые лампочки, все тише делались шумы, угасали запахи, и становилось как будто все прохладнее. Когда же он с особенным наслаждением и во всех подробностях описал бронзовое кольцо с двенадцатью фарфоровыми чашечками для установки пирамидок из смеси алюминия и окиси железа (термит) с твердым маслом и желтым фосфором, ВЭДРО замер и затих окончательно. Возможно, заснул, а то и просто застыл с разинутым от изумления ртом.

Андрей Т. подождал немного и сказал:

— Ну?

На дисплее появилась и погасла одинокая семерка. Затем не понеслись, обгоняя друг дружку, не побежали чинно, а побрели вразнобой на дисплее светящиеся слова:

— ТРЕТИЙ ВОПРОС ОТВЕТ ВЕРЕН ВЕРЕН ВЕРЕН ОТВЕТ ВЕРЕН ГРАНИЦА ВЕРНОСТИ РЕАЛЬНОСТЬ ГИПЕРБОЛОИДА МИКРОМЕТРИЧНОСТЬ ВИНТА ЖЕЛТИЗНА ФОСФОРА ОСМЫСЛЕНО ВЕРНО ВЕРНО ВЕРНО ОСМЫСЛЕНО...

Читая по складам эту бредятину, Андрей Т. ликовал и злорадствовал. Обалдело Ведро! То-то же, знай наших! Видно, даже попрощаться не придется...

И опять преждевременно было его ликование. Вновь вспыхнули и замигали россыпи круглых лампочек, вновь вокруг зашелестело, застрекотало, защелкало, и ВЭДРО как ни в чем не бывало бодро объявил:

— Конец первого этапа. Второй этап начинается. Школьник Андрей задает мне три любых вопроса, я отвечаю на них правильно, конец второго этапа, конец испытания. Школьник Андрей возвращается домой, к мамочке. Доложите осмысление информации о втором этапе.

У школьника Андрея отвис подбородок.

— Это как так — к мамочке? — ошеломленно произнес он.

На дисплее побежала надпись:

— БЕЗ ОТВЕТА ВОПРОС РИТОРИЧЕСКИЙ БЕЗ ОТВЕТА БЕЗ БЕЗ БЕЗ...

— Это как так — к мамочке! — возопил возмущенный Андрей Т. — Мне не надо к мамочке! Мне не надо домой! Мне надо к Генке! Меня Генка ждет на подмогу! Это нечестно! Я на все вопросы ответил!

ВЭДРО снисходительно прогудел:

— Дополнительная информация, разъяснение. Даже тот Желающий Пройти, кто успешно выдержал первый этап испытания, пропускается только в том случае, если я не сумею, не смогу, окажусь не в состоянии правильно ответить хотя бы на один вопрос из трех вопросов, заданных им мне на втором этапе. Поскольку вероятность такого случая теоретически исчезающе мала, а практически равна нулю, второй этап испытания рассматривается как формальная процедура, предшествующая возвращению Желающего Пройти восвояси. Доложите осмысление дополнительной информации.

— Осмыслил, — мрачно сказал Андрей Т. Он чуть не плакал от обиды. — Ну а

если я все-таки задам такой вопрос, что вы не ответите?

— Невозможно, — высокомерно отозвался ВЭДРО. — Я всемогущ. Во всем, что касается вопросов, ответов, загадок, задач, проблем, теорий, гипотез, придумок и задумок, я всемогущ.

— А все-таки?

— Никаких «все-таки» быть не может. Я всемогущ.

Бороться и искать, найти и не сдаваться!

— Мало ли что всемогущ, — тоном Неверующего Фомы возразил Андрей Т. — А если всемогущ, то вот, пожалуйста. Первый вопрос: как мне отсюда попасть к Генке?

Ответ упал, подобно удару сабли:

— Никак.

А на дисплее побежало:

— ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОДВЕРГНУТ ОТВЕТУ НЕЙТРАЛИЗОВАН ОТВЕТ  
ВЕРЕН ВЕРЕН ВЕРЕН ОТВЕТ ВЕРЕН...

Андрей Т. в отчаянии закусил губу. Не вышло... Он кое-что смыслил в электронных машинах. Если у этого Ведро достаточно обширная память (стоит только посмотреть на эти шкафы-сундуки) и приличное быстродействие, то его ведь и в самом деле ничем не проймешь. То есть наверняка есть на свете загадка, которую не знает даже эта железная скотина, но пока додумаешься до этой загадки — состаришься. А вопросов всего три... даже два уже только...

— Бросьте вы это, молодой человек, — произнес у него над ухом странно знакомый голос.

Он обернулся и увидел рядом давешнего то ли сторожа, то ли вахтера в ватнике и с берданкой под мышкой. Овчарки при нем не было.

— Разве его одолеешь? — продолжал сторож-вахтер, безнадежно махнув рукой. — Он же здесь для того и поставлен, чтобы Желающих Пройти заворачивать. Его пронять никакой возможности нет. Здесь ведь как? Хоть рыбы не есть, зато и в воду не лезть. А вы все о друге хлопчете, о Генке своем. Друг с тобой, знаете ли, как рыба с водой: ты на дно, а он на берег. Да и это бы ничего, но только здесь вам не отломится, нет. Не ступай, собака, в волчий след — оглянется, съест.

Тут только, к своему огромному изумлению, Андрей Т. узнал в вахтере Коня Кобылыча. Правда, со времени их последнего свидания Конь Кобылыч как будто слегка поусох и съезжился, но это был, несомненно, он, беспардонный болтун и оппортунист.

— Так что послушайте доброго совета, — бубнил Конь Кобылыч, — заканчивайте здесь. Ну, задайте ему для проформы вопросики попроще... дважды семь там... или, скажем, куда девается земля, когда в ней дырка... он вам ответит, распрощаетесь вы по-доброму и — домой, в постельку, к мамочке...

— Сгиньте вы! — дрожа от ярости, просипел Андрей Т.

И Конь Кобылыч сгинул.

Вопрос, вопрос, мучился Андрей Т. ...Где же мне взять вопрос? Может, дать ему

доказать какую-нибудь теорему? Из тех, о которых галдит старший брат-студент со своими лохматыми приятелями. Как ее... проблему Гольбаха, например, или эту... о бесконечном количестве пар... Нет, не годится. Во-первых, а вдруг докажет? А я ведь даже проверить не сумею, правильно или нет. Гм... Нет, умными вопросами машину не испугаешь. Умными... Тут все дело в том, что правильно поставленный вопрос уже содержит в себе половину ответа (из очень давней речи папы по поводу страданий над забытой ныне арифметической задачей). А неправильно поставленный? Что если вопрос поставить неправильно? Гм... Как бы это его поставить...

— Почему у кошки пять ног? — выпалил Андрей Т.

ВЭДРО не снизошел до ответа голосом. На дисплее побежали слова.

— ВОПРОС НЕ ВОПРОС НЕКОРРЕКТЕН СОДЕРЖИТ ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЛОЖНУЮ ОТВЕРГАЕТСЯ ОТВЕРГАЕТСЯ ОТВЕРГАЕТСЯ...

Честно говоря, Андрей Т. ожидал чего-то вроде этого, но немедленно изобразил негодование.

— Как это так — отвергается? — вскричал он. — Нечестно! Сами же говорили, что всемогущий! А раз всемогущий, должны на любой вопрос...

— Разъясню! — веско провозгласил ВЭДРО. — Дополнительная информация. Всемогущий Электронный Думатель, Решатель и Отгадыватель отвечает верно, правильно на любой корректно поставленный вопрос. Он отвергает все вопросы некорректные, то есть содержащие заведомо ложную информацию, типа «Почему у привидений короткая стрижка?». Он не отвечает на вопросы, имеющие эмоциональную подоплеку, типа «Почему да отчего на глазах слезинки?». Он оставляет без внимания вопросы, содержащие неопределенность, типа «В чем смысл жизни?». Он игнорирует риторические вопросы типа «Иван Иваныч, вы ли это?». Восклицание «Нечестно!» — отмечается. Заявление «Сами же говорили, что всемогущий!» — подтверждается. Разъяснение закончилось. Второй этап продолжается.

— Все равно — нечестно, — проворчал Андрей Т.

Он понял, что дело дрянь. Вторая попытка обвести вокруг пальца хитроумное Ведро провалилась тоже. Ну, и с чем же мы теперь остались? Задачи ему давать бессмысленно. Если и есть на свете задачи, которых ему не решить, то я их не знаю и придумать не сумею. Дурацкие вопросы он отмечает. И прямо скажем, правильно делает. Я бы на его месте тоже отметил. Поэтому остается... что? Вернуться к себе и лечь в постельку. Я буду в постельке нежить свою ангину, а Генка будет гибнуть и пропадать. Очень мило.

Все горе ведь в чем? Всемогущий. Значит, все может. *Все* задачи. *Все* вопросы. *Все* загадки. *Все* теоремы...

Постой-постой! Кто-то что-то мне про это говорил. То ли мне, то ли при мне... Неважно. Что же это было? Ага. Что со словом «все» должно быть связано какое-нибудь исключение, а иначе получается парадокс... Парадокс! Ну, держись, Ведро! Всемогущий? Я тебе покажу всемогущество, ты у меня попляшешь. Сейчас... Сейчас... Ага! Только надо сначала его подготовить. И Андрей Т. вкрадчиво осведомился:

— А можно, я спрошу просто так, не в порядке? Я не все понимаю и хотел бы уяснить...

— Разъяснение? — весело рявкнул ВЭДРО. — Готов!

— Значит, вы можете ответить на любой корректный вопрос...

— Да.

— И можете решить любую задачу...

— Да!

— И можете придумать любую задачу и любой вопрос...

— Да!

— Любой-любой? Любую-любую?

— Да! Да! Да! Всемогуц! Думаю, придумываю, решаю! Думаю, загадываю, отгадываю! Всемогуц!

— Прекрасно, — произнес Андрей Т., задыхаясь от возбуждения. — Отлично. От скромности вы не умрете.

Хвастливое Ведро секунду молчало, а затем объявило высокомерно:

— От скромности не умирают. Скромность не смертельна. Кроме того, я вообще бессмертен.

— С чем вас и поздравляю, — сказал Андрей Т. — А теперь разрешите вопросик уже в порядке.

— В рамках второго этапа испытания?

— Да. В рамках.

— Готов!

— Вопросик, — проговорил Андрей Т. и изо всех сил стиснул кулаки, чтобы не трястись. — Такой, значит, вопросик. Дано: вы можете придумать любой вопрос. Требуется ответить: можете ли вы придумать такой корректный вопрос, на который сами же ответить не сможете?

ВЭДРО сейчас же гаркнул:

— Да!

На дисплее справа налево понеслись светящиеся слова:

— ВТОРОЙ ВОПРОС ПОДВЕРГНУТ ОТВЕТУ НЕЙТРАЛИЗОВАН ОТВЕТ  
ВЕРЕН ВЕРЕН ВЕ...

И в ту же секунду ВЭДРО столь же горделиво и уверенно гаркнул:

— Нет!

И немедленно тоном ниже:

— Да.

И тут же почти уже робко:

— Нет...



На дисплее началась каша. Натыкаясь друг на друга и болезненно дергаясь, то пускаясь вскачь, то едва ползя, двигались там такие примерно строки:

— НЕЙТРАЛИЗДОТВЕТ 7777 НЕТ ОТВЕТРГНУТВОПР ДА 777 ДНЕТНДА  
ВЕРНЕВЕРВЕТ НГУЖ...

Андрей Т. рыдал от счастья. Можно было представить себе, что сейчас творится в электронных кишках этого самодовольного идиота! Анализируя начало коварного вопроса, Ведро обнаруживало ключевое выражение «можете ли» и по своему всемогуществу немедленно отвечало «да». Но через долю секунды в анализатор поступало выражение прямо противоположное: «сами же... не сможете», и приходилось все по тому же всемогуществу отвечать «нет». И не было этому конца.

ВЭДРО отчаянно боролся с этой логической икотой.

— Да! — хрипел он. — Днет! Нда! Данетданеда! Днднет! Ндет! Нечестно! Дандн!..

Включились и беспорядочно замигали все круглые лампочки, сколько их было. Во всех шкафах-сундуках бешено хлестали перематываемые магнитные ленты. Панически гудела, набирая обороты вентиляторов, система охлаждения. А на дисплее уныло, словно осенние мухи, ползали вокруг странного слова «БНДЭЩ» покосившиеся семерки...

— Ндюк!.. — из последних сил выкрикивал ВЭДРО. — Амндгу!..

Потом лязгнул ржавый замок, и распахнулись настезь низкие дубовые ворота, пропуская в комнату поток радостного солнечного света и свежего воздуха. Протрусил и скрылась поджавшая хвост овчарка. И прошел между рядами шкафов-ящичков с деловым видом Конь Кобылыч, но уже без берданки, в черном рабочем халате и в очках с мощной оправой, похожий на физика-теоретика из какого-то кинофильма. Он удалился в дальний угол комнаты, чем-то там щелкнул, и ВЭДРО, прощально гукнув, смолк. Наступила тишина.

— Опять тебя, родимого, зациклило, — произнес Конь Кобылыч с состраданием. — Ума много, а толку мало... Эхе-хе-хе-хе!..

Андрей Т. спохватился и взглянул на светящийся циферблат. А взглянув, не поверил своим глазам. Черные стрелки показывали двадцать три часа двадцать одну минуту! Всего пять минут прошло с тех пор, как он начал подъем по скобяной лестнице!

— А чего тут удивительного, — донесся до него голос Коня Кобылыча. — Записывали вас на большой скорости, а пускали на нормальной!..

Андрей Т. не стал спрашивать, что это означает. Придерживая за пазухой Спиху, он поспешно вышел наружу.

Он стоял в самом центре площади, посыпанной чистеньким красноватым песком, круглой и совершенно ровной, как пол в зале с белесой дымкой. Вовсю светило солнце, и это было странно в такой близости от новогодней полуночи, хотя в то же время казалось и вполне естественным, как и несколько Лун в различных фазах, разбросанных по разным участкам голубого неба. Площадь правильным кольцом окружали стоящие друг к другу впритык хорошенькие разноцветные павильоны, причем над входом в каждый павильон красовалась художественно выполненная вывеска.

— ФИЛУМЕНИСТЫ, — читал Андрей Т., медленно поворачиваясь на пятках, — ФИЛОКАРТИСТЫ, НУМИЗМАТЫ, БОНИСТЫ...

Он нимало не сомневался, что уж теперь-то бедствующий Генка пребывает где-то совсем поблизости, он даже как будто бы слышал уже и голос его, по-прежнему зывающий о помощи, он просто знал, что отсюда до Генки рукой подать, но неизвестно было, в какую сторону подавать эту руку. Вспыхнула надежда на справочное бюро, и вот среди множества художественно выполненных вывесок он искал вывеску справочного бюро.

Но очень скоро ему стало ясно, что такой вывески он здесь не найдет. Не место здесь было справочному бюро. Не могло здесь быть и милиции, и газетного киоска, и зеленой лавки. Здесь были только учреждения (возможно, клубы?), где лелеют все мыслимые хобби, страсти, страстишки и увлечения человека. Были павильоны для вполне понятных АВИАМОДЕЛИСТОВ и для смутно знакомых ТИФФОЗИ, и для вовсе непонятных ГУРМАНОВ. Были для МЕЛОМАНОВ, были для БИБЛИОФИЛОВ, даже для АЛКОГОЛИКОВ и НАРКОМАНОВ были, хотя, казалось бы, кому в здравом уме и трезвой памяти могло взбрести в голову держать открытый притон для алкоголиков и наркоманов?..

Андрей Т. уже ощутил подступающее отчаяние, когда взгляд его остановился на вывеске ФИЛАТЕЛИСТЫ. И ему сразу стало легче и веселее. Филателисты — это все-таки нечто близкое, это не какие-нибудь тиффози или бонисты. Андрей Т. сам был филателист, а филателист филателисту не волк, не алкоголик какой-нибудь. Филателист всегда объяснит филателисту, как добраться до страждущего друга. Лучше справочного бюро объяснит. И Андрей Т. со всех ног припустил через площадь к яично-желтому павильончику под вывеской ФИЛАТЕЛИСТЫ.

Конечно, филателистом он был еще молодым, не очень опытным. Многие тайны этого почтенного хобби еще оставались для него за семью печатями, однако основные законы филателии были ему уже знакомы. Прилежное изучение журнала «Филателия СССР», ежегодника «Советский коллекционер», а также измусоленного, давно утратившего обложку французского каталога Ивера принесло свои плоды. Во всяком случае, главное он знал: а) самая красивая марка — это еще не самая ценная; б) самая ценная марка — не обязательно самая интересная; в) простое обрезание у марки зубцов не превращает ее в редкую беззубцовую разновидность.

В павильоне Андрея обступила тишина, прохлада и приятная полутьма. Вдоль стен высились застекленные шкафы, стеллажи и витрины, уставленные альбомами и кляссерами. Альбомы и кляссеры были в приятном беспорядке разбросаны по поверхности длинного стола посередине. Альбомы и кляссеры громоздились на табуретах и стульях. Десятки и сотни альбомов и кляссеров! Может быть, тысячи!.. Андрей Т. даже не представлял себе, что такое может быть, хотя и знал, конечно, из литературы, что за последние полтора века в мире выпущено около миллиона марок...

Не помня себя, он приблизился к столу и раскрыл наугад один из больших кляссеров. Кровь ударила в лицо, закружилась голова, его бросило в жар: кляссер был набит «цеппелинами». И не подумайте, здесь были далеко не только марки, посвященные межконтинентальным перелетам дирижабля «Граф Цеппелин», ничего подобного! Здесь были собраны все марки всех стран с изображениями дирижаблей — именно так собрал бы их сам Андрей Т., если бы был он не школьником восьмого

класса, а небольшим государством с развитой промышленностью и со статьей бюджета, предусматривающей пополнение и углубление государственных коллекций.

Здесь были «цеппелины» Италии и «цеппелины» Лихтенштейна, «цеппелины» Парагвая и редчайшие «цеппелины» США, знаменитые немецкие «Поляр Фарт» и «Зюд-америка Фарт», здесь были великолепные советские серии, посвященные дирижаблестроению, и все разновидности «Малыгина», и легендарные конверты, доставленные дирижаблем ЛЦ-127 из Ленинграда в бухту Тихую, а оттуда ледоколом «Малыгин» в Архангельск, со всеми сопроводительными штампами, штемпелями и отметками...

Андрей Т. восседал в удобном высоком кресле, и в одной руке у него была большая филателистическая лупа, а пальцы другой сжимали специальный, удобно изогнутый филателистический пинцет, и настольная лампа с козырьком заливала страницы кляссера ярким матовым светом, и он листал и рассматривал, рассматривал и изучал, изучал и смаковал, и мир стал тесным, теплым и необыкновенно уютным — не было в этом мире ничего, кроме круга света и красоты марок, сверкавших, словно драгоценные камни.

Впрочем, был в этом мире еще Комментатор. Но он скромно оставался в тени, за границей яркого круга, и он был услужлив, ненавязчив и полезен. Не надо было шарить по страницам новенького наисовременнейшего Ивера — страница с искомой серией раскрывалась как бы сама собой, и только мелькала на мгновение ловкая смуглая рука. Не надо было копаться в горах справочной литературы — негромкий доброжелательный голос без задержек сообщал все самое интересное о каждой марке, о каждом конверте, о каждом спецгашении. Не надо было тянуться за очередным кляссером — он сам бесшумно выскакивал из темноты, направляемый и раскрываемый все той же ловкой смуглой рукой.

— Беззубцовые «цеппелины»! — восклицал потрясенный Андрей, и мягкий доброжелательный голос немедленно подхватывал:

— Совершенно верно. Причем обратите внимание — угловые экземпляры, огромные поля...

— И без наклеек!

— В идеальном состоянии.

— Не фальшивки?

— Ни в коем случае. Взгляните в лупу. Видите? Растровая сетка — квадраты, между тем как у фальшивок растровая сетка — точки...

Но вот наступил момент, когда «цеппелины» исчерпались, и тогда Комментатор предложил мягким голосом:

— Может быть, вас интересует тема «Космос»?

— Ну... это же просто раскрашенная бумага... — неуверенно возразил Андрей Т., повторяя заявление кого-то из собратьев-филателистов.

— В каком-то смысле, безусловно, да, — согласился Комментатор. — Торговцы марками ловко используют популярность этой темы для обдeldывания своих сомнительных делишек... И все-таки не откажитесь взглянуть.

Да, здесь было на что взглянуть! Яркие, словно тропические бабочки, серии Экваториальной Гвинеи... Потрясающие воображение стереоскопические блоки Бутана... Тяжелые, словно медали, чеканные марки молодых африканских республик, выполненные на золотой фольге... пиршество красок, буйство фантазии... Здесь был даже один из знаменитых сувенирных листков с изображением Юрия Гагарина, побывавших с космонавтом Георгием Гречко на борту «Салюта»! Все автографы всех космонавтов! Марки «Лунной почты»!..

— А вот взгляните-ка на этот конверт... — говорил и показывал всезнающий и доброжелательный Комментатор. — А вот обратите внимание: редкая типографская ошибка в дате — 1999 вместо 1969...

Альбомы и кляссеры сменялись кляссерами и альбомами, они следовали один за другим непрерывным и неиссякаемым потоком, и вот постепенно какое-то смутное беспокойство начало овладевать Андреем.

Почему все темнее становилось вокруг, и все ярче разгорался манящий круг света, в котором возникали все новые сокровища? Почему пинцет как будто сам собой тянулся к очередному шедевру, а лупа словно бы так и ловчилась, чтобы получше увеличить и выявить тонкий нюанс? И почему все никак не удавалось разглядеть в сгущающемся сумраке доброжелательного и всезнающего Комментатора?.. И Спиридон, Спидлец, старый верный Спиха! Как это ты очутился там, на самом далеком шкафу в самом темном углу? Что вообще происходит?

Генка!

Андрей Т. положил лупу и пинцет и рывком отодвинулся от стола вместе с креслом.

— Извините, — пробормотал он. — Я очень вам благодарен, конечно...

— Вы еще не видели самого интересного, — мягко остановил его Комментатор. — Классика! Вы ведь знаете, что такое классика, не правда ли? Старая Германия, Черный Пенни в листах, Британские колонии...

— Все это, конечно, страшно интересно, — виновато пробормотал Андрей Т. и встал. — Но тут такое дело... Я очень спешу... И кстати, не могли бы вы мне сказать...

— Вы не понимаете, — проникновенно и внушительно произнес Комментатор. — Мне следовало еще раньше объяснить вам... Это не рядовой просмотр, молодой человек. Это *дарительный просмотр* ! Для пятидесятитысячного посетителя! Вам разрешается выбрать себе любую марку! Такое выпадает раз в жизни...

Андрей Т. впервые повернулся к нему лицом к лицу.

— Дело в том... — начал он и остановился, разинув рот.

Ну конечно же, это опять был Конь Кобылыч! Он совершенно уже усох, он сделался настоящим карликом, черным карликом с ослепительно белой манишкой и ослепительно белыми манжетами, но это, несомненно, был тот самый Конь Кобылыч!

— По... послушайте... — заикаясь, проговорил Андрей Т. и отступил на шаг.

— Да! — нестерпимым голосом взвизгнул Комментатор Конь Кобылыч. — Да, это я! Но какое это имеет значение? А *это* вы видели?

Рука его, сверкнув манжетой, шестиметровой молнией метнулась во тьму,

выхватила из нее и грохнула на стол в круг света плоский металлический ящик с четырьмя секретными замками разных систем.

— Это вы должны увидеть, молодой человек... — сипел Конь Кобылыч, торопливо нажимая клавиши, набирая цифры на миниатюрном телефонном диске, чем-то щелкая, клацая и стрекоча. — Это мало кто видел, а вы сейчас увидите... И может быть, не только увидите... Как пятидесятитысячному посетителю... Ваше право... Конечно, придется выполнить целый ряд формальностей... Вот, прошу вас!

Крышка стального ящика откинулась. На черном бархате под плитой броневое стекло в отсветах лампы лежала *она*.

Единственная. Неповторимая. Уникальная. Фантастически знаменитая.

— Розовая Гвиана! — благоговейно прошептал Андрей Т.

— Она! — сверкая глазами, подтвердил Конь Кобылыч.

— Но ведь ее нет даже в Британской Королевской Коллекции!

— А у нас есть!

— Обалдеть можно... — жалобно простонал Андрей Т.

И наступила Тишина Почтительного Созерцания.

Нет, лучше скажем так. Указанная Тишина попыталась наступить, но у нее ничего не получилось.

Вмешался забытый Спиридон. Вмешался негромко, но самым решительным образом. Он запел незамысловатую песенку, от которой у Андрея всегда почему-то бежали мурашки по спине и становилось грустно и весело одновременно. Это была песенка о Веселом Барабанщике, всего лишь о барабанщике, но Спиридон пел ее от души, и получалось как-то так, что дело не только в том, что Веселый Барабанщик в руки палочки кленовые берет. Главное, оказывается, в том, что мир огромен и сложен, и дел в этом мире у человека невпроворот, что жизнь коротка, а Вселенная вечна, и смешно тратить свои лучшие годы на ерунду, а любая марка, даже самая знаменитая, есть всего-навсего кусочек раскрашенной бумаги, и стоит она никак не больше, чем пачка других раскрашенных кусочков бумаги, которую предложат за нее на распродаже...

Но взглядишь — и ты увидишь,  
Как Веселый Барабанщик  
С барабаном вдоль по улице идет... —

пел Спиридон, и Андрей, сдерживая накипающие слезы, слушал его и давал себе слово больше никогда, никогда...

Почтительное Созерцание не состоялось. Даже не бросив на Розовую Гвиану прощального взгляда, Андрей Т. молча двинулся вдоль стола в самый темный угол, чтобы взять Спиху в свои хозяйские руки и прижать к своей хозяйской груди. Он уже подошел к шкафу, когда за спиной его раздался нечеловеческий каркающий звук. Он обернулся, и в то же мгновение Конь Кобылыч выхватил из-под мышки лазерный пистолет. Ослепительный луч просек темноту над головой Андрея и вонзился прямо в грудь транзисторному менестрелю.

Андрей Т. задохнулся от ужаса, а Спиридон жалобно пискнул на полуслове и

замолк. Посередине шкалы диапазонов у него тлело, остывая на глазах, раскаленное вишневое пятно.

— Это подло! — закричал Андрей Т. Он сорвал Спиридона со шкафа и спрятал за спину. — За что? Что он вам сделал?

Конь Кобылыч стоял на другом конце стола и смотрел на него, выставив вперед отвратительную физиономию.

— Иди! — просипел он. — Иди и сдохни!

— Скотина вы, — сказал Андрей Т. — Такой приемник загубили, такого певуна...

Ему и самому было немножко странно, что он не испытывает никакого страха перед этим фантастическим мерзавцем с фантастическим оружием. Ему было только горько за Спиху, тревожно за Генку и досадно за потерянное время. Но зато он знал теперь, куда идти: шкаф медленно повернулся на невидимой оси и открыл проход в промозглую ржавую тьму.

Место было совершенно непонятное. Андрей Т. шагал по железным решетчатым галереям и время от времени спускался по крутым железным же трапам. Решетки галерей и ступеньки трапов были ржавые и мокрые. Справа тянулась мокрая шершавая стена. Слева тянулись мокрые ржавые железные перила. За перилами была непроглядная пропасть, и, на сколько хватал глаз, ничего больше не было. Сверху, сквозь переплетения балочных и решетчатых конструкций, тоже, несомненно, железных, ржавых и мокрых, сочился жиденький ржавый свет. Всё. Сначала Андрей Т. решил, что попал в какую-то необычную шахту, потом подумал о внутренностях старого океанского лайнера, потом представил себя в заброшенной тюрьме и в конце концов перестал думать об этом вообще.

В стене справа изредка попадались мокрые ржавые железные двери с разнообразно-однообразными надписями типа «Пожарный выход». Или: «Выход здесь». Или: «Входа нет. Выход». Или даже: «А вот и выход». Один разок из чистого любопытства Андрей Т. приоткрыл дверь с надписью «Самый простой выход из» и полюбовался спящим дедушкой, после чего закрыл дверь плотнее, вытер руку о штаны и пошел дальше, более не останавливаясь. Впрочем, чем дальше он шел, тем чаще стали попадаться двери либо заставленные штабелями пустых ящиков, либо заваленные какими-то швабрами и лопатами, либо просто забитые крест-накрест досками. Возможно, это свидетельствовало о том, что противник уже отказался от попыток остановить Андрея Т. путем запугивания, дезинформации и подкупа. Если это так, то теперь Андрею предстоял открытый бой.

Тут была одна трудность: у него не было собственного опыта настоящих боев. Участия в случайных кампаниях после уроков в качестве сражателя или сражаемого считать за опыт в нынешних обстоятельствах, очевидно, не стоило. Правда, на первый взгляд, он мог бы опереться, с одной стороны, на боевой опыт дедушки-подполковника, а с другой — на обширный материал, вычитанный в батальной литературе и высмотренный в кино. Однако, если судить по дедушкиным рассказам, наука побеждать сводилась главным образом к науке обеспечивать свои войска в достаточных количествах боепитанием и пищевым довольствием, что опять-таки мало подходило к обстоятельствам. А из литературы и кино Андрею, как на грех, ничего сейчас не вспоминалось, кроме отчетливой, но довольно бесполезной

фразы: «Наступать! Наступать! Они уже выдыхаются!»

Одним словом, как ни верти, наиболее разумным представлялось следующее: приостановить стремительное продвижение, попытаться собрать информацию о противнике, спокойно оценить обстановку и тогда уже действовать в соответствии. И он стал охотно замедлять шаги и через минуту остановился, прижимая локтем к боку навеки умолкшего Спиридона, и вдруг увидел перед собой Генку.

— Генка... — прошептал Андрей Т., не веря глазам.

Абрикос был совершенно таким же, каким он видел его в последний раз, когда они прощались после школы «до следующего года», — в распахнутой настежь кожаной куртке, с голубой сумкой Аэрофлота через плечо, со снежинками в волосах на непокрытой голове, и решительно не похоже было, что он терпит какое-то бедствие.

— Генка! — заорал Андрей Т. вне себя от радости. — Ура! Бежим!

— Я не Генка, — виновато произнес Генка.

Андрей Т. заморгал. Он увидел, что да, это, пожалуй, действительно не Генка. Вернее, не совсем Генка. Во-первых, настоящий Генка никогда не говорил виновато, просто не умел. Во-вторых (и это показалось Андрею главным), этот Генка просвечивал насквозь. Правда, не очень сильно, а так, слегка. Читать сквозь него газету было бы, наверное, затруднительно, но вот смотреть телевизор, например...

— А... а кто же ты... вы? — растерянно спросил Андрей Т.

— Я — Напоминание, — ответил прозрачный Генка и смущенно усмехнулся.

Это смущение было легко и понять, и простить. Действительно, смешно и неловко называть себя Напоминанием, если ты огромен, как танк, имеешь толстые румяные щеки, густые и кудрявые (оч-чень попсовые!) волосы до плеч и пусть тщательно скрываемый, но вполне различимый прыщ на лбу. Но вот чего нельзя было простить, так это бьющего в глаза намека, который был, несомненно, заложен в столь лирическом имени.

— Напоминание? — проговорил Андрей Т., ошетиливаясь. — А кому же, интересно, это напоминание?

— Как это — кому? Тебе, конечно, — с дурной наивностью призрака ответил Генка-Напоминание.

— Ах, мне! — Андрей Т. понизил голос до шипения. — И кто же это просил тебя мне что-нибудь напоминать?

— Никто не просил.

— А если никто не просил, так чего же ты лезешь со своими напоминаниями?

— А ты чего?

— Чего — я чего?

— Чего ты тут затормозил? Испугался?

— Я испугался?

— Ты.

— Я?

— Ты.

— Я испугался?

— Я не знаю, испугался ты или не испугался, — пробормотал Генка-Напоминание, делаясь от неловкости еще прозрачнее. — Я только вижу, что ты затормозил, а времени до полуночи осталось всего ничего, вот я и...

— А тебя просили? — разозлился Андрей Т. — Тебя просили напоминать? Без тебя, думаешь, не помнят? Я в напоминаниях не нуждаюсь! Я без напоминаний сто лет обходился и еще сто лет обойдусь! Мне твои напоминания...

Тут он обнаружил, что разговаривает сам с собой, и замолчал, остывая. Шмыгнул носом и поправил Спиридона под мышкой. Покосился на темную пропасть за ржавыми перилами. Еще раз шмыгнул носом. Покосился на то место, где только что маячило Напоминание. И, не давая себе больше ни секунды на раздумья, ринулся вниз по гремящим железным ступенькам.

Он ураганом несся по дребезжащим решетчатым галереям, он обвалом ссыпался по гудящим трапам, он перемахивал через какие-то ящики и мешки, он проскальзывал под какими-то нависающими фермами, он был ловок, стремителен, могуч, упруг, гибок и неудержим. Не было ему преград ни в море, ни (тем более) на суше. Не были ему страшны ни льды, ни (смешно сказать!) неведомые хозяева этого ржаво-железного балагана. Даешь Генку! Была ясная цель, была стальная решимость этой цели достигнуть, и он не нуждался ни в каких позорных напоминаниях. Жаль, конечно, что нет в руках ракетного ружья или штурмового автомата, или, на худой конец, хотя бы боевого штатива, но ведь главное оружие — решиться!..

И вот он оказался на самой нижней галерее над самым последним трапом, и странная, наводящая оторопь сцена открылась перед ним.

Действие происходило на дне гигантской, метров пятьдесят диаметром, кастрюли с низкими, в лошадиный рост, железными стенками. На самой середине кастрюли возвышался Генка-Абрикос. Он стоял в знакомой до боли позе, расставив ноги, заложив руки за спину и угрюмо набычившись, как сотни раз стоял у доски, когда до такой степени не знал урока, что не мог даже пользоваться подсказками. Но Андрей Т. лишь мельком оглядел его, привычно отметив натренированным глазом и попорченную прическу, и подбитый глаз, и ссадины на костяшках. Все это было, конечно, очень интересно, однако по-настоящему внимание Андрея с первого же взгляда целиком поглотила удивительная публика, вольно расположившаяся у стены в левой части кастрюли на множестве кресел, стульев, диванов, кушеток и прочих седалищ. В течение первых секунд невероятная пестрота красок и форм в этой массе народа не давала Андрею сосредоточиться, и только постепенно обрел он способность выделять из нее отдельные фигуры.

Была там омерзительного вида старуха в сером штопаном балахоне, который вздымался у нее на спине двумя острыми горбами разной величины. Физиономия у нее тоже была серая, нос загибался ястребиным клювом, правый глаз горел кровавым огнем наподобие катафота, а на месте левого тускло отсвечивал большой шарикоподшипник, подбородка же у нее не было вовсе — торчали у нее там, на месте подбородка, растопыренные желтые зубы. Словом, это была такая старуха, что от нее надлежало бежать со всех ног, немедленно, стремительно и в бесконечность...



Был там страхолюдный толстяк в бесформенном костюме в красно-белую шашечку, распространившийся на четыре стула и половину тахты, целая гора нездорового ноздреватого сала. Лицо его общими очертаниями и цветом, а также выразительностью походило на небезызвестный первый блин, да вдобавок и не просто первый, а самый первый из всех блинов. Впрочем, при всей своей устрашающей наружности толстяк этот был, наверное, не из опасных противников, ибо все свои силы без остатка употреблял на то, чтобы не расползтись и не расплыться по полу...

И был там удивительный мужчина, похожий на покосившуюся вешалку для одежды. Он единственный из всей компании стоял, подпертый костылем спереди и двумя костылями по бокам, а на нем висело расстегнутое пальто горохового цвета, из-под которого виднелись: висящий до полу засаленный шелковый шарф, свободно болтающиеся полосатые брюки и шерстяной полосатый свитер, не содержащий внутри себя, как казалось, ничего, кроме некоторого количества слегка спертого воздуха. Сдвинутая вперед и набок широкополая шляпа скрывала почти все лицо его, так что видеть можно было только его узкий, лаково поблескивающий подбородок и торчащую далеко вперед узкую, лаково поблескивающую трубку.

И был еще там попсовый — нет, не просто попсовый, а прямо-таки забойный — молодой человек с длинными прямыми волосами, с одутловатым прыщавым лицом и с глазами столь красными и воспаленными, что они тут же вызвали воспоминание об уэллсовском Спящем, который проснулся, о куриной лапше, забытой на несколько дней на подоконнике в самое жаркое время года. Помещался он в массивном кожаном кресле, развалившись поперек на манер сыщика Пауля Дрейка, покачивая ногой, перекинутой через подлокотник и облаченной в задубевший от грязи клеш сверхъестественной ширины, копая в носу и то и дело поднося к свисавшей с губы сигарете роскошную зажигалку «Ронсон»...

И еще был там могучего телосложения хмырь без шеи, в пятнистой лиловой майке, замшевых штанишках выше колен и кедах на босу ногу, с бледной безволосой кожей, испещренной затейливой татуировкой, и с колоссальной щетинистой челюстью, которая непрерывно и весьма энергично двигалась. Словно перетирала попавшие в ротовую полость булыжники. Глаз и лба у этого типа почти что не было, во всяком случае, чтобы их заметить, требовалась известная сосредоточенность, зато у него были колоссальные, под стать челюсти, вилоподобные длани, и ими он в рассеянности сгибал и разгибал железный дворницкий лом...

Всего их там было не менее двух десятков, нехороших и разных, и все они поразительно отличались друг от друга формами и расцветками, словно бы принадлежали к различным зоологическим семействам, и в то же время в чем-то были схожи — наверное, в том, что самим обликом своим и повадками дружно и нагло бросали вызов распространенному мнению, будто бы в человеке все должно быть прекрасно, а потому, несомненно, составляли то неопределенное сообщество, которое принято называть дурной, или неподходящей, компанией. И странное дело, хотя каждый из них являл мерзопакость совершенно бредовую, однако у Андрея, остолбенело их разглядывавшего, шевелилось в глубине души ощущение, что они ему не совсем незнакомы, что где-то он их или таких же уже видывал — то ли на репродукциях картин знаменитых художников, то ли на иллюстрациях к книгам знаменитых писателей, а может быть, и в натуре, живьем, во плоти...

Вцепившись в мокрое железо перил, Андрей Т. понемногу приходил в себя,

оцепенение от первого шокового удара отпустило его, и он разом ощутил волны ледяного зловония, поднимавшиеся из гигантской кастрюли, услышал голоса, гулко раздававшиеся в этой железной бочке, и понял, что тут происходит.

Происходил допрос. Неподходящая компания допрашивала пленника, а пленником был не кто иной, как старый верный друг Генка по прозвищу Абрикос.

— Так что же, юноша, — произнес Удивительный Мужчина, подпертый костылями, — так и будем все время молчать?

— Он полагает, что мы тут собрались играть с ним в молчанку! — пропыхтел Самый Первый Блин и рассмеялся собственной шутке, от чего весь пошел волнами, как плохо застывший студень.

— В молчанку унд в гляделку, — добавил Красноглазый Юноша, поигрывая «Ронсоном».

— Уж полночь близится, а толку нет и нет, — брезгливо проговорил Недобитый Фашист в мундире без пуговиц и на деревянной ноге. — Сколько можно уговаривать этого молодчика? Обед проуговаривали, ужин проуговаривали...

— Дайте его мне, — свистящим шепотом предложил Хмырь с Челюстью, не переставая жевать.

— Помолчите, коллеги, — сказал Удивительный Мужчина, выбрасывая из трубки кольцо синего дыма, и снова обратился к Генке: — Как мне кажется, вы, юноша, все еще не осознали, что выхода у вас нет и говорить вам все равно придется...

— А он будет отвечать, — дребезжащим голосом проворковала Двугорбая Старуха. — Это он с вами, скверными дядьками и тетками, не хочет разговаривать, а мне он все расскажет. Ведь правда, моя лапочка? Ведь ты расскажешь милой доброй старушке-бабушке, как формулируется закон Бойля — Мариотта?

В ответ на этот странный и неожиданный вопрос Генка только едва заметно повел плечом, и тогда в дело вступила Эстрадная Халтурщица, располагавшаяся с ногами на диване и горстями жравшая шоколадную карамель из расставленных вокруг нее коробок. Утерев ладонью пасть, измазанную шоколадом и губной помадой, она решительно заявила:

— Если уж на то пошло, гораздо интереснее было бы выяснить схему промышленного производства серной кислоты. Да и лабораторная схема не помешала бы...

— Пусть он мне насчет квадратных уравнений все обскажет, не то я из него кишки вытяну и на барабан намотаю... — просвистел Хмырь с Челюстью, не переставая жевать.

— Позвольте, позвольте! — взревел Человек-Ишак, вскакивая и опрокидывая при этом свою табуретку. — Я ведь так ничего и не услышал о строении инфузории! И еще, мне так и не сказали, почему при смачивании лица одеколоном мы ощущаем охлаждение...

— Не смей без очереди! — рявкнул Недобитый Фашист и треснул деревяшкой об пол.

Тут почтенная компания чудовищ словно взорвалась. Разом разверзлись все два

десятка глоток, угрозы, проклятия и призывы к тишине и порядку смешались в сплошной нечленораздельный гам, железные стены гигантской кастрюли загудели, и затряслась даже решетка галереи, на которой стоял Андрей Т. Уже Недобитый Фашист схватился врукопашную с Человеком-Ишаком, уже Двугорбая Старуха вцепилась с яростью в патлы Эстрадной Халтурщицы, уже Хмырь с Челюстью (не переставая жевать) с угрожающим видом поднял над головой лом... Но вот Красноглазый Юноша, так и не покинувший своего кресла, отделил от губы сигарету, сунул в рот два пальца и издал оглушительный свист, от которого у Андрея засвербило в ушах. И столпотворение в кастрюле мгновенно утихло.

— Продолжайте, — сказал Красноглазый Удивительному Мужчине.

Тот выпустил в гнусный воздух кастрюли два синих дымовых кольца и вытянул в сторону Генки длиннющий костлявый палец.

— Отвечайте, юноша, и не медлите, — произнес он. — Какие страны играют ведущую роль в мировом производстве хлопчатобумажных тканей?

Генка молчал.

— Каков удельный вес США в производстве электроэнергии развитых капиталистических стран?

Генка едва заметно повел плечом.

— Какое минеральное сырье из стран Южной Азии вывозится на мировой рынок?

Генка был недвижим.

Кто бы они ни были, эти жуткие инквизиторы-экзаменаторы — диверсанты ли, разведчики из другого мира или служители неведомого культа, — с Генкой им не повезло. Во-первых, Генка был прирожденным троечником и ничего этого (из физики, математики, биологии и тем более из экономической географии) не знал и знать не хотел. Но самое главное — он был из тех, кто никогда никому и ничего не уступает. Особенно если его припирают к стенке. Андрей Т. сам был свидетелем того, как Генку в метро приперла к стенке почтенная пожилая женщина, увешанная сумками и кошелками. Генка проехал восемь остановок, в том числе и ту, где им нужно было выходить. Он краснел, бледнел, читал газету, в которую были завернуты его ботинки с коньками, даже притворялся мертвым, но места своего так и не уступил... Да, этой банде уродов следовало бы схватить кого-нибудь послабее духом и покрепче знаниями.

— А скажи мне, малтшик, — вкрадчиво произнес Недобитый Фашист, — какими характеристиками отличается танк Т-34 от танка Т-6 «Тигр»?

Это он попал в яблочко. Генка на всю школу славился великолепным знанием танковой, артиллерийской, авиационной и ракетной техники, как отечественной, так и иностранной, как современной, так и давно прошедших эпох. Неужели?.. Генка есть Генка. Он едва заметно повел плечом и сплюнул в сторону. Между уродами прошло движение.

— Однако же, юноша, — проговорил Удивительный Мужчина, — вы воображаете, что наше терпение безгранично. Создается впечатление, что вы ошибочно принимаете нашу выдержку и спокойствие за мягкотелость и нерешительность. Но перед вами не тьюфяки какие-нибудь, не рохли и не слабонервные интеллигенты! Вы сами отлично

знаете, что мы *умеем* получать сведения, в которых мы нуждаемся. Так попробуйте напрячь свое убогое воображение и представить себе, что станется с вами, когда после полуночи у нас будут развязаны руки!

Двугорбая Старуха облизнулась. Самый Первый Блин плотоядно потер руки. Эстрадная Халтурщица хихикнула. Хмырь с Челюстью сломал лом и с лязгом швырнул обломки на железный пол.

Андрей Т. взглянул на светящийся циферблат. Черные стрелки показывали без пяти минут новогоднюю полночь. Он переступил с ноги на ногу, и вдруг что-то лязгнуло под его ногой. Он поглядел. Шпага. Мокрая, ржавая, холодная, как все здесь. Но — шпага. Оружие. Сила! Только силу можно было противопоставить этому купающемуся в зловонии амфитеатру разбойников. У Алексея Толстого сказано как-то не так, и вообще никакой здесь не амфитеатр, но это как раз не важно. Андрей Т. обтер рукоять шпаги полой куртки.

— Надо полагать, — говорил Удивительный Мужчина, — вы все еще надеетесь на помощь вашего приятеля Андрея Т. Напрасно. Полночь близится, близится время Крайних Воздействий, близится ужасное для вас испытание, юноша, а тем временем! — Удивительный Мужчина возвысил голос. — А тем временем ваш так называемый друг мирно сидит себе в окружении любимых своих марок, смакует свое любимое фруктовое мороженое и о вас даже думать забыл!

— Врешь! — взревел Андрей Т. и вскочил на железные перила.

— Врешь! — вскричал он и одним прыжком приземлился на самой середине железной кастрюли рядом с Генкой. — Выходите! Выходите! Выходите все! На меня! На одного!

К другу на помощь! Вызволить друга  
Из кабалы и тюрьмы!.. —

хрипло запел вдруг оживший Спиридон.

На Андрея, расставив чудовищные лапы, шел Хмырь с Челюстью. За ним, отставая на шаг, выдвигались, ухмыляясь и переглядываясь, Недобитый Фашист и Красноглазый Юноша. Андрей Т. мрачно усмехнулся и сделал глубокий выпад...

Прекрасное новогоднее солнце било сквозь морозное окно.

— Пришел твой, — сказал дедушка.

— Который час? — хриплым со сна голосом спросил Андрей Т.

— Начало одиннадцатого, — сказал дедушка и удалился.

Приблизился Генка-Абрикос, совершенно красный с мороза, со снежинками в попсовых волосах и без автодрома. Он уселся на табурет и стал смотреть на Андрея жалкими виноватыми глазами. Многословные и несвязные объяснения его сводились к тому, что вырваться от Кузи оказалось невозможно, а потом Славка принес новые диски, а потом Кузин папан приготовил шербет, а потом забарахлил магнитофон, а потом пришла Милка... Ну разумеется! Милка. Так бы и сказал с самого начала...

— Знаешь, Абрикос, — сказал Андрей Т., прерывая на самой середине все эти малодостоверные объяснения, — хочу тебе подарок сделать. Новогодний. Бери мою коллекцию марок.

— Ну?! — воскликнул восхищенный и виноватый Генка.

В передней послышались шаги и голоса. Это вернулись родители, сбежавшие из Грибановской караулки, потому что не в силах оказались выдержать видения любимого Андрюшеньки, распростертого на ложе фолликулярной ангины.

Генка-Абрикос бубнил что-то благодарное и виноватое, а Андрей Т. лежал на спине, обеими руками держа Спиху, Спиридона, Спидлеца этакое, глядел на его страшную сквозную рану — круглую дыру с оплавленными краями — и слушал.

Будет полдень, суматохою пропахший,  
Звон трамваев и людской водоворот,  
Но прислушайся — услышишь,  
Как Веселый Барабанщик  
С барабаном вдоль по улице идет... —

негромко пел Спиридон, и эта песенка, как всегда, была уместной, и от нее тихонечко и сладко щемило сердце.

## ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ

### **В кругу семьи и друзей**

Когда Ирма вышла, аккуратно притворив за собой дверь, худая, длинноногая, по-взрослому вежливо улыбаясь большим ртом с яркими, как у матери, губами, Виктор принялся старательно раскуривать сигарету. Это никакой не ребенок, думал он ошеломленно. Дети так не говорят. Это даже не грубость, это — жестокость, и даже не жестокость, а просто ей все равно. Как будто она нам тут теорему доказала — просчитала все, проанализировала, деловито сообщила результат и удалилась, подрагивая косичками, совершенно спокойная. Превозмогая неловкость, Виктор посмотрел на Лолу. Лицо ее шло красными пятнами, яркие губы дрожали, словно она собиралась заплакать, но она, конечно, и не думала плакать, она была в бешенстве.

— Ты видишь? — сказала она высоким голосом. — Девчонка, соплячка... Дрянь! Ничего святого, что ни слово — то оскорбление, будто я не мать, а половая тряпка, о которую можно вытирать ноги. Перед соседями стыдно! Мерзавка, хамка...

Да, подумал Виктор, и с этой вот женщиной я жил, я гулял с нею в горах, я читал ей Бодлера, и трепетал, когда прикасался к ней, и помнил ее запах... кажется, даже дрался из-за нее. До сих пор не понимаю, что она думала, когда я читал ей Бодлера? Нет, это просто удивительно, что мне удалось от нее удрать. Уму непостижимо, и как это она меня выпустила? Наверное, я тоже был не сахар. Наверное, я и сейчас не сахар, но тогда я пил еще больше, чем сейчас, и к тому же полагал себя большим поэтом.

— Тебе, конечно, не до того, куда там, — говорила Лола. — Столичная жизнь, всякие балерины, артистки... Я все знаю. Не воображай, что мы здесь ничего не знаем. И деньги твои бешеные, и любовницы, и бесконечные скандалы... Мне это, если хочешь ты знать, безразлично, я тебе не мешала, ты жил как хотел...

Вообще ее губит то, что она очень много говорит. В девицах она была тихая, молчаливая, таинственная. Есть такие девицы, которые от рождения знают, как себя вести. Она — знала. Вообще-то она и сейчас ничего, когда сидит молча на диване с сигареткой, выставив коленки... или заложит вдруг руки за голову и потянется. На

провинциального адвоката это должно действовать чрезвычайно... Виктор представил себе уютный вечерок: этот столик придвинут к тому вон дивану, бутылка, шампанское шипит в фужерах, перевязанная ленточкой коробка шоколаду и сам адвокат, запакованный в крахмал, галстук бабочкой. Все как у людей, и вдруг входит Ирма... Кошмар, подумал Виктор. Да она же несчастная женщина...

— Ты сам должен понимать, — говорила Лола, — что дело не в деньгах, что не деньги сейчас все решают. — Она уже успокоилась, красные пятна пропали. — Я знаю, ты по-своему честный человек, взбалмошный, разболтанный, но не злой. Ты всегда помогал нам, и в этом отношении никаких претензий я к тебе не имею. Но теперь мне нужна не такая помощь... Счастливой назвать я себя не могу, но и несчастной тебе тоже не удалось меня сделать. У тебя своя жизнь, а у меня — своя. Я, между прочим, еще не старуха, у меня еще многое впереди...

Девочку придется забрать, подумал Виктор. Она уже все, как видно, решила. Если оставить Ирму здесь, в доме начнется ад крошечный... Хорошо, а куда я ее дену? Давай-ка честно, предложил он себе. Только честно. Здесь надо честно, это не игрушки... Он очень честно вспомнил свою жизнь в столице. Плохо, подумал он. Можно, конечно, взять экономку. Значит, снять постоянную квартиру... Да не в этом же дело: девочка должна быть со мной, а не с экономкой... Говорят, дети, которых воспитали отцы, — это самые лучшие дети. И потом, она мне нравится, хотя она очень странная девочка. И вообще я должен. Как честный человек, как отец. И я виноват перед нею. Но это все литература. А если все-таки честно? Если честно — боюсь. Потому что она будет стоять передо мной, по-взрослому улыбаясь большим ртом, и что я ей сумею сказать? Читай, больше читай, каждый день читай, ничем тебе больше не нужно заниматься, только читай. Она это и без меня знает, а больше мне сказать ей нечего. Поэтому и боюсь... Но и это еще не совсем честно. Не хочется мне, вот в чем дело. Я привык один. Я люблю один. Я не хочу по-другому... Вот как это выглядит, если честно. Отвратительно выглядит, как и всякая правда. Цинично выглядит, себялюбиво, гнусенько. Честно.

— Что же ты молчишь? — спросила Лола. — Ты так и собираешься молчать?

— Нет-нет, я слушаю тебя, — поспешно сказал Виктор.

— Что ты слушаешь? Я уже полчаса жду, когда ты соизволишь отреагировать. Это же не только мой ребенок, в конце концов...

А с нею тоже надо честно? — подумал Виктор. Вот уж с нею мне совсем не хочется честно. Она, кажется, вообразила себе, что такой вопрос я могу решить тут же, не сходя с места, между двумя сигаретами.

— Пойми, — сказала Лола, — я ведь не говорю, чтобы ты взял ее на себя. Я же знаю, что ты не возьмешь, и слава богу, что не возьмешь, ты ни на что такое не годен. Но у тебя же есть связи, знакомства, ты все-таки довольно известный человек — помоги ее устроить! Есть же у нас какие-то привилегированные учебные заведения, пансионаты, специальные школы. Она ведь способная девочка, у нее к языкам способности, и к математике, и к музыке...

— Пансион, — сказал Виктор. — Да, конечно... Пансион. Сиротский приют... Нет-нет, я шучу. Об этом стоит подумать.

— А что тут особенно думать? Любой был бы рад устроить своего ребенка в

хороший пансион или в специальную школу. Жена нашего директора...

— Слушай, Лола, — сказал Виктор. — Это хорошая мысль, я попытаюсь что-нибудь сделать. Но это не так просто, на это нужно время. Я, конечно, напишу...

— Напишу! Ты весь в этом. Не писать надо, а ехать, лично просить, пороги обивать! Ты же все равно здесь бездельничаешь! Все равно только пьянствуешь и путаешься с девками. Неужели так трудно для родной дочери...

О, черт, подумал Виктор, так ей все и объясни. Он снова закурил, поднялся и прошелся по комнате. За окном темнело, и по-прежнему лил дождь, крупный, тяжелый, неторопливый — дождь, которого было очень много и который явно никуда не торопился.

— Ах, как ты мне надоел! — сказала Лола с неожиданной злостью. — Если бы ты знал, как ты мне надоел...

Пора идти, подумал Виктор. Начинается священный материнский гнев, ярость покинутой и все такое прочее. Все равно ничего я сегодня ей не отвечу. И ничего не стану обещать.

— Ни в чем на тебя нельзя положиться, — продолжала она. — Негодный муж, бездарный отец... модный писатель, видите ли! Дочь родную воспитать не сумел... Да любой мужик понимает в людях больше, чем ты! Ну что мне теперь делать? От тебя же никакого проку. Я одна из сил выбиваюсь, не могу ничего. Я для нее нуль, для нее любой мокрец в сто раз важнее, чем я. Ну ничего, ты еще спохватишься! Ты ее не учишь, так они ее научат! Дождешься еще, что она тебе будет в рожу плевать, как мне...

— Брось, Лола, — сказал Виктор морщась. — Ты все-таки, знаешь, как-то... Я отец, это верно, но ты же мать... Все у тебя кругом виноваты...

— Убирайся! — сказала она.

— Ну вот что, — сказал Виктор. — Ссориться с тобой я не намерен. Решать с бухты-барахты я тоже ничего не намерен. Буду думать. А ты...

Она теперь стояла выпрямившись и прямо-таки дрожала, предвкушая упрек, готовая с наслаждением кинуться в свару.

— А ты, — спокойно сказал он, — постарайся не нервничать. Что-нибудь придумаем. Я тебе позвоню.

Он вышел в прихожую и натянул плащ. Плащ был еще мокрый. Виктор заглянул в комнату Ирмы, чтобы попрощаться, но Ирмы не было. Окно было раскрыто настежь, в подоконник хлестал дождь. На стене красовался транспарант с надписью большими красивыми буквами: «Прошу никогда не закрывать окно». Транспарант был мятый, с надрывами и темными пятнами, словно его неоднократно срывали и топтали ногами. Виктор прикрыл дверь.

— До свидания, Лола, — сказал он. Лола не ответила.

На улице было уже совсем темно. Дождь застучал по плечам, по капюшону. Виктор ссутулился и сунул руки поглубже в карманы. Вот в этом скверике мы в первый раз поцеловались, думал он. А вот этого дома тогда еще не было, а был пустырь, а за пустырем — свалка, там мы охотились с рогатками на кошек. В городе была чертова

уйма кошек, а сейчас я что-то ни одной не вижу... И ни черта мы тогда не читали, а вот у Ирмы полная комната книг. Что такое была в мое время двенадцатилетняя девчонка? Конопатое хихикающее существо, бантики, куклы, картинки с зайчиками и белоснежками, всегда парочками-троечками: шу-шу-шу, кульки с ирисками, испорченные зубы. Чистюли, ябеды, а самые лучшие из них — точно такие же, как мы, коленки в ссадинах, дикие рысьи глаза и пристрастие к подножкам... Времена новые наконец наступили, что ли? Нет, подумал он. Это не времена. То есть и времена, конечно, тоже... А может быть, она у меня вундеркинд? Случаются же вундеркинды. Я — отец вундеркинда. Почетно, но хлопотно, и не столько почетно, сколько хлопотно, да, в конце концов, и не почетно вовсе... А вот эту улочку я всегда любил, потому что она самая узкая. Так, а вот и драка. Правильно, у нас без этого нельзя, мы без этого никак не можем. Это у нас испокон веков. И двое на одного...

На углу стоял фонарь. У границы освещенного пространства мокнул автомобиль с брезентовым верхом, а рядом с автомобилем двое в блестящих плащах пригибали к мостовой третьего — в черном и мокром. Все трое с натугой и неуклюже топтались по булыжнику. Виктор приостановился, затем подошел поближе. Непонятно было, что тут, собственно, происходит. На драку не похоже: никто никого не бьет. На возню от избытка молодых сил не похоже тем более — не слышно азартного гиканья и жеребьячьего ржания... Третий, в черном, вдруг вырвался, упал на спину, и двое в плащах сейчас же повалились на него. Тут Виктор заметил, что дверцы машины распахнуты, и подумал, что этого черного либо недавно вытащили оттуда, либо пытаются туда запихнуть. Он подошел вплотную и рявкнул:

— Отставить!

Двое в плащах разом обернулись и несколько мгновений смотрели на Виктора из-под надвинутых капюшонов. Виктор заметил только, что они молодые и что рты у них разинуты от напряжения, а затем они с невероятной быстротой нырнули в автомобиль, стукнули дверцы, машина взревела и умчалась в темноту. Человек в черном медленно поднялся, и, разглядев его, Виктор отступил на шаг. Это был больной из лепрозория — «мокрец», или «очкарик», как их звали за желтые круги вокруг глаз, — в плотной черной повязке, закрывающей нижнюю половину лица. Он мучительно тяжело дышал, страдальчески задрал остатки бровей. По лысой голове стекала вода.

— Что случилось? — спросил Виктор.

Очкарик смотрел не на него, а мимо, глаза его выкатились. Виктор хотел обернуться, но тут его с хрустом ударило в затылок, и когда он очнулся, то обнаружил, что лежит лицом вверх под водосточной трубой. Вода хлестала ему в рот, она была тепловатая и ржавая на вкус. Отплевываясь и кашляя, он отодвинулся и сел, прислонившись спиной к кирпичной стене. Вода, набравшаяся в капюшон, полилась за воротник и поползла по телу. В голове гудели и звенели колокола, трубили трубы и били барабаны. Сквозь этот шум Виктор разглядел перед собой худое темное лицо. Знакомое. Где-то я его видел. Еще до того, как у меня лязгнули челюсти... Он подвигал языком, пошевелил челюстью. Зубы были в порядке. Мальчик набрал под трубой пригоршню воды и плеснул ему в глаза.

— Милый, — сказал Виктор, — хватит.

— Мне показалось, что вы еще не очнулись, — сказал мальчик серьезно.



Виктор осторожно засунул руку под капюшон и ощупал затылок. Там была шишка — ничего страшного, никаких раздробленных костей, даже крови не было.

— Кто же это меня? — задумчиво спросил он. — Надеюсь, не ты?

— Вы сами сможете идти, господин Банев? — сказал мальчик. — Или позвать кого-нибудь? Видите ли, для меня вы слишком тяжелый.

Виктор вспомнил, кто это.

— Я тебя знаю, — сказал он. — Ты — Бол-Кунац, приятель моей дочки.

— Да, — сказал мальчик.

— Вот и хорошо. Не надо никого звать и не надо никому говорить. А давай-ка немножко посидим и опомнимся.

Теперь он разглядел, что с Бол-Кунацем тоже не все в порядке. На щеке у него темнела свежая ссадина, а верхняя губа припухла и кровоточила.

— Я все-таки кого-нибудь позову, — сказал Бол-Кунац.

— Стоит ли?

— Видите ли, господин Банев, мне не нравится, как у вас дергается лицо.

— В самом деле? — Виктор ощупал лицо. Лицо не дергалось. — Это тебе только кажется... Так. А теперь мы встанем. Что для этого необходимо? Для этого необходимо подтянуть под себя ноги... — Он подтянул под себя ноги, и ноги показались ему не совсем своими. — Затем, слегка оттолкнувшись от стены, перенести центр тяжести таким образом... — Ему никак не удавалось перенести центр тяжести, что-то мешало. Чем же это меня? — подумал он. Да ведь как ловко...

— Вы наступили себе на плащ, — сообщил мальчик, но Виктор уже сам разобрался со своими руками и ногами, со своим плащом и оркестром под черепом. Он встал. Сначала пришлось придерживаться за стенку, но потом дело пошло лучше.

— Ага, — сказал он. — Значит, ты меня тащил оттуда до этой трубы. Спасибо.

Фонарь стоял на месте, но не было ни машины, ни очкарика. Никого не было. Только маленький Бол-Кунац осторожно гладил свою ссадину мокрой ладонью.

— Куда же они все делись? — спросил Виктор.

Мальчик не ответил.

— Я тут один лежал? — спросил Виктор. — Вокруг никого больше не было?

— Давайте я вас провожу, — сказал Бол-Кунац. — Куда вам лучше идти? Домой?

— погоди, — сказал Виктор. — Ты видел, как они хотели схватить очкарика?

— Я видел, как вас ударили, — сказал Бол-Кунац.

— Кто?

— Я не разглядел. Он стоял спиной.

— А ты где был?

— Видите ли, я лежал тут, за углом...

— Ничего не понимаю, — сказал Виктор. — Или у меня с головой что-то... Почему

ты, собственно, лежал за углом? Ты там живешь?

— Видите ли, я лежал, потому что меня ударили еще раньше. Не тот, который вас ударил, а другой.

— Очкарик?

Они медленно шли, стараясь держаться мостовой, чтобы на них не лило с крыш.

— Н-нет, — ответил Бол-Кунац, подумав. — По-моему, они все были без очков.

— О, господи, — сказал Виктор. Он полез рукой под капюшон и пощупал шишку. — Я говорю о прокаженном, их называют очкариками. Ну знаешь, из лепрозория... Мокрецы...

— Не знаю, — сдержанно произнес Бол-Кунац. — По-моему, они все были вполне здоровы.

— Ну-ну! — сказал Виктор. Он ощутил некоторое беспокойство и даже остановился. — Ты что же, хочешь меня уверить, что там не было прокаженного? С черной повязкой, весь в черном...

— Это никакой не прокаженный! — с неожиданной запальчивостью сказал Бол-Кунац. — Он поздоровее вас...

Впервые в этом мальчике обнаружилось что-то мальчишеское и сейчас же исчезло.

— Я не совсем понимаю, куда мы идем, — помолчав, сказал он прежним серьезным до бесстрастности тоном. — Сначала мне показалось, что вы направляетесь домой, но теперь я вижу, что мы идем в противоположную сторону.

Виктор все стоял, глядя на него сверху вниз. Два сапога пара, подумал он. Все просчитал, проанализировал и деловито решил не сообщать результата. Так он мне, видимо, и не расскажет, что здесь было. Интересно, почему? Неужели уголовщина? Нет, не похоже. Или все-таки уголовщина? Новые, знаете ли, времена... Чепуха, знаю я нынешних уголовников...

— Все правильно, — сказал он и двинулся дальше. — Мы идем в гостиницу, я там живу.

Мальчик, прямой, строгий и мокрый, шагал рядом. Преодолев некоторую нерешительность, Виктор положил руку ему на плечо. Ничего особенного не произошло — мальчик стерпел. Впрочем, он, вероятно, просто решил, что его плечо понадобилось в утилитарных целях, как подпорка для травмированного.

— Должен тебе сказать, — самым доверительным тоном сообщил ему Виктор, — что у вас с Ирмой очень странная манера разговаривать. Мы в детстве говорили не так.

— Правда? — вежливо спросил Бол-Кунац. — И как же вы говорили?

— Ну, например, этот твой вопрос у нас звучал бы так: чиво?

Бол-Кунац пожал плечами.

— Вы хотите сказать, что это было бы лучше?

— Упаси бог! Я хочу только сказать, что это было бы естественнее.

— Именно то, что наиболее естественно, — заметил Бол-Кунац, — менее всего подобает человеку.

Виктор ощутил какой-то холод внутри. Какое-то беспокойство. Или даже страх. Словно в лицо ему расхохоталась кошка.

— Естественное всегда примитивно, — продолжал между тем Бол-Кунац. — А человек — существо сложное, естественность ему не идет. Вы меня понимаете, господин Банев?

— Да, — сказал Виктор. — Конечно.

Было нечто удивительно фальшивое в том, как отечески он держал руку на плече этого мальчика, который не мальчик. У него даже заныло в локте. Он осторожно убрал руку и сунул в карман.

— Сколько тебе лет? — спросил он.

— Четырнадцать, — рассеянно ответил Бол-Кунац.

— А-а...

Любой мальчик на месте Бол-Кунаца непременно заинтересовался бы этим раздражающе неопределенным «а-а», но Бол-Кунац был не из любых мальчиков. Его не занимали интригующие междометия. Он размышлял над соотношением естественного и примитивного в природе и обществе. И он жалел, что ему попался такой неинтеллигентный собеседник, да еще ударенный по голове...

Они вышли на проспект Президента. Здесь было много фонарей и попадались прохожие — торопливые, согнутые многодневным дождем мужчины и женщины. Здесь были освещенные витрины и озаренный неоновым светом вход в кинотеатр, где под навесом толпились очень одинаковые молодые люди неопределенного пола, в блестящих плащах до пят. И над всем этим сквозь дождь сияли золотые и синие заклинания: «Президент — отец народа», «Легионер Свободы — верный сын Президента», «Армия — наша грозная слава»...

Они по инерции шли по мостовой, и проехавший автомобиль, рывкнув сигналом, загнал их на тротуар и окатил грязной водой.

— А я думал, тебе лет восемьдесят, — сказал Виктор.

— Чиво-чиво? — противным голосом спросил Бол-Кунац, и Виктор облегченно засмеялся. Все-таки это был мальчик, обыкновенный нормальный вундеркинд, начитавшийся Гейбора, Зурзмансора, Фромма и, может быть, даже осиливший Шпенглера.

— У меня в детстве был приятель, — сказал Виктор, — который затеял прочитать Гегеля в подлиннике и прочитал-таки, но сделался шизофреником. Ты в свои годы, безусловно, знаешь, что такое шизофреник.

— Да, знаю, — сказал Бол-Кунац.

— И ты не боишься?

— Нет.

Они подошли к отелю, и Виктор предложил:

— Может быть, зайдешь ко мне, обсохнешь?

— Благодарю вас. Я как раз собирался попросить разрешения зайти. Во-первых, я должен вам еще кое-что сказать, а во-вторых, мне надо поговорить по телефону. Вы

разрешите?

Виктор разрешил. Они прошли сквозь вращающуюся дверь мимо швейцара, снявшего перед Виктором фуражку, мимо богатых статуй с электрическими свечами в совершенно пустой вестибюль, пропитанный ресторанными запахами, и Виктор ощутил привычный подъем в предвкушении наступающего вечера, когда можно будет пить, и безответственно болтать, и отодвинуть локтем на завтра то, что раздражающе наседало сегодня... в предвкушении Юла Голема и доктора Р. Квадриги... и, может быть, еще с кем-нибудь познакомлюсь, и, может быть, что-нибудь случится — драка или сюжет вдруг заиграет... и закажу-ка я сегодня миноги, и пусть все будет хорошо, а последним автобусом поеду к Диане...

Пока Виктор брал ключи у портье, за его спиной происходил разговор. Бол-Кунац разговаривал со швейцаром. «Ты зачем сюда вперся?» — шипел швейцар. «У меня разговор с господином Баневым». — «Я тебе покажу разговор с господином Баневым, — шипел швейцар. — Шляешься по ресторанам...» — «У меня разговор с господином Баневым, — повторял Бол-Кунац. — Ресторан меня не интересует». — «Еще бы тебя, щенка, ресторан интересовал... Вот я тебя сейчас отсюда вышвырну...» Виктор взял ключ и обернулся.

— Э... — сказал он. Он опять забыл имя швейцара. — Парнишка со мной, все в порядке.

Швейцар ничего не ответил, лицо у него было недовольное.

Они поднялись в номер. Виктор с наслаждением сбросил плащ и наклонился, чтобы расшнуровать сырые ботинки. Кровь прилила к голове, и он ощутил изнутри болезненные редкие толчки в то место, где был желвак, тяжелый и круглый, как свинцовая лепешка. Он сразу выпрямился и, придерживаясь за косяк, стал сдирать ботинок, упершись в задник носком другой ноги. Бол-Кунац стоял рядом, с него капало.

— Раздевайся, — сказал Виктор. — Повесь все на радиатор, сейчас я дам полотенце.

— Разрешите, я позвоню, — сказал Бол-Кунац, не двигаясь с места.

— Валяй. — Виктор содрал второй ботинок и в мокрых носках ушел в ванную. Раздеваясь, он слышал, как мальчик негромко разговаривает, спокойно и неразборчиво. Только однажды он громко и внятно произнес: «Не знаю». Виктор обтерся полотенцем, накинул халат и, достав чистую купальную простыню, вышел в комнату. «Вот тебе», — сказал он и тут же увидел, что это ни к чему. Бол-Кунац по-прежнему стоял у дверей, и с него по-прежнему капало.

— Благодарю вас, — сказал он. — Видите ли, мне надо идти. Я хотел бы еще только...

— Простудишься, — сказал Виктор.

— Нет, не беспокойтесь, благодарю вас. Я не простужусь. Я хотел бы еще только выяснить с вами один вопрос. Ирма вам ничего не говорила?

Виктор бросил простыню на диван, присел на корточки перед баром и вытащил бутылку и стакан.

— Ирма мне много чего говорила, — ответил он довольно мрачно. Он налил в

стакан на палец джину и долил немного воды.

— Она не передавала вам наше приглашение?

— Нет. Приглашений она мне не передавала. На, выпей.

— Благодарю вас, не нужно. Раз она не передавала, то передам я. Мы хотели бы встретиться с вами, господин Банев.

— Кто это — мы?

— Гимназисты. Видите ли, мы читали ваши книги и хотели бы задать вам несколько вопросов.

— Гм, — сказал Виктор с сомнением. — Ты уверен, что это будет интересно всем?

— Я думаю — да.

— Все-таки я пишу не для гимназистов, — напомнил Виктор.

— Это неважно, — сказал Бол-Кунац с мягкой настойчивостью. — Вы согласились бы?

Виктор задумчиво покрутил в стакане прозрачную смесь.

— Может быть, все-таки выпьешь? — спросил он. — Лучшее средство от простуды. Нет? Ну тогда выпью я. — Он осушил стакан. — Хорошо, я согласен. Только никаких афиш, объявлений и прочего. Узкий круг: вы и я... Когда?

— Когда вам будет удобно. Лучше бы на этой неделе. Утром.

— Скажем, через два-три дня. Только не очень рано. Скажем, в пятницу, в одиннадцать. Это подойдет?

— Да. В пятницу в одиннадцать. В гимназии. Вам напомнить?

— Обязательно, — сказал Виктор. — О раутах, суаре и банкетах, а также о митингах, встречах и совещаниях я всегда стараюсь забыть.

— Хорошо, я напомню, — сказал Бол-Кунац. — А теперь я с вашего разрешения пойду. До свидания, господин Банев.

— погоди, я тебя провожу, — сказал Виктор. — Как бы тебя этот... швейцар не обидел. Что-то он сегодня не в духе, а швейцары знаешь какой народ...

— Благодарю вас, не беспокойтесь, — возразил Бол-Кунац. — Это мой отец.

И он вышел. Виктор налил себе еще на палец джину и повалился в кресло. Так, подумал он. Бедный швейцар. Как же его зовут? Неудобно даже, все-таки мы с ним товарищи по несчастью, коллеги. Надо будет с ним поговорить, обменяться опытом. Он, наверное, опытнее... Какая, однако, концентрация вундеркиндов в моем родном промозглом городишке. Может быть, это от повышенной влажности?... Он откинул голову и сморщился от боли. Вот гад, чем это он меня все-таки? Он ощупал желвак. Похоже на резиновую дубинку. Впрочем, откуда мне знать, как это бывает от резиновой дубинки? Как бывает от современного стула в «Жареном Пегасе» — это я знаю. Как бывает от автоматного приклада или, например, от рукоятки пистолета — я тоже знаю. От бутылки из-под шампанского и от бутылки с шампанским... Надо будет спросить Голема... Вообще странная какая-то история, хорошо бы в ней разобраться...

И он стал разбираться в этой истории, чтобы отогнать всплывшую вторым планом

мысль об Ирме, о необходимости от чего-то отказываться и как-то себя ограничивать или куда-то кому-то писать, кого-то просить... «Извини, что беспокою тебя, старина, но тут у меня объявилась дочка двенадцати с лишним лет, очень славная девочка, но мать у нее дура и отец тоже дурак, так вот надобно ее пристроить куда-нибудь подальше от глупых людей...» Не хочу я сегодня об этом думать, завтра подумаю. Он посмотрел на часы. Хватит думать вообще. Хватит.

Он поднялся и стал одеваться перед зеркалом. Брюхо растет, вот дьявол, и откуда бы у меня быть брюху? Такой всегда был сухощавый жилистый человек... Даже и не брюхо, собственно, — благородное трудовое чрево от размеренной жизни и хорошей пищи, — а так, брюшко какое-то паршивенькое, оппозиционерский животик. У господина президента небось не такой. У господина президента небось благородный, обтянутый черным лоснящийся дирижабль...

Повязывая галстук, он придвинул лицо к зеркалу и вдруг подумал, как выглядело это уверенное крепкое лицо, столь обожаемое женщинами известного сорта, некрасивое, но мужественное лицо бойца с квадратным подбородком, как оно выглядело к концу исторической встречи. Лицо господина президента, тоже не лишённое мужественности и элементов прямоугольности, к концу исторической встречи напоминало, прямо скажем, между нами, кабанье рыло. Господин президент изволили взвинтить себя до последней степени, из клыкастой пасти летели брызги, и я достал платок и демонстративно вытер себе щеку, и это был, наверное, самый смелый поступок в моей жизни, если не считать того случая, когда я дрался с тремя танками сразу. Но как я дрался с танками — я не помню, знаю только по рассказам очевидцев, а вот платочек я вынул сознательно и соображал, на что иду... В газетах об этом не писали. В газетах честно и мужественно, с суровой прямоотой сообщили, что «беллетрист В. Банев искренне поблагодарил господина президента за все замечания и разъяснения, сделанные в ходе беседы».

Странно, как хорошо я все это помню... Он обнаружил, что у него побелели щеки и кончик носа. Вот таким я и был тогда, на такого орать сам бог велел. Он ведь не знал, бедняга, что это я не от страха, что бледнею я от злости, как Людовик Четырнадцатый... Только не будем махать кулаками после драки. Какая разница, от чего я там у него бледнел... Ладно, не будем. Но — для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы привести себя в порядок перед появлением на люди, чтобы вернуть нормальный цвет этому некрасивому, но мужественному лицу, — я должен отметить, я должен напомнить вам, господин Банев, что если бы вы не продемонстрировали господину президенту свой платочек, вы бы сейчас благополучнейшим образом обретались в нашей славной столице, а не в этой мокрой дыре...

Виктор залпом допил джин и спустился в ресторан.

— Может быть, конечно, и хулиганы, — сказал Виктор. — Только в мое время никакой хулиган не стал бы связываться с очкариком. Запустить в него камнем — это еще туда-сюда, но хватать, тащить и вообще прикасаться... Мы их все боялись, как заразы.

— Я же говорю вам: это генетическая болезнь, — сказал Голем. — Они абсолютно не заразные.

— Как же не заразные, — возразил Виктор, — когда от них бородавки, как от жабы! Это же все знают.

— От жаб не бывает бородавок, — благодушно сказал Голем. — От мокрецов тоже. Стыдно, господин писатель. Впрочем, писатели — народ серый.

— Как и всякий народ. Народ сер, но мудр. И если народ утверждает, что от жаб и очкариков бывают бородавки...

— А вот приближается мой инспектор, — сказал Голем.

Подошел Павор в мокром плаще, прямо с улицы.

— Добрый вечер, — сказал он. — Весь промок, хочу выпить.

— Опять от него тинной воняет, — с негодованием произнес доктор Р. Квадрига, пробудившись от алкогольного транса. — Вечно от него воняет тинной. Как в пруду. Ряска.

— Что вы пьете? — спросил Павор.

— Кто — мы? — осведомился Голем. — Я, например, как всегда, пью коньяк. Виктор пьет джин. А доктор — все по очереди.

— Срам! — с негодованием сказал доктор Р. Квадрига. — Чешуя! И головы.

— Двойной коньяк! — крикнул Павор официанту.

Лицо у него было мокрое от дождя, густые волосы слиплись, и от висков по бритым щекам стекали блестящие струйки. Тоже твердое лицо — многие, наверное, завидуют. Откуда у санитарного инспектора такое лицо? Твердое лицо — это: сыплет дождь, прожектора, тени на мокрых вагонах мечутся, ломаются... все черное и блестящее, только черное и только блестящее, и никаких разговоров, никакой болтовни, только команды, и все повинуются... не обязательно вагоны, могут быть самолеты, аэродром, и потом, никто не знает, где он был и откуда пришел... девочки падают навзничь, а мужчинам хочется сделать что-нибудь мужественное — например, расправить плечи и втянуть брюхо. Вот Голему не мешало бы втянуть брюхо, только вряд ли, куда он его втянет, там у него все занято. Доктор Р. Квадрига — да, но зато ему не расправить плечи, вот уже много дней и навсегда он согбен. Вечерами он согбен над столом, по утрам — над тазиком, а днем — от больной печени. И значит, только я здесь способен втянуть брюхо и расправить плечи, но я лучше мужественно хлопну стаканчик джину.

— Нимфоман, — грустно сказал Павору доктор Р. Квадрига. — Русалкоман. И водоросли.

— Заткнитесь, доктор, — сказал Павор. Он вытирал лицо бумажными салфетками, комкал их и бросал на пол. Потом он стал вытирать руки.

— С кем это вы подрались? — спросил Виктор.

— Изнасилован мокрецом, — произнес доктор Р. Квадрига, мучительно стараясь развести по местам глаза, которые съехались у него к переносице.

— Пока ни с кем, — ответил Павор и пристально посмотрел на доктора, но Р. Квадрига этого не заметил.

Официант принес рюмку. Павор медленно выцедил коньяк и поднялся.

— Пойду-ка я умоюсь, — сказал он ровным голосом. — За городом грязь, весь в дерьме. — И он ушел, задевая по дороге стулья.

— Что-то происходит с моим инспектором, — произнес Голем. Он щелчком сбросил со стола мятую салфетку. — Что-то мировых масштабов. Вы, случайно, не знаете, что именно?

— Вам лучше знать, — сказал Виктор. — Он инспектирует вас, а не меня. И потом вы ведь все знаете. Кстати, Голем, откуда вы все знаете?

— Никто ничего не знает, — возразил Голем. — Некоторые догадываются. Очень немногие — те, кому хочется. Но нельзя спросить: откуда они догадываются? — это насилие над языком. Куда идет дождь? Чем встает солнце? Вы бы простили Шекспиру, если бы он написал что-нибудь в этом роде? Впрочем, Шекспиру вы бы простили. Шекспиру мы многое прощаем, не то что Баневу... Слушайте, господин беллетрист, у меня есть идея. Я выпью коньяку, а вы покончите с этим джином. Или вы уже готовы?

— Голем, — сказал Виктор, — вы знаете, что я — железный человек?

— Я догадываюсь.

— А что из этого следует?

— Что вы боитесь заржаветь.

— Предположим, — сказал Виктор. — Но я имею в виду не это. Я имею в виду, что могу пить много и долго, не теряя нравственного равновесия.

— Ах вот в чем дело, — сказал Голем, наливая себе из графинчика. — Ну хорошо, мы еще вернемся к этой теме.

— Я не помню, — сказал вдруг ясным голосом доктор Р. Квадрига. — Я вам представлялся или нет, господа? Честь имею: Рем Квадрига, живописец, доктор гонорис кауза, почетный член... Тебя я помню, — сказал он Виктору. — Мы с тобой учились и еще что-то... А вот вы, простите...

— Меня зовут Юл Голем, — небрежно сказал Голем.

— Очень рад. Скульпт'р?

— Нет. Врач.

— Х'рург?

— Я главный врач лепрозория, — терпеливо объяснил Голем.

— Ах да! — сказал доктор Р. Квадрига, по-лошадиному мотая головой. — Конечно. Простите меня, Юл... Только почему вы скрываете? Какой вы там врач? Вы же разводите мокрецов... Я вас представляю. Такие люди нам нужны... Простите, — сказал он неожиданно. — Я сейчас.

Он выбрался из кресла и устремился к выходу, блуждая между пустыми столиками. К нему подскочил официант, и доктор Р. Квадрига обнял его за шею.

— Это все дожди, — сказал Голем. — Мы дышим водой. Но мы не рыбы, мы либо умрем, либо уйдем отсюда. — Он серьезно и печально глядел на Виктора. — А дождь будет падать на пустой город, размывать мостовые, сочиться сквозь крыши, сквозь гнилые крыши... потом он смоем все, растворит город в первобытной земле, но не остановится, а будет падать, и падать, и падать...

— Апокалипсис, — проговорил Виктор, чтобы что-нибудь сказать.



— Да, апокалипсис... Будет падать и падать, а потом земля напитается, и взойдет новый посев, каких раньше не бывало, и не будет плевел среди сплошных злаков. Но не будет и нас, чтобы насладиться новой вселенной...

Если бы не эти сизые мешки под глазами, если бы не вислое студенистое брюхо, если бы этот великолепный семитский нос не был так похож на топографическую карту... Хотя, ежели подумать, все пророки были пьяницами, потому что уж очень это тоскливо: ты все знаешь, а тебе никто не верит. Если бы в департаментах ввели штатную должность пророка, то им следовало бы присваивать не ниже тайного советника — для укрепления авторитета. И все равно, наверное, не помогло бы...

— За систематический пессимизм, — сказал Виктор вслух, — ведущий к подрыву служебной дисциплины и веры в разумное будущее, приказываю: тайного советника Голема побить камнями в экзекуторской.

Голем хмыкнул.

— Я всего лишь коллежский советник, — сообщил он. — И потом, какие пророки в наше время? Я не знаю ни одного. Множество лжепророков и ни одного пророка. В наше время нельзя предвидеть будущее — это насилие над языком. Что бы вы сказали, прочитав у Шекспира: предвидеть настоящее? Разве можно предвидеть шкаф в собственной комнате?.. А вот идет мой инспектор. Как вы себя чувствуете, инспектор?

— Прекрасно, — сказал Павор, усаживаясь. — Официант, двойной коньяк! Там, в вестибюле, нашего живописца держат четверо, — сообщил он. — Объясняют ему, где вход в ресторан. Я решил не вмешиваться, потому что он никому не верит и дерется... О каких шкафах идет речь?

Он был сух, элегантен, свеж, от него пахло одеколоном.

— Мы говорим о будущем, — сказал Голем.

— Какой смысл говорить о будущем? — возразил Павор. — О будущем не говорят, будущее делают. Вот рюмка коньяка. Она полная. Я делаю ее пустой. Вот так. Один умный человек сказал, что будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести.

— Другой умный человек сказал, — заметил Виктор, — что будущего вообще не бывает, есть только настоящее.

— Я не люблю классической философии, — сказал Павор, — эти люди ничего не умели и ничего не хотели. Им просто нравилось рассуждать, как Голему — пить. Будущее — это тщательно обезвреженное настоящее.

— У меня всегда возникает странное ощущение, — сказал Голем, — когда при мне штатский человек рассуждает как военный.

— Военные вообще не рассуждают, — возразил Павор. — У военных только рефлексy и немного эмоций.

— У большинства штатских тоже, — сказал Виктор, ощупывая свой затылок.

— Сейчас ни у кого нет времени рассуждать, — сказал Павор. — Ни у военных, ни у штатских. Сейчас надо успевать поворачиваться. Если тебя интересует будущее, изобретай его быстро, на ходу, в соответствии с рефлексами и эмоциями.

— К чертям изобретателей, — сказал Виктор. Он чувствовал себя пьяным и веселым. Все стояло на своих местах. Не хотелось никуда идти, хотелось оставаться

здесь, в этом пустом полутемном зале, еще не совсем ветхом, но уже с потеками на стенах, с расхлябанными половицами, с запахом кухни; особенно если вспомнить, что снаружи во всем мире идет дождь, над булыжными мостовыми — дождь, над островерхими крышами — дождь, и дождь заливаает горы и равнину, и когда-нибудь он все это смоет, но это случится еще очень не скоро... хотя, если подумать, сейчас ни о чем нельзя говорить, что это случится не скоро. Да, милые мои, давно оно прошло, то время, когда будущее было повторением настоящего и все перемены маячили где-то за далекими горизонтами. Голем прав, нет на свете никакого будущего, оно слилось с настоящим, и теперь не разберешь, где что.

— Изнасилован мокрецом! — сказал Павор злорадно.

В дверях ресторана появился доктор Р. Квадрига. Несколько секунд он стоял, с тяжелым вниманием обозревая ряды пустых столиков, затем лицо его прояснилось, и он, резко качнувшись вперед, устремился к своему месту.

— Почему вы их называете мокрецами? — спросил Виктор. — Что они — мокрые у вас тут стали от дождей?

— А почему — нет? — сказал Павор. — Как же их, по-вашему, называть?

— Очкарики, — сказал Виктор. — Доброе старое слово. Спокон веков мы их называли очкариками.

Доктор Р. Квадрига приближался. Спереди он был весь мокрый — вероятно, его отмывали над раковиной. Выглядел он утомленным и разочарованным.

— Черт знает что, — брюзгливо сказал он еще издали. — Никогда со мной такого не бывало: нет входа! Куда ни ткнусь — везде сплошные окна... Кажется, я заставил вас ждать, господа. — Он упал в свое кресло и узрел Павора. — Опять он здесь, — сообщил он Голему доверительным шепотом. — Надеюсь, он вам не мешает... А со мной, знаете ли, произошла удивительная история. Всего облили.

Голем налил ему коньяку.

— Благодарю вас, — сказал Р. Квадрига, — но я, пожалуй, лучше пропущу пару кругов. Надо обсохнуть.

— Я вообще за все старое доброе, — объявил Виктор. — Пусть очкарики остаются очкариками. И вообще пусть все остается без изменений. Я — консерватор... Внимание! — сказал он громко. — Предлагается тост за консерватизм. Минуточку... — Он налил себе джину, встал и оперся рукой на спинку кресла. — Я — консерватор, — сказал он. — И с каждым годом я становлюсь все консервативнее, но не потому, что старею, а потому, что ощущаю в этом потребность...

Трезвый Павор с рюмкой наготове глядел на него снизу вверх с подчеркнутым вниманием. Голем медленно ел миноги, а доктор Р. Квадрига, казалось, тщился понять, откуда до него доносится голос и чей. Все было очень хорошо.

— Люди обожают критиковать правительства за консерватизм, — продолжал Виктор. — Люди обожают превозносить прогресс. Это новое веяние, и оно глупо, как и все новое. Людям надлежало бы молить бога, чтобы он даровал им самое косное, самое заскорузлое и конформистское правительство...

Теперь и Голем поднял глаза и смотрел на него, и Тэдди за своей стойкой тоже перестал перетирать бутылки и прислушивался, только вот затылок вдруг заломило, и

пришлось поставить рюмку и погладить желвак.

— Государственный аппарат, господа, во все времена почитал своей главной задачей сохранение статус-кво. Не знаю, насколько это было оправданно раньше, но сейчас такая функция государства попросту необходима. Я бы определил эту функцию так: всячески препятствовать будущему запускать свои щупальца в наше время, обрубать эти щупальца, прижигать их каленым железом... Мешать изобретателям, поощрять схоластов и болтунов... В гимназиях ввести повсеместно исключительно классическое образование. На высшие государственные посты — старцев, обремененных семействами и долгами, не моложе шестидесяти лет, чтобы брали взятки и спали на заседаниях...

— Что вы такое несете, Виктор, — сказал Павор укоризненно.

— Нет, отчего же, — сказал Голем. — Необычайно приятно слышать такие умеренные, лояльные речи.

— Я еще не кончил, господа!.. Талантливых ученых назначать администраторами с крупным окладом. Все без исключения изобретения принимать, плохо оплачивать и класть под сукно. Ввести драконовские налоги на каждую товарную и производственную новинку... — А чего я, собственно, стою, подумал Виктор и сел. — Ну, как вам это показалось? — спросил он Голема.

— Вы совершенно правы, — сказал Голем. — А то у нас нынче все радикалы. Даже директор гимназии. Консерватизм — вот наше спасение.

Виктор хлебнул джину и сказал горестно:

— Не будет никакого спасения. Потому что все дураки-радикалы не только верят в прогресс, они еще и любят прогресс, они воображают, что не могут без прогресса. Потому что прогресс — это, кроме всего прочего, дешевые автомобили, бытовая электроника и вообще возможность делать поменьше, а получать побольше. И потому каждое правительство вынуждено одной рукой... то есть не рукой, конечно... одной ногой нажимать на тормоза, а другой — на акселератор. Как гонщик на повороте. На тормоза — чтобы не потерять управление, а на акселератор — чтобы не потерять скорости, а то ведь какой-нибудь демагог, поборник прогресса, обязательно спихнет с водительского места.

— С вами трудно спорить, — вежливо сказал Павор.

— А вы не спорьте, — сказал Виктор. — Не надо спорить: в спорах рождается истина, пропади она пропадом. — Он нежно погладил желвак и добавил: — Впрочем, у меня это, наверное, от невежества. Все ученые — поборники прогресса, а я не ученый. Я просто небезызвестный куплетист.

— Что это вы все время хватаетесь за затылок? — спросил Павор.

— Какая-то сволочь долбанула, — сказал Виктор. — Кастетом... Правильно я говорю, Голем? Кастетом?

— По-моему, кастетом, — сказал Голем. — А может быть, и кирпичом.

— Что вы такое говорите? — удивился Павор. — Каким кастетом? В этом захолустье?

— Вот видите, — наставительно сказал Виктор. — Прогресс!.. Давайте снова

выпьём за консерватизм.

Позвали официанта, выпили еще раз за консерватизм. Пробыло девять, и в зале появилась известная пара — молодой человек в мощных очках и его долговязый спутник. Усевшись за свой столик, они включили торшер, смиренно огляделись и принялись изучать меню. Молодой человек опять пришел с портфелем, портфель он поставил на свободное кресло рядом с собой. Он всегда был очень добр к своему портфелю. Продиктовав официанту заказ, они выпрямились и стали молча глядеть в пространство.

Странная пара, подумал Виктор. Удивительное несоответствие. Они выглядят, как в испорченном бинокле: один в фокусе, другой расплывается, и наоборот. Полнейшая несовместимость. С молодым человеком в очках можно было бы поговорить о прогрессе, а с долговязым — нет. Долговязый мог бы двинуть меня кастетом, а молодой в очках — нет... Но я вас сейчас совмещу. Как бы это мне вас совместить? Ну, например, вот... Какой-нибудь государственный банк, подвалы... цемент, бетон, сигнализация... долговязый набирает номер на диске, стальная башня поворачивается, открывается вход в сокровищницу, оба входят, долговязый набирает номер на другом диске, дверца сейфа откатывается, и молодой по локоть погружается в бриллианты.

Доктор Р. Квадрига вдруг расплакался и схватил Виктора за руку.

— Ночевать, — сказал он. — Ко мне. А?

Виктор немедленно налил ему джину. Р. Квадрига выпил, вытер под носом и продолжал:

— Ко мне. Вилла. Фонтан есть. А?

— Фонтан — это у тебя хорошо придумано, — заметил Виктор уклончиво. — А еще что?

— Подвал, — печально сказал Р. Квадрига. — Следы. Боюсь. Страшно. Хочешь — продам?

— Лучше подари, — предложил Виктор.

Р. Квадрига заморгал.

— Жалко, — сказал он.

— Скупердый, — сказал Виктор с упреком. — Это у тебя с детства. Виллы ему жалко! Ну и подавись своей виллой.

— Ты меня не любишь, — горько констатировал доктор Р. Квадрига. — И никто.

— А господин президент? — агрессивно спросил Виктор.

— «Президент — отец народа», — оживляясь, сказал Р. Квадрига. — Эскиз в золотистых тонах... «Президент на позициях». Фрагмент картины: «Президент на обстреливаемых позициях».

— А еще? — поинтересовался Виктор.

— «Президент с плащом», — сказал Р. Квадрига с готовностью. — Панно. Панорама.

Виктор, соскучившись, отрезал кусочек миноги и стал слушать Голема.

— Вот что, Павор, — говорил тот. — Отстаньте вы от меня. Что я еще могу? Отчетность я вам представил. Рапорт ваш готов подписать. Хотите жаловаться на военных — жалуйтесь. Хотите жаловаться на меня...

— Не хочу я на вас жаловаться, — отвечал Павор, прижимая руку к груди.

— Тогда не жалуйтесь.

— Ну посоветуйте мне что-нибудь! Неужели вы ничего мне не можете посоветовать?

— Господа, — сказал Виктор. — Скучища. Я пойду.

На него не обратили внимания. Он отодвинул стул, поднялся и, чувствуя себя очень пьяным, направился к стойке. Лысый Тэдди перетирал бутылки и смотрел на него без любопытства.

— Как всегда? — спросил он.

— Подожди, — сказал Виктор. — Что это я у тебя хотел спросить... Да! Как дела, Тэдди?

— Дождь, — коротко сказал Тэдди и налил ему очищенной.

— Проклятая погода стала у нас в городе, — сказал Виктор и оперся на стойку. — Что там на твоём барометре?

Тэдди сунул руку под стойку и достал «погодник». Все три шипа плотно прилегли к блестящему, словно отполированному стволу.

— Без просвета, — сказал Тэдди, внимательно разглядывая «погодник». — Дьявольская выдумка. — Подумав, он добавил: — А вообще-то, бог его знает, может быть, он давно уже заломался — который год уже дождь, как проверишь?

— Можно съездить в Сахару, — предложил Виктор.

Тэдди ухмыльнулся.

— Смешно, — сказал он. — Господин этот ваш, Павор, смешное дело, двести крон предлагает за эту штуку.

— Спьяну, наверное, — сказал Виктор. — Зачем она ему...

— Я ему так и сказал. — Тэдди повертел «погодник», поднес его к правому глазу. — Не отдам, — заявил он решительно. — Пусть-ка сам поищет. — Он сунул «погодник» под стойку, посмотрел, как Виктор крутит в пальцах рюмку, и сообщил: — Диана твоя приезжала.

— Давно? — небрежно спросил Виктор.

— Да часов в пять примерно. Выдал ей ящик коньяку. Росшепер все гуляет, никак не остановится. Гоняет персонал за коньяком, жирная морда. Тоже мне — член парламента... Ты за нее не опасешься?

Виктор пожал плечами. Он вдруг увидел Диану рядом с собой. Она возникла возле стойки в мокром дождевике с откинутым капюшоном, она не смотрела в его сторону, он видел только ее профиль и думал, что из всех женщин, которых он знал раньше, она — самая красивая и что такой у него больше никогда, наверное, не будет. Она стояла, опершись на стойку, и лицо ее было очень бледным и очень равнодушным, и она была

самой красивой — у нее все было красивое. И всегда. И когда она плакала, и когда смеялась, и когда злилась, и когда ей было наплевать, и даже когда мерзла, а особенно — когда на нее находило... Ох и пьян же я, подумал Виктор, и разит, наверное, от меня, как от Р. Квадриги. Он вытянул нижнюю губу и подышал себе под нос. Ничего не разобрать.

— Дороги мокрые, скользкие, — говорил Тэдди. — Туман... А потом, я тебе скажу, что Росшепер этот — наверняка бабник, старый козел.

— Росшепер — импотент, — возразил Виктор, машинально проглотив очищенную.

— Это она тебе рассказала?

— Брось, Тэдди, — сказал Виктор. — Перестань.

Тэдди пристально на него посмотрел, потом вздохнул, крикнув, присел на корточки, покопался под стойкой и выставил перед Виктором пузырек с нашатырным спиртом и початую пачку чая. Виктор глянул на часы и стал смотреть, как Тэдди неторопливо достает чистый бокал, наливает в него содовую, капает из пузырька и все так же неторопливо мешает стеклянной палочкой. Потом он придвинул бокал к Виктору. Виктор выпил и зажмурился, задерживая дыхание. Свежая и отвратительная, отвратительно-свежая струя нашатыря ударила в мозг и разлилась где-то за глазами. Виктор потянул носом воздух, сделавшийся нестерпимо холодным, и запустил пальцы в пачку с чаем.

— Ладно, Тэдди, — сказал он. — Спасибо. Запиши на меня, что полагается. Они тебе скажут, что полагается. Пойду.

Старательно жуя чай, он вернулся к своему столику. Очкастый молодой человек и его долговязый спутник торопливо поглощали ужин. Перед ними стояла единственная бутылка — с местной минеральной водой. Павор и Голем, освободив место на скатерти, играли в кости, а доктор Р. Квадрига, охватив нечесаную голову, монотонно бубнил:

— «Легион Свободы — опора президента». Мозаика... В счастливый день именин вашего высокопревосходительства... «Президент — отец детей». Аллегорическая картина...

— Я пошел, — сказал Виктор.

— Жаль, — сказал Голем. — Впрочем, желаю удачи.

— Привет Росшеперу, — сказал Павор, подмигнув.

— «Член парламента Росшепер Нант», — оживился Р. Квадрига. — Портрет. Недорого. Поясной...

Виктор взял свою зажигалку и пачку сигарет и пошел к выходу. Позади доктор Р. Квадрига ясным голосом произнес: «Я полагаю, господа, что нам пора познакомиться. Я — Рем Квадрига, доктор гонорис кауза, а вот вас, сударь, я не припоминаю...» В дверях Виктор столкнулся с толстым тренером футбольной команды «Братья по разуму». Тренер был очень озабочен, очень мокр и уступил Виктору дорогу.

Автобус остановился, и шофер сказал:

— Приехали.

— Санаторий? — спросил Виктор. Снаружи был туман, плотный, молочный. Свет фар рассеивался в нем, и ничего не было видно.

— Санаторий, санаторий, — проворчал шофер, раскуривая сигарету.

Виктор подошел к двери и, спускаясь с подножки, сказал:

— Ну и туманище. Ничего не вижу.

— Разберетесь, — равнодушно пообещал шофер. Он сплюнул в окошко. — Нашли место, где санаторий устраивать. Днем — туман, вечером — туман...

— Счастливого пути, — сказал Виктор.

Шофер не ответил. Взвыл двигатель, захлопнулись двери, и огромный пустой автобус, весь стеклянный и освещенный изнутри, как закрытый на ночь универмаг, развернулся, сразу превратившись в мутное пятно света, и укатил обратно в город. Виктор с трудом, перебирая руками решетчатую изгородь, нашел ворота и ощупью двинулся по аллее. Теперь, когда глаза привыкли к темноте, он смутно различал впереди освещенные окна правого крыла и какую-то особенно глубокую тьму на месте левого, где сейчас спали намотавшиеся за день под дождем «Братья по разуму». В тумане, словно сквозь вату, слышались обычные звуки — играла радиола, дребезжала посуда, кто-то хрипло орал. Виктор продвигался, стараясь держаться середины песчаной аллеи, чтобы не налететь ненароком на какую-нибудь гипсовую вазу. Бутылку с джином он бережно прижимал к груди и был очень осторожен, но тем не менее вскоре споткнулся о мягкое и прошелся на четвереньках. Позади вяло и сонно выругались в том смысле, что надо, мол, зажигать свет. Виктор нашарил в сумраке упавшую бутылку, снова прижал ее к груди и пошел дальше, выставив свободную руку. Скоро он столкнулся с автомобилем, ощупью обошел его и столкнулся с другим. Дьявол, здесь оказалась целая куча автомобилей. Виктор, ругаясь, блуждал среди них, как в лабиринте, и долго не мог выбраться к смутному сиянию, означавшему вход в вестибюль. Гладкие бока автомобилей были влажными от осевшего тумана. Где-то рядом хихикали и отбивались.

В вестибюле на этот раз было пусто, никто не играл в жмурки, никто, тряся жирным задом, не бегал в пятнашки, никто не спал в креслах. Повсюду валялись скомканные плащи, а некий остряк повесил шляпу на фикус. Виктор поднялся по ковровой лестнице на второй этаж. Музыка гремела. Справа в коридоре все двери в апартаменты члена парламента были распахнуты, оттуда несло жирными запахами пищи, курева и разгоряченных тел. Виктор повернул налево и постучал в комнату Дианы. Никто не отозвался. Дверь была заперта, ключ торчал в замочной скважине. Виктор вошел, зажег свет и поставил бутылку на телефонный столик. Послышались шаги, и он выглянул наружу. Направо по коридору широкой и твердой походкой удалялся рослый человек в черном вечернем костюме. На лестничной площадке он остановился перед зеркалом, вскинул голову, поправил галстук (Виктор успел разглядеть изжелта-смуглый орлиный профиль и острый подбородок), а затем в нем что-то изменилось: он ссутулился, слегка перекосился набок и, гнусно виляя бедрами, скрылся в одной из распахнутых дверей. Пижон, неуверенно подумал Виктор. Блевать ходил... Он поглядел налево. Там было темно.

Виктор снял плащ, запер комнату и отправился искать Диану. Придется заглянуть к Росшеперу, подумал он. Где ей еще быть?

Росшепер занимал три палаты. В первой недавно жрали: на столах, покрытых замаранными скатертями, громоздились грязные тарелки, пепельницы, бутылки, мятые салфетки, и никого не было, если не считать одинокой потной лысины, храпевшей в блюде с заливным.

В смежной палате дым стоял коромыслом. На гигантской Росшеперовой кровати брыкались полураздетые нездешние девчонки. Они играли в какую-то странную игру с апоплексически багровым господином бургомистром, который зарывался в них, как свинья в желуди, и тоже брыкался и хрюкал от удовольствия. Тут же присутствовали: господин полицмейстер без кителя, господин городской судья с глазами, вылезшими из орбит от нервной одышки, и какая-то незнакомая юркая личность в сиреновом. Эти трое азартно сражались в детский бильярд, поставленный на туалетный столик, а в углу, прислоненный к стене, сидел, раскинув ноги, облаченный в перепачканный вицмундир директор гимназии с идиотской улыбкой на устах. Виктор уже собрался уходить, когда кто-то поймал его за штанину. Он глянул вниз и отпрянул. Перед ним стоял на четвереньках член парламента, кавалер орденов, автор нашумевшего проекта об обрыблении Китчинганских водоемов Росшепер Нант.

— В лошадки хочу, — просительно проблеял Росшепер. — Давай в лошадки! И-го-го! — Он был невменяем.

Виктор деликатно освободился и заглянул в последнюю палату. Там он увидел Диану. Сначала он не понял, что это Диана, а потом кисло подумал: очень мило! Здесь было полно народу, каких-то полужнакомых мужчин и женщин, они стояли кругом и хлопали в ладоши, а в центре круга Диана отплясывала с тем самым желтолицым пижоном, обладателем орлиного профиля. У нее горели глаза, горели щеки, волосы летали над плечами, и черт был ей не брат. Орлиный профиль очень старался соответствовать.

Странно, подумал Виктор. В чем дело?.. Что-то здесь было не так. Танцует он хорошо, он просто прекрасно танцует. Как учитель танцев. Не танцует, а показывает, как танцевать... Даже не как учитель, а как ученик на экзаменах. Очень хочет получить пятерку... Нет, не то. Слушай, милый, ты же с Дианой танцуешь! Неужели ты этого не замечаешь? Виктор привычно напряг воображение. Актер танцует на сцене, все хорошо, все прекрасно, все идет как надо, без накладок, а дома несчастье... Нет, не обязательно несчастье, просто ждут, когда же он вернется, и он тоже ждет, когда дадут занавес и погасят огни... И даже никакой не актер, а посторонний человек, изображающий актера, который сам играет совсем уж постороннего человека... Неужели Диана не чувствует? Это же фальшивка. Манекен. Ни капли близости между ними, ни капли соблазна, ни тени желания... Говорят друг другу что-то, представить невозможно — что. Шерочка с машерочкой... Вы не вспотели? Да, читал, и даже два раза... Тут он увидел, что Диана, распахивая гостей, бежит к нему.

— Пошли плясать! — закричала она еще издали.

Кто-то преградил ей дорогу, кто-то схватил ее за руку, она вырвалась, смеясь, а Виктор все искал глазами желтолицего и не находил, и это неприятно его беспокоило.

Она подбежала к нему, вцепилась в рукав и потащила в круг.

— Пошли, пошли! Здесь все свои — вся пьянь, рвань, дрянь... Покажи им, как надо! Этот мальчишка ничего не умеет...



Она втащила его в круг, кто-то в толпе заорал: «Писателю Баневу — ура!» Замолкшая на секунду радиола снова залаяла и залязгала, Диана прижалась к нему, потом отпрянула, от нее пахло духами и вином, она была горячая, и Виктор теперь ничего не видел, кроме ее возбужденного прекрасного лица и летящих волос.

— Пляши! — крикнула она, и он стал плясать.

— Молодец, что приехал.

— Да. Да.

— Зачем ты трезвый? Вечно ты трезвый, когда не надо.

— Я буду пьяный.

— Сегодня ты мне нужен пьяный.

— Буду.

— Чтобы делать с тобой что хочу. Не ты со мной, а я с тобой.

— Да.

Она удовлетворенно смеялась, и они плясали молча, ничего не видя и ни о чем не думая. Как во сне. Как в бою. Такая она была сейчас — как сон, как бой. Диана, На Которую Нашло... Вокруг били в ладоши и вскрикивали, кажется, еще кто-то пытался плясать, но Виктор отшвырнул его, чтобы не мешал, а Росшепер протяжно кричал где-то неподалеку: «О мой бедный пьяный народ!»

— Он импотент?

— Еще бы. Я его мою.

— И как?

— Абсолютно.

— О мой бедный пьяный народ! — стонал Росшепер.

— Пошли отсюда, — сказал Виктор.

Он поймал ее за руку и повел. Пьянь и рвань расступалась перед ними, воняя спиртом и чесноком, а в дверях путь преградил губастый молокосос с румянцем во всю щеку и сказал что-то наглое, кулаки у него чесались, но Виктор сказал ему: «Потом, потом», — и молокосос исчез. Держась за руки, они пробежали по пустому коридору, затем Виктор, не выпуская ее руки, отпер дверь и, не выпуская ее руки, запер дверь изнутри... и было жарко, стало нестерпимо жарко, душно... и комната была сначала широкая и просторная, а потом сделалась узкой и тесной, и тогда Виктор встал и распахнул окно, и черный сырой воздух залил его голые плечи и грудь. Он вернулся на кровать, нашарил в темноте бутылку с джином, отхлебнул и передал Диане. Потом он лег, и слева тек холодный воздух, а справа было горячее шелковистое и нежное. Теперь он слышал, что пьянка продолжается — гости пели хором.

— Это надолго? — спросил он.

— Что? — спросила Диана сонно.

— Долго они будут выть?

— Не знаю. Какое нам дело? — Она повернулась на бок и легла щекой на его плечо. — Холодно, — пожаловалась она.

Они повозились, забираясь под одеяло.

— Не спи, — сказал он.

— Угу, — пробормотала она.

— Тебе хорошо?

— Угу.

— А если за ухо?

— Угу... Отстань, больно.

— Слушай, а нельзя здесь пожить недельку?

— Можно.

— А где?

— Я спать хочу. Дай поспать бедной пьяной женщине.

Он замолчал и лежал не шевелясь. Она уже спала. Так я и сделаю, подумал он. Здесь будет хорошо, тихо. Только не вечером. А может быть, и вечером. Не станет же он пьянствовать каждый вечер, ему ведь лечиться надо... Пожить здесь денька три-четыре... пять-шесть... и поменьше пить, совсем не пить, и поработать... давно я не работал... Чтобы начать работать, надо хорошенько заскучать, чтобы ничего больше не хотелось... Он вздрогнул, задремывая. Насчет Ирмы... Насчет Ирмы я напишу Роц-Тусову, вот что я сделаю. Не струсил бы Роц-Тусов, трус он. Должен мне девятьсот крон... Когда речь заходит о господине президенте, все это не имеет значения, все мы становимся трусами. Почему мы все такие трусы? Чего мы, собственно, боимся? Перемены мы боимся. Нельзя будет пойти в писательский кабак и пропустить рюмку очищенной... швейцар не будет кланяться... и вообще швейцара не будет, самого сделают швейцаром. Плохо, если на рудники... это действительно плохо... Но это же редко, времена не те... смягчение нравов... Сто раз я об этом думал и сто раз обнаруживал, что бояться, в общем, нечего, а все равно боюсь. Потому что тупая сила, подумал он. Это страшная штука, когда против тебя тупая, свиная со щетиной сила, неуязвимая, ни для логики неуязвимая, ни для эмоций... И Дианы не будет...

Он задремал и снова проснулся, потому что под открытым окном громко разговаривали и ржали, как животные. Затрещали кусты.

— Не могу я их сажать, — сказал пьяный голос полицмейстера. — Нет такого закона...

— Будет, — сказал голос Росшепера. — Я депутат или нет?

— А такой закон есть, чтобы под городом — рассадник заразы? — рявкнул бургомистр.

— Будет! — упрямо сказал Росшепер.

— Они не заразные, — проблеял фальцетом директор гимназии. — Я имею в виду, что в медицинском отношении...

— Эй, гимназия, — сказал Росшепер, — расстегнуться не забудь.

— А такой закон есть, чтобы честных людей разоряли? — рявкнул бургомистр. —

Чтобы р-разорjali, есть такой закон?

— Будет, я тебе говорю! — сказал Росшепер. — Я депутат или нет?

Чем бы их садануть? — подумал Виктор.

— Росшепер! — сказал полицмейстер. — Ты мне друг? Я тебя, подлеца, на руках носил. Я тебя, подлеца, выбирал. А теперь они шлятся, заразы, по городу, и я ничего не могу. Закона нет, понимаешь?

— Будет, — сказал Росшепер. — Я тебе говорю — будет. В связи с заражением атмосферы...

— Нравственной! — вставил директор гимназии. — Нравственной и моральной.

— Что?.. В связи, говорю... с отравлением атмосферы и по причине недостаточного обрыбления прилежащих водоемов... заразу ликвидировать и учредить в отдаленной местности. Годится?

— Дай я тебя поцелую, — сказал полицмейстер.

— Молодец, — сказал бургомистр. — Голова. Дай я тоже...

— Ерунда, — сказал Росшепер. — Раз плюнуть... Споем? Нет, не желаю. Пошли еще по маленькой.

— Правильно. По маленькой — и домой.

Снова затрещали кусты, Росшепер сказал уже где-то в отдалении: «Эй, гимназия, застегнуться забыл!» — и под окном стало тихо. Виктор снова задремал, просмотрел какой-то незначительный сон, а потом раздался телефонный звонок.

— Да, — сказала Диана хрипло. — Да, это я... — Она откашлялась. — Ничего, ничего, я слушаю... Все хорошо, он был, по-моему, доволен... Что?

Она разговаривала, перевалившись через Виктора, и вдруг он почувствовал, как напряглось ее тело.

— Странно, — сказала она. — Хорошо, я сейчас посмотрю... Да... Хорошо, я ему скажу.

Она положила трубку, перелезла через Виктора и зажгла ночник.

— Что случилось? — спросил Виктор сонно.

— Ничего. Спи, я сейчас вернусь.

Сквозь прижмуренные веки он смотрел, как она собирает разбросанное белье, и лицо у нее было такое серьезное, что он встревожился. Она быстро оделась и вышла, на ходу одергивая платье. Росшеперу плохо, подумал он, прислушиваясь. Допился, старый мерин. В огромном здании было тихо, и он отчетливо слышал шаги Дианы в коридоре, но она пошла не направо, как он ожидал, к Росшеперу, а налево. Потом скрипнула где-то дверь, и шаги стихли. Он повернулся на бок и попробовал снова заснуть, но сна не было. Он понял, что ждет Диану и что ему не заснуть теперь, пока она не вернется. Тогда он сел и закурил. Желвак на затылке принялся пульсировать, и он поморщился. Диана не возвращалась. Почему-то он вспомнил плясуна с орлиным профилем. Он-то здесь при чем? — подумал Виктор. Артист, который играет другого артиста, который играет третьего... А, вот в чем дело: он появился как раз оттуда, слева, куда ушла Диана. Дошел до лестничной площадки и превратился в пижона.

Сначала играл светского льва, а потом стал играть разболтанного хлыща... Виктор снова прислушался. На редкость тихо, все спят... храпит кто-то... Потом снова скрипнула дверь, и слышались приближающиеся шаги. Вошла Диана, лицо у нее было по-прежнему серьезное. Ничего не кончилось, происшествие продолжалось. Диана подошла к телефону и набрала номер.

— Его нет, — сказала она. — Нет-нет, он ушел... Я тоже... Ничего, ничего, что вы. Спокойной ночи.

Она положила трубку, постояла немного, глядя в темноту за окном, затем села на кровать рядом с Виктором. В руке у нее был цилиндрический фонарик. Виктор закурил сигарету и подал ей. Она молча курила, о чем-то напряженно думая, а потом спросила:

— Ты когда заснул?

— Не знаю, трудно сказать.

— Но уже после меня?

— Да.

Она повернула к нему лицо.

— Ты ничего не слышал? Какого-нибудь скандала, драки...

— Нет, — сказал Виктор. — По-моему, все было очень мирно. Сначала они пели, потом Росшепер с компанией мочился у нас под окном, потом я заснул. Они уже собирались разъезжаться.

Она бросила сигарету за окно и поднялась.

— Одевайся, — сказала она.

Виктор усмехнулся и протянул руку за трусами. Слушаю и повинуюсь, подумал он. Хорошая вещь — повинование. Только не надо ни о чем спрашивать. Он спросил:

— Поедем или пойдем?

— Что?.. Сначала пойдем, а там видно будет.

— Кто-нибудь пропал?

— Кажется.

— Росшепер?

Он вдруг поймал на себе ее взгляд. Она смотрела на него с сомнением. Она уже немного раскаивалась, что позвала его. Она спрашивала себя: а кто он, собственно, такой, чтобы брать его с собою?

— Я готов, — сказал он.

Она все еще сомневалась, задумчиво играя фонариком.

— Ну, ладно... тогда пошли. — Она не двигалась с места.

— Может быть, отломать у стула ножку? — предложил Виктор. — Или, скажем, у кровати?..

Она встрепенулась.

— Нет. Ножка не годится. — Она выдвинула ящик стола и достала огромный черный пистолет. — На, — сказала она.

Виктор насторожился было, но это оказался — спортивный мелкокалиберный. И к тому же без обоймы.

— Давай патроны, — сказал Виктор.

Она непонимающе посмотрела на него, потом посмотрела на пистолет и сказала:

— Нет. Патроны не понадобятся. Пошли.

Виктор пожал плечами и сунул пистолет в карман. Они спустились в вестибюль и вышли на крыльцо. Туман поредел, моросил хилый дождик. Машин у крыльца не было. Диана свернула в аллею между мокрыми кустами и включила фонарик. Дурацкое положение, подумал Виктор. Ужасно хочется спросить в чем дело, а спросить нельзя. Хорошо бы придумать, как спросить. Как-нибудь облически. Не спросить, а так — отпустить замечание с вопросом в подтексте. Может быть, драться придется? Неохота. Сегодня неохота. Буду бить рукояткой. Прямо между глаз... А как там мой желвак? Желвак оказался на месте и побаливал. Странные, однако, обязанности у медсестры в этом санатории... А ведь я всегда считал, что Диана — женщина с тайной. С первого взгляда и все пять дней... Ну и сырость, надо было глотнуть перед уходом. Как только вернусь, сейчас же и глотну... А я молодец, подумал он. Никаких вопросов. Слушаю и повинуюсь.

Они обогнули крыло, пробрались через сирень и оказались перед оградой. Диана посветила. Одно железного прута в ограде не было.

— Виктор, — сказала она негромко. — Сейчас мы пойдем по тропинке. Ты пойдешь сзади. Смотри под ноги, и ни шагу в сторону. Понял?

— Понял, — покорно сказал Виктор. — Шаг влево, шаг вправо — считается побег...

Диана пролезла первой и посветила Виктору. Потом они очень медленно двинулись под гору. Это был восточный склон холма, на котором стоял санаторий. Вокруг шумели под дождем невидимые деревья. Раз Диана поскользнулась, и Виктор едва успел схватить ее за плечи. Она нетерпеливо вывернулась и пошла дальше. Каждую минуту она повторяла: «Смотри под ноги... Держись за мной». Виктор послушно смотрел вниз, на ноги Дианы, мелькающие в прыгающем светлом круге. Сначала он все ожидал удара по затылку, прямо по желваку, или чего-нибудь в этом роде, а потом решил: вряд ли. Концы с концами не сходились. Просто, наверное, удрал какой-нибудь псих — например, у Росшепера случилась белая горячка, и его придется вести назад, пугая разряженным пистолетом...

Диана неожиданно остановилась и что-то сказала, но ее слова не дошли до сознания Виктора, потому что в следующую секунду он увидел возле тропинки чьи-то блестящие глаза, неподвижные, огромные, пристально глядевшие из-под мокрого выпуклого лба — только глаза и лоб, и ничего больше, ни рта, ни носа, ни тела — ничего. Сырая тяжелая темнота, и в светлом круге — блестящие глаза и неестественно белый лоб.

— Сволочи, — сказала Диана перехваченным голосом. — Так я и знала. Зверье.

Она упала на колени, луч фонарика скользнул вдоль черного тела, и Виктор увидел

какую-то блестящую металлическую дугу, цепь в траве, а Диана скомандовала: «Скорее, Виктор», — и он присел рядом с нею на корточки и только теперь понял, что это капкан, а в капкане — нога человека. Он обеими руками вцепился в железные челюсти и попытался развести их, но они подались чуть-чуть и сомкнулись снова. «Дурак! — крикнула Диана. — Пистолетом!» Он скрипнул зубами, ухватился поудобнее, напряг мускулы, так что захрустело в плечах, и челюсти разошлись. «Тащи», — хрипло сказал он. Нога исчезла, железные дуги снова сомкнулись и сжали ему пальцы. «Подержи фонарик», — сказала Диана. «Не могу, — виновато сказал Виктор. — Попался. Возьми у меня из кармана пистолет...» Диана, чертыхнувшись, полезла к нему в карман. Он снова развел капкан, она вставила между скобами рукоятку, и он освободился.

— Подержи фонарик, — повторила она. — Я посмотрю, что с ногой.

— Кость раздроблена, — сказал из темноты напряженный голос. — Несите меня в санаторий и вызывайте машину.

— Правильно, — сказала Диана. — Сейчас. Виктор, давай мне фонарик, а сам возьми его.

Она посветила. Человек сидел на прежнем месте, прислонившись к стволу дерева. Нижняя половина его лица была закутана черной повязкой. Очкарик, подумал Виктор. Мокрец. Как он сюда попал?

— Бери же, — нетерпеливо сказала Диана. — На спину.

— Сейчас, — отозвался он. Ему вспомнились желтые круги вокруг глаз. Подкатило к горлу. — Сейчас... — Он сел возле мокреца на корточки и повернулся к нему спиной. — Обнимите меня за шею, — сказал он.

Мокрец оказался тощим и легким. Он не двигался и даже, казалось, не дышал, и он не стонал, когда Виктор оскальзывался, но всякий раз его тело сводило судорогой. Тропинка была гораздо круче, чем думал Виктор, и, когда они дошли до ограды, он основательно запыхался. Трудно оказалось протащить мокреца через щель в ограде, но и с этим они в конце концов справились.

— Куда его? — спросил Виктор, когда они подошли к подъезду.

— Пока в вестибюль, — ответила Диана.

— Не надо, — тем же напряженным голосом произнес мокрец. — Оставьте меня здесь.

— Здесь дождь, — возразил Виктор.

— Перестаньте болтать, — сказал мокрец. — Я останусь здесь.

Виктор промолчал и стал подниматься по ступенькам.

— Оставь его, — сказала Диана.

Виктор остановился.

— Какого черта, здесь же дождь, — сказал он.

— Не будьте дураком, — проговорил мокрец. — Оставьте... здесь...

Виктор, не говоря ни слова, шагая через три ступеньки, поднялся к двери и вошел в вестибюль.

— Кретин, — тихо сказал мокрец и уронил голову на его плечо.

— Болван, — сказала Диана, догоняя Виктора и хватая его за рукав. — Ты его убьешь, идиот! Немедленно вынеси и положи его под дождь! Немедленно, слышишь? Ну, чего стоишь?

— С ума вы все посходили, — сердито и растерянно сказал Виктор.

Он повернулся, пнул дверь и вышел на крыльцо. Дождь словно только и ждал этого. Только что он лениво моросил, а тут вдруг хлынул настоящим ливнем. Мокрец тихонько застонал, поднял голову и вдруг задышал часто-часто, как загнанный. Виктор все еще медлил, инстинктивно осматриваясь в поисках какого-нибудь навеса.

— Положите меня, — сказал мокрец.

— В лужу? — язвительно и горько спросил Виктор.

— Это безразлично... Положите.

Виктор осторожно опустил его на керамические плитки крыльца, и мокрец сразу раскинул руки и вытянулся. Правая нога его была неестественно вывернута, огромный лоб в свете сильной лампы казался синевато-белым. Виктор сел рядом на ступеньки. Ему очень хотелось уйти в вестибюль, но это было невозможно — оставить под проливным дождем раненого человека, а самому уйти в тепло. Сколько раз меня сегодня называли дураком? — подумал он, обтирая лицо ладонью. Ох, что-то много. И, кажется, доля истины в этом есть, поскольку дурак, он же болван, он же кретин и прочее — это невежда, упорствующий в своем невежестве. А ведь, ей-богу, ему под дождем лучше! И глаза открыл, и не такие они у него теперь страшные... Мокрец, подумал он. Да, пожалуй, скорее мокрец, чем очкарик. Как это его в капкан занесло? И откуда здесь капканы? Второго мокреца сегодня встречаю, и у обоих неприятности. У них неприятности, и у меня из-за них тоже неприятности...

Диана в вестибюле говорила по телефону. Виктор прислушался.

— Нога!.. Да. Раздроблена кость... Хорошо... Ладно... Скорее, мы ждем.

Сквозь стеклянную дверь Виктор увидел, как она повесила трубку и побежала вверх по лестнице. Что-то у нас в городе стало с мокрецами нехорошо. Возня какая-то вокруг них. Что-то они стали всем мешать, даже директору гимназии. Даже Лоле, вспомнил он вдруг. Кажется, она тоже проходила насчет них... Он поглядел на мокреца. Мокрец смотрел на него.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Виктор. Мокрец молчал. — Вам что-нибудь нужно? — спросил Виктор, повышая голос. — Глоток джину?

— Не орите, — сказал мокрец. — Я слышу.

— Больно? — сочувственно спросил Виктор.

— А как вы думаете?

На редкость неприятный человек, подумал Виктор. Впрочем, бог с ним — встретились и разошлись. А ему больно...

— Ничего, — сказал он. — Потерпите еще несколько минут. Сейчас за вами приедут.

Мокрец ничего не ответил, лоб его сморщился, глаза закрылись. Он стал похож на

мертвого — плоский и неподвижный под проливным дождем. На крыльцо выскочила Диана с докторским чемоданчиком, присела рядом и стала что-то делать с покалеченной ногой. Мокрец тихонько зарычал, но Диана не произносила успокаивающих слов, какие обычно говорят в таких случаях врачи. «Тебе помочь?» — спросил Виктор. Она не ответила. Он поднялся, и Диана, не поворачивая головы, проговорила: «Подожди, не уходи».

— Я не уйду, — сказал Виктор. Он смотрел, как она ловко накладывает шину.

— Ты еще понадобишься, — сказала Диана.

— Я не уйду, — повторил Виктор.

— Вообще-то ты можешь сбегать наверх. Сбегай, хлебни чего-нибудь, пока есть время, но потом сразу возвращайся.

— Ничего, — сказал Виктор. — Обойдусь.

Потом где-то за пеленой дождя зарычал мотор, вспыхнули фары. Виктор увидел какой-то джип, осторожно заворачивающий в ворота. Джип подкатил к крыльцу, и из него грузно выбрался Юл Голем в своем неуклюжем плаще. Он поднялся по ступенькам, нагнулся над мокрецом, взял его руку. Мокрец глухо сказал:

— Никаких уколов.

— Ладно, — сказал Голем и посмотрел на Виктора. — Берите его.

Виктор взял мокреца на руки и понес к джипу. Голем обогнал его, распахнул дверцу и залез внутрь.

— Давайте его сюда, — сказал он из темноты. — Нет, ногами вперед... Смелее... Придержите за плечи...

Он сопел и возился в машине. Мокрец снова зарычал, и Голем сказал ему что-то непонятное, а может быть, выругался, что-то вроде: «Шесть углов на шее...» Потом он вылез наружу, захлопнул дверцу и, усаживаясь за руль, спросил Диану:

— Вы им звонили?

— Нет, — ответила Диана. — Позвонить?

— Теперь уж не стоит, — сказал Голем, — а то они все законопатят. До свидания.

Джип тронулся с места, обогнул клумбу и укатил по аллее.

— Пойдем, — сказала Диана.

— Поплывем, — сказал Виктор. Теперь, когда все кончилось, он не чувствовал ничего больше, кроме раздражения.

В вестибюле Диана взяла его под руку.

— Ничего, — сказала она. — Сейчас переоденешься в сухое, выпьешь водочки, и все станет хорошо.

— Течет, как с мокрой собаки, — сердито пожаловался Виктор. — И потом, может быть, ты объяснишь, наконец, что здесь произошло?

Диана устало вздохнула.

— Да ничего здесь особенного не произошло. Не надо было фонарик забывать.



— А капканы на дорогах — это у вас в порядке вещей?

— Бургомистр ставит, сволочь...

Они поднялись на второй этаж и пошли по коридору.

— Он сумасшедший? — осведомился Виктор. — Это же уголовное дело. Или он действительно сумасшедший?

— Нет. Он просто сволочь и ненавидит мокрецов. Как и весь город.

— Это я заметил. Мы их тоже не любили, но капканы... А что мокрецы им сделали?

— Надо же кого-то ненавидеть, — сказала Диана. — В одних местах ненавидят евреев, где-то еще — негров, а у нас — мокрецов.

Они остановились перед дверью, Диана повернула ключ, вошла, и зажегся свет.

— Подожди, — сказал Виктор озираясь. — Куда ты меня привела?

— Это лаборатория, — ответила Диана. — Я сейчас.

Виктор остался в дверях и смотрел, как она ходит по огромной комнате и закрывает окна. Под окнами на полу темнели лужи.

— А что он здесь делал ночью? — спросил Виктор.

— Где? — спросила Диана, не оборачиваясь.

— На тропинке... Ты ведь знала, что он здесь?

— Ну, понимаешь, — сказала она, — в лепрозории плохо с медикаментами. Иногда они приходят к нам, просят...

Она закрыла последнее окно и прошлась по лаборатории, оглядывая столы, заставленные приборами и химической посудой.

— Гнусно все это, — сказал Виктор. — Ну и государство. Куда ни поедешь — везде какая-нибудь дрянь... Пошли, а то я замерз.

— Сейчас, — сказала Диана.

Она взяла со стула какую-то темную одежду и встряхнула ее. Это был мужской вечерний костюм. Она аккуратно повесила его в шкафчик для спецодежды. Откуда здесь костюм? — подумал Виктор. Причем какой-то знакомый костюм...

— Ну вот, — сказала Диана. — Ты как хочешь, а я сейчас залезу в горячую ванну.

— Послушай, Диана, — сказал Виктор осторожно. — А кто был этот... с таким вот носом... желтолицый? С которым ты плясала...

Диана взяла его за руку.

— Видишь ли, — сказала она, помолчав, — это мой муж... Бывший муж.

### **Вундеркинды**

— Давно я вас не видел в городе, — сказал Павор насморочным голосом.

— Не так уж давно, — возразил Виктор. — Всего два дня.

— Можно с вами посидеть, или вы хотите побыть вдвоем? — спросил Павор.

— Садитесь, — вежливо сказала Диана.

Павор сел напротив нее и крикнул: «Официант, двойной коньяк!» Смеркалось, швейцар задергивал шторы на окнах. Виктор включил торшер.

— Я вами восхищаюсь, — обратился Павор к Диане. — Жить в таком климате и сохранить прекрасный цвет лица... — Он чихнул. — Извините. Эти дожди меня доконают... Как работается? — спросил он у Виктора.

— Неважно. Не могу я работать, когда пасмурно — все время хочется выпить.

— Что за скандал вы учинили у полицмейстера? — спросил Павор.

— А, чепуха, — сказал Виктор. — Искал справедливости.

— А что случилось?

— Скотина бургомистр охотится на мокрецов с капканами. Один попался, повредил ногу. Я взял этот капкан, пошел в полицию и потребовал расследования.

— Так, — сказал Павор. — А дальше?

— В этом городе странные законы. Поскольку заявления от пострадавшего не поступило, считается, что преступления не было, а был несчастный случай, в коем никто, кроме потерпевшего, не повинен. Я сказал полицмейстеру, что приму это к сведению, а он мне объявил, что это угроза, на чем мы и расстались.

— А где все это случилось? — спросил Павор.

— Около санатория.

— Около санатория? Что это мокрецу понадобилось около санатория?

— По-моему, это никого не касается, — резко сказала Диана.

— Конечно, — сказал Павор. — Я просто удивился... — Он сморщился, зажмурил глаза и со звоном чихнул. — Фу, черт, — сказал он. — Прошу прощения.

Он полез в карман и вытащил большой носовой платок. Что-то со стуком упало на пол. Виктор нагнулся. Это был кастет. Виктор поднял его и протянул Павору.

— Зачем вы это таскаете? — спросил он.

Павор, зарывшись лицом в носовой платок, смотрел на кастет покрасневшими глазами.

— Это все из-за вас, — произнес он сдавленным голосом и высморкался. — Это вы меня напугали своим рассказом... А между прочим, говорят, что здесь действует какая-то местная банда. То ли бандиты, то ли хулиганы. А мне, знаете ли, не нравится, когда меня бьют.

— Вас часто бьют? — спросила Диана.

Виктор посмотрел на нее. Она сидела в кресле, положив ногу на ногу, и курила, опустив глаза. Бедный Павор, подумал Виктор. Сейчас тебя отошьют... Он протянул руку и одернул юбку у нее на коленях.

— Меня? — сказал Павор. — Неужели у меня вид человека, которого часто бьют? Это надо поправить. Официант, еще двойной коньяк!.. Да, так на следующий день я зашел в слесарные мастерские, и мне там в два счета смастерили эту штучку. — Он с довольным видом осмотрел кастет. — Хорошая штучка, даже Голему понравилась...

— Вас так и не пустили в лепрозорий? — спросил Виктор.

— Нет. Не пустили и, надо понимать, не пустят. Я уже разуверился. Я написал жалобы в три департамента, а теперь сижу и сочиняю отчет. На какую сумму лепрозорий получил в минувшем году подштанников. Отдельно мужских, отдельно женских. Дьявольски увлекательно.

— Напишите, что у них не хватает медикаментов, — посоветовал Виктор. Павор удивленно поднял брови, а Диана лениво сказала:

— Лучше бросьте вашу писанину, выпейте стакан горячего вина и ложитесь в постель.

— Намек понял, — сказал Павор со вздохом. — Придется идти... Вы знаете, в каком я номере? — спросил он Виктора. — Навестили бы как-нибудь.

— Двести двадцать третий, — сказал Виктор. — Обязательно.

— До свидания, — сказал Павор, поднимаясь. — Желаю приятно провести вечер.

Они смотрели, как он подошел к стойке, взял бутылку красного вина и направился к выходу.

— Язык у тебя длинный, — сказала Диана.

— Да, — согласился Виктор. — Виновен. Понимаешь, он мне чем-то нравится.

— А мне — нет, — сказала Диана.

— И доктору Р. Квадриге тоже — нет. Интересно, почему?

— Морда у него мерзкая, — ответила Диана. — Белокурая бестия. Знаю я эту породу. Настоящие мужчины. Без чести, без совести, повелители дураков.

— Вот тебе и на, — удивился Виктор. — А я-то думал, что такие мужчины должны тебе нравиться.

— Теперь нет мужчин, — возразила Диана. — Теперь либо фашисты, либо бабы.

— А я? — осведомился Виктор с интересом.

— Ты? Ты слишком любишь маринованные миноги. И одновременно — справедливость.

— Правильно. Но, по-моему, это хорошо.

— Это неплохо. Но если бы тебе пришлось выбирать, ты бы выбрал миноги, вот что плохо. Тебе повезло, что у тебя талант.

— Что это ты такая злая сегодня? — спросил Виктор.

— А я вообще злая. У тебя — талант, у меня — злость. Если у тебя отобрать талант, а у меня — злость, то останутся два совокупляющихся нуля.

— Нуль нулю рознь, — заметил Виктор. — Из тебя даже нуль получился бы неплохой — стройный, прекрасно сложенный нуль. И кроме того, если у тебя отобрать твою злость, ты станешь доброй, что тоже, в общем, неплохо...

— Если у меня отобрать злость, я стану медузой. Чтобы я стала доброй, нужно заменить злость добротой.

— Забавно, — сказал Виктор. — Обычно женщины не любят рассуждать. Но уж когда они начинают, то становятся удивительно категоричными. Откуда ты,

собственно, взяла, что у тебя только злость и никакой доброты? Так не бывает. Доброта в тебе тоже есть, только она незаметна за злостью. В каждом человеке намешано всего понемножку, а жизнь выдавливает из этой смеси что-нибудь одно на поверхность...

В зал ввалилась компания молодых людей, и сразу стало шумно. Молодые люди вели себя непринужденно: они обругали официанта, погнали его за пивом, а сами обсели столик в дальнем углу и принялись громко разговаривать и хохотать во все горло. Здоровенный губастый дылда с румяными щеками, прищелкивая на ходу пальцами и пританцовывая, направился к стойке. Тэджи ему что-то подал, он, оттопырив мизинец, взял рюмку двумя пальцами, повернулся к стойке спиной, оперся на нее локтями и скрестил ноги, победительно оглядывая пустой зал. «Привет Диане! — заорал он. — Как жизнь?» Диана равнодушно улыбнулась ему.

— Что это за диво? — спросил Виктор.

— Некий Фламин Ювента, — ответила Диана. — Племянничек полицмейстера.

— Где-то я его видел, — сказал Виктор.

— Да ну его к черту, — нетерпеливо сказала Диана. — Все люди — медузы, и ничего в них такого не намешано. Попадаются изредка настоящие, у которых есть что-нибудь свое — доброта, талант, злость... отними у них это, и ничего не останется, станут медузами, как все. Ты, кажется, вообразил, что нравишься мне своим пристрастием к миногам и справедливости? Чепуха! У тебя талант, у тебя книги, у тебя известность, а в остальном ты такая же дремучая рохля, как и все.

— То, что ты говоришь, — объявил Виктор, — до такой степени неправильно, что я даже не обижаюсь. Но ты продолжай, у тебя очень интересно меняется лицо, когда ты говоришь. — Он закурил и передал ей сигарету. — Продолжай.

— Медузы, — сказала она горько. — Скользкие глупые медузы. Копшатся, ползают, стреляют, сами не знают, чего хотят, ничего не умеют, ничего по-настоящему не любят... как черви в сортире...

— Это неприлично, — сказал Виктор. — Образ, несомненно, выпуклый, но решительно неаппетитный. И вообще все это банальности. Диана, милая моя, ты не мыслитель. В прошлом веке и в провинции это еще как-то звучало бы... общество, по крайней мере, было бы сладко шокировано, и бледные юноши с горящими глазами таскались бы за тобой по пятам. Но сегодня это уже очевидности. Сегодня уже все знают, что есть человек. Что с человеком делать — вот вопрос. Да и то, признаться, уже навяз на зубах.

— А что делают с медузами?

— Кто? Медузы?

— Мы.

— Насколько я знаю — ничего. Консервы, кажется, из них делают.

— Ну и ладно, — сказала Диана. — Ты что-нибудь наработал за это время?

— А как же! Я написал страшно трогательное письмо своему другу Роц-Тусову. Если после этого письма он не устроит Ирму в пансион, значит, я никуда не годен!

— И это все?

— Да, — сказал Виктор. — Все остальное я выбросил.

— Господи! — сказала Диана. — А я-то за тобой ухаживала, старалась не мешать, отгоняла Росшепера...

— Купала меня в ванне, — напомнил Виктор.

— Купала тебя в ванне, поила тебя кофе...

— Погоди, — сказал Виктор, — но ведь я тоже купал тебя в ванне...

— Все равно.

— Как это — все равно? Ты думаешь, легко работать, выкупав тебя в ванне? Я сделал шесть вариантов описания этого процесса, и все они никуда не годятся.

— Дай почитать.

— Только для мужчин, — сказал Виктор. — Кроме того, я их выбросил, разве я тебе не сказал? И вообще, там было так мало патриотизма и национального самосознания, что это все равно никому нельзя было бы показать.

— Скажи, а ты как — сначала напишешь, а потом уже вставляешь национальное самосознание?

— Нет, — сказал Виктор. — Сначала я проникаюсь национальным самосознанием до глубины души: читаю речи господина президента, зубрю наизусть богатырские саги, посещаю патриотические собрания. Потом, когда меня начинает рвать — не тошнить, а уже рвать, — я принимаюсь за дело... Давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, что мы будем делать завтра?

— Завтра у тебя встреча с гимназистами.

— Это быстро. А потом?

Диана не ответила. Она смотрела мимо него. Виктор обернулся. К ним подходил мокрец — во всей своей красе: черный, мокрый, с черной повязкой на лице.

— Здравствуйте, — сказал он Диане. — Голем еще не вернулся?

Виктор поразился, какое лицо сделалось у Дианы. Как на старинной картине. Даже не на картине — на иконе. Странная неподвижность черт, и ты недоумеваешь, то ли это замысел мастера, то ли бессилие ремесленника. Она не ответила. Она молчала, и мокрец тоже молча смотрел на нее, и никакой неловкости не было в этом молчании — они были вместе, а Виктор и все прочие были отдельно. Виктору это очень не понравилось.

— Голем, наверное, сейчас придет, — сказал он громко.

— Да, — сказала Диана. — Присядьте, подождите.

У нее был обычный голос, и она улыбалась мокрому равнодушной улыбкой. Все стало, как обычно, — Виктор был с Дианой, а мокрец и все прочие были отдельно.

— Прошу! — весело сказал Виктор, указывая на кресло доктора Р. Квадриги.

Мокрец сел, положив на колени руки в черных перчатках. Виктор налил ему коньяку. Мокрец привычно небрежным жестом взял рюмку, покачал, как бы взвешивая, и снова поставил на стол.

— Я надеюсь, вы не забыли? — сказал он Диане.

— Да, — сказала Диана. — Да. Сейчас принесу. Виктор, дай мне ключ от номера, я сейчас вернусь.

Она взяла ключ и быстро пошла к выходу. Виктор закурил. Что это с тобой, приятель? — сказал он себе. Что-то тебе слишком многое мерещится в последнее время. Нежный ты стал какой-то, чувствительный... Ревнивый. А зря. Тебя это совершенно не касается — все эти бывшие мужья, все эти странные знакомства... Диана — это Диана, а ты — это ты. Росшепер импотент? Импотент. Вот и будет с тебя... Он знал, что все это не так просто, что он уже проглотил какую-то отраву, но он сказал себе: хватит, и сегодня — сейчас, пока, — ему удалось убедить себя, что действительно хватит.

Мокрец сидел напротив, неподвижный и страшный, как чучело. От него пахло сыростью и еще чем-то, какой-то медициной. Мог ли я подумать, что когда-нибудь буду сидеть с мокрецом в ресторане за одним столиком? Прогресс, ребята, движется куда-то понемногу. Или это мы стали такие всеядные: дошло до нас, наконец, что все люди — братья? Человечество, друг мой, я горжусь тобою... А вы, сударь, отдали бы свою дочь за мокреца?..

— Моя фамилия Банев, — представился Виктор и спросил: — Как здоровье вашего... пострадавшего? Того, что попал в капкан?

Мокрец быстро повернул к нему лицо. Смотрит, как через бруствер, подумал Виктор.

— Удовлетворительно, — ответил мокрец холодно.

— На его месте я бы подал заявление в полицию.

— Не имеет смысла, — сказал мокрец.

— Почему же? — сказал Виктор. — Не обязательно обращаться в местную полицию, можно обратиться в окружную...

— Нам это не нужно.

Виктор пожал плечами.

— Каждое ненаказанное преступление рождает новое преступление.

— Да. Но нас это не интересует.

Они помолчали. Потом мокрец сказал:

— Меня зовут Зурзмансор.

— Знаменитая фамилия, — вежливо сказал Виктор. — Вы не родственник Павлу Зурзмансору, социологу?

Мокрец прищурил глаза.

— Даже не однофамилец, — сказал он. — Мне говорили, Банев, что завтра вы выступаете в гимназии...

Виктор не успел ответить. За спиной у него двинули кресло, и молодцеватый баритон произнес:

— А ну, зараза, пошел отсюда вон!

Виктор обернулся. Над ним возвышался губастый Фламин Ювента, или как его

там, — словом, племянничек. Виктор глядел на него не дольше секунды, но уже чувствовал сильнейшее раздражение.

— Вы это кому, молодой человек? — осведомился он.

— Вашему приятелю, — любезно сообщил Фламин Ювента и снова гаркнул: — Тебе говорят, мокрая шкура!

— Одну минуточку, — сказал Виктор и встал. Фламин Ювента, ухмыляясь, смотрел на него сверху вниз. Этаким юный Голиаф в спортивной куртке, сверкающей многочисленными эмблемами, наш простейший отечественный штурмфюрер, верная опора нации с резиновой дубинкой в заднем кармане, гроза левых, правых и умеренных. Виктор протянул руку к его галстуку и спросил, изображая озабоченность и любопытство: «Что это у вас такое?» И когда юный Голиаф машинально наклонил голову, чтобы поглядеть, что у него там такое, Виктор крепко ущемил его нос большим и указательным пальцем. «Э!» — ошеломленно воскликнул юный Голиаф и попытался вырваться, но Виктор его не выпустил и некоторое время старательно и с ледяным наслаждением крутил и выворачивал этот наглый крепкий нос, приговаривая: «Веди себя прилично, щенок, племянничек, штурмовичок вшивый, сукин сын, хамло...» Позиция была исключительно удобной: юный Голиаф отчаянно лягался, но между ними было кресло, юный Голиаф месил воздух кулаками, но руки у Виктора были длиннее, и Виктор все крутил, вращал, драл и вывертывал, пока у него над головой не пролетела бутылка. Тогда он оглянулся: на него, раздвигая столы и опрокидывая кресла, с грохотом неслась вся банда — пятеро, причем двое из них очень рослые. На мгновение все застыло, как на фотоснимке, — черный Зурзмансор, спокойно откинувшийся в кресле; Тэдди, повисший в прыжке над стойкой; Диана с белым свертком посередине зала; а на заднем плане в дверях — свирепое усатое лицо швейцара; и совсем рядом — злобные морды с разинутыми пастьми. Затем фотография кончилась, и началось кино.

Первого верзилу Виктор очень удачно сшиб ударом по скуле. Тот исчез и некоторое время не появлялся. Но другой верзила попал Виктору в ухо. Кто-то еще ударил его ребром ладони по щеке — видимо, промахнулся по горлу. А еще кто-то — освободившийся Голиаф? — прыгнул на него сзади. Все это было грубое уличное хулиганье, опора нации, — только один из них применял бокс, а остальные жаждали не столько драться, сколько увечить: выдавить глаз, разорвать рот, лягнуть в пах. Будь Виктор один, они бы его искалечили, но с тыла на них набежал Тэдди, который свято исповедовал золотое правило всех вышибал — гасить любую драку в самом зародыше, а с фланга появилась Диана, Диана Бешеная, оскаленная ненавистью, непохожая на себя, уже без белого пакета, а с тяжелой оплетенной бутылкой в руках; и еще подоспел швейцар, человек хотя и пожилой, но, судя по ухваткам, бывший солдат — он действовал связкой ключей, словно это был ремень со штыком в ножнах. Так что когда из кухни прибежали два официанта, делать им было уже нечего. Племянничек удрал, забыв на столике свой транзистор. Один из молодчиков остался лежать под столом — это был тот, которого Диана свалила бутылкой, остальных же четверых Виктор с Тэдди, подбадривая друг друга удалыми возгласами, буквально вынесли из зала на кулаках, прогнали через вестибюль и пинками забили в вертящуюся дверь. По инерции они вылетели наружу сами и только там, под дождем, осознали полную победу и несколько успокоились.

— Сопляки паршивые, — сказал Тэдди, закуривая сразу две сигареты — себе и

Виктору. — Манеру взяли — каждый четверг буянить. Прошлый раз недоглядел — два кресла сломали. А кому платить? Мне?

Виктор щупал распухшее ухо.

— Племянничек ушел, — сказал он с сожалением. — Так я до него как следует и не добрался.

— Это хорошо, — сказал Тэдди деловито. — С этим губастым лучше не связываться. Дядюшка у него знаешь кто, да и сам он... опора Родины и Порядка, или как они там называются... А драться ты, господин писатель, наострился. Такой, помню, хлипкий сопляк был — тебе, бывало, дадут, а ты и под стол. Молодец.

— Такая уж у меня профессия, — вздохнул Виктор. — Продукт борьбы за существование. У нас ведь как — все на одного. А господин президент за всех.

— Неужели до драки доходит? — простодушно удивился Тэдди.

— А ты думал! Напишут на тебя похвальную статью, что ты-де проникнут национальным самосознанием, идешь искать критика, а он уже с компанией — и все молодые, задорные крепыши, дети президента...

— Надо же, — сказал Тэдди сочувственно. — И что?

— По-разному. И так бывает, и эдак.

К подъезду подкатил джип, отворилась дверца, и под дождь, прикрываясь одним плащом, вылезли молодой человек в очках и с портфелем и его долговязый спутник. Из-за руля выбрался Голем. Долговязый с острым, каким-то профессиональным интересом смотрел, как швейцар выбивает через вертящуюся дверь последнего буяна, еще не вполне пришедшего в себя. «Жалко, этого с нами не было, — шепотом сказал Тэдди, указывая глазами на долговязого. — Вот это мастер! Это тебе не ты. Профессионал, понял?» — «Понял», — тоже шепотом ответил Виктор. Молодой человек с портфелем и долговязый рысцой пробежали мимо и нырнули в подъезд. Голем неторопливо двинулся было следом, уже издали улыбаясь Виктору, но дорогу ему заступил господин Зурзматор с белым свертком под мышкой. Он что-то проговорил вполголоса, после чего Голем сразу перестал улыбаться и вернулся в машину. Зурзматор пробрался на заднее сиденье, и джип укатил.

— Эх! — сказал Тэдди. — Не того мы с тобой били, господин Банев. Люди кровь из-за него проливают, а он сел в чужую машину и уехал.

— Ну, это ты зря, — сказал Виктор. — Больной, несчастный человек, сегодня он, завтра ты. Мы с тобой сейчас пойдем и выпьем, а его в лепрозорий повезли.

— Знаем мы, куда его повезли! — непримиримо сказал Тэдди. — Ничего ты не понимаешь в нашей жизни, писатель.

— Оторвался от нации?

— От нации не от нации, а жизни нашей ты не знаешь. Поживи-ка у нас: который год дожди, на полях все погнило, дети от рук отбились... Да чего там — ни одной кошки в городе не осталось, от мышей спасенья нет... Э-эх! — сказал он, махнув рукой. — Пошли уж.

Они вернулись в вестибюль, и Тэдди спросил швейцара, уже занявшего свой пост:



— Что? Много наломали?

— Да нет, — ответил швейцар. — Можно считать, что обошлось. Торшер один покалечили, стену загадили, а деньги я у этого... у последнего отобрал, н`а вот, возьми.

На ходу считая деньги, Тэдди прошел в ресторан. Виктор последовал за ним. В зале опять установился покой. Молодой человек в очках и долговязый уже скучали над бутылкой минеральной воды, меланхолично пережевывая дежурный ужин. Диана сидела на прежнем месте, очень оживленная, очень хорошенькая, и даже улыбалась занявшему свое кресло доктору Р. Квадриге, которого обычно не жаловала. Перед Р. Квадригой стояла бутылка рому, но он был еще трезв и потому выглядел странно.

— С викторией! — мрачно приветствовал он Виктора. — Сожалею, что не присутствовал при сем хотя мичманом.

Виктор рухнул в кресло.

— Красивое ухо, — сказал Р. Квадрига. — Где ты такое достал? Как петушиный гребень.

— Коньяку! — потребовал Виктор. Диана налила ему коньяку. — Ей и только ей обязан я викторией своею, — сказал он, показывая на Диану. — Ты заплатила за бутылку?

— Бутылка не разбилась, — сказала Диана. — За кого ты меня принимаешь? Но как он упал! Боже мой, как он чудесно свалился! Все бы так...

— Приступим, — мрачно сказал Р. Квадрига и налил себе полный стакан рому.

— Покатился, как манекен, — сказала Диана. — Как кегля... Виктор, у тебя все цело? Я видела, как тебя били ногами.

— Главное цело, — ответил Виктор. — Я специально защищал.

Доктор Р. Квадрига со скворчанием всосал в себя последние капли рома из стакана, совершенно как кухонная раковина всасывает остатки воды после мытья посуды. Глаза у него сразу посоловели.

— Мы знакомы, — поспешно сказал ему Виктор. — Ты — доктор Рем Квадрига, я — писатель Банев...

— Оставь, — сказал Р. Квадрига. — Я совершенно трезв. Но я сопьюсь. Это единственное, в чем я сейчас уверен. Вы не можете себе представить, но я приехал сюда полгода назад абсолютно непьющим человеком. У меня больная печень, катар кишок и еще что-то с желудком. Мне абсолютно запрещено пить, а я теперь пьянствую круглые сутки... Я абсолютно никому не нужен. Никогда в жизни этого со мной не бывало. Я даже писем не получаю, потому что старые друзья мои сидят без права переписки, а новые — неграмотны...

— Никаких государственных тайн, — сказал Виктор. — Я неблагонадежен.

Р. Квадрига снова наполнил стакан и принялся прихлебывать ром, как остывший чай.

— Так лучше действует, — сообщил он. — Попробуй, Банев. Пригодится... И нечего на меня смотреть! — сказал он вдруг Диане бешено. — Потрудитесь скрывать свои чувства! А если вам не нравится...

— Тихо, тихо! — сказал Виктор, и Р. Квадрига скис.

— Они ни черта во мне не понимают, — сказал он жалобно. — Никто. Только ты немножко понимаешь. Ты меня всегда понимал. Только ты очень грубый, Банев, и всегда меня ранил. Я весь израненный... Они теперь боятся меня ругать, они теперь только хвалят. Как похвалит какая-нибудь сволочь — рана. Другая сволочь похвалит — другая рана. Но теперь все это позади. Они еще не знают... Слушай, Банев! Какая у тебя замечательная женщина... Я тебя прошу... Попроси ее, пусть придет ко мне в студию... Да нет, дурак! Натурщица! Ты ничего не понимаешь, я такую натурщицу ищу десять лет...

— Аллегорическая картина, — пояснил Виктор Диане. — «Президент и Вечно Юная Нация»...

— Дурак, — грустно сказал доктор Р. Квадрига. — Вы все думаете, что я продаюсь... Ну, правильно, было! Но я больше не пишу президентов... Автопортрет! Понимаешь?

— Нет, — признался Виктор. — Не понимаю. Ты хочешь писать свой портрет с Дианы?

— Дурак, — сказал Р. Квадрига. — Это будет лицо художника...

— Моя задница, — объяснила Диана Виктору.

— Лицо художника! — повторил Р. Квадрига. — Ты ведь тоже художник... И все, кто сидит без права переписки... и все, кто лежит без права переписки... И все, кто живет в моем доме... то есть не живет... Ты знаешь, Банев, я боюсь. Я ведь тебя просил: приди, поживи у меня хоть немного. У меня вилла, фонтан... А садовник сбежал. Трус... Сам я там жить не могу, в гостинице лучше... Ты думаешь, я пью, потому что проданся? Дудки, это тебе не модный роман... Поживешь у меня немного и разберешься... Может быть, ты даже их узнаешь. Может быть, это вовсе не мои знакомые, может быть, это твои. Тогда бы я понял, почему они меня не узнают... Ходят босые... смеются... — Глаза его вдруг наполнились слезами. — Господа! — сказал он. — Какое счастье, что с нами нет этого Павора! Ваше здоровье.

— Будь здоров, — сказал Виктор, переглянувшись с Дианой. Диана смотрела на Р. Квадригу с брезгливой тревогой. — Никто здесь не любит Павора, — сказал он. — Один я урод какой-то.

— Тихий омут, — произнес доктор Р. Квадрига. — И прыгнувшая лягушка. Болтун. Всегда молчит.

— Просто он уже готов, — сказал Виктор Диане. — Ничего страшного...

— Господа! — сказал доктор Р. Квадрига. — Сударыня! Я считаю своим долгом представиться! Рем Квадрига, доктор гонорис кауза...

Виктор пришел в гимназию за полчаса до назначенного времени, но Бол-Кунац уже ждал его. Впрочем, он был мальчиком тактичным, он только сообщил Виктору, что встреча состоится в актовом зале, и сейчас же ушел, сославшись на неотложные дела. Оставшись один, Виктор побрел по коридорам, заглядывая в пустые классы, вдыхая забытые ароматы чернил, мела, никогда не оседающей пыли, запахи драк «до первой крови», изнурительных допросов у доски, запахи тюрьмы, беспорядка, лжи,

возведенной в принцип. Он все надеялся вызвать в памяти какие-то сладкие воспоминания о детстве и юношестве, о рыцарстве, о товариществе, о первой чистой любви, но ничего из этого не получалось, хотя он очень старался, готовый умилиться при первой возможности. Все здесь оставалось по-прежнему — и светлые затхлые классы, и поцарапанные доски, парты, изрезанные закрашенными инициалами и апокрифическими надписями про жену и правую руку, и казематные стены, выкрашенные до половины веселой зеленой краской, и сбитая штукатурка на углах — все оставалось по-прежнему ненавистно, гадко, наводило злобу и беспросветность.

Он нашел свой класс, хотя и не сразу; нашел свое место у окна, но парта была другая, только на подоконнике все еще виднелась глубоко врезанная эмблема Легиона Свободы, и он живо вспомнил одуряющий энтузиазм тех времен, бело-красные повязки, жестяные копилки «в фонд Легиона», бешеные кровавые драки с красными и портреты во всех газетах, во всех учебниках, на всех стенах, — лицо, которое казалось тогда значительным и прекрасным, а теперь стало дряблым, тупым, похожим на кабанье рыло, и огромный клыкастый брызжущий рот. Такие юные, такие серые, такие одинаковые... И глупые, и этой глупости сейчас не радуешься — не радуешься, что стал умнее, а только — обжигающий стыд за себя тогдашнего, серого, деловитого птенца, вообразившего себя ярким, незаменимым и отборным... И еще стыдные детские вожделения, и томительный страх перед девчонкой, о которой ты уже столько нахвастался, что теперь просто невозможно отступить, а на другой день — оглушительный гнев отца и пылающие уши, и все это называется счастливой порой: серость, вожделение, энтузиазм... Плохо дело, думал он. А вдруг через пятнадцать лет окажется, что и нынешний я так же сер и несвободен, как и в детстве, и даже хуже, потому что теперь я считаю себя взрослым, достаточно много знающим и достаточно пережившим, чтобы иметь основания для самодовольства и для права судить.

Скромность и только скромность, до самоуничужения... и только правда, никогда не ври, по крайней мере — самому себе, но это ужасно: самоуничужаться, когда вокруг столько идиотов, развратников, корыстных лжецов, когда даже лучшие испещрены пятнами, как прокаженные... Хочешь ты снова стать юным? Нет. А хочешь ты прожить еще пятнадцать лет? Да. Потому что жить — это хорошо. Даже когда получаешь удары. Лишь бы иметь возможность бить в ответ... Ну ладно, хватит. Остановимся на том, что настоящая жизнь есть способ существования, позволяющий наносить ответные удары. А теперь пойдём и посмотрим, какими они стали...

В зале было довольно много ребятишек и стоял обычный гам, который стих, когда Бол-Кунац вывел Виктора на сцену и усадил под огромным портретом президента — даром доктора Р. Квадриги — за стол, покрытый красно-белой скатертью. Потом Бол-Кунац вышел на край сцены и сказал:

— Сегодня с нами будет беседовать известный писатель Виктор Банев, уроженец нашего города. — Он повернулся к Виктору. — Как вам удобнее, господин Банев, чтобы вопросы задавали с места или в письменном виде?

— Мне все равно, — сказал Виктор легкомысленно. — Лишь бы их было побольше.

— В таком случае, прошу вас.

Бол-Кунац прыгнул со сцены и сел в первом ряду. Виктор почесал бровь, оглядывая зал. Их было человек пятьдесят — мальчиков и девочек в возрасте от

десяти до четырнадцати лет — и они смотрели на него со спокойным ожиданием. Похоже, тут одни вундеркинды, подумал он мельком. Во втором ряду справа он увидел Ирму и улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ.

— Я учился в этой самой гимназии, — начал Виктор, — и на этой самой сцене мне довелось однажды играть Озрика. Роли я не знал, и мне пришлось сочинять ее на ходу. Это было первое, что я сочинил в своей жизни не под угрозой двойки. Говорят, что теперь стало учиться труднее, чем в мое время. Говорят, у вас появились новые предметы, и то, что мы проходили за три года, вы должны проходить за год. Но вы, наверное, не замечаете, что стало труднее. Ученые полагают, что человеческий мозг способен вместить гораздо больше сведений, нежели кажется на первый взгляд обыкновенному человеку. Надо только уметь эти сведения впихнуть... — Ага, подумал он, сейчас я им расскажу про гипнопедию. Но тут Бол-Кунац передал ему записку: «Не надо рассказывать о достижениях науки. Говорите с нами как с равными. Валерьянс, 6 кл.» — Так, — сказал Виктор. — Тут некий Валерьянс из шестого класса предлагает мне разговаривать с вами как с равными и предупреждает, чтобы я не излагал достижения науки... Должен тебе сказать, Валерьянс, что я действительно намеревался сейчас поговорить о достижениях гипнопедии. Однако я охотно откажусь от своего намерения, хотя и считаю долгом проинформировать тебя, что большинство равных мне взрослых имеет о гипнопедии лишь самое смутное представление. — Ему было неудобно говорить сидя, он встал и прошелся по сцене. — Должен вам признаться, ребята, что я не любитель встречаться с читателями. Как правило, совершенно невозможно понять, с каким читателем имеешь дело, что ему от тебя надо и что его, собственно, интересует. Поэтому я стараюсь каждое свое выступление превращать в вечер вопросов и ответов. Иногда получается довольно забавно. Давайте начну спрашивать я. Итак. Все ли читали мои произведения?

— Да, — отозвались детские голоса. — Читали... Все...

— Прекрасно, — сказал Виктор озадаченно. — Польщен, хотя и удивлен. Ну, ладно, далее... Желает ли собрание, чтобы я рассказал историю написания какого-нибудь своего романа?

Последовало недолгое молчание, затем в середине зала воздвигся худой прыщавый мальчик, сказал: «Нет», — и снова сел.

— Прекрасно, — сказал Виктор. — Это тем более хорошо, что, вопреки широко распространенному мнению, ничего интересного в историях написания не бывает. Пойдемте дальше... Желают ли уважаемые слушатели узнать о моих творческих планах?

Бол-Кунац поднялся и вежливо сказал:

— Видите ли, господин Банев, вопросы, непосредственно связанные с техникой вашего творчества, лучше было бы обсудить в самом конце беседы, когда прояснится общая картина.

Он сел. Виктор сунул руки в карманы и снова прошелся по сцене. Становилось интересно или, во всяком случае, необычно.

— А может быть, вас интересуют литературные анекдоты? — вкрадчиво спросил он. — Как я охотился с Хемингуэем. Как Эренбург подарил мне русский самовар. Или что мне сказал Зурзмансор, когда мы встретились с ним в трамвае...

— Вы действительно встречались с Зурзмансором? — спросили из зала.

— Нет, это я шучу, — сказал Виктор. — Так что мы решим насчет литературных анекдотов?

— Можно вопрос? — сказал, воздвигаясь, прыщавый мальчик.

— Да, конечно.

— Какими бы вы хотели видеть нас в будущем?

Без прыщей, мелькнуло в голове у Виктора, но он отогнал эту мысль, потому что понял: становится жарко. Вопрос был сильный. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь сказал мне, каким я хочу видеть самого себя в настоящем, подумал он. Однако надо было отвечать.

— Умными, — сказал он наугад. — Честными. Добрыми... Хотел бы, чтобы вы любили свою работу... и работали бы только на благо людей. (Несу, подумал он. Да и как тут не нести?) Вот примерно так...

Зал тихонько зашумел, потом кто-то спросил, не вставая:

— Вы действительно считаете, что солдат главнее физика?

— Я?! — возмутился Виктор.

— Так я понял из вашей повести «Беда приходит ночью».

Это был белобрысый клоп десяти лет от роду. Виктор крикнул. «Беда» могла быть плохой книгой и могла быть хорошей книгой, но она ни при каких обстоятельствах не была детской книгой. Она до такой степени не была детской книгой, что в ней не разобрался ни один из критиков: все сочли ее порнографическим чтивом, подрывающим общественную мораль и национальное самосознание. И что самое ужасное, белобрысый клоп имел основания полагать, что автор «Беды» считает солдата «главнее» физика — во всяком случае, в некоторых отношениях.

— Дело в том, — сказал Виктор проникновенно, — что... как бы тебе сказать... всякое бывает.

— Я вовсе не имею в виду физиологию, — возразил белобрысый клоп. — Я говорю об общей концепции книги. Может быть, «главнее» не то слово...

— Я тоже не имею в виду физиологию, — сказал Виктор. — Я хочу сказать, что бывают ситуации, когда уровень знаний не имеет значения.

Бол-Кунац принял из зала и передал ему две записки: «Может ли считаться честным и добрым человек, который работает на войну?» и «Что такое умный человек?» Виктор начал со второго вопроса — он был проще.

— Умный человек, — сказал он, — это тот человек, который сознает несовершенство, незаконченность своих знаний, стремится их пополнять и в этом преуспевает... Вы со мной согласны?

— Нет, — сказала, приподнявшись, хорошенькая девочка.

— А в чем дело?

— Ваше определение не функционально. Любой дурак, пользуясь этим определением, может полагать себя умным. Особенно, если окружающие

поддерживают его в этом мнении.

Да-а, подумал Виктор. Его охватила легкая паника. Это тебе не с братьями-писателями разговаривать.

— В какой-то степени вы правы, — сказал он, неожиданно для себя переходя на «вы». — Но дело в том, что вообще-то «дурак» и «умный» — понятия исторические и, скорее, субъективные.

— Значит, вы сами не беретесь отличить дурака от умного? — Это из задних рядов — смуглое существо с прекрасными библейскими глазами, стриженное наголо.

— Отчего же, — сказал Виктор. — Берусь. Но я не уверен, что вы всегда со мной согласитесь. Есть старый афоризм: дурак — это просто инакомыслящий... — Обычно это присловье вызывало у слушателей смех, но сейчас зал молча ждал продолжения. — Или инакочувствующий, — добавил Виктор.

Он остро ощущал разочарование зала, но не знал, что еще сказать. Контакта не получалось. Как правило, аудитория легко переходит на позиции выступающего, соглашается с его суждениями, и всем становится ясно, кто такие дураки, причем подразумевается, что здесь, в этом зале, дураков нет. В худшем случае аудитория не соглашалась и настраивалась враждебно, но и тогда бывало легко, потому что оставалась возможность язвить и высмеивать, а одному спорить с многими нетрудно, так как противники всегда противоречат друг другу, и среди них всегда найдется самый шумный и самый глупый, на котором можно плясать ко всеобщему удовлетворению.

— Я не совсем понимаю, — произнесла хорошенькая девочка. — Вы хотите, чтобы мы были умными, то есть, согласно вашему же афоризму, мыслили и чувствовали так же, как и вы. Но я прочла все ваши книги и нашла в них только отрицание. Никакой позитивной программы. С другой стороны, вам хотелось бы, чтобы мы работали на благо людей. То есть фактически на благо тех грязных и неприятных типов, которыми наполнены ваши книги. А ведь вы отражаете действительность, правда?

Виктору показалось, что он нащупал, наконец, дно под ногами.

— Видите ли, — сказал он, — под работой на благо людей я как раз понимаю превращение людей в чистых и приятных. И это мое пожелание не имеет никакого отношения к моему творчеству. В книгах я пытаюсь изобразить все, как оно есть, я не пытаюсь учить или показывать, что нужно делать. В лучшем случае я показываю объект приложения сил, обращаю внимание на то, с чем нужно бороться. Я не знаю, как изменять людей, если бы я знал, я был бы не модным писателем, а великим педагогом или знаменитым психосоциологом. Художественной литературе вообще противопоказано поучать или вести, предлагать конкретные пути или создавать конкретную методологию. Это можно видеть на примере крупнейших писателей. Я преклоняюсь перед Львом Толстым, но только до тех пор, пока он является своеобразным, уникальным по отражательному таланту зеркалом действительности. А как только он начинает учить меня ходить босиком или подставлять щеку, меня охватывают жалость и тоска... Писатель — это прибор, показывающий состояние общества, и лишь в ничтожной степени — орудие для изменения общества. История показывает, что общество изменяют не литературой, а реформами или пулеметами, а сейчас еще и наукой. Литература в лучшем случае показывает, в кого надо стрелять

или что нуждается в изменении... — Он сделал паузу, вспомнив о том, что есть еще Достоевский и Фолкнер. Но пока он придумывал, как бы вернуть насчет роли литературы в изучении подноготной индивидуума, из зала сообщили:

— Простите, но все это довольно тривиально. Дело ведь не в этом. Дело в том, что изображаемые вами объекты совсем не хотят, чтобы их изменяли. И потом они настолько неприятны, настолько запущены, так безнадежны, что их не хочется изменять. Понимаете, они не стоят этого. Пусть уж себе догнивают — они ведь не играют никакой роли. На благо кого же мы должны, по-вашему, работать?

— Ах вот вы о чем!.. — медленно сказал Виктор.

До него вдруг дошло: боже мой, да ведь эти сопляки всерьез полагают, будто я пишу только о подонках, что я всех считаю подонками, но они же ничего не поняли, да и откуда им понять, это же дети, странные дети, болезненно умные дети, но всего лишь дети, с детским жизненным опытом и с детским знанием людей плюс куча прочитанных книг, с детским идеализмом и с детским стремлением разложить все по полочкам с табличками «плохо» и «хорошо». Совершенно как братья-литераторы...

— Меня обмануло, что вы говорите, как взрослые, — сказал он. — Я даже забыл, что вы — не взрослые еще. Я понимаю, это непедагогично — так говорить, но говорить это приходится, иначе мы никогда не выпутаемся. Все дело в том, что вы, по-видимому, не понимаете, как небритый, истеричный, вечно пьяный мужчина может быть замечательным человеком, которого нельзя не любить, перед которым преклоняешься, полагаешь за честь пожать его руку, потому что он прошел через такой ад, что и подумать страшно, а человеком все-таки остался. Всех героев моих книг вы считаете нечистыми подонками, но это еще полбеды. Вы считаете, будто и я отношусь к ним так же, как вы. Вот это уже беда. Беда в том смысле, что так мы никогда не пойдем друг друга.

Черт его знает, какой реакции он ожидал на свою благодушную отповедь. То ли они начнут смущенно переглядываться, или лица их озарятся пониманием, или некий вздох облегчения пронесется по залу в знак того, что недоразумение благополучно разъяснилось и теперь можно все начинать сначала, на новой, более реалистической основе... Во всяком случае, ничего этого не произошло. В задних рядах снова встал мальчик с библейскими глазами и спросил:

— Вы не могли бы нам сказать, что такое прогресс?

Виктор почувствовал себя оскорбленным. Ну конечно, подумал он. А потом они спросят, может ли машина мыслить и есть ли жизнь на Марсе. Все возвращается на круги своя.

— Прогресс, — сказал он, — это движение общества к такому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга.

— А чем же они занимаются? — спросил толстый мальчик справа.

— Выпивают и закусывают квантум сатис, — пробормотал кто-то слева.

— А почему бы и нет? — сказал Виктор. — История человечества знает не так уж много эпох, когда люди могли выпивать и закусывать квантум сатис. Для меня прогресс — это движение к состоянию, когда не топчут и не убивают. А чем они там будут заниматься — это, на мой взгляд, не так уж существенно. Если угодно, для меня

прежде всего важны необходимые условия прогресса, а достаточные условия — дело наживное...

— Разрешите мне, — сказал Бол-Кунац. — Давайте рассмотрим такую схему. Автоматизация развивается в тех же темпах, что и сейчас. Тогда через несколько десятков лет подавляющее большинство активного населения Земли выбрасывается из производственных процессов и из сферы обслуживания за ненадобностью. Будет очень хорошо: все сыты, топтать друг друга ни к чему, никто друг другу не мешает... и никто никому не нужен. Есть, конечно, несколько сотен тысяч человек, обеспечивающих бесперебойную работу старых машин и создание машин новых, но остальные миллиарды друг другу просто не нужны. Это хорошо?

— Не знаю, — сказал Виктор. — Вообще-то это не совсем хорошо... Это как-то обидно... Но должен вам сказать, что это все-таки лучше, чем то, что мы видим сейчас. Так что определенный прогресс все-таки налицо.

— А вы сами хотели бы жить в таком мире?

Виктор подумал.

— Знаете, — сказал он, — я его как-то плохо себе представляю, но если говорить честно, то было бы недурно попробовать.

— А вы можете представить себе человека, которому жить в таком мире категорически не хочется?

— Конечно, могу. Есть люди, и я таких знаю, которые там бы заскучали. Власть там низачем не нужна, командовать некем, топтать незначем. Правда, они вряд ли откажутся — все-таки это редчайшая возможность превратить рай в свинарник... или в казарму. Они бы этот мир с удовольствием разрушили... Так что, пожалуй, не могу.

— А ваших героев, которых вы так любите, устроило бы такое будущее?

— Да, конечно. Они обрели бы там заслуженный покой.

Бол-Кунац сел, зато снова поднялся прыщавый юнец и, горестно кивая, заговорил:

— Вот в этом все дело... Не в том дело, понимаем мы реальную жизнь или нет, а в том дело, что для вас и ваших героев такое будущее вполне приемлемо, а для нас — это могильник. Конец надежд. Конец человечества. Тупик. Вот потому-то мы и говорим, что не хочется тратить силы, чтобы работать на благо ваших жаждущих покоя и по уши перепачканных типов. Вдохнуть в них энергию для настоящей жизни уже невозможно. И как вы там хотите, господин Банев, но вы показали нам в своих книгах — в интересных книгах, я полностью «за», — показали нам не объект приложения сил, а показали нам, что объектов для приложения сил в человечестве нет, по крайней мере — в вашем поколении... Вы сожрали себя, простите, пожалуйста, вы растратили себя на междоусобные драки, на вранье и на борьбу с враньем, которую вы ведете, придумывая новое вранье... Как это у вас поется: «Правда и ложь, вы не так уж несхожи, вчерашняя правда становится ложью, вчерашняя ложь превращается завтра в чистейшую правду, в привычную правду...» Вот так вы и мотаетесь от вранья к вранью. Вы просто никак не можете поверить, что вы уже мертвецы, что вы своими руками создали мир, который стал для вас надгробным памятником. Вы гнили в окопах, вы взрывались под танками, а кому от этого стало лучше? Вы ругали правительство и порядки, как будто вы не знаете, что лучшего правительства и лучших



порядков ваше поколение... да попросту недостойно. Вас били по физиономии, простите, пожалуйста, а вы упорно долбили, что человек по природе добр... или, того хуже, что человек — это звучит гордо. И кого только вы не называли человеком!..

Прыщавый оратор махнул рукой и сел. Воцарилось молчание, затем он снова встал и сообщил:

— Когда я говорил «вы», я не имел в виду персонально вас, господин Банев.

— Благодарю вас, — сердито сказал Виктор.

Он ощущал раздражение: этот прыщавый сопляк не имел права говорить так безапелляционно, это наглость и дерзость... дать по затылку и вывести за ухо из комнаты. Он ощущал неловкость — многое из сказанного было правдой, и он сам думал так же, а теперь попал в положение человека, вынужденного защищать то, что он ненавидит. Он ощущал растерянность — непонятно было, как вести себя дальше, как продолжать разговор и стоит ли вообще продолжать... Он оглядел зал и увидел, что его ответа ждут, что Ирма ждет его ответа, что все эти розовощекие и конопатые чудовища думают одинаково, и прыщавый наглец только высказал общее мнение и высказал его искренне, с глубоким убеждением, а не потому что прочел вчера запрещенную брошюру, что они действительно не испытывают ни малейшего чувства благодарности или хотя бы элементарного уважения к нему, Баневу, за то, что он пошел добровольцем в гусары, и ходил на «рейнметаллы» в конном строю, и едва не подох от дизентерии в окружении, и резал часовых самодельным ножом, а потом, уже на гражданке, дал по морде спецуполномоченному, который предложил ему подписать донос, и шлялся без работы с дырой в легких, и спекулировал фруктами, хотя ему предлагали очень выгодные должности... А почему, собственно, они должны уважать меня за все это? Что я ходил на танки с саблей наголо? Так ведь надо быть идиотом, чтобы иметь правительство, которое довело армию до подобного положения... Тут он содрогнулся, представив себе, какую огромную мыслительную работу должны были проделать эти птенцы, чтобы совершенно самостоятельно прийти к выводам, к которым взрослые приходят, ободрав с себя всю шкуру, обратив душу в развалины, исковеркав свою жизнь и множество соседних жизней... да и то не все, а только некоторые, а большинство и до сих пор считает, что все было правильно и очень здорово, и если понадобится — готовы начать все сначала... Неужели все-таки настали новые времена? Он глядел в зал почти со страхом. Кажется, будущему удалось все-таки запустить щупальца в самое сердце настоящего, и это будущее было холодным, безжалостным, ему было наплевать на все заслуги прошлого — истинные или мнимые.

— Ребята, — сказал Виктор. — Вы, наверное, этого не замечаете, но вы жестоки. Вы жестоки из самых лучших побуждений, но жестокость — это всегда жестокость. И ничего она не может принести, кроме нового горя, новых слез и новых подлостей. Вот что вы имейте в виду. И не воображайте, что вы говорите что-то особенно новое. Разрушить старый мир и на его костях построить новый — это очень старая идея. И ни разу пока она не привела к желаемым результатам. То самое, что в старом мире вызывает желание беспощадно разрушать, особенно легко приспособляется к процессу разрушения, к жестокости, к беспощадности, становится необходимым в этом процессе и непременно сохраняется, становится хозяином и в новом мире и в конечном счете убивает смелых разрушителей. Ворон ворону глаз не выклюет, жестокостью жестокость не уничтожишь. Ирония и жалость, ребята! Ирония и

жалость!

Вдруг весь зал поднялся. Это было совершенно неожиданно, и у Виктора мелькнула сумасшедшая мысль, что ему удалось, наконец, сказать нечто такое, что поразило воображение слушателей. Но он уже видел, что от дверей идет мокрец, тощий, легкий, почти нематериальный, словно тень, и дети смотрят на него, и не просто смотрят, а тянутся к нему, а он сдержанно поклонился Виктору, пробормотал извинения и сел с краю, рядом с Ирмой, и все дети тоже сели, а Виктор смотрел на Ирму и видел, что она счастлива, что она старается не показать этого, но удовольствие и радость так и брызжут из нее. И прежде чем он успел опомниться, заговорил Бол-Кунац.

— Боюсь, вы не так нас поняли, господин Банев, — сказал он. — Мы совсем не жестоки, а если и жестоки с вашей точки зрения, то лишь теоретически. Ведь мы вовсе не собираемся разрушать ваш старый мир. Мы собираемся построить новый. Вот вы — жестоки: вы не представляете себе строительство нового без разрушения старого. А мы представляем себе это очень хорошо. Мы даже поможем вашему поколению создать этот ваш рай, выпивайте и закусывайте на здоровье. Строить, господин Банев, только строить. Ничего не разрушать, только строить.

Виктор, наконец, оторвал взгляд от Ирмы и собрался с мыслями.

— Да, — сказал он. — Конечно. Валяйте, стройте. Я целиком с вами. Вы меня ошеломили сегодня, но я все равно с вами... а может быть, именно поэтому с вами. Если понадобится, я даже откажусь от выпивки и закуски... Не забывайте только, что старые миры приходилось разрушать именно потому, что они мешали... мешали строить новое, не любили новое, давили его...

— Нынешний старый мир, — загадочно сказал Бол-Кунац, — нам мешать не станет. Он будет нам даже помогать. Прежняя история прекратила течение свое, не надо на нее ссылаться.

— Что ж, тем лучше, — сказал Виктор устало. — Очень рад, что у вас так удачно все складывается...

Славные мальчики и девочки, подумал он. Странные, но славные. Жалко их, вот что... подрастут, полезут друг на друга, размножатся, и начнется работа за хлеб насущный... Нет, подумал он с отчаяньем. Может быть, и обойдется. Они же совсем не такие, как мы. Может быть, и обойдется... Он сгреб со стола записки. Их накопилось довольно много: «Что такое факт?», «Может ли считаться честным и добрым человек, который работает на войну?», «Почему вы так много пьете?», «Ваше мнение о Шпенглере?»...

— Тут у меня несколько вопросов, — сказал он. — Не знаю, стоит ли теперь...

Прыщавый нигилист поднялся и сказал:

— Видите ли, господин Банев, я не знаю, что там за вопросы, но дело-то в том, что это, в общем, не важно. Мы ведь просто хотели познакомиться с современным известным писателем. Каждый известный писатель выражает идеологию современного общества или части общества, а нам нужно знать идеологов современного общества. Теперь мы знаем больше, чем знали до встречи с вами. Спасибо.

В зале зашевелились, загомонили: «Спасибо... Спасибо, господин Банев», стали подниматься, выбираться со своих мест, а Виктор стоял, стиснув в кулаке записки, и чувствовал себя болваном, и знал, что красен, что вид имеет растерянный и жалкий, но он взял себя в руки, сунул записки в карман и спустился со сцены.

Самым трудным было то, что он так и не понял, как следует относиться к этим детям. Они были ирреальны, они были невозможны, их высказывания, их отношение к тому, что он написал, и к тому, что он говорил, не имело никаких точек соприкосновения с торчащими косичками, взлохмаченными вихрами, с плохо отмытыми шеями, с цыпками на худых руках, с писклявым шумом, который стоял вокруг. Словно какая-то сила, забавляясь, совместила в пространстве детский сад и диспут в научной лаборатории. Совместила несовместимое. Наверное, так чувствовала себя та подопытная кошка, которой дали кусочек рыбки, почесали за ухом и в тот же момент ударили электрическим током, взорвали под носом пороховой заряд и ослепили прожектором... Да, сочувственно сказал Виктор кошке, состояние которой он представлял себе сейчас очень хорошо. Наша с тобой психика к таким шокам не приспособлена, мы с тобой от таких шоков и помереть можем...

Тут он обнаружил, что завяз. Его обступили и не давали пройти. На мгновение его охватил панический ужас. Он бы не удивился, если бы его сейчас молча и деловито повалили и принялись вскрывать на предмет исследования идеологии. Но они не хотели его вскрывать. Они протягивали ему раскрытые книжки, дешевые блокнотики, листки бумаги. Они лепетали: «Автограф, пожалуйста!» Они пищали: «Вот здесь, пожалуйста!» Они сипели ломающимися голосами: «Будьте добры, господин Банев!»

И он достал авторучку и принялся свинчивать колпачок, с интересом постороннего прислушиваясь к своим ощущениям, и он не удивился, ощутив гордость. Это были призраки будущего, и пользоваться у них известностью было все-таки приятно.

У себя в номере он сразу полез в бар, налил джину и выпил залпом, как лекарство. С волос по лицу и за шиворот стекала вода — оказывается, он забыл надеть капюшон. Брюки промокли по колено и облепили ноги — вероятно, он шагал, не разбирая дороги, прямо по лужам. Зверски хотелось курить — кажется, он ни разу не закурил за эти два с лишним часа...

Акселерация, твердил он про себя, когда сбрасывал прямо на пол мокрый плащ, переодевался, вытирал голову полотенцем. Это всего лишь акселерация, успокаивал он себя, раскуривая сигарету и делая первые жадные затяжки. Вот она — акселерация в действии, с ужасом думал он, вспоминая уверенные детские голоса, объявлявшие ему невозможные вещи. Боже, спаси взрослых, Боже, спаси их родителей, просвети их и сделай умнее, сейчас самое время... Для твоей же пользы прошу тебя, Боже, а то построят они тебе вавилонскую башню, надгробный памятник всем дуракам, которых ты выпустил на эту Землю плодиться и размножаться, не продумав как следует последствий акселерации... Простак ты, братец...

Виктор выплюнул на ковер окурки и раскурил новую сигарету. Чего это я разволновался? — подумал он. Фантазия разыгралась... Ну дети, ну акселерация, ну не по годам развитые. Что я, не по годам развитых не видел? Откуда я взял, что они все это сами придумали? Нагляделись в городе всякой грязи, начитались книжек, все упростили и пришли, естественно, к выводу, что надобно строить новый мир. И совсем не все они там такие. Есть у них атаманы, крикуны — Бол-Кунац... прыщавый

этот... и еще хорошенькая девчушка. Заводилы. А остальные — дети как дети, сидели, слушали и скучали... Он знал, что это неправда. Ну, положим, не скучали, слушали с интересом, — все-таки провинция, известный писатель... Черта с два в их возрасте я стал бы читать мои книги. Черта с два в их возрасте я пошел бы куда-нибудь, кроме кино с пальбой или проезжего цирка — любоваться на ляжки канатоходцы. Глубоко начхать мне было и на старый мир, и на новый мир, я об этом и представления не имел — футбол до полного изнеможения, или вывинтить где-нибудь лампочку и ахнуть об стену, или подстеречь какого-нибудь гогочку и начистить ему рыло... Виктор откинулся в кресле и вытянул ноги. Мы все вспоминаем события счастливого детства с умилением и уверены, что со времен Тома Сойера так было, есть и будет. Должно быть. А если не так, — значит, ребенок ненормальный, вызывает со стороны легкую жалость, а при непосредственном столкновении — педагогическое негодование. А ребенок кротко смотрит на тебя и думает: ты, конечно, взрослый, здоровенный, можешь меня выпороть, однако как ты был с самого детства дураком, так дураком и останешься, помрешь дураком, но тебе этого мало, ты еще и меня дураком хочешь сделать...

Виктор налил себе джинку и стал вспоминать, как все было, и ему пришлось сделать поспешный глоток, чтобы не завывать от срама. Как он приперся к этим ребятишкам, самодовольный и самоуверенный, сверху-вниз-смотрящий, модный остолоп, как он сразу начал с пошлятины, благоглупостей и псевдомужественного сюсюканья, и как его осадили, но он не успокоился и продолжал демонстрировать свою острую интеллектуальную недостаточность, как его честно пытались направить на путь истинный, и ведь предупреждали, но он все нес банальщину и тривиальщину, все воображал, что кривая вывезет, что чего там, и так сойдет — а когда ему, наконец, потеряв терпение, надавали по морде, он малодушно ударился в слезы и стал жаловаться, что с ним плохо обращаются... и как он постыдно возликовал, когда они из жалости стали брать у него автографы... Виктор зарычал, поняв, что о сегодняшнем он, несмотря на всю свою натужную честность, никогда и никому не осмелится рассказать и что через какие-нибудь полчаса из соображений сохранения душевного равновесия он хитроумно перевернет все так, будто учиненное сегодня над ним плюхдействие было величайшим триумфом в его жизни, или, во всяком случае, довольно обычной и не слишком интересной встречей с периферийными вундеркиндами, которые — что с них взять? — дети, а потому неважно разбираются в литературе и в жизни... Меня бы в департамент просвещения, подумал он с ненавистью. Там такие всегда были нужны... Одно утешение, подумал он. Этих ребятишек пока еще очень мало, и если акселерация пойдет нынешними темпами, то к тому времени, когда их будет много, я уже, даст бог, благополучно помру. Как это славно — вовремя помереть!..

В дверь постучали. Виктор крикнул: «Да!» — и вошел Павор в поддельном бухарском халате, растрепанный, с распухшим носом.

— Наконец-то, — сказал он насморочным голосом, сел напротив, извлек из-за пазухи большой мокрый платок и принялся сморкаться и чихать. Жалкое зрелище — ничего не осталось от прежнего Павора.

— Что — наконец-то? — спросил Виктор. — Джину хотите?

— Ох, не знаю... — отозвался Павор, хлюпая и всхрапывая. — Меня этот город доконает... Р-р-рум-чж-ж-жах! Ох...

— Будьте здоровы, — сказал Виктор.

Павор уставился на него слезящимися глазами.

— Где вы пропадаете? — спросил он капризно. — Я три раза к вам толкался, хотел взять что-нибудь почитать. Погибаю ведь, одно занятие здесь — чихать и сморкаться... в гостинице ни души, к швейцару обратился, так он мне, старый дурень, телефонную книгу предложил и старые проспекты... «Посетите наш солнечный город». У вас есть что-нибудь почитать?

— Вряд ли, — сказал Виктор.

— Какого черта, вы же писатель! Ну я понимаю, других вы никого не читаете, но себя-то уж наверняка иногда перелистываете... Вокруг только и говорят: Банев, Банев... Как там у вас называется? «Смерть после полудня»? «Полночь после смерти»? Не помню...

— «Беда приходит в полночь», — сказал Виктор.

— Вот-вот. Дайте почитать.

— Не дам. Нету, — решительно сказал Виктор. — А если бы и была, все равно бы не дал. Вы бы мне ее засморкали. Да и не поняли бы вы там ничего.

— Почему это — не понял бы? — осведомился Павор с возмущением. — Там у вас, говорят, из жизни гомосексуалистов, чего же тут не понять?

— Сами вы... — сказал Виктор. — Давайте лучше джину выпьем. Вам с водой?

Павор чихнул, заворчал, в отчаянии оглядел комнату, закинул голову и снова чихнул.

— Башка болит, — пожаловался он. — Вот здесь... А где вы были? Говорят, встречались с читателями? С местными гомосексуалистами?

— Хуже, — сказал Виктор. — Я встречался с местными вундеркиндами. Вы знаете, что такое акселерация?

— Акселерация? Это что-то связанное с преждевременным созреванием? Слыхал, об этом одно время шумели, но потом в нашем департаменте создали комиссию, и она доказала, что это есть результат личной заботы господина президента о подрастающем поколении львов и мечтателей, так что все стало на свои места. Но я-то знаю, о чем вы говорите, я этих местных вундеркиндов видел. Упаси бог от таких львов, ибо место им в кунсткамере.

— А может быть, это нам с вами место в кунсткамере? — возразил Виктор.

— Может быть, — согласился Павор. — Только акселерация здесь ни при чем. Акселерация — дело биологическое и физиологическое. Возрастание веса новорожденных, потом они вымахивают метра на два, как жирафы, и в двенадцать лет уже готовы размножаться. А здесь — система воспитания, детишки самые обыкновенные, а вот учителя у них...

— Что — учителя?

Павор чихнул.

— А вот учителя — необыкновенные, — сказал он гнусаво.

Виктор вспомнил директора гимназии.

— Что же в здешних учителях необыкновенного? — спросил он. — Что они ширинку забывают вовремя расстегнуть?

— Какую ширинку? — спросил Павор, озадаченно воззрившись на Виктора. — У них и ширинок-то никаких нет.

— А еще что? — спросил Виктор.

— В каком смысле?

— Что у них еще необыкновенного?

Павор долго сморкался, а Виктор посасывал джин и смотрел на него с жалостью.

— Ни черта, я вижу, вы не знаете, — сказал Павор, разглядывая засморканный платок. — Как справедливо утверждает господин президент, главное свойство наших писателей — это хроническое незнание жизни и отрешенность от интересов нации... Вот вы здесь уже больше недели. Были вы где-нибудь кроме кабака и санатория? Говорили вы с кем-нибудь кроме этой пьяной скотины Квадриги? Черт знает, за что вам деньги платят...

— Ну, ладно, хватит, — сказал Виктор. — Хватит с меня и газет. Тоже мне — критик в соплях, учитель без ширинки...

— А-а, не любите? — сказал Павор с удовлетворением. — Так и быть, не буду... Расскажите, как вы встречались с вундеркиндами.

— Да ну, что там рассказывать, — сказал Виктор. — Вундеркинды как вундеркинды...

— А все-таки?

— Ну, я пришел. Задали мне несколько вопросов. Интересные вопросы, вполне взрослые... — Виктор помолчал. — В общем, если говорить честно, мне там здорово всыпали.

— А какие вопросы? — спросил Павор. Он смотрел на Виктора с искренним интересом и, кажется, с сочувствием.

— Дело не в вопросах, — вздохнул Виктор. — Если говорить откровенно, меня больше всего поразило, что они как взрослые, да еще не просто как взрослые, а как взрослые высокого класса... Адское, какое-то болезненное несоответствие... — Павор сочувственно кивал. — Словом, плохо мне там было, — сказал Виктор. — Неохота вспоминать.

— Понятно, — сказал Павор. — Не вы первый, не вы последний. Должен вам сказать, что родители двенадцатилетнего ребенка — это всегда существа довольно жалкие, обремененные кучей забот. Но здешние родители — это что-то особенное. Они мне напоминают тылы оккупационной армии в районе активных партизанских действий... Ну, а о чем вас все-таки спрашивали?

— Ну, спрашивали, что такое прогресс.

— Так. И что же такое, по-ихнему, прогресс?

— А по-ихнему прогресс — это очень просто. Загнать нас всех в резервации, чтобы не путались под ногами, а самим на свободе изучать Зурзмандора и Шпенглера. Такое

у меня, во всяком случае, создалось впечатление.

— Что ж, очень даже может быть, — сказал Павор. — Каков поп, таков и приход. Вот вы говорите: акселерация, Зурзмансор... А вы знаете, что говорит по этому поводу нация?

— Кто-кто?

— Нация!.. Она говорит, что все беды от мокрецов. Дети свихнулись — от мокрецов...

— Это потому, что в городе нет евреев, — заметил Виктор. Потом вспомнил про мокреца, который пришел в зал, и как дети встали, и какое лицо было у Ирмы. — Вы это серьезно? — спросил он.

— Это не я, — сказал Павор. — Это голос нации. Вокс попули. Кошки из города сбежали, а детишки обожают мокрецов, шлятся к ним в лепрозорий, днюют там и ночуют, отбились от рук, никого не слушаются. Воруют у родителей деньги и покупают книги... Говорят, сначала родители очень радовались, что дети не рвут штанов, лазая по заборам, а тихо сидят дома и почитывают книжечки. Тем более что погода плохая. Но теперь уже все видят, к чему это привело и кто это затеял. И теперь уже больше никто не радуется. Однако мокрецов по старинке боятся и только рычат им вслед...

Голос нации, подумал Виктор. Голос Лолы и господина бургомистра. Слыхали мы этот голос... Кошки, дожди, телевизоры. Кровь христианских младенцев.

— Я не понимаю, — сказал он. — Вы это серьезно или от скуки?

— Это не я! — повторил Павор проникновенно. — Так говорят в городе.

— Как говорят в городе, мне ясно, — сказал Виктор. — А вы-то сами что об этом думаете?

Павор пожал плечами.

— Течение жизни, — туманно сказал он. — Трепотня пополам с истиной. — Он посмотрел на Виктора поверх платка. — Не считайте меня идиотом, — сказал он. — Вспомните лучше детей: где вы еще видели таких детей? Или, по крайней мере, столько таких детей?

Да, подумал Виктор, таких детей... Кошки кошками, но этот мокрец в зале — это вам не кошки пополам с дождем... Есть такое выражение: лицо, освещенное изнутри. Именно такое лицо было у Ирмы, а когда она разговаривает со мной, лицо ее освещено только снаружи. А с матерью она вообще не разговаривает — цедит сквозь зубы что-то брезгливо-снисходительное... Но только если все это так, если это правда, а не грязная болтовня, то выглядит это крайне нечистоплотно. Что им нужно от детей? Они же больные люди, обреченные... и вообще, что за свинство — настраивать детей против родителей, даже против таких родителей, как мы с Лолой. Хватит с нас господина президента: нация превыше родительских уз, Легион Свободы — ваш отец и ваша мать, и мальчишка идет в ближайший штаб и сообщает, что отец назвал господина президента странным человеком, а мать назвала походы Легиона разорительным предприятием. А теперь еще является черный мокрый дядя и уже безо всяких объявляет, что отец твой — пьяная безмозглая скотина, а мать — дура и шлюха. Положим, что это и верно, но все равно свинство, все это должно делаться не

так, и не их это собачье дело, не они за это отвечают, и никто их не просит заниматься таким просветительством... Патология какая-то... Если только это просветительство. А если похуже? Дитя начинает розовыми губками лепетать о прогрессе, начинает говорить страшные, жестокие вещи, не ведая, что лепечет, но уже от молодых ногтей приучаясь к интеллектуальной жестокости, к самой страшной жестокости, какую можно придумать, а они, намотав черные тряпки на шелушащиеся физиономии, стоят за сценой и дергают ниточки... и, значит, никакого нового поколения нет, а есть все та же старая и грязная игра в марионетки, и я был вдвойне ослом, когда обмирал сегодня на сцене... До чего же это мерзкая затея — наша цивилизация...

— Имеющий глаза да видит, — говорил Павор. — Нас не пускают в лепрозорий. Колючая проволока, солдаты, ладно. Но кое-что можно видеть и здесь, в городе. Я видел, как мокрецы разговаривают с мальчишками и как ведут себя при этом эти мальчишки, какими они становятся ангелочками, а спроси у него, как пройти к фабрике, — он тебя обольет презрением с ног до головы...

Нас не пускают в лепрозорий, думал Виктор. Колючая проволока, а мокрецы гуляют по городу свободно. Но не Голем же это выдумал... Вот сволочь, подумал он, отец нации. Вот мерзавец. Значит, и здесь его работа. Лучший друг детей... Очень может быть, очень на него похоже. А вы знаете, господин президент, на вашем месте я бы попытался разнообразить свои приемы. Слишком легко стало отличить ваш хвост от всех других хвостов. Колючая проволока, солдаты, пропуска — значит, господин президент; значит, обязательно какая-нибудь мерзость...

— На кой черт там колючая проволока? — спросил Виктор.

— А я откуда знаю? — сказал Павор. — Никогда раньше там не было колючей проволоки.

— Значит, вы там уже бывали?

— Почему? Не был. Но не первый же я здесь санитарный инспектор... да дело и не в колючей проволоке, мало ли на свете колючей проволоки. Детишек туда пропускают беспрепятственно, мокрецов оттуда выпускают беспрепятственно, а нас с вами туда не пустят — вот что удивительно.

Нет, это все-таки не президент, думал Виктор. Президент и чтение Зурзмансора, да еще и Банева — это как-то не совмещается. И эта разрушительная идеология... Если бы я такое написал, меня бы распяли. Непонятно, непонятно... И нечисто... Спрошу-ка я у Ирмы, подумал он. Просто спрошу и посмотрю, что она будет делать... Между прочим, и Диана должна кое-что знать.

— Вы не слушаете? — спросил Павор.

— Виноват, задумался.

— Я говорю, что не удивился бы, если бы город принял меры. Причем, как и полагается городу, жестокие.

— Я тоже не удивился бы, — пробормотал Виктор. — Я не удивлюсь, если даже мне самому захочется принять кое-какие меры.

Павор поднялся и подошел к окну.

— Ну и погодка, — сказал он с тоской. — Уехать бы отсюда поскорее... Дадите вы мне книгу или нет?



— У меня нет книг, — сказал Виктор. — Все, что я с собой привез, все в санатории... Слушайте, а зачем мокрецам наши дети?

Павор пожал плечами.

— Это же больные люди, — ответил он. — Откуда нам знать? Мы-то с вами здоровые.

В дверь постучали, и вошел Голем, грузный и мокрый.

— Спросим Голема, — сказал Павор. — Голем, зачем мокрецам наши дети?

— Ваши дети? — сказал Голем, внимательно разглядывая этикетку на бутылке с джином. — У вас есть дети, Павор?

— Павор утверждает, — сказал Виктор, — будто ваши мокрецы настраивают городских детей против родителей. Что вы об этом знаете, Голем?

— Гм... — сказал Голем. — Где у вас чистые стаканы? Ага... Мокрецы настраивают детей? Ну что ж... Не они первые, не они последние. — Он прямо в плаще повалился на кушетку и понюхал джин в стакане. — И почему бы в наше время не настраивать детей против родителей, если белых настраивают против черных, а желтых настраивают против белых, а глупых настраивают против умных... Что вас, собственно, удивляет?

— Павор утверждает, — повторил Виктор, — что ваши больные шляются по городу и учат детей всяким странным вещам. Я тоже заметил кое-что подобное, хотя пока что ничего не утверждаю. Так вот, я ничему не удивляюсь, а спрашиваю вас: правда это или нет?

— Насколько я знаю, — сказал Голем, отхлебнув из стакана, — мокрецы спокон веков имели совершенно свободный доступ в город. Не знаю, что вы имеете в виду, когда говорите про обучение всяким странным вещам, но позвольте мне спросить вас, аборигена этих мест: знакома ли вам игрушка под названием «злой волчок»?

— Ну, конечно, — сказал Виктор.

— У вас была такая игрушка?

— У меня, конечно, нет... но у ребят, помнится, была... — Виктор замолчал. — Да, действительно, — сказал он. — Ребята говорили, что этот волчок подарил им мокрец. Вы это имеете в виду?

— Да, именно это. И «погодник», и «деревянную руку»...

— Пардон, — сказал Павор. — Можно узнать мне, пришельцу из столицы, о чем говорят аборигены?

— Нельзя, — сказал Голем. — Это не входит в вашу компетенцию.

— Откуда вы знаете, что входит и что не входит в мою компетенцию? — спросил Павор с обиженным видом.

— Знаю, — сказал Голем. — Догадываюсь, потому что мне так хочется... И перестаньте врать, вы же торговали у Тэдди «погодник» и прекрасно знаете, что это такое.

— Идите вы к черту, — сказал Павор капризно. — Я не про «погодник»...

— Погодите, Павор, — нетерпеливо сказал Виктор. — Голем, вы не ответили на мой вопрос.

— Разве? А мне показалось, что ответил... Видите ли, Виктор, мокрецы — глубоко и безнадежно больные люди. Это страшная штука — генетическая болезнь. Но при этом они сохраняют доброту и ум, так что не надо их обижать.

— Кто их обижает?

— А вы разве не обижаете?

— Пока нет. Пока даже наоборот.

— Ну, тогда все в порядке, — сказал Голем и поднялся. — Тогда поехали.

Виктор вытаращил глаза.

— Куда поехали?

— В санаторий. Я еду в санаторий, вы, я вижу, тоже собираетесь в санаторий, а вы, Павор, ложитесь в постель. Хватит распространять грипп.

Виктор посмотрел на часы.

— Не рано ли? — сказал он.

— Как угодно. Только имейте в виду, с сегодняшнего дня автобус отменили. За нерентабельностью.

— А может быть, сначала пообедаем?

— Как угодно, — повторил Голем. — Я никогда не обедаю. И вам не советую.

Виктор пощупал живот.

— Да, — сказал он. Потом он посмотрел на Павора. — Поеду, пожалуй.

— А мне-то что? — сказал Павор. Он был обижен. — Только книжек привезите.

— Обязательно, — пообещал Виктор и стал одеваться.

Когда они влезли в машину, под сырой брезент, в сырой, провонявший табаком, бензином и медикаментами кузов, Голем сказал:

— Вы намеки понимаете?

— Иногда, — ответил Виктор. — Когда знаю, что это намеки. А что?

— Так вот обратите внимание: намек. Перестаньте трепаться.

— Гм, — пробормотал Виктор. — И как прикажете это понимать?

— Как намек. Перестаньте болтать языком.

— С удовольствием, — сказал Виктор и замолчал, раздумывая.

Они пересекли город, миновали консервную фабрику, проехали пустой городской парк, запущенный, никлый, полусгнивший от сырости, промчались мимо стадиона, где полосатые от грязи «Братья по разуму» упорно лупили разбухшими бутсами по разбухшим мячам, и выкатили на шоссе, ведущее к санаторию. Вокруг, за пеленой дождя, лежала мокрая степь, ровная, как стол, когда-то сухая, выжженная, колючая, а теперь медленно превращающаяся в топкое болото.

— Ваш намек, — сказал Виктор, — напомнил мне один разговор — мой разговор с

его превосходительством господином референтом господина президента по государственной идеологии. Его превосходительство вызвал меня в свой скромный кабинет — тридцать на двадцать — и осведомился: «Виктуар, вы хотите по-прежнему иметь кусок хлеба с маслом?» Я, естественно, ответил утвердительно. «Тогда перестаньте бренчать!» — гаркнул его превосходительство и отпустил меня мановением руки.

Голем усмехнулся.

— А чем вы, собственно, бренчали?

— Его превосходительство намекал на мои упражнения с банджо в молодежных клубах.

Голем покосился на него прищуренным глазом.

— Почему вы, собственно, так уверены, что я не шпик?

— А я в этом вовсе не уверен, — возразил Виктор. — Просто мне наплевать. Кроме того, сейчас не говорят «шпик». Шпик — это архаизм. Сейчас все культурные люди говорят «дятел».

— Не ощущаю разницы, — сказал Голем.

— Я практически тоже, — произнес Виктор. — Итак, не будем болтать языком. Ваш пациент выздоровел?

— Мои пациенты никогда не выздоравливают.

— У вас прекрасная репутация! Но я-то спрашиваю про того беднягу, который угодил в капкан. Как его нога?

Голем помолчал, а потом сказал:

— Которого из них вы имеете в виду?

— Не понимаю, — сказал Виктор. — Того, естественно, который попал в капкан.

— Их было четверо, — сказал Голем, всматриваясь в залитую дождем дорогу. — Один попал в капкан, другого вы тащили на спине, третьего я увез в машине, а из-за четвертого вы затеяли давеча безобразную драку в ресторане.

Виктор ошеломленно молчал. Голем тоже молчал. Он очень ловко вел машину, огибая многочисленные выбоины на старом асфальте.

— Ну-ну, не напрягайтесь так, — сказал он наконец. — Я пошутил. Он был один. И нога его зажала в ту же ночь.

— Это тоже шутка? — осведомился Виктор. — Ха, ха, ха. Теперь я понимаю, почему ваши больные никогда не выздоравливают.

— Мои больные, — сказал Голем, — никогда не выздоравливают по двум причинам. Во-первых, я, как и всякий порядочный врач, не умею лечить генетические болезни. А во-вторых, они не хотят выздоравливать.

— Забавно, — пробормотал Виктор. — Я уже столько наслушался об этих ваших мокрецах, что теперь, ей-богу, готов поверить во все: и в дожди, и в кошек, и в то, что раздробленная кость может зажить за одну ночь.

— В кошек? — сказал Голем.

— Ну да, — сказал Виктор. — Почему в городе не осталось кошек? Мокрецы виноваты. Тэдди от мышей пропадает... Вы бы посоветовали мокрецам вывести из города заодно и мышей.

— А ля гаммельнский крысолов? — спросил Голем.

— Да, — легкомысленно подтвердил Виктор. — Именно а ля. — Потом он вспомнил, чем кончилась история с гаммельнским крысоловом. — Ничего забавного тут нет, — сказал он. — Сегодня я выступал в гимназии. Видел ребяташек. И видел, как они встречали какого-то мокреца. Теперь я нисколько не удивлюсь, если в один прекрасный день на городскую площадь выйдет мокрец с аккордеоном и уведет детишек к черту на рога.

— Вы не удивитесь, — сказал Голем. — Понятно. А еще что вы сделаете?

— Не знаю... Может быть, отберу у него аккордеон.

— И сами заиграете?

— Н-да, — вздохнул Виктор. — Это верно. Мне этих детей увлечь нечем, это я понял. Интересно, чем они увлекают? Вы ведь знаете, Голем.

— Виктуар, перестаньте брэнчать, — сказал Голем.

— Как угодно, — сказал Виктор. — Вы очень старательно и более или менее ловко уклоняетесь от моих вопросов, я это заметил. Глупо. Я все равно узнаю, а вы потеряете возможность придать выгодную вам эмоциональную окраску этой информации.

— Сохранение врачебной тайны! — изрек Голем. — И потом, я ничего не знаю. Я могу только догадываться.

Он притормозил. Впереди, за вуалью дождя, появились какие-то фигуры, стоящие на дороге. Три серые фигуры и серый дорожный столб с указателями: «ЛЕПРОЗОРИЙ — 6 км» и «САН. «ТЕПЛЫЕ КЛЮЧИ» — 2,5 км». Фигуры отступили на обочину — взрослый мужчина и двое детей.

— А ну-ка остановитесь, — сказал Виктор, сразу охрипнув.

— Что случилось? — Голем затормозил.

Виктор не ответил. Он смотрел на людей у столба, на рослого черного мокреца в тренировочном костюме, пропитанном водой, на мальчика, который тоже был без плаща, в промокшем костюмчике и сандалиях, и на девочку, босую, в платье, облепившем тело. Затем он рывком распахнул дверцу и выскочил на дорогу. Дождь с ветром ударил ему в лицо, он даже захлебнулся, но не заметил этого. Он ощутил приступ нестерпимого бешенства, когда хочется все ломать, когда еще сознаешь, что намерен делать глупости, но это сознание только радует. На негнущихся ногах он подошел вплотную к мокрецу.

— Что здесь происходит? — выдавил он сквозь зубы. А потом девочке, глядевшей на него с удивлением: — Ирма, немедленно иди в машину! — А потом снова мокрецу: — Черт бы вас побрал, что это вы делаете? — И снова Ирме: — Марш в машину, кому говорят?

Ирма не двинулась с места. Все трое стояли как прежде, глаза мокреца над черной повязкой спокойно помаргивали. Потом Ирма сказала с непонятной интонацией: «Это мой отец», и он вдруг сообразил, спинным мозгом понял, что здесь нельзя орать и

замахиваться, нельзя угрожать, хватать за шиворот и тащить... вообще нельзя беситься. Он сказал очень спокойно:

— Ирма, иди в машину, ты вся промокла. Бол-Кунац, на твоём месте я бы тоже пошел в машину.

Он был уверен, что Ирма послушается, и она послушалась. Не совсем так, как ему хотелось бы. Нет, не то чтобы она хотя бы взглядом испросила у мокреца разрешения уйти, но осталась у него тень впечатления, будто что-то было, некий обмен мнениями, какое-то краткое совещание, в результате которого вопрос был решен в его пользу. Ирма задрала нос и направилась к машине, а Бол-Кунац сказал вежливо:

— Благодарю вас, господин Банев, но, право, я лучше останусь.

— Как хочешь, — сказал Виктор. Бол-Кунац его мало волновал. Сейчас нужно было что-то сказать этому мокрецу на прощание. Виктор заранее знал, что это будет нечто весьма глупое, но — что делать? — уйти просто так он не мог. Из чисто престижных соображений. И он сказал. — Вас, милостивый государь, — сказал он надменно, — я не приглашаю. Вы здесь, по-видимому, чувствуете себя как рыба в воде.

Затем он повернулся и, отшвырнув воображаемую перчатку, зашагал прочь. «Произнеся эти слова, — с отвращением подумал он, — граф с достоинством удалился...»

Ирма, забравшись с ногами на переднее сиденье, отжимала косички. Виктор пролез назад, покряхтывая от стыда, и, когда Голем тронул машину, сказал:

— Произнеся эти слова, граф удалился... Просунь сюда ноги, Ирма, я их разотру.

— Зачем? — с любопытством спросила Ирма.

— Воспаление легких получить хочешь? Давай сюда ноги!

— Пожалуйста, — сказала Ирма и, скособочившись на сиденье, просунула ему одну ногу.

Предвкушая, что вот сейчас он сделает, наконец, что-то естественное и полезное, Виктор взял обеими руками эту тощую девчоночью ногу, мокрую и трогательную, и вознамерился было ее растирать — до красноты, до багровости, добрыми суровыми отцовскими руками, эту грязную костлявую ледышку, извечный проводник насморков, гриппов, катаров дыхательных путей и двусторонних пневмоний, — когда обнаружил, что его ладони холоднее ее ноги. По инерции он сделал несколько оглаживающих движений, затем осторожно отпустил ногу. Да ведь я же знал это, подумал он вдруг, я же знал это, еще когда стоял перед ними, знал, что здесь есть какой-то подвох, что детям ничего не грозит, никакие катары и воспаления, только мне не хотелось этого, а хотелось спасать, вырывать из когтей, гневаться справедливо, исполнять долг, и опять меня обвели вокруг пальца, и я опять дурак дураком, второй раз за этот день...

— Забери свою ногу, — сказал он Ирме.

Ирма забрала ногу и спросила:

— Мы куда — в санаторий едем?

— Да, — ответил Виктор и посмотрел на Голема — не заметил ли тот позора. Голем невозмутимо следил за дорогой, грузно расплывшись на водительском сиденье,

седой, неряшливый, сутулый и всезнающий.

— А зачем? — спросила Ирма.

— Переоденешься в сухое и ляжешь в постель, — сказал Виктор.

— Вот еще! — сказала Ирма. — Что это ты придумал?

— Ладно, ладно... — пробормотал Виктор. — Дам тебе книжки, и будешь читать.

Действительно, на кой черт я ее туда везу? — подумал он. Диана... Ну, это мы посмотрим. Никаких выпивок, и вообще ничего такого, но как я ее повезу обратно? А, черт, возьму чью попало машину и отвезу... Хорошо бы сейчас чего-нибудь глотнуть.

— Голем... — начал было он, но спохватился. Дьявол, нельзя, неудобно.

— Да? — сказал Голем, не оборачиваясь.

— Нет, ничего, — вздохнул Виктор, уставясь на горлышко фляги, торчащее из кармана Големова плаща. — Ирма, — сказал он утомленно. — Что вы там делали на этом перекрестке?

— Мы думали туман, — ответила Ирма.

— Что?

— Думали туман, — повторила Ирма.

— Про туман, — поправил Виктор. — Или о тумане.

— Зачем это — про туман? — сказала Ирма.

— Думать — непереходный глагол, — объяснил Виктор. — Он требует предлогов. Вы проходили непереходные глаголы?

— Это когда как, — сказала Ирма. — Думать туман — это одно, а думать про туман — это совсем другое... и кому это нужно — думать про туман, — неизвестно.

Виктор вытащил сигарету и закурил.

— Погоди, — сказал он. — Думать туман — так не говорят, это неграмотно. Есть такие глаголы — непереходные: думать, бегать, ходить... Они всегда требуют предлога. Ходить по улице. Думать про... что-нибудь там...

— Думать глупости, — сказал Голем.

— Ну, это исключение, — сказал Виктор, несколько потерявшись.

— Ходить быстро, — сказал Голем.

— Быстро — это не существительное, — запальчиво сказал Виктор. — Не путайте ребенка, Голем.

— Папа, ты можешь не курить? — осведомилась Ирма.

Кажется, Голем издал какой-то звук, а может быть, это мотор чихнул на подъеме. Виктор смял сигарету и растоптал ее каблуком. Они поднимались к санаторию, а сбоку, из степи, навстречу дождю надвигалась плотная белесая стена.

— Вот тебе и туман, — сказал Виктор. — Можешь его думать. А также его нюхать, бегать и ходить.

Ирма хотела что-то сказать, но Голем перебил ее.

— Между прочим, — сказал он. — Глагол «думать» выступает как переходный также и в сложноподчиненных предложениях. Например: я думаю, что... и так далее.

— Это совсем другое дело, — возразил Виктор. Ему надоело. Ему очень хотелось курить и выпить. Он с вожделием поглядел на горлышко фляги. — Тебе не холодно, Ирма? — спросил он с неясной надеждой.

— Нет. А тебе?

— Познабливает, — признался Виктор.

— Надо выпить джину, — заметил Голем.

— Да, неплохо бы... А у вас есть?

— Есть, — сказал Голем. — Но мы уже почти приехали.

Джип вкатился в ворота, и тут началось то, о чем Виктор как-то не подумал. Первые струи тумана еще только начали просачиваться через решетку ограды, и видимость была прекрасная. На подъездной дорожке лежало тело в промокшей пижаме; лежало с таким видом, словно пребывало здесь уже много дней и ночей. Голем осторожно объехал его, миновал гипсовую вазу, украшенную незамысловатыми рисунками и соответствующими надписями, и приткнулся к стаду машин, сгрудившихся перед подъездом правого крыла. Ирма распахнула дверцу, и сейчас же испитая морда высунулась из окна ближайшей машины и проблеяла: «Деточка, хочешь, я тебе отдамся?» Виктор, обмирая, полез наружу. Ирма с любопытством озиралась. Виктор крепко взял ее за руку и повел к подъезду. На ступеньках сидели под дождем, обнявшись, две девки в белье и уличными голосами пели про жестокого аптекаря, — не отпускает героин. Узрев Виктора, они замолчали, но, когда он проходил мимо, одна из них попыталась ухватить его за брюки. Виктор втолкнул Ирму в вестибюль. Здесь было темно, окна занавешены, воняло табачным дымом и какой-то кислятиной, трещал проекционный аппарат, и на белой стене прыгали порнографические изображения. Виктор, стиснув зубы, шагал по чьим-то ногам, волоча за собой спотыкающуюся Ирму. Вслед неслась сердитая нецензурщина. Они выбрались из вестибюля, и Виктор пошел шагать через три ступеньки по ковровой лестнице. Ирма помалкивала, и он не рисковал взглянуть на нее.

На лестничной площадке его уже ждал с распростертыми объятьями синий и раздутый член парламента Росшепер Нант. «Виктуар! — просипел он. — Др-руг! — Тут он заметил Ирму и пришел в восторг. — Виктуар! И ты тоже!.. На малолетних малолеточек!..» Виктор зажмурился, крепко наступил ему на ногу и толкнул в грудь — Росшепер повалился спиной, опрокинув урну. Обливаясь потом, Виктор зашагал по коридору. Ирма неслышными прыжками неслась рядом. Он ткнулся в дверь Дианы — дверь была заперта, ключа не было. Он бешено застучал, и Диана немедленно откликнулась. «Пошел к чертовой матери! — заорала она яростно. — Импотент вонючий! Говнюк, дерьмо собачье!» — «Диана! — рявкнул Виктор. — Открывай!» Диана замолчала, и дверь распахнулась. Она стояла на пороге с импортным зонтиком наготове. Виктор отпихнул ее, втолкнул Ирму в комнату и захлопнул за собой дверь.

— А, это ты, — сказала Диана. — Я думала, опять Росшепер. — От нее пахло спиртным. — Господи, — сказала она. — Кого ты привел?

— Это моя дочь, — с трудом сказал Виктор. — Ее зовут Ирма. Ирма, это Диана.

Он смотрел на Диану в упор, с отчаянием и надеждой. Слава богу, кажется, она не была пьяна. Или сразу протрезвела.

— Ты с ума сошел, — сказала она тихо.

— Она промокла, — проговорил он. — Переодень ее в сухое, уложи в постель, и вообще...

— Я не лягу, — заявила Ирма.

— Ирма, — сказал Виктор. — Изволь слушаться, а то я сейчас кого-нибудь выпорю...

— Кое-кого здесь надо бы выпороть, — сказала Диана безнадежно.

— Диана, — сказал Виктор. — Я тебя прошу.

— Ладно, — сказала Диана. — Иди к себе. Разберемся.

Виктор с огромным облегчением вышел. Он отправился прямо в свою комнату, но и там не было покоя. Ему пришлось предварительно вышвырнуть в коридор разнежившуюся совершенно незнакомую парочку и испачканное постельное белье. Потом он запер дверь, повалился на голый матрас, закурил отсыревшую сигарету и стал думать, что же он натворил.

### **Возбуждение к активности**

На другой день Виктор проснулся поздно, пора было обедать. Голова побаливала, но настроение оказалось неожиданно хорошим.

Вчера вечером, прикончив пачку сигарет, он спустился вниз, открыл дамской шпилькой чью-то машину, вывел Ирму через служебный вход и отвез ее к матери. Вначале они ехали молча. Он корчился от неприятнейших переживаний, а Ирма сидела рядом, чистенькая, опрятная, причесанная по последней моде — никаких косичек, — кажется даже, с накрашенными губами. Ему очень хотелось завязать разговор, но начинать надо было с признания своей беспросветной глупости, а это казалось ему непедagogичным. Кончилось все тем, что Ирма вдруг ни с того ни с сего разрешила ему курить (при условии, если все окна будут открыты) и принялась рассказывать, как ей было интересно, как это похоже на то, что она читала раньше, но не очень верила, какой он молодец, что устроил ей это неожиданное и в высшей степени поучительное приключение, что он вообще довольно хороший, не разводит скуку и не болтает глупостей, что Диана — «почти наша», всех ненавидит, но жалко вот, что у нее мало знаний, и слишком уж она любит выпить, но это, в конце концов, не страшно, ты тоже любишь выпить, а ребятам ты понравился, потому что говорил честно, не притворялся каким-нибудь хранителем высшего знания, и правильно, потому что никакой ты не хранитель, и даже Бол-Кунац сказал, что в городе ты — единственный стоящий человек, если не считать, конечно, доктора Голема, но Голем, собственно, к городу не имеет никакого отношения, и потом он не писатель, не выражает идеологии, а как ты считаешь, нужна идеология или лучше без нее, сейчас многие полагают, что будущее за деидеологизацией...

Получился прекрасный разговор, собеседники были полны уважения друг к другу, и, вернувшись в гостиницу (автомобиль он загнал в какой-то захламленный двор), Виктор уже считал, что быть отцом — не такое уж неблагоприятное занятие, особенно если разбираешься в жизни и умеешь использовать даже теневые ее стороны в



воспитательных целях. По этому поводу он выпил с Тэдди, который тоже был отцом и тоже интересовался воспитанием, ибо его первенцу было четырнадцать лет — тяжелый переломный возраст, ты еще со своей наплачешься... то есть это его первому внуку было четырнадцать лет, а воспитанием сына он не занимался потому, что сын свое детство провел в немецком концлагере. Детей бить нельзя, утверждал Тэдди. Их и без тебя будут всю жизнь колотить кому не лень, а если тебе хочется его ударить, дай лучше по морде самому себе, это будет гораздо полезнее.

После какой-то рюмки, однако, Виктор вспомнил, что Ирма ни словом не обмолвилась о его диком поведении у перекрестка, и пришел к выводу, что девчонка хитра и что вообще прибегать каждый раз к помощи любовницы, когда не знаешь, как выбраться из тяжелого положения, в которое сам же себя и загнал, — по меньшей мере нечестно. Эти соображения огорчили его, но тут пришел доктор Р. Квадрига и заказал своеобразную бутылку рома, и они выпили эту бутылку, после чего Виктору все опять представилось в радужном свете, потому что стало ясно, что Ирма попросту не хотела огорчать его, а это значит, что она уважает своего отца и, может быть, даже любит... Потом пришел еще кто-то и заказал еще что-то... Потом, вероятно, Виктор отправился спать... Вероятно... Надо полагать, что спать... Правда, сохранилось еще одно — отдельное — воспоминание: кафельный пол, сплошь залитый водой, — но что это был за пол и что это была за вода, вспомнить оказалось совершенно невозможно. И не надо...

Приведя себя в порядок, Виктор спустился вниз, взял у портье свежие газеты и поговорил с ним о проклятой погоде.

— Как я вчера? — спросил он небрежно. — Ничего?

— В общем, ничего, — сказал портье вежливо. — Счет вам Тэдди передаст.

— Ага, — сказал Виктор и, решив пока ничего не уточнять, пошел в ресторан.

Ему показалось, что торшеров в зале поубавилось. Черт возьми, подумал он с некоторым испугом. Тэдди еще не было. Виктор поклонился молодому человеку в очках и его спутнику, сел за свой столик и развернул газету. В мире все обстояло по-прежнему. Одна страна задерживала торговые суда другой страны, и эта другая страна посылала решительные протесты. Страны, которые нравились господину президенту, вели справедливые войны во имя своих наций и демократии. Страны, которые господину президенту почему-либо не нравились, вели войны захватнические и даже, собственно, не войны вели, а попросту производили бандитские, злодейские нападения. Сам господин президент произнес двухчасовую речь о необходимости раз и навсегда покончить с коррупцией и благополучно перенес операцию удаления миндалин. Знакомый критик — большая сволочь — восхвалял новую книгу Роц-Тусова, и это было загадочно, потому что книга получилась хорошая.

Подошел официант, новый какой-то, незнакомый, дружелюбно посоветовал взять устрицы, принял заказ, помахал салфеткой по столику и удалился. Виктор отложил газеты, закурил и, расположившись поудобнее, стал думать о работе. После хорошей выпивки ему всегда с удовольствием думалось о работе. Хорошо бы написать оптимистическую веселую повесть... О том, как живет на свете человек, любит свое дело, не дурак, любит друзей, и друзья его ценят, и о том, как ему хорошо, — славный такой парень, чудаковатый, остряк... Сюжета нет. А раз нет сюжета, значит, скучно. И вообще, если уж писать такую повесть, то надо разобраться, почему же этому

хорошему человеку хорошо, и неизбежно придешь к выводу, что ему хорошо только потому, что у него любимая работа, а на все прочее ему наплевать. И тогда какой же он хороший человек, если ему на все наплевать, кроме любимой работы?.. Можно, конечно, написать про человека, смысл жизни которого состоит в любви к ближнему, ему потому хорошо, что он любит своих близких и любит свое дело, но о таком человеке уже писали пару тысяч лет назад господа Лука, Матфей, Иоанн и еще кто-то — всего четверо. Вообще-то их было гораздо больше, но только эти четверо писали в соответствии, остальные были лишены кто национального самосознания, кто права переписки... а человек, о котором они писали, был, к сожалению, полоумный... А вообще интересно было бы написать, как Христос приходит на Землю сегодня, не так, как писал Достоевский, а так, как писали эти Лука и компания... Христос приходит в генеральный штаб и предлагает: любите, мол, ближнего. А там, конечно, сидит какой-нибудь юдофоб...

— Вы разрешите, господин Банев? — пророкотал над ним приятный мужской голос.

Это был господин бургомистр собственной персоной. Не тот апоплексически-багровый, хрюкающий от нездорового удовольствия боров на обширном ложе господина Росшепера, а элегантно-округлый, идеально выбритый и безукоризненно одетый представительный мужчина со скромной орденской ленточкой в петлице и со щитком Легиона Свободы на левом плече.

— Прошу, — сказал Виктор без всякой радости.

Господин бургомистр сел, огляделся и сложил руки на столе.

— Я постараюсь не обременять вас долго своим присутствием, господин Банев, — сказал он, — и попытаюсь не портить вашу трапезу, однако же вопрос, с коим я намерен к вам обратиться, назрел уже достаточно для того, чтобы все мы, и большие, и малые, кому дороги честь и благополучие нашего города, были готовы отложить наши дела для его скорейшего и эффективнейшего разрешения.

— Я вас слушаю, — сказал Виктор.

— Мы встречаемся с вами здесь, господин Банев, в обстановке скорее неофициальной, ибо я, сознавая вашу занятость, не рискнул беспокоить вас в часы вашей работы, особенно принимая во внимание специфику оной. Однако же я обращаюсь к вам сейчас как лицо вполне официальное — и от своего имени лично, и от имени муниципалитета в целом...

Официант принес устрицы и бутылку белого вина. Бургомистр подъятием пальца остановил его.

— Друг мой, — сказал он. — Полпорции китчинганской осетрины и рюмку мятной. Осетрину без соуса... Итак, я продолжаю, — сказал он, снова оборотившись к Виктору. — Боюсь, правда, что наш разговор трудно будет счесть застольной беседой, ибо речь пойдет о вещах и обстоятельствах не только печальных, но, я бы даже сказал, неаппетитных. Я намеревался поговорить с вами о так называемых мокрецах, об этой злокачественной опухоли, которая вот уже не первый год разъедает нашу несчастную округу.

— Да-да, — сказал Виктор. Ему стало интересно.

Бургомистр произнес негромкую, хорошо продуманную и стилистически совершенную речь. Он рассказал о том, как двадцать лет назад, сразу после оккупации, в Лошадиной Лощине был создан лепрозорий, карантинный лагерь для лиц, страдающих так называемой желтой проказой, или очковой болезнью. Собственно говоря, болезнь эта, как хорошо известно господину Баневу, появилась в нашей стране еще в незапамятные времена, причем, как показывают специальные исследования, особенно часто она почему-то поражала жителей именно этой округи. Однако только благодаря усилиям господина президента на эту болезнь было обращено самое серьезное внимание, и лишь по его личному указанию несчастные, лишенные медицинского ухода, разбросанные ранее по всей стране, подвергаемые зачастую несправедливым гонениям со стороны отсталых слоев населения, а со стороны оккупантов — даже прямому истреблению, эти несчастные были, наконец, свезены в одно место и получили возможность сносного существования, приличествующего их положению. Все это не вызывает никаких возражений, и упомянутые меры могут только приветствоваться, однако, как это у нас иногда бывает, самые лучшие и благородные начинания обернулись против нас. Не будем сейчас искать виновных. Не будем заниматься расследованием деятельности господина Голема — деятельности, возможно, самоотверженной, но, однако же, чреватой, как теперь выяснилось, самыми неприятными последствиями. Не будем также заниматься преждевременным критиканством, хотя позиция некоторых достаточно высоких инстанций, упорно игнорирующих наши протесты, представляется лично нам загадочной. Перейдем к фактам... Бургомистр выпил рюмку мятной, вкусно закусил осетринкой, и голос его сделался еще более бархатистым — совершенно невозможно было представить себе, что он ставит на людей капканы. Он многословно выразил желание не задерживать внимание господина Банева на овладевших городом слухах, каковые слухи, он должен прямо признаться, есть результат недостаточно точного и единодушного исполнения всеми уровнями администрации предначертаний господина президента: мы имеем в виду чрезвычайно распространенное мнение о роковой роли так называемых мокрецов в резком изменении климата, об их ответственности за увеличение числа выкидышей и процента бесплодных браков, за гомерический исход из города некоторых домашних животных и за появление особой разновидности домашнего клопа, а именно — клопа крылатого...

— Господин бургомистр, — сказал со вздохом Виктор. — Должен вам признаться, что мне крайне трудно следить за вашими длинными периодами. Давайте говорить просто, как добрые сыновья одной нации. Давайте не будем говорить, о чем мы не будем говорить, и будем — о чем будем.

Бургомистр окинул его быстрым взглядом, что-то рассчитал, что-то сопоставил; черт его знает, что он там сопоставлял, но, наверное, все пошло в ход: и то, что Виктор пьянствовал с Росшепером, и то, что он вообще пьянствовал — шумно, на всю страну, и то, что Ирма — вундеркинд, и то, что есть на свете такая Диана, и еще, наверное, многое что — во всяком случае лоску у господина бургомистра поубавилось прямо на глазах, и он крикнул подать себе рюмку коньяку. Виктор тоже крикнул подать себе рюмку коньяку. Бургомистр хохотнул, оглядел совсем уже опустевший зал, легонько ударил кулаком по столу и сказал:

— Ладно, что нам с вами вилять, в самом деле. Жить в городе стало невозможно, скажите спасибо вашему Голему — кстати, вы знаете, что Голем — скрытый

коммунист?.. Да-да, уверяю вас, есть материалы... он на ниточке висит, ваш Голем... Так вот я и говорю: детей развращают на глазах. Эти заразы просочились в школу и испортили ребятишек начисто... избиратели недовольны, некоторые город покидают, идет брожение, того и гляди начнутся самосуды, окружная администрация бездействует — вот такая у нас ситуация... — Он осушил рюмку. — Должен вам сказать, так я ненавижу эту мразь — зубами бы рвал, да тошнит. Вы не поверите, господин Банев, дошел до того, что капканы на них ставлю... Ну, развратили детей, ладно. Дети есть дети, их сколько ни развращай — им все мало. Но вы войдите в мое положение. Дожди наши — это все-таки их рук дело, не знаю, как это у них получается, но это так. Построили санаторий, целебные воды, роскошный климат, деньги гребли лопатой. Сюда из столицы ездили, и чем все кончилось? Дождь, туманы, клиенты в насморке, дальше — больше, приезжает сюда известный физик... забыл его фамилию, ну, да вы, наверное, знаете... прожил две недели — готово: очковая болезнь, острая стадия, в лепрозорий его. Хорошенькая реклама для санатория! Потом еще случай, потом еще — и все, как ножом клиентов отрезало. Ресторан этот горит, отель горит, санаторий едва дышит — слава богу, нашелся дурак-тренер, тренирует команду-экстра для игры в дождливых странах... Ну и господин Росшепер, конечно, помогает в какой-то степени... Вы мне сочувствуете? Пробовал я договориться с этим Големом — как об стену горох: красный есть красный. Писал наверх — никаких результатов. Писал выше — ничего. Еще выше — отвечают, что приняли к сведению и дали делу ход вниз по инстанции... Ненавижу их, но переломил себя, поехал в лепрозорий сам. Пропустили. Просил, доказывал... До чего же гадкие типы! Моргают на тебя облезлыми своими глазами, как на воробья какого-нибудь, словно тебя здесь и нет... — Он наклонился к Виктору и прошептал: — Бунта боюсь, кровь прольется. Вы мне сочувствуете?

— М-да, — сказал Виктор. — А при чем здесь я?

Бургомистр откинулся на спинку кресла, достал из алюминиевого футляра початую сигару, закурил.

— В моем положении, — сказал он, — остается одно: нажимать на все рычаги. Гласность нужна. Муниципалитет составил петицию в департамент здравоохранения, господин Росшепер подпишется, вы, я надеюсь, тоже, но это не бог весть что. Гласность нужна! Хорошая статья нужна, в столичной газете, и подписанная известным именем. Вашим именем, господин Банев! А материал животрепещущий — как раз для такого трибуна, как вы. Очень прошу. И от себя лично, и от муниципалитета, и от несчастных родителей... Добиться, чтобы лепрозорий убрали отсюда к чертовой бабушке! Куда угодно, но чтобы духу здесь мокрецового не было, заразы этой. Вот что я вам имел сказать.

— Да-да, понимаю, — сказал Виктор медленно. — Очень хорошо вас понимаю.

Хоть ты и скотина, думал он, хоть ты и боров, но понять тебя можно. Но что же это сделалось с мокрецами? Были тихие, сгорбленные, крались сторонкой, ничего о них такого не говорили, а говорили, будто воняет от них, будто заразные, будто здорово делают игрушки и вообще разные штучки из дерева... мать Фрэда говорила, помнится, что у них дурной глаз, что молоко от них киснет и что накличут они нам войну, мор и голод... А теперь сидят они за колючей проволокой, и что же они там у себя делают? Ох, много что-то они делают. И погоду они делают, и детей они переманивают (зачем?), и кошек они вывели (тоже зачем?), и клопы у них залетали...

— Вы, наверное, думаете, что мы сидим сложа руки, — сказал бургомистр. — Ни в коем случае. Но что мы можем? Готовлю я процесс против Голема. Господин санитарный инспектор Павор Сумман согласен быть консультантом. Будем упираться на то, что вопрос об инфекционности болезни еще отнюдь не решен, а Голем как скрытый коммунист этим пользуется. Это одно. Далее, пытаемся отвечать террором на террор. Городской Легион, наша гордость, ребята подобрались золотые, орлы... но это как-то не то. Указаний сверху ведь не поступает... Полиция в ложном положении оказывается... и вообще... Так что препятствуем как можем. Задерживаем грузы, которые идут к ним... частные, конечно, не продовольствие там, и не постельные принадлежности, а вот книги всякие, они их много выписывают... Вот сегодня задержали грузовик, и как-то легче на душе. Но это все мелочи, от тоски, а надо бы радикально...

— Так-так, — сказал Виктор. — Орлы, значит, золотые. Как его там... Фламенда?.. Ну, этот, племянник...

— Фламин Ювента, — сказал бургомистр, — мой заместитель по Легиону, орел! Вы его уже знаете?

— Знаю немного, — сказал Виктор. — А книги-то зачем задерживать?

— Ну как зачем... Глупость это, конечно, но все мы люди, все мы человеки — накапливает все-таки. И потом... — Бургомистр стыдливо заулыбался. — Чепуха, конечно, но ходят слухи, будто без книг они не могут... как нормальные люди без еды и прочего.

Наступило молчание. Виктор без аппетита ковырял вилкой бифштекс и размышлял. Я мало знаю о мокрецах, и то, что я знаю, не вызывает у меня к ним никаких симпатий. Может быть, дело в том, что я не очень-то любил их с детства. Но уж бургомистра и его банду я знаю хорошо — жир и сало нации, президентские холуи, черносотенцы... Нет, раз вы против мокрецов, значит, в мокрецах что-то есть... С другой стороны, статью написать можно, и даже самую разнузданную, все равно никто не рискнет меня напечатать, а бургомистр был бы доволен, и получил бы я с него шерсти клоч, и мог бы жить здесь припеваючи... Кто из настоящих писателей может похвастаться, что живет припеваючи? Можно было бы здесь устроиться, получить синекуру, заделаться, например, каким-нибудь инспектором муниципалитета по городским пляжам и писать себе на здоровице... про то, как хорошо жить хорошему человеку, который увлечен любимым делом... и выступить на эту тему перед вундеркиндами... Э, все дело в том, чтобы научиться утираться. Плюнули тебе в морду, а ты и утерся. Сначала со стыдом утерся, потом с недоумением, а там, глядишь, начнешь утираться с достоинством и даже получать от этого процесса удовольствие...

— Мы, конечно, ни в коей мере вас не торопим, — сказал бургомистр. — Вы человек занятой и так далее. Что-нибудь в пределах недельки, а? Материалы все мы вам предоставим, можем предоставить даже этакую схему, планчик, по которому было бы желательно... а вы коснетесь опытной рукой, и все заиграет. И подписались бы под статьей три выдающихся сына нашего города — член парламента Росшепер Нант, знаменитый писатель Банев и государственный лауреат доктор Рем Квадрига...

Здорово работает, подумал Виктор. Вот у нас, у левых, такой настойчивости и в помине нет. Тянули бы бодягу, ходили бы вокруг да около — не оскорбить бы человека, не оказать бы на него излишнего нажима, чтобы, упаси бог, не заподозрил

бы в своекорыстных намерениях... «Выдающиеся сыновья!..» И ведь совершенно уверен, скотина, что статью я ему напишу и подпишу, что деваться мне некуда, что придется опальному Баневу поднять лапки и в поте души своей отработать свое безмятежное пребывание в родном городишке... Вот и насчет схемки ввернул... знаем мы, что это за схемка и какая это должна быть схемка, чтобы забрызганного президентскими слюнями Банева и сейчас напечатали. Да-а, господин Банев... коньячок любишь, девочек любишь, миноги маринованные с луком любишь, так люби и саночки возить...

— Я обдумаю ваше предложение, — сказал он, улыбаясь. — Замысел представляется мне достаточно интересным, но осуществление потребует некоторого напряжения совести. Вы ведь знаете, мы, писатели, народ неподкупный, действуем исключительно по велению совести. — Он безобразно, похабно подмигнул бургомистру.

Бургомистр гоготнул.

— А как же! «Совесть нации, точное зеркало» и прочее... Помню, как же... — Он снова наклонился к Виктору с видом заговорщика. — Прошу вас завтра ко мне, — пророкотал он. — Исключительно свои подберутся. Только чур без жен. А?

— Вот здесь, — сказал Виктор, вставая, — я вынужден прямо и решительно отклонить ваше предложение. Меня ждут дела. — Он опять подмигнул. — В санатории.

Они расстались почти приятелями. Писатель Банев был зачислен в состав городской элиты, и, чтобы привести в порядок потрясенные такой честью нервы, ему пришлось вылакать фужер коньяку, едва спина господина бургомистра скрылась за дверью. Можно, конечно, уехать отсюда к чертовой матери, думал Виктор. За границу меня не выпустят, да и не хочу я за границу, чего мне там делать, везде одно и то же. Но и у нас в стране найдется десяток мест, где можно укрыться и отсидеться. Он представил себе солнечный край, буковые рощи, пьянящий воздух, молчаливых фермеров, запахи молока и меда... и навоза, и комары... и как воняет отхожее место, и скучища, каждый вечер скучища... и древние телевизоры, и местная интеллигенция: шустрый поп-бабник и сильно пьющий самогон учитель... А впрочем, что там говорить, есть, есть куда ехать. Но ведь им только и надо, чтобы я уехал, чтобы скрылся с глаз долой, забился в нору, причем сам, без принуждения, потому что ссылать меня хлопотно, шум пойдет, разговоры... вот ведь в чем вся беда: они же будут очень довольны — уехал, заткнулся, забыт, перестал брэнчать...

Виктор расплатился, поднялся к себе в номер, надел плащ и вышел под дождь. Ему вдруг очень захотелось снова повидать Ирму, поговорить с ней о прогрессе, разъяснить, почему он так много пьет (а действительно, почему я так много пью?), и, может быть, Бол-Кунац окажется там, а уж Лолы наверняка не будет... Улицы были мокрые, серые, пустые, в палисадниках тихо гибли от сырости яблони. Виктор впервые обратил внимание на то, что некоторые дома заколочены. Городок все-таки сильно переменялся — покосились заборы, под карнизами высыпала белая плесень, вылиняли краски, а на улицах безраздельно царил дождь. Дождь падал просто так, дождь сеялся с крыш мелкой водяной пылью, дождь собирался на сквозняках в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене, дождь с урчанием хлестал из ржавых водосточных труб, дождь разливался по мостовой и бежал по

промытым между булыжников руслам. Черно-серые тучи медленно ползли над самыми крышами. Человек был незваным гостем на улицах, и дождь его не жаловал.

Виктор вышел на городскую площадь и увидел людей. Они стояли под навесом на крыльце полицейского управления — двое полицейских в форменных плащах и маленький чумазый парнишка в промасленном комбинезоне. Перед крыльцом, левыми колесами на тротуаре, громоздился неуклюжий автофургон с брезентовым верхом. Один из полицейских был полицмейстер; выпятив могучую челюсть, он глядел в сторону, а парнишка, отчаянно жестикулируя, что-то доказывал ему плаксивым голосом. Другой полицейский тоже молчал с недовольным видом и сосал сигарету. Виктор приближался к ним, и шагов за двадцать до крыльца ему стало слышно, что говорит парень. Парень кричал:

— А я-то здесь при чем? Правил я не нарушал? Не нарушал. Бумаги у меня в порядке? В порядке. Груз правильный, вот накладная. Да что я, первый раз здесь езжу, что ли?..

Полицеймейстер заметил Виктора, и лицо его приняло чрезвычайно неприязненное выражение. Он отвернулся и, словно бы не видя парнишки, сказал полицейскому:

— Значит, здесь будешь стоять. Смотри, чтобы все было в порядке. И в кабину не залезай, а то все растащат. И никого к машине не подпускай. Понял?

— Понял, — сказал полицейский. Он был очень недоволен.

Начальник полиции спустился с крыльца, сел в свой автомобиль и уехал. Чумазый шоферишка со злостью плюнул и воззвал к Виктору:

— Ну хоть вы скажите, виноват я или нет? — Виктор приостановился, и парня это воодушевило. — Еду нормально. Везу книги в спецзону. Тыщу раз уже возил. Теперь, значит, останавливают, приказывают ехать в полицию. За что? Правил я не нарушал? Не нарушал. Бумаги в порядке? В порядке, вот накладная. Лицензию отобрали, чтобы не сбежал. А куда мне бежать?

— Хватит тебе орать, — сказал полицейский.

Парень живо к нему обернулся.

— Так что я сделал? Скажите, я скорость превысил? Не превысил. С меня же за простой вычтут. И документ вот отобрали...

— Разберутся, — сказал полицейский. — Чего ты, в самом деле, расстраиваешься? Пойди вон в трактир, твое дело маленькое.

— Э-эх, начальнички-и! — вскричал парень, с размаху напяливая на всклокоченную голову картуз. — Нигде правды нету! Налево едешь — задерживают, направо едешь — опять задерживают. — Он спустился было с крыльца, но остановился и сказал полицейскому просительно: — Может, штраф возьмете или как-нибудь?

— Иди-иди, — проговорил полицейский.

— Так мне же премию обещали за срочность! Всю ночь гнал...

— Иди, говорю! — сказал полицейский.

Парень снова плюнул, подошел к своему фургону, два раза лягнул передний скат,

потом вдруг ссутулился и, сунув руки в карманы, почесал через площадь.

Полицейский посмотрел на Виктора, посмотрел на грузовик, посмотрел на небо, сигарета у него погасла, он выплюнул окурочок и, на ходу отгибая капюшон, ушел в управление.

Виктор постоял некоторое время, затем медленно двинулся вокруг грузовика. Грузовик был здоровенный, мощный, раньше на таких возили мотопехоту. Виктор огляделся. В нескольких метрах перед грузовиком, свернув набок переднее колесо, мокнул под дождем полицейский «харлей», а больше машин поблизости не было. Догнать они меня догонят, подумал Виктор, но хрен они меня остановят. Ему стало весело. А какого черта, подумал он. Известный писатель Банев, снова напившись пьян, угнал в целях развлечения чужую машину; к счастью, обошлось без жертв... Он понимал, что все обстоит не так просто, что не он будет первый, кто доставляет властям благовидный предлог упрятать беспокойного человека в кутузку, но не хотелось раздумывать, хотелось повиноваться импульсу. В крайнем случае напишу гаду статью, подумал он мельком.

Он быстро открыл дверцу кабины и сел за руль. Ключа не было, пришлось оборвать провода зажигания и соединить их накоротко. Когда мотор уже завелся, Виктор, прежде чем захлопнуть дверцу, поглядел назад, на крыльцо управления. Там стоял давешний полицейский все с тем же недовольным выражением лица и с сигаретой на губе. Заметно было, что он все видит, но ничего еще не понимает. Виктор захлопнул дверцу, аккуратно съехал на мостовую, переключил скорость и рванулся в ближайший проезд.

Было очень хорошо гнать по пустым, по заведомо пустым улицам, подымая колесами водопады из глубоких луж, ворочать тяжелый руль, наваливаясь всем телом, — мимо консервного завода, мимо парка, мимо стадиона, где «Братья по разуму», словно мокрые механизмы, все пинали и пинали мячи, и дальше, по шоссе, по рытвинам, подпрыгивая на сиденье и слыша, как сзади в кузове каждый раз тяжело ухаает плохо закрепленный груз. В зеркальце заднего вида погоня не обнаруживалась, да и вряд ли можно было ее заметить так скоро за таким дождем. Виктор чувствовал себя очень молодым, очень кому-то нужным и даже пьяным. С потолка кабины ему подмигивали красотки, вырезанные из журналов, в «бардачке» он нашел пачку сигарет, и ему было так хорошо, что он чуть не проскочил перекресток, но вовремя притормозил и свернул по стрелке указателя: «ЛЕПРОЗОРИЙ — 6 км». Здесь он почувствовал себя первооткрывателем, потому что еще ни разу не ездил и не ходил по этой дороге. А дорога оказалась хорошая, не в пример муниципальному шоссе — сначала очень ровный ухоженный асфальт, а потом даже бетонка, и, когда он увидел бетонку, он сразу вспомнил про проволоку и про солдат, а еще через пять минут он все это увидел.

Проволочная ограда в один ряд тянулась в обе стороны от бетонки и пропадала за дождем. Дорогу перегораживали высокие ворота с караульной будкой, дверь будки была распахнута, и на пороге уже стоял солдат в каске, в сапогах и в плащ-накидке, из-под которой высовывался ствол автомата. Еще один солдат, без каски, глядел в окошечко. «Никогда я не был в лагерях, — пропел Виктор, — но не говорите: слава богу...» Он сбросил газ и затормозил перед самыми воротами. Солдат вышел из будки и подошел к нему — молоденький такой, веснушчатый солдатик, всего лет восемнадцати.



— Здравствуйте, — сказал он. — Что вы так припоздали?

— Да вот, обстоятельства, — сказал Виктор, дивясь такому либерализму.

Солдатик оглядел его и вдруг подобрался.

— Ваши документы, — сказал он сухо.

— Какие там документы, — сказал Виктор весело. — Я же говорю — обстоятельства.

Солдат поджал губы.

— Вы что привезли? — спросил он.

— Книги, — сказал Виктор.

— А пропуск есть?

— Конечно, нет.

— Ага, — сказал солдат, и его лицо прояснилось. — То-то я гляжу... Тогда подождите. Тогда подождать вам придется.

— Имейте в виду, — сказал Виктор, подняв указательный палец. — За мною может быть погоня.

— Ничего, я быстро, — сказал солдат и, придерживая на груди автомат, забухал сапогами к караулке.

Виктор вылез из кабины и, стоя на подножке, поглядел назад. Ничего не было видно за дождем. Тогда он вернулся за руль и закурил. Было очень забавно. Впереди, за проволокой и за воротами, тоже крутился дождь, там угадывались какие-то темные сооружения — то ли дома, то ли башни, но разобрать что-нибудь определенно было невозможно. Неужели не пригласят посмотреть? — подумал Виктор. Свинство будет, если не пригласят. Можно, правда, попытаться воззвать к Голему, он сейчас где-нибудь здесь... Так и сделаю, подумал он. Зря я, что ли, для них геройствовал...

Солдатик снова вышел из караулки, а за ним выскочил старый знакомец, прыщавый мальчик-нигилист в одних трусах, очень сейчас веселый и безо всяких следов всемирной тоски. Обогнав солдата, он вспрыгнул на подножку, заглянул в кабину, узнал, ахнул и засмеялся.

— Здравствуйте, господин Банев! Это вы? Вот здорово... Вы ведь книги привезли? А мы ждем-ждем...

— Ну что, все в порядке? — спросил подошедший солдатик.

— Да, это наша машина.

— Тогда загоняйте, — сказал солдатик. — А вам, сударь, придется выйти и подождать.

— Я хотел бы повидать доктора Голема, — сказал Виктор.

— Можно вызвать сюда, — предложил солдатик.

— Гм, — сказал Виктор и выразительно поглядел на мальчика. Мальчик виновато развел руками.

— У вас пропуска нет, — объяснил он. — А без пропуска они никого не пускают.

Мы бы с радостью...

Ничего не оставалось, пришлось вылезать под дождь. Виктор соскочил на дорогу и, подняв капюшон, смотрел, как распахнулись ворота, грузовик дернулся и рывками пополз за ограду. Потом ворота закрылись. Сквозь шум дождя Виктор еще некоторое время слышал завывание двигателя и шипение тормозов, потом ничего не стало слышно, кроме шороха и плеска. Вот так так, подумал Виктор. А я? Он ощутил разочарование. Только теперь он понял, что совершал свои подвиги не бескорыстно, что он надеялся многое увидеть и многое понять... проникнуть, так сказать, в эпицентр. Ну и черт с вами, подумал он. Он поглядел вдоль бетонки. До перекрестка шесть километров, и от перекрестка до города километров двадцать. Можно, конечно, от перекрестка до санатория — два километра. Свиньи неблагодарные... Под дождем... Тут он заметил, что дождь ослабел. И на том спасибо, подумал он.

— Так вызвать вам господина Голема? — спросил солдат.

— Голема? — Виктор оживился. Вообще неплохо бы прогнать старого хрыча под дождем взад и вперед, и потом у него — машина. И фляга. — А что же, вызовите.

— Это можно, — сказал солдатик. — Вызовем. Только навряд он выйдет, обязательно скажет, что занят.

— Ничего, ничего, — сказал Виктор. — Вы ему скажите, что Банев спрашивает.

— Банев? Ладно, скажу. Только он все равно не выйдет. Ну, да мне нетрудно. Банев, значит... — И солдатик ушел, симпатичный такой солдатик, ласковый, сплошные веснушки под каской.

Виктор закурил сигарету, и тут раздался треск мотоциклетного двигателя. Из туманной пелены на сумасшедшей скорости выскочил «харлей» с коляской, подлетел вплотную к воротам и остановился. В седле сидел тот самый полицейский с недовольным лицом, и еще один, до глаз закутанный в брезент, сидел в коляске. Сейчас начнется, подумал Виктор, надвигая капюшон поглубже. Но это не помогло. Полицейский с недовольным лицом слез с мотоцикла, подошел к Виктору и рявкнул:

— Где грузовик?

— Какой грузовик? — изумленно озираясь, сказал Виктор, чтобы выиграть время.

— А вы не прикидывайтесь! — заорал полицейский. — Я вас видел! Вы под суд пойдете! Угон арестованной машины!

— Вы на меня не орите, — возразил Виктор с достоинством. — Что за хамство? Я буду на вас жаловаться.

Второй полицейский, разматывая на ходу брезентовые покровы, подошел и спросил:

— Тот?

— Ясно, тот! — сказал полицейский с недовольным лицом, извлекая из кармана наручники.

— Но-но-но! — сказал Виктор, отступая на шаг. — Это произвол! Как вы смеете?

— Не отягчайте вины сопротивлением, — посоветовал второй полицейский.

— А я ни в чем не виноват, — нагло заявил Виктор и сунул руки в карманы. — Вы

меня с кем-то путаете, ребята.

— Вы угнали грузовик, — сказал второй полицейский.

— Какой грузовик? — вскричал Виктор. — При чем тут грузовик? Я пришел сюда в гости к господину Голему, главному врачу. Спросите у охраны. При чем здесь какой-то грузовик?

— А может быть, не тот? — усомнился второй полицейский.

— Ну как не тот! — возразил полицейский с недовольным лицом. Держа наготове наручники, он надвинулся на Виктора. — А ну, давай руки! — сказал он деловито.

В этот момент дверь караулки хлопнула, и высокий пронзительный голос прокричал:

— Прекратить скопление!

Виктор и полицейские вздрогнули. На пороге караулки стоял веснушчатый солдатик, выставив из-под накидки автомат.

— Отойти от ворот! — пронзительно крикнул он.

— Ты, там, потише! — сказал полицейский с недовольным лицом. — Здесь полиция.

— Ска-аплиение у ворот спецзоны более одного постороннего человека запрещается! После третьего предупреждения стреляю! Отойти от ворот!

— Давайте-давайте, отходите, — озабоченно сказал Виктор, тихонько подталкивая в грудь обоих полицейских. Полицейский с недовольным лицом растерянно поглядел на него, отвел его руку и шагнул к солдату.

— Слушай, парень, ты что, сдурел? — сказал он. — Этот тип угнал грузовик.

— Никаких грузовиков! — протяжно и пронзительно проорал симпатичный ласковый солдатик. — Па-аследнее предупреждение! Двоим отойти на сто метров от ворот!

— Слушай, Рох, — сказал второй полицейский. — Давай отойдем, ну их к богу. Никуда он от нас не денется.

Полицейский с недовольным лицом, багровый от негодования, открыл было снова рот, но тут в дверях караулки появился толстый сержант с обкусанным бутербродом в одной руке и со стаканом в другой.

— Рядовой Джура, — сказал он, жуя. — Почему не открываете огонь?

На веснушчатом лице под каской появилось выражение озверелости. Полицейские бросились к мотоциклу, оседлали его, развернулись мимо Виктора, принявшего позу регулировщика, и ринулись прочь. Багровый полицейский прокричал ему что-то неслышное за треском мотора. Отъехав шагов на пятьдесят, они остановились.

— Близко, — сказал сержант с неодобрением. — Что же ты смотришь? Близко ведь!

— Дальше! — пронзительным голосом завопил солдатик, взмахивая автоматом. Полицейские отъехали дальше, и их не стало видно.

— Повадились посторонние толпиться у ворот, — сообщил сержант солдатику,

глядя на Виктора. — Ну ладно, продолжай нести службу. — Он вернулся в караулку, а веснушчатый солдатик, понемногу остывая, несколько раз прошелся взад-вперед перед воротами.

Выждав несколько минут, Виктор осторожно осведомился:

— Прошу прощения, как там насчет доктора Голема?

— Нет его, — буркнул солдатик.

— Какая жалость, — сказал Виктор. — Тогда я пойду, пожалуй... — Он посмотрел в туман и дождь, где скрывались полицейские.

— Как так — пойдете? — встревоженно сказал солдатик.

— А что, нельзя? — спросил Виктор, тоже встревоженно.

— Почему нельзя, — сказал солдатик. — Я насчет грузовика. Вы уйдете, а грузовик как же? Грузовики от ворот положено уводить.

— А я здесь при чем? — спросил Виктор, тревожась все больше.

— Как так — при чем? Вы его привели, вы его... это... Всегда же так, а как же?

Черт, подумал Виктор. Куда я его дену?.. С расстояния в сто метров доносился треск мотоциклетного мотора, работающего на холостых оборотах.

— Вы его в самом деле угнали? — спросил солдатик с любопытством.

— Ну да! Полиция задержала шофера, а я, дурак, решил помочь...

— Да-а, — сочувственно протянул солдатик. — Прямо и не знаю, что вам посоветовать.

— А если я сейчас, скажем, пойду себе? — вкрадчиво спросил Виктор. — Стрелять не будете?

— Не знаю, — честно признался солдатик. — Вроде бы не положено. Спросить?

— Спросите, — сказал Виктор, соображая, успеет он удрать за пределы видимости или нет.

В эту минуту за воротами раздался гудок. Ворота растворились, и из зоны медленно выкатился злосчастный автофургон. Он остановился рядом с Виктором, дверца распахнулась, и Виктор увидел, что за рулем сидит уже не мальчик, как он ожидал, а лысый сутулый мокрец и смотрит на него выжидательно. Виктор не сдвинулся с места, и тогда мокрец снял с руля руку в черной перчатке и приглашающе похлопал по сиденью рядом с собой. Соизволили снизойти, горько подумал Виктор. Солдатик радостно сообщил:

— Ну вот и хорошо, вот все и устроилось, поезжайте с богом.

У Виктора мелькнула мысль, что раз уж мокрец намерен сам доставить грузовик в город или куда там еще, словом, намерен сам иметь дело с полицией, то хорошо было бы тут же распрощаться и дунуть прямо через поле в санаторий, в обход засевавшего в засаде «харлея».

— Там впереди полиция, — сказал он мокроцу.

— Ничего, садитесь, — сказал мокрец.

— Дело в том, что я украл этот грузовик из-под ареста.

— Я знаю, — терпеливо сказал мокрец. — Садитесь.

Момент был упущен. Виктор вежливо и сердечно попрощался с солдатиком, забрался на сиденье и захлопнул дверцу. Грузовик тронулся, и через минуту они увидели «харлей». «Харлей» стоял поперек шоссе, оба полицейских стояли рядом и делали жесты — к обочине. Мокрец затормозил, выключил двигатель и, высунувшись из кабины, сказал:

— Уберите мотоцикл, вы загородили дорогу.

— А ну, к обочине! — скомандовал полицейский с недовольным лицом. — И предъявите документы.

— Я еду в полицейское управление, — сказал мокрец. — Может быть, поговорим там?

Полицейский несколько растерялся и проворчал что-то вроде «знаем мы вас». Мокрец спокойно ждал.

— Ладно, — сказал, наконец, полицейский. — Только машину поведу я, а этот пусть перейдет в мотоцикл.

— Пожалуйста, — согласился мокрец. — Но, если можно, в мотоцикле поеду я.

— Еще лучше, — проворчал полицейский с недовольным лицом. У него даже лицо просветлело. — Вылезайте.

Они поменялись местами. Полицейский, зловеще покосившись на Виктора, принялся ерзать и изгибаться на сиденье, поправляя плащ, а Виктор, косясь на полицейского, смотрел, как мокрец, еще сильнее сутулясь и косолапя, похожий со спины на огромную тощую обезьяну, идет к мотоциклу и забирается в коляску. Дождь снова хлынул как из ведра, и полицейский включил дворники. Кортёж двинулся.

Хотел бы я знать, чем все это кончится, с некоторой томительностью подумал Виктор. Смутную надежду, впрочем, подавало намерение мокреца явиться в полицию. Обнаглел мокрец нынешний, изнахалился... Но штраф, во всяком случае, с меня сдерут, этого не миновать. Чтобы полиция да потеряла случай содрать с человека штраф... А, плевать я хотел, все равно придется уносить отсюда ноги. Все хорошо. По крайней мере, душу отвел... Он вытащил пачку сигарет и предложил полицейскому. Полицейский негодуяюще хрюкнул, но взял. Зажигалка у него не работала, и пришлось ему хрюкнуть еще раз, когда Виктор поднес ему свою. Вообще его можно было понять, этого немолодого дядьку, лет сорока пяти, наверное, а все ходит в младших полицейских, очевидно, из бывших коллаборационистов: не тех сажал и не ту задницу лизал, да и где ему в задницах разбираться — та она или не та... Полицейский курил, и вид у него уже был менее недовольный: дела его оборачивались к лучшему. Эх, бутылку бы мне сюда, подумал Виктор. Дал бы ему хлебнуть, рассказал бы ему пару ирландских анекдотов, поругал бы начальство, у которого сплошь любимчики верховодят, студентов бы обложил, — глядишь, и оттаял бы человек.

— Надо же какой дождь хлещет, — сказал Виктор.

Полицейский хрюкнул довольно нейтрально, без озлобления.

— А ведь какой раньше здесь климат был, — продолжал Виктор. Тут его осенило.

— И вот заметьте: у них там в лепрозории дождя нет, а как подъезжает человек к городу, так сразу ливень.

— Да уж, — сказал полицейский. — Они там в лепрозории ловко устроились.

Контакт налаживался. Поговорили о погоде — какая она была и какой, черт подери, стала. Выяснили общих знакомых в городе. Поговорили о столичной жизни, о мини-юбках, о язве гомосексуализма, об импортном бренди и о контрабандных наркотиках. Естественно, отметили, что порядка не стало — не то что до войны или, скажем, сразу после. Что полицейский — собачья должность, хотя и пишут в газетах: добрые, мол, и строгие стражи порядка, незаменимая шестерня государственного механизма. А пенсионный возраст увеличивают, пенсии уменьшают, за ранение на посту дают гроши, да еще вот теперь оружие отобрали, — и кто при таких условиях будет лезть из шкуры вон... Словом, обстановка создалась такая, что еще бы пару глотков, и полицейский сказал бы: «Ладно, парень, бог с тобой. Я тебя не видел, и ты меня не видел». Однако пары глотков не было, а момент для вручения красненькой не успел созреть, так что, когда грузовик подкатил к подъезду полицейского управления, полицейский снова поугрюмел и сухо предложил Виктору следовать за ним и поторапливаться.

Мокрец отказался давать объяснения дежурному и потребовал, чтобы их немедленно провели к начальнику полиции. Дежурный ему ответил, что пожалуйста, начальник лично вас, вероятно, примет, а что касается вот этого господина, то он обвиняется в угоне машины, к начальнику ему идти незачем, а нужно его допросить и составить на него соответствующий протокол. Нет, твердо и спокойно сказал мокрец, ничего этого не будет, ни на какие вопросы господину Баневу отвечать не придется, и никаких протоколов господин Банев подписывать не станет, к чему имеются обстоятельства, касающиеся только господина полицмейстера. Дежурный, которому было безразлично, пожал плечами и отправился доложить. Пока он докладывал, появился шоферишка в замасленном комбинезоне, который ничего не знал и был сильно поддавши, так что сразу принялся кричать о справедливости, невиновности и прочих страшных вещах. Мокрец осторожно взял у него накладную, которой тот размахивал, примостился на барьере и подписал ее по всей форме. Шофер от изумления замолчал, и тут мокреца с Виктором пригласили к начальству.

Полицмейстер встретил их сурово. На мокреца он глядел с неудовольствием, а на Виктора избегал глядеть и вовсе.

— Что вам угодно? — спросил он.

— Разрешите присесть? — осведомился мокрец.

— Да, прошу, — вынужденно сказал полицмейстер после небольшой паузы.

Все сели.

— Господин полицмейстер, — произнес мокрец. — Я уполномочен заявить вам протест против вторичного незаконного задержания грузов, адресованных лепрозорию.

— Да, я слышал об этом, — сказал полицмейстер. — Водитель был пьян, мы вынуждены были его задержать. Думаю, что в ближайшие дни все разъяснится.

— Вы задержали не водителя, а груз, — возразил мокрец. — Однако это не столь

уж существенно. Благодаря любезности господина Банева груз был доставлен лишь с небольшим опозданием, и вы должны быть признательны присутствующему здесь господину Баневу, ибо существенное опоздание груза по вашей, господин полицмейстер, вине могло бы послужить для вас источником крупных неприятностей.

— Это забавно, — сказал полицмейстер. — Я не понимаю и не желаю понимать, о чем идет речь, потому что, как должностное лицо, я не потерплю угроз. Что же касается господина Банева, то на этот счет существует уголовное законодательство, где такие случаи предусмотрены. — Он явно отказывался смотреть на Виктора.

— Я вижу, вы действительно не понимаете своего положения, — сказал мокрец. — Но я уполномочен довести до вашего сведения, что в случае нового задержания наших грузов вы будете иметь дело с генералом Пффердом.

Наступило молчание. Виктор не знал, кто такой генерал Пфферд, но зато полицмейстеру это имя было явно знакомо.

— По-моему, это угроза, — сказал он неуверенно.

— Да, — согласился мокрец. — Причем угроза более чем реальная.

Полицмейстер порывисто поднялся. Виктор с мокрецом тоже.

— Я приму к сведению все, что услышал сегодня, — объявил полицмейстер. — Ваш тон, сударь, оставляет желать лучшего, однако я обещаю лицам, уполномочившим вас, что разберусь и, коль скоро обнаружатся виновные, накажу их. Это в полной мере касается и господина Банева.

— Господин Банев, — сказал мокрец, — если у вас будут неприятности с полицией по поводу этого инцидента, немедленно сообщите господину Голему. До свидания, — сказал он полицмейстеру.

— Всего хорошего, — отвечивал тот.

В восемь вечера Виктор спустился в ресторан и направился было прямо к своему столику, где уже сидела обычная компания, но его окликнул Тэдди.

— Здорово, Тэдди, — сказал Виктор, привалившись к стойке. — Как дела? — Тут он вспомнил. — А! Счет... Сильно я вчера?

— Счет — ладно, — проворчал Тэдди. — Не так уж и много — разбил зеркало да рукомойник своротил. А вот полицмейстера ты помнишь?

— А что такое? — удивился Виктор.

— Так я и знал, что ты не упомнишь, — сказал Тэдди. — Глаза у тебя были, брат, что у вареного пороса. Ничего не соображал... Так вот ты, — он уставил Виктору в грудь указательный палец, — запер его, беднягу, в сортирной кабинке, припер дверцу метлой и не выпускал. Ни в какую. А мы-то не знали, кто там, он только что пришел, мы думали, что это Квадрига там. Ну, думаем, ладно, пусть посидит... А потом ты его оттуда вытащил, стал кричать: ах, бедный, весь испачкался! — и совать его головой в рукомойник. Рукомойник своротил, и еле мы тебя, брат, оттащили.

— Серьезно? — сказал потрясенный Виктор. — Ну и ну. То-то он сегодня на меня весь день волком смотрит.

Тэдди сочувственно покивал.

— Да, черт возьми, неудобно, — проговорил Виктор. — Извиниться надо бы... Как же он мне позволил? Ведь крепкий еще мужчина...

— Я боюсь, не пришили бы тебе дело, вот что, — сказал Тэдди. — Сегодня утром тут уже ходил один легавый, снимал показания... шестьдесят третья статья тебе обеспечена — оскорбительные действия приотягчающих обстоятельствах. А может, и того похуже. Террористический акт. Понимаешь, чем пахнет? Я бы на твоём месте... — Тэдди помотал головой.

— Что? — спросил Виктор.

— Говорят, сегодня к тебе бургомистр приходил, — сказал Тэдди.

— Да.

— Ну и что он?

— Да чепуха. Хочет, чтобы я статью написал. Против мокрецов.

— Ага! — сказал Тэдди и оживился. — Ну, тогда в самом деле чепуха. Напиши ты ему эту статью, и все в порядке. Если бургомистр будет доволен, полицмейстер и пикнуть не посмеет, можешь его тогда каждый день в унитаз заталкивать. Он у бургомистра вот где... — Тэдди показал громадный костлявый кулак. — Так что все в порядке. Давай я тебе по этому поводу налью за счет заведения. Очищенной?

— Можно и очищенной, — сказал Виктор задумчиво.

Визит бургомистра представился ему теперь в совсем новом свете. Вот как они меня, подумал Виктор. Да-а... Либо убирайся, либо делай что велят, либо мы тебя скрутим. Между прочим, убираться тоже будет нелегко. Террористический акт, разыщут. Экий ты, братец, алкоголик, смотреть противно. И ведь не кого-нибудь, а полицмейстера. Хотя, честно говоря, задумано и выполнено неплохо... Он по-прежнему не помнил ничего, кроме кафельного пола, сплошь залитого водой, но очень хорошо представлял себе всю сцену. Да, Виктор Банев, любимый ты мой человек, поросся ты мое вареное, оппозиционер кухонный, и даже не кухонный — прибранный, любимец господина президента... да, видно, пришла и тебе пора, так сказать, продаваться... Роц-Тусов, человек опытный, по этому поводу говорит: продаваться надо легко и дорого — чем честнее твое перо, тем дороже оно обходится власть имущим, так что, и продаваясь даже, ты наносишь ущерб идеологическому противнику, и надо стараться, чтобы ущерб этот был максимальным... Виктор опрокинул рюмку очищенной, не испытав при этом никакого удовольствия.

— Ладно, Тэдди, — сказал он. — Спасибо. Давай счет. Много получилось?

— Твой карман выдержит, — ухмыльнулся Тэдди. Он достал из кассы листок бумаги. — Следует с тебя: за зеркало туалетное — семьдесят семь, за рукомойник фарфоровый большой — шестьдесят четыре, всего, сам понимаешь, сто сорок один. А торшер мы списали на ту драку... Одного не понимаю, — продолжал он, наблюдая, как Виктор отсчитывает деньги. — Чем это ты зеркало умудрился расколоть? Здоровенное зеркало, в два пальца толщиной. Головой ты в него бился, что ли?

— Чьей? — хмуро спросил Виктор.

— Ладно, не горюй, — сказал Тэдди, принимая деньги. — Напишешь статеечку,



реабилитируешься, гонорарчик отхватишь — вот все и окупится... Налить еще?

— Не надо, потом... Я еще подойду, когда поужинаю, — сказал Виктор и пошел на свое место.

В ресторане все было как обычно — полутьма, запахи, звон посуды на кухне; очкастый молодой человек с портфелем, спутником и бутылкой минеральной воды; согбенный доктор Р. Квадрига; прямой и подтянутый, несмотря на свой насморк, Павор; расплывшийся в кресле Голем с разрыхленным носом спившегося пророка. Официант.

— Миноги, — сказал Виктор. — Бутылку пива. И чего-нибудь мясного.

— Доигрались, — сказал Павор с упреком. — Говорил я вам: бросьте пьянствовать.

— Когда это вы мне говорили? Не помню.

— А до чего ты доигрался? — осведомился доктор Р. Квадрига. — Убил, наконец, кого-нибудь?

— А ты тоже ничего не помнишь? — спросил его Виктор.

— Это насчет вчерашнего?

— Да, насчет вчерашнего... Этот алкоголик, — сказал Виктор, обращаясь к Голему, — напился, как зюзя, загнал господина полицмейстера в клозет...

— А-а! — сказал Р. Квадрига. — Это все вранье. Я так и сказал следователю. Сегодня утром ко мне приходил следователь. Понимаете, изжога зверская, голова трещит, сижу, смотрю в окно, и тут является эта дубина и начинает шить дело...

— Как вы сказали? — спросил Голем. — Шить?

— Ну да, шить, — сказал Р. Квадрига, протыкая воображаемой иглой воображаемую материю. — Только не штаны, а дело... Я ему прямо сказал: все вранье, вчера я весь вечер просидел в ресторане, все было тихо, прилично, как всегда, никаких скандалов — словом, скучища... Обойдется, — ободряюще сказал он Виктору. — Подумаешь... А зачем ты это сделал? Ты его не любишь?

— Давайте об этом не будем, — предложил Виктор.

— Так о чем же мы будем? — спросил Р. Квадрига обиженно. — Эти двое все время препираются, кто кого не пускает в лепрозорий. В кои веки случилось что-то интересное, и сразу — не будем.

Виктор откусил половину миноги, пожевал, отхлебнул пива и спросил:

— Кто такой генерал Пферд?

— Лошадь, — сказал Р. Квадрига. — Конь. Дер пферд. Или дас.

— А все-таки, — сказал Виктор, — знает кто-нибудь такого генерала?

— Когда я служил в армии, — сказал доктор Р. Квадрига, — нашей дивизией командовало его превосходительство генерал от инфантерии Аршманн.

— Ну и что? — сказал Виктор.

— Арш по-немецки — задница, — сообщил молчавший до сих пор Голем. — Доктор шутит.

- А где вы слыхали про генерала Пфферда? — спросил Павор.
- В кабинете у полицмейстера, — ответил Виктор.
- Ну и что?
- И все. Так никто не знает? Ну и прекрасно. Я просто так спросил.
- А фельдфебеля звали Баттокс, — заявил Р. Квадрига. — Фельдфебель Баттокс.
- Английский вы тоже знаете? — спросил Голем.
- Да, в этих пределах, — ответил Р. Квадрига.
- Давайте выпьем, — предложил Виктор. — Официант, бутылку коньяку!
- Зачем же бутылку? — спросил Павор.
- Чтобы хватило на всех.
- Опять учините какой-нибудь скандал.
- Да бросьте вы, Павор, — сказал Виктор. — Тоже мне абстинент.
- Я не абстинент, — возразил Павор. — Я люблю выпить и никогда не упускаю случая выпить, как и полагается настоящему мужчине. Но я не понимаю, зачем напиваться. И уж совершенно ни к чему, по-моему, напиваться каждый вечер.
- Опять он здесь, — сказал Р. Квадрига с отчаянием. — И когда успел?..
- Мы не будем напиваться, — сказал Виктор, разливая всем коньяк. — Мы просто выпьем. Как это делает сейчас половина нации. Другая половина — напивается, ну и бог с ней, а мы просто тихонько выпьем.
- Вот в том-то все и дело, — сказал Павор. — Когда по стране идет поголовное пьянство, и не только по стране, по всему миру, каждый порядочный человек должен сохранять благоразумие.
- Вы полагаете нас порядочными людьми? — спросил Голем.
- Во всяком случае, культурными.
- По-моему, — сказал Виктор, — у культурных людей гораздо больше оснований напиваться, чем у некультурных.
- Возможно, — согласился Павор. — Однако культурный человек обязан держать себя в рамках. Культура обязывает... Мы вот сидим здесь почти каждый вечер, болтаем, пьем, играем в кости. А сказал кто-нибудь из нас за это время что-нибудь, пусть даже не умное, но хотя бы серьезное? Хихиканье, шуточки... одно хихиканье да шуточки.
- А зачем — серьезное? — спросил Голем.
- А затем, что все валится в пропасть, а мы хихикаем да шутим. Пируем во время чумы. По-моему, стыдно, господа.
- Ну хорошо, Павор, — примирительно сказал Виктор. — Скажите что-нибудь серьезное. Пусть не умное, но хотя бы серьезное.
- Не желаю серьезного, — объявил Р. Квадрига. — Пьявки. Кочки. Фу!
- Цыц! — сказал ему Виктор. — Дрыхни себе... Правильно, Голем, давайте

поговорим хоть раз о чем-нибудь серьезном. Павор, начинайте, расскажите нам про эту вашу пропасть.

— Опять хихикаете? — сказал Павор с горечью.

— Нет, — сказал Виктор. — Честное слово — нет. Я ироничен — может быть. Но это происходит оттого, что всю свою жизнь я слышу болтовню о пропастях. Все твердят, что человечество валится в пропасть, но доказать ничего не могут. И на поверку всегда оказывается, что весь этот философский пессимизм — следствие семейных неурядиц или нехватки денежных средств...

— Нет, — сказал Павор. — Нет... Человечество валится в пропасть, потому что человечество обанкротилось.

— Нехватка денежных средств, — пробормотал Голем.

Павор не обратил на него внимания. Он обращался исключительно к Виктору, говорил, нагнув голову и глядя исподлобья.

— Человечество обанкротилось биологически: рождаемость падает, распространяется рак, слабоумие, неврозы, люди превратились в наркоманов. Они ежедневно заглатывают сотни тонн алкоголя, никотина, просто наркотиков, они начали с гашиша и кокаина и кончили ЛСД. Мы просто вырождаемся. Естественную природу мы уничтожили, а искусственная уничтожает нас... Далее, мы обанкротились идеологически — мы перебрали все философские системы и все их дискредитировали; мы перепробовали все мыслимые системы морали, но остались такими же аморальными скотами, как троглодиты. Самое страшное в том, что вся эта серая человеческая масса в наши дни остается той же сволочью, какой была всегда. Она постоянно жаждет и требует богов, вождей и порядка, и каждый раз, когда она получает богов, вождей и порядок, она делается недовольной, потому что на самом деле ни черта ей не надо, ни богов, ни порядка, а надо ей хаоса, анархии, хлеба и зрелищ. Сейчас она скована железной необходимостью еженедельно получать конвертик с зарплатой, но эта необходимость ей претит, и она уходит от нее каждый вечер в алкоголь и наркотики... Да черт с ней, с этой кучей гниющего дерьма, она смердит и воняет десять тысяч лет и ни на что больше не годится, кроме как смердеть и вонять. Страшно другое — разложение захватывает нас с вами, людей с большой буквы, личностей. Мы видим это разложение и воображаем, будто оно нас не касается, но оно все равно отравляет нас безнадежностью, подтачивает нашу волю, засасывает... А тут еще это проклятие — демократическое воспитание: эгалитэ, фратернитэ, все люди — братья, все из одного теста... Мы постоянно отождествляем себя с чернью и ругаем себя, если случается нам обнаружить, что мы умнее ее, что у нас иные запросы, иные цели в жизни. Пора это понять и сделать выводы: спастись пора.

— Пора выпить, — сказал Виктор. Он уже жалел, что согласился на серьезный разговор с санитарным инспектором. Было неприятно смотреть на Павора. Павор слишком разгорячился, у него даже глаза закосили. Это выпадало из образа, а говорил он, как и все адепты пропастей, лютую банальщину. Так и хотелось ему сказать: бросьте срамиться, Павор, а лучше повернитесь-ка профилем и иронически усмехнитесь.

— Это все, что вы можете мне ответить? — осведомился Павор.

— Я могу вам еще посоветовать. Побольше иронии, Павор. Не горячитесь так. Все

равно вы ничего не можете. А если бы и могли, то не знали бы что.

Павор иронически усмехнулся.

— Я-то знаю, — сказал он.

— Ну-с?

— Есть только одно средство прекратить разложение...

— Знаем, знаем, — легкомысленно сказал Виктор, — нарядить всех дураков в золотые рубашки и пустить маршировать. Вся Европа у нас под ногами. Было.

— Нет, — сказал Павор. — Это только отсрочка. А решение одно: уничтожить массу.

— У вас сегодня прекрасное настроение! — сказал Виктор.

— Уничтожить девяносто процентов населения, — продолжал Павор. — Может быть, даже девяносто пять. Масса выполнила свое назначение: она породила из своих недр цвет человечества, создавший цивилизацию. Теперь она мертва, как гнилой картофельный клубень, давший жизнь новому кусту. А когда покойник начинает гнить, его пора закапывать.

— Господи, — сказал Виктор. — И все это только потому, что у вас насморк и нет пропуска в лепрозорий? Или, может быть, семейные неурядицы?..

— Не притворяйтесь дураком, — сказал Павор. — Почему вы не хотите задуматься над вещами, которые вам отлично известны? Из-за чего извращаются самые светлые идеи? Из-за тупости серой массы. Из-за чего войны, хаос, безобразия? Из-за тупости серой массы, которая выдвигает правительства, ее достойные. Из-за чего Золотой Век так же безнадежно далек от нас, как и во время оно? Из-за косности и невежества серой массы. В принципе Гитлер был прав, подсознательно прав, он чувствовал, что на земле слишком много лишнего. Но он был порождением серой массы и все испортил. Глупо было затевать уничтожение по расовому признаку. И кроме того, у него не было настоящих средств уничтожения.

— А по какому признаку собираетесь уничтожить вы? — спросил Виктор.

— По признаку незаметности, — ответил Павор. — Если человек сер, незаметен — значит, его надо уничтожить.

— А кто будет определять, заметный это человек или нет?

— Бросьте, это детали. Я вам излагаю принцип, а кто, что и как — это детали.

— А чего это ради вы связались с бургомистром? — спросил Виктор, которому Павор надоел.

— То есть?

— На кой черт вам понадобился этот судебный процесс? Мельчите, Павор! И ведь всегда так с вами, со сверхчеловеками. Собираетесь перепахать мир, меньше чем на три миллиарда трупов не согласны, а тем временем то беспокоитесь о чинах, то от триппера лечитесь, то за малую корысть помогаете сомнительным людям обдeldывать темные делишки.

— Вы все-таки полегче, — сказал Павор. Видно было, что он здорово взбесился. — Вы же сами пьяница и бездельник...

— Во всяком случае, я не затеваю дутых политических процессов и не берусь переделывать мир.

— О да, — сказал Павор. — Вы даже на это не способны, Банев. Вы ведь всего-навсего богема, то есть, короче говоря, подонок, дешевый фрондер и дерьмо. Вы сами не знаете, чего вы хотите, и делаете только то, чего хотят от вас. Потакаете желаниям таких же подонков, как вы, и воображаете поэтому, что вы потрясатель основ и свободный художник. А вы просто поганый рифмач, из тех, которые расписывают общественные сортиры.

— Все это правильно, — согласился Виктор. — Жалко только, что вы не сказали этого раньше. Понадобилось вас обидеть, чтобы вы это сказали. Вот и получается, что вы — гаденькая и мелкая личность, Павор. Всего лишь один из многих. И если начнут уничтожать, то вас уничтожат первого. По принципу незаметности. Философствующий санитарный инспектор? В печку его!

Интересно, как мы выглядим со стороны, подумал он. Павор отвратителен. Ну и улыбочка! Что это с ним сегодня? А Квадрига спит, что ему ссоры, серая масса и вся эта философия... А Голем развалился, как в театре, рюмочка в пальцах, рука за спинкой кресла, ждет, кто кому и чем врежет. Что-то Павор долго молчит... Аргументы подбирает, что ли?

— Ну хорошо, — сказал наконец Павор. — Поговорили — и будет.

Улыбочка у него исчезла, глаза снова сделались как у штурмбаннфюрера. Он бросил на стол кредитку, допил коньяк и, не прощаясь, ушел. Виктор почувствовал приятное разочарование.

— Все-таки для писателя вы отвратительно плохо разбираетесь в людях, — сказал Голем.

— Это не мое дело, — легко сказал Виктор. — Пусть в людях разбираются психологи и департамент безопасности. Мое дело — улавливать тенденции повышенным чутьем художника... А к чему вы мне это говорите? Опять «Виктуар, перестаньте бренчать»?

— Я вас предупреждал: не трогайте Павора.

— Какого черта, — сказал Виктор. — Во-первых, я его не трогал. Это он меня трогал. А во-вторых, он свинья. Вы знаете, что он помогает бургомистру упечь вас под суд?

— Догадываюсь.

— Вас это не волнует?

— Нет. Руки у них короткие. То есть у бургомистра короткие и у суда.

— А у Павора?

— А у Павора руки длинные, — сказал Голем. — И поэтому перестаньте при нем бренчать. Вы же видите, что я при нем не бренчу.

— Интересно, при ком вы бренчите, — проворчал Виктор.

— При вас я иногда бренчу. У меня к вам слабость. Налейте мне коньяку.

— Прошу. — Виктор налил. — Может, разбудим Квадригу? Что он, в самом деле,

даже не защитил меня от Павора?

— Нет, не надо его будить. Давайте поговорим. Зачем вы впутываетесь в эти дела? Кто вас просил угонять грузовик?

— Мне так захотелось, — сказал Виктор. — Свинство — задерживать книги. И потом, меня расстроил бургомистр. Он покусился на мою свободу. Каждый раз, когда покушаются на мою свободу, я начинаю хулиганить... Кстати, Голем, а может генерал Пферд заступиться за меня перед бургомистром?

— Чихал он на вас вместе с бургомистром, — сказал Голем. — У него своих забот хватает.

— А вы ему скажите — пусть заступится. А не то я напишу разгромную статью против вашего лепрозория, как вы кровь христианских младенцев используете для лечения очковой болезни. Вы думаете, я не знаю, зачем мокрецы приваживают детишек? Они, во-первых, сосут из них кровь, а во-вторых, растлевают. Опозорю вас перед всем миром. Кровосос и растлитель под маской врача. — Виктор чокнулся с Големом и выпил. — Между прочим, я говорю серьезно. Бургомистр принуждает меня написать именно такую статью. Вам, конечно, это тоже известно.

— Нет, — сказал Голем. — Но это не существенно.

— Я вижу, вам все не существенно, — сказал Виктор. — Весь город против вас — не существенно. Вас отдают под суд — не существенно. Санинспектор Павор раздражен вашим поведением — не существенно. Модный писатель Банев тоже раздражен и готовит гневное перо — опять же не существенно. Может быть, генерал Пферд — это псевдоним господина президента?.. Кстати, этот всемогущий генерал знает, что вы — коммунист?

— А почему раздражен писатель Банев? — спокойно спросил Голем. — Только не орите так, Тэдди оборачивается.

— Тэдди — наш человек, — возразил Виктор. — Впрочем, он тоже раздражен: его заели мыши. — Он насупил брови и закурил сигарету. — Погодите, что это вы меня спрашивали... А, да. Я раздражен потому, что вы не пустили меня в лепрозорий. Все-таки я совершил благородный поступок. Пусть даже глупый, но ведь все благородные поступки глупы. И еще раньше я носил мокреца на спине.

— И дрался за него, — добавил Голем.

— Вот именно. Дрался.

— С фашистами, — сказал Голем.

— Именно с фашистами.

— А у вас пропуск есть? — спросил Голем.

— Пропуск... Вот Павора вы тоже не пускаете, и он на глазах превратился в демофоба.

— Да, Павору здесь не везет, — сказал Голем. — Вообще он способный работник, но здесь у него ничего не получается. Я все жду, когда он начнет делать глупости. Кажется, уже начинает.

Доктор Р. Квадрига поднял взлохмаченную голову и сказал:

— Крепко. Вот пойду, и там посмотрим. Дух вон. — Голова его снова со стуком упала на стол.

— А все-таки, Голем, — сказал Виктор, понизив голос. — Это правда, что вы — коммунист?

— Мне помнится, компартия у нас запрещена, — заметил Голем.

— Господи, — сказал Виктор. — А какая партия у нас разрешена? Я же не о партии спрашиваю, а о вас...

— Я, как видите, разрешен, — сказал Голем.

— В общем, как хотите, — сказал Виктор. — Мне-то все равно. Но бургомистр... Впрочем, на бургомистра вам наплевать. А вот если дознается генерал Пфферд...

— Но мы же ему не скажем, — доверительно шепнул Голем. — Зачем генералу вдаваться в такие мелочи? Знает он, что есть лепрозорий, а в лепрозории — какой-то Голем, мокрецы какие-то, ну и ладно.

— Станный генерал, — задумчиво сказал Виктор. — Генерал от лепрозория. Между прочим, с мокрецами у него, наверное, скоро будут неприятности. Я это чувствую повышенным чутьем художника. В нашем городе прямо-таки свет клином сошелся на мокрецах.

— Если бы только в городе, — сказал Голем.

— А в чем дело? Это же просто больные люди, и даже, кажется, не заразные.

— Не хитрите, Виктор. Вы прекрасно знаете, что это не просто больные люди. Они даже заразны не совсем просто.

— То есть?

— То есть Тэдди вот, например, заразиться от них не может. И бургомистр не может, не говоря уже о полицмейстере. А кто-нибудь другой — может.

— Вы, например.

Голем взял бутылку, с удовольствием посмотрел ее на свет и разлил коньяк.

— Я тоже не могу. Уже.

— А я?

— Не знаю. Вообще это — только моя гипотеза. Не обращайтесь внимания.

— Не обращаю, — грустно сказал Виктор. — А чем они еще необыкновенны?

— Чем они необыкновенны... — повторил Голем. — Вы могли сами заметить, Виктор, что все люди делятся на три большие группы. Вернее, на две большие и одну маленькую... Есть люди, которые не могут жить без прошлого, они целиком в прошлом, более или менее отдаленном. Они живут традициями, обычаями, заветами, они черпают в прошлом радость и пример. Скажем, господин президент. Что бы он делал, если бы у нас не было нашего великого прошлого? На что бы он ссылался и откуда бы он взялся вообще?.. Потом, есть люди, которые живут настоящим и знать не желают будущего и прошлого. Вот вы, например. Все представления о прошлом вам испортил господин президент, в какое бы прошлое вы ни заглянули, везде вам видится все тот же господин президент. Что же до будущего, то вы не имеете о нем ни

малейшего представления и, по-моему, боитесь иметь... И, наконец, есть люди, которые живут будущим. В заметных количествах они появились недавно. От прошлого они совершенно справедливо не ждут ничего хорошего, а настоящее для них — это только материал для построения будущего, сырье... Да они, собственно, и живут-то уже в будущем... на островках будущего, которые возникли вокруг них в настоящем... — Голем, как-то странно улыбаясь, поднял глаза к потолку. — Они умны, — проговорил он с нежностью. — Они чертовски умны — в отличие от большинства людей. Они все как на подбор талантливы, Виктор. У них странные желания и полностью отсутствуют желания обыкновенные.

— Обыкновенные желания — это, например, женщины...

— В каком-то смысле — да.

— Водка, зрелища?

— Безусловно.

— Страшная болезнь, — сказал Виктор. — Не хочу... И все равно непонятно... Ничего не понимаю. Ну, то, что умных людей сажают за колючую проволоку, — это я понимаю. Но почему их выпускают, а к ним не пускают...

— А может быть, это не они сидят за колючей проволокой, а вы сидите.

Виктор усмехнулся.

— Подождите, — сказал он. — Это еще не все непонятное. При чем здесь, например, Павор? Ну ладно, меня не пускают, я — человек посторонний. Но должен же кто-то инспектировать состояние постельного белья и отхожих мест? Может быть, у вас там антисанитарные условия.

— А если его интересуют не санитарные условия?

Виктор в замешательстве посмотрел на Голема.

— Вы опять шутите? — спросил он.

— Опять нет, — ответил Голем.

— Так он что, по-вашему, шпион?

— Шпион — слишком емкое понятие, — возразил Голем.

— Погодите, — сказал Виктор. — Давайте начистоту. Кто намотал проволоку и поставил охрану?

— Ох уж эта проволока, — вздохнул Голем. — Сколько об нее было порвано одежды, а эти солдаты постоянно болеют поносом. Вы знаете лучшее средство от поноса? Табак с портвейном... Точнее, портвейн с табаком.

— Ладно, — сказал Виктор. — Значит, генерал Пфферд. Ага... — сказал он. — И этот молодой человек с портфелем... Вот оно что! Значит, это у вас просто военная лаборатория. Понятно... А Павор, значит, не военный. По другому, значит, ведомству. Или, может быть, он шпион не наш, иностранный?

— Упаси бог! — сказал Голем с ужасом. — Этого нам еще не хватало...

— Так... А он знает, кто этот парень с портфелем?

— Думаю, да, — сказал Голем.



— А этот парень знает, кто такой Павор?

— Думаю, нет, — сказал Голем.

— Вы ему ничего не сказали?

— Какое мне дело?

— И генералу Пферду не сказали?

— И не подумал.

— Это несправедливо, — произнес Виктор. — Надо сказать.

— Слушайте, Виктор, — сказал Голем. — Я позволил вам болтать на эту тему только для того, чтобы вы испугались и не лезли в чужую кашу. Вам это совершенно ни к чему. Вы и так уже на заметке, вас могут погасить, вы даже пикнуть не успеете.

— Меня испугать нетрудно, — сказал Виктор со вздохом. — Я напуган с детства. И все-таки я никак не могу понять: что им всем нужно от мокрецов?

— Кому — им? — устало и укоризненно спросил Голем.

— Павору. Пферду. Парню с портфелем. Всем этим крокодилам.

— Господи, — сказал Голем. — Ну что в наше время нужно крокодилам от умных и талантливых людей? Я вот не понимаю, что вам от них нужно. Что вы лезете во все эти дела? Мало вам своих собственных неприятностей? Мало вам господина президента?

— Много, — согласился Виктор. — Я сыт по горло.

— Ну и прекрасно. Поезжайте в санаторий, возьмите с собой пачку бумаги... Хотите, я подарю вам пишущую машинку?

— Я пишу по старой системе, — сказал Виктор. — Как Хемингуэй.

— Вот и прекрасно. Я вам подарю огрызок карандаша. Работайте, любите Диану. Может быть, вам еще сюжет дать? Может быть, вы уже исписались?

— Сюжеты рождаются из темы, — важно сказал Виктор. — Я изучаю жизнь.

— Ради бога, — сказал Голем. — Изучайте жизнь сколько вам угодно. Только не вмешивайтесь в процессы.

— Это невозможно, — возразил Виктор. — Прибор неизбежно влияет на картину эксперимента. Разве вы забыли физику? Ведь мы наблюдаем не мир как таковой, а мир плюс воздействие наблюдателя.

— Вам уже один раз дали кастетом по черепу, а в следующий раз могут просто пристрелить.

— Ну, — сказал Виктор, — во-первых, может быть, вовсе не кастетом, а кирпичом. А во-вторых — мало ли где мне могут дать по черепу. Мне в любой момент могут подвесить, так что же теперь — из номера не выходить?

Голем покусал нижнюю губу. У него были желтые лошадиные зубы.

— Слушайте вы, прибор, — сказал он. — Вы тогда вмешались в эксперимент совершенно случайно — и немедленно получили по башке. Если теперь вы вмешаетесь сознательно...

— Я ни в какой эксперимент не вмешивался, — сказал Виктор. — Я шел себе спокойно от Лолы и вдруг вижу...

— Идиот, — сказал Голем. — Идет он себе и видит. Надо было перейти на другую сторону, ворона вы безмозглая!

— Чего это ради я буду переходить на другую сторону?

— А того ради, что один ваш хороший знакомый занимался выполнением своих прямых обязанностей, а вы туда влезли, как баран.

Виктор выпрямился.

— Какой еще хороший знакомый? Там не было ни одного знакомого.

— Знакомый подоспел сзади с кастетом. У вас есть знакомые с кастетами?

Виктор залпом допил свой коньяк. С удивительной отчетливостью он вспомнил: Павор с покрасневшим от гриппа носом вытаскивает из кармана платок, и кастет со стуком падает на пол — тяжелый, тусклый, прикладистый.

— Бросьте, — сказал Виктор и откашлялся. — Ерунда. Не мог Павор...

— Я не называл никаких имен, — возразил Голем.

Виктор положил руки на стол и оглядел свои сжатые кулаки.

— При чем здесь его обязанности? — спросил он.

— Кому-то понадобился живой мокрец, очевидно. Киднэпинг.

— А я помешал?

— Пытались помешать.

— Значит, они его все-таки схватили?

— И увезли. Скажите спасибо, что вас не прихватили — во избежание утечки информации. Их ведь судьбы литературы не занимают.

— Значит, Павор... — медленно сказал Виктор.

— Никаких имен, — напомнил Голем строго.

— Сукин сын, — сказал Виктор. — Ладно, посмотрим... А зачем им понадобился мокрец?

— Ну как — зачем? Информация... Где взять информацию? Сами знаете — проволока, солдаты, генерал Пферд...

— Значит, сейчас его там допрашивают? — проговорил Виктор.

Голем долго молчал. Потом сказал:

— Он умер.

— Забили?

— Нет. Наоборот. — Голем снова помолчал. — Они болваны. Не давали ему читать, и он умер от голода.

Виктор быстро взглянул на него. Голем печально улыбался. Или плакал от горя. Виктор вдруг почувствовал ужас и тоску, душную тоску. Свет торшера померк. Это было похоже на сердечный приступ. Виктор задохнулся и с трудом оттянул узел

галстука. Боже мой, подумал он, какая же это дрянь, какая гадость, бандит, холодный убийца... а после этого, через час, помыл руки, попрыскался духами, прикинул, какие благодарности перепадут от начальства, и сидел рядом, и чокался со мной, и улыбался мне, и говорил со мной как с товарищем, подлец, и все врал, улыбался и врал, с удовольствием врал, наслаждался, издевался надо мной, хихикал в кулак, когда я отворачивался, подмигивал сам себе, а потом сочувственно спрашивал, что у меня с головой... Словно сквозь черный туман, Виктор видел, как доктор Р. Квадрига медленно поднял голову, разинул в неслышном крике запекшийся рот и стал судорожно шарить по скатерти трясущимися руками, как слепой, и глаза у него были как у слепого, когда он вертел головой и все кричал, кричал, а Виктор ничего не слышал... И правильно, я сам дерьмо, никому не нужный, мелкий человечек, в морду меня, сапогом, и держать за руки, не давать утираться, и на кой черт я кому нужен, надо было бить крепче, чтобы не встал, а я как во сне, ватными кулаками, и, боже мой, на кой черт я живу, и на кой черт живут все, ведь это так просто, подойти сзади и ударить железом в голову, и ничего не изменится, ничего в мире не изменится, родится за тысячу километров отсюда в ту же самую секунду другой такой же ублюдок... Жирное лицо Голема обрюзгло еще сильнее и стало черным от проступившей щетины, глаза совсем заплыли, он лежал в кресле неподвижно, как бурдюк с прогорклым маслом, двигались только пальцы, когда он медленно брал рюмку за рюмкой, беззвучно отламывал ножку, ронял и снова брал, и снова ломал и ронял... И никого не люблю, не могу любить Диану, мало ли с кем я сплю, спать все умеют, но разве можно любить женщину, которая тебя не любит, а женщина не может любить, когда ты не любишь ее, и так все вертится в проклятом бесчеловечном кольце, как змея вертится, гонится за своим хвостом, как животные, спариваются и разбегаются, только животные не придумывают слов и не сочиняют стихов, а просто спариваются и разбегаются... А Тэдди плакал, поставив локти на стойку, положив костлявый подбородок на костлявые кулаки, его лысый лоб шафранно блестел под лампой, и по впалым щекам безостановочно текли слезы, и они тоже блестели под лампой... А все потому, что я — дерьмо, и никакой не писатель, какой из меня, к черту, писатель, если я не терплю писать, если писать для меня — это мучение, стыдное, неприятное занятие, что-то вроде болезненного физиологического отправления, вроде поноса, вроде выдавливания гноя из чирья, ненавижу, страшно подумать, что придется заниматься этим всю жизнь, что уже обречен, что теперь уже не отпустят, а будут требовать: давай, давай, и я буду давать, но сейчас не могу, даже думать об этом не могу, Господи, пусть я не буду об этом думать, а то меня вырвет... Бол-Кунац стоял за спиной Р. Квадриги и смотрел на часы, тоненький, мокрый, с мокрым свежим лицом, с чудными темными глазами, и от него, разрывая плотную горячую духоту, шел свежий запах — запах травы и ключевой воды, запах лилий, солнца и стрекоз над озером... И мир вернулся. Только какое-то смутное воспоминание, или ощущение, или воспоминание об ощущении метнулось за угол: чей-то отчаянный оборвавшийся крик, непонятный скрежет, звон, хруст стекла...

Виктор облизнул губы и потянулся за бутылкой. Доктор Р. Квадрига, лежа головой на скатерти, хрипло бормотал: «Ничего не нужно. Спрячьте меня. Ну их...» Голем озабоченно сметал со стола стеклянные обломки.

Бол-Кунац сказал:

— Господин Голем, простите, пожалуйста, вам письмо. — Он положил перед

Големом конверт и снова взглянул на часы. — Добрый вечер, господин Банев, — сказал он.

— Добрый вечер, — сказал Виктор, наливая себе коньяку.

Голем внимательно читал письмо. За стойкой Тэдди шумно сморкался в клетчатый носовой платок.

— Слушай, Бол-Кунац, — сказал Виктор. — Ты видел, кто меня тогда ударил?

— Нет, — ответил Бол-Кунац, поглядев ему в глаза.

— Как так — нет? — сказал Виктор, нахмурившись.

— Он стоял ко мне спиной, — объяснил Бол-Кунац.

— Ты его знаешь, — сказал Виктор. — Кто это был?

Голем издал неопределенный звук. Виктор быстро оглянулся на него. Голем, не обращая ни на кого внимания, задумчиво рвал записку на мелкие клочки. Обрывки он прятал в карман.

— Вы ошибаетесь, — сказал Бол-Кунац. — Я его не знаю.

— Банев, — пробормотал Р. Квадрига. — Я тебя прошу... Я не могу там один. Пойдем со мной... Очень жутко...

Голем поднялся, поискал пальцем в жилетном кармане, потом крикнул:

— Тэдди! Запишите на меня... и учтите, что я разбил четыре рюмки... Ну, я пошел, — сказал он Виктору. — Подумайте и примите разумное решение. Может быть, вам лучше даже уехать.

— До свидания, господин Банев, — вежливо сказал Бол-Кунац. Виктору показалось, что мальчик едва заметно отрицательно качнул головой.

— До свидания, Бол-Кунац, — сказал он. — До свидания.

Они ушли. Виктор в задумчивости допил коньяк. Подошел официант, лицо у него было опухшее, в красных пятнах. Он стал убирать со стола, и движения его были непривычно неловки и неуверенны.

— Вы здесь недавно? — спросил Виктор.

— Да, господин Банев. Сегодня с утра.

— А что же Питер? Заболел?

— Нет, господин Банев. Он уехал. Не выдержал. Я тоже, наверное, уеду...

Виктор посмотрел на Р. Квадригу.

— Отведите его потом в номер, — сказал он.

— Да, конечно, господин Банев, — ответил официант нетвердым голосом.

Виктор расплатился, прощально помахал Тэдди и вышел в вестибюль. Он поднялся на второй этаж, подошел к двери Павора, поднял руку, чтобы постучать, постоял так немного и, не постучав, снова спустился вниз. Портье за своей конторкой с изумлением рассматривал руки. Руки у него были мокрые, к ним пристали клочья волос, и волосами был обсыпан его форменный сюртук, а на лице, на обеих щеках, вспухли свежие царапины. Он посмотрел на Виктора — глаза у него были ошалелые.

Но сейчас нельзя было замечать всех этих странностей, это было бы бестактно и жестоко, и тем более нельзя было говорить об этом, необходимо было сделать вид, будто ничего не случилось, все это надо было отложить на потом, на завтра или, может быть, даже на послезавтра. Виктор спросил:

— Где остановился этот... знаете, молодой человек в очках, он всегда ходит с портфелем.

Портье замялся. Как бы в поисках выхода, он посмотрел на номерную доску с ключами, потом все-таки ответил:

— В триста двенадцатом, господин Банев.

— Спасибо, — сказал Виктор, кладя на конторку монету.

— Только они не любят, когда их беспокоят, — нерешительно предупредил портье.

— Я знаю, — сказал Виктор. — Я и не думал их беспокоить. Я просто так спросил... загадал, понимаете ли: если в четном, то все будет хорошо.

Портье бледно улыбнулся.

— Какие же у вас могут быть неприятности, господин Банев, — вежливо сказал он.

— Всякие могут быть, — вздохнул Виктор. — Большие и малые. Спокойной ночи.

Он поднялся на третий этаж, двигаясь неторопливо, нарочито неторопливо, словно бы для того, чтобы все обдумать, и взвесить, и прикинуть возможные последствия, и учесть все на три года вперед, но на самом деле думал он только о том, что ковер на лестнице давным-давно пора сменить, облез ковер, вытерся. И только уже перед тем, как постучать в дверь триста двенадцатого номера (люкс, две спальни и гостиная, телевизор, приемник первого класса, холодильник и бар), он чуть не сказал вслух: «Вы крокодилы, господа? Очень приятно. Так вы у меня будете жрать друг друга».

Стучать пришлось довольно долго: сначала деликатно, костяшками пальцев, а когда не ответили — более решительно, кулаком, а когда и на это не отреагировали — только скрипнули половицей и задышали в замочную скважину, — тогда, повернувшись задом, каблуком, уже совсем грубо.

— Кто там? — спросил наконец голос за дверью.

— Сосед, — ответил Виктор. — Откройте на минутку.

— Что вам надо?

— Мне надо сказать вам пару слов.

— Приходите утром, — сказал голос за дверью. — Мы уже спим.

— Черт бы вас подрал, — сказал Виктор, рассердившись. — Вы хотите, чтобы меня здесь увидели? Откройте, чего вы боитесь?

Щелкнул ключ, и дверь приоткрылась. В щели появился тусклый глаз долговязого профессионала. Виктор показал ему раскрытые ладони.

— Пару слов, — сказал он.

— Входите, — сказал долговязый. — Только без глупостей.

Виктор вошел в прихожую, долговязый закрыл за ним дверь и зажег свет. Прихожая была тесная, вдвоем они с трудом помещались в ней.

— Ну, говорите, — сказал долговязый. Он был в пижаме, спереди чем-то запачканной. Виктор с изумлением принюхался — от долговязого несло спиртным. Правую руку он, как и полагалось, держал в кармане.

— Мы так и будем здесь беседовать? — осведомился Виктор.

— Да.

— Нет, — сказал Виктор. — Здесь я беседовать не буду.

— Как хотите, — сказал долговязый.

— Как хотите, — сказал Виктор. — Мое дело маленькое.

Они помолчали. Долговязый, уже не скрываясь, внимательно обшаривал Виктора глазами.

— Кажется, ваша фамилия Банев? — сказал он.

— Кажется.

— Ага, — сказал долговязый хмуро. — Так какой же вы сосед? Вы живете на втором этаже.

— Сосед по гостинице, — объяснил Виктор.

— Ага... Так что вам нужно, я не пойму.

— Мне нужно кое-что вам сообщить, — сказал Виктор. — Есть кое-какая информация. Но я уже начинаю раздумывать, стоит ли.

— Ну, ладно, — сказал долговязый. — Пойдемте в ванную.

— Знаете, — сказал Виктор, — я, пожалуй, уйду.

— А почему вы не хотите в ванную? Что за капризы?

— Вы знаете, — сказал Виктор, — я раздумал. Я, пожалуй, пойду. В конце концов, это не мое дело. — Он сделал движение.

Долговязый даже закричал от раздражавших его противоречий.

— Вы, по-моему, писатель, — сказал он. — Или я вас с кем-то путаю?

— Писатель, писатель, — сказал Виктор. — До свидания.

— Да нет, погодите. Так бы сразу и сказали. Пойдемте. Вот сюда.

Они вошли в гостиную, где сплошь были портьеры — справа портьеры, слева портьеры, прямо, на огромном окне, портьеры. Огромный телевизор в углу сверкал цветным экраном, звук был выключен. В другом углу из мягкого кресла под торшером смотрел на Виктора поверх развернутой газеты очкастый молодой человек, тоже в пижаме и шлепанцах. Рядом с ним на журнальном столике возвышалась четырехугольная бутылка и сифон. Портфеля нигде не было видно.

— Добрый вечер, — сказал Виктор.

Молодой человек молча наклонил голову.

— Это ко мне, — сказал долговязый. — Не обращай внимания.

Молодой человек снова кивнул и закрылся газетой.

— Прощу сюда, — сказал долговязый. Они прошли в спальню направо, и

долговязый сел на кровать. — Вот кресло, — сказал он. — Садитесь и выкладывайте.

Виктор сел. В спальне густо пахло застоявшимся табачным дымом и офицерским одеколоном. Долговязый сидел на кровати и смотрел на Виктора, не вынимая руки из кармана. В гостиной хрустела газета.

— Ладно, — сказал Виктор. Не то чтобы ему удалось полностью преодолеть отвращение, но, раз он сюда пришел, надо было говорить. — Я примерно представляю себе, кто вы такие. Может быть, я ошибаюсь, и тогда все в порядке. Но если я не ошибаюсь, то вам полезно будет узнать, что за вами следят и стараются вам помешать.

— Предположим, — сказал долговязый. — И кто же за нами следит?

— Вами очень интересуется человек по имени Павор Сумман.

— Что? — сказал долговязый. — Санинспектор, что ли?

— Он не санинспектор. Вот, собственно, и все, что я хотел вам сказать. — Виктор встал, но долговязый не пошевелился.

— Предположим, — повторил он. — А откуда вы, собственно, все это знаете?

— Это важно? — спросил Виктор.

Некоторое время долговязый раздумывал.

— Предположим, что не важно, — произнес он.

— Ваше дело — проверить, — сказал Виктор. — А я больше ничего не знаю. До свидания.

— Да куда же вы, погодите, — сказал долговязый. Он нагнулся к туалетному столику, вытащил бутылку и стакан. — Так хотели войти и теперь уже уходите... Ничего, если из одного стакана?

— Это смотря что, — ответил Виктор и снова сел.

— Шотландское, — сказал долговязый. — Устраивает?

— Настоящее шотландское?

— Настоящий скотч. Получайте. — Он протянул Виктору стакан.

— Живут же люди, — сказал Виктор и выпил.

— Куда нам до писателей, — сказал долговязый и тоже выпил. — Вы бы все-таки рассказали толком...

— Бросьте, — сказал Виктор. — Вам за это деньги платят. Я вам назвал имя, адрес вы сами знаете, вот и займитесь. Тем более что я на самом деле ничего не знаю. Разве что... — Виктор остановился и сделал вид, что его осенило. Долговязый немедленно клюнул.

— Ну? — сказал он. — Ну?

— Я знаю, что он похитил одного мокреца и что он действовал вместе с городскими легионерами. Как его там... Фламенты... Ювенты...

— Фламин Ювента, — подсказал долговязый.

— Вот-вот.

— Насчет мокреца — это точно? — спросил долговязый.

— Да. Я пытался помешать, и господин санинспектор треснул меня кастетом по голове. А потом, пока я валялся, они увезли его на машине.

— Так-так, — произнес долговязый. — Значит, это был Сумман... Слушайте, а вы молодец, Банев! Хотите еще виски?

— Хочу, — сказал Виктор. Что бы он ни говорил себе, как бы он ни взвинчивал себя, как бы он себя ни настраивал, ему было противно. Ну и ладно, подумал он. И на том спасибо, что в доносчики я, по крайней мере, не гожусь. Никакого удовольствия, хотя они теперь и начнут жрать друг друга. Голем был прав: зря я полез в это дело... Или Голем хитрее, чем я думаю?

— Прошу, — сказал долговязый, протягивая ему полный стакан.

### Гадкие лебеди

— Который час? — сонно спросила Диана.

Виктор аккуратно снял бритвой полоску мыла с левой скулы, поглядел в зеркало, потом сказал:

— Дрыхни, малыш, дрыхни. Рано еще.

— Действительно, — сказала Диана. Диван скрипнул. — Девять часов. А ты что там делаешь?

— Бреюсь, — ответил Виктор, снимая следующую полоску мыла. — Захотелось мне вдруг побриться. Дай, думаю, побреюсь.

— Сумасшедший, — сказала Диана сквозь зевок. — Вечером надо было бриться. Всю меня исполосовал своими колючками. Кактус.

В зеркало ему было видно, как она ломающимися шагами подошла к креслу, забралась с ногами и стала смотреть на него. Виктор ей подмигнул. Опять она была другая, нежная-нежная, мягкая-мягкая, ласковая-ласковая, свернулась, как сытая кошка, ухоженная, обглаженная, благостная, — совсем не та, что ворвалась вчера к нему в номер.

— Сегодня ты похожа на кошку, — сообщил он. — И даже не на кошку — на кошечку, на кошачочку... Чего ты улыбаешься?

— Это не про тебя. Просто почему-то вспомнилось...

Она зевнула и сладко потянулась. Она тонула в пижаме Виктора, из бесформенной кучи шелка в кресле выглядывало только ее чудное лицо и тонкие руки. Как из волны. Виктор стал бриться быстрее.

— Не торопись, — сказала она. — Обрежешься. Все равно мне уже пора ехать.

— Поэтому я и тороплюсь, — возразил Виктор.

— Ну нет, я так не люблю. Так только кошки... Как там мои шмотки?

Виктор протянул руку и потрогал ее платье и чулки, развешенные на обогривательной решетке. Все высохло.

— Куда ты спешишь? — спросил он.

— Я же тебе говорила. К Росшеперу.



— Что-то я ничего не помню. Что там с Росшепером?

— Ну он же повредился, — сказала Диана.

— Ах да! — сказал Виктор. — Да-да, ты что-то говорила. Откуда-то он там вывалился. Здорово расшибся?

— Этот дурак, — сказала Диана, — решил вдруг покончить с собой и выбросился в окно. Кинулся, как бык, головой вперед, проломил раму, но забыл при этом, что находится на первом этаже. Повредил коленку, заорал, а теперь лежит.

— Что это он? — равнодушно спросил Виктор. — Белая горячка?

— Что-то вроде.

— Подожди, — сказал Виктор. — Так это ты из-за него два дня ко мне не приезжала? Из-за этого вола?

— Ну да! Главный врач мне приказал с ним сидеть, потому что он, то есть Росшепер, без меня не мог. Не мог, и все тут. Ничего не мог. Даже помочиться. Мне приходилось изображать журчание воды и рассказывать ему про писсуары.

— Что ты в этом понимаешь, — пробормотал Виктор. — Ты вот ему про писсуары излагала, а я тут мучился один, тоже ничего не мог, ни строчки не написал. Ты знаешь, я вообще не люблю писать, а последнее время... Вообще жизнь у меня последнее время... — Он остановился. Какое ей дело? — подумал он. Спарились и разбежались. — Да, слушай... Когда, ты говоришь, Росшепер сверзился?

— Третьего дня, — ответила Диана.

— Вечером?

— Угу, — сказала Диана, грызя печенье.

— В десять часов вечера, — сказал Виктор. — Между десятью и одиннадцатью.

Диана перестала жевать.

— Правильно, — сказала она. — А ты откуда знаешь? Принял его некробиотическую телепатему?

— Подожди, — сказал Виктор. — Я тебе сейчас расскажу кое-что интересное. Но сначала — а ты что делала в этот момент?

— Что я делала?.. А, да. Я в тот вечер, помнится, психанула. Мотала я бинты, и вдруг такая тоска на меня навалилась, как головная боль, хоть в петлю. Сунулась я мордой в эти бинты и реву, да как реву! — в три ручья, с детства так не редела...

— И вдруг все прошло, — сказал Виктор.

Диана задумалась.

— Да... Нет... Тут вдруг Росшепер как заорет на улице, я перепугалась и выскочила.

Она хотела сказать еще что-то, но в дверь застучали, рванули ручку, и голос Тэдди прохрипел из коридора: «Виктор! Виктор, проснись! Открой, Виктор!» Виктор замер с бритвой в руке. «Виктор! — хрипел Тэдди. — Открой!» — и бешено вертел дверную ручку. Диана вскочила и повернула ключ. Дверь распахнулась, ворвался Тэдди, мокрый, растерзанный, и в руке у него был обрез.

— Где Виктор? — хрипло рявкнул он.

Виктор вышел из ванной.

— Что такое? — спросил он. У него заколотилось сердце. Арест... Война...

— Дети ушли, — тяжело дыша, сказал Тэдди. — Собирайся, дети ушли!

— Постой, — сказал Виктор. — Какие дети?

Тэдди швырнул обрез на стол в кучу исписанной, исчерканной, измятой бумаги.

— Сманили детей, сволочи! — заорал он. — Сманили, гады! Ну, теперь все! Хватит, натерпелись... Теперь все!

Виктор еще ничего не понимал, он только видел, что Тэдди вне себя. Таким он видел Тэдди только один раз, когда во время большого скандала в ресторане у него под шумок взломали кассу. Виктор в растерянности хлопал глазами, а Диана подхватила со спинки кресла белье, проскользнула в ванную и прикрыла за собой дверь. И в этот момент резко и нервно затрещал телефон. Виктор схватил трубку. Это была Лола.

— Виктор, — заныла она. — Я ничего не понимаю, Ирма куда-то пропала, оставила записку, что никогда не вернется, а кругом говорят, что дети ушли из города... Я боюсь! Сделай что-нибудь... — Она почти плакала.

— Хорошо, хорошо, сейчас, — сказал Виктор. — Дайте штаны надеть. — Он бросил трубку и оглянулся на Тэдди. Бармен сидел на разворошенной постели и, бормоча страшные слова, сливал в стакан остатки из всех бутылок. — погоди, — сказал Виктор. — Надо без паники. Я сейчас...

Он вернулся в ванную и принялся торопливо добривать намыленный подбородок, он несколько раз порезался, ему некогда было направить бритву, а Диана тем временем выскочила из-под душа и шуршала одеждой у него за спиной, лицо у нее было жесткое и решительное, словно она готовилась к драке, но она была совершенно спокойна.

...А дети шли бесконечной серой колонной по серым размытым дорогам, шли, спотыкаясь, оскальзываясь и падая под проливным дождем, шли, согнувшись, промокшие насквозь, сжимая в посиневших лапках жалкие промокшие узелки, шли, маленькие, беспомощные, непонимающие, шли плача, шли молча, шли, оглядываясь, шли, держась за руки и за хлястики, а по сторонам дороги вышагивали мрачные черные фигуры без лиц, и на месте лиц были черные повязки, а над повязками безжалостно и холодно смотрели нечеловеческие глаза, и руки, затянутые в черные перчатки, сжимали автоматы, и дождь лил на вороненую сталь, и капли дрожали и катились по стали... Чепуха, думал Виктор, чепуха, это совсем не то, совсем не теперь, это я видел, но это было очень давно, а теперь совсем не так...

...Они уходили радостно, и дождь был для них другом, они весело шлепали по лужам горячими босыми ногами, они весело болтали, и пели, и не оглядывались, потому что уже все забыли, потому что у них было только будущее, потому что они навсегда забыли свой храпящий и сопящий предутренний город, скопище клопных нор, гнездо мелких страстишек и мелких желаний, чрево, беременное чудовищными преступлениями, непрерывно извергающее преступления и преступные намерения, как муравьиная матка непрерывно извергает яйца, они ушли, щебеча и болтая, и скрылись в тумане, пока мы, пьяные, захлебывались спертым воздухом, поражаемые погаными

кошмарами, которых они никогда не видели и никогда не увидят...

Он надевал брюки, прыгая на одной ноге, когда стекла задребезжали, и густой механический рев проник в комнату. Тэдди опрометью бросился к окну, и Виктор тоже подбежал к окну, но за окном был все тот же дождь, пустая мокрая улица, и только кто-то проехал на велосипеде, мокрый брезентовый мешок, натужнодвигающий ногами. А стекла продолжали дребезжать и позвякивать, и низкий тоскливый рев продолжался, а минуту спустя к нему присоединились отрывистые жалобные гудки.

— Пошли, — сказала Диана. Она была уже в плаще.

— Нет, погоди, — сказал Тэдди. — Виктор, оружие у тебя есть? Пистолет какой-нибудь, автомат... Есть?

Виктор не ответил, схватил свой плащ, и они втроем сбежали по лестнице в вестибюль, совсем уже пустой, без швейцара и портье. Казалось, в гостинице не осталось ни одного человека, только в ресторане за столом сидел Р. Квадрига, недоуменно крутя головой и, видимо, давно уже дожидаясь завтрака. Они выскочили на улицу и влезли в грузовик Дианы — все трое в кабину. Диана села за руль, и они понеслись по городу. Диана молчала, Виктор курил, стараясь собраться с мыслями, а Тэдди все продолжал вполголоса изрыгать невероятную брань, и даже Виктор не понимал значения многих слов, потому что такие слова мог знать только Тэдди — приютская крыса, воспитанник портовых трущоб, а потом спекулянт наркотиками, а потом вышибала в публичном доме, а потом солдат похоронной команды, а потом бандит и мародер, а потом бармен, бармен, бармен и опять бармен.

В городе людей почти не было видно, только на углу Солнечной Диана остановилась, чтобы взять в кузов растерянную супружескую пару. Низкий рев сирены ПВО и писклявые заводские гудки не прекращались, и было что-то апокалиптическое в этом стоне механических голосов над безлюдным городом. Все сжималось внутри, хотелось куда-то бежать и то ли прятаться, то ли стрелять, и даже «Братья по разуму» на стадионе гоняли мяч без обычного энтузиазма, а некоторые из них, разинув рты, оглядывались по сторонам, как бы пытаясь что-то уразуметь.

На шоссе за окраиной люди стали попадаться все чаще и чаще. Некоторые шли пешком, захлебываясь в дожде, жалкие, перепуганные, плохо соображающие, что они делают и зачем. Другие катили на велосипедах и тоже уже выдохлись, потому что ехать приходилось против ветра. Несколько раз грузовик проехал мимо брошенных автомобилей, поломавшихся или впопыхах не заправленных, а один автомобиль съехал в кювет. Диана останавливалась и подбирала всех подряд, и скоро кузов оказался набит до отказа. Виктор с Тэдди тоже перебрались в кузов, уступив места женщине с грудным младенцем и какой-то полусумасшедшей старухе. Потом места не осталось и в кузове, и Диана уже больше не останавливалась, и грузовик мчался вперед, заливая потоками воды и обгоняя десятки и сотни людей, тащившихся к лепрозорию. Несколько раз грузовик обгоняли легковые машины, набитые людьми, мотоциклисты, и еще один грузовик догнал их и пристроился сзади.

Диана привыкла возить коньяк для Росшепера или гонять пустую машину по окрестностям для собственного удовольствия, поэтому в кузове было страшно. Сесть все не могли, не было места, и стоявшие цеплялись друг за друга и за головы сидевших, и каждый старался пробраться вглубь, подальше от бортов, и никто ничего

не говорил — все только пыхтели и ругались, а одна женщина непрерывно плакала в голос. И шел дождь — такой, какого Виктор не видел никогда в жизни, он даже не представлял себе, что на свете бывают такие дожди — сплошной тропический ливень, но не теплый, а ледяной, пополам с градом, и сильный ветер нес его косо навстречу движению. Видимость была отвратительная — пятнадцать метров вперед и пятнадцать назад, и Виктор очень боялся, что Диана вдобавок ко всему сшибет кого-нибудь на шоссе или врежется в затормозившую машину. Но все обошлось благополучно, и Виктору только сильно отдавили ногу, когда все в кузове повалились друг на друга в последний раз и грузовик занесло боком перед громадным скоплением машин у ворот лепрозория.

Наверное, весь город собрался здесь. Здесь не было дождя, и казалось, что город прибежал сюда, спасаясь от потопа. Вправо и влево от шоссе, на сколько хватал глаз, вдоль колючей изгороди растянулась тысячная толпа, в которой тонули разбросанные, стоящие кое-как пустые автомобили — роскошные длинные лимузины, потрепанные легковушки с брезентовым верхом, грузовики, автобусы и даже один автокран, на стреле которого сидело несколько человек. Над толпой висел глухой гул, иногда раздавались пронзительные выкрики.

Все попрыгали из кузова, и Виктор сразу потерял из виду Диану и Тэдди, вокруг были только незнакомые лица, мрачные, ожесточенные, недоумевающие, плачущие, кричащие, с закаченными в обмороке глазами, оскаленные... Виктор попытался пробиться к воротам, но через несколько шагов безнадежно увяз. Люди стояли плотной стеной, никто не желал уступать своего места, их можно было толкать, пинать, бить, они даже не оборачивались, они только втягивали головы в плечи и все старались просунуться вперед, вперед, ближе к воротам, ближе к своим детям, они вставали на цыпочки, они тянули шеи, и ничего не было видно за колышавшейся массой капюшонов и шляп.

— Господи, за что? В чем согрешили мы, господи?

— Сволочи! Давно надо было вырезать. Говорили же умные люди...

— А где бургомистр? Какого черта он делает? Где полиция? Где все эти толстобрюхие?

— Сим, меня сейчас задавят... Сим, задыхаюсь! Ох, Сим...

— В чем отказывали? Чего для них жалели? От себя кусок отрывали, ходили босьяками, лишь бы их одеть-обуть...

— Напереть всем разом — и ворота к черту...

— Да я его в жизни пальцем не тронула. Я видела, как вы своего-то ремнем гоняете, а у нас дома и в помине такого не было...

— Видал пулеметы? Это что же, в народ стрелять? За своих-то детей?

— Муничка! Муничка! Муничка! Муничка мой! Муничка!

— Да что это, господи? Это же безумие какое-то! Где это видано?

— Ничего, легионеры им покажут... Они с тылу, понял? Ворота откроют, тут мы и поднапррем...

— А ты пулеметы видел? То-то и оно...

— Пустите меня! Да пустите же вы меня! У меня же дочка там!

— Они давно собирались, я уж видела, да боязно было спрашивать.

— А может, и ничего? Что же они, звери, что ли? Это же не оккупанты все-таки, не на расстрел же их повели, не в печи...

— В кр-р-ровь, зубами рвать буду!..

— Да-а, видно, совсем уж мы дерьмом сделались, если родные дети от нас к заразам ушли... Брось, сами они ушли, сами, никто их не гнал насильно, брось...

— Эй, у кого ружья есть? Выходи! У кого ружья есть, говорю? Выходи ко мне, давай сюда, вот он я!

— Это мои дети, господин хороший, я их породил, и я ими распоряжаться буду как пожелаю!

— Да где же полиция, господи!..

— Надо телеграмму господину президенту! Пять тысяч подписей — это вам не шутка!..

— Женщину задавили! Подвинься, говорю, сволочь! Не видишь?

— Муничек мой! Муничка! Муничка!

— Хрен от этих петиций толку. У нас петиций не любят. Дадут этой петицией тебе же и по мозгам...

— Открывай ворота, так вашу перетак!.. Мокрецы паршивые! Гады!

— Ворота!

— Ворота отворяй!

Виктор полез назад. Это было трудно, несколько раз его ударили, но он все-таки вырвался, пробился к грузовику и снова забрался в кузов. Над лепрозорием стоял туман, в десятке метров от изгороди по ту сторону ничего уже не было видно. Ворота были плотно закрыты, перед ними оставалось пустое пространство, и в этом пространстве стояли, расставив ноги, направив в толпу автоматы, человек десять солдат внутренней службы в касках, надвинутых на глаза. На крыльце караульной будки, вставая от напряжения на носки, надсаживаясь, что-то кричал офицер, но его не было слышно. Над крышей караульной будки, словно громадная этажерка, возвышалась в тумане деревянная башня, на верхней ее площадке стоял пулемет и копошились люди в сером. Потом там, за проволокой, еле слышно позвякивая железом, прокатился вдоль ограды полугусеничный броневик, подпрыгнул несколько раз на кочках и скрылся в тумане. При виде броневика толпа притихла, так что даже стали слышны насадные вопли офицера («...спокойствие... имею приказ... по домам...»), затем снова загудела, заворчала, заревела.

Перед воротами возникло движение. Среди темных, синих, серых плащей и накидок засверкали знакомые до тошноты медные шлемы и золотые рубашки. Они возникали в толпе, как пятна света, продирались в пустое пространство и там сливались в желто-золотую массу. Здоровенные парни в золотых рубахах до колен, перепоясанные армейскими офицерскими ремнями с тяжелыми пряжками, в начищенных медных касках, из-за которых легионеров звали попросту пожарниками, с

короткими массивными дубинками, и каждый заляпан эмблемами Легиона — эмблема на пряжке, эмблема на левом рукаве, эмблема на груди, эмблема на дубинке, эмблема на каске, эмблема на морде, пробу ставить некуда, на спортивной мускулистой морде с волчьими глазами... и значки, созвездия значков, значок Отличного Стрелка, и Отличного Парашютиста, и Отличного Подводника, и еще значки с портретом господина президента, и его зятя, основателя Легиона, и его сына, обер-шефа Легиона... и у каждого в кармане бомба со слезоточивым газом, и если хоть один из этих болванов в порыве хулиганского энтузиазма бросит такую бомбу — ударит пулемет на вышке, ударят пулеметы броневика, ударят автоматы солдат, и все ведь по толпе, по толпе, а не по золотым рубашкам. Легионеры строились в шеренгу перед солдатами, вдоль шеренги, размахивая дубинкой, носился Фламин Ювента, племянничек, и Виктор уже начал в отчаянии озираться, не зная, что делать, но тут офицеру вынесли из караулки мегафон, и офицер страшно обрадовался, даже заулыбался, и взревел громовым голосом; но он успел прореветь только: «Прошу внимания! Прошу собравшихся...» — а затем мегафон, видимо, опять испортился, офицер, бледнея, подул в раструб, а Фламин Ювента, приготовившийся было слушать, принялся с удвоенным усердием бегать и размахивать, и вдруг толпа грозно загудела — казалось, закричали все разом, и те, кто уже кричал раньше, и те, которые раньше молчали, или просто переговаривались, или плакали, или молились, и Виктор тоже закричал, не помня себя от ужаса при мысли о том, что сейчас произойдет. «Уберите болванов! — кричал он. — Уберите пожарников! Это смерть! Не надо! Диана!» Неизвестно, кто и что кричал в толпе, но сама толпа, до сих пор неподвижная, стала равномерно колыхаться, как гигантское блюдо студня, и офицер, белый, в красных пятнах, уронив мегафон, попятился к дверям караулки, а лица солдат под касками ощерились и остервенели, а наверху, на башне, больше никто не шевелился, там замерли и целились. И тут раздался Голос.

Он был как гром, он шел со всех сторон сразу, и он сразу покрыл все остальные звуки. Он был спокоен, даже меланхоличен, какая-то безмерная скука слышалась в нем, безмерная снисходительность, словно говорил кто-то огромный, презрительный, высокомерный, стоя спиной к надоевшей толпе, говорил через плечо, оторвавшись на минуту от важных забот ради этой раздражившей его наконец пустяковины.

— Да перестаньте вы кричать, — сказал Голос. — Перестаньте размахивать руками и угрожать. Неужели так трудно прекратить болтовню и несколько минут спокойно подумать? Вы же прекрасно знаете, что дети ваши ушли от вас по собственному желанию, никто их не принуждал, никто не тащил за шиворот. Они ушли потому, что вы им стали окончательно неприятны. Не хотят они больше жить так, как живете вы и жили ваши предки. Вы очень любите подражать своим предкам и полагаете это человеческим достоинством, а они — нет. Не хотят они вырасти пьяницами и развратниками, мелкими людишками, рабами, конформистами, не хотят, чтобы из них сделали преступников, не хотят ваших семей и вашего государства.

Голос на минуту смолк. И целую минуту не было слышно ни звука — только какой-то шорох, словно это туман шуршал, проползая над землей. Потом Голос заговорил снова:

— Вы можете быть совершенно спокойны за своих детей. Им будет хорошо — лучше, чем с вами, и много лучше, чем вам самим. Сегодня они не могут принять вас, но с завтрашнего дня — приходите. В Лошадиной Лощине будет оборудован Дом

встречи, после пятнадцати часов приходите хоть каждый день. Каждый день в четырнадцать тридцать от городской площади будут отходить три больших автобуса. Этого будет мало, во всяком случае — завтра, пусть ваш бургомистр позаботится о добавочном транспорте.

Голос снова помолчал. Толпа стояла неподвижной стеной. Люди словно боялись пошевелиться.

— Только имейте в виду, — продолжил Голос. — От вас самих зависит, захотят ли дети встречаться с вами. В первые дни мы еще сможем заставить детей приходиться на свидания, даже если им этого не захочется, но потом... смотрите сами... А теперь расходитесь. Вы мешаєте и нам, и детям, и себе. И очень вам советую: подумайте, попытайтесь подумать, что вы можете дать детям. Поглядите на себя. Вы родили их на свет и калечите их по своему образу и подобию. Подумайте об этом, а теперь расходитесь.

Толпа оставалась неподвижной. Может быть, она пыталась думать. Виктор пытался. Это были отрывочные мысли. И не мысли даже, а просто обрывки воспоминаний, куски каких-то разговоров, глупое раскрашенное лицо Лолы... А может быть, лучше аборт? Зачем это нам сейчас... Отец с дрожащими от ярости губами... Я из тебя сделаю человека, щенок паршивый, я с тебя всю шкуру спущу... У меня объявилась дочка двенадцати лет, не можешь ли ты ее куда-нибудь прилично пристроить?... Ирма с любопытством смотрит на расхлюстанного Росшепера... не на Росшепера, а на меня... мне, пожалуй, стыдно, но что она понимает, соплячка? Брысь на место!.. Вот тебе кукла, хорошая кукла?.. Тебе еще рано, вырастешь — узнаешь...

— Ну, что же вы стоите? — сказал громовой Голос. — Расходитесь!

Налетел тугой холодный ветер, ударил в лицо и затих.

— Идите же, — сказал Голос.

И снова налетел ветер, уже совсем плотный, как тяжелая мокрая ладонь — уперлась в лицо, толкнула и убралась. Виктор вытер щеки и увидел, что толпа попятилась. Кто-то вскрикнул громко, раздались возгласы, звучавшие неуверенно, вокруг автомобилей и автобусов возникли словно бы небольшие водовороты. В кузов грузовика полезли со всех сторон, и все заторопились, отталкивая друг друга, лезли в дверцы машин, нетерпеливо растаскивали сцепившиеся рулями велосипеды, затрещали двигатели, а многие уходили пешком, часто оглядываясь назад, но не на автоматчиков, не на пулемет на башне, не на броневик, который подкатил с железным лязгом и встал с раскрытыми люками у всех на виду... Виктор знал, почему они оборачиваются и почему они торопятся, у него горели щеки, и если он чего-нибудь сейчас боялся, так это что Голос снова скажет: «Идите!» — и снова тяжелая мокрая ладонь брезгливо толкнет его в лицо.

Кучка дураков в золотых рубахах все еще нерешительно топталась перед воротами, но их уже стало меньше, а к оставшимся подошел офицер и рявкнул на них, внушительный, уверенный, исполняющий приятный долг, и они тоже попятились, потом повернулись и побрели прочь, подбирая на ходу брошенные на землю серые, синие, темные плащи, и вот уже золотых пятен не осталось ни одного, а мимо катили автобусы, легковые машины, и люди в кузове, вокруг Виктора, встревоженно и нетерпеливо озираясь, спрашивали друг друга: «А где же водитель?»

Потом откуда-то вынырнула Диана, Диана Свирепая, поднялась на подножку, поглядела в кузов, крикнула сердито: «Только до перекрестка! Машина идет в санаторий!» — и никто не осмелился возразить, все были на редкость тихие и на все согласные. Тэдди так и не появился — должно быть, сел в другую машину. Диана развернула грузовик, и они поехали по знакомой бетонке, обгоняя кучки пешеходов и велосипедистов, а их обгоняли перегруженные легковые машины, грузно приседающие на амортизаторах. Дождя не было, только туман и мелкая изморось. Дождь пошел уже тогда, когда Диана подвела грузовик к перекрестку, и люди вылезли из кузова, а Виктор пересел в кабину.

Они молчали до самого санатория.

Диана сразу ушла к Росшеперу — так она по крайней мере сказала, — а Виктор, сбросив плащ, рухнул на кровать в своей комнате, закурил и уставился в потолок. Может быть, час, а может быть, два он беспрерывно курил, ворочался, вставал, ходил по комнате, бессмысленно выглядывал в окно, задегивал и снова раздвигал портьеры, пил воду из-под крана, потому что его мучила жажда, и снова валялся на кровать.

...Унижение, думал он. Да, конечно. Надавали пощечин, назвали подонком, прогнали, как надоевшего попрошайку, но все-таки это были отцы и матери, все-таки они любили своих детенышей, били их, но готовы были отдать за них жизни, развращали их своим примером, но ведь не специально же, а по невежеству... матери рожали их в муках, а отцы кормили их и одевали, и они ведь гордились своими детьми и хвастались друг перед другом, проклинали их зачастую, но не представляли себе жизни без них... и ведь сейчас действительно жизнь их совсем опустела, вообще уж ничего у них не осталось. Так разве же можно с ними так жестоко, так презрительно, так холодно, так разумно, и еще надавать на прощание по морде...

...Неужели же, черт возьми, гадко все, что в человеке от животного? Даже материнство, даже улыбка мадонн, их ласковые мягкие руки, подносящие младенцу грудь... Да, конечно, инстинкт, и целая религия, построенная на инстинкте... наверное, вся беда в том, что эту религию пытаются распространять и дальше, на воспитание, где никакие инстинкты уже не работают, а если и работают, то только во вред... потому что волчица говорит своим волчатам: «Кусайте, как я», и этого достаточно, и зайчиха учит зайчат: «Удирайте, как я», и этого тоже достаточно, но человек-то учит детеныша: «Думай, как я», а это уже — преступление... Ну, а эти-то как — мокрецы, заразы, гады, кто угодно, только не люди, по меньшей мере сверхлюди, — эти-то как? Сначала: «Посмотри, как думали до тебя, посмотри, что из этого получилось, это плохо, потому что то-то и то-то, а должно быть так-то и так-то. Посмотрел? А теперь начинай думать сам, думай, как сделать, чтобы не было того-то и того-то, а получилось так-то и так-то». Только я не знаю, что это за «то-то» и что это за «так-то», и вообще все это уже было, все это уже пробовали, получались отдельные хорошие люди, но главная масса перла по старой дороге, никуда не сворачивая, по-нашему, по-простому... Да и как ему воспитывать своего детеныша, когда отец его не воспитывал, а натаскивал: «Кусай, как я, и прячься, как я», — и так же натаскивал его отца его дед, а деда — прадед, и так до глубин пещер, до волосатых копыеносцев, пожирателей мамонтов. Я-то их жалею, этих безволосых потомков, жалею их, потому что жалею самого себя, но им-то... им-то наплевать, им мы вообще не нужны, и не собираются они нас перевоспитывать, не собираются они даже взрывать старый мир, нет им дела до старого мира, у них свои дела, и от старого мира они требуют только



одного — чтобы к ним не лезли. Теперь это стало возможно, теперь можно торговать идеями, теперь есть могущественные покупатели идей, и они будут охранять тебя, весь мир загонят за колючую проволоку, чтобы не мешал тебе старый мир, будут кормить тебя, будут тебя холить... будут самым предупредительным образом точить топор, которым ты рубишь тот самый сук, на котором они восседают, сверкая шитьем и орденами.

...И черт возьми, это по-своему грандиозно — все уже пробовали, только этого не пробовали: холодное воспитание, без розовых соплей, без слез... хотя что это я мелю, откуда я знаю, что у них там за воспитание... но все равно — жестокость, презрение, это же видно... Ничего у них не получится, потому что, ну ладно — разум, думайте, учитесь, анализируйте, — а как же руки матери, ласковые руки, которые снимают боль и делают мир теплым? И колючая щетина отца, который играет в войну и в тигра, и учит боксу, и самый сильный, и знает больше всех на свете? Ведь это же тоже было! Не только же визгливые (или тихие) свары родителей, не только ремень и пьяное бормотание, не только же беспорядочное обрывание ушей, сменяющееся внезапно и непонятно судорожным одарением конфетами и медью на кино... Да откуда я знаю — быть может, у них есть эквивалент всему хорошему, что существует в материнстве и отцовстве... Как Ирма смотрела на того мокреца!.. Каким же это нужно быть, чтобы на тебя так смотрели... И, уж во всяком случае, ни Бол-Кунац, ни Ирма, ни прыщавый нигилист-обличитель никогда не наденут золотых рубашек, а разве этого мало? Да черт возьми — мне от людей больше ничего и не надо!..

...Подожди, сказал он себе. Найди главное. Ты за них или против? Бывает еще третий выход: наплевать. Но мне не наплевать. Ах, как бы я хотел быть циником, как легко, просто и роскошно жить циником!.. Ведь надо же — всю жизнь из меня делают циника, стараются, тратят гигантские средства, тратят пули, цветы красноречия, бумагу, не жалеют кулаков, не жалеют людей, ничего не жалеют, только бы я стал циником, — а я никак... Ну, хорошо, хорошо. Все-таки: за или против? Конечно, против, потому что не терплю пренебрежения, ненавижу всяческую элиту, ненавижу всяческую нетерпимость и не люблю, ох как не люблю, когда меня бьют по морде и прогоняют вон... И я — за, потому что люблю людей умных, талантливых, и ненавижу дураков, ненавижу тупиц, ненавижу золотые рубашки, фашистов ненавижу, и ясно, конечно, что так я ничего не определю, я слишком мало знаю о них, а из того, что знаю, из того, что видел сам, в глаза бросается скорее плохое — жестокость, презрительность, нечеловечность, физическое уродство, наконец... И вот что получается: за них — Диана, которую я люблю, и Голем, которого я люблю, и Ирма, которую я люблю, и Бол-Кунац, и прыщавый нигилист... а кто против? Бургомистр против, старая сволочь, фашист и демагог, и полицмейстер, продажная шкура, и Росшепер Нант, и дура Лола, и шайка золотых рубашек, и Павор... Правда, с другой стороны — за них долговязый профессионал, а также некий генерал Пферд (не терплю генералов), а против — Тэдди и, наверное, еще много таких, как Тэдди... Да, тут большинством голосов ничего не решишь. Это что-то вроде свободных демократических выборов: большинство всегда за сволочь...

Часа в два пришла Диана, Диана Веселая Обыкновенная, в туго перетянutom белом халате, подмазанная и причесанная.

— Как работа? — спросила она.

— Горю, — ответил он. — Сгораю, светя другим.

— Да, дыму много. Ты бы хоть окно открыл... Лопать хочешь?

— Черт возьми, да! — сказал Виктор. Он вспомнил, что не завтракал.

— Тогда, черт возьми, пошли!

Они спустились в столовую. За длинными столами чинно и молча хлебали диетический суп «Братья по разуму», черные от физической усталости. Обтянутый синим свитером толстый тренер ходил у них за спинами, хлопал по плечам, ерошил им волосы и внимательно заглядывал в тарелки.

— Я тебя сейчас познакомлю с одним человеком, — сказала Диана. — Он будет с нами обедать.

— Кто таков? — с неудовольствием осведомился Виктор. Ему хотелось помолчать за едой.

— Мой муж, — сказала Диана. — Мой бывший муж.

— Ага, — произнес Виктор. — Ага. Что ж... Очень приятно.

И чего это ей вздумалось, подумал он уныло. И кому это нужно? Он жалобно взглянул на Диану, но она уже быстро вела его к служебному столику в дальнем углу. Муж поднялся им навстречу — желтолицый, горбоносый, в темном костюме и в черных перчатках. Руки он Виктору не подал, а просто поклонился и негромко сказал:

— Здравствуйте, рад вас видеть.

— Банев, — представился Виктор с фальшивой сердечностью, которая всегда нападала на него при виде мужей.

— Мы, собственно, уже знакомы, — сказал муж. — Я Зурзматор.

— Ах, да! — воскликнул Виктор. — Ну, конечно! У меня, должен вам сказать, память... — Он замолчал. — Погодите, — сказал он. — Какой Зурзматор?

— Павел Зурзматор. Вы меня, вероятно, читали, а недавно даже весьма энергично вступились за меня в ресторане. Кроме того, мы еще в одном месте встречались, тоже при несчастных обстоятельствах... Давайте сядем.

Виктор сел. Ну, хорошо, подумал он. Пусть. Значит, без повязки они такие. Кто бы мог подумать? Пардон, а где же его «очки»? У Зурзматора — он же почему-то муж Дианы, он же горбоносый танцор, играющий танцора, который играет танцора, который на самом деле мокрец, или даже сразу четыре мокреца, или даже пять, считая с ресторанным, — не было у Зурзматора «очков», будто они расплылись по всему лицу и окрасили кожу в желтоватый латиноамериканский цвет. А Диана со странной, какой-то материнской улыбкой смотрела то на него, то на своего мужа. И это было неприятно. Виктор почувствовал что-то вроде ревности, которой раньше никогда не ощущал, имея дело с мужьями. Официантка принесла суп.

— Ирма передает вам привет, — сказал Зурзматор, разламывая кусочек хлеба. — Просит не беспокоиться.

— Спасибо, — отозвался Виктор машинально. Он взял ложку и принялся есть, не чувствуя вкуса. Зурзматор тоже ел, поглядывая на Виктора исподлобья — без улыбки, но с каким-то юмористическим выражением. Перчаток он не снял, но в том, как он орудовал ложкой, как изящно ломал хлеб, как пользовался салфеткой,

чувствовалось хорошее воспитание.

— Значит, вы все-таки тот самый Зурзмансор, — произнес Виктор. — Философ...

— Боюсь, что нет, — сказал Зурзмансор, промакивая губы салфеткой. — Боюсь, что к тому знаменитому философу я имею теперь весьма отдаленное отношение.

Виктор не нашелся что ответить и решил подождать с беседой. В конце концов, не я инициатор встречи, мое дело маленькое, он меня хотел увидеть, пусть он и начинает... Принесли второе. Внимательно следя за собой, Виктор принялся резать мясо. За длинными столами дружно и простодушно чавкали «Братья по разуму», гремя ножами и вилками. А ведь я здесь дурак дураком, подумал Виктор. Братец по разуму. Она ведь, наверное, до сих пор его любит. Он заболел, пришлось им расстаться, а она не захотела расстаться, иначе зачем бы она поперлась в эту дыру выносить горшки за Росшепером... И они часто видятся, он пробирается в санаторий, снимает повязку и танцует с ней. Он вспомнил, как они танцевали, — шерочка с машерочкой... Все равно. Она его любит. А мне какое дело? А ведь есть какое-то дело. Что уж там — есть. Только — что есть? Они отобрали у меня дочь, но я ревную к ним дочь не как отец. Они отобрали у меня женщину, но я ревную к нему Диану не как мужчина... О, черт, какие слова! Отобрали женщину, отобрали дочь... Дочь, которая увидела меня впервые за двенадцать лет жизни... или ей уже тринадцать? Женщину, которую я знаю считанные дни... Но, заметьте, ревную — и притом не как отец и не как мужчина. Да, было бы гораздо проще, если бы он сейчас сказал: «Милостивый государь, мне все известно, вы запятнали мою честь, как насчет сатисфакции?»

— Как продвигается работа над статьей? — спросил Зурзмансор.

Виктор угрюмо посмотрел на него. Нет, это была не насмешка. И не светский вопрос, чтобы завязать беседу. Этому мокрецу, кажется, действительно было любопытно узнать, как продвигается работа над статьей.

— Никак, — сказал Виктор.

— Было бы любопытно прочесть, — сообщил Зурзмансор.

— А вы знаете, что это должна быть за статья?

— Да, представляем. Но ведь вы такую писать не станете.

— А если меня вынудят? Меня генерал Пфферд защищать не станет.

— Видите ли, — сказал Зурзмансор, — статья, которую ждет господин бургомистр, у вас все равно не получится. Даже если вы будете очень стараться. Существуют люди, которые автоматически, независимо от своих желаний трансформируют по-своему любое задание, которое им дается. Вы относитесь к таким людям.

— Это хорошо или плохо? — спросил Виктор.

— С нашей точки зрения — хорошо. О человеческой личности очень мало известно, если не считать той ее составляющей, которая представляет собой набор рефлексов. Правда, массовая личность почти ничего больше в себе и не содержит. Поэтому особенно ценны так называемые творческие личности, перерабатывающие информацию о действительности индивидуально. Сравнивая известное и хорошо изученное явление с отражением этого явления в творчестве этой личности, мы можем многое узнать о психическом аппарате, перерабатывающем информацию.

— А вам не кажется, что это звучит оскорбительно? — сказал Виктор.

Зурзмансор, странно искривив лицо, посмотрел на него.

— А, понимаю, — сказал он. — Творец, а не подопытный кролик... Но, видите ли, я изложил вам только одно обстоятельство, сообщая вам ценность в наших глазах. Другие обстоятельства общеизвестны, это правдивая информация об объективной действительности, машина эмоций, средство возбуждения фантазии, удовлетворение потребности в сопереживании... Собственно, я хотел вам польстить.

— В таком случае я польщен, — сказал Виктор. — Однако все эти разговоры к написанию пасквилей никакого отношения не имеют. Берется последняя речь господина президента и переписывается целиком, причем слова «враги свободы» заменяются словами «так называемые мокрецы», или «пациенты кровавого доктора», или «вурдалаки из лепрозория»... так что мой психический аппарат участвовать в этом деле не будет.

— Это вам только кажется, — возразил Зурзмансор. — Вы прочтете эту речь и прежде всего обнаружите, что она безобразна. Стилистически безобразна, я имею в виду. Вы начнете исправлять стиль, приметесь искать более точные выражения, заработает фантазия, замутит от затхлых слов, захочется сделать слова живыми, заменить казенное вранье животрепещущими фактами, и вы сами не заметите, как начнете писать правду.

— Может быть, — сказал Виктор. — Во всяком случае, писать эту статью мне сейчас не хочется.

— А что-нибудь другое — хочется?

— Да, — сказал Виктор, глядя Зурзмансору в глаза, — я бы с удовольствием написал, как дети ушли из города. Нового гаммельнского крысолова.

Зурзмансор удовлетворенно кивнул.

— Прекрасная мысль. Напишите.

Напишите, подумал Виктор с горечью. Мать твою так, а кто это напечатает? Ты, что ли, это напечатает?

— Диана, — сказал он. — А нельзя здесь что-нибудь выпить?

Диана молча поднялась и ушла.

— И еще я с удовольствием написал бы про обреченный город, — сказал Виктор. — И про непонятную возню вокруг лепрозория. И про злых волшебников.

— У вас нет денег? — спросил Зурзмансор.

— Пока есть.

— Имейте в виду, вы, по-видимому, станете лауреатом литературной премии лепрозория за прошлый год. Вы вышли в последний тур вместе с Тусовым, но у Тусова шансов меньше, это очевидно. Так что деньги у вас будут.

— Н-да, — сказал Виктор. — Такого со мной еще не бывало. И много денег?

— Тысячи три... Не помню точно.

Вернулась Диана и все так же молча поставила на стол бутылку и один стакан.

— Еще стакан, — попросил Виктор.

— Я не буду, — сказал Зурзматор.

— Я, собственно... Гм...

— Я тоже не буду, — сказала Диана.

— Это за «Беду»? — спросил Виктор, наливая.

— Да. И за «Кошку». Так что месяца на три вы будете обеспечены. Или меньше?

— Месяца на два, — сказал Виктор. — Но не в этом дело... Вот что: я хотел бы побывать у вас в лепрозории.

— Обязательно, — сказал Зурзматор. — Премию вам будут вручать именно там. Только вы разочаруетесь. Чудес не будет. Будет выходной день. Десяток домиков, лечебный корпус...

— Лечебный корпус, — повторил Виктор. — И кого же у вас там лечат?

— Людей, — сказал Зурзматор со странной интонацией. Он усмехнулся, и вдруг что-то страшное произошло с его лицом. Правый глаз опустел и съехал к подбородку, рот стал треугольным, а левая щека вместе с ухом отделилась от черепа и повисла. Это длилось одно мгновение. Диана уронила тарелку, Виктор машинально оглянулся, а когда снова уставился на Зурзматора, тот уже был прежний — желтый и вежливый. Тьфу, тьфу, тьфу, мысленно сказал Виктор. Изыди, нечистый дух!.. Или показалось? Он торопливо вытащил пачку сигарет, закурил и стал смотреть в стакан. «Братья по разуму» с большим шумом поднялись из-за столов и побрели к выходу, зычно перекликаясь. Зурзматор сказал:

— Вообще мы хотели бы, чтобы вы чувствовали себя спокойно. Вам не надо ничего бояться. Вы, наверное, догадываетесь, что наша организация занимает определенное положение и пользуется определенными привилегиями. Мы многое делаем, и за это нам многое разрешается. Разрешаются опыты над климатом, разрешается подготовка нашей смены... и так далее. Не стоит об этом распространяться... Некоторые господа воображают, будто мы работаем на них, ну а мы их не разубеждаем. — Он помолчал. — Пишите о чем хотите и как хотите, Банев, не обращайтесь на псов лающих. Если у вас будут трудности с издательствами или денежные затруднения, мы вас поддержим. В крайнем случае мы будем издавать вас сами. Для себя, конечно. Так что ваши миноги будут вам обеспечены.

Виктор выпил и покачал головой.

— Ясно, — сказал он. — Опять меня покупают.

— Если угодно, — сказал Зурзматор. — Главное, чтобы вы осознали: есть контингент читателей, пусть пока не очень многочисленный, который весьма заинтересован в вашей работе. Вы нам нужны, Банев. Причем вы нам нужны такой, какой вы есть. Нам не нужен Банев — наш сторонник и наш певец, поэтому не ломайте себе голову, на чьей вы стороне. Будьте на своей стороне, как и полагается всякой творческой личности. Вот и все, что нам от вас нужно.

— Оч-чень, оч-чень льготные условия, — сказал Виктор. — Карт-бланш и штабеля маринованных миног в перспективе. В перспективе и в горчичном соусе. И какая вдова ему б молвила «нет»?.. Слушайте, Зурзматор, а вам приходилось когда-нибудь

продавать душу и перо?

— Да, конечно, — сказал Зурзматор. — И вы знаете, платили безобразно мало. Но это было тысячу лет назад и на другой планете. — Он снова помолчал. — Вы не правы, Банев, — сказал он. — Мы не покупаем вас. Мы просто хотим, чтобы вы оставались самим собой, мы опасаемся, что вас сомнут. Ведь многих уже смяли... Моральные ценности не продаются, Банев. Их можно разрушить, купить их нельзя. Каждая данная моральная ценность нужна только одной стороне, красть или покупать ее не имеет смысла. Господин президент воображает, что купил живописца Р. Квадригу. Это ошибка. Он купил халтурщика Р. Квадригу, а живописец протек у него между пальцами и умер. А мы не хотим, чтобы писатель Банев протек между чьими-то пальцами, пусть даже нашими, и умер. Нам нужны художники, а не пропагандисты.

Он встал. Виктор тоже поднялся, ощущая неловкость, и гордость, и недоверие, и унижение, разочарование, и ответственность, и еще что-то, в чем он пока не мог разобраться.

— Было очень приятно побеседовать, — сказал Зурзматор. — Желаю успешной работы.

— До свидания, — сказал Виктор.

Зурзматор коротко поклонился и ушел, вскинув голову, широко и твердо шагая. Виктор смотрел ему вслед.

— Вот за это я тебя и люблю, — сказала Диана.

Виктор рухнул на стул и потянулся к бутылке.

— За что? — рассеянно спросил он.

— За то, что ты им нужен. За то, что ты, кобель, пьяница, неряха, скандалист, подонок, все-таки нужен таким людям.

Она перегнулась через стол и поцеловала его в щеку. Это была еще одна Диана — Диана Влюбленная — с огромными сухими глазами, Мария из Магдалы, Диана, Смотрящая Снизу Вверх.

— Подумаешь, — пробормотал Виктор. — Интеллектуалы... Новые калифы на час.

Однако это были только слова. На самом деле все было не так просто.

Виктор вернулся в гостиницу на следующий день после завтрака. На прощание Диана сунула ему в руки берестяной туесок: Росшеперу прислали из столичных оранжерей полпуда клубники, и Диана здраво рассудила, что Росшеперу, при всей его аномальной прозорливости, с такой массой ягоды в одиночку не управиться.

Мрачный швейцар отворил перед Виктором дверь, Виктор угостил его клубникой, швейцар взял несколько ягод, положил их в рот, пожевал, как хлеб, и сказал:

— Щенок-то мой, оказывается, заводилой у них был.

— Ну что уж вы так, — сказал Виктор. — Он славный парнишка. Умница, и воспитан хорошо.

— Так уж драл я его! — сказал швейцар, приободрившись. — Старался... — Он снова помрачнел. — Соседи заедаются, — сообщил он. — А я что? Я и не знал

ничего...

— Плюньте на соседей, — посоветовал Виктор. — Это же они от зависти. Мальчишка у вас — прелесть. Я, например, очень рад, что моя дочка с ним дружит.

— Ха! — сказал швейцар, снова приободрившись. — Так, может, еще породнимся?

— А что же, — сказал Виктор. — Очень даже может быть. — Он представил себе Бол-Кунаца. — Отчего же...

Посмеялись по этому поводу, пошутили.

— Стрельбы вчера не слышали? — спросил швейцар.

— Нет, — сказал Виктор, насторожившись. — А что?

— А так получилось, — сказал швейцар, — что, значит, когда мы все оттуда разошлись, кое-кто, значит, не разошелся, подобрались-таки отчаянные головы, разрезали проволоку и — внутрь. А по ним из пулеметов.

— Вот черт, — сказал Виктор.

— Сам я не видел, — сказал швейцар. — Люди рассказывают. — Он осторожно огляделся по сторонам, поманил к себе Виктора и сказал ему шепотом на ухо: — Тэдди наш там оказался, подранили его. Но ничего, обошлось. Дома сейчас отлеживается.

— Обидно, — пробормотал Виктор, расстроившись.

Он угостил клубникой портье, взял ключ и поднялся к себе. Не раздеваясь, набрал номер Тэдди. Сноха Тэдди сообщила, что все, в общем, ничего, прострелили ему мякоть, лежит на животе, ругается и сосет водку. Сама же она нынче собирается в Дом встречи проведать сына. Виктор попросил передать Тэдди привет, пообещал зайти и повесил трубку. Надо было еще позвонить Лоле, но он представил себе этот разговор, упреки, вскрики, и звонить не стал. Снял плащ, поглядел на клубнику, спустился на кухню и выпросил бутылочку сливок. Когда он вернулся, в номере сидел Павор.

— Добрый день, — сказал Павор, ослепительно улыбаясь.

Виктор подошел к столу, высыпал клубнику в полоскательницу, залил сливками, засыпал сахарным песком и сел.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте, — сказал он мрачно. — Что скажете?

Смотреть на Павора ему не хотелось. Во-первых, Павор был сволочь, а во-вторых, неприятно, оказывается, смотреть на человека, на которого ты донес. Даже если он и сволочь, даже если ты донес из самых безукоризненных соображений.

— Слушайте, Виктор, — сказал Павор. — Я готов извиниться. Мы оба вели себя глупо, но я — в особенности. Это все от служебных неприятностей. Искренне прошу извинения. Мне было бы чертовски неприятно, если бы мы с вами рассорились из-за такой ерунды.

Виктор помешал ложечкой в клубнике со сливками и стал есть.

— Ей-богу, до того мне в последнее время не везет, — продолжал Павор, — весь мир обругал бы. И ни сочувствия тебе ни от кого, ни поддержки, бургомистр этот, скотина, завлек меня в грязную историю...

— Господин Сумман, — сказал Виктор. — Перестаньте ваньку валять. Притворяться вы умеете хорошо, но я, к счастью, вас раскусил, и наблюдать ваши артистические таланты не доставляет мне никакого удовольствия. Не портите мне аппетита, ступайте себе.

— Виктор, — произнес Павор укоризненно. — Мы же взрослые люди. Нельзя же придавать столько значения застольной болтовне. Неужели вы вообразили, будто я действительно исповедую ту чушь, которую молот? Мигрень, неприятности, насморк... Ну что вы хотите от человека?

— Я хотел бы, чтобы человек не бил меня со спины кастетом по черепу, — объяснил Виктор. — А если уж бьет — бывают обстоятельства, — то чтобы не разыгрывал потом друга-приятеля.

— Ах, вот вы о чем, — сказал Павор задумчиво. Лицо у него словно осунулось. — Слушайте, Виктор, я вам все объясню. Это была чистая случайность. Я понятия не имел, что это вы. И потом... Вы же сами говорите, что бывают обстоятельства.

— Господин Сумман, — сказал Виктор, облизывая ложку. — Я всегда недолюбливал людей вашей профессии. Одного я даже застрелил — он был очень смелый в штабе, когда обвинял офицеров в нелояльности, но когда его послали на передовую... В общем, убирайтесь.

Однако Павор не убрался. Он закурил сигарету, положил ногу на ногу и откинулся в кресле. Ну, понятно — здоровенный мужик, и каратэ, наверное, знает, и кастет у него есть... Хорошо бы разозлиться сейчас... Что он, в самом деле, мне лакомство портит...

— Я вижу, вы много знаете, — сказал Павор. — Это плохо. Я имею в виду — для вас. Ну, ладно. Во всяком случае, вы не знаете, что я самым искренним образом уважаю вас и люблю. Ну, не дергайтесь и не делайте вид, что вас тошнит. Я говорю серьезно. Я с удовольствием готов выразить сожаление по поводу инцидента с кастетом. Я даже признаюсь вам, что знал, кого бью, но мне ничего не оставалось делать. За углом валяется один свидетель, теперь вы приперлись... В общем, единственное, на что я мог тогда пойти, это треснуть вас по возможности деликатно, что я и сделал. Приношу самые искренние извинения.

Павор сделал аристократический жест. Виктор смотрел на него с каким-то даже любопытством. Что-то в этой ситуации было свежее, неиспытанное и труднопредставимое.

— Однако извиняться за то, что я — работник известного вам департамента, — продолжал Павор, — я не могу, да и не хочу, в общем-то. Не воображайте, пожалуйста, будто у нас там собрались сплошные душителы вольной мысли и подонки-карьеристы. Да, я — контрразведчик. Да, работа у меня грязная. Только работа всегда грязная, чистой работы не бывает. Вы в своих романах изливаете подсознание, либидо свое пресловутое, ну а я — по-другому... Подробности я вам рассказывать не могу, но вы, наверное, сами обо всем догадываетесь. Да, слежу за лепрозорием, ненавижу этих мокрых тварей, боюсь их — и не только за себя боюсь, за всех людей боюсь, которые хоть чего-то стоят. За вас, например. Вы же ни черта не понимаете. Вы — вольный художник, эмоционал, ах, ох, — и все разговоры. А речь идет о судьбе системы. Если угодно — о судьбе человечества. Вот вы ругаете



господина президента — диктатор, тиран, дурак... А надвигается такая диктатура, какая вам, вольным художникам, и не снилась. Я давеча в ресторане много чепухи наговорил, но главное зерно у меня было верное: человек — животное анархическое, и анархия его сожрет, если система не будет достаточно жесткой. Так вот ваши любезные мокрецы обещают такую жестокость, что места для обыкновенного человека уже не останется. Вы этого не понимаете. Вы думаете, что если человек цитирует Зурзмансора или Гегеля, то это — о! А такой человек смотрит на вас и видит кучу дерьма, ему вас не жалко, потому что вы и по Гегелю дерьмо, и по Зурзмансору тоже дерьмо. Дерьмо по определению. А что за границами этого определения — его не интересует. Господин президент по прирожденной своей ограниченности — ну, облает вас, ну, в крайнем случае, прикажет посадить, а потом к празднику амнистирует от полноты чувств и еще обедать к себе пригласит. А Зурзмансор поглядит на вас в лупу, проклассифицирует: дерьмо собачье, никуда не годное, — и вдумчиво, от большого ума, от всеобщей философии смахнет грязной тряпкой в мусорное ведро и забудет о том, что вы когда-то были...

Виктор даже есть перестал. Странное было зрелище, неожиданное. Павор волновался, губы у него подергивались, от лица отлила кровь, он даже задыхался. Он явно верил в то, что говорил, в глазах у него ужасом застыло видение страшного мира. Ну-ну, сказал себе Виктор предостерегающе. Это же враг, мерзавец. Он же актер, он же тебя покупает за ломаный грошик... Он вдруг понял, что насильно отталкивается от Павора. Это же чиновник, не забывай. У него по определению не может быть идейных соображений: начальство приказало — вот он и работает, за компот. Прикажут ему защищать мокрецов — будет защищать. Знаю я эту сволочь, видывал...

Павор взял себя в руки и улыбнулся.

— Я знаю, что вы думаете, — сказал он. — По вашей физиономии видно, как вы пытаетесь угадать: чего ко мне этот тип пристал, что ему от меня нужно. А вот представьте себе, ничего мне от вас не нужно. Искренне хочу предостеречь вас, искренне хочу, чтобы вы разобрались, чтоб вы выбрали правильную сторону... — Он болезненно оскалился. — Не хочу, чтобы вы стали предателем человечества. Потом спохватитесь — да поздно будет... Я уже не говорю о том, что вам вообще нужно отсюда убираться, я и пришел-то к вам, чтобы настоять на этом. Сейчас наступают тяжелые времена, у начальства приступ служебного рвения, кое-кому намекнули, что, мол, плохо работаете, господа, порядка нет... Но это — ладно, это чепуха, об этом мы еще поговорим. Я хочу, чтобы вы в главном разобрались. А главное — это не то, что будет завтра. Завтра они еще будут сидеть у себя за проволокой под охраной этих кретинов... — Он опять оскалился. — А вот пройдет десяток лет...

Виктор так и не узнал, что произойдет через десяток лет. Дверь номера открылась без стука, и вошли двое в одинаковых серых плащах, и Виктор сразу понял, кто это. У него привычно екнуло внутри, и он покорно поднялся, чувствуя тошноту и бессилие. Но ему сказали: «Сядьте», а Павору сказали: «Встаньте».

— Павор Сумман, вы арестованы.

Павор белый, даже какой-то синевато-белый, как обрат, поднялся и хрипло сказал:

— Ордер.

Ему дали посмотреть какую-то бумагу и, пока он глядел в нее невидящими

глазами, взяли под локти, вывели и затворили за собой дверь. Виктор остался сидеть, весь обмякнув, глядя в полоскательницу и повторяя про себя: пусть жрут друг друга, пусть жрут друг друга... Он все ждал, что на улице зашумит машина, стукнут дверцы, но так ничего и не дождался. Тогда он закурил и, чувствуя, что не может больше сидеть здесь, чувствуя, что нужно с кем-то поговорить, как-то рассеяться или по крайней мере выпить с кем-нибудь водки, вышел в коридор. Интересно, откуда они узнали, что он у меня. Нет, совсем не интересно. Ничего интересного в этом нет... На лестничной клетке маячил долговязый профессионал. Было так непривычно видеть его одного, что Виктор огляделся — и точно: в углу на диване сидел молодой человек с портфелем и разворачивал газету.

— А, вот он сам, — сказал долговязый. Молодой человек посмотрел на Виктора, поднялся и принялся складывать газету. — Я как раз к вам, — сказал долговязый. — Но раз уж так получилось, пойдете к нам, там даже спокойнее.

Виктору было все равно куда идти, и он покорно поплелся на третий этаж. Долговязый долго отпирал дверь триста двенадцатого номера. У него была целая связка ключей, и он, кажется, перепробовал их все. Тем временем Виктор и молодой человек в очках стояли рядом, и у молодого человека было скучающее выражение на лице, а Виктор думал, что будет, если дать ему сейчас по башке, выхватить портфель и помчаться по коридору. Потом они вошли в номер, и молодой человек сейчас же ушел в спальню налево, а долговязый сказал Виктору: «Одну минуточку» — и удалился в спальню направо. Виктор присел на стол красного дерева и стал водить пальцем по шершавым кругам, оставленным на полированной поверхности стаканами и рюмками. Кругов этих было множество, со столом не церемонились и не смотрели, что он из красного дерева, на него клали горящие сигареты и по крайней мере один раз стряхнули авторучку. Потом из своей спальни снова вышел молодой человек, на этот раз без портфеля и без пиджака, в домашних шлепанцах, с газетой в одной руке и с полным стаканом в другой. Он сел в свое кресло под торшером, и сейчас же из своей спальни появился долговязый с подносом, который он тут же поставил на стол. На подносе стояла початая бутылка скотча, стакан, и лежала большая квадратная коробочка, обтянутая синим сафьяном.

— Сначала формальности, — сказал долговязый. — Хотя нет, подождите, сначала второй стакан. — Он огляделся, взял с письменного столика стаканчик для карандашей, заглянул в него, подул и поставил на поднос. — Итак, формальности, — сказал он.

Он выпрямился, опустил руки по швам и строго выкатил глаза. Молодой человек отложил газету и тоже встал, скучающе глядя в стену. Тогда Виктор тоже поднялся.

— Виктор Банев! — провозгласил долговязый казенно-возвышенным голосом. — Милостивый государь! От имени и по специальному повелению господина президента я имею вручить вам медаль «Серебряный Трилистник Второй Степени» в награду за особые услуги, оказанные вами департаменту, который я удостоен чести здесь представлять!

Он раскрыл синюю коробку, торжественно извлек из нее медаль на белой муаровой ленточке и принялся прищипливать ее к груди Виктора. Молодой человек разразился вежливыми аплодисментами. Потом долговязый вручил Виктору удостоверение и коробку, пожал Виктору руку, отступил на шаг, полюбовался и тоже похлопал в

ладоши. Виктор, чувствуя себя идиотом, тоже похлопал.

— А теперь это надо обмыть, — сказал долговязый.

Все сели. Долговязый разлил виски и взял себе стаканчик для карандашей.

— За кавалера «Трилистника»! — провозгласил он.

Все снова встали, обменялись улыбками, выпили и снова сели. Молодой человек в очках тут же взял газету и закрылся ею.

— Третья степень у вас, кажется, была, — сказал долговязый. — Теперь вам еще первую, и будете полным кавалером. Бесплатный проезд и все такое. За что третью схватили?

— Не помню, — сказал Виктор. — Было там что-то такое, убил, наверное, кого-нибудь... А, помню. Это за Китчинганский плацдарм.

— О! — сказал долговязый и снова разлил виски. — А я вот не воевал. Не успел.

— Вам повезло, — сказал Виктор. Они выпили. — Между нами говоря, не понимаю, за что мне дали эту штуку.

— Я же сказал: за особые услуги.

— За Суммана, что ли? — произнес Виктор, горестно усмехаясь.

— Бросьте! — сказал долговязый. — Вы же важная персона, вы же там, в кругах... — Он неопределенно помахал пальцем возле уха.

— В каких там кругах... — сказал Виктор.

— Знаем, знаем! — лукаво закричал долговязый. — Все знаем! Генерал Пферд, генерал Пукки, полковник Бамбарха... Вы — молодец.

— В первый раз слышу, — сказал Виктор нервно.

— Начал это дело полковник. Никто, сами понимаете, не возражал — еще бы! Ну, а потом генерал Пферд был на докладе у президента и сунул ему представление на вас. — Долговязый засмеялся. — Потеха, говорят, была. Старик заорал: «Какой Банев? Куплетист? Ни за что!» Но генерал ему эдак сурово: надо, ваше высокопревосходительство! В общем, обошлось. Старик растрогался, ладно, говорит, прощаю... Что там у вас с ним получилось?

— Да так, — неохотно сказал Виктор. — О литературе поспорили.

— Вы действительно пишете книжки? — спросил долговязый.

— Да. Как полковник Лоуренс.

— И прилично платят?

— Ком си, ком са.

— Надо будет и мне попробовать, — сказал долговязый. — Времени вот только свободного все нет. То одно, то другое...

— Да, времени нет, — согласился Виктор. При каждом движении медаль покачивалась и стучала по ребрам. От нее было ощущение, как от горчичника. Хотелось снять, и тогда сразу полегчает. — Вы знаете, я пойду, — сказал он, поднимаясь. — Время.

Долговязый тотчас вскочил.

— Конечно, — сказал он.

— До свидания.

— Честь имею, — сказал долговязый. Молодой человек в очках приспустил газету и поклонился.

Виктор вышел в коридор и сейчас же содрал с себя медаль. У него было сильное желание бросить ее в урну, но он удержался и сунул ее в карман. Он спустился вниз на кухню, взял бутылку джину, а когда шел обратно, портье окликнул его:

— Господин Банев, вам звонил господин бургомистр. В номере вас не было, и я...

— Что ему нужно? — угрюмо спросил Виктор.

— Он просил, чтобы вы ему немедленно позвонили. Вы сейчас к себе? Если он позвонит еще раз...

— Пошлите его в задницу, — сказал Виктор. — Я сейчас выключу у себя телефон, и если он будет звонить вам, то так и передайте: господин Банев, кавалер «Трилистника Второй Степени», посылает-де вас, господин бургомистр, в задницу.

Он заперся в номере, выключил телефон и еще зачем-то прикрыл его подушкой. Потом он сел за стол, налил джину и, не разбавляя, выпил залпом целый стакан. Джин обжег глотку и пищевод. Тогда он схватил ложку и стал жрать клубнику в сливках, не замечая вкуса, не замечая, что делает. Хватит, хватит с меня, думал он. Не нужно мне ничего, ни орденов, ни гонораров, ни подачек ваших, не нужно мне вашего внимания, ни злобы вашей, ни любви вашей, оставьте меня одного, я по горло сыт самим собой, и не впутывайте меня в ваши истории... Он охватил голову руками, чтобы не видеть перед собой бело-синего лица Павора и этих бесцветных безжалостных морд в одинаковых плащах. Генерал Пферд с вами, генерал Баттокс, генерал Аршманн с вашими орденосными объятями, и Зурзмандор с отклеивающимся ликом... Он все пытался понять, на что это похоже. Высосал еще полстакана и понял, что, корчась, прячется на дне траншеи, а под ним ворочается земля, целые геологические пласты, гигантские массы гранита, базальта, лавы выгибают друг друга, стена от напряжения, вспучиваются, выпячиваются и между делом, походя, выдавливают его наверх, все выше, выжимают его из траншеи, выпирают над бруствером, а времена тяжелые, у властей приступ служебного рвения, намекнули кому-то, что плохо-де работаете, а он — вот он, над бруствером, голенький, глаза руками зажал, а весь на виду. Лечь бы на дно, думал он. Лечь бы на самое дно, чтобы не слышали и не видели. Лечь бы на дно, как подводная лодка, думал он, и кто-то подсказал ему: чтоб не могли запеленговать. Да-да, лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. И никому не давать о себе знать. Нет меня, нет. Молчу. Разбирайтесь сами. Господи, почему я никак не могу сделаться циником?... Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, твердил он, и позывных не передавать. Он уже почувствовал ритм, и сразу заработало: сыт я по горло, до подбородка... и не хочу ни пить, ни писать... Он налил джину и выпил. Я не хочу ни петь, ни писать... ох, надоело петь и писать... Где банджо, подумал он. Куда я сунул банджо? Он полез под кровать и вытащил банджо. А мне на вас плевать, подумал он. Ох, до какой степени мне наплевать! Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Он ритмично бил по струнам, и в этом ритме сначала стол, потом

вся комната, а потом весь мир пошел притопывать и поводить плечами. Все генералы и полковники, все мокрые люди с отваливающимися лицами, все департаменты безопасности, все президенты и Павор Сумман, которому выкручивали руки и били по морде... Сыт я по горло, до подбородка, даже от песен стал уставать... не стал уставать, уже устал, но «стал уставать» — это хорошо, а значит, это так и есть... лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Подводная лодка... горькая водка... а также молодка, а также наводка, а лагерь — не тетка... вот как, вот как...

В дверь уже давно стучали, все громче и громче, и Виктор, наконец, услышал, но не испугался, потому что это был не *тот* стук. Обыкновенный радующий стук мирного человека, который злится, что ему не открывают. Виктор открыл дверь. Это был Голем.

— Веселитесь? — сказал он. — Павора арестовали.

— Знаю, знаю, — сказал Виктор весело. — Садитесь, слушайте...

Голем не сел, но Виктор все равно ударил по струнам и запел:

Сыт я по горло, до подбородка,  
Даже от песен стал уставать.  
Лечь бы на дно, как подводная лодка,  
Чтоб не могли запеленговать...

— Дальше я еще не сочинил, — крикнул он. — Дальше будет водка... молодка... лагерь — не тетка... А потом — слушайте:

Не помогают ни девки, ни водка,  
С водки — похмелье, а с девок — что взять?  
Лечь бы на дно, как подводная лодка,  
И позывных не передавать...  
Сыт я по горло, сыт я по глотку,  
О-о-ох, надоело пить и играть!  
Лечь бы на дно, как подводная лодка,  
Чтоб не могли запеленговать...<sup>4</sup>

— Все! — крикнул он и швырнул банджо на кровать. Он почувствовал огромное облегчение, как будто что-то изменилось, как будто он стал вдруг очень нужен там, над бруствером, на виду у всех, — оторвал руки от зажмуренных глаз и оглядел серое грязное поле, ржавую колючую проволоку, серые мешки, которые раньше были людьми, нудное, бесчестное действие, которое раньше было жизнью, и со всех сторон над бруствером поднялись люди и тоже огляделись, и кто-то снял палец со спускового крючка...

— Завидую, — сказал Голем. — Но не пора ли вам засесть за статью?

— И не подумаю, — сказал Виктор. — Вы меня не знаете, Голем, — я на всех плевал. Да садитесь же, черт возьми! Я пьян, и вы тоже напейтесь! Снимайте плащ... Снимайте, я вам говорю! — заорал он. — И садитесь! Вот стакан, пейте! Вы ничего не понимаете, Голем, хоть вы и пророк. И я вам не позволю. Не понимать — это моя прерогатива. В этом мире все слишком уж хорошо понимают, что должно быть, что есть и что будет, и большая нехватка в людях, которые не понимают. Вы думаете,

почему я представляю ценность? Только потому, что я не понимаю. Передо мной разворачивают перспективы — а я говорю: нет, непонятно. Меня оболванивают теориями, предельно простыми, — а я говорю: нет, ничего не понимаю... Вот поэтому я нужен... Хотите клубники? Хотя я все съел. Тогда закурим...

Он встал и прошелся по комнате. Голем со стаканом в руке следил за ним, не поворачивая головы.

— Это удивительный парадокс, Голем. Было время, когда я все понимал. Мне было шестнадцать лет, я был старшим рыцарем Легиона и абсолютно все понимал, и я был никому не нужен! В одной драке мне проломили голову, я месяц пролежал в больнице, и все шло своим чередом: Легион победно двигался вперед без меня, господин президент неумолимо становился господином президентом — и опять же без меня. Все прекрасно обходились без меня. Потом то же самое повторилось на войне. Я офицерил, хватал ордена и при этом, естественно, все понимал. Мне прострелили грудь, я угодил в госпиталь, и что же, кто-нибудь побеспокоился, заинтересовался, где Банев, куда делся наш Банев, наш храбрый, все понимающий Банев? Да ни хрена подобного!.. А вот когда я перестал понимать что бы то ни было — о, тогда все переменялось. Все газеты заметили меня. Куча департаментов заметила меня. Господин президент — лично удостоил... А? Вы представляете, какая это редкость — непонимающий человек! Его знают, о нем пекутся генералы и покой... э-э... полковники, он позарез нужен мокрецам, его почитают личностью, кошмар! За что? А за то, господа, что он ничего не понимает. — Виктор сел. — Я здорово пьян? — спросил он.

— Не без, — сказал Голем. — Но это не важно, продолжайте.

Виктор развел руки.

— Все, — сказал он виновато. — Я иссяк... Может быть, вам спеть?

— Спойте, — согласился Голем.

Виктор взял банджо и стал петь. Он спел «Мы храбрые ребята», потом «Урановые люди», потом «Про пастуха, которому бык выбодал один глаз и который поэтому нарушил государственную границу», потом «Сыт я по горло», потом «Равнодушный город», потом про правду и ложь, потом снова «Сыт я по горло», потом затынул государственный гимн на мотив «Ах, какие ножки у нее», но забыл слова, перепутал строфы и отложил банджо.

— Опять иссяк, — сказал он грустно. — Так, говорите, Павора арестовали? А я это знаю. Он сидел как раз у меня, где вы сидите... А вы знаете, что он хотел сказать, но не успел? Что через десять лет мокрецы овладеют земным шаром и всех нас передавят. Как вы полагаете?

— Вряд ли, — сказал Голем. — Зачем нас давить? Мы сами друг друга передавим.

— А мокрецы?

— Может быть, они не дадут нам передавить друг друга... Трудно сказать.

— А может быть, помогут? — сказал Виктор с пьяным смехом. — А то ведь мы даже давить не умеем как следует. Десять тысяч лет давим и все никак не передавим... Слушайте, Голем, а зачем вы мне вразили, что вы их лечите? Никакие они не больные, они все здоровые, как мы с вами, только желтые почему-то...

— Гм, — произнес Голем. — Откуда у вас такие сведения? Я этого не знал.

— Ладно-ладно, больше вы меня не обманете. Я говорил с Зузр... с Зу... с Зурзмансором. Он мне все рассказал: секретный институт... обмотались повязками в целях сохранения... Вы знаете, Голем, они там у вас воображают, будто смогут вертеть генералом Пффердом до бесконечности. А на самом деле — калифы на час. Сожрет он их вместе с повязками и с перчатками, когда проголодается... Фу, черт, как пьян — все плывет...

Но он немного лукавил. Он хорошо видел перед собой толстое сизое лицо и маленькие, непривычно внимательные глазки.

— И Зурзмансор сказал вам, что он здоров?

— Да, — сказал Виктор. — Впрочем, не помню... Скорее всего, нет. Но видно же.

Голем поскреб подбородок краем стакана.

— Жалко, что вы пьяны, — сказал он. — Впрочем, может быть, это хорошо. У меня сегодня настроение. Хотите, я расскажу вам все, что догадываюсь и думаю о мокрецах?

— Валяйте, — согласился Виктор. — Только больше не врите.

— Очковая болезнь, — сказал Голем, — это очень любопытная штука. Вы знаете, кого поражает очковая болезнь? — Он замолчал. — Нет, не буду я вам ничего рассказывать.

— Бросьте, — сказал Виктор. — Вы уже начали.

— Ну и дурак, что начал, — возразил Голем. Он посмотрел на Виктора и ухмыльнулся. — Задавайте вопросы, — сказал он. — Если вопросы будут глупые, я на них с удовольствием отвечу... Давайте, давайте, а то я опять раздумаю.

В дверь постучали.

— Идите к черту! — гаркнул Виктор. — Я занят!

— Простите, господин Банев, — сказал робкий голос портье. — Вам звонит ваша супруга.

— Вранье! У меня нет никакой супруги... Впрочем, пардон. Я забыл. Ладно, я ей сейчас позвоню, спасибо. — Он схватил стакан, налил до краев, сунул Голему и сказал: — Пейте и ни о чем не думайте. Я сейчас.

Он включил телефон и набрал номер Лолы. Лола говорила очень сухо: извини, что помешала, но я собираюсь ехать к Ирме, не соблаговолишь ли ты присоединиться.

— Нет, — сказал Виктор. — Не соблаговолю. Я занят.

— Все-таки это твоя дочь! Неужели ты опустился до такой степени...

— Я занят! — рявкнул Виктор.

— Тебя не волнует, что с твоей дочерью?

— Перестань валять дурака, — сказал Виктор. — Ты, кажется, хотела избавиться от Ирмы. Ты избавилась. Чего тебе еще нужно?

Лола принялась плакать.

— Перестань, — сказал Виктор, морщась. — Ирме там хорошо. Лучше, чем в самом лучшем пансионе. Поезжай и убедись сама.

— Грубая, бездушная, эгоистическая свинья, — объявила Лола и повесила трубку. Виктор шепотом выругался, снова выключил телефон и вернулся к столу.

— Слушайте, Голем, — сказал он. — Что вы там делаете с моими детьми? Если вы там готовите себе смену, то я не согласен.

— Какую смену?

— Ну, какую... Вот я и спрашиваю: какую?

— Насколько мне известно, — сказал Голем, — дети очень довольны.

— Мало ли что... Я и без вас знаю, что они довольны. Но что они там делают?

— А разве они вам не говорили?

— Кто?

— Дети.

— Как они мне могли говорить, если я здесь, а они там?

— Они строят новый мир, — сказал Голем.

— А... Да, это они мне говорили. Но это же так, философия... Что вы мне опять врете, Голем? Какой может быть новый мир за колючей проволокой? Новый мир под командованием генерала Пферда!.. А если они там заразятся?

— Чем? — спросил Голем.

— Очковой болезнью, естественно!

— В шестой раз повторяю вам, что генетические болезни не заразны.

— В шестой, в шестой... — проворчал Виктор, потеряв нить. — А что это такое вообще — очковая болезнь? Что от нее болит? Или, может быть, это секрет?

— Нет, это везде опубликовано.

— Ну, расскажите, — сказал Виктор. — Только без терминов.

— Сначала — изменения кожи. Прыщи, волдыри, особенно на руках и ногах... иногда — гнойные язвы...

— Слушайте, Голем, а это вообще важно?

— Для чего?

— Для сути.

— Для сути — нет, — сказал Голем. — Я думал, вам это интересно.

— Я хочу понять суть! — сказал Виктор проникновенно.

— А сути вы не поймете, — сказал Голем, слегка повысив голос.

— Почему?

— Во-первых, потому что вы пьяны...

— Это еще не причина, — сказал Виктор.

— А во-вторых, потому что это вообще невозможно объяснить.



— Так не бывает, — заявил Виктор. — Вы просто не хотите говорить. Но я на вас не в обиде. Подписка, разглашение, военный трибунал... Павора вот забрали... Бог с вами. Я только не понимаю, почему ребенок должен строить новый мир в лепрозории. Другого места не нашлось?

— Не нашлось, — ответил Голем. — В лепрозории живут архитекторы. И подрядчики.

— С автоматами, — сказал Виктор. — Видел. Ничего не понимаю. Кто-то из вас врёт. Либо вы, либо Зурзмансор.

— Конечно, Зурзмансор, — хладнокровно сказал Голем.

— А может быть, вы оба врете. А я вам обоим верю, потому что есть в вас что-то... Вы мне только скажите, Голем, чего они хотят? Только честно.

— Счастья, — сказал Голем.

— Для кого? Для себя?

— Не только.

— А за чей счет?

— Для них этот вопрос не имеет смысла, — медленно сказал Голем. — За счет травы, за счет облаков, за счет текучей воды... за счет звезд.

— Совсем как мы, — сказал Виктор.

— Ну нет, — возразил Голем. — Совсем не так.

— Почему? Мы тоже...

— Нет, потому что мы вытаптываем траву, рассеиваем облака, тормозим воду... Вы меня поняли слишком буквально, а это аналогия.

— Не понимаю, — сказал Виктор.

— Я вас предупреждал. Я сам многое не понимаю, но я догадываюсь.

— А есть кто-нибудь, кто понимает?

— Не знаю. Вряд ли. Может быть, дети... Но даже если они и понимают, то по-своему. Очень по-своему.

Виктор взял банджо и потрогал струны. Пальцы не слушались. Он положил банджо на стол.

— Голем, — сказал он. — Вот вы — коммунист. Какого черта вы делаете в лепрозории? Почему вы не на митинге? Почему не на баррикаде? Москва вас не похвалит.

— Я — архитектор, — спокойно сказал Голем.

— Какой вы архитектор, если вы ни черта не понимаете? И вообще, чего вы меня водите за нос? Мы с вами час бьемся, а что вы мне сказали? Жрете мой джин и напускаете туману. Стыдно, Голем. И врете бесперечь.

— Ну уж и бесперечь, — сказал Голем. — Хотя не без этого. Не бывает у них гнойных язв.

— Дайте сюда стакан, — сказал Виктор. — Уже напились. — Он плеснул из

бутылки и выпил. — Черт вас разберет, Голем. Ну зачем вам это? Что это за игры? Если можете рассказать — рассказывайте, а если это тайна — нечего было начинать.

— Это очень просто объясняется, — благодушно сказал Голем, вытягивая ноги. — Я же пророк, вы сами меня так обзывали. А пророки все в таком положении: знают они много, и рассказать им хочется — поделиться с приятным собеседником, похвастаться для придания себе веса. А когда начинают рассказывать, появляется этакое ощущение неудобства, неловкости... Вот они и зуммерят, как Господь Бог, когда его спросили насчет камня.

— Как угодно, — сказал Виктор. — Поеду в лепрозорий и узнаю все без вас. Ну, расскажите еще что-нибудь...

Он с интересом следил, как отнимаются руки и ноги, и думал, что хорошо бы выпить еще стакан для комплекта и завалиться спать, а потом проснуться и поехать к Диане. Все получится не так уж плохо. И вообще все не так плохо. Он представил себе, как споет Диане про подводную лодку, и ему стало совсем хорошо. Он взял мокрое весло, которое лежало на корме, и оттолкнулся от берега, и лодка сразу же закачалась. Никакого дождя не было, облаков не было, был красный закат, и он поплыл прямо на закат, и весла срывались с вершушек волн. Лечь бы на дно... И он бы лег, но было неловко, потому что над ухом лениво гудел голос Голема:

— ...Они очень молоды, у них все впереди, а у нас впереди — только они. Конечно, человек овладеет Вселенной, но это будет не краснощекий богатырь с мышцами, и, конечно, человек справится с самим собой, но только сначала он изменит себя... Природа не обманывает, она выполняет свои обещания, но не так, как мы думали, и зачастую не так, как нам хотелось бы...

Зурзмансор, который сидел на носу лодки, повернул голову, и стало видно, что у него нет лица, лицо он держал в руках, и лицо смотрело на Виктора — хорошее лицо, честное, но от него тошнило, а Голем все не отставал, все гудел...

— Ложитесь спать, — пробормотал Виктор, растягиваясь на дне лодки. Шпангоуты резали ему бока, и было очень неудобно, но уж очень хотелось спать. — Ложитесь спать, Голем...

Проснувшись, он обнаружил, что лежит в постели. Было темно, в окна с дробным треском хлестал дождь. Он с трудом поднял руку и потянулся к ночнику, но пальцы наткнулись на холодную гладкую стену. Странно, подумал он. А где Диана? Или это не санаторий? Он попробовал облизать губы, толстый шершавый язык не повиновался. Очень хотелось курить, но курить было нельзя ни в коем случае... Ага, собственно, мне хочется пить. «Диана!» — позвал он. Да, здесь же не санаторий. В санатории ночник справа, а здесь справа стена... Так это же мой номер! — подумал он с восторгом. Как я сюда попал? Он лежал под одеялом и был раздет до белья. Что-то я не помню, чтобы я раздевался, подумал он. Кто-то меня раздел. Хотя, может быть, я разделся сам. Если на мне ботинки, то я раздевался сам... Он потер ногой об ногу. Ага, босой. Черт, руки чешутся, волдыри какие-то, поразвели клопов в номерах. Съеду. Куда это я ехал в лодке?.. А, это Павор здесь клопов развел... Он вдруг вспомнил о Паворе и сел, но его замутило, и он опять лег на спину. Давно я так не надирался, однако... Павор... «Серебряный Трилистник»... Когда это было? Вчера? Он скривился и

стал драть ногтями левую руку. Что сейчас — утро или вечер? Наверное, утро... А может быть, вечер. Голем! — вспомнил он. Мы с Големом высосали целую бутылку. И не разбавляли. А до этого полбутылки высосали с долговязым. А до этого я еще где-то сосал. Или это было вчера? Постой-ка, а сейчас — сегодня или вчера? Встать бы надо, попить, то-сё... Нет, подумал он упрямо. Я сначала разберусь.

Что-то Голем рассказывал интересное, он решил, что я пьян и ничего не понимаю, и можно поэтому говорить со мной откровенно. Впрочем, я действительно был пьян, но, помнится, все понимал. Что же я понимал?.. Он яростно потер тыльной стороной правой ладони по шерстяному одеялу. Тяжелые времена наступают... Нет, это из Павора... Ага, вот из Голема: у них все впереди, а у нас впереди — только они. И генетическая болезнь... А что же, вполне возможно. Когда-нибудь это должно произойти. Может быть, давно уже происходит. Внутри вида зарождается новый вид, а мы это называем генетической болезнью. Старый вид — для одних условий, новый вид — для других. Раньше нужны были мощные мышцы, плодовитость, морозоустойчивость, агрессивность и, так сказать, практическая сметка. Сейчас, положим, это тоже нужно, но скорее по инерции. Можно укокошить миллион с практической сметкой, и ничего существенного не произойдет. Это уж точно, много раз испробовано. Кто это сказал, что если из истории вынуть всего лишь несколько десятков... ну, пусть несколько сотен человек, то мы бы моментально оказались в каменном веке. Ну, пусть несколько тысяч... Что это за люди? Это, брат, совсем другие люди.

А вполне возможно: Ньютон, Эйнштейн, Аристотель — мутанты. Среда, конечно, была не слишком благоприятная, и вполне возможно, что масса таких мутантов погибла, не обнаружив себя, как тот мальчишка из рассказа Чапека... Они, конечно, особенные: ни практической сметки у них не было, ни нормальных человеческих потребностей... Или, может быть, это кажется? Просто духовная сторона так гипертрофирована, что все прочее незаметно. Ну, это ты зря, сказал он. Эйнштейн говорил, что лучше всего работать смотрителем маяка — это уже само по себе звучит... А вообще интересно было бы себе представить, как в наши дни рождается хомо супер. Хороший сюжет... Черт, руки зудят нестерпимо... Написать бы такую утопию в духе Орвелла или Бернарда Вольфа. Правда, трудно представить себе этого супера: огромный лысый череп, хиленькие ручки-ножки, импотент — банальщина. Но вообще-то что-то в этом роде и должно быть. Во всяком случае, смещение потребностей. Водки не надо, жратвы какой-нибудь особенной не надо, роскоши никакой, да и женщин в общем-то — так только, для спокойствия и вящей сосредоточенности. Идеальный объект для эксплуатации: отдельный ему кабинет, стол, бумагу, кучу книг... аллею для перипатетических размышлений, а взамен он выдает идеи... Никакой утопии не получится — загребут его военные, вот и вся утопия. Сделают секретный институт, всех этих суперов туда свезут, поставят часового, вот и все...

Виктор, кряхтя, поднялся, ступая босыми ногами по холодному полу, прошел в ванную, открутил кран и с наслаждением напился, не зажигая света. Страшно было даже подумать — зажечь свет. Потом он снова вернулся на кровать и некоторое время чесался, проклиная клопов. Вообще-то для сюжета это даже хорошо: секретный институт, часовые, шпионы... патриотизм патриотической уборщицы Клары... экая дешевка. Трудность в том, чтобы представить себе их работу, идеи, возможности —

куда уж мне... Это вообще невозможно. Шимпанзе не может написать роман о людях. Как я могу написать роман о человеке, у которого никаких потребностей, кроме духовных? Конечно, кое-что представить можно. Атмосферу. Состояние непрерывного творческого экстаза. Ощущение своего всемогущества, независимости... отсутствие комплексов, совершенное бесстрашие... Да, чтобы написать такую штуку, надо нализаться ЛСД. Вообще эмоциональная сфера супера с точки зрения обычного человека представлялась бы как патология. Болезнь... Жизнь — болезнь материи, мышление — болезнь жизни. Очковая болезнь, подумал он.

И вдруг все стало на свои места. Так вот что он имел в виду! — подумал Виктор про Голема. Умные и все на подбор талантливые... Тогда что же это выходит? Тогда выходит, что они уже не люди. Зурзмандор мне просто баки забивал. Значит, началось... Ничего нельзя скрыть, подумал он с удовлетворением. А такую штуку — тем более. Пойду к Голему, нечего ему строить пророка. Они, наверное, многое ему рассказали... Черт подери, это же будущее, то самое будущее, которое запускает щупальца в сердце сегодняшнего дня! У нас впереди — только они... Его охватило лихорадочное возбуждение. Каждая секунда была исторической, и жалко, что он не знал об этом вчера, потому что вчера, и позавчера, и неделю назад каждая секунда тоже была исторической...

Он вскочил, зажег свет и, морщась от рези в глазах, стал на ощупь искать свою одежду. Одежды не было, но потом глаза привыкли к свету, он схватил брюки, висящие на спинке кровати, и вдруг увидел свою руку. Рука до локтя была покрыта красной сыпью и мертвенно-белыми бугорками, некоторые бугорки кровоточили от расчесов. На другой руке было то же самое. Что за черт, подумал он, холодея, потому что он уже знал — что это. Он уже вспомнил: изменения кожи, сыпь, волдыри, иногда — гнойные язвы... Гнойных язв пока не было, но он покрылся холодным потом и, уронив брюки, сел на кровать.

Не может быть, подумал он. Я тоже. Неужели я тоже?.. Он осторожно погладил ладонью бугорчатую кожу, потом закрыл глаза и, задержав дыхание, прислушался к себе. Гулко и редко стучало сердце, в ушах тонко звенела кровь, голова казалась огромной, пустой, не было боли, не было ватной тяжести в мозгу. Дурак, подумал он, улыбаясь. Что я надеюсь заметить? Это должно быть как смерть: секунду назад ты был человеком, мелькнул квант времени — и ты уже бог, и не знаешь этого, и никогда не узнаешь, как дурак не знает, что он — дурак, как умный, если он действительно умен, не знает, что он — умный... Это, наверное, случилось, пока я спал. Во всяком случае, до того, как я заснул, суть мокрецов была для меня чрезвычайно туманна, а сейчас я вижу ее с предельной резкостью и постиг это голой логикой, даже не заметив...

Он счастливо засмеялся, ступил на пол и, хрустнув мышцами, подошел к окну. Мой мир, подумал он, глядя сквозь залитое водой стекло, и стекло исчезло, далеко внизу утонул в дожде замерший в ужасе город, и огромная мокрая страна, а потом все сдвинулось, уплыло, и остался только маленький голубой шарик с длинным голубым хвостом, и он увидел гигантскую чечевицу Галактики, косо и мертво висящую в мерцающей бездне, ключья светящейся материи, скрученные силовыми полями, и бездонные провалы там, где не было света, и он протянул руку и погрузил ее в пухлое белое ядро, и ощутил легкое тепло, и, когда он сжал кулак, материя прошла сквозь пальцы, как мыльная пена. Он снова засмеялся, щелкнул по носу свое отражение в стекле и нежно погладил бугорки на вспухшей коже.

— По такому поводу необходимо выпить! — сказал он вслух.

В бутылке оставалось еще немного джину, бедный старый Голем не смог допить до конца, бедный старый лжепророк... не потому лжепророк, что прорицания его неверны, а потому, что он всего-навсего говорящая марионетка. Я всегда буду любить тебя, Голем, подумал Виктор, ты хороший человек, ты умный человек, но ты всего лишь человек... Он слил остатки в стакан, привычным движением опрокинул спиртное в глотку и, еще не успев проглотить, бросился в ванную. Его стошнило. Черт, подумал он. Какая мерзость. В зеркале он увидел свое лицо — мятое, слегка обрюзгшее, с неестественно большими и неестественно черными глазами. Ну, вот и все, подумал он, ну вот и все, Виктор Банев, пьяница и хвостун. Не пить тебе больше и не орать песен, и не хохотать над глупостями, и не молоть веселую чепуху деревянным языком, не драться, не буйствовать и не хулиганить, не пугать прохожих, не ругаться с полицией, не ссориться с господином президентом, не вваливаться в ночные бары с галдящей компанией молодых почитателей... Он вернулся на кровать. Курить не хотелось. Ничего не хотелось, от всего мутило, и стало грустно. Ощущение потери, сначала легкое, чуть заметное, как прикосновение паутины, разрасталось, мрачные ряды колючей проволоки вставали между ним и тем миром, который он так любил. За все надо платить, думал он, ничего не получают даром, и чем больше ты получил, тем больше нужно платить, за новую жизнь надо платить старой жизнью... Он яростно чесал руки, обдирая кожу, и не замечал этого.

Диана вошла, не постучавшись, сбросила плащ и остановилась перед ним, улыбающаяся, соблазнительная, и подняла руки, оправляя волосы.

— Замерзла, — сказала она. — Пускают погреться?

— Да, — сказал он, плохо понимая, что говорит.

Она выключила свет, и теперь он не видел ее, только слышал ключ, повернувшийся в скважине, треск расстегиваемых кнопок, шорох одежды и как туфли упали на пол, а потом она оказалась рядом, теплая, гладкая, душистая, а он все думал, что теперь всему конец — вечный дождь, угрюмые дома с крышами, как решето, чужие незнакомые люди в мокрой черной одежде, с мокрыми повязками на лицах... и вот они снимают повязки, снимают перчатки, снимают лица и кладут их в специальные шкафчики, а руки их покрыты гнойными язвами — тоска, ужас, одиночество... Диана прижалась к нему, и он привычным движением обнял ее. Она была прежняя, но он-то уже был не прежний, он больше ничего не мог, потому что ему ничего не было нужно.

— Что с тобой, малыш? — ласково спросила Диана. — Перебрал?

Он осторожно снял ее руки со своей шеи. Ему стало окончательно страшно.

— Подожди, — сказал он. — Подожди.

Он встал, нащупал выключатель, зажег свет и несколько секунд стоял к ней спиной, не решаясь обернуться, но все-таки обернулся. Нет, она была прекрасна. Она была, наверное, даже красивее, чем обычно, она всегда была красивее, чем обычно, но теперь это было как картина. Это возбуждало гордость за человека, восхищение человеческим совершенством, но больше это ничего не возбуждало. Она смотрела на него, удивленно подняв брови, а потом, видимо, испугалась, потому что вдруг быстро села, и он увидел, что губы ее шевелятся. Она что-то говорила, но он не слышал.

— Подожди, — повторил он. — Не может быть. Подожди.

Он одевался с лихорадочной поспешностью и все твердил: подожди, подожди, но он уже думал не о ней, дело было не только в ней. Он выскочил в коридор, ткнулся в номер Голема, в запертую дверь, не сразу сообразил, куда теперь, а затем сорвался и побежал вниз, в ресторан. Не надо, твердил он, не надо мне этого, я не просил.

Слава богу, Голем был на обычном месте. Он сидел, закинув руку за спинку кресла, и рассматривал на просвет рюмку с коньяком. А доктор Р. Квадрига был красен, агрессивен и, увидевши Виктора, сказал на весь зал:

— Эти мокрецы. Стервы. Прочь.

Виктор рухнул в свое кресло, и Голем, не говоря ни слова, налил ему коньяку.

— Голем, — сказал Виктор. — Ах, Голем, я заразился!

— Спринцевание! — провозгласил Р. Квадрига. — Мне тоже.

— Выпейте коньячку, Виктор, — сказал Голем. — Не надо так волноваться.

— Идите к черту, — сказал Виктор, в ужасе глядя на него. — У меня очковая болезнь. Что делать?

— Хорошо, хорошо, — сказал Голем. — Вы все-таки выпейте. — Он поднял палец и крикнул официанту: — Содовой! И еще коньяку.

— Голем, — сказал Виктор с отчаянием, — вы не понимаете. Я не могу. Я заболел, говорю я вам! Заразился! Это нечестно... Я не хотел... Вы же говорили — не заразно...

Он ужаснулся при мысли, что говорит слишком несвязно, что Голем его не понимает и думает, что он просто пьян. Тогда он сунул Голему под нос свои руки. Рюмка опрокинулась, прокатилась по столу и упала на пол.

Голем сначала отшатнулся, потом пригляделся, наклонился вперед, взял руки Виктора за кончики пальцев и стал рассматривать расчесанную бугристую кожу. Пальцы у него были холодные и твердые. Ну вот и все, думал Виктор, вот и первый врачебный осмотр, а потом будут еще осмотры и лживые обещания, что есть еще надежда, и успокоительные микстуры, а потом он привыкнет, и уже не будет никаких осмотров, и его отвезут в лепрозорий, заматают рот черной тряпкой, и все будет кончено.

— Землянику ели? — спросил Голем.

— Да, — покорно сказал Виктор. — Клубнику.

— Слопали, небось, килограмма два, — сказал Голем.

— При чем здесь земляника? — закричал Виктор, вырывая руки. — Сделайте что-нибудь! Не может быть, чтобы было поздно. Только что началось...

— Перестаньте орать. У вас крапивница. Аллергия. Вам противопоказано жрать клубнику в таких количествах.

Виктор еще не понимал. Разглядывая свои руки, он бормотал: «Вы же сами говорили... волдыри... сыпь...»

— Волдыри и от клопов бывают, — сказал Голем наставительно. — У вас идиосинкразия к некоторым веществам. И воображение не по разуму. Как у большинства писателей. Тоже туда же — мокрец...

Виктор почувствовал, что оживает. Обошлось, стучало у него в голове. Обошлось, кажется. Если обошлось, я не знаю, что сделаю. Курить брошу...

— А вы не врите? — сказал он жалким голосом.

Голем усмехнулся.

— Выпейте коньяку, — предложил он. — При аллергии нельзя пить коньяк, но вы выпейте. А то у вас уж очень жалкий вид.

Виктор взял его рюмку, зажмурился и выпил. Ничего! Подташнивает немного, но это, надо понимать, с похмелья. Сейчас пройдет. И все прошло.

— Милый писатель, — сказал Голем. — Чтобы стать архитектором, одних волдырей недостаточно.

Подошел официант и поставил на стол коньяк и содовую. Виктор глубоко и вольно вздохнул, вдохнул знакомый ресторанный дух и ощутил прекрасные запахи табачного дыма, маринованного лука, подгоревшего масла и жареного мяса. Жизнь вернулась.

— Дружище, — сказал он официанту. — Бутылку джина, лимонный сок, лед и четыре порции миног в двести шестнадцатый. И быстро!.. Алкоголики, — сказал он Голему и Р. Квадриге. — Пропадите вы тут пропадом, а я пойду к Диане! — Он готов был расцеловать их.

Голем сказал, ни к кому не обращаясь:

— Бедный прекрасный утенок!

На секунду Виктор ощутил сожаление. Всплыло и исчезло воспоминание о каких-то огромных упущенных возможностях. Но он только рассмеялся, отпихнул кресло и зашагал к выходу.

## Exodus

Через год после войны поручика Б. демобилизовали по ранению. Ему повесили медаль «Виктория», сунули в зубы месячный оклад денежного содержания и картонный ящик с подарком господина президента: бутылка трофейного шнапса, две жестянки страсбургского паштета, два круга копченой конской колбасы и трофейные же шелковые подштанники для устройства семейной жизни. Вернувшись в столицу, поручик не унывает. Он — хороший механик, и его в любой момент возьмут работать в университетские мастерские, откуда он ушел добровольцем, но он не торопится — восстанавливает старые знакомства, заводит новые, а в промежутках пропивает барахло, изъятое у неприятеля в счет репараций. На одной вечеринке он встречается женщину по имени Нора, очень похожую на Диану. Описание вечеринки: заезженные довоенные пластинки, денатурат домашней очистки, американская тушенка, шелковые блузки на голое тело и морковь во всех видах. Поручик, звеня медалями, миглом разгоняет разных штатских, неустанно подкладываящих Норе вареную морковь, и начинает правильную осаду. Нора ведет себя странно. С одной стороны, она явно не прочь, но, с другой стороны, она дает ему понять, что связываться с нею опасно. Однако разгоряченный денатуратом экс-поручик не желает ничего знать. Они покидают вечеринку и отправляются к Норе. Послевоенная столица ночью: редкие фонари, мостовая в выбоинах, огороженные развалины, недостроенный цирк, в котором гниют шесть тысяч пленных под охраной двух инвалидов, в совершенно уже темном переулке кого-то грабят. Нора живет в старинном трехэтажном доме, лестница

загажена, на одной двери надпись мелом: «Здесь живет немецкая овчарка». В длинном коридоре, заваленном разным хламом, отшатываются в тень затхлые личности. Нора, гремя многочисленными ключами, отпирает свою дверь, обитую чудом сохранившейся блестящей кожей. В прихожей она делает еще одно предупреждение, но Б., полагая, что речь идет всего лишь о какой-нибудь уголовщине, отвечает только, что хаживал на танки в конном строю. Квартирка не по времени чистенькая и уютная, огромный диван. Нора смотрит на поручика с каким-то сожалением, уходит ненадолго и возвращается с початой бутылкой коньяка, одетая в высшей степени соблазнительно. Оказывается, в их распоряжении всего полчаса. По истечении получаса удовлетворенный поручик уходит с надеждой встретиться вновь. В конце коридора его уже ждут — два затхлых человека из тени. Неприятно усмехаясь, они загораживают дорогу и предлагают поговорить. Поручик без лишних слов принимается их бить и одерживает неожиданно легкую победу. Сбитые с ног, затхлые люди, плача и хихикая, разъясняют поручику Б. его положение. Экс-поручик бил своих. Они теперь все свои. Нора не просто соблазнительная женщина, Нора — королева столичных клопов. Вам теперь конец, господин офицер, встретимся в «Атакаме», мы все там встречаемся, каждую ночь. Идите домой, а когда вам станет невтерпеж, приходите, у нас открыто до утра...

На западной окраине столицы, в доходном доме рядом с химическим заводом, живет многосемейный титулярный советник Б. Нарочито подробное и нарочито скучное описание обстоятельств героя: три комнатки, кухня, прихожая, стертая жена, пятеро зеленоватых детей, крепкая старая теща, переселившаяся из деревни. Химический завод воняет, днем и ночью над ним стоят столбы разноцветного дыма, от ядовитого смрада умирают деревья, желтеет трава, дико и странно мутируют мухи. Несколько лет титулярный советник ведет кампанию по укромлению завода: гневные требования в адрес администрации, слезные петиции во все инстанции, разгромные фельетоны во все газеты, бесплодные попытки организовать пикеты у проходной. Однако завод стоит, как бастион. На набережной перед заводом замертво падают отравленные постовые;дохнут домашние животные, покидают квартиры и уходят бродяжничать целые семьи; в газетах появляется некролог на преждевременную кончину директора завода. У титулярного советника Б. умирает жена, дети по очереди заболевают бронхиальной астмой. Однажды вечером, спустившись в подвал за дровами, он обнаруживает сохранившийся со времен Соппротивления миномет и огромные запасы мин. Той же ночью он перетаскивает все это на чердак и открывает слуховое окно. Завод лежит перед ним как на ладони: в резком свете прожекторных ламп снуют рабочие, бегают вагонетки, плывут желтые и зеленые клубы ядовитых паров. Я тебя убью, шепчет титулярный советник и открывает огонь. В этот день он не идет на службу, на следующий день — тоже. Он не спит и не ест, он сидит на корточках под слуховым окном и стреляет. Время от времени он делает перерывы, чтобы охладился ствол миномета. Он оглох от выстрелов и ослеп от порохового дыма. Иногда ему кажется, что химический смрад ослабевает, и тогда он улыбается, облизывает губы и шепчет: я убью тебя. Потом он падает без сил и засыпает, а проснувшись, видит, что мины кончились — осталось три штуки. Он выстреливает их и высовывается в окно. Обширный двор завода усеян воронками, зияют выбитые стекла, на боках гигантских газгольдеров темнеют вмятины, двор перерыт сложной системой траншей, по траншеям короткими перебежками двигаются рабочие, быстрее прежнего бегают вагонетки, водители автокаров защищены железными листами, а



когда ветер относит клубы ядовитых паров, на кирпичной стене заводоуправления открывается свежая белая надпись: «Внимание! При обстреле эта сторона особенно опасна»...

Виктор дочитал последнюю страницу, закурил и поглядел на листок, заправленный в машинку. Там было всего полторы строчки: «Выйдя из редакции, журналист Б. хотел было взять такси, но передумал и спустился в подzemку». Виктор совершенно точно знал, что случилось затем с журналистом Б., но писать он больше не мог. Часы показывали без четверти три. Виктор поднялся и распахнул окно. На улице было черным-черно, и в черноте сверкал дождь. Виктор докурил у окна сигарету, выбросил окурок в мокрую ночь и позвонил портье. Отозвался незнакомый голос. Виктор осведомился, какой сегодня день недели. Незнакомый голос, помедлив, сообщил, что сейчас ночь с пятницы на субботу. Виктор поморгал, положил трубку и решительно выдернул листок из машинки. Хватит. Двое суток подряд, не разгибаясь, никого не видя, ни с кем не разговаривая, выключив телефон, не отвечая на стук, без Дианы, без выпивки, кажется, даже без еды, только время от времени забираясь на кровать, чтобы увидеть во сне королеву клопов, как она сидит у притолоки и шевелит черными усиками... Хватит. Журналист Б. подождет на платформе, пока подойдет поезд с надписью «Посадки нет». Ничего ему не сделается. А мы пока закусим, мы это заслужили, ей-богу... Виктор убрал машинку, спрятал в стол рукопись и пошарил в пустом баре. Потом он жевал черствую булку с джемом и горько сетовал на себя за то, что вылил вчера полбутылки бренди в раковину во избежание соблазна, и радовался, что цикл «За кулисами большого города» все-таки начат, и начат неплохо, прекрасно начат, вполне удовлетворительно. Хотя, наверное, придется все переписать. Странно все-таки, подумал он, почему эти рассказы пошли именно сейчас? Почему не год назад, не два года назад, когда я их придумал? Сейчас я должен был бы писать о ханурике, вообразившем себя суперменом, вот о чем. Я ведь и начал с этого. Впрочем, такое со мной не в первый раз. А если подумать и хорошенько вспомнить, то так бывает всегда. И именно поэтому невозможно писать по заказу. Начинаешь писать роман о юных годах господина президента, а получается про необитаемый остров, где живут странные обезьяны, которые питаются не бананами, а мыслями потерпевших кораблекрушение... Ну, здесь, положим, связь на поверхности. Э, да чего там, всегда она есть. Надо только покопаться, а кому охота копать, если хочется выпить после двухдневного воздержания. Спустишь-ка я сейчас вниз, у портье всегда найдется выпить. Дожую вот сейчас и спущусь...

Виктор вздрогнул и перестал жевать. Из черного провала за окном сквозь плеск дождя донесся звук, как будто ударили молотком по доске. Стреляют, с удивлением подумал Виктор. Некоторое время он напряженно прислушивался.

...Ну хорошо, а что автор хотел сказать этими своими сочинениями? Зачем ему понадобилось воскрешать тяжелые послевоенные времена, когда кое-где еще встречались клопы и легкомысленные женщины? Может быть, автор хотел показать героизм и стойкость столицы, которая под водительством его высокопревосходительства... Не выйдет, господин Банев! Не позволим! Весь мир знает, что по прямому указанию господина президента на владельцев химических предприятий, загрязняющих воздух, только в столице наложен штраф в размере... Что благодаря личной и неусыпной заботе господина президента более ста тысяч детей столицы ежегодно выезжают в загородные лагеря... что согласно табели о рангах чины

ниже надворных советников не имеют права собирать подписи под петициями...

Тут свет погас. «Эге!» — сказал Виктор вслух, лампа загорелась снова, но вполнакала. «Эт-то еще что?» — произнес Виктор, однако светлее не сделалось. Виктор подождал немного, затем позвонил портье. Никто не отозвался. Можно позвонить на электростанцию, но для этого надо найти телефонную книгу, а где ее искать, да и все равно пора ложиться. Только сначала надо выпить. Виктор поднялся и вдруг услышал какой-то шорох. Кто-то возил по двери руками. Потом в дверь начали толкаться. «Кто там?» — спросил Виктор, ему не ответили, слышно было только, как толкаются и сопят. Виктору стало жутко. Озаренные красноватым полусветом стены казались чужими и непривычными, в углах сгустилось слишком много тени, а за дверью возилось что-то большое, тупое и бессмысленное. Чем бы его? — подумал Виктор, озираясь, но тут за дверью сказали сиплым шепотом: «Банев, эй, Банев, ты здесь?» Отпустив вполголоса идиота, Виктор вышел в прихожую и повернул ключ. В номер ввалился Р. Квадрига. Он был в халате, волосы у него были всклокочены, глаза бегали.

— Слава богу, хоть ты на месте, — сразу же заговорил он. — А то я совсем со страху спятил... Слушай, Банев, надо удирать... Пойдем, а? Пойдем отсюда, Банев... — Он схватил Виктора за рубашку и потянул в коридор. — Пойдем, невозможно больше...

— Обалдел, — сказал Виктор, вырываясь. — Иди спать, рамолик. Три часа.

Но Квадрига снова ловко ухватил его за рубашку, и Виктор с изумлением обнаружил, что доктор гонорис кауза совершенно трезв, от него даже не пахло.

— Нельзя спать, — сказал Квадрига. — Из этого проклятого дома надо удирать. Видишь, что со светом? Мы здесь погибнем... И вообще из города надо удирать. У меня на вилле машина. Пошли. Я бы один уехал, да боюсь выйти.

— погоди, не хватайся, — сказал Виктор. — Успокойся сначала.

Он втащил Квадригу в номер, усадил в кресло, а сам пошел в ванную за стаканом воды. Квадрига сейчас же вскочил и побежал за ним.

— Мы здесь с тобой одни, никого не осталось, — сказал он. — Голема нет, швейцара нет, директора нет...

Виктор открутил кран. В трубах заворчало, вылилось несколько капель.

— Тебе что, — сказал Квадрига, — воды надо? Пойдем, у меня есть целая бутылка. Только быстро. И вместе.

Виктор потряс кран. Вылилось еще несколько капель, и ворчание прекратилось.

— В чем дело? — спросил Виктор, холодея. — Война?

Квадрига махнул рукой.

— Да какая война... Удирать надо, пока не поздно, а он — война...

— Почему — удирать?

— По дороге, — сказал Квадрига, идиотски хихикнув.

Виктор отодвинул его локтем, вышел из номера и направился вниз, к портье. Квадрига семенил следом.

— Слушай, — бормотал он. — Давай через черный ход... Только бы выйти, а там у меня машина. Уже заправлена, погружена... Я как чувствовал, ей-богу... Водочки выпьем и поедem, а то здесь водки не осталось...

В коридоре тускло, как красные карлики, светились плафоны, на лестнице света не было вообще, в вестибюле — тоже, только над конторкой портье тлела лампочка. Там кто-то сидел, но это был не портье.

— Пойдем, пойдем, — сказал шепотом Квадрига и потянул Виктора к выходу. — Туда не надо, там нехорошо...

Виктор высвободился и подошел к конторке.

— Что у вас тут за безобразие... — начал он и замолчал.

За конторкой сидел Зурзмансор.

На месте портье сидел Зурзмансор и быстро писал в толстой тетради.

— Банев, — сказал он, не поднимая головы. — Вот и все, Банев. Прощайте. И не забывайте наш разговор.

— А я не собираюсь уезжать, — возразил Виктор. Голос у него сорвался. — Я намерен узнать, что делается с электричеством и водой. Это ваша работа?

Зурзмансор поднял желтое лицо.

— Нет, — сказал он. — Мы больше не работаем. Прощайте, Банев. — Он протянул через конторку руку в перчатке. Виктор машинально взял эту руку, ощутил пожатие и пожал сам. — Такова жизнь, — сказал Зурзмансор. — Будущее создается тобой, но не для тебя. Вы, наверное, это уже поняли. Или скоро поймете. Вас это касается больше, чем нас. Прощайте.

Он кивнул и снова принялся писать.

— Пойдем! — прошипел над ухом Квадрига.

— Ничего не понимаю, — громко, на весь вестибюль произнес Виктор. — Что здесь происходит?

Он не желал, чтобы в вестибюле было тихо. Он не желал ощущать себя здесь посторонним. Не он здесь посторонний, и нечего Зурзмансору сидеть в три часа ночи за конторкой портье. И нечего меня запугивать, я вам не Квадрига... Но Зурзмансор не услышал или не захотел услышать. Тогда Виктор демонстративно пожал плечами, повернулся и направился в ресторан. В дверях он остановился.

В зале тускло светились торшеры, тускло светилась люстра, тускло светились рожки на стенах, и зал был полон. За столиками сидели мокрецы. Они все были одинаковые, только сидели в разных позах. Одни читали, другие спали, а многие, словно окоченев, неподвижно смотрели в пространство. Светлели голые черепа, пахло сыростью и медикаментами. Окна были распахнуты, на полу темнела вода. Не было слышно ни звука, только плеск дождя доносился снаружи.

Потом перед Виктором появился Голем, напряженный, озабоченный, совсем старый.

— Почему вы еще здесь? — спросил он вполголоса. — Уходите, здесь нельзя.

— Что значит — нельзя? — сказал Виктор, снова раздражаясь. — Я хочу выпить.

— Тише, — сказал Голем. — Я думал, вы уже уехали. Я стучал к вам. Куда вы сейчас?

— К себе в номер. Возьму бутылку и пойду к себе в номер.

— Здесь нет спиртного, — сказал Голем.

Виктор молча показал пальцем на бар, где тускло блестели ряды бутылок. Голем оглянулся.

— Нет, — сказал он. — Увы.

— Я хочу выпить! — повторил Виктор упрямым голосом.

Но он не ощущал в себе упрямства. Он хорохорился. Мокрецы смотрели на него. Читавшие опустили книги, окоченевшие повернули черепа, и только спавшие продолжали спать. Десятки блестящих глаз, словно повисших в красноватом сумраке, смотрели на него.

— Не ходите в номер, — сказал Голем. — Уходите из гостиницы. К Лоле... Или к доктору на виллу... Только чтобы я знал, где вы находитесь. Я за вами заеду. Слушайте, Виктор, не ерепеньтесь, делайте, как я говорю. Рассказывать сейчас некогда и непристойно. Жалко, Дианы нет, она бы подтвердила...

— А где Диана?

Голем опять оглянулся и посмотрел на часы.

— В четыре часа... или в пять... она будет на автостанции у Солнечных ворот.

— А где она сейчас?

— Сейчас она занята.

— Так, — сказал Виктор и тоже посмотрел на часы. — В четыре или в пять у Солнечных ворот. — Ему очень хотелось уйти. Невыносимо было стоять вот так, в фокусе внимания этого тихого собрания.

— Может быть, в шесть, — сказал Голем.

— У Солнечных ворот... — повторил Виктор. — Это там, где вила нашего доктора?

— Вот-вот, — сказал Голем. — Отправляйтесь на виллу и там ждите.

— По-моему, вы просто хотите меня выпроводить, — сказал Виктор.

— Да, — сказал Голем. Он вдруг с интересом уставился Виктору в лицо. — Виктуар, неужели вам совсем-совсем не хочется отсюда убраться?

— Мне хочется спать, — небрежно сказал Виктор. — Я две ночи не спал. — Он взял Голема за пуговицу и вывел его в вестибюль. — Ладно, я уйду, — сказал он. — Но что это за пандемониум? У вас здесь съезд?

— Да, — сказал Голем.

— Или вы подняли восстание?

— Да, — сказал Голем.

— А может быть, война началась?

— Да, — сказал Голем. — Да, да, да. Убирайтесь отсюда.

— Ладно, — сказал Виктор. Он повернулся, чтобы идти, но остановился. — А Диана? — спросил он.

— Ей ничто не грозит, — сказал Голем. — И мне тоже. Никому из нас ничто не грозит. Во всяком случае, до шести. Может быть, до семи.

— Вы мне отвечаете за Диану, — сказал Виктор тихо.

Голем вынул носовой платок и вытер шею.

— Я отвечаю за все, — сказал он.

— Да? Я бы предпочел, чтобы вы отвечали только за Диану.

— Вы мне надоели, — сказал Голем. — Ох, как вы мне надоели, прекрасный утенок. Диана с детьми. Диане абсолютно ничего не грозит. И уходите. Мне надо работать.

Виктор повернулся и пошел к лестнице. Зурзмансора за конторкой не было, только тлела лампочка над толстой клеенчатой тетрадью.

— Банев, — позвал Р. Квадрига из какого-то темного угла. — Куда ты? Пойдем!

— Не могу же я тащиться под дождем в шлепанцах! — сердито отозвался Виктор, не оборачиваясь. Выперли, думал он. Из гостиницы они нас выперли. А может быть, из ратуши они нас тоже выперли. И может быть, из города... А дальше что?

У себя в номере он быстро переоделся и натянул плащ. Квадрига неотступно путался под ногами.

— Так и пойдешь в халате? — спросил Виктор.

— Он теплый, — сказал Квадрига. — А дома еще один есть.

— Болван, иди оденься.

— Не пойду, — твердо сказал Квадрига.

— Пойдем вместе, — предложил Виктор.

— Нет. И вместе не надо. Да ты не бойся, я так... Я привык...

Квадрига был как пудель, рвущийся гулять. Он подпрыгивал, заглядывал в глаза, громко дышал, тянул за одежду, подбегал к двери и возвращался. Убеждать его было бесполезно. Виктор сунул ему свой старый плащ и задумался. Он вынул из стола документы и деньги, рассовал их по карманам, закрыл окно и погасил свет. Затем он отдался на волю Квадриги.

Доктор гонорис кауза, нагнув голову, стремительно протащил его через коридор, по служебной лестнице, мимо темной холодной кухни, выпихнул его в дверь под проливной дождь в кромешную темноту и выскочил следом.

— Слава богу, выбрались! — сказал он. — Бежим!

Но бегать он не умел. Его одолевала одышка, да и темно было так, что идти приходилось почти на ощупь, держась за стены. Разве только общее направление можно было угадать по уличным фонарям, горевшим вполнакала, да кое-где просачивался сквозь щели в занавесках красноватый свет. Дождь лупил без передышки, но улицы не были совершенно безлюдны. Где-то переговаривались

вполголоса, мяукал грудной младенец, пару раз проехали тяжелые грузовики, какая-то телега прогремела железными ободьями по асфальту. «Все бегут, — бормотал Квадрига. — Все удирают. Одни мы тащимся...» Виктор молчал. Под ногами хлюпало, туфли промокли, по лицу ползла тепловатая вода, Квадрига цеплялся, как клещ, все это было глупо, бездарно, тащиться предстояло через весь город, и конца этому не было видно. Он налетел на водосточную трубу, что-то хрустнуло, Квадрига оторвался и сейчас же плачуще заорал на весь город: «Банев! Где ты?» Пока они шарили в мокрой темноте, ища друг друга, над головами хлопнуло окошко, и придушенный голос осведомился: «Ну, что слышно?» — «Темно, так и не так...» — ответил Виктор. «Точно! — с энтузиазмом подхватил голос. — И воды нет... Хорошо, мы корыто успели набрать». — «А что будет?» — спросил Виктор, придерживая Квадригу, рвущегося вперед. После некоторого молчания голос произнес: «Эвакуацию объявят, не иначе... Эх, жизнь!» И окошко захлопнулось. Потащились дальше. Квадрига, держась за Виктора обеими руками, принялся сбивчиво рассказывать, как он проснулся от ужаса, спустился вниз и увидел этот шабаш... Налетели на грузовик, ощупью обогнули его и налетели на человека с каким-то грузом. Квадрига опять заорал. «В чем дело?» — свирепо спросил Виктор. «Дерется, — обиженно сообщил Квадрига. — Прямо по печени. Ящиком». На тротуарах оказывались наперекосяк поставленные автомобили, холодильники, буфеты, целые заросли растений в горшках. Квадригу занесло в раскрытый зеркальный шкаф, потом он запутался в велосипеде. Виктор медленно стервенел. На каком-то углу их остановили, осветив фонариком. Блеснули мокрые солдатские каски, грубый голос с южным выговором объявил: «Военный патруль. Предъявите документы». У Квадриги документов, естественно, не было, и он немедленно стал кричать, что он доктор, что он лауреат, что он лично знаком... Грубый голос презрительно сказал: «Шпаки. Пропустить». Пересекли городскую площадь. Перед полицейским управлением сгрудились автомобили с зажженными фарами. Бессмысленно метались золоторубашечники, сверкая медью своих пожарных шлемов, раздавались зычные неразборчивые команды. Видно было, что центр паники здесь. Отсветы фар еще некоторое время озаряли дорогу, затем снова стало темно.

Квадрига больше не бормотал, а только пыхтел и постанывал. Несколько раз он падал, увлекая за собой Виктора. Они извозились, как свиньи. Виктор совершенно отупел и больше не ругался, пелена покорной апатии обволокла мозг, надо было идти, идти, сегодня идти и завтра идти, отпихивать невидимых встречных, снова и снова поднимать Квадригу за ворот разбухшего халата, нельзя было только останавливаться и ни в коем случае нельзя было идти назад. Что-то вспоминалось ему, что-то давно бывшее, позорное, горькое, неправдоподобное, только тогда было зарево и людская каша на улицах, и вдали грохотало и бухало, позади был ужас, а вокруг были опустевшие дома с окнами, заклеенными крест-накрест, и в лицо летел пепел, и вонь горелой бумаги, а на крыльцо красивого особняка с огромным национальным флагом вышел высокий полковник в роскошной лейб-гусарской форме, снял фуражку и застрелился, а мы, ободранные, окровавленные, преданные и проданные, тоже в гусарской форме, но уже не гусары, а почти дезертиры, засвистели, заржали, заулюлюкали, и кто-то запустил в труп полковника обломком своей сабли...

— А ну стой! — шепотом сказали из темноты и уперлись в грудь чем-то очень знакомым. Виктор машинально поднял руки.

— Как вы смеете! — взвизгнул Р. Квадрига у него за спиной.

— А ну тихо, — сказал голос.

— Караул! — заорал Квадрига.

— Тише, дурак, — сказал ему Виктор. — Сдаюсь, сдаюсь, — сказал он в темноту, откуда упирались в грудь стволом автомата и тяжело дышали.

— Стрелять буду! — испуганно предупредил голос.

— Не надо, — сказал Виктор. — Мы же сдаемся. — В горле у него пересохло.

— А ну раздевайся! — скомандовал голос.

— То есть как?

— Ботинки снимай, плащ снимай, штаны...

— Зачем?

— Быстро, быстро! — прошипел голос.

Виктор присмотрелся, опустил руки, шагнул в сторону и, ухватившись за автомат, задрал ствол вверх. Грабитель пискнул, рванулся, но почему-то не выстрелил. Оба натужно кряхтели, выворачивая друг у друга оружие. «Банев! Где ты?» — в отчаянии вопил Квадрига. На ощупь и по запаху человек с автоматом был солдат. Некоторое время он еще рыпался, но Виктор был гораздо сильнее.

— Все, — сказал Виктор сквозь зубы. — Все... Не дергайся, а то по морде получишь.

— А вы пустите! — прошипел солдат, слабо сопротивляясь.

— Тебе зачем мои штаны? Ты кто такой?

Солдат только пыхтел. «Виктор! — вопил Квадрига уже где-то вдалеке. — А-а-а!» Из-за угла вывернула машина, осветила на секунду фарами знакомое веснушчатое лицо, круглые от страха глаза под каской и умчалась.

— Э, да ведь я тебя знаю, — сказал Виктор. — Ты что же это людей грабишь? Отдай автомат.

Солдат, цепляясь каской, покорно вылез из ремня.

— Так зачем тебе мои штаны? — спросил Виктор. — Дезертируешь?

Солдат сопел. Симпатичный такой солдатик, веснушчатый.

— Ну, чего молчишь?

Солдатик заплакал — тоненько, с подвыванием.

— Все равно мне теперь... — забормотал он. — Все равно расстрел. С поста я ушел. Убежал я с поста, пост бросил, куда мне теперь деваться... Отпустили бы меня, сударь, а? Я же не со зла, не злодей ведь я какой-нибудь, не выдавайте, а?

Он хлюпал, и сморкался, и в темноте, вероятно, утирал сопли рукавом шинели — жалкий, как все дезертиры, напуганный, как все дезертиры, готовый на все.

— Ладно, — сказал Виктор. — Пойдешь с нами. Не выдадим. Одежда найдется. Пошли, только не отставай.

Он пошел вперед, а солдатик потащился за ним, все еще всхлипывая.

По собачьему вою нашли Квадригу. Теперь у Виктора на шее висел автомат, за левую его руку судорожно цеплялся всхлипывающий солдатик, за правую — тихо завывающий Квадрига. Бред какой-то. Можно, конечно, вернуть разряженный автомат этому мальчишке и дать сопляку пинка. Нет, жалко. Сопляка жалко, и автомат, возможно, еще пригодится... Мы тут посоветовались с народом, и есть мнение, что разоружаться преждевременно. Автомат еще может понадобиться в грядущих боях...

— Перестаньте ныть, вы оба, — сказал Виктор. — Патрули сбегутся.

Они притихли, а через пять минут, когда впереди забрезжили тусклые огни автостанции, Квадрига потянул Виктора вправо, радостно бормоча: «Пришли, слава тебе, господи...»

Ключ от калитки Квадрига, конечно, забыл в гостинице, в брюках. Чертыхаясь, перелезли через ограду; чертыхаясь, путались некоторое время в мокрой сирени; чуть не упали в фонтан; добрались, наконец, до подъезда, вышибли дверь и ввалились в холл. Щелкнул выключатель, и холл озарился багровым полусветом. Виктор повалился в ближайшее кресло. Пока Квадрига бегал по дому в поисках полотенец и сухой одежды, солдатик живо разделся до белья, смотал обмундирование в узел и засунул его под диван. После этого он несколько успокоился и перестал всхлипывать. Потом вернулся Квадрига, и они долго и ожесточенно растирались полотенцами и переодевались.

В холле царил хаос. Все было перевернуто, разбросано, заслякошено. Книги валялись вперемежку с пыльным тряпьем и свернутыми холстами. Под ногами хрустело стекло, валялись сморщенные тубики из-под красок, телевизор смотрел пустым прямоугольником экрана, а стол был заставлен грязной посудой с тухлыми обедками. В общем, только что не было навалено в углах, а может быть, и было навалено — в темноте не разберешь. Запах в доме стоял такой, что Виктор не вытерпел и распахнул окно.

Квадрига принялся хозяйничать. Сначала он взялся за край стола, наклонил его и с дребезгом ссыпал все на пол. Затем он вытер стол мокрым халатом, сбегал куда-то, принес три хрустальных бокала антикварной красоты и две квадратные бутылки. Подсигивая от нетерпения, он вытащил пробки и наполнил бокалы.

— Будем здоровы... — неразборчиво пробормотал он, схватил свой бокал и жадно приник к нему, заранее закатывая глаза от наслаждения.

Виктор, снисходительно усмехаясь, смотрел на него, разминая волглую сигарету. На лице Квадриги изобразилось вдруг неопишное изумление пополам с обидой.

— И здесь тоже... — проговорил он с отвращением.

— Что такое? — спросил Виктор.

— Вода, — робко подал голос солдатик. — Как есть вода. Холодная.

Виктор отхлебнул из своего бокала. Да, это была вода, чистая, холодная, возможно даже дистиллированная.

— Ты чем нас поишь, Квадрига? — спросил он.

Квадрига, не говоря ни слова, схватил вторую бутылку и сделал глоток прямо из



горлышка. Лицо его исказилось. Он сплюнул и сказал: «Боже мой!», а потом пригнулся и на цыпочках вышел из комнаты. Солдатик опять всхлипнул. Виктор посмотрел на бутылочные этикетки: ром, виски. Он снова отхлебнул из бокала: вода. Запахло обыкновенной чертовщиной, сами собой скрипнули где-то половицы, кожа на спине съежилась под пристальным взглядом чьих-то глаз. Солдатик ушел головой в воротник огромного квадригиного свитера и засунул руки глубоко в рукава. Глаза у него были круглые, он, не отрываясь, смотрел на Виктора. Виктор спросил хрипло:

— Ну, чего уставился?

— А вы чего? — шепотом спросил солдатик.

— Я-то ничего, а ты вот что тарацишься?

— Так, а чего вы... Страшно как-то... Не надо так...

Спокойствие, сказал себе Виктор. Ничего страшного. Это же суперы. Суперы еще и не то могут. Они, брат, все могут. Воду в вино, а вино в воду. Сидят себе в ресторане и превращают. Основу подрывают, краеугольный камень. Трезвенники, мать их...

— Струсил? — сказал он солдатику. — Засранец ты.

— Так страшно! — сказал солдатик, оживившись. — Вам-то что, а я там натерпелся... Стоишь ты на посту ночью, а он вылетит из зоны, глянет на тебя сверху и дальше... Капрал у нас один даже запачкался... Капитан все говорил: привыкнете, мол, служба, мол, присяга, мол... Ни фига невозможно привыкнуть. Давеча вон один прилетел, сел на крышу караулки и смотрит, и смотрит... а глаза-то ведь не человечесьи, красные, светятся, и серой от него ну прямо так и несет... — Солдатик вынул руки из рукавов и перекрестился.

Из недр виллы вновь появился Квадрига, все так же пригнувшись и на цыпочках.

— Одна вода, — сказал он. — Виктор, давай удирать. Машина стоит в гараже заправленная, сядем и — эх! А?

— Не паникуй, — сказал Виктор. — Удрать всегда успеем... А впрочем, как хочешь. Я сейчас не поеду, а ты валяй. И парнишку прихвати.

— Нет, — сказал Квадрига. — Без тебя я не поеду.

— А тогда перестань трястись и принеси чего-нибудь пожрать, — приказал Виктор. — Хлеб у тебя в камень еще не превратился?

Хлеб в камень не превратился. Консервы тоже остались консервами, и неплохими консервами. Они ели, а солдатик рассказывал, какого страха он натерпелся за последние два дня, про летающих мокрецов, про нашествие дождевых червей, про ребяташек, которые за два дня стали взрослыми, про друга своего, рядового Крупмана, парнишечку девятнадцати лет, который со страху сделал себе самострел... и еще как обед в караулку принесли, поставили разогревать, два часа обед на плите стоял, так и не разогрелся, холодным скушали... А нынче заступил я на пост в восемь часов вечера, дождь кромешный с градом, над зоной — неположенные огни, музыка раздается нечеловеческая, какой-то голос все говорит и говорит, говорит и говорит, а что говорит — не понять ни слова. А потом из степи крутящиеся вышли столбы — и в зону. И только они в зону зашли, как отворяются ворота, и вылетает из зоны господин капитан на своей машине. Я и на караул взять не успел, вижу только, что господин капитан — на заднем сиденье, без фуражки, без плаща, — лупит шофера в шею и орет.

«Давай, сукин сын! — орет. — Давай!» Оторвалось у меня что-то внутри, и словно мне кто-то сказал: беги, говорит, рви когти, а то костей не соберешь. Ну, я и рванул. Да не по дороге, а напрямик, через степь, через овраги, чуть в болоте не завяз, накидку где-то там оставил, новую, вчера выдали, но к городу вышел, а в городе — патрули. Раз я от них еле ушел, второй раз от них еле ушел, добрался досюда вот, до автостанции, смотрю — народ бежит, гражданских так пускают, а нашего брата — шиш, пропуск требуют. Ну, я и решил...

Рассказав свою историю, солдатик свернулся в кресле и тут же заснул. Мучительно трезвый Квадрига снова принялся твердить, что надо удирать — и немедленно. «Вот же человек, — твердил он, тыча вилкой в сторону заснувшего воина. — Понимает же человек... А ты — дубина, Банев, непроницаемая дубина. Как ты не чувствуешь, я просто физически ощущаю, как на меня с севера давит... Ты поверь мне... я знаю, ты мне не веришь, но сейчас поверь, я ведь давно вам говорю: нельзя здесь оставаться... Голем тебе голову заморочил, пьяница носатая... Ты пойми, сейчас дорога свободна, все ждут рассвета, а потом все мосты забьют, как в сороковом... Дубина ты упрямая, Банев, и всегда был такой, и в гимназии ты такой был...» Виктор велел ему спать или убраться к черту. Квадрига надулся, доел консервы и забрался на диван, закутавшись в мохеровое одеяло. Некоторое время он ворочался, кряхтел, бормотал апокалиптические предупреждения, потом затих. Было четыре часа.

В четыре десять свет мигнул и погас совсем. Виктор вытянулся в кресле, укрылся каким-то сухим тряпьем и лежал тихо, глядя в темное окно и прислушиваясь. Постановывал солдатик во сне, всхрапывал намаевшийся доктор гонорис кауза. Где-то — наверное, на автостанции — взрывали двигатели, неразборчиво кричали истерические голоса. Виктор попытался разобраться в происходящем и пришел к выводу, что мокрецы рассорились-таки с генералом Пффердом, выперли его из лепрозория, легкомысленно перенесли свою резиденцию в город и воображают, что раз умеют превращать вино в воду и наводить на людей ужас, то смогут продержаться и против современной армии... да что там — против современной полиции. Идиоты. Разрушат город, сами погибнут, людей оставят без крова. И дети... Детей же загубят, сволочи! А зачем? Что им надо? Неужели опять драка за власть? Эх вы, а еще суперы. Тоже мне — умные, сплошь талантливые... та же дрянь, что и мы. Еще один Новый Порядок, а чем порядок новее, тем хуже — это уже известно. Ирма... Диана... Он встрепенулся, нащупал в темноте телефон, снял трубку. Телефон молчал... Опять они что-то не поделили, а мы, которым не надо ни тех, ни других, а надо, чтобы нас оставили в покое, мы опять должны срываться с места, топтать друг друга, бежать, спасаться, или того хуже — выбирать свою сторону, ничего не понимая, ничего не зная, веря на слово, и даже не на слово, а черт знает на что... стрелять друг в друга, грызть друг друга.

Привычные мысли в привычном русле. Тысячу раз я уже так думал. Приучены-с. Сызмальства приучены-с. Либо ура-ура, либо пошли все к черту, никому не верю. Думать не умеете, господин Банев, вот что. А потому упрощаете. Какое бы сложное социальное движение ни встретилось вам на пути, вы прежде всего стремитесь его упростить. Либо верой, либо неверием. И если уж верите, то аж до обомления, до преданнейшего щенячьего визга. А если не верите, то со сладострастием харкаете растравленной желчью на все идеалы — и на ложные, и на истинные. Перри Мейсон говаривал: улики сами по себе не страшны, страшна неправильная интерпретация. То

же и с политикой. Жулье интерпретирует так, как ему выгодно, а мы, простаки, подхватываем готовую интерпретацию. Потому что не умеем, не можем и не хотим подумать сами. А когда простак Банев, никогда в жизни ничего, кроме политического жулья, не видевший, начинает интерпретировать сам, то опять же садится в лужу, потому что неграмотен, думать по-настоящему не обучен, и потому, естественно, ни в какой иной терминологии, кроме как в жульнической, интерпретировать не способен. Новый мир, старый мир... и сразу же ассоциации: нойе орднунг, альте орднунг... Ну, ладно, но ведь простак Банев существует не первый день, кое-что повидал, кое-чему научился. Не полный же он маразматик. Есть ведь Диана, Зурзмансор, Голем. Почему я должен верить фашисту Павору, или этому сопливному деревенскому недорослю, или аномально трезвому Квадриге? Почему обязательно кровь, гной, грязь? Мокрецы выступили против Пферда? Прекрасно! Гнать его в шею. Давно пора... И детей они не дадут в обиду, не похоже это на них... и не рвут они на себе жилеток, не вызывают к национальному самосознанию, не развязывают дремучих инстинктов... То, что наиболее естественно, то наименее приличествует человеку — правильно, Бол-Кунац, молодец... И вполне может быть, что это новый мир без нового порядка. Страшно? Неуютно? Но так и должно быть. Будущее создается тобой, но не для тебя. Ишь как я взвился, когда меня покрыло пятнами будущего! Как запросился назад, к миногам, к водке... Вспоминать противно, а ведь так и должно было быть. Да, ненавижу старый мир. Глупость его ненавижу, равнодушие, невежество, фашизм. А что я без всего этого? Это хлеб мой и вода моя. Очистите вокруг меня мир, сделайте его таким, каким я хочу его видеть, и мне конец. Восхвалять я не умею, ненавижу восхваления, а ругать будет нечего, ненавидеть будет нечего — тоска, смерть... Новый мир — строгий, справедливый, умный, стерильно чистый — я ему не нужен, я в нем — нуль. Я был ему нужен, когда я боролся за него... а раз я ему не нужен, то и он мне не нужен, но если он мне не нужен, то зачем я за него дерусь?.. Эх, добрые старые времена, когда можно было отдать свою жизнь за построение нового мира, а умереть в старом. Акселерация, везде акселерация... Но нельзя же бороться против, не борясь за! Ну что же, значит, когда ты рубишь лес, больше всего достается тому самому суку, на котором ты сидишь...

...Где-то в огромном пустом мире плакала девочка, жалобно повторяла: не хочу, не хочу, несправедливо, жестоко, мало ли что будет лучше, тогда пускай не будет лучше, пускай они останутся, пускай они будут, неужели нельзя сделать так, чтобы они остались с нами, как глупо, как бессмысленно. Это же Ирма, подумал Виктор. «Ирма!» — крикнул он и проснулся.

Храпел Квадрига. Дождь за окном прекратился, и стало как будто светлее. Виктор поднес к глазам часы. Светящиеся стрелки показывали без четверти пять. Тянуло промозглым холодом, надо было встать и закрыть окно, но он угрелся, шевелиться не хотелось, и веки сами собой напозлали на глаза. Не то во сне, не то наяву, где-то рядом проходили машины, одна за другой проходили машины, тащились по грязной разбитой дороге машины, через бесконечное грязное поле, под серым грязным небом, мимо покосившихся телеграфных столбов с оборванными проводами, мимо раздавленной пушки с задраным стволом, мимо обгорелой печной трубы, на которой сидели сытые вороны, и промозглая сырость проникала под брезент, под шинель, и страшно хотелось спать, но спать было нельзя, потому что должна была проехать Диана, а калитка заперта, в окнах темно, она подумала, что меня здесь нет, и поехала дальше, а он выскочил из окна и изо всех сил погнался за машиной, и кричал так, что

лопались жилы, но тут как раз рядом шли танки, грохотали и гремели, он не слышал самого себя, и Диана укатила туда, к переправе, где все горело, где ее убьют, и он останется один, и тут возник свирепый пронзительный визг бомбы, прямо в темя, прямо в мозг... Виктор бросился в кювет и вывалился из кресла.

Визжал Р. Квадрига. Он раскорячился перед раскрытым окном, глядел в небо и визжал, как баба, было светло, но это не был дневной свет: на захламленном полу лежали ровные ясные прямоугольники. Виктор подбежал к окну и выглянул. Это была луна — ледяная, маленькая, ослепительно яркая. В ней было что-то невыносимо страшное, Виктор не сразу понял — что. Небо было по-прежнему затянуто тучами, но в этих тучах кто-то вырезал ровный аккуратный квадрат, и в центре квадрата была луна.

Квадрига уже не визжал. Он зашелся от визга и издавал только слабые скрипучие звуки. Виктор с трудом перевел дыхание и вдруг почувствовал злость. Да что это им здесь — цирк, что ли? За кого они меня принимают?.. Квадрига все скрипел.

— Перестань! — рявкнул Виктор с ненавистью. — Квадратов не видел? Живописец дерьмовый! Холуй!

Он схватил Квадригу за мохеровое одеяло и тряхнул изо всех сил. Квадрига повалился на пол и замер.

— Хорошо, — сказал он вдруг неожиданно ясным и отчетливым голосом. — С меня хватит.

Он поднялся на четвереньки и прямо с четверенок, как спринтер, кинулся вон. Виктор снова посмотрел в окно. В глубине души он надеялся, что ему привиделось, но все оставалось по-прежнему, и он даже разглядел в правом нижнем углу квадрата крошечную звездочку, почти утонувшую в лунном блеске. Прекрасно были видны мокрые кусты сирени, и бездействующий фонтан с аллегорической рыбой из мрамора, и узорчатые ворота, а за воротами — черная лента шоссе. Виктор сел на подоконник и, следя за тем, чтобы не дрожали пальцы, закурил. Мельком он заметил, что солдатика в холле нет — то ли удрал солдатик, то ли спрятался под диван и помер от страха. Автомат, во всяком случае, лежал на прежнем месте, и Виктор истерически хихикнул, сопоставив эту несчастную железку с силами, которые проделали квадратный колодец в тучах. Ну и фокусники. Не-ет, если новый мир и погибнет, то старому тоже достанется на орехи... А все-таки хорошо, что под рукой автомат. Глупо, но с ним как-то спокойнее. А подумавши — и не глупо вовсе. Ведь ясно же — ожидается великий драп, это же в воздухе висит, а когда идет великий драп, всегда лучше держаться в сторонке и иметь при себе оружие.

Во дворе взревел мотор, из-за угла вынесся огромный, бесконечно длинный лимузин Квадриги (личный подарок господина президента за бескорыстную службу преданной кистью), не разбирая дороги устремился к воротам, вышиб их с треском, вылетел на шоссе, повернул и скрылся из виду.

— Удрал-таки, скотина, — пробормотал Виктор не без зависти. Он слез с подоконника, повесил на плечо автомат, сверху накинул плащ и окликнул солдатика. Солдатик не отозвался. Виктор заглянул под диван, но там был только серый узел с обмундированием. Виктор закурил еще одну сигарету и вышел во двор. В кустах сирени рядом с выбитыми воротами он нашел скамейку странной формы, но очень

удобную, а главное — с хорошим видом на шоссе, уселся, положив ногу на ногу, и поплотнее закутался в плащ. Сначала на шоссе было пусто, но потом прошла машина, другая, третья, и он понял, что драп начался.

Город прорвало, как нарыв. Впереди драпали избранные, драпали магистратура и полиция, драпали промышленность и торговля, драпали суд и акциз, финансы и народное просвещение, почта и телеграф, драпали золотые рубашки — все, все, в облаках бензиновой вони, в трескотне выхлопов, встрепанные, агрессивные, злобные и тупые, лихоимцы, стяжатели, слуги народа, отцы города, в вое автомобильных сирен, в истерическом стоне сигналов, — рев стоял на шоссе, а гигантский фурункул все выдавливался и выдавливался, и, когда схлынул гной, потекла кровь: собственно народ — на битком набитых грузовиках, в перекошенных автобусах, в навьюченных малолитражках, на мотоциклах, на велосипедах, на повозках, пешком, сгибаясь под тяжестью узлов, толкая ручные тележки, пешком с пустыми руками, угрюмые, молчаливые, потерянные, оставляя позади свои дома, своих клопов, свое нехитрое счастье, налаженную жизнь, свое прошлое и свое будущее. За народом отступала армия. Медленно проползли вездеход с офицерами, бронетранспортер, проехали два грузовика с солдатами и наши лучшие в мире походные кухни, а последним двигался полугусеничный броневик с пулеметами, развернутыми назад.

Светало, побледнела луна, страшный квадрат расплылся, тучи таяли, наступало утро. Виктор подождал минут пятнадцать, никого больше не дождался и вышел за ворота. На асфальте валялись грязные тряпки, чей-то раздавленный чемодан — хороший чемодан, по всему видно — начальство обронило, колесо от телеги, а немного поодаль, на обочине, — сама телега со старым продраным диваном и фикусом. На середине шоссе, прямо напротив ворот — одинокая галоша. Вокруг было пусто. Виктор посмотрел в сторону автостанции. Там тоже больше не было ни одной машины, ни одного человека. В садах засвистели птицы, поднималось солнце, которого Виктор не видел уже полмесяца, а город — несколько лет. Но теперь на него здесь некому было смотреть. Снова раздалось жужжание мотора, и из-за поворота вынырнул автобус. Виктор сошел на обочину. Это были «Братья по разуму» — они проплыли мимо, одинаково повернув к нему равнодушные бессмысленные лица. Вот и все, подумал Виктор. Выпить бы. Где же Диана?

Он медленно пошел обратно в город.

Солнце было справа, оно то пряталось за крышами особняков, то выглядывало в промежутки, то брызгало теплым светом сквозь ветви полусгнивших деревьев. Тучи исчезли, и небо было удивительно чистое. От земли поднимался легкий туман. Было совершенно тихо, и Виктор обратил внимание на странные, едва слышные звуки, доносившиеся словно бы из-под земли — слабое какое-то потрескивание, шорохи, шелест. Но потом он привык и забыл о них. Удивительное чувство покоя и безопасности охватило его. Он шел, как пьяный, и почти все время смотрел в небо. На проспекте Президента возле него остановился джип.

— Садитесь, — сказал Голем.

Голем был серый от усталости и какой-то подавленный, а рядом с ним сидела Диана, тоже усталая, но все равно красивая, самая красивая из всех усталых женщин.

— Солнце, — сказал Виктор, улыбаясь ей. — Поглядите, какое солнце.

— Он не поедет, — сказала Диана. — Я вас предупреждала, Голем.

— Почему не поеду? — удивился Виктор. — Поеду. Только зачем торопиться?

Он не удержался и снова посмотрел на небо. Потом посмотрел назад, на пустую улицу, посмотрел вперед на пустую улицу. Все было залито солнцем. Где-то в поле тащились беженцы, громыхала отступающая армия, драпало начальство, там были пробки, там висела ругань, орались бессмысленные команды и угрозы, а с севера на город надвигались победители, и здесь была пустая полоса покоя и безопасности, несколько километров пустоты, и в пустоте машина и три человека.

— Ну что, Голем, грядет новый мир?

— Да, — сказал Голем. Он вглядывался в Виктора из-под опухших век.

— А где же ваши мокрецы? Идут пешком?

— Мокрецов нет, — сказал Голем.

— Как так — нет? — спросил Виктор. Он поглядел на Диану. Диана молча отвернулась.

— Мокрецов нет, — повторил Голем. Голос у него был сдавленный, и Виктору вдруг почудилось, что он вот-вот заплачет. — Можете считать, что их не было. И не будет.

— Прекрасно, — сказал Виктор. — Пойдемте прогуляемся.

— Вы поедете или нет? — вяло спросил Голем.

— Я бы поехал, — сказал Виктор улыбаясь, — но мне надо зайти в гостиницу, забрать рукописи... и вообще посмотреть... Вы знаете, Голем, мне здесь нравится.

— Я тоже остаюсь, — сказала вдруг Диана и вылезла из машины. — Что мне там делать?

— А что вам здесь делать? — спросил Голем.

— Не знаю, — сказала Диана. — У меня же теперь никого нет, кроме этого человека.

— Ну, хорошо, — сказал Голем. — Он не понимает. Но вы же понимаете...

— Но должен же он посмотреть, — возразила Диана. — Не может же он уехать, не посмотрев...

— Вот именно, — подхватил Виктор. — На кой черт я нужен, если я не посмотрю? Это же моя специальность — смотреть.

— Слушайте, дети, — сказал Голем. — Вы соображаете, на что идете? Виктор, вам же говорили: оставайтесь на своей стороне, если хотите, чтобы от вас была польза. На своей!

— Я всю жизнь на своей стороне, — сказал Виктор.

— Здесь это будет невозможно.

— Посмотрим, — сказал Виктор.

— Господи, — сказал Голем, — как будто мне не хочется остаться! Но нужно же немножко думать головой! Нужно же разбираться, черт побери, что хочется и что

до#180;жно... — Он словно убеждал самого себя. — Эх, вы... Ну и оставайтесь. Желая вам приятно провести время. — Он включил скорость. — Где тетрадь, Диана?.. А, вот она. Так я беру ее себе. Вам она не понадобится.

— Да, — сказала Диана. — Он так и хотел.

— Голем, — сказал Виктор, — а вы-то почему бежите? Вы же хотели этот мир.

— Я не бегу, — строго сказал Голем. — Я еду. Оттуда, где я больше не нужен, туда, где я еще нужен. Не в пример вам. Прощайте.

И он уехал. Диана и Виктор взялись за руки и пошли вверх по проспекту Президента в пустой город, навстречу наступающим победителям. Они не разговаривали, они полной грудью вдыхали непривычно чистый свежий воздух, жмурились на солнце, улыбались друг другу и ничего не боялись. Город смотрел на них пустыми окнами, он был удивителен, этот город, — покрытый плесенью, скользкий, трухлявый, весь в каких-то злокачественных пятнах, словно изъеденный экземой, словно он много лет гнил на дне моря, и вот, наконец, его вытащили на поверхность на посмешище солнцу, и солнце, насмеявшись вдоволь, принялось его разрушать.

Таяли и испарялись крыши, жесть и черепица дымились ржавым паром и исчезали на глазах. В стенах росли проталины, расплзались, открывая обшарпанные обои, облупленные кровати, колченогую мебель и выцветшие фотографии. Мягко подламываясь, стаивали уличные фонари, растворялись в воздухе киоски и рекламные тумбы — все вокруг потрескивало, тихонько шипело, шелестело, делалось пористым, прозрачным, превращалось в сугробы грязи и пропадало. Вдали башня ратуши изменила очертания, сделалась зыбкой и слилась с синевой неба. Некоторое время в небе, отдельно от всего, висели старинные башенные часы, потом исчезли и они...

Пропали мои рукописи, весело подумал Виктор. Вокруг уже не было города — торчал кое-где чахлый кустарник, и остались больные деревья и пятна зеленой травы, только вдалеке за туманом еще угадывались какие-то здания, остатки зданий, призраки зданий, а невдалеке от бывшей мостовой, на каменном крылечке, которое никуда теперь не вело, сидел Тэдди, вытянув больную ногу и положив рядом с собой костыли.

— Привет, Тэдди, — сказал Виктор. — Остался?

— Ага, — сказал Тэдди.

— Что так?

— Да ну их, — сказал Тэдди. — Набились как сельди в бочку, некуда ногу вытянуть, я говорю снохе: ну зачем тебе, дура, сервант? А она меня кроет... Плюнул я на них и остался.

— Пойдешь с нами?

— Да нет, идите, — сказал Тэдди. — Я уж посижу. Ходок я теперь никудышный, а мое меня не минует...

Они пошли дальше. Становилось жарко, и Виктор сбросил на землю ненужный плащ, стряхнул с себя ржавые остатки автомата и засмеялся от облегчения. Диана поцеловала его и сказала: «Хорошо!» Он не возражал. Они шли и шли под синим небом, под горячим солнцем, по земле, которая уже зазеленела молодой травой, и пришли к тому месту, где была гостиница. Гостиница не исчезла вовсе — она стала

огромным серым кубом из грубого шершавого бетона, и Виктор подумал, что это памятник, а может быть — пограничный знак между старым и новым миром. И едва он это подумал, как из-за глыбы бетона беззвучно выскользнул реактивный истребитель со щитком Легиона на фюзеляже, беззвучно промелькнул над головой, все еще беззвучно вошел в разворот где-то возле солнца и исчез, и только тогда налетел адский свистящий рев, ударил в уши, в лицо, в душу, но навстречу уже шел Бол-Кунац, повзрослевший, широкоплечий, с выгоревшими усиками на загорелом лице, а поодаль шла Ирма, тоже почти взрослая, босая, в простом легком платье, с прутиком в руке. Она посмотрела вслед истребителю, подняла прутик, словно прицеливаясь, и сказала: «Кх-х!»

Диана рассмеялась. Виктор посмотрел на нее и увидел, что это еще одна Диана, совсем новая, какой она никогда прежде не была, он и не предполагал даже, что такая Диана возможна, — Диана Счастливая. И тогда он погрозил себе пальцем и подумал: все это прекрасно, но только вот что — не забыть бы мне вернуться.

## ПРИМЕЧАНИЯ

5 «Мы обязаны изыскать способ... превращать безразличных и ленивых молодых людей в искренне заинтересованных и любознательных — даже с помощью химических стимуляторов, если не найдется лучшего способа» (англ.).

6 «Оставь всякую надежду» (итал.). Данте, «Ад», песня третья.

7 «Незаурядный человек хочет оставить по себе мир иным, нежели тот, в который он явился, — лучшим, обогащенным его собственным творчеством. Для этого он готов пожертвовать большей частью радостей или даже всеми радостями, которыми наслаждается человек заурядный» (англ.).

8 Текст песни В. Высоцкого слегка изменен с разрешения автора.